

Анатолий

ПРИСТАВКИН

Долина смертной тени

Тихая Балтия

*Но эта книга только о заключенных.
О тех, кто сидит в камерах смертников.
Она обо всех нас, о каждом, кто принастен
к этой криминальной зоне,
которая зовется Россия.*

ПРИСТАВКИН

Анатолий

Долина смертной тени

Тихая Балтия



Анатолий

ПРИСТАВКИ

Анатолий
ПРИСТАВКИН

Долина смертной тени
Тихая Балтия

УУДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П77

Художественное оформление:
Яна Сметанина

Подписано в печать 31.05.2010. Формат 84x108 $\frac{1}{32}$.
Усл. печ. л. 36, 96. Тираж 3000 экз. Заказ № 5305.

Приставкин, Анатолий

П77 Долина смертной тени. Тихая Балтия / Анатолий Приставкин. — М.: АСТ: Зебра Е, 2010. — 704 с. — (Собр. соч. В 5 т. Т. 4).

ISBN 978-5-17-067879-2 (Т. 4) (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-17-065167-2 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-94663-944-6 (Т. 4) (ООО «Изд-во Зебра Е»)

ISBN 978-5-94663-940-8 (ООО «Изд-во Зебра Е»)

Как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные. Поэтому можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор...

В четвертый том вошли роман-исследование «Долина смертной тени» и повесть «Тихая Балтия».

Агентство СІР РГБ

ДОЛИНА
СМЕРТНОЙ ТЕНИ
Роман-исследование

...Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мною;

Твой жезл и Твой посох — они успокоивают меня.

Пс. 22, 4

Предзонье УВИДЕТЬ РОДНУЮ РЕЧКУ

Попались мне однажды, уж не упомяну где, слова о рыбе, о том, что она, пойманная на уду и выдернутая из воды, получает редкий шанс увидеть родную речку совсем другими глазами.

Вот и я клюнул на приманку, брошенную мне в одночасье судьбой, согласившись на предложение, исходившее как бы от самого Правителя, взять на себя нечто именуемое помилованием. Вряд ли я тогда представлял, что это такое.

Это вот что: каждодневная попытка (и каждодневная пытка) проникновения, внедрения в чужие судьбы, судьбы заключенных. Впрочем, неизвестно еще, кто в кого внедряется. Скорее, они в нас...

Жалоб, просьб в нашей тюрьмообильной державе поступает навверх около ста тысяч в год... От убийц, да от насильников, да разбойников, да грабителей и прочей нечисти, не считая всяких там мошенников, домушников, щипачей... Ну, а последних в нашей сплошь воровской стране несть числа.

В одной работе питерских ученых утверждается, например, что у нас среди населения, по его собственному признанию, каждый гражданин (95–100%) хоть раз в жизни, но мог бы попасть под статью о краже. Что же это за такая непонятная страна, где практически каждый человек жулик?

А русь, что означает воры, в город не пускать — писали еще более тысячи лет назад при въезде в Константинополь.

С тех пор, полагаю, мы не очень-то изменились. И емкое слово «воруют», подтвержденное классиками, дает исчерпывающую картину нашего развития.

Но были и еще злодеи, такие, как пугачевы, разины, кудеяры и соловьи-разбойники, известные и почитаемые народом героями.

Во все времена хватало на Руси и убийц, и насильников, и головорезов, и узнавать о них — это только в книжках занятно, а прочитывать в жизни или просто соприкасаться, поверьте, не менее опасно, чем встретить на большой дороге. Да если бы только соприкасаться... При этом быть последней инстанцией в их судьбе и решать, а по сути, распоряжаться чужой жизнью... По силам ли это любому человеку — быть выше Бога?!

Не случайно писатель Алесь Адамович искренно воскликнул, когда позвали его решать дела о помиловании: «Поймите и простите, но я не могу быть Богом!»

Понятно, что и я сопротивлялся до последнего, как та пойманная на крючок рыба. Но отступился, решив пожертвовать частью своей жизни, которой, исходя из моего возраста, не так уж много у меня осталось. Правда, и она, наверное, чего-то стоит, если есть остаток сил и есть возможность что-то там написать, а может, издать, сохраняя при этом, насколько в наше время возможно, спокойное, не говорю уже созерцательное, состояние души.

О тихом уютном домике, расположенном вдали от шумной толпы, где можно было бы дописывать при свечах свой незаконченный роман рядом с любимой женщиной, я уже не мечтаю. Но и не помойка же, не человеческие отбросы, не грязница, заполнившая наш мир выше авгиевых конюшен, которые придется расчищать изо дня в день, безо всякой надежды, что это удастся сделать; и без единого слова благодарности от своих сограждан, от общества и от самих несчастных.

Разве что колючую проволоку вместо букета поднесут!
Да и не о благодарности в конце концов речь.

Я полагаю, что и Президент, подписывая бумагу о моем назначении в том далеком девяносто втором году, вряд ли догадывался о жертве, которую каждый из нас, из тех, кто пошел за мной и со мной вместе, принес на алтарь безнадежного дела.

Да мы и сами, если честно, до конца не понимали, что мы затеваем. Хотя, конечно, помнили, как же, что:

«...У атамана была булава, а у Ивана была голова. Атаман рисковал булавой, а Иван рисковал головой», — это из стихов Николая Панченко.

Но эта моя странная книга возникла не как запланированный и обусловленный материалом замысел, а как ничтожная попытка убавить, притушить острую боль, изводящую нас.

«Поплачься, милая, — говаривали в старину, — легче на душе станет...»

Я бы мог, наверное, с чистой совестью обозначить так свой жанр: ПЛАЧ ПО РОССИИ. В первых, набросанных наскоро страничках не было поначалу даже каких-то решающих, нужных слов... Лишь некое стенание, выражающее чувство непоправимой беды, которая вошла в нашу жизнь, мою и моих друзей, и которую не выразить, не вытравить, не изжить и не предотвратить. Даже если бы чудом удалось все это разом оборвать и вернуться в свое, почти безмятежное — теперь я могу оценить — прошлое. Да ведь выдернули, почти силой выдернули из той теплой и привольной речки! И вряд ли будет услышан наш крик, наш всхлип...

Но эта книга не только о заключенных. О тех, кто сидит в камерах смертников. Она обо всех нас, о каждом, кто причастен к этой криминальной зоне, которая зовется Россия. Я также отдаю себе отчет, что книга такого рода не может быть приятным чтивом для массового читателя. Ну кому, скажите на милость, пожелается полистать на сон грядущий книжицу, повествующую о всяких там отбросах общества, кои даже на расстоянии представляются чем-то ужасным, угрожающим нашей безопасности да и просто нашему душевному спокойствию. Как видятся, скажем, крысы, жестокие и неистребимые, тоже неременный побочный продукт нашей цивилизации.

Могу утверждать, хоть прозвучит едва ль не старомодно, что эту книгу создал народ (большая часть ее — документы, взятые из недр криминальной России), тот самый великий русский народ, который велик и в том, что весь изоврался, изворовался, спился, наплевав на весь мир, а прежде всего на самого себя... Иррациональный во всем, даже в вопросах

самосохранения. Но великий своим поразительным, идущим из каких-то глубинных недр гением, великим тоже во всем, и даже в своем воровстве, и вранье, и в разбое, в мошенничестве (вот где народный кладезь изобретательности!), так что диву даешься, как в нем поистине совмещаются и гений и злодейство. И никогда не понять, чего же в нем больше.

Моя речка...

Моя несчастная, измороженная насилем страна... В результате редчайшей возможности увидеть другими глазами ее в натуральном, криминальном облике, предстала перед нами не голубым разводом плесов да заливов среди изумрудных берегов, а бездонной разверзанной пропастью... В которую мы падаем, падаем, падаем... Но стараемся этого не замечать.

Каюсь, так до поры жил и я.

И даже соприкоснувшись с этим отторгнутым нами миром, который я, конечно, напрасно назвал помойкой, скорей это гниющая незаживляемая рана, — старался я уберечься, призывая на помощь все защитные силы духа, даже сказки детские стал сочинять... Но однажды воскликнул в сердцах, когда маленькая дочка попросила на ночь прочитать ей нестрашную сказку: «Ох, Манька, у меня такие сказки, что не дай бог тебе их когда-нибудь услышать!»

И был день, и был вечер, когда прочитал очередное дело про двух ограбленных деревенских старух: бывший зэк узнал об их существовании на одиноком хуторе от сокамерника и по выходе на свободу приехал, выследил, убил... Из-за колечка дешевого позолоченного зарезал да полусотни рублей, запрятанных ими на собственные похороны... Еле выдержал я. И заплакал. Осознав, что мир этот жесток и неисправим.

Да что же, братцы мои, что же с нами со всеми происходит, если мы лишь возбуждаемся от запаха крови, но, содрогнувшись, продолжаем как ни в чем не бывало жить далее, и это в то время, когда у нас под боком убивают святого человека Александра Меня, пришедшего к нам, чтобы нас же спасти? Да он ли один?! Кто же мы после этого? Выродки, нелюдь, безумная чернь, погруженная в беспробудное пьянство да непрерывные преступления?

«...Богом, и правдою, и совестью оставленная Россия — куда идешь ты в присутствии своих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?» — вопрошал Сухово-Кобылин. Правда — куда?

Но мой спутник, мой Вергилий, ведущий меня изо дня в день по всем возможным кругам ада... Назовем его так: Вергилий Петрович... С неизменной усмешечкой человека, повидавшего всякое, чуть растягивая слова, произносит, что это-де, уважаемый Председатель, цветочки... Старушечки ваши... Вот на следующее заседание я вам представлю одно тоже вполне обыкновенное дельце...

И он принесет это дельце, полагая, что на черное полотно можно нанести еще более черный цвет, а оно уже давно кладется черным по черному, как длилась бы ночь после ночи, без всяких надежд на робкий рассвет... Но еще и в Евангелии указано: «Если свет, который в тебе, тьма, так что же такое тьма?» И выходит, что душегуб, изнасиловавший некогда под Луховицами двух малолетних девчушек, а потом их задушивший, тоже не полная еще тьма в сравнении, скажем, с ростовским маньяком?!

Да нет же, нет... И я, недавно выплывший из селигерских теплых земляничных полей, от бесконечного разлива плесов и древних монастырей, иначе и не могу увидеть ЭТУ РЕКУ, как только черной, совсем черной, без оттенков и полутонов... Истинно ДОЛИНА СМЕРТНОЙ ТЕНИ. Разделенная по свойственной нам врожденной эковской привычке — на ЗОНЫ. Ничего, что первой будет Зона Власти, — Кремль исторически всегда был «их» зоной!

Какой-то — по схожести — глубокий обморок охватывает нас, причастных к открывшейся в особенный откровенный момент картине. И молишься тогда, и страдая просишь: Господи, помоги выдержать и не сойти с ума. Где Твой обещанный жезл и Твой посох? Должные помочь нам на этом — через зоны — пути?

И осмыслить.

И найти слова, чтобы рассказать.

Зона первая ВЛАСТЬ

ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛЬЦЕ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

«...В ночь с 30 июня на 1 июля находившиеся в нетрезвом состоянии Носков и Орлов подъехали к пересечению автомобильной трассы Пермь—Кудамкар в пос. Менделеево. Там находились подростки Богданов, Корякин, Филимонов и потерпевшая Лихачева, которая электропоездом из Перми приехала на ст. Менделеево и пришла на этот перекресток, чтобы уехать на попутной машине к матери в Кудымкарский район...»

Прошу прощения у читателя за протокольный стиль, так записали в суде.

Итак... «С целью изнасилования Лихачевой Носков и Орлов стали настойчиво предлагать пойти с ними, с этой целью Носков сорвал с плеча Лихачевой сумку с ее вещами и вместе с Орловым отошел в сторону, полагая, что Лихачева из-за сумки пойдет за ними. Богданов и Корякин с целью избавить Лихачеву от домогательств первых двух предложили ей проехать в шалаш, расположенный недалеко от контейнерной площадки ст. Менделеево, и она согласилась. Догадавшись, куда увели Лихачеву, Орлов и Носков приехали в шалаш, прогнали оттуда Богданова и Корякина и, применяя физическую силу, попытались изнасиловать Лихачеву, но она оказала им активное сопротивление и, вырвавшись от них, решила бежать, но Носков догнал ее и сбил с ног. Чтобы избежать дальнейших издевательств, Лихачева выхватила из

кармана Носкова нож и попыталась покончить жизнь самоубийством, упала на клинок ножа и потеряла сознание. Носков и Орлов взяли потерпевшую под руки и притащили волоком к шалашу, где находился и Ольшевский, который ранее подвозил их к шалашу. В присутствии Ольшевского Носков предложил отвести Лихачеву дальше в лес, изнасиловать, а затем убить и закопать, на что Орлов ответил согласием.

Заведомо зная о несовершеннолетнем возрасте Ольшевского, они предложили ему помочь им, и он согласился, остался с Орловым возле потерпевшей, а Носков пошел в поселок за лопатой, но не нашел лопаты и принес две мотыги.

Когда Лихачева пришла в себя, Орлов с целью подавления сопротивления несколько раз ударил ее по лицу, затем все трое привели ее в лесной массив и поочередно, на глазах Лихачевой, стали копать могилу для ее захоронения. Носков и Орлов заставили Лихачеву раздеться и вместе с Ольшевским, оказывая содействие друг другу, в частности удерживая потерпевшую за ноги, изнасиловали ее, в том числе Носков и Орлов в извращенной форме.

Затем, в соответствии с договоренностью, Орлов закрыл лицо Лихачевой свитером, а Носков нанес несколько ударов клинком ножа в область груди и оставил его в теле потерпевшей, а Орлов ногой наступил на клинок, вдавив его в тело, затем еще живую потерпевшую опустили в выкопанную яму, бросили туда ее вещи и все троим стали закапывать. Увидев, что под слоем земли Лихачева продолжает шевелиться, Орлов и Носков встали на нее сверху, придавив тяжестью своих тел, а когда из-под земли высунулась нога потерпевшей, Носков несколько раз ударил по ней мотыгой. После того как Лихачева перестала шевелиться, все трое завалили захоронение ветками и ушли. Носков похитил деньги и вещи потерпевшей на сумму 87 рублей.

На следующий день они пришли к месту захоронения, выкопали труп, облили бензином и подожгли, затем углубили яму, вновь закопали труп и завалили ветками...»

Такое вот дело. Одно из многих, из тех, что мы должны были теперь читать. Но мы не были готовы такое читать.

И поначалу, я говорю не только о себе, мы читали с паузами... С передышками... Иногда несколько дней.

Я намеренно привел дело в таком виде, в каком оно было представлено в приговоре суда, безо всяких эмоций. Протокол, поражающий именно своей обычностью, обыденностью, что ли. Познакомились, избили, изнасиловали, живьем закопали, а потом, значит, мотыгой по ноге! Нога, правда, торчит тут особняком и как бы мешает общему беспристрастному изображению.

Про нее почему-то особенно тяжело читать.

Да, вот еще: нелегкое, но необходимое желание понять ощущения этих трех... Даже не знаю уж, как их назвать... Обычные определения тут не подходят.

Какие они?

Ну, хотя бы так: какие у них лица?

Нет, слово «лица» тоже не подходит. Морды? Рыла? Мурло?

Я согласен с Булатом Окуджавой (далее я буду называть его Булат), который во время обсуждения одного из дел, возможно этого самого, непроизвольно воскликнул: «Ну хоть бы фотография была, чтобы взглянуть!»

И правда, иной раз просто необходимо увидеть (не в жизни, а лишь на фото), как выглядит тот или иной преступник... Какие у него внешность, губы, глаза... И вообще, такой ли он, как все, или он — другой?

Однажды мне удалось откопать фотографию одной злодейки, она изводила (и извела!) свою крошечную дочурку... Я еще об этом расскажу. И представьте себе — совпало. Полностью совпали мое представление о ней и ее внешний образ.

Но тогда тем более важно, решая судьбу, увидеть в лицо преступника.

Вот в делах смертников, что мы прочитываем, само ходатайство (оно же прошение, оно же, как иногда пишут, «жалоба о помиловании», или «помиловка», оно же, во многих случаях, исповедь) отодвинуто в конец папки и как бы юридически не имеет столь принципиального значения в сравнении с остальным (это особенно подчеркивают чиновники: мало ли что осужденный насочиняет о себе!), но для нас-то, тех, кто имеет отношение к слову, к поиску истины через слово, эти послания иной раз становятся чуть ли не

главным доводом, когда в противоборстве с самим собой принимаешь свои решения.

Исповеди у нас тоже впереди. Они могут не только потрясти чье-то чуткое воображение, но и стать ключевым моментом для понимания человеческой природы.

...Вчитываюсь в протокол, но не могу, хоть убейте, представить себе так называемых лиц этих трех... Они безлики. Как безликой бывает толпа, сборище — скажем, на дискотеке. Все похоже на всех, и даже находят в этом удовлетворение. Но в их одинаковости их непреодолимая сила. Они это знают.

Должны знать и мы.

Но все-таки, все-таки... Какие же они?

Вот на днях на линии железной дороги под Вяткой обнаружили следы преступления: кто-то разобрал и унес рельсы и поезд лишь случайно не рухнул под откос. Машинист посидел за те несколько секунд, пока тормозил пассажирский поезд. Думали, как всегда: происки ненавистных чеченцев или каких-нибудь террористов... Выяснилось же семиклассники, которые объяснили свои действия так: когда пассажиры будут убиты, они снимут с них золотые украшения, возьмут деньги и вырвут золотые зубы... Ну, а тех, кто останется живыми, нужно будет добивать молотком...

Но возвращаюсь к моим «героям». Пусть они сами расскажут о себе.

Этот вот который Носков. Который мотыгой, взятой из ближайшего дома у какой-нибудь крестьянки... Чтобы по живой еще ноге... Его ходатайство — своеобразная исповедь, тем более что пишут такие обращения, вполне сознавая, что на другое может и не хватить времени. Я сохраняю — здесь и далее в книге — в меру возможности стиль и язык своих «героев».

«Я, Носков Александр Григорьевич, 1 января 1970 года рождения, обращаюсь с прошением о помиловании. Я не согласен с приговором областного суда. Считаю, что суд недостаточно разобрался по нашему делу, обвинив меня как организатора преступления. В процессе суда я первый давал показания и по малодушию взял вину в сожжении потерпевшей на себя. Хотя бензин в трехлитровой банке взял Орлов с нефтебазы и он же обливал и поджигал потерпевшую. Я на-

ходил под влиянием Орлова и не смог ему препятствовать, когда, находясь у Суматохина, на следующий день он предложил сжечь девушку.

После приговора, находясь в камере смертников, я долго не мог прийти в себя, отчаялся и вообще ничего не хотел, только после свидания с матерью написал кассационную жалобу на одном листе, фактически ничего не объяснив...»

Прерву повествование Носкова, чтобы заметить, что пишет он сразу не о главном, то есть не об убийстве, а лишь о том, как они сжигали труп. Но и здесь он избегает этого слова, заменяя судебным термином «потерпевшая» или даже «девушка», что звучит почти безобидно.

«...В тот день я и Орлов находились на свадьбе приятеля. Во втором часу ночи мы ушли со свадьбы и пошли в деревню Харичи, по дороге мы встретили Ситникова Сергея на мотоцикле и попросили его довезти до деревни. На пересечении автомобильных трасс Пермь—Кудырмам стояли ребята. Мы попросили их закурить. Ребят было пятеро, и с ними была девушка. Орлов подошел к девушке и стал знакомиться. Я стоял в стороне и разговора их не слышал, а когда подошел, девушка говорила, что я уже еду с этими ребятами. Я решил пошутить и взял у девушки сумку... И я с Орловым пошли домой. Подходя к дому, нам навстречу ехал на машине Ольшевский. Мы попросили его довезти до шалаша, так как знали, что у рокеров есть шалаш, где они собираются... Зайдя в шалаш, я увидел Корякина и девушку, лежавших на лежанке. Девушка встала и вышла, а Орлов догнал ее и держал за руку. Выйдя из шалаша, я подошел к Орлову. Он велел мне уйти и сказал, что хочет остаться один...»

Прерву снова исповедь. Хотя... Какая она, к черту, исповедь, так, занудное перечисление каких-то совсем незначительных событий... Поток слов, из-за которых рассказчик, может и ненамеренно, но никак не может приблизиться к главному: как же он все-таки покусился на жизнь человека.

Многословие — еще одна особенность тех, кто находится в камере смертников. Они почти поголовно, словно в одночасье их прорвало, начинают живописать свое бытие: неумело, косноязычно, излишне подробно... Испытывая страх перед окончанием страницы, словно ее окончание может стать окончанием всего.

Но вот что примечательно в словотворчестве Носкова: несмотря на всю примитивность пересказа — а лексика, как известно, выражает (и обнажает) душу не менее, наверное, чем выражение, скажем, глаз, — автор медленно, но уверенно сдвигает центр вины на своего дружка, а сам превращается в собственных глазах в наивного и смиренного наблюдателя, исполнителя чужой воли.

«...Я стоял в двадцати шагах от шалаша и разговора с девушкой не слышал. Выйдя из леса на тропинку, я увидел девушку, одевавшую трико, а рядом Орлова. Я сказал ей не одевайся, так как никогда не видел голую девушку и хотел на нее смотреть. Девушка побежала в сторону Менделеева, я побежал за ней вернуть, чтобы она оделась. Девушка выхватила у меня нож из кармана и ударила себя в живот и упала...»

Трогательно, не правда ли, узнать, как наш герой просит девушку одеться, а та вдруг выхватывает нож из чужого кармана, как будто зная, что он там находится, и втыкает себе в живот. Вот какая ненормальная девушка им попалась! Может, она сама себя и закопала? Да и версия о самоубийстве, которой суд, кажется, поверил, существует со слов тех же самых убийц.

«...Подозвав Орлова, перевернули девушку на спину. Она не шевелилась, я испугался и подумал, что зарезалась, сказав Ольшевскому, чтобы сбегал за лопатой закопать девушку, но он отказался. Я сам побежал, а когда вернулся, девушка сидела одетая и говорила Орлову, что посадит. Орлов сказал мне, надо что-то с ней делать. Я сказал, что, убить? Он ответил «да» и предложил увести ее дальше в лес...»

Образ испуганного и мало что смыслящего в происходящих событиях юнца получает в исповеди дальнейшее развитие. И даже слово «убить», сказанное им самим, звучит как вопрос, а на самом-то деле убивать велит его дружок, после чего дает очень дельные советы, как это сделать. Да и сама девушка, после своих вывертов, смеет им еще угрожать, обещает их посадить... Интересно, за что же?

«Зайдя в глубь леса, мы стали поочередно копать яму...»

Видимо, всю картину происходящего надо представить так: она тут же сидит, смотрит, как они в поте лица роют какую-то яму, и не догадывается, что это ее могила?!

А интересно, они-то как, вымеряли или так, на глазок прикидывали?

Повторю, чтобы слышней было:

«...Зайдя в глубь леса, мы стали поочередно копать яму. Орлов сказал девушке, чтобы она разделась. Он велел девушке лечь на землю и пнул ее в живот. Я обмотал лезвие ножа в ее трико, а Орлов набросил ей на лицо свитер. Я ударил девушке ножом в живот и отошел, а Орлов дожал ногой...»

Вот это уже похоже на правду. Особенно насчет того, что тот «дожал ногой». Хотя и тут словчил: если и ударил, то тут же отошел, то есть как бы и не убил. Да и вообще, у автора прошения о какой-то сумке больше наговорено слов. А здесь же сплошная бормотня: так, походя, воткнул, мол, нож и отошел... А там на него, значит, ногой...

Но слово «дожал» поемче будет, тут виден весь процесс убийства, намеренно медленный, не без смакования. Целых десять минут у них ушло на это «втыкание» и на это «дожимание».

А она-то еще в сознании... Она-то как?

Наверное, надо и о ней что-то прояснить.

Вот справка из обвинительного заключения: «Лихачева Вера Григорьевна, 25 лет, незамужняя, работала портнихой в ателье «Зима» города Перми, по месту работы и месту жительства характеризовалась исключительно положительно. Отец умер, когда была она подростком, мать пенсионерка...»

К ней на свидание она и ехала... Бедная мама!

«...Минут через десять мы втроем положили девушку в яму, туда сложили ее вещи и закопали. Орлов встал на могилу и стал утаптывать и сказал мне помочь. Закопав девушку и завалив ветками, Орлов предложил на следующий день прийти и сжечь. Я не стал ему препятствовать, так как боялся конфликта с ним, и согласился...»

Это я уже не комментирую. Лишь замечу, что стояли они и утаптывали *живую* могилу, и когда вдруг высунулась нога, она тоже была еще *живой*, но об этом наш рассказчик ни гугу... Как он по ней мотыгой... Нога им была страшна именно тем, что была еще *живой*... Она как бы сопротивлялась. Ее просто надо было отрубить, что он и сделал!

А ведь до этого было еще групповое изнасилование. И наш романтично настроенный юноша, который до этого

никогда не видел голой девушки (тут я ему верю), тоже насиловал, пока дружки держали ее в крепких руках... Как сказано в приговоре: в обыкновенной и извращенной форме. Ну, а ногу он обрубал уже потом.

«...На следующий день Орлов взял на нефтебазе трехлитровую банку с бензином, и мы пошли, откопали яму и достали у потерпевшей ее одежду. Углубив яму, положили ее обратно. Я отошел в сторону, а Орлов облил потерпевшую бензином и поджег. Прогорев, мы закопали и пошли домой...»

С грамматикой у них, нетрудно заметить, так себе, но в умысле лгать им не откажешь. О том, что во всех криминальных случаях наш убийца якобы отходит в сторону, я уже и не говорю. Но хотел бы представить, как он пришел домой. Ведь дома, судя по исповеди, его ждала мама. Та самая, что и нынче печется о своем сынке, и письма судьям пишет, и ночей не спит, представляя, что не сегодня завтра ее сына поведут на расстрел...

Ну, а он-то, вернувшись, он-то как смотрел ей в глаза? Смотрел и — ничего?

Может, даже щец сел похлевать, и никак в его чистых глазах не отразилось пламя того костра, где сжигали они женщину? Которая тоже могла стать матерью...

В своем прошении, в конце, он еще напишет: «Прошу учесть мою молодость и что некоторое время я занимался трудом...»

И — ни слова раскаяния.

А теперь закройте глаза и забудьте, если, конечно, сможете, про эту шевелящуюся, еще живую ногу и постарайтесь, собрав все силы души, вызвать хоть какую-то жалость к этому... Ну, опять не знаю, так и не нашел, как его и всех их обозначить.

И если вам, несмотря на весь этот кошмар, на презрение, на отвращение и ненависть к подобным существам, удастся найти в себе силы не поднять руку для еще одного убийства, хотя в душе вы осознаете, что он его заслуживает, вы поймете, что должен испытывать каждый из нас, когда мы, собравшись, решаем...

Держа чужую жизнь, будто сам Господь Бог, в своих нетвердых ладонях.

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Был случай, когда мы засиделись в кабинете на шестом этаже.

Даже не могу сказать, что мы работали, мы просто выпивали.

Случались в жизни Комиссии такие необычные дни, когда она становилась как бы не самой собой... Не в меру, что ли, жестокой. Верней же — не слишком милосердной.

И тогда кто-то из нас, чаще это делал наш Психолог, как человек, которому свойственно познавать психологический настрой не только преступников, но и самих милующих, произносил с милой улыбкой, что пора бы нам оторваться от дел, посидеть, размягчиться, поговорить о житье-бытье... «Как вы на это смотрите?»

Не обидное, но вовремя уловленное настроение, вот и Вергилий Петрович, просматривая очередную папочку, лишь качал головой. «Вспышки на Солнце, — произносил со вздохом. — Это же надо столько сразу отклонить!»

Нет, речь шла не о Носкове, его-то мы помиловали, заменив смертную казнь на пожизненное заключение. Хотя не все из нас, если честно, голосовали за то, чтобы он остался жить. Но споры, но сомнения, да и вообще истории такого рода напрягают и очерствляют сердца особенно сильно. И это уже опасно. И для нас, и для тех, кто будет следующим у нас на очереди и на кого мы можем перенести свои неизливишиеся чувства.

Вот тогда, по совету Психолога, мы прекращаем мучительные попытки разобраться в чужих грехах, а начинаем разбираться в своих собственных. Мы выбираем денек и, освободившись от тяжкого гнета дел, который несут в себе папочки со смертными делами... Мы их сваливаем на дальний столик, осторожно, как не до конца обезвреженные мины... Извлекаем из зачатки заветную бутылочку... И начинается долгое застолье. Когда можно, глядя в глаза друг другу, очищаться через откровенную беседу. Тут и задушевные тосты, и исповеди. Даже стихи. И уже к следующему заседанию мы приходим очищенными, благостными, как из Сандунов, чтобы снова читать сокрушившие нас дела.

Так вот, однажды, припозднившись, пошел я провожать одного из гостей по переходам в другое здание, где находился его кабинет. Из дома с криминальным названием ГПУ (Главное правовое управление), с шестого этажа на третий, да потом по длинному коридору через стеклянный переход, похожий на вагон, между двумя зданиями, да налево, и снова по длинному коридору, потом зигзагом по лестнице этажом выше, да снова по коридору налево, а потом мимо часового у дверей в другое здание, и по нему налево и налево через второй стеклянный переход в следующее здание, и снова по коридору прямо и налево... Уфф!

Но это не все.

Тут вам откроется еще один коридор, но уже с красной, очень праздничной ковровой дорожкой (на нее ступает многоуважаемая нога высочайшего начальства!), а рядом особенный такой лифтик, в который не сядет кто попало, ибо нужен к нему личный ключ... Теперь считайте, что мы почти у цели: надо лишь подняться этажом выше и — мимо еще одной охраны повернуть налево...

Вот теперь мы пришли.

Когда-нибудь я поподробнее расскажу о тутошних кабинетах, они тоже имеют некую историческую ценность, ибо в них восседали вершители наших судеб. И в воздухе до сих пор незримо витают мрачные тени их хозяев, а стены хранят впитавшиеся в них отрицательные эмоции. Но я не об этом.

Когда бы это я смог попасть сюда, если меня при прежней моей жизни, был случай, и в вестибюль на первом этаже не хотели пускать. Впрочем, однажды мне повезло попасть на прием к самому Демичеву, министру культуры при Хрущеве. Но тогда я от страха ничего и не запомнил. Осталась в памяти массивная дубовая дверь при входе, да бюро пропусков, да лифт и предупредительный секретарь, велевший нам сидеть и ждать в предбаннике у Самого. И потом его напряженный возглас: «Пожалуйста, пройдите!» И стыдная дрожь в коленках... Господи, Господи, помоги! Я тогда жил в коммуналке, и надо было, унизившись, сунуть заявление, заготовленное заранее...

Длинные коридоры, длинные и размышления.

Так вот, проводив гостя и облобызавшись с ним на прощание, потому что были мы не только в легком подпитии, но и в возвышенном настроении, направился я в обратную сторону по очень мне знакомому маршруту, который я с точностью до метра расписал... И — заблудился... В здании выключили большой свет, оставив дежурные коридорные лампочки, и оно приобрело какие-то иные формы и размеры. Сперва я вроде шел правильно. Там, где надо, поворачивал, и переходы соблюдал, и этажи считал. Но потом стал замечать, что коридоры стали как бы не моими коридорами, а поворотов в нужных местах не оказалось.

Я вернулся назад и убедился, что и здесь все вокруг незнакомо и я не знаю, куда идти. Прямо как ночью в лесу. И даже спросить некого, кабинеты наглухо задраены, запечатаны, и ни одной вокруг души. Так метался я долго, не на шутку испугался, представляя себе, как меня ждут на шестом этаже мои застольники и гадают в недоумении, куда я мог запропасться...

Впервые подумалось, что в какие-то времена здешние партийные хозяева, создавая свою Зону власти, а в ней систему ходов, запутали их специально, все из желания сделать свою жизнь максимально скрытой, изолированной от низов. Свою зону.

Более того, мне приходит на ум, что они поступали так же, как правители-владельцы старых замков, где для пущей безопасности умышленно создавались бесконечные тупики, тайные переходы, тоннели и коридоры. Я потом попробовал воспроизвести по памяти и начертать на схеме всю систему зданий, воссоздав, лично для себя, такую карту-схему, и был поражен грандиозной и как бы бессмысленной планировкой их, если не учитывать именно этого: попытки любым способом обезопасить свое существование.

Ведь и у их заглавных паханов все начиналось с того же: Ульянов (Ленин) отхватил при въезде в Кремль лично для себя что-то около полутора десятков кабинетов, а Джугашвили (Сталин) даже выход в Кремле и выезд имел из особого дворика, никому больше не принадлежащего. Я этот дворик тоже видел.

В конце концов, конечно, выбрался к себе, поплутав порядком по темным запутанным ходам (не путать с Темными Аллеями!), и был встречен радостными возгласами моей захмелевшей компании.

Одна из знакомых женщин, проработавшая тут годы, которой я поведал, но, понятно, в юмористических тонах, про свои блуждания, заметила, что прежде, когда она путалась в этих лабиринтах, дорогу находила по цвету ковровых дорожек: каждый коридор и каждый этаж имел свои цвета. Но в последние годы, к сожалению, дорожки стерлись, поизносились, стали почти одинаковыми...

Нет, речь не о дорожках... И даже не о моей дорожке сюда.

Я — о коридорах власти, в которые я ненароком однажды попал и в которых проплутал, как в темных коридорах, много лет.

Не объявился бы у меня в доме Сергей Адамович Ковалев, захавший после работы прямо из Белого дома, может, ничего бы не было. И жил бы я совсем другой жизнью и другое бы сейчас писал.

Но человек предполагает, а Господь...

В середине зимнего дня, стертого, сероватого, московского, без неба, я впервые приблизился к Белому дому, обители власти, которую четыре месяца до того защищали наши дети... Это были в основном дети интеллигенции. Мой сын тоже был здесь.

Я получил особый пропуск в бюро под лестницей и поднялся по гранитным ступеням к парадным дверям к проходной номер двадцать. Лестница была огромной, широкой и тоже пустынной, ни одного человека, кроме меня, на ней не было. Чиновники на машинах попадали в здание, наверное, каким-то своим, особым путем.

От смущения я даже не смог сосчитать, сколько же здесь ступенек.

Любая восходящая власть, как бы тверда и уверенна в себе она ни была, когда-нибудь заканчивает свой путь тем, что сходит по тем же самым ступеням обратно вниз. Наверх на крыльях, а вниз чаще всего пешком. Если не кувырком.

Сосчитано, что в доме Ипатьевых в бывшем Свердловске, а ныне Екатеринбурге, где расстреливали царскую семью, в подвал вели двадцать четыре ступеньки.

В бункере, в последнем логове Гитлера, где он покончил с собой, их было, как утверждают, тридцать семь... Тоже, в общем-то, роковая цифра.

Мне повезло побывать в доме Ипатьевых еще до разрушения — говорят, распоряжение о сносе давали из Москвы. Не слишком большой, но основательно построенный, этот дом, кажется красного кирпича, стоял на отшибе, на пустыре, и мы в нем побывали с писателем Евгением Добровольским, когда приезжали сюда в командировку летом шестьдесят пятого года. Каким-то образом Добровольский смог договориться с архивариусом, который в одиночку охранял здесь партийный архив, сваленный на верхнем этаже. Проведя ночь у веселых алкоголичек, чуть подусталые, смурные, спустились мы по тем же самым ступенькам в тот самый подвал. Было тихо. Сумрачно. Прохладно.

Архивариус, мужчина средних лет, никак не напоминающий партработника, все что мог показал, рассказал и даже руками изобразил, будто сам мог наблюдать, как разбудили среди ночи царскую семью и привели сюда, в подвал, ввиду якобы приближающейся опасности от белоцехов, как поставили всю семью слева от двери, у стены, и как врывались по команде в помещение красноармейцы и прямо от дверей начинали стрелять, добивая детей штыками...

Не знаю, вспоминал ли я в этот миг, когда принимал свое главное решение, это дело о расстреле царской семьи, о безвинно погубленных его детишках... Но теперь я знал, зачем Господь, сотворив чудо, решил вручить почему-то мне ключи от тюрем. Ну, а детишек, начиная с этого момента, я не прощу никому и никогда. Можно миловать жуликов, пропойц, жалеть заблудших, но только не тех, кто насилует, унижает и убивает детей.

Я сам прошел через это, хлебнув до самого-самого краешка жестокости от тех, кто был сильнее меня.

...Приговор? Ну, какой там, право, приговор, его, возможно, вообще сочинили позже, а тогда лишь было указание

из Москвы, возможно, от Ленина, и стреляли в них, в сонных, плохо осознающих, что происходит, и пол был залит по щиколотку кровью.

А на улице, у полуподвального окна, стояла работающая машина, чтобы мотором заглушить выстрелы и крики. На этой машине их после и увезли. А следы пуль на стене сохранились долго — архивариус рукой показал, где находилась стена с отметинами пуль, — но случилось, в прошлом году, проникли сюда американские кинооператоры, договорившись с девочкой-лаборанткой, которая пустила их ночью для съемок... И уж после того случая стену партийное начальство приказало разобрать, а девочку уволить.

Сейчас-то об убийстве царя много пишут, и всякого наговорено.

Но я намеренно рассказал так, как слышал тогда. На тридцать лет с лишним ближе к самим событиям. И показалось мне еще, что архивариус этот был равнодушен к тому дому и к его истории и выложил нам доверчиво то, что слышал от своих земляков.

Когда поднялись мы наверх, он спросил, мрачно ухмыльнувшись:

— Вы, кажись, партийный архив хотели посмотреть?

— Да нет, спасибо, — отвечал Добровольский, придумавший такой повод для посещения. — В другой, знаете ли, раз...

— Приходите, приходите! — безо всякой обиды произнес странный архивариус и проводил нас до дверей. На прощание как бы невзначай упомянул, что названная стена, о которой он упоминал и которую недавно разрушили, свалена во дворе...

Мы, конечно, сразу двинулись к куче битого кирпича и схватили каждый по обломку на память. Я непроизвольно оглянулся на дом и вдруг заметил, что архивариус удовлетворенно наблюдает за нами через окошко. А вскоре и дом снесли. Принимал участие и наш нынешний президент Ельцин. И ни отметины, ни кирпичика не осталось от того давнего кровавого убийства. Стерли с лица земли, как из истории вычеркнули. Правда, архивариус упомянул, что список тех красноармейцев вроде бы был засекречен, но на сегодняшний день в обкоме партии города Свердловска ле-

жит двести пятьдесят или около того заявлений от граждан, которые якобы лично расстреливали царскую семью. И все хотят за это что-нибудь получить...

У нас на Руси профессией палача никогда не брезговали. Даже гордились, судя по всему. Ну, а количество ступенек я тогда от волнения не догадался пересчитать.

ЗА КРЕМЛЕВСКИМ ЗАБОРОМ

Ни Белый дом, ни здания бывшего партийного руководства на Старой площади, ни кремлевские кабинеты — никакие для меня не святыни. Они цитадель политиков, и делать там писателям нечего. Ни прежде, когда там заседали большевики, ни тем более нынче... Лучше — никогда. А если я рискнул сюда прийти, то лишь с одной сумасбродной идеей: помочь тем несчастным, которые в этом ничем и никем не защищенном мире, пожалуй, самые беззащитные, наподобие Александра Кравченко, о деле которого я прежде знал только из газет.

В одном из биографических рассказов Горького работников, вкалывающих от рассвета до заката в пекарне у булочника Семенова, называют ласково «арестантиками»! В этом плане все мы немного «арестантики», ибо живем в стране, где тюрьма чуть ли не главная форма существования. По статистике, которую у нас любят преуменьшать, через тюрьмы в России прошло что-то около пятнадцати—двадцати процентов населения. Каждый пятый! И если у вас в семье пять человек, считайте, что один уже сидел. Хотя попадают в делах такие семейки, где сидели или сидят все поголовно, и это явление тоже типично российское.

У Камю я нашел размышления по поводу отношений между интеллигенцией и властью. «Писатель, — утверждает он, — сегодня не может становиться на службу к тем, кто делает историю: он на службе у тех, кто ее претерпевает...»

Ну, я бы перевел иначе: он на службе у тех, кто от нее страдает, то есть является жертвой этой истории.

У нас жертва — народ, пускай дикий, воровской, замороженный, пропитый, но он мой. Другого народа, как где-то

сказано, у меня нет. И если с помощью нынешней власти, которая сама по себе не может быть никакой иной, кроме как немилосердной (это суть любой власти), я смогу помогать страдающим, то я буду это делать.

Любое даяние — благо.

В одном из любимых фильмов моего детства про Котовского (тоже ведь разбойник, которого царская власть приговорила к казни, а при большевиках он стал полководцем, народным героем) главный герой, его играет Мордвинов, восклицает, указывая на свою жену — доктора (Вера Марецкая): «Мы калечим, а она — лечит!»

У нас наоборот: они (власть) калечат, а мы (писатели) лечим. Это про наше больное и неизлечимо жестокое, погрязшее в крови общество.

Но, понятно, ничего подобного я не произносил, проходя сквозь властные кабинеты. И вообще, вид у меня был далеко не боевой. Минуя бесконечные, с красными ковровыми покрытиями коридоры, старался ступать по ним неслышно, испытывая при этом отвращение к самому себе за такое рабское поведение. Но это было выше меня, кто испытал, тот меня поймет. Ибо страх перед властью, любой властью, впитался в нас... Нет, нет, не с молоком матери, а с детдомовской затирухой да еще с генами моих дальних и недальних предков — конечно, тоже рабов.

Да на памяти времена, когда любой участковый милиционер или колхозный активист мог прикрикнуть на деревенскую старуху, произнеся роковые слова: «А вот я тебя на карандаш возьму!» Этот доставаемый карандаш был пострашней пистолета!

Ну а спроси любого из толпы, — часто ли им, на протяжении жизни, приходилось посещать обитель небожителей. Властителей наших душ! Лично мне — никогда. Видел, правда, на каком-то съезде писателей, с галерки для гостей, многоречивого Никиту Хрущева. Но издалека, так что было это еще менее реально, чем смотреть, скажем, по телевизору.

«Вкусна куриная лапка, — произносила обычно моя мама и с лукавой улыбкой добавляла: — А ты ее едал? Да нет, видал, как наш барин едал...»

Кононов... Ковалев... Шахрай... Бурбулис...

Наконец, Ельцин.

Ну, правда, у Бориса Николаевича, в его кремлевском кабинете, я побывал лишь один раз и лишь после года моей работы.

А в первых числах марта желтеньким нестандартным ключиком мне отворили двери в кабинет, это оказалось через стенку от самого Шахрая.

— Заходите... Будьте как дома...

Как дома — это как?

Не вошел, а как бы вдвинул насильно себя в казенное помещение. Стандартный предбанник. Направо кабинет небольшой — видать, для помощника, налево огромная зала, без самоката не объедешь, и почти от дверей уходящий в безразмерное пространство, будто взлетная полоса, стол для заседаний и второй стол, для — как бы выразиться поточней? — для восседания, что ли. Я за него почти и не сажился. Пустые сероватые стены, несколько гвоздочков от картин или карт, зеленая дорожка, множество — тоже с зеленой обивкой — стульев...

— Это... зал?

Мой дрогнувший голос утонул в глубинах помещения.

— Нет, это место, где вы будете работать. Здесь работал прежде Пуго... Комитет партийного контроля... КПК.

Нужно было что-то произнести. И я сказал словами Михаила Светлова:

— И зачем бедному еврею такой дворец!

Правда, его слова относились к близкой женщине... Но я искренно недоумевал по поводу размеров кабинета. Сжимая злополучный ключик в кулаке, я решился шагнуть в кабинет и обнаружил, что все в нем взаправду: и стол буквой «Т», и традиционная зеленая лампа, и перекидной календарик, и корзиночка для бумаг... И масса телефонов. Я долго в них путался.

Первый кабинет в моей жизни... Да в соседстве с Кремлем. Но видно, Всевышнему понадобилось и такое мое испытание. Все остальные я вроде бы уже перенес... Что же касается самочувствия, странного с самого начала, так оно было вызвано не только робостью или непривычкой; вот и секретарша моя, которая скоро появится, будет себя уют-

но тут ощущать, жаловаться на какие-то шумы и тяжкую атмосферу... Слишком, наверное, много отрицательных эмоций впитали эти стены, поскольку тут вершилась высшая партийная казнь.

Так я подумал и вскоре попросил священника отца Александра освятить кабинет, что он и сделал. Принес свое одеяние, прочитал молитву, побрызгал на углы и стены, выметая нечистый дух, а мы, все члены Комиссии, выстроились вдоль стены, вдруг почувствовав необыкновенность происходящего.

Да какие партийные стены, повидавшие многое за время прежней власти, могли это выдержать?

Но ведь и мы сами были частью абсурда, творящегося вокруг власти. А мой приятель Михаил Федотов, в ту пору министр печати, оглядев кабинет опытным глазом, заметил, что сюда бы на стены, пока что голые, развесить картины соответствующего содержания... «Утро стрелецкой казни», к примеру, или «Боярыню Морозову»... Или что-то подобное...

Я согласился. Но сделал по-своему, и со временем здесь возникла галерея детских рисунков. Даже окаменевшие от бесконечных кровавых дел сердца некоторых членов нашей Комиссии смягчались при виде их.

Думаю, это единственный кабинет из тысячи кремлевских, где официальные стены украшались не портретами Президента и не огромными географическими картами, а детскими рисунками...

Так вот, я шагнул в двери необъятного кабинета, в котором, при желании, мог бы разместиться среднего размера детский сад. Опустился на ближайший ко мне стул в торце длинного стола, упирающегося обратным концом в другой стол, поставленный в виде буквы «Т», с многочисленными телефонами и настольной лампой, традиционно с зеленым стеклянным «кремлевским» абажуром, знакомым по разным хроникам. Там я и должен был теперь сидеть. Но как бы наперекор традиции, а может быть, судьбе, я так и остался существовать в торце этого километрового стола и прижился, и заседания здесь, в отдалении от грозных кремлевских вертушек, проводил, и гостей принимал, пока специально

для них не придумал совсем уж крошечный столик с искусственными цветами в уголочке, у стены.

В первый заход вряд ли я успел рассмотреть что-то еще, смущенный своим теперешним положением. Надо было сообразить, на каком же свете я нахожусь.

ДЕЛО КРАВЧЕНКО (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Поразмыслив, через какой-то срок я решительно попросил секретаря — пока еще не моего секретаря, мой появится чуть позже — принести мне папочки с делами казненных.

— Тех казненных, — уточнил я, — по отношению к которым была совершена ошибка.

— Судебная? Ошибка?

— Ну да. Судебная... Их, кстати, много?

— Сейчас посмотрим... Мы и сами не знаем, сколько их, никто же никогда не спрашивал.

— Ну, а я прошу.

Папочки, которые нам будут подавать на смертников, — зеленого цвета, на жиденькой обложечке так и обозначено: «Осужденные к смертной казни». Но сами дела в архиве хранятся в прочных папках желтого картона с красной огромной буквой посередине. Я по наивности даже поинтересовался, а что может обозначать эта красная буква «Р». Мне не верилось, что моя догадка верна. Но мне так же просто отвечали, что обозначает она слово «РАССТРЕЛ», а больше ничего.

— «Р» — это расстрел? — переспросил я недоверчиво.

— Ну а что еще?

— Это чтобы не перепутать? Да?

— Перепутать невозможно, — отвечали. — Но так всегда было. Эти папки с давних времен.

Открываю. Александр Петрович Кравченко, 1953 года рождения, отец — колхозник, мать — уборщица. Арестован в 1982 году по обвинению в изнасиловании и убийстве девятилетней Лены Закотновой.

В деле об этом написано так:

«22 декабря около 18 часов вечера Кравченко, находясь в нетрезвом состоянии около трамвайной остановки, встретил

малолетнюю Лену Закотнову, возвращавшуюся из школы, за-тащил ее в безлюдное место на берег реки Грушевки, где сжал ей горло руками и держал до тех пор, пока она не перестала сопротивляться; завязал ей глаза шарфом и изнасиловал в обычной и извращенной формах, затем нанес ей три ножевых ранения в живот и бросил труп в реку... Труп был обнаружен под пешеходным мостом, на нем в числе другой одежды было красное пальто с капюшоном и комбинированные войлочные сапоги... Чтобы скрыть следы преступления, Кравченко забросил в речку и нож, после чего вымыл руки, привел в порядок одежду и ушел домой. Потом он вернулся, вспомнив о портфеле, и его тоже выбросил в речку недалеко от своего дома... Дома его ждала жена Галина и подруга жены Гусакова.

Кравченко вину свою в содеянном не признал и показал, что 22 декабря в 18 часов 15 минут пришел с работы и после этого никуда не выходил. На предварительном следствии вину он признал под влиянием незаконных методов работников милиции...»

Что это за методы, мы сегодня уже знаем: с ним в камеру был посажен уголовничек, который каждый день его избивал. Были применены «методы» и к его жене и ее подруге. Им пригрозили тюрьмой и расправой над их детьми. Обе после этого дали показания, что вернулся Кравченко домой не в 18 часов, а в 19.30.

Именно показания на предварительном следствии суд признал достоверными, поскольку они соответствовали всей совокупности собранных по делу доказательств — и сперма, происхождение которой от Кравченко не исключалось, и кровь на свитере обвиняемого, сходная с группой крови убитой, и частицы растений, обнаруженные на его одежде, были, по мнению судебно-биологической экспертизы, однородными с растениями на месте преступления.

Вот тут и задумаешься о том, что всегда можно свести все доказательства воедино, если этого кому-то хочется. Но что же делать тогда с другими делами, в которых мы прочтем о страшном убийце и о группе крови и других совпадениях... Не шевельнется ли в душе червячок сомнения: а вдруг и здесь — ошибка!

Ведь тогда... Я делаю первое для себя и невозможное для осознания открытие... Тогда... любой человек, кто бы он

ни был, может пойти на эшафот невиновным. И я... И вы... И кто-то иной...

Вообще, любой человек.

Председатель областного суда (фамилию не стану называть, он не лучше и не хуже других) впоследствии будет утверждать, что сомнений в виновности Кравченко у него тогда не было и по совокупности преступлений Ростовским судом он был приговорен к смертной казни.

Ходатайство его написано аккуратно, синими чернилами, и почерк у него почти детский, очень старательный.

«...Всеми возможными средствами от меня добивались признания в преступлении, которого я не совершал... Был бы труп, можно найти любого, кто не сможет доказать своего алиби... В данном случае это было сделано со мной... Я не прошу у вас помилования за то преступление, которого не совершал, а хочу, чтобы вы, высшая инстанция, более тщательно просмотрели дело и решили мою судьбу и также жизнь...»

Эти слова будут многие годы звучать в моих ушах, ибо этот человек лучше, чем его образованные оппоненты, разобрался в юридических тонкостях нашей судебной практики.

«...Я все равно даже перед лицом смерти буду знать и говорить, что я не виновен в этом преступлении, пусть легче станет тому, кто вел следствие и не сумел найти настоящего преступника, пустив пыль в глаза общественности... Я не такой уж социально опасный элемент, каким меня разрисовали...»

Это не только крик незащитного человека, это его обвинение всем нам, уже практически оттуда. Он уже понял, когда писал это последнее письмо, что пыль в глаза общественности удалось пустить, но потребовалось уничтожить человека. И его уничтожили. А безымянные расстрельщики, наверное, твердо верили, что это приведенное мной письмо не прочтет и не услышит никто.

Как, наверное, многие из других дел, других писем, что были до меня.

Последней на этом ходатайстве стоит подпись тогдашнего Председателя Верховного Совета. По совместительству он еще и руководил помилованием. Впрочем, можно пред-

положить, что сам он вряд ли читал обращение смертника. Читал, как водится, кто-нибудь из помощников, и он же, от имени верховной власти, вывел последнее решение: «Учитывая, что Кравченко совершил изнасилование и убийство малолетней... ходатайство отклонить. М. Яснов».

И вот она, вершина человеческой несправедливости, последняя строчка в деле:

«Приговор в отношении Кравченко Александра Петровича приведен в исполнение 5 июля 1983 г. Прокурор РСФСР, государственный советник юстиции 1 класса Б.В. Кравцов».

А в девяносто первом году следователь бригады прокуратуры специально посетил украинское село Разумовка и сообщил матери Кравченко Марии Степановне, что приговор в отношении ее сына отменен.

— А сам-то он где? — спросила бедная мать.

Что могли ей на это ответить?

Могли бы, если бы захотели, рассказать о ростовском маньяке Чикатило, убийство Лены было первым его преступлением. Осуждение невинного Кравченко практически развязало ему руки. Если бы не это, не было бы стольких бед для других, череды ужасов, которую испытали многие и многие, потеряв своих детей и женщин в течение десяти лет.

Более пятидесяти жертв, в основном детей и подростков, стоит за одним невинно убиенным.

Такова цена несправедливости.

Но вот какой эпизод возникает из жизни Кравченко, о котором я не могу не упомянуть: был у него грех в детстве, в 14 лет раскопал он гроб покойника на кладбище, за что отец понес материальную ответственность, заплатив штраф 30 рублей.

В американской школе молоденькая, такая наивная учительница пытается внушать детям истины добра... Это из кинофильма, снятого по знаменитому роману. Где-то в финале на лестнице с односторонним движением вниз (есть, оказывается, такие лестницы), что-то перепутав, пытается она пройти, пробиться вверх, сквозь мощное движение своих учеников, которые буквально валятся ей на голову, и она в беспамятстве мучительно продирается сквозь них, против их общего течения.

Сцена символическая, ибо все ее попытки научить детей благородству и честности заканчиваются трагической неудачей.

Фильм, а возможно, сама книга, так и назывались: «Вверх по лестнице, ведущей вниз».

Каждый раз я вспоминаю ту несчастную учительницу, когда думаю о наших судорожных попытках идти против общего движения, направленного вниз, в пропасть.

Вся наша работа по помилованию представляется мне такой же безнадежной попыткой подняться по лестнице, которая на самом деле ведет лишь вниз.

Крошечная кучка в полтора десятка человек, как водится, в безнадежной и вечной попытке служить своему народу, а с другой стороны – сам народ, общество, Россия, не желающие знать ни о каком милосердии, но лишь о том, чтобы посадить, ужесточить, наказать, унижить...

Казнить.

ЗОНА ВТОРАЯ БЫТОВУХА

ЗАЧЕМ НАМ ТАКИЕ ХРОМОСОМЫ?

Начать эту очень нелегкую для меня главу можно со статистики: в России от рук преступников погибает тридцать тысяч человек, из них, повторюсь, около шестнадцати тысяч женщин.

При этом прошу помнить, что статистика такого рода неточна. Она учитывает лишь те преступления, где человек погибает сразу, на месте; ну, а если, к примеру, он умер от того же преступления через несколько часов, на пути в больницу, он может в эту статистику и не попасть. По всей вероятности, общее количество гибнущих от рук преступников можно спокойно увеличивать еще на одну треть или на половину. Тогда уже цифра подпрыгнет до сорока пяти — пятидесяти тысяч. Для примера: в Риме, самом посещаемом туристическом центре Европы, всего 18 убийств в год.

О судьбе женщины мы поговорим особо, а тут я хочу привести некоторые научные данные, из которых можно заключить, что наш брат мужчина более агрессивен биологически, благодаря мужским половым гормонам. Мыши-самцы после кастрации свою агрессивность якобы теряют. Есть предположение, что к жестокости склонны мужчины с определенным набором хромосом — XXУ, в то время как у остальных всего — XY.

Вникать в эти тонкости не стоит, но запомнить надо, что именно первая формула встречается чаще всего у за-

ключенных, хотя убей меня бог, если я когда-либо слышал, что кто-то наших эков всерьез изучает. У нас и «свободное» население некому не то что исследовать — лечить. Но вот оказывается, что и химические элементы, из которых состоит наш организм, тоже влияют на наши криминальные качества, и лица с повышенным содержанием тестостерона, адреналина, эстрогена, прогестерона — гормонов — тоже носят в себе черты повышенной агрессивности.

Теория-то, может, и верна, но опасна для тоталитарной системы и для нашей тоже, ибо может дать повод провести такую превентивную проверку, а то и изоляцию ни в чем не повинных граждан. Но кстати, у не столь агрессивных женщин жестокость тоже возрастает в предменструальный период; в это время, по мнению тех же ученых, совершается около шестидесяти процентов всех преступлений, в то время как в остальные дни около двух процентов. И в некоторых странах по существующим там законам период менструации считается смягчающим обстоятельством.

Но хочу сразу отметить, что преступления, совершаемые женщинами (нашими женщинами), по моим личным наблюдениям, отличаются если не массовостью, то изощренной жестокостью. У нас будет еще возможность прочитать несколько дел, касаемых преступлений женщин против своих детишек. А пока упомяну о письме некоей Вержбовской, просидевшей всю жизнь по тюрьмам за мелкое воровство. Последний раз она стащила сумочку, где ничего, кроме записной книжки да фотографии, и не было, и получила шесть лет. Приведу ее письмо с сохранением лексики и орфографии: «Вот решила обратиться с просьбой, зная, что не самый подходящий момент. Но больше молчать не могу сил уже не хватает, возраст за шестьдесят, а сорок лет из них провела в исправительно трудовых колониях, где я выполняла из года в год государственный план. В 13 колониях нахожусь за незначительные преступления имею звание особо опасной рецидивистки, а сама я Ленинградка. Всю блокаду была в Ленинграде. Последняя моя судимость в 1988 году по статье 144 осуждена к 6 годам... Суть моей просьбы к вам, в войну я растеряла своих родственников и так свыклась со своей участью, да и что скрывать, была усталость, так хотелось начать свою жизнь снова но никак

не удавалось и поддержки не было ни от кого и все начиналось сначала. Но в 1990 году я случайно разыскала родную сестру и сейчас веду с ней переписку которая ждет меня к себе. Я прошу верить мне, я никогда в этих местах где прошла моя жизнь...»

Я посмотрел ее другие судимости, все мелочи, мелочи. Ей вклеили срок даже за подделку в паспорте, где вписала она себе прописку... Господи, но она же родилась здесь, и блокаду перенесла, и родителей здесь потеряла... Может, ее жизнь не была бы такой, если бы не война!

А от нее пришло потом еще письмо с трогательным названием: «Напоминание».

«...О моих ошибках я уже писала, повторяться не буду, очень хочется верить, что все-таки меня поймут правильно (эти слова она подчеркнула), я очень устала, дайте возможность освободиться пораньше, пока живы хоть родственники, которые помогут мне в жизни...»

Наверное, вы догадались, что я намеренно не даю ответа, что же мы решили по поводу осужденной Вержбицкой. Каждый из читателей может сам произнести последнее слово: милости или немилости к ней.

Хочу лишь напомнить, что милость — это вовсе не реабилитация, и любой злодей имеет право на облегчение участи, если он понес наказание, а потом раскаялся.

Пример тому дает Библия, где убийца пастуха Авеля, родной его брат земледелец Каин был помилован Господом, его не лишили жизни, а лишь превратили в скитальца на земле, как бы приговорили к «пожизненному сроку» — вечно нести свою «каинову» печать.

О милосердии писал и Александр Сергеевич Пушкин, помните, в «Капитанской дочке» — невеста Гринева Маша добивается приема у самой царицы...

«Вы сирота, вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» — спрашивает царица.

«Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия», — говорит Маша.

А строки: «Милость к павшим призывал» хоть и хрестоматийны, но редко понимаются моими согражданами, как бы оно полагалось.

Женская тема вовсе не ограничивается историями, похожими на ту, которую я привел. На наших заседаниях, где каждый имеет право на собственные убеждения (и предубеждения), как и на выражение личных чувств, я и сам, каюсь, из тех, кто плохо прощает преступления против детей, ибо в детстве пережил жесточайшее отношение со стороны взрослых.

Но в то же время почти в каждой папке, получаемой нами еженедельно (а в ней более ста дел), есть дела о молодых матерях, которые убивают своих новорожденных. В судах им дают обычно года два, но мы их милуем, ибо знаем, что причина — наша собачья жизнь, при которой женщина, отчаявшись прокормить и вынянчить, губит свое дитя. А вот в можайской женской колонии из семнадцати детишек до трех лет, живущих в лагерном Доме младенца, посещаются своими мамами трое... Остальные будут выкинуты вскоре за пределы колючей проволоки и никогда не узнают, кем они рождены.

Но может, это лучше, чем убийство своих детей?

Так, некая Валя Батусова убила своего внебрачного ребенка, во время прогулки она зажала ему рот и нос руками, а потом засунула в рот платок... Ну что ее держать в тюрьме, она наказала сама себя, да и платочек этот, как в романе Булгакова, будет ей являться мысленно до конца жизни!

Но случаются такие драмы, что лишь ахнешь да удивляешься на романтически настроенных девиц девятнадцатого века, тут и лесковская леди Макбет перестает волновать воображение.

Некая Татьяна Серова двадцати лет имела внебрачного сына Мишу одного года, но, встретив желаемого мужчину, поняла, что ребенок для создания будущей семьи станет помехой. У самой, по-видимому, рука на ребенка не поднималась и к участию в убийстве она привлекла тринадцатилетнюю Михасеву.

Однажды, гуляя, они пришли в лесной массив и стали металлическими лопатами копать яму для будущей могилы. Однако пошел дождь и яму выкопать не удалось. Тогда они развели костер, намереваясь сжечь ребенка (живого?!), но откуда-то прибежала детвора и расстроила их планы. Позже они снова углубились подалее в лес, где вдвоем попытались повесить ребенка, но у них ничего не получилось. Тогда три-

надцатилетняя Михасева опустила его головой в лужу и держала, пока он не захлебнулся. Но и после этого ребенок еще был жив, и это был явный знак, чтобы они его пожалели.

Но нет, в будущей семье ему места не было. Как и в этом мире вообще. Щебетали птицы, зеленые тени бежали по траве. А двое, девочка-подросток и молодая женщина, выкопали яму и зарыли в нее еще живого, он дышал, ребенка...

Мы не нашли в себе сил помиловать эту самку, и вряд ли ее суженый станет ее ожидать целых девять лет. В лагере она на хорошем счету, принимает активное участие, как написано в характеристике, в общественной жизни. Но ни одного словечка раскаяния нет в ее ходатайстве. И нигде нет упоминания о маленькой соучастнице по убийству, о Михасевой, а ведь теперь, наверное, она сама молодая мама.

Только вот как у нее там с душой, не побаливает ли, да и способна ли она открыто смотреть в глаза своему, если он есть, ребенку?

Размышляя о некоторых национальных чертах нашего народа, нельзя сбрасывать со счетов повышенную эмоциональность, а может, иррациональность в его поведении, иначе мы не смогли бы до конца понять многих дел, когда из-за ревности люди, прожившие десятки лет, убивают друг друга, убивают соперника или соперницу, да при этом еще пытаются прикончить себя. Лесковская упоминаемая мной «Леди Макбет Мценского уезда» дает нам возможность понять что-то из дел и нынешних.

Рисковую перебранку с темой, которая меня более всего тревожит, — это преступные деяния по отношению к детям. Но с другой стороны, чего мы все стоим и чего стоят наши красивые книжки и вообще наша культура, если уже не малая детская слезинка пролилась по нашей вине, как писал Достоевский, а море слез, и мы при этом еще находим возможность спокойно существовать и наслаждаться жизнью. В то время как рядом с нами (ну совсем рядом!) происходит нечто противоестественное, не поддающееся никакому объяснению.

Так, некая Любовь Райская, тридцати пяти лет, повар, испытывала неприязнь, как написано в деле, к своему шестилетнему сыну. И все лишь потому, что был он похож на отца, с которым она рассталась. Первого апреля около пяти

часов утра при температуре минус двадцать один градус (это было в Красноярском крае) она завернула спящего сына в покрывало — теплый сладкий комочек — и отнесла на расстояние один километр от дома в лес, вытряхнула на снег и пошла домой.

Мальчик был в майке и трусах, он побежал вслед за мамкой, догнал ее и попросил согреть.

Как просил, не знаю, этих слов в деле нет. А они должны были бы быть. Она взяла его на руки, и вы, наверное, представляете, что, охнув и поняв всю ужасность замысла, она завывла в голос и прокляла себя. Я думаю, что и мальчик решил, что она пожалела, что она решила его согреть. Так вот: на руки она взяла, чтоб... Чтобы отнести его еще дальше... Дальше! Где он, брошенный на снег, погиб.

К этому добавить нечего. Это — насквозь. Особенно когда читаешь про «потом», что к труду Любовь Владимировна относится добросовестно и принимает участие в общественной жизни...

А ей молиться надо. И вряд ли она отмолится, как и та, что зарывала живого ребенка.

Хочу отметить, что дела, которые мы читаем, несколько отличаются от тех, что мелькают в уголовных хрониках, завораживая охочую до острых ощущений публику жуткими сценами изнасилований или убийств. Бывает, для полного удовлетворения там еще скажут, что преступник понес суровое наказание или был казнен.

У нас же, как в зеркале кармы, можно увидеть не только кровавый эпизод, но и целиком судьбу, где все друг с другом взаимосвязано: социальные условия, быт, воспитание, пьяные дебоши и семейные неурядицы, а потом и само преступление как некий итог всего остального. А дальше наказание, и долгое переосмысление всего самим героем, если оно, конечно, было, и даже в некоторых случаях продолжение жизни героя уже за стенами тюрьмы.

И хоть можно заметить, что я до сих пор не столь уж жаловал женщин, посвятив им первые два эпизода и дав возможность судить читателю, насколько они достойны милосердия, но по другим делам будет видно, что именно женщины страдают в бытовых преступлениях прежде всего.

Было время, когда медики призывали беречь мужчин как более слабую половину человечества. Нетрудно убедиться, что мужчины (я говорю о наших российских мужчинах) сильно сдали, и есть подозрение, что они вырождаются. Отсюда, возможно, такая их возросшая агрессивность.

Но и женщины на проявленную к ним жестокость отвечают еще более изощренной жестокостью. Да и женщины ли они в этот момент?

Две старые женщины, обеим под шестьдесят, решили известить мужа одной из них, он злоупотреблял, как написано, спиртным и — не удивляйтесь! — половыми извращениями. В чем они заключались, из дела понять нельзя. Но нам попадаются время от времени уголовные дела, где мужа и избивают и даже убивают лишь за то, что он осмеливается предложить жене в постели нечто иное, чем то, к чему она привыкла.

Впрочем, допускаю, что это лишь одна из причин, не из самых главных. Ну а наши героини для храбрости поддали и, дождавшись, пока муж уснет, попытались влить ему в ухо из градусника ртуть. Но ртуть не подействовала, да и не совсем понятно, почему ее надо лить, скажем, в ухо, а не в суп или куда-то еще. Тогда они поменяли ртуть на более действенную кувалду и в четыре руки размозжили ему голову, потом вывезли труп на тележке к водоему и сбросили в воду.

Нет человека, как говаривали сталинские прокуроры, — нет и проблемы. Это в старые, в классические времена нанимали адвокатов для развода в суде, привлекали свидетелей, выматывали себе и ближним нервы или же благородно, как Федор Протасов у Толстого, инсценировали самоубийство и удалялись, освободив место счастливому сопернику. Нынешние, как видим, упростили процедуру развода до минимума.

Теперь наши доморощенные убийцы просят о помиловании, а в тюрьме ведут себя кротко, обе, как написано, активно работают в санитарно-бытовой секции, проявляя милосердие к другим лагерникам.

Вот и пойми ее, загадку русской души.

В домашнем обиходе российская женщина проявляет чудеса терпения, но выйдя из себя, она способна на любой отчаянный поступок.

«Коня на скаку остановишь?» — спрашивает один герой анекдота другого. «Нет». — «А в горящую избу войдешь?» — «Нет». — «Я так и понял, что ты не баба!»

Так, некая Баланцева, тридцати лет, не выдержав избиения, нанесла мужу четыре удара ножом и, оставив его внутри, подожгла дом. Муж погиб в огне. Отомстила, хотя сама же осталась без крова и без вещей, с малым ребенком на руках.

Другая наша героиня, Трубачева Люба, в сходных условиях облила спящего мужа бензином и сожгла.

А три женщины, защищаясь от подвыпившего мужчины, который ввалился к ним в дом (как потом выяснилось, он укаживал за дочкой хозяйки), подняли дружно на руки, вынесли на балкон и сбросили с восьмого этажа. Любовь, как говорят, любовью, а в дом без приглашения не ходят. В его убийстве, кстати, поучаствовала и сама дочка, помахав вдогонку легкомысленно ручкой: мол, лети с приветом, вернись с ответом!

Да нет, теперь уж не вернется.

А у меня вопросик: что, если мужиков, и без того ослабевших от непрерывного возлияния, как тараканов морить и сбрасывать с этажей, не выведем ли мы их совсем? Может, его хоть для запаха в избе держать, если он совсем уж такой никудышный?

А если всерьез, хотел бы спросить уважаемого читателя, насколько же чувство мести, отмщения глубоко пронзило нашу русскую натуру, всю нашу жизнь, раз мы и прощать уже не можем и не верим не только в правосудие, которое у нас и вправду не шибко авторитетно, но и в небесную кару?!

Этой теме — отмщению — я посвящу отдельную главу, а здесь процитирую из Евреинова, «Историю телесных наказаний в России»:

«Наши предки воспитывались около плах и эшафотов, никогда они не собирались в большом многолюдстве, чем в дни торговых казней и военных экзекуций, их песни, их игры и забавы проникнуты потехой битья, «не бить» значило долгое время «не властвовать», «не учить», то есть быть не тем, чем похвально быть... «Домострой», основанный на плетях и сокрушении ребер, вошел в их плоть и кровь, — и вот теперь, когда все это предано осуждению и уничтожению, можно ли поверить, что восьмивековой обычай, освященный в свое

время государством, Церковью, лучшими людьми, прошел бесследно для впечатлительной души консервативного русского человека!»

В одной из рассматриваемых нами папок встретила меня такая история: пенсионерка Болдырева потеряла сына, которому некий Ильин причинил тяжкие телесные повреждения. Подробностей этой истории у нас нет, но известно, что против Ильина в свое время было возбуждено уголовное дело, которое вскоре было прекращено. Но, понятно, Болдырева не успокоилась и, считая Ильина виновным в смерти сына, решила ему отомстить. Она попросила свою знакомую найти человека, который бы за денежное вознаграждение согласился убить Ильина. Знакомая нашла человека, некоего Перепеличного, и тот с двумя соучастниками явился в дом Ильиных, захватив с собой спиртное, кой-какие продукты и клофелин. Это лекарство во время трапезы они незаметно подлили в водку Ильину, но оно не сработало, и Перепеличный, выйдя с женой Ильина на крыльцо, набросился на нее и задушил руками. В это время соучастники расправились с хозяином, нанеся ему восемь ударов ножом в грудь.

За свою работу Перепеличный получил два миллиона рублей, а потом пятнадцать лет тюрьмы, приятельница — миллион рублей и пять лет, а самой Болдыревой дали всего три года. И есть в деле приписка, которая дорогого стоит: «Суд отметил прямую причастность Ильина к смерти сына Болдыревой».

Результат: ошибку суда исправляет пострадавшая, хотя сама становится соучастницей убийства. Но принцип кровной мести — око за око, зуб за зуб — тут очевиден. А если бы Ильин или тем более его жена оказались невиновны?

Самосуды, которые стали у нас практиковаться (известны случаи расправы над убийцами, которых осудили, но не к смертной казни), происходят не просто от неверия в справедливость, но и от нашего неправового воспитания. От «репрессивного мышления», как называет его журналистка Инна Руденко.

Ну а нужны ли нам права вообще, может, без них жить удобнее?

БЫЛА УВЛЕЧЕНА ЛЮБОВЬЮ

Пишу так много о женщинах не только потому, что женщины у нас менее защищены, но и потому, что обычно в их уголовных делах, независимо от содеянного, присутствуют более открытые, доступные для понимания чувства.

Итак, некая Лариса двадцати семи лет, работала медсестрой в больнице. Была она разведена и имела дочь тринадцати лет, которая проживала с ее мамой, и был у нее сын двух лет. Однажды, оставив сына, она ушла в квартиру своего знакомого, жившего в том же доме, только в другом подъезде. Там она неделю пропьянствовала, а ребенок умер без воды и пищи.

Допрошенная по существу предъявленного обвинения подсудимая пояснила, что «...распивала спиртные напитки и занималась любовью... Хотя могла позвонить матери и отдать ребенка. Но этого не сделала, так как была увлечена любовью, и все это время прошло у нее, как один день...»

«Знакомый» же рассказал, что Лариса была все время у него и никуда не уходила, готовила обед, стирала белье. Однажды он спросил ее о ребенке, но она ответила, что все нормально. И когда он узнал, что мальчик мертв, был потрясен, он полагал, что там находится ее мать. Когда он вошел в квартиру Ларисы, ребенок лежал в кровати, в мокрых колготках. Он снял с ребенка колготки, после чего вызвал машину скорой помощи...

Соседка по лестничной площадке обратила внимание, что ребенок из квартиры Ларисы плакал днем и ночью, а затем плакать перестал. Она сунулась было туда, но дверь была заперта, потому что на ней висела записка, чтобы в дверь не стучали и не звонили, так как ребенок спит.

Случилось это в Москве, а отбывает наказание Лариса в женской колонии в Можайске. Дали ей семь лет, отсидела четыре с половиной, и мы, обсудив ее дело, решили...

Впрочем, как мы решили, я потом скажу.

«...Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, — пишет нам Лариса. — Я нанесла глубокую душевную рану прежде всего себе. Никогда не смогу простить себе. Сколько проведено бессонных ночей, сколько пролито

слез. Я прекрасно понимаю, что, лишив ребенка жизни, не смогу вернуть ее, но тем не менее я очень прошу Вашего участия в моей судьбе...»

Далее она рассказывает, что имеет в колонии поощрения, участвует в общественной жизни коллектива и работает комелавщицей, утюжельницей и упаковщицей.

Заканчивает так: «Считаясь страшной преступницей, я не могу не написать, что дома меня ждет не только больная престарелая мать, но и несовершеннолетняя дочь...»

Никакая общественная жизнь, понятно, не может перетянуть на весах справедливости жизнь загубленного младенца. А вот второй ребенок — это уже серьезно.

И есть еще письмо матери, которое она так и назвала: «Материнское прошение».

Это еще одна неведомая нам страдательная сторона.

«Пятый год моя дочь в тюрьме. Да, она преступница. Но находясь в зоне, она иссохлась, исстрадалась, изболелась так, что нет месячных, заработала двустороннюю мастопатию... Но ее дочь 13 лет не может ничего понять. Она думает, что после смерти ее братика мамка сошла с ума... Но скоро вернется. Сначала девочка училась в московской школе, но ведь у нас очень «добрые люди», спрашивают о маме... Теперь мы уехали в Подмоскovie, ходим на лечение, так как обнаружены туберкулезные палочки... И она ждет, ждет свою маму. Мама была очень хорошая, добрая, никого никогда не обидела, я слезно Вас прошу...»

Ох, эти слезы матерей, которые омывают пороги судов. Сколько их пролилось, знаем только мы, читающие их письма.

И уж пора простить и забыть, но как забыть эти мокрые колготки на остывающем ребенке!

Не лучше ли и вправду представить добрую и хорошую мамочку, наверное, очень одинокую, у которой в любви время и правда прошло как один день. Ведь она в том, другом, дому в своем забвении, может, и была счастлива, потому что почувствовала себя наконец-то бабой, кому-то очень нужной, потому и готовила, стирала...

И не нашла одной-единой минуточки, чтобы дойти до своего, по соседству, подъезда...

А вот еще одна история. Один из жильцов дома услышал крик и плач ребенка. Выглянув из кухни, он увидел, что на балконе пятого этажа молодая женщина держит за руки трех-четырёхлетнего мальчика, который висит за перилами балкона. Там же, на балконе, мужчина хочет дотянуться до рук мальчика... Еще одна жилица с десятого этажа услышала из квартиры крик ребенка, открыла окно спальни и увидела висящего мальчика, которого держит за руки женщина, а мальчик кричит: «Мама, не хочу, боюсь!» Жилица тоже крикнула этой женщине, что она может уронить ребенка, но та не обращала ни на кого внимания... (из дела).

Уж казалось бы, можно и привыкнуть, что мы страна не из добреньких, если два миллиона ребятишек при живых родителях выкинуты у нас на улицу. Но участь брошенных детей, наверное, еще не самая худшая, они как-то приспособляются и, страдая и голодая, все-таки живут. Но есть и другие, самые маленькие и беззащитные, погибающие от произвола своих ближних... Вот как упомянутый мальчик по имени Илья.

Его мать, двадцатилетняя Надежда Калинина, оставила на мужа ребенка, а сама ушла к своей подруге, где и проживала, а точнее — прожигала жизнь. Воспитанием Ильи занялась бабушка. А в тот сентябрьский денек беглая мамка получила от бывшего мужа деньги на подарок ребенку, купила на них несколько бутылок вина и зашла к некоему Анисимову домой. Туда же пришел еще один собутыльник с семилетней дочкой Оксаной. Пока взрослые распивали на кухне спиртное, Илья и Оксана, заигравшись в «зале», расшумелись, что вывело пьяную Калинину из себя. Она схватила Илью в охапку, выскочила с ним на балкон и перебросила через барьер, держа за руки. Выбежавший следом хозяин попытался дотянуться до мальчика, но мама опустила руки ниже... А потом их разжала... Какая-то женщина внизу закричала ей: «Убийца! Убийца!»

Калинина, не обращая ни на кого внимания, прошла на кухню и налила себе вина. А на предложение хозяина спуститься к лежащему на улице Илье выругалась и даже закатила истерику.

В деле еще написано: «Никто из квартиры за ребенком не пришел».

В этой строчке сказано все.

О так называемой мамке сказано, что она «вела аморальный образ жизни» и ее «интересовала личная жизнь». Во время следствия она собственноручно напишет, что сбросила ребенка с балкона, потому что «...не любила его и не хотела, чтобы он жил...»

Финал у этой истории лучше, чем может представить читатель: Господь волей случая сохранил Илье жизнь. Он даже не покалечился. А сердобольная бабушка в просьбе о помиловании напишет, что «...Илья все понимает и помнит, что случилось, но, поверьте, он в свои семь лет (с тех пор прошло три года) не понимает, что его мама наказана...»

О Калининой же сказано, что она в ИТК добросовестно относится к работе, «...оказывает помощь другим осужденным в освоении пошива...»

Душу латает?

Впрочем, среди многих слов от самой мамки о душе-то ни словца.

«А был ли мальчик? — восклицает горьковский герой в «Климе Самгине». — Может, мальчика и не было?»

Здесь мальчик точно был, а вот была ли душа... Может, души и не было...

История некоего Протасова (фамилия-то какая!), осужденного в двадцать четыре года на смертную казнь, куда потяжелее. У него на квартире проживал друг, к которому он приревновал свою жену. В тот день он был очень пьян, а дверь, как ему показалось, долго не открывали. Решив, что жена и квартирант занимаются любовью, он стал колотить в дверь, а когда жена открыла, он, разъярясь, напал на нее, повалил, стал ее душить... Ее вырвал друг... Дальнейшего он не помнит. Очнулся же, по его словам, когда увидел на полу два тельца своих дочерей: двух и трех лет. Одна из них еще шевелилась. Он взял ее на руки и побежал звонить к соседям, но они не открыли дверь. Через некоторое время он почувствовал, что и эта дочь умерла. Тогда он положил ее и пошел в ванную комнату, где и был задержан милицией. Свидетели рассказали, что он в беспмятстве хватал спящих крошек за ноги... Простите, это не только представить, но и написать тяжело... С силой бил их об стену головками...

А вот что он написал: «...Рассмотрев мое помилование, взять во внимание, что я прошу Вас как Президента РФ сохранить мою жизнь. Да, я согласен с приговором за свое преступление, но, совершая преступление, я зашел за рамки здравого смысла и не старался ничего скрыть, так как я знаю, что совершил преступление не в трезвом состоянии, я этого и сам от себя не ожидал, что я на это способен...»

Мы уже давненько зашли за рамки здравого смысла. Но давайте во имя собственного же спасения побережем наших детишек. Если мы, конечно, на это еще способны.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Так называлась книжка моего детства, дивная книжка Перельмана, в которой при помощи цифр доказывались самые невероятные вещи. Ну, такие, например, как то, что полуживой человек и полумертвый обозначают как бы одно и то же. Математически это выглядело бы так: $0,5$ живого человека = $0,5$ мертвого человека. Цифры (по $0,5$), понятно, сокращаются, и в результате: живой человек = мертвому человеку.

Наша математика примерно о том же, о живых, которые потом становятся неживыми, только циферки у нас не столь абстрактные, а вполне реальные.

Например, известно, что в России всегда преобладали убийства бытовые, еще недавно, скажем десять лет назад, в криминальной статистике они занимали первое место, около сорока процентов. В то время как убийства при разбойном нападении, или при изнасиловании, или из хулиганских побуждений в совокупности едва-едва достигали двух процентов — таким, думаю, это соотношение остается и поныне.

Как говаривал один мой знакомый, правительства приходят и уходят, а краны все равно текут... При этом он добавлял: соседи страдают от соседей, и все обречены, имея в виду бытовые проблемы, которые в России становятся чаще всего и проблемами уголовными.

Бунин писал: «Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это то, что называется «обыкновенные люди», случайно оскорбленные жизнью и случайно совершившие преступление; и они никогда не бывают рециди-

вистами, они чужды антисоциальных инстинктов... Совершенно другие преступники «инстинктивные», преступники душевнобольного склада. Эти всегда дети, как животные, и главный их признак, коренная черта — жажда разрушения, антисоциальность... В мирное время мы как-то забываем, что мир кишит этими выродками, атаквистическими натурами, огромное количество их сидит по тюрьмам, по «желтым» домам. Но вот наступает время (вроде нашей перестройки. — А. П.), когда «державный народ» восторжествовал... Двери тюрем и «желтых» домов распахиваются настежь, жгутся архивы сыскных отделений — начинается вакханалия... Русская вакханалия превзошла, как известно, все, до нее бывшее и весьма изумила и огорчила даже тех, кто звал на Стенькин утес послушать то, что «думал Степан»... Степан был «прирожденный преступник» по выражению уголовной антропологии...»

Но вот бытовуха как бы стала отступать (25%), хотя по делам, которые мы рассматриваем, это не очень заметно. А на передний план выплыли убийства «заказные», которые специалисты лирично именуют «убийством за вознаграждение». Этакий творческий вариант уничтожения человека. Не хватает творческого союза киллеров, но в нашей абсурдной жизни и это возможно.

Только есть странность, о которой население не догадывается, а представители МВД ее предпочитают не упоминать: среди тысячи двухсот смертников, которых мы за десять лет рассмотрели, нет ни одного убийцы, который имел бы отношение к этим семидесяти процентам. Лишь та самая бытовуха, да хулиганы, да насильники... Ну и сексуальные маньяки, которых можно пересчитать по пальцам, — зато наша пресса, охочая до жареного, так их разукрашивает, что они становятся чуть ли не национальными героями, и уже может показаться, что их сотни.

Получается, что смертными казнями всяких бытовых разбойничков наши доблестные милиционеры прикрывают настоящую преступность, от которой мы сегодня страдаем. И такой *занимательной математике* позавидовал бы сам Перельман.

Да вот, посудите сами...

ПИЛИ ДВОЕ (ГОЛУБАЯ ПАПКА)

«...Пили двое... В течение вечера и ночи они поспорили и подрались. Один ударил другого кухонным ножом в грудь и убил...»

Так начинаются сотни, если не тысячи, уголовных дел. Они похожи так, что можно составить одно «типовое дело» и в пропуски вставлять недостающие детали.

Кто пьет? Да практически все. Муж с женой, брат с братом, сын с отцом и т. д.

Если посмотреть социальный уровень, то обычно это самые малоквалифицированные работники... Сантехники, ремонтники, дояры, чабаны и пастухи (обычно многодетные).

Много среди них кочегаров, сторожей, трактористов, грузчиков и водителей... Особенно почему-то много работников с железной дороги. И конечно, большое количество бомжей и пенсионеров.

Из дел последних лепится некий обобщающий образ пенсионера, ровесника советской власти, ею обработанного, обделенного, выпотрошенного до последнего на великих стройках коммунизма и с кучей болезней выкинутого теперь за ненадобностью. Образование у него обычно низкое: три-четыре класса, живет бедно, много пьет, бездуховен, агрессивен и в любой склоке порывается кого-нибудь прибить: соседа, жену, собственное чадо, которое раздражает..

Дают им сроки не более трех-четырёх лет, но что их ждет за воротами тюрьмы, обезумевших от этой непонятной им жизни?!

Именно о таких недавно умерший Виктор Астафьев с горечью отмечал, что «...часть из них так и не решилась расстаться с привитыми им вроде оспы жизненными постулатами, с навязанной идеологией, понятиями чести, совести, принципов, точнее, беспринципности...» И далее: «...надо было, — как считает писатель, — не по капельке, а по бисеринке выдавливать из себя привычку к крови, к смерти, приобретенную на войне, следовало из одноклеточного существа превратиться в нормального человека...»

Если бы!

Так где пьют?

Везде. Дома, на работе само собой, в дороге, в поле, в лесу, на берегу реки или озера, на вокзале, в машине, в магазине...

Что пьют?

Все, что возможно. Перечислять нет смысла, все равно список будет не полон. Удивляет лишь необыкновенная живучесть, стойкость потребляющего организма ко всяким кислотам и растворителям, которые легко плавят и камень, и стекло, и любой металл, но не могут перебороть нутро российского алкоголика.

Ну вот, для примера: «Двое рабочих потребляли на своем рабочем месте клей БФ...»

Или: «Удалившись на дачу, Круглов с возлюбленной пили всю ночь стеклоочиститель...»

Или: «Свежухин и Борисова в подсобке кочегарки распивали жидкое средство для уничтожения клопов...»

Одному алкашу с целью убийства дали выпить ядовитую смесь водки с дихлорэтаном, но это на него не подействовало, и его «...пришлось задушить...»

Какова продолжительность пьянки?

Диапазон обширен, но обычно ограничивается одним днем (понятно, рабочим) или одной ночью. Но бывают и исключения. Один пенсионер, купив на всю пенсию двадцать пять бутылок вина,пил со знакомой неделю и лишь потом ее прибил. А прибил за то, что она успела потребить из тех двадцати пяти бутылок больше, чем он сам.

Из-за чего же ссорятся?

Причин миллион. И все не столь уж объяснимые: кто-то кому-то недолил, или перелил, или предложил выпить, а тот отказался...

Этого вполне достаточно для убийства.

В одном деле сказано: «...Пассажир... угрожая ножом, заставлял другого пить с ним водку в туалете поезда...»

Говорят, что в России пьют «одним духом», по возможности на двоих или на троих, и открытая бутылка должна быть выпита до дна. Отказаться выпить или не допить в компании равносильно оскорблению тех, с кем пьешь. Зато согрешить во время пьянки, врезать кому-то, пырнуть ножичком или просто оскорбить не считается предосудительным.

В народе, но не в суде.

Пили двое... Некий Герасимов пятидесяти лет и его приятель, а когда тот отказался продолжать пить, встал и пошел, Герасимов, обидевшись, нанес ему удар ножом в спину, но лишь тяжело поранил, после чего допил стакан и повез приятеля в больницу...

Такая вот она загадочная у русского человека душа. Но, правда, кто-то однажды на Комиссии к этой фразе добавил: «И тело».

По этому же поводу писатель Юрий Давыдов однажды заметил: «Чаще всего слышишь о цене на колбасу, почти бесплатное приложение к поллитровочке... О цене на жизнь умалчивают...»

Пили двое, один стал жаловаться на жизнь, другой его из сочувствия погладил. Первому это не понравилось, он взял мелкокалиберку и застрелил жалельщика.

Но чаще даже так: «Сидели, пили в колбасном цехе, вдруг Кузьмичев без видимых причин ударил Шипкова... И убил».

Вот это «без видимых причин» в той или иной форме присутствует во множестве дел.

Чем убивают?

Да чем хочешь. Что под руку попадет. Кухонным ножом или той же бутылкой, топором, сапогом, бельевой веревкой, утюгом, мясорубкой, гвоздодером, кочергой с поленом (часто!), почему-то антенной, ремнем, зубилом, отверткой (это почти холодное оружие), собачьим поводком, крышкой от унитаза и так далее.

Встречаются весьма экзотичные орудия убийства, такие, как нунчаки, пика и даже булава! Кстати, милиция долго ломала голову, но решила приравнять булаву к холодному оружию.

Все это позволило одному исследователю преступного мира определить, что культура убийства в России довольно низка!

Но дело это поправимое: наступит война в Чечне, мы поднимемся в деле убийств до уровня ракет с их «точечными ударами»... Если только называть «точками» населенные пункты, поселки и города, которые выглядят точками лишь на карте.

В упомянутой мной книге Евреинова приведены стихи, написанные в 1863 году и посвященные драке:

«...От размашистой натуры не сидится нам: есть меж нами самодуры с страстью к кулакам. Все они чинят расправу собственным судом. Кто пришелся не по нраву, учат кулаком...»

В тех же стихах вообще про наш быт:

«Поговорку не напрасно выдумал народ, кто кого полюбит страстно, тот того и бьет. И выходит, что по мнению всех вступивших в брак, нежной страсти выраженье наш родной кулак...»

Автор книги утверждает, что «...кнут, правез, батоги и другие орудия истязания пришли к нам от азиатских народов. Русским вообще в те времена (XII–XIII века. — А. П.) совершенно чужды были телесные наказания...» Очень сомнительно это, тем более что в сноске указывается, как византийские и немецкие историки неоднократно упоминают о необычайных зверствах славян на войне. Можно подумать, что в домашних условиях эти люди вели себя иначе!

Зато какое разнообразие бытовых предметов употреблено у нас для убийства. Очень себя оправдывает, например, дешевый целлофановый пакетик, когда нужно кого-нибудь мучительно задушить. А совсем недавно, во время обсуждения дел, мы вдруг обнаружили, что двое убивали друг друга вафельницей, хрустальной вазой и хрустальной пепельницей, из чего смогли справедливо заключить, что уровень жизни у нас прилично-таки вырос. Во всяком случае, наши женщины на заседании — а у нас их двое — воскликнули, что лично у них в хозяйстве вафельниц и хрустальных пепельниц пока что нет.

Помните шутку времен тотализма: «Люди безусловно стали жить лучше, стоит только взглянуть, как хорошо одеты люди в очереди!»

А недавно прочитали мы про убийство при помощи... домашнего тапочка! Хотелось воскликнуть: какая мягкая смерть!

Частенько, не затрудняя себя поисками орудия убийства, наши подопечные бьют друг друга просто руками и ногами, а для большего эффекта валят жертву на пол, а потом прыгают на нее, скажем, с кровати. Очень даже помогает.

Прыганье на теле (на живом, разумеется) становится на нашей спортивнопрыгучей родине чуть ли не популярным видом спорта вообще.

Любят у нас также сбрасывать с балкона, особенно с верхних этажей. Ну а с тракторами, с техникой, которая предназначена для доброй работы, происходят странные вещи, она становится самым современным и удобным предметом убийства.

Трое пьяных поехали кататься на машине и потеряли девицу, которая отошла от машины по надобности и упала на дорогу. Они поехали ее искать, но так как фары в машине не горели, они не заметили лежащую девицу и переехали ее, прямо по голове.

А некий Пудовкин за отказ сожительницы в совместном проживании сперва нанес ей удар кулаком в лицо, а затем совершил наезд на легковом автомобиле. Колесами он проехал по телу, протащив ее днищем пятнадцать метров, потом стал совершать движения по ее телу, двигая машину вперед и назад. Но тело застряло под днищем, и машина заглохла, а водитель бежал... Финал же у этой истории необычен: женщина осталась жива и отделалась лишь легкими ушибами. Можно лишь представить дальнейшие события, исходя из других дел: она обнаружила муженька и на радостях распилала с ним в знак примирения очередную бутылку.

И еще один вывод: наши женщины не только «коня на скаку останоят...», но и самые живучие в мире, и никакой техникой их не раздавить.

Но повторю, нет предела изобретательности в этом деле, и встречаются самородки, изобретающие электробритвы, которые взрываются в руках нежеланного соперника, или для убийства ревнивого мужа специальное электроустройство, похожее на то, каким забивают скот.

Правда, в нашем случае оно не сработало, то есть не убило — может, из-за сильного перепоя жертвы, и пришлось изобретателю действовать традиционным, испытанным методом: добивать при помощи топора.

Встречаются и рекордсмены, достойные книги Гиннеса. Так, некий Власов, восьмидесяти одного года, убил во время совместной пьянки кулаком соседа. То ли силенку сохранил, то ли сосед был в его же возрасте, если не старше...

Что же происходит далее?

А далее, как правило, продолжают пить. О покойнике обычно вспоминают на второй или на третий день. И неважно, кто это — жена, с которой возвращены дети, мать, что тебя родила, родной брат, сестренка, сват, возлюбленная...

Бывает, что тело, еще дышащее, сбрасывают в подпол, и труп обнаруживается по истечении какого-то срока. Один находчивый пенсионер (прямо-таки Синяя Борода!) ухитрился в течение нескольких лет сбросить в подпол трех жен... После третьей там только их и обнаружили.

В упомянутом случае с прибором для забоя скота жертву разделали на двадцать три куска (и это подсчитано!), потом в чемоданах вывезли в другой город и там разбросали по свалке.

Местом захоронения частенько фигурирует бак для мусора, сточный колодец, отстойник, нефтяное хранилище, свалка и так далее. Обожают топить в реке, озере, канале. Или же сжигать труп в лесопосадках, облив бензином.

Один серийный убийца любил, например, отрезать головы и сбрасывать их в мусоропровод. Ему «нравилось», как он заявил на суде.

Да, в Музее восковых фигур мадам Тюссо таких выставляют напоказ. Вот некая Кузнецова, годков под шестьдесят, решила извести сожителя, поскольку он пропивал зарплату и не давал ей денег на хозяйство. Пользуясь тем, что он принимал внутривенно глюкозу, она ввела ему аминазон с воздухом, а еще «...закрыла дыхательные пути подушкой. Труп она расчленила, косточки выбросила на помойку, а мягкие органы растворила в кислоте и спустила в унитаза...»

Ровно накануне смотрел я по НТВ криминальный серийный фильм о преступлениях века, так там некоему убийце, весьма похожему (тоже растворял людей в кислоте), чуть ли не восковую фигуру поставили в лондонском музее мадам Тюссо.

Так ведь у них по статистике бытовых убийств на всю Англию, за весь год происходит около шестисот. У нас по пьянке происходит 600 тысяч преступлений, а более пятидесяти тысяч каждый год травятся насмерть всяческими суррогатами.

И никакой, представьте, ни-ка-кой национальной трагедии.

Да ведь когда началось-то, вот и Бунин рисует подобную картинку из времен революции: «...Шатание умов и сердец из стороны в сторону, саморазорение, самоистребление, разбои, пожарища, разливанное море кабаков, в зелье которых ошалевшие люди буквально тонули порой, «захлебывались до смерти...»

И вот некая Наденька П., тридцати лет, проживала с дочкой, а к ней появился нетрезвый Волобуев, который неоднократно и цинично к ней приставал. Распив с хозяйкой принесенную с собой бутылку, гость предложил ей совершить половой акт, обнажился, лег в постель и... уснул. Так называемый секс по-русски. Наденька сперва огорчилась, потом вдруг поняла, что надо делать. Взяла топор, тюкнула ухажера по шее, с помощью соседа (тоже нетрезвого) перенесла труп на чердак. На следующий день отрубила ему голову (чтоб не портилась, что ли?) и, упаковав в полиэтиленовый пакет, хранила у того же соседа в холодильнике. Но выяснилось, что некуда девать продукты, и голову, по истечении какого-то срока, в хозяйственной сумке наши герои вывезли за город и закопали. Про тело же ничего не сказано, возможно, оно до сих пор лежит там, на чердаке.

На следствии, как и на суде, преступники чаще всего объяснить причину убийства не могут. Да ее практически и нет. Сроки, которые за это дают, обычно небольшие, от трех (старикам) до шести-семи лет.

ЛУННЫЙ УДАР? (ГОЛУБАЯ ПАПКА)

Люди науки утверждают, что с каждым может случиться «лунный удар», когда самый благопристойный человек превращается в преступника... Луна, говорят они, регулирует наше настроение, вызывает чувство угнетенности и агрессии.

Приметы, колдовство, генотип, заговоры, порча, расположение планет — все это, возможно, и правда существует. Но думаю, что большая часть таких обесмысленных, не

подающихся никакой логике преступлений происходит в момент этакой внутренней разрядки человека, некоего расслабления души и тела, наступающих в результате бурной пьянки.

Не секрет ведь, что в каждом из нас днями, а то и годами копятся злость, раздражение, отрицательные эмоции. Придавленные страхом, они никуда не исчезают, а, как черная кровь больного, застаиваются в теле, скапливаются отравой на дне души. И разъедают, разъедают ее изнутри, требуя выхода. Иначе, наверное, и не выжить.

И он наступает... Такой момент. Не может не наступить. Как выразился один мой знакомый, в прошлом зэк: «Тормоза сняты, все выходит наружу!»

Первопричины, такие, например, как свинское отношение властей к твоей жизни, осознаются лишь опосредованно. А вот близость «раздражителей» конкретных, живущих рядом — людей, родни, приятелей, — могут оказаться тем запалом, который способен взорвать весь накопленный годами заряд. Не случайно же после, как признаются сами преступники, наступает спокойствие, усталость, разрядка.

Оттого бьют и крушат они без раздумья, как бы механически, и терзают свои жертвы, увечат, изгаляясь даже над трупом и не испытывая никаких чувств. А поостыв и придя в себя, не могут понять, даже вспомнить, что же они натворили.

Действие явно одноразовое. С таким же успехом этот человек мог совершить и героический поступок в каком-то другом конкретном случае. То есть излить свой праведный гнев на врага и даже закрыть грудью амбразуру. Две стороны медали в поведении «афганцев» тому пример: там, на чужбине, они были героями, хотя и убивали, а по возвращении за те же дела их осуждают и сажают.

В мордовской колонии, например, предназначенной специально для бывших сотрудников правоохранительных органов и солдат внутренних войск, содержится (беру из статьи В. Оскоцкого): 146 участников войн в Афганистане и Чечне, целая рота бывших снайперов, разведчиков, пулеметчиков-гранатометчиков и т. д. 42 человека из них награждены до совершения преступления орденами

Мужества, Красной Звезды и медалями. А между тем названная колония — строгого режима, и попадают сюда за убийства, разбой, похищения людей и другие тяжкие преступления!

Но сегодня я про пьянство. Для большей наглядности приведу дела из одной какой-нибудь папки. Мы, разумеется, читаем их каждую неделю.

«Пили двое, братья. Один убил другого ножом, а на полу кровью написал: «Убил дурака» (8 лет).

«Двое пришли выпить к приятелю в котельную, а он пить не хотел и стал их гнать. Тогда они его избили и живьем засунули в топку, где он и сгорел» (15 лет).

«Пили двое... Тракторист Семенов с женой. Когда он проснулся, ее не было. Вечером она вернулась, и вновь они принялись пить. Но вдруг он возревновал и подверг жену избиению приводным ремнем от трактора... И убил».

«Пили двое... Некая Трубачева Люба поругалась с мужем и, когда он уснул, облила его бензином и сожгла...»

«Пили двое... муж и жена (по 50 лет, есть взрослые дети). Муж стал настаивать на интимной близости, жена отказала. Он нанес ей удар ножом в грудь и убил...»

«Пили двое... Некий Дудорин стал упрекать сожительницу, что она уделяла больше внимания приятелю, пившему с ними до этого. Она предложила ему убираться вон из ее дома. Он ударил ее ножом в спину, но затем обмыл, перевязал рану, и они продолжили распитие дальше». Но это еще не финал. «Во время пьянки они вновь поссорились, и он ее на почве ревности задушил...»

«Пили двое... Некий Мурын убил возлюбленную за то, что она во время акта укусила за половой член. Он задушил ее, завязав сорочку на ее горле...»

Впрочем, для удушения годятся шарф, полотенце, ремень, провод, колготки, даже бюстгальтер...

«Пили двое... Тракторист Патрикеев распил с приятелем дома три бутылка коньяка. Утром опохмелился (сколько выпил, неизвестно) и пришел на работу, где они с этим приятелем ремонтировали трактор. Во время работы они употребили коньяк, принесенный из дома. Около 14 часов закончили работу (можно представить, чего они там нара-

ботали!) и разошлись по домам. Но вскоре приятель снова пришел к Патрикееву домой, и они снова стали пить. Во время выпивки зашел разговор о женщинах, и приятель заявил, что он находится в интимных отношениях с женой Патрикеева. Последний взял нож и убил его...»

«Пили двое... Муж стал выражать недовольство приготовленным женой обедом. Она взяла кухонный нож и его убила» (3 года).

«Пили двое... Один приятель предъявлял другому претензии по поводу неправильного образа жизни, а тот обиделся и задушил руками...»

«Пили двое: Коновалов и Бескровный. Первый пообещал отрубить другому голову. Второй сходил за топором и отдал первому, а потом положил голову на чурбак и сказал «Руби!» Коновалов взял топор и... отрубил дурную голову...»

«Пили двое: он и сожительница, после чего он, как водится, заснул, а она, обиженная, что он пьет и ее приучил к спиртному, взяла кухонный нож и воткнула ему в живот...» И убила...

«Пили двое... Некий Кузнецов с приятелем. Кузнецов вспомнил, что тот не отдал деньги за проданную ему куртку. В ссоре он оторвал карман у брюк и затолкал этот карман в рот приятелю, отчего он задохнулся...»

«Пили двое, потом один из них (Иванов) сел на трактор и на прицепе повез дружка к дому, но тот вывалился на дорогу на ходу, был травмирован и умер...»

«Пили двое, отец и сын, и ссора произошла из-за спора, как метать стога сена. Отец взял со стола нож и пырнул сына в живот... И убил, доказав свою правоту...»

Этот угарно-пьяный список можно продолжать до бесконечности. Он длинен, как Млечный Путь, где каждая крошечная звездочка все равно чья-то судьба.

Не скрою, у меня не раз и не два возникал вопрос, а когда же эти люди работают, если они все время пьют и пьют. Пришлось заняться математикой, и она оказалась исключительно занимательной: каждый четвертый, потом — третий (а в последних папках даже каждый второй) из тех, кто совершал преступления, вообще никогда и нигде не работал. При том что у многих малые дети, старики родители и так далее.

На какие денежки они пьют, понять невозможно. Скорей всего, пропивают то, что зарабатывают женщины, и был случай, когда муж требовал от жены деньги на пропой, а она не давала (у них трое детишек), но потом под нажимом или физическим принуждением отдала десятку, а трешку сохранила: все-таки мать! Вот из-за этой оставшейся трешки на глазах детей он и убивает жену...

Некий Югов, двадцати пяти лет, пришел в дом к своей тетке и попросил выпить. А тетка стала его стыдить, что он такой молодой, а ходит и побирается, и вытолкнула его из дома. Югов обиделся и ударом кулака сбил тетку наземь, схватил за горло и удушил. Труп сбросил в подпол, а до этого обшарил карманы и нашел кошелечек и в нем 72 рубля, деньги пропил...

Некий Дьячков впал в раздражение, увидев, что жена разбавляет водой его брагу, и он руками и ногами убивает ее.

А некий Банщикова в течение дня (рабочего, естественно) распил на двоих пять бутылок водки и не мог после этого вспомнить, как убивал сожительницу.

Погоня за бутылкой приводит народ в состояние, близкое к помешательству.

В делах мне попался эпизод о том, как по деревне прошел слух о грузовике, который застрял на мосту, а вез тот грузовик водку. Вы думаете, кому-нибудь пришла в голову мысль помочь и вытолкать машину из грязи? Ничего подобного! Более двадцати человек на всех видах транспорта бросились к мосту и потребовали от водителя немедля отдать водку. Судьба машины и пассажиров их не волновала. Далее в деле сказано: «Опасаясь нападения, водитель и двое пассажиров отдали им часть водки...» Что означает эта «часть», не указано, но, очевидно, это было несколько ящиков. Через некоторое время, потребив захваченное, группа из шести человек снова вернулась к мосту и потребовала отдать остальное. При этом они обыскали кабину, нанесли водителю несколько ударов руками и ногами, разбили лицо, потом стучали палками по кабине и угрожали машину поджечь. Обнаружив неподалеку от машины еще две бутылки, выпили, успокоились и уехали.

В печати описывался случай, как на Урале в донорских пунктах за триста граммов крови выдавали 180 граммов вод-

ки, и стояла очередь желающих с ближайшего завода, жаждавших отдать хоть всю кровь, лишь бы получить спиртное.

То же и в Чечне, непьющие боевики рассказывали, что за два ящика водки получали от наших солдатиков новенький бронетранспортер, но, правда, при этом давали обещание не стрелять в ближайшую неделю. Но уже через две недели и стреляли, и убивали.

Променять же грузовик, или трактор, или что-нибудь на бутылку никогда не было в России грехом. И когда рабочему говорили, что водка, мол, растет в цене, он лишь с усмешкой отмахивался, произнося, что если уворованный аккумулятор стоил бутылку, то он и будет стоить бутылку... И нет валюты надежней, чем бутылка!

Я исследовал около полусотни папок (в каждой более ста дел), и везде неработающих — я имею в виду самую активную часть мужчин, от двадцати пяти до пятидесяти лет, — насчитывалось около половины. Из этой половины не менее половины спившихся. Примерно такую же цифру называют наши наркологи, они утверждают, что страна в результате повального пьянства теряет около четверти производственного потенциала.

Думаю, цифра возрастет, если учесть, что некоторые из молодых лишь числились при работе, как то: сторожа в пионерлагерях, дворники, грузчики, истопники и тому подобное. Можно утверждать, что в России работает менее половины трудоспособного населения, остальные же граждане тунеядствуют и пьют за их счет. Такое пренебрежение, даже ненависть к труду выработались за время советского рабства, и это отношение стало национальным менталитетом, как и пьянство. И воровство.

Все три коренные привычки завязаны в один крепкий узел.

Отсюда понятней непрерывное желание неработающей части перераспределить незаконным путем нажитое в свою пользу, а попросту говоря, что-нибудь стащить, украсть, чтобы опять же потом пропить...

Но это уже тема другой главы.

Итак, пили двое... Трое... Четверо...

Пил народ...

БУТЫЛКУ ЗА ЖИЗНЬ (ГОЛУБАЯ ПАПКА)

Краснов Никита, чуваш, лет этак сорока пяти, пил с женой с самого утра, а потом оба пошли по делам. Жена вернулась домой первая и, обнаружив запрятанную мужем бутылку водки, всю ее вылакала и отрубилась. Вернувшийся муж обнаружил пропажу и увидел лежащую на полу жену. Возбешенный, он нанес жене множество ударов руками и ногами (грозное оружие в руках недобравшего свое мужика) и убил... Вот и спрашивается, на сколько же потянула та бутылка? На жизнь человека, с которым прожил более двадцати лет и нажил и воспитал двух дочерей?

К пьянке безоглядной, бесшабашной, массовой, практически всенародной мы, наверное, будем возвращаться в этой книге еще не раз, поскольку это та почва, на которой произрастает большинство преступлений.

Вот и статистика подтверждает, что 60% убитых и 80% убийц в момент преступления были под градусом. Там же есть еще более впечатляющая цифра — за два года потери от пьяных преступлений в нашей стране составили 400 тысяч человек.

Невозможно передать отчаяние, которое охватывает при чтении сразу нескольких сотен дел. Практически каждое из них начинается с обыкновенной пьянки (пили двое... трое... четверо... пятеро... и т. д.), а заканчивается обычной дракой и убийством. Иногда тяжкими телесными повреждениями, но лишь потому, что кто-то кого-то не добил.

А вот жестокость при этом проявляется поразительная. Некий Силин (55 лет) избивал свою жену, с которой обычно вместе пил, бил он ее, как перечислено в деле, руками, ногами, резиновым шлангом, палкой, поленом, ведром...

Задействованы все домашние предметы быта. Ночью жена от таких побоев скончалась — это его не тронуло. И то слава богу, что не скинул в погреб, не отвез в водоем и не порубил, как капусту, на части... Он просто продолжил, как написано в деле, «свое веселье».

Когда наш народ пьет, он звереет. Это известно. Но когда он не пьет, он тоже звереет. Когда же он пребывает самим собой? В тяжкие моменты похмелья или в краткие промежутки между двумя безумствами?!

Знакомясь с делами, я могу заранее прогнозировать любое из них, прочтя лишь первую строчку. В них все похоже — и условия жизни, и биографии героев, и методы убийства, и решения суда.

Правда, в другом случае наш герой уже бьет свою подружку стульями, шваброй, металлическим карнизом... Результат тот же. Или же, в третьем случае, используются кочерга, совок, разделочная доска, половая щетка... При удушении удачно применяются электрошнур или пояс от халата. Или брючный ремень.

Некий Якунин, молодой еще, 23 года, задушил на почве ревности свою жену, положил в металлическую бочку и бросил в водоем... Пускай, мол, поплавает.

А вот другой герой, застав сожительницу у своего дружка, «вывел ее на улицу и бил обухом топора...» по различным, как сказано, частям тела... Застав там же второй раз, уже «...бил табуреткой по различным частям тела...» И наконец добил...

Каждое такое дело единично, но собранные вместе, они представляют как бы ОБЩЕЕ ДЕЛО на весь наш народ, который до того спился, что потерял себя и не осознает, что же он творит. «Империя зла», как недавно произнес кто-то, превратилась в «республику ужаса».

Сошлюсь еще разок на Виктора Астафьева: «Россия огромная страна, — пишет он, — и беды ее огромны...» И далее: «На эту болезненную тему я начал писать сразу, не оставляю сию тему поныне, хотя понимаю тщетность посредством слова образумить людей и остановить разорение земли...»

Я ездил по разным странам, видел тамошние тюрьмы, заключенных и как-нибудь о них расскажу. Но я нигде, нигде не наблюдал такой бесшабашной, безоглядной нетрезвой жизни без просвета, которая уже и не жизнь, а некое затмение, переходящее в мрак.

Муж приходит домой, конечно, пьяным. Он застаёт дома жену, которая, конечно, тоже пьяна. Но именно это вызывает почему-то его гнев, и он начинает ее бить и добивает. А если не добьет и ляжет спать, то добьет его топором уже она.

Недавно в газетах промелькнуло сообщение, которое было мало кем замечено и не вызвало никаких эмоций у наших граждан. А в сообщении были приведены цифры, из кото-

рых явствовало, что по потреблению алкоголя мы вышли на первое место в мире: 25 литров в год на человека, включая женщин, стариков и младенцев. А между тем Всемирная организация здравоохранения определила, что если норма потребления превышает 8 литров в год на человека, страна вступает в опасную зону генетического риска. Попросту говоря, вырождается. У нас же еще до перестройки насчитывалось, хоть эту цифру тогда скрывали, 22 миллиона алкоголиков, которые поставляли 120 тысяч умственно отсталых детей... Не случайно в наших делах так часто встречаются преступники, имеющие психические отклонения.

Однажды я взял голубую папку, назначенную на следующее заседание, и стал выписывать дело за делом: за что же у нас убивают.

Перечисляю:

Дремейлов (40 лет) убил собутыльницу, которая препятствовала его входу в комнату.

Ионов (35 лет) убил сторожа-пенсионера, который не дал со склада (совхозного) бесплатно мешок картошки.

Коршунов (60 лет) — первая жена не пустила в дом после того, как он женился и переехал к другой: убил топором при пятилетней внучке.

Кокорин (36 лет) после общей пьянки зарезал хозяйку перочинным ножом, когда она предложила ему уйти домой.

Колядина (34 года) убила соседа кухонным ножом, когда он после совместной пьянки отказался вступать с ней в половую связь.

Кукишева (19 лет) убила кувалдой мать, которая во время совместной пьянки не долила ей вина.

Лебедева (27 лет) пришла пьяная из гостей и застала пьяного же мужа. Возмутившись, она ударила его ножом в спину и пошла вызывать скорую помощь. Муж умер.

Майков (21 год), «афганец», убил приятеля, который взял спиртное (наверное, в долг?) и не отдал.

Мартено (32 года) убил соседа, который не там поставил машину.

Межевов (65 лет) убил спящего сына, который сперва избил его из-за недоданной бутылки.

Менюк (47 лет) застал дома пьяную сожительницу, спящую с другим мужчиной. Хозяин вернулся с рыбалки, был нетрезв и убил пьяного соперника пешней.

Одиннадцать дел, могло быть и сто одиннадцать. Но ничего нового, кроме каких-то мелких деталей, не появится.

Давайте же подытожим: на фоне всех остальных преступлений, мафиозных стычек, наемных убийств, террористов и прочая и прочая, самым страшным преступником оказывается народ, убивающий сам себя. Массовые преступления, творящиеся втихомолку за стенами домов при общем равнодушии общества, и есть главная опасность для всех нас, какие бы ужасы ни расписывала печать о маньяках и «крестных отцах».

Не случайно в моей книге я выношу эту проблему впереди всего остального, в отчаянии от того, что, видя бедственное состояние моих сородичей и земляков, не могу предложить никаких средств к спасению.

ЦИБИНОГОВА И ЕЕ МУЖ (ГОЛУБАЯ ПАПКА)

Я выделил в отдельную главку это дело, потому что оно заняло в моей жизни особое место. Не лучшее, так скажу. Когда я прочитал его, я не был ни удручен, ни потрясен, ни даже травмирован, хотя и это случается. Я был убит. Вот так и понимайте, как написано.

Неведомая мне Цибиногова преступным росчерком своей жизни перечеркнула что-то очень важное в моей. Хотя до сих пор я считал, даже был твердо уверен, что нужны какие-то особые, крайние обстоятельства, чтобы я на склоне своих лет мог что-то в себе изменить.

А вот изменился. И сам почувствовал это. Что-то надломилось во мне из-за этой женщины. Если ее можно назвать женщиной. После ее дела я вообще усомнился в высоком предназначении женщины как матери. Любой. И как бы с тех пор им ни поклонялся — ну, почти как Булат, — а где-то в сердцеvine яблока появился скрюченный червячок сомнения: хоть и женщина, и высшее, и прекрасное, и божественное создание, но ведь была и Цибиногова, которая погубила Ниночку...

Цибиногова Вера Алексеевна, 1954 года рождения, была замужем. Муж осужден по этому же делу. Имеет престарелую мать и двух дочерей 9 и 15 лет, находящихся на воспитании в школе-интернате. Ранее не судилась, работала директором Дома культуры.

Цибиногова и ее муж зарегистрировали брак 4 марта 1981 года, до этого состояли в фактических брачных отношениях. А вскоре у них родилась дочь Нина. Родители мужа были против их брака, и у Цибиноговой сложились с ними неприязненные отношения. Они даже переехали в другой район. Однако обстановка в семье не нормализовалась. Цибиногова и ее муж посчитали, что виновницей всех их домашних неурядиц является дочь Нина и, как написано в деле, возненавидели ее.

Однажды, вернувшись с работы, Цибиногова увидела, что двухлетняя дочка в ведре полощет свои колготки, муж от стола крикнул: «Убери эту мразь, иначе я ее убью...»

Скорее всего, именно его отношение, а он был много моложе жены, и решило судьбу Ниночки. Сам он почему-то считал, что это не его ребенок, что ребенок зачат от свекра.

Далее чувствительного читателя я прошу закрыть страницу и открыть там, где последует наказание: десять лет тюрьмы. Сознаюсь, что не без усилий пытаюсь сообщить какие-то подробности: каждое слово для меня здесь мучительно. Но хочу напомнить, что все дальнейшее будет происходить с ребенком, которому от одного до пяти лет.

Цибиногова и ее муж стали систематически избивать Ниночку по незначительным поводам и без таковых. Они на длительное время ставили ее в угол, лентами связывали руки за спиной, ограничивали в пище и воде, отвели ей для наказания (и проживания?) специальное место между шкафом и печкой, некоего рода карцер, где оставляли ее на длительное время, а потом подвешивали за руки на гвозде...

Может, хватит?

Разве этого всего недостаточно, чтобы расстрелять такую мать? Или — посадить ее в клетку, в зверинец вместе с гиенами. Хотя, что гиены, они такого со своими зверенышами не творят. Но если мой уважаемый читатель еще способен меня слышать, преодолевая себя, продолжу...

В феврале 1983 года (это значит, Ниночке исполнилось почти два года) Цибиногова была в гостях и ударила дочь по лицу только за то, что девочка не смогла самостоятельно одеться, при этом разбила ей губу до крови.

В начале мая Цибиногова избивала дочь палкой от детской кровати так, что на спине остались следы, как написано в приговоре, «в виде полос «елочкой». В ноябре нетрезвый муж избил дочь, повредив ей ухо, которое не заживало до последних дней жизни ребенка.

Летом 1985 года (Ниночке четыре года) родители неоднократно, оставляя детей одних, помещали Нину в заполненную водой покрывку от трактора «К-700», в которой она сидела связанная, выбраться сама не могла. Спать ее клали в корыто на старые телогрейки... В середине декабря 1985 года Цибиногова в присутствии мужа била дочь раскаленной кочергой по ногам... Муж, подстрекаемый женой, схватил корыто и бросил его на пол вместе с находившейся в нем дочерью и избил ее только за то, что она испачкала постель... Наверное, их постель, она ведь жила и спала в холодном чулане на тряпье...

Прервусь. Никак не могу привыкнуть, что все это как бы в прошлом и с тех пор канула вечность. Но мы-то, мы живы (в отличие от Ниночки), и раз уж прикоснулись к ее судьбе, должны мы как-то представить, если не сердцем, то умом, что же мог пережить до пяти лет ребенок, проживая в своей семье. Да и что вообще он понял об окружающем его мире, где все, что произошло, возможно.

Но может, девочка так все и восприняла и, уходя, унесла с собой образ земного ада, где существует лишь одна жестокость, где всеильные взрослые люди ежедневно, ежечасно тело твое мучают, как в том аду... И где места для таких, как она, все равно нет.

И как дальше мне жить, если и сейчас, рассказывая эту историю, а прошло больше десяти лет, я начинаю ненавидеть не знакомую мне Цибиногову, ее мужа, да весь этот проклятый ребенком мир?!

...28 декабря, когда ваши дети, наверное, готовились праздновать Новый год, украшали елку, покупали подарки и замороженно заглядывали в заледенелое узорчатое окно, с тайной

мечтой о пролетающем Деде Морозе, который непременно прочтет ваши новогодние, самые-самые заветные желания, в этот предпраздничный день за украденный кусок хлеба Ниночку, догола раздетую, вытолкали ногами на улицу... На мороз... А когда она, окоченевшая, попросилась домой (можете представить себе такую новогоднюю картинку?), ее схватили и со словами: «Тебе холодно, сейчас тебе будет жарко!» — посадили на горячую плиту, причинив, как написано в деле (хотя можно было бы далее и не писать!), сильные ожоги ягодиц. А на следующий день, уже совсем почти праздничный, ей связали руки лентой и подвесили за руки на гвоздь.

Ниночке четыре с половиной года... Счастливым праздником Рождества Христова, и близок уже ее конец... И конец ее мучениям.

3 января 1986 года Цибиногова (вы запомнили эту фамилию? Я лично навсегда!) в присутствии других дочерей и мужа избивала Ниночку резинкой от камеры, лишила ее пищи и воды, а через два дня вновь избивала ее, а 6 января, как раз накануне светлого праздника Рождества, на весь день засадила ребенка в ледяной подпол... Потом извлекла и, привязав к шифоньеру, снова била.

Далее цитирую: «7 января девочку в тяжелом состоянии доставили в хирургическое отделение Моршанской больницы (кто тот сердобольный, кто узнал и вызвал врачей?!), где она от истощения и множественных повреждений головы и тела, нанесенных ей Цибиноговой и ее мужем, умерла...»

Не очень охота читать остальное, то, что положено для дел, которые ложатся нам на стол... Что осужденная, к примеру, характеризуется положительно, к труду относится добросовестно, овладела рядом смежных специальностей швейного производства, активно участвует в самодеятельности. Отсидела из десяти лет восемь, и администрация считает, что «...она доказала свое исправление...»

Несмотря на все эти доброжелательные слова, мы практически единогласно отклонили ее просьбу о помиловании. А я даже пытался — настолько не мог пережить всей этой истории — пойти поискать могилку Ниночки. Зачем? Да не

знаю я зачем... Ну, чтобы цветочки какие-то положить и попросить от нас ото всех у нее прощения.

За то, что мы такие.

Но история на этом не закончилась. Через полгода после обсуждения на Комиссии в одной из газет появилась статья, рассказывавшая о женщинах-убийцах одной из колоний, и там на фотографии изображена была сама Цибиногова. Я и раньше хотел для себя ее представить, но не представлялось, у убийцы ребенка не может быть лица. Ее лик — сама смерть.

Не скажу, что я читал, прямо-таки впился глазами в ее фотографию, и вдруг понял, что я ее знаю. Я даже ахнул, настолько ее внешность мне оказалась знакома. Нет, не лично, конечно, и мистики тут никакой нет. Просто за мою бесприютную бродяжью детскую жизнь я во множестве песьих морд встречал и эту, с прямым, уверенным, жестко прищуренным взглядом, от которого холодок ползет по спине. Это они хватили нас и били по голове на рынке, если мы попадались; это они гнали, сидя в высоких сферах, нас под пули, на Кавказ... Обворовывали нас, когда им вверяли среди сибирской зимы комочки наших судеб.

Как забыть хромого директора Башмакова в Таловском детдоме, что морил нас голодом! Все они были Цибиноговы, какими бы именами тогда ни писались. И потому Цибиногова не только убийца Ниночки — она вернула меня в мое проклятое детство и еще раз попыталась лично мне сломать жизнь, уже в конце моей жизни. Это из-за нее я каждый раз, когда думаю о нашем бытии, извлекаю, того не желая, свои старые обиды, вспоминаю эту Ниночку и плачу... Плачу о ней и о себе.

В статье рассказывается, что у Цибиноговой два средних образования, говорит она внятно и грамотно, стихи пишет в стенгазету, о детях и о детстве. Уж не о Ниночке ли случайно, которую она называет теперь «покойницей»? Она ссылается на жестокость мужа, на свою занятость на работе и говорит, что слышала, будто девочка звала ее перед смертью... Все время слышала она потом ее голос.

Звала? Зачем? Что, кроме проклятия, могло дитя прокричать своей убийце? А Цибиногова жаловалась, даже

Валентине Терешковой писала, но никто ей не ответил. А ровно через год мы снова разбирали на Комиссии просьбу Цибиноговой о помиловании. И снова самые наилучшие характеристики и слова о том, что она активный помощник администрации, выступает в самодеятельности... О том, что она там делает, поет... Спи, моя радость, усни... А может, эти свои стихи о материнстве, о детстве?

«Свою вину, — пишет она к нам, — полностью признаю, глубоко раскаиваюсь. Я критически отношусь к себе и к содеянному, знаю, что смерть своей дочери я не искуплю до конца дней своих...»

Просит же она ради двух других детишек... «Они во мне нуждаются и ждут...»

Вы бы ее простили? Я — нет. Хотя Комиссия... Ее чувствительное сердце дрогнуло. Тем более что в деле есть еще один документ, очень серьезный, это письмо от двух дочерей.

«...Наша мамочка, — пишут они, — нас очень любит, а мы любим ее. Мамочку обвиняют в убийстве сестренки Ниночки, но это неправда. Папа бил Ниночку, но и нас он бил, а когда она заступалась, то папа бил маму так сильно, что ее без сознания увезли в больницу...»

Однажды в жизни я писал письмо вот так же, под диктовку тетки Поли, адресуя его дедушке Сталину... И слова тетка мне подсказывала пожалостливее... И хоть все было в том письме правдой, и о том, что я сирота и голодаю, но сам факт сочинительства под диктовку вспоминаю почему-то со стыдом. Может, потому, что слова там были не мои. Не настоящие. Не по правде. Но что бы эти двое ни писали, у них одна мама, и ради них, почти осиротевших, все, наверное, должно быть забыто: и гвозди, и мороз, и плита... Для Ниночки... Потому что у них одна мама, и они сто раз правы, что любят ее.

В общем, дрогнули наши сердечки... И пришлось перечитать дело заново, чтобы почувствовать: простить невозможно. Десять лет за все это тоже мало, но она должна их отсидеть. А какой она будет мамой, там, на свободе, станет ясно.

— Тут есть еще загадка, — сказал наш Психолог. — Одного ребенка она избивала, а других нет.. Ниночка-то была не младшенькая, а средненькая, и в то время как она родила

еще, она ведь издевалась над предпоследней... Это и есть садизм — выбрать жертву, одну из трех!

И далее из общих наших размышлений, прозвучавших во время решения: вернуть мамочку детям благородно, но лечится ли садизм, да еще в наших лагерях? И не применит ли она его теперь к другим детям?.. Пусть они и выросли. И не может ли в этом случае детдом оказаться для них меньшим злом по отношению к злой матери?

И мы снова, терзая себя, решали.

Да, в деле есть приписочка о муже: он был осужден к 12 годам лишения свободы и в июле 1992 года умер в лагере.

Никаких больше подробностей нет, но Вергилий Петрович по этому поводу заметил, что, узнав, какого рода преступление, а лагерное начальство иногда специально дает «утечку», его в лагере прибили. Или сосна невзначай упала, или еще что... Да и Цибиногова... Может, оттого и близка к администрации, что сама опасается расправы.

А муж, по ее словам, был человеком чутким, сам придумал и оборудовал здешний клуб светомузыкой.

А ЗА ОКНОМ ВСЕ ЖИВЕТ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Исследуя причины бытовых преступлений, мы не всегда можем до конца понять мотивы, которые владели человеком, покусившимся на жизнь ближнего. Чаще преступление предстает перед нами уже как результат, остальное остается за кадром. Тем ценнее для нас исповеди — не там, где любимым способом вымалывают жизнь, а там, где преступник пытается и сам понять, что же с ним произошло.

Привожу в сокращенном виде ходатайство смертника.

«Я очень бы еще раз просил глубже обратить внимание на мотив моего поступка, как он складывался и что областной суд подробно не вник в мою прошедшую жизнь, а также на каком основании все произошло. Я, Козлов Юрий Александрович, родился 24 ноября 1940 года в Грозном. К моменту вынесения мне смертного приговора мне исполнилось 50 лет. Можно честно сказать, что жизнь моя прошла не гладко. С трех лет я остался без отца, а также сестренка одного года. Отец ушел на войну в 1943 году, хотя у него была

броя как специалиста. Но он, несмотря на это, добровольно ушел защищать Родину, где и погиб. До 11 лет я рос без отца, а также сестренка, остались двое у матери, она работала в колхозе. Я с первого класса во время каникул тоже работал в колхозе, помогал мамке заработать больше трудовней. После войны было тяжело, хлеб давали по карточкам, я сутками стоял в очереди за хлебом. В общем, приходилось туго.

В 1951 году мама вышла замуж, долго отца ждала, не веря, что он погиб, а так как ей было тяжело с нами с двоими, решила. Мужчина был хороший, нас, детей, не обижал. А я кончил семилетку, потом ФЗО на столяра-плотника. С детства, как все мальчишки, мечтал стать моряком. В 1959 году был призван в морфлот, но в Ленинграде на медицинской комиссии был признан негодным для службы на кораблях, и я служил в береговой охране в г. Кронштадте. Служба не из легких, через день на ремень заступали в караул на военные объекты, а также форты по Финскому заливу. Была у меня девушка, года полтора писала письма, а потом переписка оборвалась, сестренка написала, что она вышла замуж. Это был первый удар в моей жизни... И служба стала не впрок, я скис, опустился... И первый раз был осужден по ст. 255 п. «в». Мне дали год условно и выпустили «на поруки» части. Был переведен в г. Полярный Мурманской области, но не дослужил до демобилизации всего два месяца и был вновь осужден на 2 года 8 месяцев и 5 дней.

Отбыл свое наказание честно, работал, учился в 8 классе, участвовал в самодеятельности и был выпущен досрочно в 1963 году. Приехал на родину в г. Грозный, а в декабре женился, пошел работать на стройку. В 1965 году 30 октября родился сын. Со мной обратно случилась беда: шел к родственникам жены, а двое пьяных парней привязались ко мне, сперва оскорбляли, потом стали избивать... Я был тоже выпивши, ну думаю, тут мне и смерть. А у меня был складной ножичек... Вот обратно суд, по статье 206 ч. 3. Хорошо, хоть суд учел все обстоятельства и дал всего два года.

Вскоре умер отчим от ран, которые он получил на войне. Мужчина хороший, меня с сестренкой не обижал. А я попал под Указ на стройку народного хозяйства, трудился, учился, участвовал в общественной жизни... В городе Тольятти строил автозавод, работал бригадиром. Жена за это время со-

шла с другим человеком, обратно удар... И тут не повезло. В 1969 году оставалось 9 дней до окончания срока, и я вновь был осужден по ст. 108 ч. 1 (тяжкое телесное. — А. П.).

В сущности, получилось это в женском общежитии, там была у меня девушка, к которой я с товарищем зашел, чтобы распить вино. Мы были уже выпивши, а моей девушки не оказалось, а пустила другая, ну и, соответственно, с нами выпила. А тут пришла моя знакомая, они между собой поссорились, а я был изрядно пьян, и последствие плохое: одна из двух была порезана ножом. А при каких обстоятельствах, не помню...

Конечно, своей вины я не отрицал, а отбывал наказание в Куйбышевской области в селе Спиридоновка... Работал, учился, закончил курсы мастеров швейного дела, был сменным мастером. Отбыл все 8 лет, а за все приговоры ни разу не был в штрафном изоляторе.

В 1977 году был обратно направлен на стройку народного хозяйства в г. Вольск Саратовской области, строили агрегатный завод второй очереди. Познакомился с членами бригады, один, семейный, жил неподалеку от нашего общежития, я ходил к ним на телевизор. Рассказал и о своей жизни. И раз как-то жена этого товарища сказала, а что ты, Юра, не женишься, ты ведь еще не старый, еще нет и 40 лет... Я ей ответил, что уже боюсь жениться, а она сказала, давай я познакомлю со своей тетей... И познакомила с Галиной Ивановной 1942 года рождения. В то время Галя была в сожительстве с Тарасовым Владимиром, одним из братьев Тарасова Юрия, впоследствии погибшего от меня.

Она прожила с Владимиром 9 месяцев, и он был мастеровой мужчина, но моложе ее и крепко выпивал. Это, конечно, с Галиных слов. Чужая семья — темный лес, а мы два месяца встречались, потом я перешел к ней жить, у нее был свой небольшой домик по Кооперативному переулку, дом 13.

До этого она мне рассказала о своей жизни, так же я рассказал свою личную жизнь, ничего не утаивая, что был судим и за что. Прежде чем перейти к ней в дом, она переговорила со своими родственниками, познакомила с матерью и братьями. С их стороны было согласие, и я с Галей пошел в спецкомендатуру к полковнику Трофимову, рассказали о наших намерениях совместной жизни. Он мне разрешил сменить адрес жительства из общежития.

С первым мужем Галя прожила 8 лет, имела двоих детей, обе девочки: одной 17 лет, другой 14 лет, а от второго брака тоже девочка, ей было пять лет... Со вторым мужем прожила она шесть лет, и он повесился. Почему, не знаю, люди по-разному вели разговор, кто винил ее, а кто — его, но ушел из жизни молодым, а дитю было пять лет. Сама она говорила, что он загулял при белой горячке... Да я не вникал сильно в подробности, у самого жизнь сложилась не гладко.

Правда, она честно мне сказала, когда мы еще встречались, что, Юра, у меня трое детей, не испугаешься ли, с кем хочешь связать свою судьбу. Я ей ответил, что дети не виноваты и что и меня и сестру воспитывал отчим, но он нас не обижал, так что я не обижу твоих детей, хотя, конечно, у мамы моей было другое время, а у меня другое. Конечно, Галя мне понравилась, даже, можно сказать, я полюбил ее. Я хочу в этом заверить Президиум Верховного Совета, чтоб учел это обстоятельство. А на суде ее старшая дочь Люда дала такие показания, что я, мол, скрыл, что судим, что я, мол, ворвался в их жизнь обманным путем. Но все родственники обо мне все знали, и Люда знала, что я ходил с ее матерью в спецкомендатуру два раза в месяц отмечаться.

В 1978 году у меня закончился срок «химии», и я остался работать на стройке, но уже кадровым рабочим в бригаде плотников. Жили в Галиной домике, а до меня у нее был пожар, и я как строитель сделал полностью капитальный ремонт уже совместного дома; построил сарайчик, сделал погреб, привел двор в божеский вид, загородил двор, садик подновил новыми деревьями, посадил виноград. Она до меня на усадьбе ничего не сажала, а теперь мы стали сажать овощи, первую необходимость к столу. Своя зелень и фрукты. Получал я зарплату 200 рублей, а то и больше, правда, я еще платил алименты сыну. По лету подрабатывал по строительной специальности, Галя тоже работала на 80 рублей техничкой при магазине... На жизнь нам хватало.

По осени приехала моя мама из Грозного посмотреть, как мы устроились. Галя ей понравилась, и мама предложила переехать нам в Грозный, так как у меня там был свой дом и жизнь там легче, зелень, природа. Но Галя не согласилась, не хотела срывать детей с учебы, старшая дочь уже училась в трудовых резервах, средняя в школе, а меньшая ходила в

детский садик, я ее успевал отводить и встречать. Да притом была старая мать, которая жила в Вольском районе. Я был полностью с ней согласен в этом вопросе, каждый привык к своей родине и каждому хочется жить рядом с родными.

А через год, находясь в отпуске, съездили тоже в Грозный, и Гале моя родина тоже понравилась. Но она не могла бросить свою старую мать, мы постоянно ездили к ней сажать огород, заготовливать на зиму дрова. Я также подремонтровал ее домик в деревне. Прожила она там года четыре, а потом мы уговорили переехать в Вольск, продавался по соседству домик, и мы с Галей и ее братьями совместно купили. Обрато мне пришлось подновлять этот домик... А жили мы дружно, без скандалов, я вообще не пил.

Когда старшая дочь Люда закончила ремесленное, ее направили в Балаково, тогда моя мама продала мой домик в Грозном, выслала нам деньги, а Галя положила их на книжку. На 21 годе старшая дочь решила выйти замуж, мы сыграли свадьбу. Я был за отца и за гармониста, так как с 13 лет играл на гармонии, да чтобы лишние деньги не платить за музыку. Свадьба была в деревне у жениха, скромная, но не хуже, чем у людей.

Вторая дочь, Ирина, окончив 8 классов, поступила учиться в кулинарное училище в Саратове, жила на частной квартире, и мы ей помогали, платили за квартиру и ездили к ней. А когда она вернулась, стала самостоятельно работать и жила при нас. Деньги мы с нее не требовали, а говорили: «Вот, Ирина, справляйся, готовь себе приданое». На 21 годе и она решила выйти замуж, обратно мы сыграли ей свадьбу, у нас были деньги от страхования, ну и подзаянили, потом расплачивались... Определили и вывели уже другую дочь в люди. И теперь остались втроем с последней дочерью Олей.

В общем, худо или бедно, но жили дружно, вот на свадьбе я выпил первый раз за четыре года.

Вскорости Галя попала под сокращение на работе и была переведена в другой магазин, неподалеку, побольше, и платить ей стали тоже больше. Как-то в один день, в субботу или воскресенье, пришла Галя на обед (она обедать ходила домой) и говорит, Юра, бери гармонь, пошли со мной, у нашей сотрудницы день рождения. Я оделся, взял гармонь, пришел, смотрю, накрыт стол с выпивкой, ну, естественно,

посидели, выпили. После этого случая стала она выпивать без меня. Да и меня с гармонью водить то на свадьбы, то на день рождения по своим знакомым. Я как-то ей сказал, что, Галя, с такими гулянками можно и спиться... Она обиделась, но ответила, что выпить можно, но с умом, что двух детей определили не хуже других, а теперь можно и самим разрядиться... Пожить для себя.

В 1983 году где-то летом попал я в больницу в тубдиспансер с очагами в легких и лечился шесть месяцев. Галя и дочь приходили в больницу. А вернулся, стал дальше работать бригадиром. А Галя стала делать брагу, а ее мать, которая жила рядом, высказалась в ее адрес, вот, мол, разбаловалась, а теперь сама и мужика разбаловала, не пил, а теперь пьет. Конечно, Галя не смолчала: «На чужие не пьем, ум не пропиваем, и знаем, с кем выпить!»

Все это время мы жили без регистрации брака. Я сразу как пришел к ней, так сказал, давай, Галя, распишемся, я даже предлагал меньшую дочку удочерить, но она мне говорила: успеем. Может, боялась чего или меня проверяла, но отвечала, без этого, мол, можно жить. И про дочку: не надо, ей, мол, платят пенсию за отца, а эта копейка нам не лишняя. Больше я к этому вопросу не возвращался. А где-то учась в седьмом классе, у Оли нашли, что с легкими не в порядке, и предложили поехать в санаторий-интернат. Вот так она больше года лечилась там, а мы ездили к ней, помогали, чем могли.

В 1985 году получил я квартиру, так как стоял на очереди, семь лет ждал. Галя сперва не поверила, а как я отдал ей ключи, обрадовалась, правда, однокомнатная, на одного. Но мы радовались этой, потому что Оля выйдет замуж и останемся вдвоем, хватит и комнаты.

Мы вчетвером: Галя, ее мама, Оля и я осмотрели квартиру, главное, недалеко от Галиного домика. Я оформил очередной отпуск, выправил документы на квартиру, взял в кредит холодильник, софу, Галя — телевизор новый. Тут я и говорю, ну, что, Галина Ивановна, надо идти регистрировать брак, ведь тебе прописываться в новой квартире.

В 1985 году мы зарегистрировали брак, прошу Президиум Совета обратить на это внимание, что на суде ее девочки и родственники давали показания против меня, что я, мол, с матерью жил плохо, пьянствовал, маму избивал и нас... Да

если б мы жили плохо, а я избивал их, то наверное бы Галя не зарегистрировала со мной брак. Конечно, я понимаю их состояние, им жаль свою мать, сестру, дочь... А я виноват в содеянном и очень каюсь в этом, что так случилось с моей стороны. Но ведь я тоже человек, я участвовал в их воспитании и вывел их в люди, и не надо унижать меня на суде, если у меня нет никого из родных. А я ведь немало воспитания вложил в них, и надо быть честными, я на суде так им и ответил. А я сам сожалею, что натворил, и казнь себя здесь, в тюрьме...

Оля закончила восемь классов и поступила в училище на портниху. Жили мы нормально, друзей стало меньше при смене квартиры и гулянок стало меньше. И вот во время одной гулянки, это была свадьба или рождение в конце 1986 года, один из товарищей меня спрашивает про Галю, это что, твоя супруга, тогда, мол, надо поговорить. Мы отошли в сторонку, и он говорит, что, когда я лежал в больнице, он видел ее с мужчиной, ты, мол, его знаешь очень хорошо. Конечно, у меня настроение упало, я подошел к жене и сказал, что надо идти домой. А придя домой, я сразу спросил, правда ли, Галя, ты была в интимных отношениях с тем-то. Она говорит: «Кто это тебе доложил?» Тут мы с ней крепко поругались, но драки не было. Она всячески изворачивалась, оправдывалась, говорила, что все неправда... Но я ее пальцем не тронул. С неделю не разговаривали, даже дочь заметила, спрашивала, папка, а что случилось у вас с мамой, но я ничего ей не стал рассказывать.

Вот теперь, веря и не веря в верность жены, я как-то ушел в себя, частенько стал выпивать, где с получки, а где и с дружками. Но, однако, не дебоширил, не бил ее, не упрекал. Но вдруг опомнился, что же я делаю, и пошел лечиться на четыре месяца в наркологический диспансер. Галя это время навещала меня. Наверное, месяцев пять не пил вообще, но на душе оставался нехороший осадок, что потерял верность любимого человека.

Вы должны понять мое состояние, особенно мужчины, в этом скверном деле. Я обратно сорвался, начал выпивать, попал раз, другой в медвытрезвитель и участковым инспектором был направлен на принудительное лечение в ЛТП. По суду мне дали один год принудления. Галя и дочь плакали, когда меня отправляли в ЛТП.

В это время Оля встречалась с парнем, ей оставалось с год до окончания училища. Она мне сказала — папка, я, наверное, тебя не дождусь, выйду замуж. Я ее попросил подождать меня, нам с мамкой вдвоем легче сыграть свадьбу. А еще я Оле сказал, что я постараюсь пораньше оттуда выйти, только жди. Я ушел в ЛТП в апреле 1988 года, а свадьба была где-то осенью. До этого, что заработал, я выслал на свадьбу 150 рублей. Галя приезжала в ЛТП два раза и сказала, что у нас все хорошо, что жду тебя, и писала письма, даже администрации писала, чтобы освободили от лечения.

В ЛТП я добросовестно трудился, занимался общественной деятельностью, от лечения не отказывался, режим не нарушал. И в январе по суду был освобожден на три месяца раньше. В этот день я не смог попасть домой, так как не смог достать билета на автобус. На следующий день был дома, в шестом часу вечера, и знал, что Галя должна прийти с работы. Но никто не открыл дверь. Я позвонил соседям Тамаре и Володе на одной площадке, но их тоже не было дома. А так как у меня были чемодан и сумка: я в Саратове купил кое-что из продуктов, то я позвонил соседям выше этажом, и мне открыл молодой парень, я его знал: Павел. Я до ЛТП играл у него на свадьбе на гармонии. Здесь жили два брата, сестра и родители. Я поздоровался, попросил напиться воды. Павел говорит, дядя Юра, вот пивка выпей. Я Павлу сказал, мол, стоит ли начинать, ведь с пива и начинается... Он засмеялся. Их было трое, два брата и товарищ. Я у Павла спросил, а где, мол, моя жена. А он ответил, что вы, дядя Юра, удивляетесь, ваша жена от вас ушла. Перед Новым годом все перевезла из квартиры... Как так? — задал я вопрос. Он говорит: не знаю. Я был в таком состоянии, будто кто кувалдой по голове ударил. Некоторое время не мог прийти в себя. Взял бутылку пива и залпом выпил. Потом дал 20 рублей денег и попросил купить вина. Принесли пять бутылок красного, конечно, я сразу опьянел, голодный, да еще с дороги. А что мне оставалось в таком состоянии. Взял я поклажу, спустился на свою площадку и опять позвонил соседям, они были уже дома. Я спросил, не оставляли ли им ключ от квартиры, тем более что Тамара работала с Галей на одном заводе, а с Володей, ее мужем, мы работали в одной бригаде.

Я поставил вино на стол, которое захватил у ребят, и говорю, давайте, Володя, выпьем, ну и ты, Тамара, и расскажи, что тут без меня произошло. Вот тогда я и узнал, лишь по выходе из ЛТП, что свадьбу Ольге справляли в Галином доме, где раньше жили, во дворе. И мамаша трех братьев Тарасовых, их дом напротив, предложила свою помощь, у нас, мол, газ, вместе будем готовить. И решила она старшему, Юрию, устроить жизнь (раньше-то до знакомства со мной Галя 9 месяцев жила со средним, Владимиром) и уговорила Галю... Был он мужик видный, а такой же, то есть пил и лечился в ЛТП...

Все это я и узнал по приезде. Говорила, жду, люблю. А выходит, просто меня обманывала. Теперь я убедился в неверности ее, что мне говорили про нее... Мы с Володей допили вино, и я совсем опьянел. Тамара предлагала мне покушать, но мне было не до еды. Я Тамаре сказал: пойду туда к ней, кого-нибудь да увижу, да мне и ключ надо взять от квартиры. Тамара еще меня спросила, Юра, деньги есть, оставь у меня, цельней будут, и предлагала ночевать у них. Но я ее не послушал, да, видать, не дошел до остановки автобуса, меня забрала милиция... Как после выяснилось, прямо рядом с домом и забрали, проезжали мимо, а я стоял у дома, и меня рвало. А что с меня взять, весь день голодный, переживал, да в ЛТП лечился, не пил, вот реакция и дала знать.

Так попал я в медвытрезвитель, на ночлег, правда очень дорогой. Утром меня выпустили, сразу пошел к ее матери. Она удивилась, поздравила с приездом, она меня покормила. Поговорили, мать стала жаловаться на нее, то есть на Галю, вот совсем забыла меня, связалась с этими пьяницами, сама пьет, и никакой помощи от нее нет. Даже редко стала бывать.

Я матери почистил снег на дворе, принес воды с колонки. Спросил про ключ, но у нее не оказалось, иди к Оле, говорит, может, у нее есть. Пошел я к дочери... где-то в четвертом часу вечера. Оля была уже дома, поздравила меня с приездом. И с ней поговорили, но, правда, про мать ничего конкретного, а ключ, говорит, затерялся... Время было позднее, она оставляла ночевать, но я не остался... Ночевал две ночи у соседей.

Только на четвертую ночь мне Тамара принесла ключ от Гали, которую встретила на работе. Тамара ее отругала, про-

сила ко мне вернуться, но та молча отдала ключ и ушла. И я на четвертые сутки попал к себе домой. А как открыл дверь, чуть не упал, такой воздух, форточки закрыты, везде пыль, грязь, банки от варенья и консервов... Все вынесено, пустота, осталась софа, холодильник, кухонный стол и четыре скамейки.

Два дня я занимался уборкой, а по вечерам ходил к теще и дочери. А Галю увидел на шестой день. В этот день я дольше задержался у дочери, уже собрался уходить, а она заходит, вдвоем с подругой, младшего брата Тарасова женой. Обе пьяные, увидев ее, я даже заплакал, кинулся целовать и сказал: «Эх, Галя, Галя, что же ты наделала!» Она тоже заплакала, даже пустилась в истерику... Не буду ни с тобой, ни с ним жить, лучше убейте меня! Я ей ответил, что ты пьяная, что это вино в тебе кипит, а здесь подруга вмешалась в разговор... Я ей говорю, Анфиса, оставь нас вдвоем, и она ушла. А Гале я сказал: пойдем сейчас к матери и все обговорим. Она, правда, пошла, но, все еще плача, упала в снег, а я ее поднимал. Смотрю, возле дома Тарасовых стоят два брата, Юрий и Саша, а с ними Анфиса, супруга Саши. Тут Юрий Тарасов, тот старший, с кем она связалась, меня позвал, тезка, мол, иди поговорим. Я ему так: не о чем нам говорить... И пошел с Галей к ее матери, она жила через дом. Мать увидела, что она пьяна, сразу резко накричала на нее, мол, бесстыдница, снова пьяная, а Галя психанула и ушла. Я маму упрекнул, зачем же так, я хотел только поговорить, пошел, думал, она у Оли, а она сидит возле Тарасова на лавочке, рядом братья и Анфиса. Я поздоровался, позвал Галю в дом к дочке, а тут Юрий с братом отозвали меня, и мы стали разговаривать... Он мне говорит, что Галя, мол, не хочет с тобой жить, а я ему говорю, что пока она моя законная жена и этот вопрос будем решать с ней. А ты, мол, мужик, я тебя не виню в этом, но ты знал, где я находился, и я бы на твоём месте так не поступал... Тем более соседи!

Правда, все обошлось мирным путем, а Гале я сказал, что завтра иду оформляться на работу, а вечером приду к Ольге, и на трезвую голову все решим. Вот, наверное на седьмой день, я вышел на работу, не стал отдыхать, да и в коллективе мне все получше, и на душе спокойнее, и время быстрее идет. Сходил к наркологу, встать на учет, прошел флюорографию. Работать пошел в свою же бригаду, я не привык бегать и менять работу, а работы не боюсь, все-таки

я деревенский мужик. Вечером у Оли Гали не было, я решил встретить ее у проходной. Идет, лицо опухшее, и я еще сказал, докатилась, мол, на кого похожа... Не знаю, обиделась или нет, но, видать, стыдно стало. Стал я спрашивать, что будем дальше-то делать, будем жить дальше или нет? Если нет, то уеду я отсюда, чтобы не видеть тебя и не расстраиваться при встречах. А она и говорит, куда, мол, ты уедешь, а я забыл сказать, что пока я отбывал принудительное лечение, померла моя мама... Вот она и говорит, куда поедешь и квартиру куда девать? Я говорю: живи ты.

Тут она по-другому повела разговор, что, Юра, поживи, сказала, пока один, дай мне разобраться в себе. Я ей ответил, Галя, я понимаю тебя, но ты моя жена, и, если тебе неудобно перед матерью Тарасова, давай я сам пойду к ним и поговорю. И я добавил, Галя, ведь мы почти 12 лет прожили с тобой, детей поставили на самостоятельный жизненный путь... Она мне ответила: ой, Юра, только не это!

Но она же не говорила, что не желает со мной жить, а сказала, Юра, пока поживи один, я разберусь сама. Юрий Федорович Тарасов, мол, тоже пьет, по пьянке тоже всякое высказывает... На этом наш разговор прервался, я пошел на работу.

Она, конечно, поняла, что передо мной виновата. И не могла она решиться от него с бухты-баряхты уходить. Я даже Гале говорил, что будем жить, что не будет упрека в ее сторону о всем случившемся. Я на все унижения шел, потому что не мог без нее... Я не представлял, как буду один без нее, ведь я ее любил.

А на суде сказали, мол, убивал умышленно. Да если бы я хотел ее убить, то мог раньше сделать, еще когда за ее неверность, но не сделал же... В жизни я не баловал с женщинами, да и некогда было, да и сидел много... Вот, честно, за всю жизнь ударил первую жену и лишь за то, что ребенок мой, сын восьми месяцев, ночью упал с койки и закричал... А жена спит, вот за это ударил, что дите мог стать уродом... А больше не было, чтобы я прикладывал руку на женщину, а после этого с нею спать, будь то жена. Почему суд не учитывает это, ведь я стремился жить с семьей, или они больше смотрят на прошлое мое? Я честно искупил свою вину и стремился жить с семьей, не нарушал законы Конституции, а следовательно за-

ключение пишет уже по-другому. А ведь в одном предложении может повлиять лишить человека жизни одна запятая... Так я жил весь год 1989 в ожидании, а чего, не знаю. Галя приходила с матерью ко мне мыться в ванне и была несколько раз с ночевкой. И с ним жила и меня не забывала. Даже 23 февраля, на праздник, пришла в два часа ночи, звонит, а я спал, спросони спросил кто, она отвечает — я открыл дверь и говорю, что, мол, сама-то не открывала? А у нее второй ключ был, Оля нашла и отдала ей. А она говорит, а может, у тебя женщина? Так что, спрашиваю, глядя на ночь пришла-то? Ну, рассказывает, собрались все три брата Тарасовых у матери и стали выпивать, ведь праздник, а потом разругались, и двое стали бить среднего, Владимира... Я, говорит, заступилась, а Юрий стал кричать: не суйся, я взяла и ушла.

Один раз я и сам зашел к Гале, мне надо было платежную книжку взять, было под вечер. Юрия дома не было, он пошел подработать, кому-то копал могилку. Сидим, разговариваем, заходят два бората и их приятель, в руках две сумки вина. Ну, я встал, чтобы уйти, но они — сиди, сейчас выпьем и поговорим. В общем, эти разговоры обошлись печально, до драки, они втроем меня так отделали... Было и это.

Прошел год, доработал я до отпуска с 26 декабря 1989 года. Думаю, Новый год отбуду в Вольске, а после на недельку съезжу на родину в Грозный, посмотреть, где похоронена мама, где ее могилка, а может, и адрес сына узнаю, он с 18 лет переехал в другой город, и связь я потерял.

Съездил, только приехал в другое место.

Был у меня друг Николай Лапшин, мы дружили с ним и женой Полиной. Иногда навещал, он жил на соседней с Галей улице. 30 декабря пошел к нему узнать, как они будут встречать Новый год. Они говорят, никуда не пойдем, придет Анатолий с женой, тоже хорошие знакомые, говорят, приходи и ты к нам. А я им говорю, да, вам хорошо, вы по парам, а я, мол, один... И есть жена и нет. Тут Полина предлагает, что зови Галю, а я, конечно, ни за что... Неудобно. Тут Полина ушла за хлебом, а мы остались, смотрим телевизор. А она возвращается из магазина и объявляет, ну, говорит, видела Галю, она пошла на почту, а потом зайдет к нам.

Я, конечно, дождался ее, смотрел телевизор, а Коля с Полиной были на кухне, и слышу здороваются с ними и, ко-

нечно, догадалась, что и я здесь. Тут я вышел, поздоровался с ней, присел в прихожей на диван, закурил, а они с ней разговаривают. Слышу, Полина говорит, хватит, Галя, людей смешить, сходите и живите, ведь любите друг друга. Тут стали обсуждать Новый год, а она подошла ко мне, спросила, как жизнь, поцеловала при Николае и Полине. А я ей ответил: какая, мол, жизнь одному, завтра, мол, Новый год, а я буду здесь один... А она говорит, что я тоже буду с вами... На два часа придет посидеть... Я проводил до калитки, я еще гармонь попросил на Новый год, так как моя сломалась, а у нее от второго мужа тоже была гармонь... Она обещала дать и повторила, я приду завтра. И ушла.

На другой день я пришел к Гале, постучал в окошко, она вышла, говорит, мол, в хату не ходи, там братья пьют... Вынесла гармонь и обратно сказала вчерашние слова, что придет. Пришел я к Лапшиным в половине девятого, включили телевизор, а Анатолия с женой все не было. В одиннадцатом часу я пошел их встретить на остановке, но они не приехали. Полина говорит: нечего ждать, и мы выпили по рюмке за старый год, потом еще по одной. Тут по телевизору поздравления, мы обратно выпили за Новый год, пошли, покурили, был второй час ночи, а Гали все нет. Я что-то скис, стало мне не по себе, на душе стало плохо. Я уж Николаю говорю, что, наверное, Галя не придет, наверное, я лягу спать... А он сказал: вот диван твой в прихожей... Только сыграй на гармонии... Я начал, мол, не до игры, а он обиделся. Ну, конечно, я сыграл тогда. В четыре я прилег, а он пошел в зал к Полине. Но что-то не спалось, а может, нервы... Тогда я подошел к двери и спросил у хозяев, не спят ли они... Телевизор еще работал. Я сказал, что пойду домой...

Я побоялся идти Чернышевской улицей, там длинная лестница на спуске, да еще сломанная... Я пошел пешком Галиным переулком. Увидев Галин дом, захотелось узнать, почему она не пришла. Заглянул в окно и увидел, что они спят вдвоем... Я не знаю, что со мной случилось... Стал стучать в окно, но они не услышали. Тогда я попытался открыть дверь, потому что сам еще замок здесь ставил и как-то потерял ключ и топором пришлось отжимать дверь... Но не было под рукой ничего, и я в сарайчике, в углу нашел какую-то железку.

Это, уже позже выяснилось, был гвоздодер. Вот на суде было сказано, что я вооружился, и вот одно это слово в моем обвинении сыграло роль. А я ведь только думал, чем открыть дверь, и нашел эту железку. Тогда я разбил окно, или ногой, или этой железкой, точно уж не помню... Какое состояние было, один Бог знает. Смутно помню, когда зажег свет, я услышал Галин голос... Кто здесь, а я ответил, что я. Они встали оба с койки, я начал с ними разговаривать... Помню только эти слова: «Ты меня обманула, ты не пришла?» И слова: «Юра, все будет хорошо...»

И тут меня накрыло.

Как я бил, и куда, и сколько ударов нанес, и как уходил, через окно или дверь... Помню лишь, что оказался у Николая, открыл мне дверь, а у меня железка в руке... То есть я не знал, что у меня железка в руке, а он сказал: «Дай железку», и я отдал и сказал, это я помню, что я сказал Коле: «Наверное, я убил двоих...» — «Кого?» — «Галю с Юрием...»

С руки капала кровь, наверное, порезался о стекло.

Я рассказал, как помню и как есть, о своем необдуманном, непростительном убийстве своей любимой жены и сожителя Юрия Тарасова. В камере предварительного заключения решил покончить жизнь самоубийством, но у меня не получилось, полотенце не выдержало. Мне сказал следователь, что этого делать не нужно, все будет хорошо. Теперь хочу сказать, что судья даже не дал мне высказать мое последнее слово, все подгонял, ближе к делу, только и подгонял... Я так и не смог до конца сказать, сел.

Теперь после вынесения приговора нахожусь пятый месяц в одиночной камере, все передумал, все надеясь на что-то, сколько переплакал, и до сих пор не верится, что Гали и Юры нет в живых. Они так и стоят перед глазами, иной раз ляжешь, а они тут... Пока не перекрестишься, не уходят.

А в окошко вижу полоску неба, а ведь за окном все живет. Так же люди живут, трудятся, веселятся... Как хочется быть с ними. Хочется еще пожить, я еще не больно стар, и прошу, чтобы мне сохранили жизнь. Козлов.

Я также родственникам погибших буду из мест заключения материально помогать. Очень прошу не отказать в моей просьбе. 1990 г.»

Ну что можно сказать более, чем он сам сказал?

Это исповедь измученного человека, мастера, умельца и работяги, который всю жизнь пытался обрести семью. Здесь нет виноватых, а есть наивная и чистая любовь и есть страдание, а далее — случай, с трагической развязкой и фатально сложившейся судьбой.

Судья не дал рассказать подсудимому до конца жизнь. Его это не волновало. И я не знаю, чем она закончилась: помилованием или расстрелом. Дело проходило за год до образования нашей Комиссии, а в тот девяностый год — год правления Горбачева, было расстреляно по СССР почти двести человек, и лишь двадцать девять помилованы.

Зона третья ЖУЛИКИ, ВПЕРЕД!

ПРИТЧА О ДВУХ ОБЕЗЬЯНАХ

Однажды в подмосковной деревеньке, как всегда утопающей в навозе и грязи, проезжал я по улочке между домов и вдруг увидел нечто меня поразившее: крошечный лабазик, а может и бывший даже туалет с выходом на улицу, а в единственном окошечке в ладонь величиной выставлена бутылка водки и сверху надписано: «ЕДА».

Вот когда я поверил, что русская хозяйственная смекалка и торговые замашки у потомков русских коробейников еще не вывелись, не исчерпались за годы бесхозяйствования бывшей власти и мы еще можем возродиться. Уж как ни боролись у нас со спекулянтами, как ни изгалялись над бабками, торгующими цветами и пучками укропа да редиса, а бизнес, а рынок, а торговля из-под полы не заглохли и дали свои ростки. Хотя по нынешним законам, чтобы этот так называемый бизнес создать, необходимо произвести пятьсот телодвижений, и каждое — связано опять же с властями и взятками. В отличие от России немцу нужно проделать всего два действия и полчаса времени.

Между нами говоря, россиянин, предоставленный сам себе, как тот утопающий, не смог бы выплыть, выжить, не будь у него этой самой хватки.

Я вспомнил сапожника, так называемого частника, подрабатывающего у метро «Сокол», да не только я — его многие еще помнят. При любой нужде и в любую погоду он, не в убы-

ток государственным мастерским, которые нос воротили от нашей изношенной обуви и вообще старались не затруднять себя, брал и тут же при тебе набивал каблук, подшивал, подклеивал... Делал то, что нам позарез было надо. И все это с шуточками да прибауточками, легко, будто на посиделках, в деревне. Но я о другом. О том, как с ним боролась советская власть. Они его будочку и сжигали, и отводили самого в отделение милиции, и требовали каких-то немислимых документов. И тогда он исчезал на время, а я потом, бывало, специально проезжал на остановку дальше, чтобы пройти мимо его места и убедиться, что он снова работает.

Последний раз я видел его уже без будки (ее в очередной раз спалили), а его избил родная наша милиция: чего-то он ей недодал... Он только вышел из больницы и, приспособив для работы какой-то ящик, сидел, постукивал, делал свое привычное дело, я тут же сбежал домой, принес накопившуюся старую обувь и присел рядом, засмотревшись на его подвижные руки. Впрочем, видимо, ему досталось, потому что работал он уже не так играючи, а напряженно, озираясь по сторонам. Но еще храбрился, произнося, что, конечно, они его съедят, но может, и не съедят... У них сила и закон, а у меня вот это — и указал на руки... Это то, что они не умеют, а сапоги у них тоже требуют ремонта, и участковый Васька с соседнего двора, он знал этого Ваську как последнего хулигана, ходит за бесплатно чиниться опять же к нему... Но его таки извели.

Дай Бог, если остался сам цел. Бездельники в синих погонах, всякая шушера из местных органов изводили в ту пору «частника» всеми доступными способами. Да и сейчас не ленятся это делать. Сами работать они не хотят и не будут. Но другим уж точно не дадут.

В каком-то научном журнале попалась мне однажды статья, рассказывающая об обезьянах, которых переселили на необитаемый остров и наблюдали за их приспособляемостью к новым условиям. И обнаружилась занятная картина. Предводитель одной стаи, самец Авель, проявив недюжинные способности к выживанию, придумал, а потом и научил своих сородичей, опускать зерно в воду и размачивать его для потребления, он же первый приспособил палку для сбивания плодов с деревьев. Предводитель другой стаи,

Варавва, тоже не был дураком, но его способности применялись иначе: он подкрадывался и воровал вымоченное в воде зерно и ловко подхватывал чужие плоды, сбитые с дерева. Но самое поразительное, что потомки из рода Авеля выходили сплошь трудяги, а из рода Вараввы — разбойники.

Историю обезьян я вспомнил не случайно — ныне, когда спасительный малый бизнес на распутье, одни предприимчивые и активные его (как и всю экономику) тащат из пропасти, а другие...

Некий Чернов узнал, что водитель Полянских от своей фирмы повезет из Волгограда в Москву на продажу мясо и птицу, а на обратном пути у него будут вырученные деньги, которые можно отнять. Для этой цели сколачивается группа из четырех нигде не работающих лиц, все мужчины в расцвете сил, которые на машине «Волга» едут за тысячу верст в Москву, прихватив с собой газовый баллончик, две резиновые дубинки и шило. Неподалеку от торгового дома «Русь» они обнаруживают нужный им автомобиль КамАЗ, за которым и начинают следить в течение трех суток, как в самом скверном детективе: ездить за ним по Москве, во время ночлега из своей машины вести наблюдение. Увидев, что машина загружается тарой на обратный путь, следуют за ней, на время теряют из вида, но обнаруживают на станции Стрельцы Тамбовской области. Чтобы не упустить добычу, они прокалывают ночью у машины два колеса и ложатся спать. Наутро один из банды — Пономарев проявляет к пострадавшему «от неведомых хулиганов» Полянских сочувствие и даже помогает ему перемотировать два поврежденных колеса, а потом напрашивается в попутчики до родного Волгограда. В кармане у него газовый баллончик, который он должен применить против водителя. «Волга» с тремя заговорщиками следует за ними на некотором расстоянии. Бедный Полянских, конечно, ни о чем не догадывается. Его дело доставить домой вырученные за работу деньги.

Ну, а далее происходит то, что и должно было произойти. Как указано в деле: на 472 километре автодороги Москва—Астрахань Пономарев попросил водителя остановиться, а потом направил струю из газового баллончика в лицо Полянских. Последний выскочил из кабины автомобиля с криками о помощи и побежал по дороге в обратном направлении, а

Пономарев стал обыскивать кабину и рыться в чужом белье. В это же время около пострадавшего Полянских остановилась «Волга» с тремя мужчинами, которые вызвались ему помочь. Его посадили в машину, и все вместе они подъехали к КамАЗу. Чернов попросил всех оставаться на местах, мол, сам разберется, и полез в кабину к Пономареву, который сообщил главарю, что денег найти не удалось. Полянских вслед за Черновым вернулся к своей машине и тут почувствовал, как написано в деле, «что-то нехорошее», да бандиты, по-видимому, не особенно уже и маскировались. Он рванулся на дорогу, но его настигла резиновая дубинка — ударили сзади по голове. Окровавленный, он таки достиг проезжей части, и тут опять, как в детективе, его заметили с проезжающей машины, в которой находился (такое вот везение!) работник милиции... Стали останавливаться и другие машины, а наши пираты-разбойнички рванули на своей прочь... Как указано в деле, «скрылись с места происшествия». Их задержали на ближайшем посту ГАИ.

Такая вот история, одна из многих, которые нам приходится рассматривать. Не все так счастливо заканчиваются. Но вот, взвешивая на руках очередную папку для обсуждения на Комиссии по помилованию в полторы сотни дел, я подсчитываю, а сколько же среди наших подопечных — то есть осужденных — лиц, нигде не работающих... И здесь, повторюсь, четыре молодых мужика в течение полутора-двух недель, отмахав полстраны, преследуют труженика, чтобы отнять у него, как выясняется из дела, миллион семьсот тысяч старых, неденоминированных рублей, которые, кстати, они так и не нашли. На каждое разбойное рыло, если прикинуть, выходит по семьсот тысяч. Да они бы, производя тех же самых кур, заработали бы эти рубли без риска и последующей тюрьмы!

Мысленно возвращаясь к первооткрывателям такого образа жизни, к нашим прапредкам, к тому же Варавве, я не без укора произношу: «Братцы мои, дорогие мои прародители... Давайте будем трудиться и не будем красть, ибо вы вырабатываете нехороший такой ген... Ген безделья и лени. Если наши ученые его до сих пор не открыли, то тоже лишь по своей лени, но они откроют! Но вас-то, дружочки, потомки не попомнят добром... Ибо ваша стая в скором

времени разрастется до уровня целой нации, и каждый западный фермер, который приедет к нам, чтобы выращивать картошку (читайте про голландского фермера под Москвой), будет крайне изумляться, отчего все окружающие деревни только пили сивуху, когда он сажал (тоже мне, Авель!), а сейчас суетятся вокруг его поля и копают, копают... На глазах у его весьма растерянного голландского семейства.

Пусть бестолковый фермер посмотрит их родословную, тогда у него не возникнет вопроса о загадочной русской душе.

А если умом Россию не понять, то тем более нужны заборы, замки и ограждения, чтобы оберечься от такой непонятной нации... Которой и верить тоже нельзя.

Гены, унаследованные от вожака Вараввы, будут сильнее Авелевых, и хватательные, то бишь разбойничьи, склонности широко процветают на Руси, и вот уже идут письма из провинции от губернаторов... В защиту не обездоленных учителей или шахтеров, а лишь осужденных за разбой рэкетиров... И страшновато, что бойкие потомки Вараввы могут встать во главе нашей жизни, а возможно, даже будут определять судьбу страны.

КАК УБИЛИ НОВОГО ЕЛИСЕЕВА (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Дело было нашумевшее, о нем до сих пор вспоминают. Адвокат Сарумов А.А. свое послание Президенту Ельцину так и озаглавил: «Как убили русского советского Елисеева».

Сам же Сарумов А.А. проработал в органах прокуратуры, как он пишет, 30 лет, был адвокатом Соколова на суде, но потом и сам привлекался к ответственности за клевету и оскорбление в адрес судьи Демидова, который осудил Соколова.

Мне же о Соколове поведал впервые Вергилий Петрович, заметив в каком-то разговоре:

— Быстро его пришепнули-то, уж очень разговорился. А не надо бы! Фронтоник, ранение, ордена... И не пожалели... Я тогда был на суде, там с самого начала вели к смертной казни...

К счастью, это дело еще сохранялось в архиве отдела и мне его разыскали.

Сперва коротко о его жизни.

Соколов Юрий Константинович, уроженец Москвы, в неполных 17 лет ушел на фронт, был командиром орудия, был ранен... Работал по демобилизации шофером, окончил Плехановский институт, женат, имеет взрослую дочь... Последние годы работал замдиректора и директором Елисеевского гастронома... Сумел поднять годовой товарооборот в три раза... Заключение по делу осужденного к смертной казни Ю.К. Соколова: «...Используя свое ответственное должностное положение, Соколов в корыстных целях с января 1972 г. по октябрь 1982 г. систематически получал взятки от своих подчиненных за то, что через вышестоящие торговые организации обеспечивал бесперебойную поставку в магазин продовольственных товаров в выгодном для взяткодателей ассортименте... Неоднократно давал взятки руководителям торгоа...»

Ничего не понимая в торговле, я все-таки задаю вопрос: отчего же бесперебойная поставка товаров является преступлением, а также спрашиваю, стал бы упомянутый Соколов давать наверх взятки, если бы товары сами по себе доставлялись бесперебойно, как оно и должно быть?

Где-то в деле промелькнет странным образом сохранившийся факт — сотрудники завода кассовых аппаратов, ссылаясь на дефицит деталей и запчастей (он-то уж точно был!), отказывались ремонтировать оборудование магазина до получения от него вознаграждения (денег, продуктов, спиртных напитков и т. д.).

Далее называются суммы, которые Соколов получал от подчиненных и которые давал начальству, они примерно равны. Что брал, то и отдавал. И отдавал за то лишь, что ему давали возможность нормально работать. Упомянутый завод кассовых аппаратов — лишь часть таких поборов. Были, наверное, и другие.

В своем ходатайстве о помиловании Соколов напишет, что никаким организатором преступлений он не был, поскольку система взяточничества в торговле существовала задолго до его назначения. Он просит учесть, что он назвал следственным органам большую группу руководителей торговых организаций, которые брали взятки, причем более двадцати лет, и что он активно помогал следствию разрушить эту круговую поруку.

Я специально выделил этот текст, в нем ключ к жестокому и быстрому решению судей: казнить. Ибо он мог назвать и других руководителей, которые пользовались первым гастрономом Москвы как удобной кормушкой. Эту круговую поруку нельзя было разрушать. А может быть, он кого-то и назвал.

Из прокурорского заключения: «...Далее Соколов указывает, что работавший до него директором магазина Борисов перед уходом на другую работу рассказал ему о том, кому из руководства и сколько он, Соколов, должен давать ежемесячно, а кто из завотделами магазина и в каких суммах должны давать ему, Соколову. В суде Соколов показал, что «предполагал», что и Борисов тоже брал и давал взятки...»

Не надо быть судьей или прокурором, чтобы не понимать, что система эта существовала до Соколова и до Борисова, от самых первых годов советской власти, когда ликвидировали Елисеевых, Семеновых и прочих капиталистов, а вместо них поставили пресловутый Госторг, или как он прежде назывался! Но это не мешало им изображать святую невинность во время суда, будто впервые в жизни видят они советского взяточника и не могут взять в толк, как вообще в стране победившего социализма можно брать взятки. Будто не они в тиши кабинетов на ушко, с оглядкой, пересказывали анекдотец: а должен ли коммунист платить партийные взносы со взяток? И отвечали: должен, если он настоящий коммунист!

О существовании вокруг нас коррупции мы, дети, догадались довольно рано, ибо были куда наблюдательнее взрослых дядей от прокуратуры.

Еще в довоенных Люберцах, крутятся около нарсуда, который был по соседству с нашим домом, мы улавливали чутким ухом рассуждения обыкновенного люда, выстаивающего и высиживающего прямо на заплеванных ступеньках с торбочками да узлами, чаще всего из пригородов и деревни, в качестве просителей, рассуждения о том, сколько они должны отвалить рубликов здешним вершителям судеб... Чтобы смиловались... Не засудили... Не засадили...

В сибирской деревне Таловке мы, бессловесная шантрапа, въяве наблюдали, как наш ворюга-директор детдома то-

варищ Башмаков отдавал местным колхозным алкоголикам выращенный нашим детским рабским трудом урожай картошки, капусты, гороха в обмен за какие-то для себя блага.

В Грозном, приехав на олимпиаду самодеятельности, мы воочию узрели, как директор нашего спецдетдома (это был другой директор, но очень похожий на Башмакова) относил в ситцевой наволочке два килограмма драгоценного риса, наш месячный продуктовый запас! Относил открыто, через весь город, чтобы вручить кому-то в жюри за то первое место, которое нам присудят. И нам его присудили.

И не мы ли повторяли вслед за героями любимого фильма о войне «Два бойца»: «Кому война, а кому мать родна», имея в виду всех жирующих за счет детишек и тыловых баб.

Я уж не говорю о нашей взрослой жизни, где ничего нельзя было получить без взятки. На наших глазах подростков, вступающих в жизнь — нам тогда было по пятнадцать, — наши романтические девчонки-сокурсницы в авиационном техникуме, чтобы получить соответствующую оценку, должны были ложиться под лысого упыря-математика Скипенко, который с целью их поиметь специально принимал экзамены у себя дома. Без того могли и отчислить.

Однажды мой дружок Валентин Гринер, поэт из Воркуты, по секрету рассказал мне, что у них в городе целая меховая фабрика производит пыжиковые шапки, и стада оленей для того же содержатся, чтобы давать в Москве, при каждом визите в разных министерствах, взятки... Шапками... И получать за это запчасти для угольных комбайнов. Но вот беда, пошутил Валентин: чиновники в Москве плодятся быстрее, чем в тундре олени, из которых эти шапки делают...

Ни к чему далеко ходить, вот и вокруг нашего, как бы святого, бескорыстного дела помилования постоянно возникают странные телефонные звонки, намеки, попытки и поиски различных путей для переговоров, вплоть до невинных подарков... Какой-нибудь там рыбки, или икры, или коньяка, ненароком завезенных с периферии.

Некая Сверчкова, посетив сына в лагере, написала мне: «...Вещи мои для сына, продукты, одежду занесли в зону и сыну не отдали... Не дала сигарет солдатам конвоя. Но это мелочи в сравнении с другими вымогателями взяток. Я уже привыкла, что любую передачу делят пополам на сына и кого-то еще.

А попробуй сказать слово против, забьют, загонят в ШИЗО, посыплются одни нарушения, а ведь мзду не картошкой берут... По словам сына, УДО (условно-досрочное освобождение) стоит автомашины... Выслать характеристику на помилование стоит «видик»... Или цветной телевизор... Можно платить и другим товаром... Оформление «на поселок» чуть дешевле... Есть расценки на передачу сверх нормы, на свидание и так далее... Берут сигаретами, духами, продуктами питания... Где я, одинокая многодетная (семь детей) пенсионерка, инвалид 2-й группы, возьму денег на такие взятки?»

Что касается характеристик на помилование, которые мы обычно требуем для полноты дела, то автор письма проясняет и далее обстановку в лагере. «...Если бы вы знали систему ИТУ и то, как там решают, то возможно бы что-то изменилось. Но вы этой системы не знаете, а откуда все беспределы, перегибы... Для того чтобы выслать характеристику для помилования, нужно в зоне пройти как минимум две (взяткодательные) комиссии. И тянутся они по полгода. И не дай бог, если кто-то из этих вымогателей не получит свое. Тогда все идет в ход. Поэтому малоимущим зэкам не пробиться. Это сито, где много лет тянут с любой семьей... Зачем такая многоступенчатая мафиозная организация, в которой ваша комиссия тонет, как в дерьме?»

После письма Сверчковой я попробовал было устроить проверку, но она, как и следовало ожидать, закончилась ничем. Мне передали через Вергилия Петровича, что сведения из письма моего адресата не подтвердились.

А затем я получил и еще одно письмо от самой Сверчковой, вот что она написала: «...Душа болит за мое слишком откровенное письмо к Вам, я не в Вас сомневаюсь, а в том, что вдруг кто-то другой прочтет и передаст мое письмо по инстанции для поверки принятия мер... Если это случится, то худо будет нам, мне и сыну. Взятничество, вымогательство вообще трудно доказать... Я хотела, чтобы Вы знали, что в зоне не перевоспитывают, а гробят не только заключенных, но и семьи осужденных... 10 тысяч рублей (стоимость в ту пору автомашины. — А. П.) мы пока не собрали... А у меня более 20 благодарностей за хорошее воспитание детей... Так поверьте мне, я понимаю, что Комиссия Ваша должна быть уверена, что осужденный искупит свою

вину и исправится... Но ГУЛАГи не исправляют людей, это известно всем. Так и сейчас: чем больше человек там, тем меньше надежды на после. Вопрос только в том — кто там сидит, человек или зверь? Если все-таки человек, то почему такой нечеловеческий срок? Да после моего Вам письма по поводу взяток мой сын там у них в залоге. В зоне всегда есть «свои» для начальства зэки, которые могут все, даже убить... Поэтому изымите мое письмо, которое я по своей глупости Вам написала про взятки...»

Но хочу вернуться к делу Соколова, о котором в приговоре написали так: «Без должной проверки его моральных качеств был назначен директором...»

Ах, господа, да знали они все, и качества никакие личные Соколова их не интересовали, кроме разве... чтобы не попадался, а когда попадетя — не продавал своих!

«...Занимая ответственное положение директора торгового предприятия, расположенного в центре Москвы (на тогдашней ул. Горького, ныне Тверской), Соколов в соответствии со своими полномочиями, — пишут они, — должен был (отметьте! — А. П.)... обеспечить постоянное наличие в магазине для продажи населению товаров в широком ассортименте и надлежащего качества...»

Тут что ни слово, то жульничество.

Или подлог. Или вранье.

Ну как, спрашивается, при всеобщем дефиците в стране он мог честно получать качественные продукты со склада, которых в общем-то и не существовало? Для населения не существовало, понятно. Это бывший Елисеев, то бишь хозяин, никому ничего не был должен, а брал да создавал без всяких там взяток «широкий ассортимент и надлежащее качество...»

Вот качество особенно, говорят, было у него «надлежащим»! Только он этого слова не знал. «Ненадлежащего качества», как и осетрины второй свежести, просто не бывает.

А у той власти, что ставила Соколова на это злачное место, никаких возможностей обеспечить «ассортимент» и «качество» не было. И они это знали, и он тоже знал, а те из судей, кто тыкал ему в морду в обвинении всю эту пустоপরজন্য গালিমাত্য, тем более.

Из материалов суда следует, что в каждом отделе магазина использовались средства для обогащения, такие, как пересортица, нарушение правил разделки рыбы и мяса, естественная убыль и — вот оно! — дефицит в отделе заказов, организованном для предприятий и организаций города, ветеранов войны и так далее...

Наверное, что-то получали и предприятия, но тоже не бескорыстно. Но главный-то потребитель ловко скрыт за словами «и так далее». Эти уже будут названы в документе совсем другом, который под грифом «секретно» запрятали так далеко, что его не увидели и сами судья, он, возможно, до сих пор хранится где-нибудь в архивах бывшего КГБ.

Еще бы не засекретить, если туда попали фамилии главных расхитителей народного добра, тех, кто эти заказы растаскивал! Но, как сформулировал эту проблему в своих афоризмах писатель Анатолий Злобин, — «всё не для всех».

Одна наша приятельница в те времена как-то просто-душно рассказала, что ее родитель — «шишка» в каком-то цэковском отделе и получает за какие-то копейки, десятая, что ли, доля зарплаты, партийный паек, который он делит на четыре части... Три из них продает (не отдает!) своим чадам (не очень дорого, сказала она), четвертой же части пайка сполна хватает ему с женой...

А вот что пишет адвокат Сарумов:

«...1982 год, Брежнев на смертном одре. Идет ожесточенная драчка между Андроповым и Гришиным. Кто возьмет верх? Верх взял Андропов. Он дал указание КГБ собрать компромат на Гришина... Так как магазин находился на бойком месте, был полон дефицита и туда постоянно ходили на халяву дочь, зять Брежнева и другие номенклатурные бездельники, которые бесплатно отоваривались (из горкома партии, из Моссовета и т. д.)...»

Да, известно, что практически в той кормушке отоваривалась вся столичная знать, ей, а не инвалидам войны, шли лучшие куски с барского стола! И кому-то из них Соколов мог и не потрафить!

Тем более что бесплатно ничего не бывает, это ясно всем, и судьям тоже, и каким-то образом не достачу средств Соколов должен был любым доступным способом покрывать. Он это и делал, рискуя собственной головой!

На процессе все это не могло не открыться, но, по словам того же Сарумова, «процесс был закрытым. За версту все было оцеплено. В зал (помещение народного суда Бауманского района Москвы), кроме сотрудников КГБ (дружинников) и жен подсудимых, больше никого не пускали... В приговоре отсутствуют фамилии тех лиц, у которых брал взятки Соколов и давал своим начальникам. О ком идет речь, приходится только догадываться...»

Но это лишь о высоком торговом начальстве. О фамилиях же упомянутых выше «номенклатурных бездельников» и речи нет. Они могли бы возникнуть, если бы процесс затянулся. Но его провели в рекордно короткий срок: от ареста до казни — семь месяцев! Сам же суд вообще исчислялся днями.

В чем же наш советский суд (судья — некий Демидов, который, по словам Сарумова, «был главным автором и завершителем смертного приговора») видел опасность такого необычного преступника?

«...Особая опасность... — записано в приговоре, — состоит в том, что подрывался авторитет народно-хозяйственного аппарата, нарушалась нормальная работа отрасли и дискредитировались новые формы торговли...»

Ах, полноте! Ваш «аппарат» никакого авторитета не имел, а формы торговли были единственные и те самые, которыми и пользовался бывший артиллерист Соколов. А слова далее о том, что совершены «серьезные упущения в расстановке и политико-воспитательной работе с кадрами...», предназначались уже для партийной прессы, которая разобъяснит все что положено и как положено рабочим и служащим: ведь жрать-то им и вправду нечего, а все из-за воров и жуликов, таких, как этот Соколов!

Спокойствие верхов было необходимо купить ценой хотя бы одной, но не столь для них ценной жизни.

Единственное, что они не рассчитали, так это откровенный их жертвы. Но тут и КГБ на подхвате. И хоть никаких документов от него нет, но уже проводится коллегия министерства по этим несуществующим документам и даже принимается решение «О дополнительных мерах по усилению контроля за сохранностью продовольственных товаров...»

Вот теперь-то и наступит рай на земле. Сохранят от жуликов товары, кого надо постреляют на радость трудя-

щимся, они уже небось и письма коллективные шлют, чтобы поскорей, значит, стреляли, а там, глядишь, и будет у нас в магазинах тот самый ассортимент...

Да и номенклатура может спать спокойно. Для нее откроют другой магазин и поставят другого Соколова... Или Иванова... Или Сидорова... Приказ же министерства рассыпан по соответствующим торгам страны, где тоже выявлены подобные злоупотребления... (То есть понимать надо так: много недовольных этими злоупотреблениями.)

И поэтому необходимо — что? Правильно, «...наведение строгого порядка в обеспечении сохранности социалистической собственности...»

После чего около четырехсот человек было осуждено.

И поехало, пошло по всей разнесчастной России... Которая этих балыков и этой икры тогда в глаза не видела и никогда не узнает, кто это все пожрал... А всего бы и делов-то, что позвать нового Елисеева, других таких же, и все появится на самом деле... Все будет!

Как до революции!

Только халявы не будет.

Ну а Соколов-то что?

«...Вначале, — напишет он в своем последнем слове, — пытался работать честно, потом убедился, что надо давать взятки или уходить с должности... Понимая всю тяжесть совершенного мной преступления, я сам уже давно осудил себя самым строгим судом. Я не боюсь самой смерти, и не страх заставляет меня писать о помиловании — страшно за близких и родных, которые не переживут такой позорной и бессмысленной смерти. Сейчас я тяжело болен, моя семья, моя дочь, студентка, с трехлетним ребенком остались без мужа и отца. Неужели, — спрашивает он в отчаянии, — есть такая необходимость лишить жизни человека за совершенные им действия?»

Необходимость такая была. Спокойствие верхов, повторю, но и успокоение низов надо было купить ценой чьей-то жизни.

Ходатайство отклонили.

Сперва в Президиуме Верховного Совета РСФСР (М. Яс-нов), а потом и на всесоюзном уровне.

В деле вслед за подписью Яснова в правом углу бумаги есть маленькая приписочка: «Справка. Приговор в отношении Соколова Юрия Константиновича приведен в исполнение 11 июля 1984 г. Прокурор РСФСР, гос. советник юстиции 2 класса С.А. Емельянов».

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ КАЗНЕННЫХ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Это дело внешне напоминает историю с Соколовым. Оно и заведено было примерно в тот же год, тогда же произошли и следствие и суд, так что можно предположить, что оно было реальным продолжением начавшейся в Москве кампании, которая обязана была, после расстрела Соколова, распространиться уже далее на всю Россию.

Передо мной зеленая папочка смертника: Бородкина Берта Наумовна. Вдова, имеет взрослую дочь, работала официанткой в столовой с 1946 года в ресторанах Геленджика, потом буфетчицей кафе, директором столовой, а с 1974 года до ареста — управляющей трестом ресторанов и столовых в том же Геленджике.

Далее начинается ситуация, знакомая нам по делу Соколова.

«...В указанный период, являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, неоднократно лично и через посредников у себя на квартире и по месту работы получала взятки от большой группы подчиненных ей по работе... Из полученных ею взяток Бородкина сама передавала взятки ответственным работникам г. Геленджика за оказанное содействие и поддержку в работе и иные услуги, создающие в тресте обстановку совершения преступлений...»

Практически история повторяется; по-видимому, по-иному, то есть без взяток, поборов и подкупа, работать в этой сфере было невозможно. В народе говорят так: «Не подмажешь — не поедешь!»

Кому же требовалось подмазывать?

Да самым-самым, из местных воротил, которые не менее, чем какой-нибудь моссветовский прихлебатель, министерский хлыщ или зять Самого, ворочали тут, на пе-

риферии, судьбами людей. И жрали, и одевались, и строились — все за чужой счет.

«...Так, за период последних двух лет было передано секретарю горкома партии Погодину ценностями, деньгами и продуктами на 15 тысяч рублей...» Сейчас, может, и не помнят, но сумма по тем временам немалая: цена примерно трех «жигулей». Взятки получали начальник ОБХСС (должный контролировать работу торговли), начальник Главкурорта и другие.

После ареста Бородкиной первый коммунист Геленджика, как и следовало ожидать, смылся, остальные двое были, наверное, почестней: они покончили с собой. Сама же Бородкина за то, что кормила да одевала полгорода, пошла на лобное место.

Обвинение суда слово в слово повторяет обвинение директора Елисеевского гастронома: «Бородкина своими преступными действиями подрывала авторитет госаппарата и дискредитировала его работу...»

Вот если бы сачковала, скажем, и ни хрена бы не делала, никто бы ничего и не сказал. Мало ли бездельников сидело в руководстве и, завалив одно предприятие, благополучно переводилось на другое. А вот попыталась неленивая инициативная работница выкручиваться да приводить в ход какие-то экономические рычаги, дающие возможность тресту работать, она тут же, моментально стала преступницей. Оттого и создали государство тунеядствующих (по нашим делам каждый второй нигде и никогда не работал!), что деловых били по рукам!

Стоит еще обратить внимание на то, что Бородкина, как и Соколов, — люди, как говорят, из низов (один в прошлом шофер, фронтовик, другая официантка, воспитывалась без родителей), не блатные, попавшие на руководство со стороны, они сумели достичь высот только своим умением да горбом. А значит, чего-то стоили.

Кстати, обвинение, дословно повторяющее соколовское, подтверждает мою мысль о непосредственной связи между этими двумя делами. Оттого такая особенная заинтересованность центральной партийной прессы, дававшей подробную информацию об этом процессе и репортажи из зала суда. Народ ведь должен был знать, из-за кого он страдает.

В столичных газетах и в местной («Советская Кубань») за апрель 1984 года отмечалось, что «...приговор о смертной казни был встречен с одобрением присутствующими в зале суда...»

Бородкина подать ходатайство о помиловании «безмотивно», как сказано в деле, отказалась.

О сохранении матери жизни просила ее дочь, ссылаясь на то, что мать за содеянное жестоко наказана и в данный момент находится в состоянии психического расстройства. Что это означает, можно судить по некоторым косвенным данным, которые подтверждают диагноз о сумасшествии: Бородкина после вынесения ей приговора не произнесла ни слова до самой казни.

А вот что пишет ее дочь в своем прошении на высочайшее имя: «Я с ужасом осознаю, какое преступление совершила моя мать, но плохих матерей не бывает, имя матери всегда свято. Меня воспитывала она одна с 3 месяцев, да и сама сирота... Плачу, умоляю Вас, стоя на коленях, а рядом двое моих малых детей, не убивайте же мою мамочку!.. Как смотреть на солнце, как растить детей и спать ночью, зная, что моя мама, самый родной и любимый человек на свете, расстреляна? Ведь даже в капиталистических странах смертная казнь для женщин отменена...»

Далее она рассказывает, что на свидании не узнала мать, она потеряла человеческий облик, кричала, издавала невнятные звуки. И заканчивает так: «Будьте милосердны, не убивайте маму, ведь она никого не убивала!»

В материалах дела есть и заключение психиатров, присутствовавших на суде, которые поведение Бородкиной называют «симулятивным». Но факт, что она еще год после суда, вплоть до смертной казни, жила в немоте (не считая «крика» и «мычания»), заставляет усомниться в их диагнозе. Никаких документов о стационарной медэкспертизе, которые обычно сопровождают дела смертников, в деле не оказалось. Наверное, ее и не было. И причина понятная: установка сверху была однозначной — расстрелять.

Надо еще добавить, что тот год вообще был рекордным на казни: в одной России расстреляли более четырехсот человек! Помиловали пять. По СССР эту цифру вполне можно удваивать.

И кто теперь определит, сколько было казнено убийц и насильников, а сколько невинных жертв, взятых в продолжение кампании, начатой в Москве... Ведь кому-то надо было заплатить жизнью за тот подступавший к стране голод и пустые полки в магазинах.

Правда, такой всплеск репрессивных и жестоких мер не был даже замечен нашей так называемой общественностью. А были ведь еще и другие, кроме четырехсот, кто чудом уцелел в этой шумной кампании, но отсидел в лагерях различные сроки.

Один мой знакомый директор мебельного магазина в Бескудникове попал в этот конвейер, на него моментально организовали дело, и лишь через год он появился в Москве. Он рассказал, что таких, как он, были сотни, тысячи; теперь обвинение снято, но жена его бросила, а магазин, один из лучших в Москве, работавший как часики, пошел по рукам.

Те, кого казнили, таких историй уже не расскажут.

Год после суда ожидала Бородкина смертной казни. В характеристике управления КГБ (опять, значит, засекречено!), из тюрьмы, об этом периоде сказано, что «...нарушения режима заключенная не допускает, поощрений не имеет и... на мероприятия политико-воспитательного характера реагирует удовлетворительно...»

Что сие означает, одному Богу (да КГБ) известно. Может, ее мычание принималось за политическую активность? Но все-таки похоже на издевку... Ну какие там, к черту, политико-воспитательные мероприятия, когда шаги палача за дверью!

Время шло, а дочь писала и писала, и письма ее способны были прошибить, казалось, любой камень.

Вот еще из одного:

«...В самые трудные моменты жизни люди приходят на могилу матери. Как жить дальше, зная, что не будет этой святой могилы? Пусть мать — государственный преступник, но она для меня самый близкий, родной человек, с которым связаны самые милые, теплые и далекие минуты счастья...»

Никакой реакции.

Письмо космонавта Терешковой: «Будьте милосердны, дайте ей умереть своей смертью!»

И снова никакой реакции.

Гражданин Нидерландов господин Лоддар, узнав из печати о приговоре «некоей Белле Бородкиной», выражает свою озабоченность и считает, что «такое наказание слишком сурово...»

Письмо подшито в дело, но ответить этому странному господину, единственному, кстати, из всех граждан, озабоченному казнью не знакомой ему женщины, так и не соизволили. Да и что нам всякие подозрительные иностранцы, просящие за нашу русскую бабу... А мы-то на что! Мы как раз наоборот, ничего не просим, а даже всенародно одобряем.

И ни одного протестующего против казни письма.

И никого, кроме дочери, эта казнь не ужаснула. Одного лишь иностранного господина... Да он нам не указ!

А указ вот он:

«В отношении Бородкиной Берты Наумовны, 1927 г., осужденной 20 апреля 1984 года Краснодарским судом к смертной казни, акт помилования не применять.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
М. Яснов».

Ее расстреляли в августе 1985 года.

Она была одной из последних женщин, которых казнили в России.

ДЕЛО О ЗЯТЕ БРЕЖНЕВА (ГОЛУБАЯ ПАПКА)

Как-то попалась мне в «АиФе» заметка с вопросом читателя: «Правда ли, что досрочному освобождению Юрия Чурбанова содействовал адвокат Андрей Макаров? И чем сейчас Чурбанов занимается?»

Далее следует ответ газеты, где сам Юрий Чурбанов отвечает, что адвокат Макаров не имеет к его освобождению никакого отношения. «Сделав себе имя на том нашумевшем процессе, он обо мне забыл». А бывшему первому замминистра внутренних дел помогли освободиться товарищи по службе, Совет ветеранов внутренних войск и сестра, обратившиеся с соответствующими ходатайствами к Президенту России.

Ответ не совсем точный.

Был лишь один-единственный звонок из Думы от депутата Аслаханова, который в устной форме просил меня посмотреть дело Чурбанова. Я затребовал дело и там нашел ходатайство сестры Чурбанова и Совета ветеранов МВД (за подписью генерал-лейтенанта в отставке Бубенчикова). Никакие товарищи по службе ни о чем не просили и не звонили.

Было еще трогательное письмо, написанное от руки, от родственницы, проживающей на Украине... О том, что «...отсидел он 6 лет, здоровье достаточно пошатнулось, уж пора бы его и выпустить. Вреда он никому приносить не собирается. Поговорите с Ельциным, помогите этому страдающему человеку. Юрий Михайлович подает на развод с Галиной, с этой несерьезной женщиной легкого поведения. Там никогда не было счастливой семейной жизни. Вот уж страдающий человек во всех отношениях... Зоя Демьянова, Луганск. P. S. Юрия Михайловича заберу на Украину для постоянного места жительства. Янв. 1993 г.»

Никаких других ходатайств, повторю, в деле не было. Как не было прошения и от самого Чурбанова. Это я лишь для точности.

Из характеристики, пришедшей из лагеря (НТК-13), говорилось, что осужденный Чурбанов трудоустроен по прибытии в механосборочный цех по специальности слесарь-сборщика с двухсменным графиком работы. К труду относится добросовестно, выполняет норму выработки, принимает участие в общественной жизни отряда и колонии.

Но с того момента, как я затребовал дело, начались всякие звонки и предупреждения, что это дело лучше не трогать. Почему — ответа членораздельного я не получал. Бормотали что-то о ситуации, о настрое Президента, о самом МВД, которое, конечно, поднимет шум.

Понадобилась довольно серьезная подготовка, переговоры с Вергилием Петровичем и членами Комиссии, чтобы это дело у нас, как говорят, пошло.

Об этом я и упомянул при нашей личной встрече, когда, освободившись, Юрий Михайлович посетил нашу Комиссию, он тогда ходатайствовал о возвращении ему коллекции ружей, которую у него забрали. И хоть он упрекает кого-то в

забывчивости, но сам тоже кое-что подзабыл. Впрочем, я не в претензии, каждый помнит то, что ему удобно. А я сейчас о его деле — процесс, кто помнит, для нашего времени необычный, на шумевший, вызвавший в свое время массу всяких толков. Но уже тогда все понимали, что это политическая расправа. И ничего больше.

Итак, Чурбанов Юрий Михайлович осужден Военной коллегией Верховного суда 30 декабря 1988 года к 12 годам лишения свободы с содержанием в ИТК усиленного режима. Отбывал наказание в учреждении г. Тагила Свердловской области.

Осужден за то, что, являясь первым заместителем министра внутренних дел СССР, получил три взятки на сумму 90 960 рублей, в том числе:

В октябре 1979 года — от первого секретаря Бухарского обкома Компартии Узбекистана Каримова 10 000 руб.

В октябре 1982 года — от председателя Совмина Узбекской ССР Худайбарднова 50 000 руб.

21 октября 1982 года — от первого секретаря обкома Есина 30 000 и халат с тюбетейкой на сумму 960 руб.

В жалобе, направленной Чурбановым из ИТК в Верховный суд, Юрий Михайлович пишет, что «в связи с незаконным ведением следствия, постоянными угрозами в мой адрес и адрес моей семьи, оскорблениями бывших руководителей партии и государства я вынужден был дать на себя заведомо ложные признательные показания, боясь в дальнейшем физической расправы.

Следователь Гдян (вот он, наш герой, любитель смертных казней, где объявился! — А. П.) в ежедневных допросах постоянно говорил, что участь моя решена и если я не буду давать угодные следствию показания, то он, Гдян, переведет меня в тюрьму с особо жестким режимом содержания, поместит в камеру к гомосексуалистам и отдаст на расправу уголовникам.

Кроме того, он постоянно внушал, что мой приговор уже согласован в ЦК КПСС, Верховном суде и прокуратуре Союза ССР. Преступные методы ведения дела по так называемому узбекскому и кремлевскому делу были предметом рассмотрения на парламентской комиссии. За свои незаконные действия Гдян и Иванов были уволены из органов проку-

ратуры, что свидетельствует о незаконности ведения в отношении меня уголовного преследования и фальсификации дела. В настоящее время Каримов (взяточдатель) Верховным судом Узбекистана реабилитирован, а я по данному эпизоду продолжаю отбывать наказание в России...»

По словам Чурбанова, в октябре 1979 года он проводил проверку деятельности подразделений органов внутренних дел Узбекской ССР, был в Ташкенте, в Самаркандской области, в Бухарской области, и там были выявлены серьезные недостатки в работе органов МВД... Обращалось внимание на неудовлетворительную работу милиции в г. Газли после ликвидации последствий землетрясения.

«В мою компетенцию не входила проверка работы партийных и советских органов, как это отражено в приговоре, а у Каримова не было никаких оснований предлагать мне взятку, т. к. я как руководитель МВД СССР не был наделен полномочиями по организации снабжения населения города продовольствием...

То же и про вторую взятку, ее мотивировали тем, что я, по мнению суда, в 80-е годы пользовался большим влиянием в стране. Данный вывод является голословным, т. к. в приговоре не отражено, в чем же заключалось мое влияние в СССР.

Являясь зятем Генерального секретаря ЦК КПСС, я не мог руководить государством, а тем более республикой Узбекистан, что является полным абсурдом... и показывает смехотворность и глупость указанных выводов...»

Кстати, и второй так называемый взяточдатель Худайбарднов реабилитирован и освобожден, а уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

То же и в третьем случае, когда в г. Навои ему якобы за ускорение жилищного строительства объектов для нужд работников УВД была дана взятка. Но и эти вопросы были вне его компетенции.

«В качестве национального сувенира и восточного гостеприимства я действительно, как и остальные члены делегации, получил узбекский халат с тюбетейкой серийного производства, не представлявший собой никакой художественной ценности...»

И далее Чурбанов делает вывод о том, что Военная коллегия Верховного суда СССР отражает в приговоре суще-

ствующую систему подкупа и продажности в стране, а этот тезис был выдвинут государственным обвинителем генералом Сбоевым... Перекладывая таким образом вину на зятя генсека Брежнева, сами они хотят уйти от ответственности за состояние правопорядка и законности в стране. А уж он-то о состоянии правопорядка и законности знал как никто, из первых, как говорят, рук.

Был и еще один, вполне типовой, вариант обвинения: списания каких-то денег, четырех тысяч, из так называемого «фонда непредвиденных расходов» для приема иностранных гостей и подарков делегациям. Деньги предназначались якобы на подарок гостю из Чехословакии Гусаку, но последующей ревизией обнаружено, что они были израсходованы на подарок министру Щелокову.

Вспомнили и погреб, построенный Чурбановым на даче, и ковролин, уложенный в гараже...

Вся эта пестрая мешанина обвинений, начиная от халата с серийной тубетейкой до ковролина, вперемешку с непонятными и бессмысленными взятками, говорит лишь о растерянности органов, ответственных за судебную расправу над Чурбановым.

Но вот мотив подкупа и продажности в стране, который то и дело возникает в этой главе (как в делах Соколова, Сушкова и т. д.), является старым, испытанным доводом, дающим возможность выставить обвиняемого в невыгодном свете и обратить праведный гнев обнищавшего народа в нужное русло.

Опять, как и в деле Сушкова, о котором еще пойдет речь, ставится вопрос о дискредитации высших органов власти, подрыве авторитета органов МВД и тому подобное. Разница в одном: Сушков был высшим должностным лицом (на уровне замминистра), который воровал и зарвался (заворовался, пожалуй, точнее!), Чурбанов же, тоже, кстати, замминистра, практически ни в чем не был уличен, а лишь судим по тому же отработанному образцу, с привычными же обвинениями.

Как в известном народном приговоре: то ли он стащил, то ли у него, но что-то было. Такие обвинения, независимо от степени доказанности, действуют на толпу, которую мы называем общественностью, безошибочно. Люди знают,

что власть имущие, дорвавшиеся до кормушки, не могут не воровать.

Правда, на суде все обвинения рассыпались, и из 600 тысяч рублей взяток, инкриминируемых Чурбанову, как ни старался наш профессионал допросов Гдлян, осталось девяносто тысяч плюс тубетейка. Эта пресловутая тубетейка (да еще халат) все указанные выше доказательства и компрометирует.

Я привел подряд два этих громких дела, чтобы показать, как власть — причем любая власть, а гдляны лишь ее исполнители, — действует на неправовом уровне и практически однотипно. Что же после этого говорить об уголовниках, коих никакой Макаров защищать не будет.

Народ же, давайте смотреть правде в глаза, поддержит любые жестокие меры, ибо в добывании человека беззащитного, безответного, затюканного в тюрьме (методы допроса ведь тоже одинаковые!), он, народ, тоже хочет получить свое удовольствие, как в минувшие века, когда он ходил смотреть на площадь, где казнили (шоу на тему смертной казни), и этим вполне развлекался.

И удовлетворялся.

А вот последние слова Чурбанова.

«...Дело, по которому я незаконно осужден к 12 годам лишения свободы, возникло в результате интриг вокруг имени Генсека Л.И. Брежнева. По выражению лиц, стоявших в то время у власти, именно Л.И. Брежнев привел страну к экономическому и политическому кризису. После смерти Л.И. Брежнева его близкие родственники, сын и дочь, не представляли собой никакого интереса для громких (уголовно-политических) процессов. Правоохранительные органы по указанию Политбюро и М.С. Горбачева решили сфабриковать «узбекско-кремлевское дело», избрав меня в качестве главной фигуры. Именно Чурбанов, по их глубокому убеждению, являясь зятем руководителя государства, обязан нести уголовную ответственность за те злоупотребления, которые допускали высшие руководители государства. На моем месте мог оказаться любой другой человек, имевший непосредственно близкие семейные отношения с Брежне-

вым. Как видно из приговора, это указание было выполнено, за что я вот уже седьмой год нахожусь в местах лишения свободы...»

С делом Чурбанова все ясно.

Что же касается вопроса читателя, в упомянутой мною заметке, с которой я начал рассказ, сообщается, что после возвращения в Москву бывший замминистра прошел комплексное обследование в госпитале и принят на работу в одну из фирм. Проживает он у сестры, так как Галина Брежнева оформила развод в то время, когда муж находился в лагере. От всех имущественных прав он отказался в ее пользу.

Упоминается еще, что в заключении Юрий Чурбанов написал книгу воспоминаний: «Я расскажу как было», сейчас он подумывает о ее доработке и новой книге про быт российских зэков.

Не хочется по этому поводу шутить, но тюрьма и одиночество, видимо, располагают к созданию соответствующих произведений. Я прочитал вышеназванную книжечку (в первом варианте она называлась чуть иначе: «Все как было»), книжка-то дурно написанная, на уровне, скажем так, комсомольско-партийного функционера. И язычок книжицы той казенный, выхолощенный, как у нас говорят, суконный и трудно перевариваемый.

Практически же это песнь песней прошлому (может, в пику М. Горбачеву?!), комсомолу, партии и товарищу Брежневу. Молодой, но активный политический щенок, ставший с института инструктором комсомола (а кто туда шел, мы уж знаем!), проделал свою фантастическую карьеру, дойдя до генеральских погон.

Весь пафос книги сводится в основном к тому, кто «там» наверху что кому сказал и кто кого спихнул или, наоборот, посадил на его место... Вполне понимая ту систему власти, которая, впрочем, ни в чем не изменилась, полагаю, что наша жизнь все-таки богаче красками и простому народу, честно говоря, плевать на все кремлевские переделки. Он о них и знать не хочет и оттого — самосохранился.

Горизонт же нашего генерала чрезвычайно сужен. Так, по его словам, дача у Брежнева была обыкновенная... Всего три этажа, бассейн, кинозал и десяток гектаров леса... Разве, побывав в лагере (хотя это тоже был «особый» лагерь для ми-

лиции), не увидел бывший генерал, в каких «обыкновенных» развалах живут простые люди?

Но вслед за такой оценкой хочу добавить, что в Бутырке при встрече с ее начальником полковником Волковым узнал я, что сейчас, в тяжелые времена, когда у эков в СИЗО не хватает питания и одежды, несколько человек помогают лично, и среди названных фамилий прозвучало имя Чурбанова. Он прислал для эков подушки и одеяла.

АЛЬБОМ С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (ГОЛУБАЯ ПАПКА)

Среди жульнических дел, коими заполнена наша жизнь и наша работа на Комиссии, дело Сушкова (389–2826 с индексом «секретно») выделяется и своим масштабом и высоким положением преступника.

Наверное, воровали и побольше и повыше, но именно оно при советской власти было одним из самых громких. Еще бы, высочайшего ранга чиновник, державший в руках всю внешнюю торговлю, был пойман на взятках. Да каких! И при этом, понятно, на нашу долю пала задача решать вопрос о его помиловании.

И хоть стоит его имя в одном ряду с Соколовым и Бородинкой, но он вовсе не из тех пострадавших, за которых бы я болел, скорей наоборот, он из тех, кто действительно воровал по-крупному, но не был ни изничтожен, ни расстрелян.

Итак, Сушков Владимир Николаевич, год рождения 1920, награжден шестью орденами и медалями; прежде не судился, до ареста работал заместителем министра внешней торговли СССР, образование высшее. Жена была осуждена по этому же делу. Осужден 15 мая 1987 года к тринадцати годам лишения свободы, в порядке помилования уже через три года, чего у нас практически не бывало, срок снижен до девяти лет. По-видимому, акт помилования исходил от бывшего Президента СССР Горбачева.

Однажды на Селигере, в давние, еще брежневские, времена я поспорил с приятелем о том, что, пройдя по палаточному

городку вдоль берега озера, смогу определить на глазок, кто из его хозяев где работает. Это и правда нетрудно было сделать. У одних я углядел множество серебрянки (тонкая такая дефицитная непромокаемая пленка), значит, работники химии; у других сплошь аккумуляторы: и на освещение, и на лодку... Значит, аккумуляторный цех. У третьих есть даже солнечные батареи, эти из научного космического центра... И так далее.

Как говаривал знакомый слесарь, воровавший с завода шурупы: каждый тащит то, что близко лежит! У Владимира Николаевича близко лежала валюта, ибо он имел контакты с богатейшими странами Америки и Европы, у которых мы в ту пору за нефтедоллары покупали оборудование для заводов и целые предприятия.

Ныне, когда зюгановская красная компашка, витийствуя перед народом, яростно разоблачает теперешних коррупционеров от власти, не худо бы вспомнить, что творили сами коммуняки, стоявшие семьдесят годков у кормушки. То бишь у власти.

Давайте послушаем приговор.

«Сушков, являясь ответственным должностным лицом, в 1962–1985 годах в Советском Союзе и за границей неоднократно получал от представителей иностранных фирм взятки в виде товаров и ценностей... Он же, являясь распорядителем денежных средств в иностранной валюте, выдаваемых на представительские, транспортные и иные нужды советских делегаций, в составе которых выезжал за границу, систематически занимался хищением государственных средств... Кроме того, Сушков, работая с 1964 года по 1974 год начальником Главного управления по импорту машин и оборудования из зарубежных стран, а затем и замминистра внешней торговли СССР, неоднократно выезжал за границу и, встречаясь с представителями министерств, ведомств, деловых кругов различных стран, получал от них ценные подарки, сувениры, которые присваивал себе...»

Далее идет подробное описание той работы, которую осуществлял Сушков, а занимался он закупкой в капстранах комплектного оборудования целых предприятий, установок, судов, лицензий, контролируя работу практически всех

внешнеторговых объединений (в ту пору была государственная монополия на торговлю), а также являлся руководителем Советско-американского торгового экспортного совета (АСТЭС), Советско-канадской и Советско-норвежской смешанных комиссий, участвовал в коммерческих организациях торговли с Японией и т. д.

Все это я перечислил неспроста, чтобы нагляднее было видно, что Сушков держал крепко в руках всю внешнюю торговлю, без которой наша технически отсталая страна, не имеющая во многих областях станков, оборудования, высококоразвитых технологий, не могла бы существовать.

Как же осуществлялась покупка этой самой дефицитной техники, станков и целых заводов, за которые мы платили богатому Западу валютой, не столь уж обильной для нашей нищей страны?

Да и что мы в конце концов приобрели?

Из приговора: «Будучи заинтересованными в торговле с СССР, представители этих фирм различными средствами, в том числе и подкупом, стремились добиться у Сушкова благоприятного к ним отношения. Сушков и Сушкова (жена возглавляла Государственный комитет по науке и технике) в течение длительного времени получали взятки от руководителей и представителей иностранных фирм за благоприятное к ним отношение при решении вопросов о выходе этих фирм на советский рынок...»

Прошу прощения за столь протокольный язык, но главное из него понять все-таки можно — это то, что «благоприятное отношение» к фирмам обогатило их и нанесло неисчислимый вред нашей стране, то есть сделало нас многократно бедней, чем мы могли бы быть, поскольку среди нескольких приличных фирм попадались и не лучшие или вообще оказывались проходимцы и ловкачи, которые нам сбавривали лежалый товар, имея таких золотых (в прямом смысле) посредников, как Сушков и его жена.

Кстати, в деле указано, что Сушков свыше 120 раз выезжал в служебные командировки в капстраны (то есть в месяц по выезду, при том что он мог весь названный месяц проживать там в гостях), где в большинстве случаев лично, как глава делегации, проводил переговоры. И именно от него «...в определенной мере зависела внешнеторговая политика СССР...»

Двадцать один год монопольного контроля одного человека, точнее одной семьи, над внешней торговлей огромной страны!

И двадцать один год бесконтрольного хозяйствования во благо своего кошелька.

Только по уровню взяток можно судить, сколько же мы проиграли миллионов, миллиардов долларов.

И сколько выиграла семейка Сушковых.

Перечисление полученных Сушковыми взяток (а это далеко не все награбленное) занимает в деле около ста двадцати страниц машин описного текста. И на каждой странице строчка — взятка.

Чтение это, поверьте, не для молодых и нервных особ женского пола. Почему, скоро станет понятно. Хотя и я читал, особенно поначалу, не без некоторого замешательства.

Не могу при всем желании привести весь этот бесценный, на мой взгляд, документ, говорящий о человеческой алчности, жадности, хищности больше, чем любые общие слова. Он напоминает каталог какого-нибудь музея, или Алмазного фонда, или Гюхрана. Тем более что речь постоянно идет о художественных изделиях, красоту которых можно представить лишь умозрительно.

А чтобы имелось у нашего читателя представление, окунемся на мгновение в тот образ жизни, такой чужой и столь обличаемый в те времена нашей коммунистической пропагандой.

Он никому из нас не был доступен даже в мечтах. Я не о взятках, я об образе (их образе) жизни.

Нас в ту пору родной комсомол (и — Партия! Партия!) призывали поднимать целину и ехать строить Братскую ГЭС в Сибири, где, кстати, работали мои друзья, моя жена, да и я — бурильщиком в котловане. Кормили собой мошкарку. Жили в общежитии. Питались древними консервами да мороженой рыбой и при этом шутили: отчего, мол, камбала плоская? Оттого, что на нее навалилась вся Сибири!

На день рождения жены я поднес ей букетик огненных цветов-жарков из тайги.

А среди песенок «о главном», которые ныне поют по телевизору, могла бы прозвучать и эта: «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты и я...»

Сушковы тоже ехали.

В дальние итальянские края. Где в номере миланской гостиницы «Принчипе ди Савой» поднесли им золотую брошь с эмалью, бриллиантами и рубином, а также золотые наручные часы «лонжинес» и браслет из золота.

Обратите внимание — и здесь и далее — на уровень гостиницы («высший», разумеется), потому что, выпустив меня впервые в капстрану, в 58 моих лет, в составе делегации писателей, дали мне в Риме дешевый номерок под самой крышей с окошечком в ладонь величиной и без душа.

Именно в этот год моя книжка, проданная на Запад («Ночевала тучка золотая»), дала стране (не мне!) прибыль около ста тысяч долларов. Возможно, они пригодились для господ типа Сушковых и для их пребывания в гостиницах.

Каких? А вот каких.

Во флорентийской гостинице «Вилла Медичи» (название одно чего стоит!) Сушковы получили: пальто из ворсовой кожи, женскую сумку, сапожки и дорогие французские духи. Потом еще одно пальто, уже из меха, золотое кольцо с бриллиантами и золотую цепь, потом опять же жене пальто из норки, еще одно из кожи и золотое кольцо с бриллиантом и изумрудом, а далее жакет из норки и длинное пальто из каракуля и соболя и куницу в придачу...

Я насчитал только в этой одной взятке пять шуб и пальто, и это для одной женщины: Сушковой... Зачем ей сразу пять? Тут несколько дубленок, и я уж не пытаюсь перечислять вещи, как написано, «носильные», то есть костюмы, пуловеры, платья, обувь, духи и сумочки...

Когда вы станете читать в конце этого повествования рассуждения некоего газетчика о полученных сувенирах, вернитесь на эту страницу и перечитайте ее.

Итак... «золотые мужские часы «роллекс», с золотым браслетом, золотое кольцо с бриллиантами...» (две страницы перечислений подобного рода от фирмы «Прессиндустрия», которая в противном случае оказалась бы в трудном финансовом положении — практически ей угрожало разорение). Спасение западной фирмы обошлось нам всего в 15 шуб из натурального меха.

Такие вот сувениры.

Мы в это время спасались от пурги в бытовках, ватнички наши сияли прожженными дырами, а вместо пуговиц упо-

треблялись гвѳздики, они держали насмерть... Хотел бы я, конечно, купить моей молоденькой жѳнушке... нет, не шубу, а теплое мосшвеевское пальто... Да не достать было.

Свидетель из итальянской фирмы подробно рассказал, что «...вынужден был давать товары и ценности Сушковой в соответствии с ее пожеланиями и с учетом той роли, которую она играла... Если Сушкова не имела того, чего хотела, она становилась врагом; я понимал, что если ей не дать подарка, то возникнут определенные трудности в моей работе с советскими организациями...»

Так какие же у нее были пожелания?

Вот взятки от итальянцев, но прошу запомнить, я перечисляю лишь супердорогие подарки, остальное, как то: одежда, обувь и прочее — подразумеваются на протяжении всего списка:

- золотая брошь с бриллиантами, рубинами и сапфирами;
- золотые серьги-клипсы с сапфиром и бриллиантом;
- золотой браслет, золотая брошь с разноцветной эмалью и бриллиантовой вставкой;
- золотое кольцо с сапфиром и бриллиантом;
- серебряная пластина с золотой отделкой, изображающей городской пейзаж;
- золотая брошь с выставки бриллиантов и рубинов;
- серебряная пудреница с золотым покрытием;
- золотой браслет с бриллиантами, серебряная ваза;
- золотое кольцо с вставками из малахита и еще одна серебряная ваза с крышкой...

Меняются названия гостиниц: «Гранд-отель», «Палас», «Амбасатце»... Но вкус к драгоценностям у мадам Сушковой остается прежним. Далее:

- золотое кольцо с вставками из бриллиантов, сапфиров и рубинов;
- золотая ажурная брошь с эмалью и бриллиантами;
- золотое кольцо и пара серег-клипс с бриллиантовыми вставками и четыре серебряных розетки...

И это лишь одна итальянская фирма, которая все отваливает и отваливает — видать, дела у нее без содействия Сушковых довольно хреновые.

Золотая цепочка, серебряная тарелка, мотор для подводного плавания, альбом с золотыми медалями, посвященный Леонардо да Винчи... (какие эстеты эти наши Сушковы!), золотой пояс и золотой браслет, серебряный письменный прибор... У-ффф!

Чем же за все это платили мы, россияне, кроме вкусной еды, самых дорогих гостиниц и развлечений для четы Сушковых?

А вот чем: например, срочные контракты на строительство комплекса по производству пластмасс...

Как там работалось нашим экам, алкашам и женщинам на так называемой «химии», наверняка какой-нибудь дешевке, проданной втридорога, и не снились ли им по ночам золотые броши и бриллиантовые колье?

Но итальянцы на этом не закончились.

За строительство завода плащей из ткани «болонья» подарки сыплются как из сокровищницы царя Соломона.

Золотая брошь с вставками из бриллиантов, пара золотых серег-клипс с бриллиантовыми вставками и вставками из жемчуга, золотая цепь панцирного плетения с алмазной обработкой, золотое кольцо и пара золотых серег-клипс с бриллиантовыми вставками, серебряная ваза с позолотой, пара золотых запонок (это уже для самого Сушкова!), бусы из красного коралла с золотым замком, золотой браслет и еще один золотой браслет с вставками из сапфиров, золотая цепь с вставками из жемчуга и рубинов...

Я попытался представить, как бы мадам Сушкова надела все эти украшения... Она бы, пожалуй, перещеголяла жену знаменитого Шлимана, которая однажды украсила себя сокровищами царя Приама из раскопанной Трои. Но ей хватило духа примерить сокровища лишь однажды, а потом их предложили в подарок нашей стране. Мадам Сушкова никому и ничего не дарила, даже в детский дом. И в этом, возможно, ее несчастье: награбленным ведь тоже надо делиться... Там, за гробом, ей-богу, это засчиталось бы!

У Булгакова в «Мастере и Маргарите» есть одна сценка, когда к Воланду попадает буфетчик Андрей Фокич (осетрина второй свежести, помните?) и заходит разговор о сбережениях.

«У вас сколько имеется сбережений?» — спрашивает Воланд. И так как буфетчик замялся, за него отвечает кто-то из

свиты: «Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, и дома под полом двести золотых десяток...» И далее: «Умрет он через девять месяцев...»

Воланд, как вы помните, иронически замечает: «Девять месяцев... Выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц... Маловато, но при скромной жизни хватит...» И советует буфетчику устроить пир на эти деньги, а потом принять яд под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями...

Но, как вы помните, алчность и тут сыграла с жадным буфетчиком свою роковую шутку.

Грешно считать чужие деньги и говорить о чужой жизни, когда еще и знаешь, каков будет финал этой криминальной истории. Бедной (не в этом, а в другом смысле) Сушковой жить оставалось после осуждения лет семь, из них всего год на свободе, и если бы ей пришлось тратить по одной золотой цацке в день, то и тогда всего награбленного потребить не удалось бы.

Но она (они?) все тащила и тащила.

А потом их дочь будет умирать от голода, брошенная на произвол судьбы...

Кстати, списочек-то проходил по делу мужа, а, судя по ассортименту, хапала больше мадам Сушкова. Об этом упоминает и свидетель. Не нам судить, кто кого на что подбивал: муж и жена — одна сатана... Но отмечу, что сам Сушков нигде ни словом не пытается переложить вину на свою половину.

А нам так хватило оборудования «по производству целлюлозы из древесины...» Я, кстати, наблюдал в Усть-Илиме это самое оборудование, которое обдымило, выжгло, уничтожило всю тайгу на сотни километров... В то время практичный Запад переходил на другие, более прогрессивные технологии.

Вилла «Ди Роза» в Турине вам ни о чем не говорит? А чем же она хороша? Да там нашей героине вручили золотое кольцо с бриллиантом и изумрудом... А в «Принчипе Пьемонте» в Турине опять же вручили золотое кольцо с бриллиантом и сапфиром и женские золотые часы «роллекс» с браслетом из золота... А в римском отеле «Бeverли-Хиллз» были получены женские часы «пиажет» в золотом корпусе с золотым

браслетом да пара серег-клипс из золота с бриллиантовыми вставками...

А вы в это время где-нибудь на нефтедобыче, в вагончике-балке, придя со смены и закусив наскоро свиной тушенкой из банки, разогретой на печке, ставили на пять утра будильник Второго часового завода, чтобы не проспять смену... Качали газ, ибо стране нужна, как вы верили, валюта... Наградой будет вам грамота, а в конце жизни ревматизм и другие болезни.

Мадам Сушкова тоже работала.

Вот ее награды.

Пять золотых медалей от концерна «Эни» (это он купит по дешевке газ, который вы добыли), серебряная пластина с накладным из золота изображением пейзажа... Не вашей ли голой тундры? И далее: золотая цепь, золотой браслет с вставкой из сапфира, золотая брошь с эмалью и бриллиантами, золотая брошь со вставкой из бриллиантов, рубинов, сапфиров, изумрудов...

Баракло, шубы там норковые, кормежка и развлечения — все попутно и все из того самого газа, где вы рвали свой пупок!

Прочитывая «подарочный» список, я хочу представить девочку-машинистку в суде, печатавшую эти сто двадцать страниц... А в перерыве чай и бутербродик с сыром... Что она, бедненькая, чувствовала, что переживала и воображала, воспроизводя на бумаге, строчка за строчкой, эти фантастические украшения? Я не говорю — богатства...

А я ведь перечислил лишь подарки от итальянцев, но не все, не все! Но поскольку они непрерывно повторяются, я выберу для разнообразия что-то иное, как, например, серебряный сосуд в виде яблока или серебряный брелок для ключей... Остальное же похоже на то, что я перечислял ранее, уже и скучно читать, а нам, россиянам, за это светит технология алюминиевой фольги. Меняются не только гостиницы, но и фирмы.

Итак, «Оливетти».

Тут среди многого выделяется золотая цепь комбинированного плетения с золотой подвеской. «Фиат»: в череде

остального хорошо смотрится золотая брошь со вставкой, бриллиант на раковине в обрамлении жемчуга и театральная сумочка чистого золота, также золотой браслет с брелком в виде старинного автомобиля... Все-таки «Фиат»!

Далее — оборудование для «Атоммаша» (Волгодонск) и следом, а может, одновременно, набор золотых украшений: броши, браслеты, клипсы и т. д. Все, разумеется, из высокопробного золота.

«Атоммаш», этот гигант — я там, кстати, бывал — построили без должного разумения и проекта, он практически так и не стал выпускать серийные реакторы, как это задумывалось. Но тут Сушков ни при чем. А пишу для того, чтобы видней была картина, ведь потом может кому-то показаться, что взятки взятками, а польза-то от такой торговли стране все-таки была.

Впрочем, прибыль семье Сушковых был точно.

Далее воспроизвожу по фирмам.

Фирма «Мерлони»: браслет с бриллиантами, колье, кольцо, сапфиры, золотой кулон в виде морского конька с бриллиантами и остальное в том же духе.

Фирма «Ликвикимика» (список золота и бриллиантов).

Фирма «Эрим» (колье, бусы из изумрудов и кафинского жемчуга).

Фирма «Пирелли» (здесь выделяется эластичный золотой браслет из ажурных элементов с бриллиантами).

«Медиа-Банк» (золотое кольцо в виде змеи с бриллиантовым глазом).

Фирма «Сир» (тут все бриллиантовое: клипсы, браслет и т. д.).

Фирма «Савио» (золотая цепочка, золотой кулон с бриллиантом и рубином и т. д.).

Фирма «Кико» (золотой браслет и цепь «веревочка»).

И так до бесконечности.

Меняются фирмы, города Италии, гостиницы, но не выбор украшений, который, как мы помним, происходил по капризам мадам Сушковой.

Ну зачем ей столько? Ведь с собой *туда* не унесет!

Я не случайно затянул все эти подношения и украшения, хотя не назвал и одной десятой их, чтобы сам перечень стал для нас немного утомительным. Кто-то где-то это все,

наверное, пересчитал и подсчитал, кроме одного: в какую копеечку обошлось их богатство всем нам лично!

И не в копеечку, а в то, чего нам сегодня самим не хватает: леса, нефти, газа, золота и прочего. Но ведь кроме итальянцев были и Америка, и Англия, и Канада, и Япония...

Так, от японцев за сахалинские нефть и газ шли к мадам Сушковой электроника (не считая привычного набора золота), видеокамеры, магнитофоны, магнитолы, стереосистемы, фотоаппараты... и многое другое. Все это в неограниченных количествах.

Не верите?

Вот для примера один (только один!) список подарков от одной японской фирмы: 42 штуки женских и мужских часов («Сейко»), 5 будильников, 9 настенных часов, 21 фотоаппарат, 2 кинокамеры, 5 калькуляторов, 3 бинокля («Никон»), магнитофоны, магнитолы, диктофоны, стереоплееры (десятки видов), 10 письменных наборов, электронная игра «Отелло», 3 нити бус из жемчуга и еще 21 ювелирное изделие...

Все это лишь небольшая часть списка.

Далее пойдут американцы («Пепси-кола»), французы, немцы, канадцы, шведы, англичане и голландцы...

Подарки, подарки, подарки...

Я отчего-то вспомнил сейчас свой первый выезд в капстраны, это был круиз вокруг Европы, и он у меня описан в рассказе «Танец маленьких утят». Есть там одна подробность — когда нам выдали на руки 49 долларов на семь стран, по 7 долларов на страну, и, попав в прекрасную Валенсию, что на юге Испании, решились мы втроем, все литераторы, обменять каждый по доллару — значит, всего три доллара (три!) на их песеты, чтобы купить знаменитого оливкового масла. Один из нас нес эти доллары в банк, а двое шли по бокам и охраняли... Смешно? Наверное. Но так мы жили в те времена, когда Сушковы праздновали свою жизнь.

Нас, кстати, тогда тоже обманули и дали нам какие-то крохи (банк оказался коммерческим и взял 50% налога!), так что купить мы ничего не смогли, лишь по бутылке дешевого вина. Но и этим были несказанно счастливы. А дочке-подростку из той поездки (как же, папа впервые выехал на Запад!) я привез крошечный серебряный медальончик на

цепочке... Вдобавок грустный рассказ, не для нее, для себя, о том, как мы свински, оказывается, живем.

Но это так, по случаю.

Теперь о Сушковых.

Были у них еще и другие преступления, как, например, хищение валюты по подложным документам и фиктивным счетам, и этот список тоже длинен и утомителен, он на много страниц... Разные в нем лишь суммы украденных долларов, иен, франков, марок, норвежских крон... И на это снова покупались товары, которые Сушковы тащили в Россию.

А таможня? — спросите вы, вспомнив, как шмонали вашу туристическую группу и какой закатили скандал, обнаружив аппарат «Зоркий», который вы забыли назвать среди своих богатств.

Для этих же (и им подобных) граница была открыта в оба конца. Они жили вне закона, «...являясь, — как обозначено в деле, — членами правительственной делегации и по опыту зная, что в этом качестве они не будут подвергнуты таможенному досмотру...»

Еще несколько строчек из дела:

«...Являясь руководителем высокого ранга, Сушков своими корыстными преступлениями в особой степени нанес урон авторитету государственного аппарата и дискредитировал его работу...»

Опять демагогия, глупость, вранье.

Ну какой там, к дьяволу, авторитет? У кого?

У мафии, засевшей в Кремле?

Да простой человек, который в глаза не видел этих взяточных списков (да и не увидел бы, не приведи мы их здесь), все равно твердо знал, что наверху крадут. Ведь доносилось, доходило хоть краем, что дети одного из кремлевских деятелей отдыхают на Канарах, а сын другого ездит охотиться в Африку, и так далее.

И получается, что таких списочков можно было получить сколь угодно, на каждого из политбюро составить!

И еще более понятно, что дело, за которое директор Елисеевского магазина Соколов получил бы несколько «вышек» сразу, тут обойдется легким испугом.

Просто народ должен знать, отчего мы по-свински живем... Но вот осудим, посадим Сушкова, и станет нам жить легче.

Хотя для своих — об этом не говорится вслух — и сроки другие, и даже тюрьма другая.

«...Одновременно Судебная коллегия учитывает, что все подсудимые занимались общественно полезным трудом, преступление совершили впервые (впервые — это когда? — А. П.) и в них чистосердечно раскаялись, и характеризовались положительно...»

Господи, как знакомо!

В конце есть упоминание о конфискации имущества, денег, ценностей и вкладов (сколько их было, не указано). Да если бы и все перечисленное на ста двадцати страницах забрали, разве этот двадцатилетний грабёж богатств страны можно покрыть?

Но там, в суде, тоже с циферками мудрят и мошенничают, как последние шулеры, называя сумму награбленного: полтора миллиона рублей... Хотя уже ясно, что это не простые, а инвалютные рубли. (Сейчас уже приходится объяснять, что рубли тоже были для всех разные: если перевести те деньги на валюту даже по официальному, подтасованному курсу, выйдут сотни тысяч долларов. Если не миллионы.)

Последний вопрос — чем же не угодили Сушковы, что их отдали на заклятие?

Ведь и правда, все воровали и воруют в этой стране. Так было от века, и так будет... Не поделились? Взяли больше, чем полагается по чину? Хапнули не просто много, а очень, очень много, и если бы даже мадам прожила еще сто лет, ей бы всего награбленного не износить... А она старый человек, за семьдесят...

В 1991 году ее, кстати, по болезни освободили от наказания.

В деле сохранилось письмо Сушкова из тюрьмы Бурбулису: «Просьба о помощи».

«...Я прошу Вас только об одном, попросите Президента рассмотреть мое прошение о помиловании без очереди,

как можно скорей... В 1988 г. трагически, оставшись без кормильцев, умирает моя дочь. А теперь речь идет о моей жене... Если меня сочтут возможным помиловать, я сделаю все, чтобы спасти свою жену...»

В прошении к Б.Н. Ельцину он пишет: «...Уже исполнилось шесть лет моего лишения свободы. Я старик, в апреле 1992 года мне исполнилось 72 года. Я стал инвалидом II группы, мне становится трудно переносить суровый режим общежития с уголовниками. Я, для того, чтобы не деградировать и не потерять разума, продолжаю работать в колонии и помогать чем могу...»

И далее идут слова о том, что он ничего не должен государству, подарки конфискованы, а он при закупке оборудования заводов лично уторговал (так он пишет) 600 миллионов рублей... Наверное, имеется в виду: сэкономил?

И далее: «Имея уникальный опыт закупок оборудования и заводов... я и сейчас бы мог быть полезным в России...» Он предлагает свои способы, чтобы помочь «уменьшить перерасход валюты и обесценивание наших экспортных товаров на международном рынке...»

Занятный поворот. Жулик предлагает помощь в экономике валюты. И готов этим заняться. А как там насчет поговорки про козла и огород?

В деле есть еще два весьма интересных ходатайства. Одно от 15 итальянских фирм, сотрудничавших с СССР. Сперва то они добросовестно выложили списочек всех подарков, не забыв упомянуть даже простенькие дамские сумочки, сорочки и прочую мелочь — видно, все-то у них оприходовано, даже взятки, — но затем спохватились: кто ж после таких подробностей им доверит торговать с нашими другими взяточниками... И стали они просить о снисхождении к Сушкову...

Второе письмо от самой мадам Сушковой, где она поясняет, что «...подарки, которые являются традицией в деловых контактах, особенно в Японии и Италии, были вменены Сушкову в качестве взяток, хотя в большинстве случаев он имел разрешение на их присвоение от министра...»

Что это, нечаянная оговорочка или наводка, донос с указанием, откуда все происходит?

Сейчас уже ничего не узнаешь. Хранители тайн (и денег?) после крушения коммуны стали отчего-то выбрасываться в окна... Да и мадам Сушкова умерла через год после выхода из лагеря.

А вот из секретной инструкции Минвнешторга (1961 г.): «Каждый работник системы Внешторга должен соблюдать честь и достоинство советского гражданина, не давать повода, который мог бы быть расценен представителем инофирмы как желание получить подарки или сувениры, весьма осторожно подходить к факту поднесения ему подарков, вежливо, но настойчиво отказать от получения носильных вещей...»

Конечно, после того, что мы знаем — и чего не знаем, о чем лишь догадываемся, — эта инструкция может восприниматься как еще одна филькина грамота, помогающая держать того самого советского гражданина (то бишь внешторговца, потерявшего «честь и достоинство») за горло и при случае прижать, а то и посадить.

Но далее эта секретная инструкция была улучшена, и календари, зажигалки и авторучки брать разрешили, даже галстуки... Остальное надо было сдавать в казну.

Я вспомнил, как в Ялте знакомая девица, сопровождавшая по заданию местных чекистов иностранного бизнесмена, кажется итальянца (она и спать с ним была обязана, чтобы быть ближе к его телу и к мыслям), получила в подарок на память скромный магнитофончик, который был моментально у нее изъят, ибо он уже принадлежал государству... То есть тем дармоедам, которые осуществляли власть над ней, да и над нами.

Сушкова помиловали.

А через полгода вышла в одной газете статья, посвященная ему: «Карьера по-советски: от министерского кресла до лагерных нар».

Статья мне показалась, мягко говоря, странной, вся его жизнь и вся деятельность преподнесена как успешная: строительство автомобильного завода, оборудование для КамАЗа, строительство газопровода... Ордена, ордена... Тут не сажать, а давать героя надо бы, да вот мелочишка, все эти взятки... Но...

«Не Сушков первый из советских работников внешней торговли получал от иностранцев подарки до, после или во время деловых встреч. И не он последний, кому деловые партнеры советских чиновников предлагали и продолжают предлагать сегодня более или менее дорогие сувениры, так принято в деловом мире...»

Думаю, что снисходительный читатель после того как ему рассказали о судьбе несчастной умершей дочери, а потом и жены, да еще с перечислением заслуг Владимира Николаевича может проглотить и «дорогие сувениры»... Списка на сто страниц он в глаза не видел, и представление о дорогих сувенирах у него на уровне нашего быта: авторучка, зажигалка, ну в крайнем случае дешевый фотоаппарат...

Да и сам корреспондент, видимо детально знакомый с приговором, выбирает оттуда вполне безопасные подарки: бинокли, авторучки, магнитофоны, калькуляторы, фотоаппараты...

А где же золото, бриллианты, драгоценные и ювелирные изделия, шубы и так далее (смотрите начало)?

Так случилось, что моя приятельница Саша Устинова оказалась в свое время соседкой Сушковых по даче, о них она отзывается плохо: вели себя высокомерно, никогда не здоровались. А однажды она лично наблюдала, как приехали военные, вымеряли весь сад и стали копать и откопали бидоны с золотом.

Единственное, в чем газетчик прав, так это в том, что «...подарки давали почти все. И брали их большинство...» И что «подарочной эпидемией внешнеторговые ведомства были поражены сверху донизу, да что там ведомства! Сам глава государства Л. Брежнев был охоч до подарков, особенно до дорогих автомобилей...»

Но то, что можно пану Козловскому, как говаривают поляки, не можно пану Бороновскому.

А вот заканчивается статья совсем уж курьезно. «Впрочем, одному ли Сушкову разрушили жизнь именем Союза Советских Социалистических Республик! Сегодня таких, наверное, тысячи. Один на один со своими обидами. А долги возвращать некому. И спросить не с кого...»

Какие долги? Кто кому их должен возвращать? И что означают эти названные тысячи? Количество обиженных

жуликов из Кремля или количество политических жертв бывшего СССР?

И вот уже на наших глазах крупный хозяйственный вор становится чуть ли не политической жертвой, пострадавшей от системы.

Тогда уж пора в этот список («из тысячи») внести и Сталина, все его политбюро, и других деятелей, которые бандитствовали... Но еще как бы не осуждены.

Что касается Сушкова, я далек от того, чтобы его вторично судить. Приговор был, и он не опровергнут. И реакция Генпрокуратуры на ожидаемое помилование была отрицательная... Она «...не находит основания для удовлетворения ходатайства о помиловании... учитывая тяжесть преступлений, огромный материальный и моральный ущерб, причиненный государству и обществу...»

Это уже дается оценка совсем другой властью.

Да жалко мне, жалко старика, который все и всех потерял, но так и не понял, за что его посадили... Воровали-то все...

Да в том-то и дело, что он был среди них, высших жуликов, таким же, как они, и его недоумение и обида оправданны.

А мы помиловали, пожалели, и этим все сказано.

Зона четвертая СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

ЗИМНЕЕ СУББОТНЕЕ УТРО НА ДАЧЕ
(ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

За окном ослепительный день. Мороз — двадцать четыре градуса. Можно было бы в охотку, забрав пластиковую канистрочку, пройтись к источнику по скрипучей тропинке, между деревьев, полюбовавшись по пути на искристые, в голубых тенях сугробы, на пышные, резные, будто нарисованные елки, несущие на ветках тяжелый снег, на серебристый воздух, осененный этим лучезарным небосводом, таким ясным, легким, прозрачно-голубым, что жизнь может показаться вечной и прекрасной.

Там, за окошком, мой детеныш в белой шубке и малиновой шапочке, на фоне полыхающего дня глядящийся ярким нарядным пятном, настраивает старые санки и блажит и вопит от внезапной зимней радости на весь белый свет.

Но, отойдя от бликующего окна, заставляю себя сесть за стол и открыть очередную папку... Зеленую...

Как там в песне из кино моей юности пелось: «Все стало вокруг голубым и зеленым...» Это про нас, про нашу работу, ибо папки у нас голубые и зеленые. А слова из популярной песенки могли бы стать гимном теперешней моей жизни.

Настроение портится еще при взгляде на эти папки. Но, вздыхая, отворачиваюсь от окна и заставляю себя садиться и читать, ибо это тоже чья-то жизнь.

...Тридцатилетний преступник убил двух водителей «жигулей», оба подрабатывали в свободное время. Было им лет по тридцать пять, мужчины в самом расцвете сил. Оба с юности вкалывали, строили свои семьи, учились, работали... Мечтали прочно встать на ноги, вырастить детишек. У каждого их по двое, мал мала меньше.

А этот никогда ничего не делал. Никогда. И — ничего. С детства бражничал, группировался с друзьями, себе подобными, рыскающими по чужим подворотням в поисках легкой добычи.

В результате это дело. Дело осужденного к смертной казни. А кроме него четыре осиротевших детеныша да две молодухи... Тридцатилетние вдовы, как бывало прежде лишь в войну. А еще матери и отцы — пенсионеры, на скончанье своих лет убитые горем.

Что же можно ко всему этому добавить?

«...Я, Лейкин Николай Николаевич, обращаюсь к Вам (это не к нам, а к Президенту) с просьбой сохранить мне жизнь... Прошу Вас поверить, что больше не буду совершать в жизни грехов, многое я теперь понял в камере смертников и понял, как дорога жизнь «человека»... (Почему-то в кавычках.)

Он-то понял, а я не понимаю и не пойму никогда, что он мог испытывать тогда, когда убивал людей?

Или их жизнь не была для них дорога?

И — еще одно, не менее важное, уже не о нем, а обо мне: я-то зачем сюда привязан, примкнут настолько, что не могу не читать всего этого кошмара и должен при этом что-то решать, проникаться тем самым исповедуемым нами милосердием... А у меня в подкорке все четверо сирот такого же возраста, как моя Манька.

...За окном зима, и дочка вопит от счастья, что ей там хорошо. А мне совсем не хорошо, и я несчастный от того, что должен решать судьбу этого чудовища.

Как-то разок случилось, плюнул я на все и пошел прогуляться у дома, и встретил друга-литератора, милого и мирного человека, созерцательного по натуре; ни в какие политики он не лезет, а сидит и пишет свои сказочные пьесы. И тем счастлив. Остановились мы, потолковали о жите-бытье, о каких-то журналах, каких-то издательствах, гонорарах... Но, посмотрев на часы, я сказал, что вот-де, тороплюсь, еще

дела уголовные не прочитаны... Он же с такой милой непосредственностью произнес: «Ну, торопись... Спеши... Милуй своих насильников!»

Причем не со злом, а искренне считая, что это занятие не стоит нашей прекрасной прогулки и беседы.

А может, и впрямь не стоит?

Я отворачиваюсь от окна, такого яркого, какое бывает лишь в зимний сверкающий день, и открываю еще одну зеленую папочку, а в ней дело, очень похожее на предыдущее. ЭТОТ тоже убивал водителей. Зовут Маков Игорь Александрович. И даже возраст такой же, под тридцать. Большинство смертников — от двадцати пяти до сорока. Попадают и в двадцать, солдатики, а за пятьдесят — ни одного.

ЭТОТ убил трех человек при разбое, хотел красиво жить.

О себе он пишет так: «Я несколько лет для себя решал вопрос: смогу ли, встретив человека, убить его?.. Но, бросившись в омут с головой, уже ни перед чем не останавливался...»

«Омут», по-видимому, описанные им убийства. Этаким герой Достоевского, корчащий из себя суперчеловека, презревшего весь мир и жизнь всех окружающих, кроме, конечно, себя. Большое несчастье встретить такого на пути.

Но вот встретились — жертва, на месте которой мог бы оказаться любой из нас, и убийца. О своих деяниях живописует так:

«Я посмотрел и обнаружил, что «магазин» вставлен не до конца (до этого он убил милиционера и похитил пистолет). Я дослал «магазин» до упора и щелчка, передернул затворную раму и продолжал направлять дуло в правый бок Некрасову, практически горизонтально, потом нажал на спусковой курок...»

Некрасов — хозяин «жигулей», несчастный водитель, который подрабатывал извозом. К нему-то и подсел наш убийца. Таких дел особенно много: не в силах выжить на малый заработок, который к тому же задерживают, владельцы машин занялись в свободное время извозом. Они особенно беззащитны, и грабить и убивать их легко. Садятся обычно вдвоем, один рядом, а другой сзади, а для отвлечения используют обычно девушку, которая в какой-то момент попросит

остановиться, чтобы сбегать в кусты. Тут задний — удавку на шею, а передний обычно или с ножиком, или водителя станет держать... ЭТОТ действовал с оружием, но в одиночку.

«...Перед тем Некрасов, наблюдая за мною, спокойно поинтересовался, настоящий пистолет или игрушечный. Я ему ответил выстрелом. У меня создалось впечатление, что он, видя оружие, направленное в его сторону, не сознавал, чем ему угрожают. Я застрелил его, он даже не сопротивлялся. Труп я вывез и забросал снегом в районе кольцевой дороги...»

Так же подробно, без эмоций, описывает убийство еще двух человек, покупателей «жигулей», которым он якобы собирался их продавать. Дело происходило в салоне автомашины.

«...Достал правой рукой свой пистолет, направил его в туловище сидящего рядом со мной покупателя, сняв с предохранителя, выстрелил... Потом выстрелил в переднего, который повернулся на звук выстрела, в область груди... И еще раз, поочередно, в обоих...»

Про себя он говорит так: «У меня особая психика... Не каждый может меня понять... — Это при освидетельствовании судмедэкспертом. И неожиданно задает вопрос: — Скажите, а я добрый человек? Вот я людей убил, не жалел, а себя мне жалко...»

Ссылаясь на художественную литературу — а они в перерывах между убийствами и книжечки почитывают, — глаголет о тяжести переживаний преступника, пока он не разоблачил сам себя.

Но это не совсем так. Даже совсем не так. Сперва поймали (обезвредили) и разоблачили его. На суде. Ну, а дальше уж его личное дело, сидя в камере смертников, разоблачаться на том уровне, на котором он это делает. А делает он это в манере довольно развязной, и это от растерянности и от страха перед неминуемой карой: казнью.

В том, что он совершил, он как бы и не виноват. О себе он говорит: «Родился комочком, а люди меня таким сделали».

О деньгах: «Всегда мечтал о больших деньгах, о независимости, и если бы было много денег, путешествовал бы, женился, а затем бы купил дом на юге и зажил бы спокойно...»

Спокойствие — после серии кровавых убийств?

Желания-то вроде вполне человеческие, но вот их реализация на уровне первобытного существа. Ведь не о занятии любимым делом мечта-то, а лишь о том, чтобы нажраться, напиться, жить в удовольствие, ничего не делать.

О том же, что могут быть какие-то душевные переживания, раскаяние, ни словечка. По его словам, его угнетает серая неинтересная жизнь, он даже в юности хотел повеситься. К несчастью, не повесился, а то были бы живы остальные. Думаю, не повесится и в камере, поскольку любит себя.

Подчеркивает свой постоянный интерес к проблемам человеческой психики, патологии, психологии и т. д. Основная тенденция для него — ориентировался на романтический образ жизни, почерпнутый из художественной литературы (интересно какой?) и просмотренных фильмов.

Скорее всего, речь идет о романтике уголовной. Какой-нибудь Джеймс Бонд вполне может оказаться для него романтическим образчиком, учитывая тягу к большим и случайным деньгам и легкой жизни на юге.

В исповеди он откровенен до развязности, но не забывает подчеркнуть незаурядность своей личности. Вместе с тем все суждения поверхностны, лишены личностного взгляда и представляют собой стандартный набор прописных, надерганных отовсюду истин. Особенно это касается норм морально-этических, правил человеческого общения.

Остальными членами банды сам он характеризуется как человек решительный, импульсивный, склонный к взрывчатым реакциям в преодолении препятствий, «...от которого можно ожидать всего...» Его, конечно, боялись. А более всего боялись его природной безграничной жестокости.

В его ходатайстве, повторю, нет и тени раскаяния. Он многословен и агрессивен, такие типы, защищаясь, склонны обвинять в своих грехах весь остальной мир.

«...Люди остались те же, — пишет он, — в судах, в МВД, прокуратуре... Прочтите дело, и вы убедитесь, что никто не хочет ни в чем разбираться. Вот вы сообщили в газете (это лично в мой адрес), что на вас, мол, не давят и вы тщательно все читаете, однако события показывают, что это далеко не так. Ельцин тоже заявлял, что Россия будет стремиться к отмене смертной казни, но этого и в помине нет... Видно, тюрьмы у вас заполнены, денег нет, и потому стреляете, и

тех даже, кто в 2–3 раза натворил меньше бед, чем те, кто попал под «белую» полосу вашего политического настроения... (Это он о гэкачепистах?!) Какие уж тут тщательные разборы, какие тут: «Никто не давит сверху!» Общество ожесточено, преступность растет (это нам повествует один из жесточайших убийц!), но всем должно быть ясно, что нельзя поддаваться эмоциям и идти на поводу у толпы. Да и так ли уж настроены обыватели на исключительную меру наказания? Я лично в этом сомневаюсь, это просто политические игры с массами... Очевидно, наверху плюнули на цивилизованный путь развития (как в Японии, например) и решили бороться с преступностью, расстреливая тех, кого поймали, а не тех, кто взрывает общество и убивает журналистов и других деятелей...»

Во как завернул, уже защищает общество от наемных убийц, а он-то сам кто? И кто же ему мешал встать на тот самый «цивилизованный путь развития»?.. В его цивилизованной Японии, на которую он ссылается, его давно бы заставили харакири сделать! Впрочем, там до сих пор казнят повешением. А у нас он еще дает из тюрьмы бесплатные советы, как нам жить. И как относиться к убийцам другим, не таким, как он сам.

Заканчивает он так: «Прошу Вас, если уж не милость ко мне проявить, то хотя бы справедливость, и разберитесь хорошенько и не зачеркивайте жизнь людей просто так, веря тому, что скажут те, кто, возможно, и Вас самих потом посадит за решетку...»

Это дело я пересказал здесь не потому, что оно интересно. Отнюдь. Но оно как бы выбивается из разряда типовых и бытовых, которые обычно заполняют зеленую папку. Здесь перед нами предстает не жертва случая или человек, придавленный судьбою, тяжкими условиями, а некий субъект, презирующий всех и вся и сделавший убийство принципом, если хотите, своей жизни. Безжалостно холодный, с авантюрным складом характера, но легкомысленный и пустой. Он мог бы пойти в отряды Баркашева, а мог бы расстреливать мирных жителей в Чечне... Еще ранее мог бы быть в одной команде с матросом Железняком, бросать бомбы в царя-батюшку от имени народовольцев или же рубить головы боярам в одной связке со Стенькой Разиным, с Емелькой Пугачевым.

Это тип, полагаю, не социальный, а скорее биологический, он присутствует при всех режимах и во все времена, принося человечеству невероятные страдания и беды.

Недавно отловили еще одного серийного маньяка по фамилии Онуприенко: «Семейный убийца». Он из «наших», детдомовских, низкорослый, невзрачный. Он не помнит, сколько человек загубил, но не менее полсотни. «Одним больше, одним меньше, — произносит он, — ни я, ни Бог не заметит...» И далее он поясняет, что «...убивал людей, чтобы познать себя». У него тоже по этому поводу целая теория, такая вот: «Человек — это игрушка. Пусть о моих деяниях узнают все...» Он и постранствовать успел, побывал в Германии, но оттуда выдворили. Сидел в психушке, был в секте мормонов... Обо всем об этом, как сказано в заметке о нем, Онуприенко повествует хорошим литературным языком, цитируя Библию и немецких философов.

Будет и у нас еще в одной главе такой герой, молодой, циничный, стопроцентный отличник и комсомолец, лидер и вожак... Из обеспеченной семьи... А угрожает ни за что ни про что четырех невинных, чтобы достать и продать оружие.

Сейчас заметно, как средства массовой информации делают, создают из таких вот, как эти, героев телеэкрана, чуть ли не возвеличивая их преступления. О Чикатило написаны книги, американцы уже сняли фильм. А ростовский прокурор, требовавший на суде для маньяка казни, накануне ее заходит в камеру своего подопечного и... берет у него автограф на книге о нем. И об этом потом с гордостью рассказывает. Кстати, Чикатило у нас тоже впереди.

Но это, конечно, возникло не сегодня и даже не вчера. И «лучшие» из них, если можно так сказать про убийц, и в давние времена становились притчей во языцех, а потом и легендой; и если им удавалось чудом избежать секиры палача, то в тюрьме ли, в ссылке или на пенсии писали они на досуге о своих похождениях мемуары и становились героями авантюрных книг, которые столетиями забавляют легкомысленное человечество, охочее до такого рода чтива.

За многие годы со времен какого-нибудь Джека-потрошителя чужие слезы успевают высохнуть, преступная кровь впитаться в землю, но остается жадный, почти животный интерес к тайнам убийцы и его жертвы, который небес-

корыстно эксплуатируют поставщики такого рода «искусства».

Наш герой помельче, пожиже, да и путь к «славе» у него покороче. Догоняя свою жизнь, описанный мною супергерой, он же последователь героев Достоевского, пришлет нам еще три прошения, моля о пощаде.

Видит Бог, я не хотел рассказывать эту историю из чувства вполне объяснимого, оберегая ваши, уважаемый читатель, да и свои собственные чувства. Особенно в такой чистый зимний день. И особенно потому, что разговор пойдет о детях. Таких, как моя Манька. Как она, кстати, там?

Лишний повод прерваться и, прижимаясь щекой к холодному стеклу, убедиться, что детеныш тут и цел. Хотя вот на днях вдруг исчезла, мы выскочили без верхней одежды, закричали, забегали. Начитавшись всех этих дел из зеленой папки, забегаешь и голос и сердце сорвешь! Нашли в подъезде соседского дома, щенка отогревала.

Вот и этот случай с ребенком вовсе не исключительный. Он даже, если хотите, в каком-то роде «типовой», сродни нападениям на таксистов, и его легко берут на вооружение молодые преступники, у которых жажда легко обогатиться и, не работая, пожить в удовольствие не менее велика, чем у нашего предыдущего героя. Но эти даже не теоретизируют по такому вопросу. У них от желания убивать до самого убийства путь еще короче.

Подсудимые Балян и Табунщиков были должны крупную сумму денег одному из преступных авторитетов г. Ростова. Чтобы рассчитаться с долгами, они разработали план похищения 12-летнего мальчика Лени. Фамилию его, по понятным соображениям, я не называю. С семьей мальчика Балян был знаком, бывал в их доме.

6 мая в теплый весенний день наши герои втроем: Балян, Зеленский и Ревин, всем от 18 до 20 лет — кажется, я уже писал, что преступность резко помолодела, стала жесточе — подготовили для похищения багажник автомашины «жигули», туда залез самый младший из группы, Зеленский, чтобы удерживать мальчика. Рано утром они подъехали к перекрестку и стали ожидать Леню, зная, по какому маршруту он ходит в школу.

В это утро, как выяснится потом, Леня не хотел почему-то идти учиться и просил разрешения у мамы остаться дома, но она настояла.

О Лене в деле сказано мало, но известно, что он хорошо учился, любил читать, рисовать, танцевать, увлекался животными. И был — вот главное — доверчивым ребенком.

Но, Господи, как их оберечь, при этом не нарушив этой чистой доверчивости к людям?

Завидев Леню, Балян подозвал его к машине, стал, отвлекая, расспрашивать, как, мол, у него обстоят школьные дела, в это время Табунщиков подкрался сзади, схватил мальчика в охапку и бросил (так и написано: «бросил») в багажник. Мальчик кричал, сопротивлялся. Оказавшаяся неподалеку, совершенно случайно, тетка мальчика увидела, как увозят ее племянника... Она бросилась за машиной, но не догнала. Она же первая рассказала в милиции и родителям Лени о краже сына.

Преступная же троица, посоветовавшись, отвезла похищенного ребенка на квартиру Зеленского, к его матери, где представила мальчика и Табунщикова как родных братьев, которые следуют проездом через Ростов и пробудут у них до вечера. Мальчик, как рассказала потом на суде мама Зеленского, вел себя спокойно, ни на что не жаловался и, пообедав, стал смотреть телевизор. А надо было, наверное, жаловаться, а то и кричать, звать на помощь... Я так чувствую, так пишу, потому что уже знаю, что произойдет дальше. Но мальчик-то этого не мог знать. Наверное, он еще верил, попав в домашнюю мирную обстановку, что все обойдется.

В это время Табунщиков позвонил родителям Лени и потребовал выкуп за ребенка в размере 60 тысяч долларов, пригрозив, что, если они обратятся в милицию или не принесут денег, ребенок будет убит. Для более активного воздействия на родителей они дали Лене поговорить с матерью. Мальчик плакал и просил забрать его отсюда.

Понятно, что денег таких у родителей не было. Их выделил для выкупа банк по просьбе УВД, и они были доставлены отцом Лени в то место, которое указывали похитители, к гаражам на Авиамоторной улице.

Но, плохо зная район, отец мальчика положил деньги под соседний гараж, и похитители — надо сказать, что вели

они себя крайне самоуверенно — подъехали туда прямо с мальчиком (в багажнике), не обнаружив денег, позвонили из ближайшего автомата. Деньги в конце концов были найдены, спрятаны на квартире Ревина, и тут же похитители стали решать, что им делать с мальчиком. Да, в общем, судьба его была предрешена, ибо организатор похищения Балян был ему знаком, а значит, никаких шансов уцелеть у него не было.

«Он всех опознает, его надо убить», — сказал Балян. С ним согласились. Ревин указал подходящее место для убийства: пустырь, находившийся неподалеку от его дома, на улице Гагарина.

Ну, а где же наша милиция, которая нас бережет?

Четыре звонка от похитителей, несмотря на прослушивание, «из-за несовершенства технических средств» не зафиксировали местонахождения звонивших, а когда те открыто, вместе с мальчиком (!), приехали в район, «заблокированный милицейскими силами», их даже не засекли, оправдываясь тем, что, по их опыту, деньги обычно берут через подставных лиц.

Такая непрофессиональность стоила жизни ребенку.

Преступники ночью вывезли мальчика к указанному пустырю; испуганный, он плакал, просил его отпустить...

А голосов-то с улицы не слышно...

Где же Манька?

Я слишком торопливо приник к стеклу и, снова ничего не увидев, лишь снег да следы на снегу, стал распахивать створку окна, руки меня плохо слушались. Ничего не ощущая, как с головой окунаясь в холодный, наверное, холодный и пустой (без Маньки!) зимний мир, я, наверное, слишком громко закричал... И почти сразу под крылечком отозвалось беспечным голоском:

— Я здесь, здесь...

— Никуда не уходи, слышишь? — предупредил я. — Никуда, слышь?!

— Никуда я не иду, — отозвалась она. — Я тут играю.

— Ну, играй, играй...

Окошко я закрыл, напустив в помещение холода, но не успокоился и стал оглядывать огород до темнеющего за елками забора в поисках кого-то, кто может там появиться

и угрожать жизни детеныша... Такого беспечного и доверчивого... Как тот мальчик Ленья.

Табунщиков накинул шнурок от своих спортивных брюк сзади ему на шею и стал душить. Зеленский в это время, как сказано в деле, удерживал хрипящего и теряющего сознание ребенка.

Табунщиков, не сумев задушить, передал шнурок Зеленскому, но и у того ничего не получалось. Балян, выскочив из машины, набросился на агонизирующего Леню и, нанося ему удары, кричал: «Умирай, сука! Что же ты не умираешь!» После чего задушил ребенка руками, в то время как двое его дружков удерживали мальчика за руки и за ноги.

Что-то с зимним днем произошло. Он стал менее голубым, что ли, или мне показалось. Я снова распахнул окно и убедился, что детеныш мой здесь, на крыльце. Потом побродил по квартире, потрогал корешки книг на полке. Доберусь ли до них и когда? Здесь же рукопись новой повести, всего несколько страниц.

А за окном голоса, молодые прошли из соседнего корпуса, громко смеются. А мне тут совсем не до смеха. Мальчика только что убили...

Да нет, убили несколько лет назад... Но для меня сейчас, сию минуту. И ни к кому не побежишь жаловаться... Не поймут... Пойти разве опрокинуть рюмку, а то небо и впрямь покажется черным?

...Осужденный судом к смертной казни Балян в прошении о помиловании напишет: «Я не хочу умирать молодым».

А мальчик? Хотел?

Тело ребенка они утопили в водоеме, привязав гирю. После чего стали в машине по дороге подсчитывать полученный выкуп и делить деньги. Меньше всех досталось Зеленскому.

Вечером того же дня все они соберутся в частном кафе со своими девушками, чтобы отпраздновать успех проведенной операции, а заодно вспрыснуть покупку своего организатора Баляна: он приобрел новую иномарку — автомашину «ауди-80». А тело Лени всплыло 13 мая и было замечено гуляющей по берегу девочкой.

Убийцы осуждены к смерти. А на пустыре на улице Гагарина долго висел венок, напоминавший о происшедшей здесь трагедии. Сейчас там построили новый дом.

А зимний день между тем склонился к ранним сумеркам, заблестела первая звезда на востоке, и я, прикрыв папку, смотрю на белеющие в синей наступающей мгле лапчатые ветки прямо против моего окна и думаю с отчаянием: «О Господи, за что же это мне... Ведь этот день уже не вернешь... А ЭТИ украли не только чужую жизнь, но еще и один день моей жизни...»

И если их судьбу будет своей подписью решать Борис Николаевич, то попросить бы его одним росчерком отправлять таких на небо, чтобы не засоряли нашу и без того несчастную землю.

Но, понятно, я никогда такого Президенту не напишу.

А уж совсем честно, послать бы и эти папки куда подалее, потому что они внушают испуг не только мне и моей жене, но и моей маленькой дочке, которая, разглядев их на моем столе, зелененькие-презелененькие, понимает сразу, что опять папа не будет с ней играть в снежки и на лыжах не пойдет, а будет весь день горбиться над своими бумагами, а вечером ходить с испорченным настроением.

СЕКТОР ВЫСШЕЙ МЕРЫ

В череде испытаний, которые посылает нам судьба, оказывается возможно и такое: испытание милосердием, особенно если оно еще и власть.

Жалеть человечество абстрактно может, пожалуй, и человек равнодушный. Во всяком случае, знал я одного великого человека, режиссера, большого гуманиста, он снимал жалостливые фильмы о детях и даже при этом всплакивал, так ему было жалко этих детишек, страдающих и несчастных. Но однажды его собачку, которую он таскал за собой на съемки, накормили куриным мясом, и попалась косточка, и собачка едва не погибла. Виноват в этом был старый актер, уволенный незадолго до этого из расформированного Еврейского театра. Так вот, из-за этой пресловутой косточки актера, который, по

понятным причинам, не мог найти в то время себе работу и числился при киногруппе (а по сути, при собачке) дрессировщиком, уволили и отослали из Крыма в Москву.

Вот тогда я впервые подумал о такой странной вещи, как страдания людей близких, тех, кто нас повседневно окружает и кому наша жалость, тоже повседневная, более нужна, чем наш общемировой гуманизм.

Однажды в жизни мне довелось увидеть *реальный* американский электрический стул, на котором, по свидетельству моих зарубежных друзей, даже происходили смертные казни. Стул сопровождал конгрессы международного движения «Hands off Cain» («Не убивайте Каина»), и некоторым его участникам предлагали добровольно на нем посидеть, не слишком долго, но достаточно для того, чтобы почувствовать, что же может ощущать человек за несколько секунд до смерти.

В Музее мадам Тюссо я видел макет, изображающий в действии смертную казнь на электрическом стуле одного из самых страшных злодеев XX века. Кажется, это был тот самый Джек-потрошитель. Помню, я простоял перед ним какое-то время, но нисколько не проникся ужасом перед этим повторяющимся каждые несколько минут зрелищем.

В одной книжке по такому же поводу я однажды даже вычитал заголовок: «Казнь как прикладное искусство». И удивился точности наблюдения. Особенно после публичных казней в Чечне и показа по телевидению казни из Казахстана.

Другое дело — личное соприкосновение с деревянным, не очень замысловатым по конструкции креслицем, которое, с подведенными к нему проводами, с ремешками для рук и ног и кожаной маской для головы, не только было самым настоящим электрическим стулом, но еще и как бы сохраняло в себе некие предсмертные биотоки жертвы.

Далеко не по собственной инициативе я тогда сел в него, претерпевая весь ритуальный обряд... Ремешки, провода, маска... И вдруг испытал пронзительное ощущение конца. Я не ожидал этого от себя и даже посмеивался вначале, но стал умолять коллегу, исполняющего роль палача, в шутку, конечно, ни в коем случае не включать телевизор, к которому по непонятной мне причине почему-то тянулись провода от моего стула.

— Да он и не подключен, — отвечал тот. — Это же так... Для сходства!

Ничего себе сходство, подумалось вдруг. А если для полного сходства и электричество подадут?

— Все равно. Прошу не включать! — произнес я как можно легкомысленней, но в голосе моем уж точно прозвучала тревога. А потом меня пристегнули, и ноги, и руки, и голову, всего-то на три минуты, и пошли за фотографом, так что на три минуты я вообще остался один... И — затосковал... Как бывало со мной лишь в редкие минуты сна, когда мысль о смерти приходит в особенно обнаженной, реальной форме... Она же грядет, грядет... И ледяной холод, и щемящее космическое одиночество в момент пробуждения, как и мысли о неминуемом уходе, который страшен не небытием, а тем, что небытие вечно... И так — пока не растает все в свете голубого утра.

Но тогда как же у них, у приговоренных? Ведь у них и утра может не быть?

Если теперь взглянуть со стороны на то, чем мы занимаемся, читая дела смертников, можно вполне наглядно представить себе это занятие как постоянное, ежечасное, ежесекундное пребывание каждого из нас (я имею в виду членов Комиссии по помилованию) на таком стуле. В общем-то понятно: нельзя решать чужую судьбу, не почувствовав тех самых биотоков, которые помогают нам понять ощущения казнимого.

Это я не только о смертниках, но и о заключенных (то же, что исключенных, ибо мы исключили их из жизни), которых у нас в стране более миллиона и которых мы не слышим, не хотим слышать и в боль которых нам, не посидев на таком стуле, не дано проникнуть.

Мы, россияне, прелюбопытный вообще народ. Такой гуманный (в легендах) и такой жестокий — в реальности. Мы все как бы поделены на два мира: одни — это люди, попавшие в беду, в тюрьму, и страдающие за них родственники, они молят о милости, криком кричат о помощи, в то время как другие, которые на свободе, в лучшем случае стараются ничего не замечать, а в худшем — вызывают к возмездию, к еще большему ужесточению наказания, вплоть до расправы над виновными без суда и следствия.

Но правда, может случиться — и случается, что они меняются местами, как, например, произошло с одним генпрокурором, который очень даже поощрял казни и сам в один прекрасный день оказался в тюрьме. И тогда вдруг выясняется, что вторые не прочь заговорить о милосердии, но, конечно, применительно к ним, а первые, ожесточившись там, в тюрьме, на весь мир, начинают мстить, отвечая на жестокость еще большей жестокостью.

Вот я и предлагаю уважаемым читателям накоротке и вместе с нами попробовать присесть на этот почти безопасный стул, невзирая на странные провода — вдруг подключено!.. Чтобы попробовать ощутить слабые токи и услышать в себе и через себя, через свою собственную судьбу боль своего ближнего, который попал в беду.

А что попасть может каждый, мы потом пойдем.

Наверное, не случайно директор тюрьмы в Риме синьор Спара Чира на наш вопрос, а много ли у него тут находится преступников, поправил нас деликатно:

— Преступники — это в суде, а у нас сидят несчастные люди...

Жалеть заключенного, сидя в домашнем мягком кресле и почитывая Достоевского, даже приятно, начинаешь сам о себе лучше думать. Но ведь можно поехать за тридевять земель, скажем, на каторжный Сахалин, как это сделал Антон Павлович, и лично покопаться в человеческом дерьме, облегчив кому-то страдания и приняв их на себя.

«Какой кислятиной я был бы теперь, — пишет он своему издателю Суворину, — если бы сидел дома. До поездки «Крейцера соната» была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал... не то сошел с ума, черт меня знает...»

А я почему-то вспомнил одну известную в театральном мире постановку в Варшаве, посвященную жизни Христа. Постановка осуществлялась не в помещении театра, а в среднего размера комнате, где не было даже стульев: зрители располагались на полу, без подстилок, и так должны были высидеть три вечера кряду в очень неудобной позе. Судя по всему, это входило в замысел режиссера — сочувствуя му-

кам Христа, зритель должен был и сам хоть в малой степени испытать какие-то страдания и благодаря им приблизиться к страданиям другого несчастного.

Наша комната для заседаний оказалась даже слишком располагающей и удобной, чтобы в ней решать судьбы несчастных... Это нас смущало. Как смущали и черные казенные машины.

Но это так, детали.

Начальник отдела помилования Вергилий Петрович в потертом костюме, при галстукке (тоже не первой свежести), с выправкой старого служащего, каковым он и являлся, проводит меня, как и положено Вергилию, по длинным коридорам третьего этажа бывшего цэковского здания на Ильинке, где располагаются всяческие службы, в том числе и наша «помиловка»: сорок семь опытных юристов, в основном женщины, готовят для нас папки с делами.

Коридоры, их целых два, тоже забиты этими папками с делами заключенных. Горы папок, сложенных на полу. Мы вышагиваем вдоль них, и неожиданно подумалось: а ведь это чья-то судьба! Чьи-то надежды, последние, возможно... И вот так... Под ногами!

— Не пропадают? — спрашиваю осторожно.

Вергилий Петрович лишь пожимает плечами:

— Семьдесят тысяч в год... А архив... Где прикажете держать? Часть дел мы еще оставили в Белом доме, здесь лишь самое необходимое... — И со вздохом добавляет: — Я проработал в этой структуре (он так и определил ее как «структуру») два десятка лет... Всяко повидал, но чтобы такой бардак... Не перестаю удивляться... Если в собственном доме они порядка не могут навести, как же они страной управляют?

«Они» — имеется в виду нынешняя власть, в том числе и наш Президент, которого мой спутник явно недолюбливает.

— Прежде-то как было? — говорит он. — Вот назначили вас, пришел приказ, звонят... Кабинет такой-то, машина такая-то, телефон такой-то... Секретарша, помощник и все остальное... Как положено.

— Да, слава богу, мне этого не надо! — запротестовал я.

— Надо! — уверенноотреагировал он. — Всем надо, и вам надо, таков порядок. С вас потребуют работу... Так? Но как

же вы можете ее выполнять, если вы заняты выколачиванием телефона?

— Обойдусь, — отмахнулся я.

— Так я не обойдусь... Я и выколачиваю для вас и звоню... И самовар для вашей Комиссии прошу, чтобы люди чай могли попить... Старый-то самовар унесли!

— Кто же его унес?

— Как кто? Ваши демократы и унесли. Бывший председатель Комиссии, его теперь в Конституционный суд выбрали. Схватил и говорит: я заплачу! По старой цене... Но и по старой не заплатил... Он и телевизор потащил из своего кабинета, да моя секретарша грудью встала в дверях... Не отдам, и только... Так телевизор, слава богу, спасли, а самоварчик-то тью-тью... Вот вам и конституционный судья! Жулик!

Вергилий Петрович, ведущий меня по третьему этажу, как по третьему кругу, здоровается с женщиной, которую я сразу узнаю по той самой каменной, анемичной физиономии.

Говорить с ней, понятно, не о чем; как я и подозревал, словарный запас у нее ниже, чем у Элочки-людоедки, но когда мы отдаляемся, Вергилий Петрович не без некоторой зависти поясняет мне, что во все времена его службы отдел наград именовался отделом хорошего настроения. У них и банкеты, и шампанское, и цветы...

— А у нас сплошь смертники да убийцы! — И через паузу: — И испорченное настроение... Ну, колючую проволоку, что ли, поднесут... из подворотни? — шутит он. И указывает на комнату в самом конце коридора. — Здесь!

— Что — здесь?

— «Вышка» здесь... Вы же интересовались, где она находится... А я ее специально загнал в самый дальний край, чтобы не мозолила проходящим глаза.

— И не портила настроения?

— И это. Зачем напоминать людям о нашей жестокости.

В ту пору я не мог даже мысленно поправить его, произнеся: «О вашей жестокости», ибо он-то и будет излишне жесток к этим смертникам.

Мы зашли в «вышку». Комната как комната: цветы на окне, даже уютно. И как везде — на столе, на подоконнике, на полу папки. Но какие-то они другие, эти папки. Я о них уже писал, но так меня заело, что готов повториться. Все предыдущие — серенькие, голубые, в крайнем случае просто белые. А у этих и цвет желтоватый, и, главное, видная издали в верхней части огромная красная буква «Р».

Может, мне только показалось, что эти папки другие, но уж в букве-то ошибки быть не могло. Она могла означать лишь «расстрел».

— И много их у вас? — спросил я хозяйку кабинета, молодую женщину, складную, модно одетую.

— Дел? — спросила она. — Много... — И выразительно посмотрела на Вергилия Петровича. Все-таки начальник, без него цифру называть не решилась. Он кивнул, и она добавила: — Несколько сотен.

— Страшные?

— Есть и страшные.

— А вам тут... Ну, не трудно? — спросил я. Хотел сказать «не страшно», но смягчил вопрос.

— Привыкла. А что делать? — произнесла она спокойно.

— Нет. К этому нельзя привыкнуть, — категорически отверг ее ответ Вергилий Петрович. — Там черт знает что... — Хотел было что-то пересказать, но одумался. И пошел к выходу. — От этих дел, — сказал негромко уже в коридоре, — через год-два, скажу вам по секрету, у работников начинаются сдвиги... Может, они не замечают, но я-то каждый день их вижу! Вот вы — писатель? Скажите, бывают у вас вредные книги?

— Бывают... Еще какие...

— Вот! Это самое! Очень вредное чтение!

— А сами вы как? — спросил я как бы в шутку, но очень серьезно.

— А что я? — удивился он. — Я тоже ничем не защищен. — Он взглянул на меня и искренне, с сочувствием в голосе добавил: — И у вас будет... Вот один депутат из прошлой Комиссии так и ушел, не выдержал чтения. В моем организме, говорит, наступили противоречия... Но шутки шутками, а через год почти все депутаты почувствовали в организме что-то не

то... И принялись уходить. После стали даже делать так: обсуждаем смертников, а потом, значит, перерыв... После смертников необходим перерыв: чай с бутербродами, иначе нервы не выдержат...

Потом уже в одной научной книжке о тюрьмах, а за книжки такого рода пришлось взяться всерьез, чтобы не выглядеть профаном, вычитал я, что сами заключенные ощущают после семи—десяти лет отсидки некий психический сдвиг, причем необратимый. Но вот что интересно: те, кто их охраняет, тоже подвергаются психическому воздействию и подчас даже раньше, чем сами заключенные, начинают это ощущать... Через пять—семь лет.

А каково, представил я, писателям, которые все это будут прокручивать через себя?

У них в силу особой душевной структуры внутренний прибор на микровольты рассчитан, а тут миллион вольт... Вмиг обуглится душа-то... Как спасешь?

Вергилий Петрович провожал меня от комнаты к комнате, а я вглядывался в глаза всех этих людей, ловя в них что-то незнакомое, точней, недоступное для меня, но тревожное... И вдруг впервые подумал... Может, сказки — так я подумал — начать писать? Только защитят ли они?

БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬСЯ

Всю жизнь, сколько себя помню, мы от кого-нибудь или чего-нибудь защищались. Мое поколение еще может рассказать, как в школах, перед самым вторжением Гитлера, мы заучивали наизусть свойства отравляющих газов, какого-нибудь иприта или люизита (воспроизвожу по памяти), и учились пользоваться противогазом, который нас от тех страшных газов должен спасать. Но если честно, противогазы те были так велики, что дышать можно было через щели вокруг головы, а вскоре вообще мы их изрезали на рогатки, а прочные брезентовые чехлы приспособили для продуктов.

Потом, уже в пятидесятые, мы готовились уже к войне атомной, ходили по обязательной программе на инструктажи, где нам рассказывали про семидневный запас продуктов, изолированный от радиационной пыли, про мокрые просты-

ни, в которые якобы надо заворачиваться, чтобы... доползти до кладбища (дежурная шутка того времени), и прочую такую же чепуху. Об этом я вспомнил совсем недавно, спустившись в сталинский бункер — есть, оказывается, такой в Кунцеве под его дачей: десяток метров свинцового перекрытия, комната для сна и отдыха, запас воздуха, воды и своя электростанция. Вот он бы там со своей политбюровской шайкой и вправду бы, наверное, выжил. А народу оставалось бы напоследок подтереть той, очередной, инструкцией по безопасности задницу, перед тем как отправиться на небо.

А тут на днях открываю газетку и натыкаюсь еще на одну инструкцию, и опять о том же: как защищаться в чрезвычайных ситуациях. В общем, новые песни о старом. Читаю, хоть не уверен, что мои чрезвычайные ситуации совпадают с газетными, — я, например, до сих пор не знаю, как защищаться от коррупции, беспредела, от инфляции, бесхозности и беззакония. За годы моей жизни на мне перепробовали, кажись, все, начиная от ядохимикатов и кончая марксизмом-ленинизмом, испытывая мой организм на выживаемость. Теперь же, судя по инструкции, мне угрожает терроризм, который, видимо, исходит от Чечни, которую мы разорили, как разоряют варвары пчелиные улья, вопя при этом на всю вселенную, что пчелы почему-то их жалят.

Ну, вроде бы Москва за тыщу верст от Кавказа, да и милиции тут на каждый квадратный метр с избытком, более чем полиции во всей Европе, чем им еще заниматься, как не защищать мою жизнь?

Но вдруг выясняется, из инструкции, что защищаться-то мне придется самому. Мне, например, предписывается каждый вечер, придя с работы, просматривать «все нежилые помещения», не только в доме, а «вблизи его», да еще непонятные «узлы и агрегаты», и при этом звонить вечером в ДЭЗ и узнавать, кем эти помещения заняты. Господи, да я несколько недель и днем не могу в этот странный ДЭЗ дозвониться, чтобы узнать, отчего не греют батареи, а это и на самом деле опасно для моей семьи, детей, которые простужаются и болеют.

Что же касается «изучения места возможного заложения взрывчатых устройств», то будь я террористом, лучше места, чем наша помойка под окном, я бы не нашел, она неделями не

вывозится, и в ней можно упрятать не только десяток гранат, но маленькую атомную бомбу. Теперь, следуя той же инструкции, я должен «не оставлять без внимания посторонних около дома», но, правда, не сказано, что с ними делать: хватать ли, обыскивать или провести разъяснительную беседу о вреде того же терроризма. А тут еще надо спешить осмотреть все припаркованные машины, а мне-то хоть за своей уследить, чтобы не увели.

Сообразив, хоть не сразу, что с терроризмом мне, пожалуй, не совладать, я спешу домой, и уж тут мне придется выяснить отношения с женой, которая будет уверена, что я пропьянствовал снова вечер в соседнем кабаке, и не дай бог с какой-нибудь женщиной (вот где настоящая опасность!), и может еще в дом не пустить. И от такого семейного террора никакой надежной защиты пока в инструкциях не предусмотрено. Есть, правда, одна фраза, годная во все времена: «укройтесь в ближайшем защитном сооружении». Скорей всего, имеется в виду любовница или снова кабак. Надо проверить.

Но если даже удастся пережить эту «чрезвычайную ситуацию», то стоит поискать в инструкции на сон грядущий что-нибудь полегче про всякий там гололед, морозы и снежные заносы и получить при этом такие ценные указания, что надо «утеплить перед морозом квартиру», а в холод «не покидать ее» и весь день «слушать прогноз погоды». Ну а если все-таки выехали на машине и застряли в сугробе, повесьте на шест яркую ткань, размахивая над машиной. Ну, а шест, понятно, на этот случай надо возить с собой.

И еще одно утешение на ночь: если, пока я сплю, взорвут наш дом, а меня завалит обломками, я уже знаю, что «надо взять себя в руки» и «ровно и глубоко дышать», приготовься терпеть «жажду и голод». Ну, а если терпеть невмочь, «надо положить в рот лоскут ткани и сосать его, дыша носом...»

Положив в изголовье на ночь лоскут, засыпаю с чувством твердой уверенности, что назавтра, кроме не прочитанных еще мной пунктов об эвакуации, взрывах, завалах, пожарах, ураганах, химическом и радиоактивном заражении, никакой другой опасности для меня не предвидится. А уж лоскут сосать я как-нибудь научусь.

МОГУ ЛИ Я СТАТЬ УБИЙЦЕЙ? (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Каждый раз, прочитывая дело (а оно почти всегда об убийстве), я как бы примериваю его на себя: а как бы было, случись такое со мной? Ну, скажем, пошел я вечером в клуб... А почему бы и не пойти, ходил много раз в свои молодые годы, в самодеятельности участвовал, девочек на танцы водил, но редко, в киношку, конечно, да и так забредал, когда нечего делать. В буфетике посидеть — за милую душу. А потому и выпить мог, отчего же не выпить?.. И выпивал с дружками или с кем еще... Ну, а подраться...

Да нет, тоже мог, защищая подружку, хотя тут возникают всякие вопросы. Одно дело — сам задираюсь, а совсем другое, если караулят на выходе, чтобы намылить сопернику морду.

Был у меня приятель, на Селигер вместе ездили, татарин, кличка у него почему-то была Нюрка. Коротышка, но яростно злой и глаза антрацитовые навывкате, не дай бог что-то обидное произнести. Так вот он обидчика около клуба полоснул ножичком, защищаясь, да пришел кого-то и сел в тюрьму. Хотя в этом случае обычно говорят одно: я его (нож) вот так держал, а он бросился и на него (на нож) как бы сам напоролся...

Вранье. Во время драки соображать некогда. Особенно когда их несколько, да со спины заходят, да девица в страхе, да и выхода никакого нет, вот в чем дело-то. Не удирать же бегом, бросив подружку... Потом огласки и стыда не оберешься!

Но это все как бы причины, и не такие уж, как казалось прежде, пустяковые. Ведь чаще убивают вовсе без причин.

Вот пишет нам приговоренный к смертной казни Донцов:

«...Пятеро распивали водку на берегу реки, я же после ночной работы шел на охоту. Увидев меня, из каких соображений, не знаю, пригласили выпить водки, потом один стал меня избивать. В этой горячке я стрелял, а как стрелял, ничего не помню. С остальными у меня никаких стычек не было, не было и разговоров...» И далее: «Я признаю себя виновным, но до сих пор не могу объяснить, за что я убил лиц, которых я не знал и которые ничего плохого мне не сделали...»

А вот несколько слов убийцы о себе: «Я честно, как мог, отслужил в рядах Советской армии (два года срочной службы и четыре года прапорщиком) и что со мной случилось 10 мая, до сих пор не могу понять, вот уже два года только об этом думаю... Прошу сохранить мне жизнь...»

Из дела известно, что у него двое малышей, молодая жена. Когда убивал, у него потемнело в глазах, а дальше — он не помнит. Сам попросил отвести его в милицию...

Это один из типичных случаев, который мало поддается объяснению. Сам он никогда прежде не судился, не алкоголик, детишки у него... Но, правда, всю жизнь был обижен, и детство трудное, и дважды бежал из дома, и даже отправляли в психиатричку. Но у нас кого только туда не отправляли!

Некий Маслов, который убивал по пьянке, а головы отрубал и сбрасывал в мусоропровод, поясняет свои действия так: «Слышал внутри голоса, которые велют ходить и резать...»

Кстати, он потом и себе нанес телесные повреждения.

Еще один смертник Андреев (32 года) убил четырех человек в ссоре.

«Был вспыльчив, в ссоре с женой кричал до истерики, но до рукоприкладства дело не доходило и к детям относился хорошо...» Как стрелял, не помнит... Ни о чем не думая, выстрелил в нее (любвицу), действовал автоматически, после случившегося ощущал опустошенность, одиночество... Помнит, что бродил по поселку, заходил к знакомым, искал общения...

А вот смертник Грбунов проезжал в пьяном виде ночью по деревне на мотоцикле, постучался в дом Кузьминых и попросил водки, а потом попить. Его пустили в дом (сказано даже так: «пригласили»), а он изничтожил целую семью: отца, мать, бабу и двух детишек. И все потому, что кто-то, как ему показалось, произнес: «Ходят по ночам, козлы, спать не дают!» Зачем он просил водку, не знает, потому что водка была у него самого дома.

После первых трех ударов он понял, что убил Гошу, так он называл хозяина, им овладел страх, и окружающее приобрело угрожающий характер. Ему чудились крики: «Стреляйте, стреляйте!» и померещилось, что в него, в голову стреляют. Он как со стороны наблюдал за движением правой руки, которая словно автоматически била по телу хозяина дома.

«...Когда убивал, — рассказывает он, — рука ходила сама по себе» (14 проникающих ранений в грудь), а когда дети заплакали от страха, он крикнул: «Не плачьте, сейчас все спать будет!» После этого стал убивать детей: четырех и восьми лет. Затем прикончил восьмидесятилетнюю старуху.

По временам ему казалось, будто он тонет и не может выбраться... Чувствовал вокруг себя теплую пузырячатую воду (а может, кровь?), было горячо, качало... Но прошел черным коридором, и увидел свет, и обнаружил себя на улице с ножом в руке, ощутив дикую усталость и расслабленность. Дома он не помнил, как разделся в бане, положил на полку водительские права, ключи от мотоцикла, свалился и уснул. Услышал за дверью голоса... Вошли, надели на него наручники. Он не удивился аресту, но испытывал все время сонливость, и то, что погибли трое взрослых и дети, стало для него новостью. Он не поверил этому, но отрицать ничего не стал.

В тюрьме не оставлял надежды разобраться во всем до конца, но тщетность этих попыток угнетала его еще больше. В клинике, где он проходил проверку, написали: «При вопросах о случившемся заметно волнуется, начинает дрожать...»

НЕ УБИВАЙТЕ МЕНЯ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Питерский врач Василий Середа, который собирает и подкармливает беспризорных детей, как-то сказал: «Если мы сейчас не построим для этих детей адаптационные центры, то в скором будущем нам придется строить для них тюрьмы...»

В продолжение этой мысли хочу привести одну биографию: Яблоков Э.С., 24 года, был осужден за умышленное убийство с особой жестокостью при разбое к смертной казни. Далее — из его прошения о помиловании.

«Уважаемый Борис Николаевич!

Верно говорят люди: растешь без отца — ты один раз сирота, а растешь без матери — сирота десять раз. А ребенок без отца и без матери похож на одинокую тучку; ветер жизни швыряет его в разные стороны, гонит куда попало. Хорошо еще, если повезет и прибьется к добрым людям, тогда хоть твое беззащитное сердце не ожесточится, не заледенеет от

равнодушия и холода горькой судьбы. Окажется рядом с женщиной, у которой отзывчивая душа и мягкие нежные как шелк руки, она заменит тебе мать, накормит, обогреет, приласкает. Окажешься рядом с женщиной, сердобольным и мудрым — он научит тебя терпеливо и гордо преодолевать невзгоды.

А мне не повезло. И моя жизнь сложилась по-другому. Родился я в городе Балаково, как написано в паспорте, а там кто его знает, и был сдан в детдом г. Вольска. Оттуда был направлен во вспомогательную школу-интернат Саратовской обл., село Салтыковка. Родителей я не видел ни разу и не знаю, кто они. В детстве я очень много получал по голове, а наказывали — ставили голыми коленками на соль в угол, бывало, и обеда лишали частенько.

А воровать меня научили со второго класса... Однажды подошел товарищ старше меня и сказал, что надо расплачиваться за сладкое, что мне дали, и велел идти в учительскую, где учителя оставляли свои сумки... Но однажды учителя меня застукали и били...

Я не пожаловался и не указал того, кто меня заставил воровать. Таких называли стукачом, и старшеклассники били скрученным мокрым полотенцем, вложив туда железную трубку от кровати, били по телу, кроме лица. Или сажали в тумбочку и скидывали по лестничным ступеням. А еще нас стравливали за пачку сигарет старшие: если не изобьешь кого-то, так тебя изобьют...

В детстве я часто мочился в постель. Воспитатели тыкали лицом в мокрую постель, а потом мокрой простыней били по лицу, даже завязывали на голове эту простыню, чтобы я дышал своей мочой.

Был у нас изолятор, туда нас сажали на сутки, на двое голодными. Но летом в огород можно залезть, а поймают... Уши неделями не заживают и спина болит. А потом хозяин вел в детдом и передавал в руки воспитателя, а тот уже бил указкой или ремнем по рукам, и руки вспухали.

А врач, если пожалуешься, говорит, что я бы тебя застала на своем огороде, так совсем бы убила, за вас, дебильных, ничего не будет... Вот потому и матери вас бросают, что дураки никому не нужны.

И местные часто над нами издевались, делали засаду с кольями и кирпичами. Встречали нас возле бани, кому го-

лову поразбивают, кому что, а девочку однажды убили колом по голове. Мне самому сломали два ребра и ногу левую, и я лежал в больнице.

Частенько я уходил из детдома, чтобы вообще никого не видеть, одному мне лучше было: никто не бил, никто не заставлял воровать. И так пока не поймают.

Особенным для меня был праздник Пасхи, да не только для меня, а для всех детдомовцев: я на кладбище запасался едой и уходил надолго. Катался на товарных поездах, спал на чердаках, в соломе или в пустых колодцах. Но когда попадался в милицию, а они сдавали обратно в детдом, начиналась расправа... били ремнем, пряжкой, подымали за уши... Я залезал от них под шифоньер, а они доставали шваброй.

В тот день я укусил одного из воспитателей за ногу, и он мне одним ударом два зуба сломал... А потом бил скрученным полотенцем с металлической трубой...

В день рождения полагалось столько ударов, сколько тебе исполнилось лет! Так нас поздравляли. И я решил поджечь учительскую комнату, чтобы больше в ней никого не били, а за это меня неделю били и отправили в психбольницу в Саратовской области на станции Грим.

А на суде прокурор прямо заявил, что детство мое не надо учитывать, это не имеет никакого значения, и из детдома, мол, выходят и хорошие люди. Но что творилось там — наверное, в концлагерях лучше жилось. Этот барак, где содержали детей, вообще не отапливался. Крыша текла, а стены были в дырах, и в окнах вместо стекол доски. Бани не было. Просто внутри барака стоял котел, вместо воды туда насыпали снег и растапливали дровами. Туда сажали неходячих больных и терли тряпками. После больных купались и мы в этой воде. Спали по шесть человек на койке, да какой это сон: у одного припадки начались, а другой ходит в постель прямо побольшому. Нами руководили санитары, молодые мужчины, они и уколы делали и таблетки раздавали. Они поили меня таблетками или делали укол аминазин или галопиридол и сера, от них начинались галлюцинации, мерещилась всякая ерунда, а санитары в это время смеялись надо мной. Некоторые вещи нельзя описывать, вы все равно не поверите или сочтете за дурака, как они заставляли издеваться над больными, женщинами и инвалидами. Санитары подвешивали

вали их за ноги вниз головой... Девушек молодых... Кормили ужасно, давали какую-то синюю с черным кашу, от которой пахло резиной. У меня от нее отравления были. Умирили там часто, и кто не ел сам, санитар вставлял больному ложку в рот и всю миску с горячей бурдой вываливал ему на лицо. И нас заставляли это делать. А за каждого больного, который не ест, мне делали большие уколы. На мне даже эксперименты делали, сколько я выдержу кубов укола или горстей таблеток. Это состояние невозможно описать, да и многое не помню, потому что память куда-то пропадает от этих уколов и таблеток. Там за нас, по-моему, никто и не отвечал, потому что умирал больной, они облегченно вздыхали и говорили, что скорей бы все подошло, зачем мучиться, легче нас всех умертвить, так санитары говорили.

Потом я бежал, меня поймали, и я чудом остался жив, что со мной ни творили. Помню урывками, что меня привязали головой к сетке кровати, избили и вкололи серу, а от нее ноги отнимаются. И так два раза в день. Потом санитары заставляли больных мазать мне лицо человеческим калом и лили на меня воду... Когда я не ел, били по лбу ложкой и кашу на лицо выливали... Потом я увидел, что санитары и себя колют, а они были наркоманы...»

Далее описывается училище № 28 в г. Ртищеве, пьянки в общежитии, где накладывали на подростков дань со стипендии, и армия с ее дедовщиной...

«В армии, — пишет он, — мне много перепало за то, что я не чистил сапоги «деду» и не стирал им «хэбэ»... Это больно было, когда одного бьют впятером. Я надеялся на армию, думал, хоть здесь хорошему научат. Научился только кирпичную кладку класть да за себя постоять до конца, пока не убьют... Вот так я прожил свою маленькую жизнь...»

После армии была у него работа в г. Аткарске обвальщиком на мясокомбинате, пьянки в общежитии, попытка найти себе подругу, неудачная, попытка отравиться, тоже неудачная, психушка, снова пьянки и — преступление...

Из уголовного дела: «Яблоков вину в содеянном признал. Он показал, что в марте 1990 года он решил совершить нападение на Макаренко, с которым был знаком по совместной

работе. Они с Копенкиным и еще одной соучастницей проникли в дом Макаренко. Он потребовал деньги, его жена принесла кошелек с деньгами. Он потребовал еще денег, потом они с Копенкиным повалили Макаренко на пол, и он, Яблоков, стал наносить потерпевшему удары ножом в различные части тела. Затем несколько раз ударил ножом его жену, поджег бумагу и положил ее под диван, чтобы пожар скрыл следы преступления...»

А вот как заканчивается его исповедь: «...Если честно сказать, то меня осудили наоборот. Что было правдой, то отшили, а что неправдой... И еще хочу сказать, что кроме первого удара остальные удары ножом я наносил в тяжелом мне состоянии. Я их абсолютно не помню, а когда мне попала кровь на лицо, мне стало дурно.

Сами поймите, ведь если надо убить человека, то одного удара хватит, и вообще у меня было безвыходное положение... Если бы можно было убежать, я бы убежал, но это все так быстро произошло. Поверьте, я не шел убивать, я не хотел этого делать. Не убивайте меня, да я раскаиваюсь уже давно. Мне это преступление уж который раз в кошмарном виде снится.

Ради Бога, не убивайте меня. Я все давно осознал, что на мне пятно, человеческая жертва. Я не хотел убивать, клянусь вам детдомом.

Мне на суде сказал судья, что моя мать живая, которую я считал, что она умершая. И на суде я думал лишь о матери, которую я искал всю жизнь, вот только о ней я и думал. Не знал столько лет о ней, а тут вдруг судья по каким-то документам мне зачитывает, что моя мать жива.

А сейчас в смертной камере я только о ней думаю, что неужели она живая, да я согласен на все трудности, на любую работу и на любой срок, хотя и пожизненно, но я маму хочу увидеть, посмотреть ей в глаза, спросить у нее, за что меня бросила.

Мой адвокат Семенов дал мне слово, что, если меня помилят, он найдет мою мать. Он адрес моей матери записал.

Не убивайте меня. Дайте мне хоть на мою мать посмотреть.

Если бы была вторая дверь в том доме (имеется в виду дом убитых им мужа и жены Макаренко. — А. П.), я бы убежал, но там некуда было бежать. Ради Бога, не расстреливайте меня.

Я согласен на любой труд с утра до ночи работать, хоть на рудники, я исправимый, клянусь детдомом! Я ведь так мало прожил и хочу увидеть живую маму свою...»

Вот в довольно сокращенном виде я привел исповедь убийцы. Я когда-то написал, что готов поделиться со своим любезным читателем теми чувствами, которые испытываешь, когда читаешь такие дела и такие исповеди.

У меня нет сомнения в жестокости совершенного преступления и в справедливом решении суда.

Но я, например, сильно сомневаюсь в словах, высказанных прокурором, что детство, особенно такое детство, не надо учитывать.

НЕ МОГУ БЫТЬ БОГОМ

Однажды я услышал, как кто-то из сочувствующих нам — что крайне редко — назвал нашу милосердную миссию «отдушиной для общества». В общем-то она и для нас отдушина при всей своей жестокой нагрузке на душу. И время от времени, размышляя о том, что же мы тут творим (почти по Окуджаве) и обсуждая вслух, когда все вместе собираемся для работы, и порознь, наедине с собой, если честно, не перестаю удивляться до сих пор, отчего мы не испугались, так отчаянно взявшись вершить судьбы людей.

Отец мой обычно говаривал: «Глаза боятся, а руки делают».

Мы же после касания этих страшных бумажек, как бы чисто ни были они отпечатаны, мы сами друг другу сознались, бежим скорее руки мыть... Такое чувство, будто на них налипла всякая грязь... Кровь...

Однажды у какой-то журналистки промелькнула фразочка, которая меня насторожила: «Милосердие по должности».

Подумалось, не без холодка внутри, а вдруг и правда можно так привыкнуть, и так читать дела, и так их решать, что станет это уже делом службы, наподобие, скажем, рецензирования случайных рукописей, самотека, в каком-нибудь литературном журнале?

И никакого тебе «трепыхания сердца», как называли в старину знахари сердцебиение.

Может, и эта моя книга возникла из странного ноющего чувства, которое не имело до поры выхода в виде слов, но изматывало и скреблось изнутри, как предвестие неминуемой беды, которую невозможно предотвратить. Его же наши классики именовали «зубной болью в сердце», от которой, по их образному выражению, помогает лишь зубной порошок, изобретенный монахом Бертольдом... То бишь порох!

Не оттого ли шли люди в нашу Комиссию почти как на эшафот, как на костер...

С опасностью для себя сгореть.

Помню, помню, какие слова и доводы приходилось приводить, когда заходил как бы случайный, но вовсе не случайный с кем-нибудь разговор о том, чтобы прийти к нам и поработать....

— Что делать? Да ничего особенного, вот принесут дела. А там всякие... Ну и надо их, значит, чуток пожалеть...

— Кого? — спросят. — Насильников? Маньяков?.. Жалеть?! Да их всех казнить надо!

Или более осторожно:

— Это, конечно, благородно... Вы такие молодцы, что возитесь с этими отбросами... Но ей-ей, я не умею так... Преклоняюсь, но, знаете ли, такое не для меня...

Или еще проще:

— Спасибо, но занят...

...В театре... В кино... В издательстве... В загранпоездах... В семье... На даче...

Где-нибудь еще.

Помню, как покойный Зиновий Гердт грустно соглашался поработать, а глаза его прекрасные, с трагическим глубоким отсветом смотрели на меня почти что умоляюще. А потом он позвонил, тысячу раз извинился за то, что меня обманул, но вот, по здоровью...

Я привык к подобным отказам и не придавал тогда значения словам о здоровье. И лишь после его смерти понял: он-то говорил правду... И в этом случае он хотел быть с нами и страдал от собственного отказа.

Пришел к нам сразу и навсегда наш Старейшина, теперь я могу открыть его имя — Лев Разгон, — произнеся знаменательные слова: «Сил нет, но отказаться не могу».

Мариэтта же входила осторожно, как бы присматриваясь и привыкая, с оговорками, что нет, совсем нет времени... А потом, в мгновение, стала своей.

И Фазиль Искандер был с нами, но недолго. Но здесь еще добрая воля его жены Тони, которая просекла чисто по-женски, что в нашей непростой ситуации он нам нужен, Фазиль. Но сам он с трудом врубался в работу, мог не прочесть дел или вообще запамятовать и, пообещав с утрачка, к обеду уже не помнил, что мы его ждем. Он, конечно, другой, не похожий на нас человек. Мы это поняли. Отстали.

— Но не могу быть Богом! — воскликнул Алесь Адамович, посидев у нас на заседании пару часов. Его тогда привез Булат с целью как-то пристрастить к нашему делу. Это случилось за сутки до смерти Алеся.

Но мысль, выраженная им, о непосильной задаче для нормального человека решать вопросы жизни и смерти другого человека, в той или иной форме повторялась у тех, кто честно сомневался в своих возможностях. И таких было большинство.

Но кто бы из нас мог ощущать иначе?

Не все могут быть донорами и отдавать свою кровь другим.

Наш Психолог, тишайший человек, но энциклопедист и умница, однажды как бы походя определил наше появление — не как мутацию, случайность, ошибку или чудо, а как выплеск, как сознательную попытку общества помочь новой власти на новом ее этапе. Теперь, после смерти, и его имя можно назвать: Михаил Михайлович Коченов.

Ну, общества-то никакого, понятно, у нас не было и нет, но есть как бы пространство, для него отведенное, и, возможно, как в разреженном космосе из звездной пыли лепятся миры, так постепенно возникают и у нас группы, имитирующие общественное сознание, — по профессиям, по политическому темпераменту, гражданской позиции и так далее.

Мы тоже некий странный вариант такого объединения.

Странный потому, что все остальные группы — как призраки, их слушают, когда выгодно, и не слышат, если они в оппозиции, слабы, разрозненны и зачастую беспомощны.

А наша маленькая кучка опирается на реальные символы власти. Независимо от того, приятно это власти или нет. И тут уж нравственные потуги интеллигенции, все ее бесконечные поиски имеют шанс воплотиться и впрямь воплощаются в реальные дела.

Не о том ли мечтала интеллигенция во все времена?

Ну, вот и дерзайте. И не так, как у Чехова: вот, мол, выйдем на заре в поле и крестьянам одежду отдадим...

Но, произнеся это, я вовсе не думаю, что прав. Это лишь один из вариантов внутреннего монолога, которые частенько у меня на досуге возникают, особенно если хочу самооправдаться, когда ничего не пишу.

А что касается отношений с властью, о которой я только что говорил как о положительной реальности, на самом деле оно многогранней, чем видится издалека, и о любую из этих граней можно легко ушибиться. Даже расшибиться. Что порой и происходило. И до сих пор происходит, я говорю о 2002 году. Но об этом позже.

Но собираясь впервые, еще формально, мы, как ни примеривались, как ни старались, не могли предугадать, кто и как поведет себя в наших нестандартных условиях.

Призвали генерала, да еще с погонами МВД, правда, доктора юридических наук, профессора, известного законника, автора всяких основополагающих кодексов и так далее, и он оказался интеллигентным человеком, стихи любит почитать, об искусстве побеседовать.

А вот Детектив, который виделся мне на расстоянии человеком широким, даже щедрым, душой любой компании, вдруг повел себя как стопроцентный милиционер (по убеждению), да он и работал когда-то в милиции следователем. Пропали куда-то и широта, и щедрость, а вылезло наружу железное убеждение, что все, с кем мы имеем дело, достойны кары, а не милосердия. Хотя одну из своих книг он обозначил именно милосердием. Он потом был первый и, кажется, единственный, кто предал нас в самый критический момент, поддержал клевету в наш адрес... Но Бог ему судья.

А в общем, как заявлял не единожды, указывая на дела, Вергилий Петрович, хороших людей там (в лагерях!), к сожалению

нию, нет. Он-то как раз проявлял ко всем, кроме смертников, непривычную для чиновника жалостливость.

У Жени свой пунктик, не столь уж однозначный, она немилосердна к насильникам. Но к ним у нас и другие немилосердны.

Возник как-то громкий спор по поводу одной истории с женщиной, которая в ресторане познакомилась с мужчинами, они повели ее провожать и до того напровожались, что попала она к ним домой, где они ее и изнасиловали.

Мужчины получили срок и вызвали дружное сочувствие среди наших мужчин. Доводы были простые: она же не ребенок, знала, к кому среди ночи идет в гости и зачем ее приглашают.

Детектив возразил:

— Это что же, если я предложу кого-то из наших женщин проводить, мне уже и доверять нельзя? Ну, тогда я расскажу случай, когда жена легла к мужу в постель, а он ее изнасиловал!

— И это возможно, — согласилась Мариэтта. — Надо знать, с кем живешь.

— В постели?

— В постели тоже.

Кто-то вспомнил при этом недавнее дело, когда муж оскорбил жену за то, что она ему не налила рюмку, а в постели еще стал домогаться. Она достала молоток и нанесла ему пятьдесят ударов... И убила...

— Вот вам и ответ, — бросила в адрес Детектива Мариэтта.

— Может, вы и молоток под подушкой держите? — парировал тот.

Но это он коротко, а обычно, если возьмет слово, то, вбивая каждую фразу, как гвоздь, будет говорить долго, будто читать доклад. И тогда Булат, не перенося длинных слов, при всей своей сдержанности станет нервно ходить взад и вперед за нашими спинами по кабинету и лишь со временем подойдет и скажет на ухо:

— Но ты же Председатель... Веди, веди... Сколько можно воду лить...

Как будто не знает, что про нашего Детектива ходит байка: если спросишь его о дне рождения, он расскажет

всю свою биографию... И другое, столь же дружеское: любой чужой день рождения, произнося тосты, он обычно превращает в свой...

Заседания тоже.

И когда назначаем мы машину на конец заседания, водители, подсчитывая время, сразу интересуются, а будет ли сегодня Детектив... Если будет, то обсуждение затянется на час-полтора дольше.

Но переброска репликами, как и неминуемые споры, не всегда носит мирный характер, ибо собрались воедино люди зрелые, со своими жизненными принципами, которые могут и не совпадать, и иногда весьма сильно. Притирка и объединение столь разных (подчас известных и даже знаменитых людей) смогли состояться только при очень сильном желании со стороны всех делать общее для них милосердное дело.

И не только по отношению к нашим подопечным, то есть заключенным, но и друг к другу. Иначе и впрямь окажется, что это милосердие по должности.

И вот тут становится особенно очевидно, что мы, собранные по зернышку и как бы случайно, не такие уж дурно воспитанные люди, какими иногда сами себе кажемся.

И не выхолостились. И не погасли.

И не раз, не два будет раздаваться в моей квартире ночной звонок от кого-нибудь, чаще от Старосты или Психолога, предлагающих еще раз подумать над тем вот самым делом, где были мы чрезмерно, как однажды выразится Психолог, принципиальными и не нашли в себе даже крошечного сочувствия, чтобы облегчить участь человеку...

Я знаю, этот вопрос касается всех. Меня тоже. И если у нас вообще тяжело проходят дела, где насилие, где убийство матери или отца или жестокая дедовщина, то моя личная слабость — дети. Не могу я физически пережить, когда над детьми измываются... Не могу, потому что все это познал с детства на собственной шкуре.

Но эта тема — тема детей — больная и для нашего общества. Я к ней вернусь. Сейчас же разговор о ночном звонке Психолога. В котором прозвучит упрек в жестокости.

— Я вот почему-то переволновался, — скажет грустно в трубку, — и не могу уснуть... — Не о совести говорит, не

о нашем жестокосердечии или, не дай бог, равнодушии, а лишь о бессоннице. — Я все думал об этом человеке... А вам не кажется, дорогой Председатель, что мы могли бы еще подумать? И по-другому, лучше решить?

— Кажется, — говорю я. И напоминаю, что именно сегодня при обсуждении Вергилий Петрович, говоря о нашей непреклонности, воскликнул: «Явно взрывы на Солнце...»

— Может, и взрывы... Но мы-то уж точно не были на уровне... — говорит устало Психолог. — Поверьте мне, хотя со стороны себя не видим...

И он же потом на заседании скажет:

— А у меня, знаете ли, предложение... Не провести ли следующее заседание так вот... В беседах... Ну, и по рюмке... Для оттаиванья...

И правда. Посидим — и помогает.

НЕОБЪЯТНОЕ ЛОБНОЕ МЕСТО

«Мы, погибающие в эмиграции, в несказанной муке за Россию, превращенную в необъятное Лобное место...» — писал Иван Бунин, потрясенный бесконечными смертными казнями, учиненными большевиками.

Упомянутое Лобное место — кто бывал в Москве, тот знает — находится на Красной площади, где происходили в древности смертные казни. Но эта «несказанная мука за Россию», погрязшую в жестокости и крови, пережитая нашими духовными отцами, не миновала и нас, ибо не так уж много изменилось в России за это время. Во всяком случае, как мы верили всенародно, что надо побольше убивать преступников, так и продолжаем в это верить.

Вообще же смертная казнь в России имеет свою долгую и мучительную историю. В первом письменном источнике права, «Русская правда», о смертной казни вообще не говорится. А в «Поучении Владимира Мономаха», написанном вскоре после принятия Россией христианства (X век), проповедовалось, что ни правого, ни виноватого убивать нельзя, «...если и будет повинен в смерти, то не губите никакой христианской души...»

Впервые законодательно смертная казнь была закреплена лишь в Двинской уставной грамоте 1398 года. Судебник

1497 года устанавливал наказания: смертную казнь, торговую казнь (наказание на торговой площади при народе), битье кнутом, выдачу потерпевшему для отработки ущерба. «А доведут на кого татьбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой лихой, и боярину этого велити казнити смертной казнью...» (ст. 8). Самый расцвет ее пришелся на правление царя Ивана Грозного, когда было казнено около 4 тысяч человек.

Сейчас, если сравнить наши «смутные» времена с минувшими, эта цифра уже не впечатляет. Но современники, в основном монахи, которые оставили нам письменные свидетельства массовых убийств (как это было в Новгороде), воспринимали жесточайшую опричнину не менее трагично, чем мы бериевщину. Да и методы, и принципы, и даже обвинения в измене и тайных помыслах против власти были те же самые.

Судебник 1550 года еще более расширил виды наказания, теперь торговая казнь предусматривалась в шестнадцати статьях из ста. Еще более жестким и репрессивным оказалось Соборное уложение 1649 года. Особенно страшные кары грозили противникам Церкви и государя. А ведь это было время тишайшего, как нарекла его история, царя Алексея Михайловича.

«Буде кто таким умышлением учнет мыслить на государственное здоровье злое дело (вспомните дело «врачей-отравителей», лечивших Сталина!), и про то его злое умышление кто известит (в данном случае небезызвестная Лидия Тимашук, получившая за донос орден Ленина), то по тому извету про то его злое измышление сыщется допряма, что он на царское величество злое дело мыслил и делать хотел и такова по сыску казнити смертью...»

Врачи, как известно, сознались, что «делать хотели», и готовили им виселицы на самой Красной площади. Да и в Соборном уложении предусматривалось многообразие казней: и просто казнити, и «казнити и сжечь», и «казнити смертью и залита горло» (по-видимому, раскаленным металлом), и «казнити смертью, повесить против неприятельских полков» (видимо, за измену), и «казнити, живу окопати в землю» (за бытовые убийства), и просто «казнити смертью безо всякие пощады»...

Современник царя Алексея Михайловича, подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин, бежавший от пре-

следований в Швецию, писал так: «...который бы человек, кроме вахты, на Москве и в селах, пошел через царский двор с ружьем, с саблей или с пистолями, тайным обычаем, с простоты, а не умыслом злым, и такова б человека увидев, или б кто на него указал, поймав, пытали б, для чего он через царский двор шел с ружьем, не на царя ль, или на его дом, или на бояр на думных и на ближних людей, и не по научению ль чьему от кого... и буде тот человек с пытки на кого скажет, тех людей всех велят похватати и пытати... Не по научению ль которого оного... Того, кто на них сказывал, учнут пытать в другоряд, и тех всех учнут пытать трижды... И их потом уж казнят всех без милосердия...»

Кстати, в Соборном уложении смертная казнь предусматривалась за «приход к царю скопом» (нынешние демонстрации протеста), обнажение в его присутствии оружия (по всей вероятности, это не касалось застолий и охоты), даже за драку в церкви...

Измена и тогда на Руси виделась во всем и везде, и князь Курбский тоже из недоступной для опричнины дали не случайно упрекает Грозного в том, что он казнит невинных подданных.

Сошлюсь еще на одно свидетельство Григория Котошихина, который, возможно, первым из русских служивых, и довольно достоверно, воспроизвел нам обычаи и жестокие нравы того времени:

«...Благоразумный читателю! Чтучи сего писания, не удивляйся. Правда есть тому всему; понеже для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали б свою веру отменять, а приставать к иным, и о возвращении к домом своим и к сродичам никакого бы попечения не имел и не мыслил. И по поезде Московских людей, кроме тех, которые посылаются по указу царскому и для торговли с приезжими, ни для каких дел ехати никому не позволено...»

Не правда ли, тоже напоминает нам родные недавние времена. Вот и о себе могу сказать, что до 57 лет не мог я выехать в капстраны, ибо ехать было, как говорит Котошихин, «не позволено»...

А уж из-за тех, кто остался там, начиналась такая буча во всех средствах массовой информации, что страшно дела-

лось: а ну как достанут... И доставали... Одного отравленным зонтиком укололи, другой якобы в автокатастрофе погиб... Да и семьи и дети в качестве заложников оставались тут, в России. Вспомните Корчного...

«...А хотя торговые люди ездят для торговли в иные государства, и по ним, по знатных нарочитых людех собирают поручные записи, за крепкими поруками, что им с товаром своим и с животами в иных государствах не остаться, а возвращаться назад совсем. А который бы человек князь или боярин, или кто-нибудь, сам, или сына, или брата своего, послав для какого-нибудь дела в иные государства без ведомости, не бив челом Государю (то есть практически бежав?! — А. П.), и такому бы человеку за такое дело поставлено было в измену... А сам поехал, а после остались сродственники, и их бы пытали, не ведали ль они мысли сродственника своего, для чего он послал в иное государство...»

Итог в этом случае нетрудно предсказать. Могли, как пишет Котошихин, сослать в ссылку в дальние города, в Сибирь или на Терек «в вечное жилье». А в худшем случае — казнят.

После побега писателя Анатолия Кузнецова меня долго пытали, в смысле выпытывали, и в Союзе писателей и в КГБ, что я знал о его мыслях в смысле побега, а потом отлучили от литературы. Это ли для писателя не казнь, пусть духовная?

Но тут и от милости государевой кое-что есть: «...И о тех людях жены их, и дети, и сродичи бьют челом царице, или царевичам, или царевнам — и они по их челобитью о прощении упрашивают царя, и царь, по их прошению, тех людей в винах их прощает и наказания им не бывает, также из тюрем и ссылок освобождают, и поместья их и вотчины отдаются назад, а чести дослуживаются вновь...»

Вот и нынче придворные Бориса Николаевича, его близкие родственники получают такие же письма и способны повлиять на судьбу несчастного. Был случай, когда помиловали и выпустили из-под стражи жулика-миллионера (Ельцин ездил по Ярославщине и получил прошение от важных лиц), который еще и осужден-то не был.

Но на то и воля государя. А мы лишь руками развели. Впрочем, кто хоть немного знает историю, уже ничему не удивляется. Ведь и в Соборном уложении был такой пункт — «что

государь укажет». Вот и указал. Кстати, там же впервые упоминается такой вид наказания, как ссылка в Сибирь на житие на Лену. Сибирь с тех пор весьма активно прибавлялась разным бойким народцем из государственных преступников.

При сыне Алексея Михайловича, повторяюсь, почитавшегося при всем при том государем «тишайшим» (всегда есть времена, которые казались лучше, чем последующие за ними), то бишь Петре I, которого так возлюбила Европа (все-таки прорубал к ним окно и варварскими методами вводил цивилизацию), смертная казнь уже назначалась за 123 вида преступлений. Бессмысленно перечислять, за что... А лучше вспомнить — это и по картинам и по книгам знакомо, — как свирепо, безжалостно самолично рубил он стрельцам головы на Красной площади... На том самом Лобном месте... Эти описания даже в сухом перечислении леденят кровь и заставляют по-иному взглянуть на деяния нашего первопроходца. Смертная казнь при нем осуществлялась путем сожжения, колесования, отсечения головы, артибузирования (расстрела).

Он же первым ввел арестантские роты, как объясняют в книжках: использование труда заключенных для осуществления планов преобразования России. Вот они откуда к нам явились, прототипы ГУЛАГа-то! Наши зэки очень даже поработали, чтобы тоже преобразовать Россию.

Окно в Европу, может быть, Петр и прорубил, положив около двух миллионов российских жизней, да ведь еще необходимо и дом для того окна, а он-то был сильно порушен.

Вот не менее выразительная картина казни женщины по его же велению, когда он заподозрил свою бывшую любовницу фрейлину Гамильтон в убийстве младенца и краже у императрицы драгоценностей. Царь сам допрашивал ее, казнь назначил на Троицкой площади. Гамильтон, ожидая помилования (ах, не было нашей Комиссии!), нарядилась в белое шелковое платье с черными лентами. Когда появился император, она бросилась умолять его о пощаде, но тот шепнул что-то палачу, отвернулся, и голова преступницы скатилась на землю. Петр поднял ее, поцеловал, перекрестился и уехал. А голова эта была положена в спирт и долго сохранялась в Академии наук.

Тираны были людьми сентиментальными.

И хоть в некоторых книгах утверждается, что первая попытка запрета казни была предпринята дочерью императора Петра Елизаветой, впервые в Европе, в начале XVIII века, но можно вспомнить, что царь Борис Годунов тоже был первым, кто установил мораторий на исполнение смертной казни, дав обещание при вступлении на трон пять лет не казнить.

Это отметил и Пушкин, у него в монологе Годунова, дающего советы своему вступающему на престол сыну, есть такие пророческие строки:

*Я нынче должен был восстановить опалы, казни,
Можешь их отменить. Тебя благословят.
Со временем и понемножку снова
Затягивай державные бразды...*

Примерно такой же раздвоенностью отличались и реформаторские действия императрицы Екатерины Второй — в девичестве принцессы Софьи-Августы-Фредерики Ангальт-Цербтской. Мне повезло увидеть развалины дворца в Германии, близ Магдебурга, где она провела свою юность, и даже побродить аллеями парка, который сохранил «архитектуру» трехсотлетней давности.

Известно, что царица много рассуждала о милосердии и даже написала «Наказы» будущему составу Думы. В то же время власть ее началась с убийства (мужа), которое наша история как бы и оправдывает, а закончилась жесточайшим подавлением пугачевщины и преследованием свободомыслия в России.

Несколько слов об организации комиссии, созданной императрицей в 1767 году. Вот что о ней сказал современник: «Я как предвидел, что из всего великого предприятия ничего не выйдет, что грому наделается много, людей оторвется от домов множество, денег на сооружение их истратится бездна, вранья, крика и вздора будет много, а дела из всего того не выйдет никакого и все кончится ничем» (А.Т. Болотов).

Читаю — будто о нашей Думе, где «вранья, крика и вздора» не меньше. Делегаты из глубинки России — косноязычные, нечесанные, немые, несли околесицу, которую, слава богу, в ту пору полной безгласности и отсутствия телевидения никто не слышал, кроме нашего потрясенного

свидетеля. Ну и конечно, подобно нынешним, хулили Европу и долдонили об особом пути России, которая не может существовать без смертных казней.

Вспоминаю недавние парламентские дебаты о смертной казни, где я лично присутствовал и где некий депутат Тихонов, размахивая палкой, кричал с места, что его область наводнена преступниками и всех их надо скорее сажать и казнить.

Вот и Болотов утверждает, что некоторые наказания ополчались против отмены пыток и смертной казни и требовали возврата к прежней практике. Алаторские, например, дворяне полагали, что увещание священника (этой мерой в 1763 году заменили пытку) может иметь эффект только у «просвещенного и политизированного народа, а наш простой российский народ... такое окаменелое сердце и дух сугубый имеет, что не только священнику, но и розыску, когда его пытаются, правды не скажет...»

И далее — вывод, что мы не чета Западу и для нас, непросвещенных, их законы не годятся, мы без пыток и смертной казни никак не проживем.

В русской истории было немало по этому поводу казусов. Так, однажды назначили торговую казнь даже бездыханному трупу... Некого Верецагина за перевод из иностранных газет прокламации Наполеона (вред грамоты!) объявили изменником, отдали на растерзание народу, а тело, после того как его протащила с диким ревом на лошади толпа (какая была радость!), вернули в Сенат, где трупу приеудили 25 ударов кнутом и вечную каторгу.

Но при этом как бы считалось, что смертной казни в России не существует, и Николай I в 1827 году отказался подписать смертный приговор двум евреям, тайно перешедшим через Прут. Он постановил: «Винных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне вводить ее».

Понятно, что вместо моментальной смерти их обрекали на адские муки и долгую мучительную смерть. Почти как наших «пожизненников».

И все-таки в позапрошлом, XIX, веке обозначенном как жестокий, в течение ста лет было казнено что-то около трехсот человек.

Свод законов, принятый в 1835 году, определял смертную казнь в трех случаях: преступлениях государственных, военных и карантинных (во время всяких эпидемий). Ни за убийства, ни за разбой наши предки не казнили.

Для сравнения скажем, что наш Уголовный кодекс, отмененный недавно, включал двадцать девять составов преступлений, по которым осуждали на смертную казнь. А не в такие уж отдаленные времена у нас казнили женщин и детей, последних с 12-летнего возраста (Указ от 1935 года).

С 1891 года смертные приговоры гражданским судом вообще не выносились, и лишь бурные события 1906 года привели к массовым казням по приговорам военно-полевых судов: за шесть лет было казнено около четырех тысяч человек.

Просвещенные люди России, в отличие от нынешних, бурно протестовали и добились своего: Первая Государственная дума, а в ней, как известно, представительствовавал и дед Андрея Дмитриевича Сахарова (и даже книгу написал против смертной казни), одобрила законопроект об отмене смертной казни. Но революция вернула ее.

БЕЗУМНЕЙШИЙ И ХРАБРЕЙШИЙ

Революция семнадцатого года, та, которую у нас именовали Октябрьской, внесла свои жестокие коррективы и в законы, и в настроения масс, и в их умы, привнеся новый правопорядок, отрывку которого мы и расхлебываем до сих пор. Да и будем еще, судя по всему, неизвестно сколько времени расхлебывать далее.

Начиналось-то вроде бы и неплохо: 12 марта 1917 года Временное правительство отменило казнь, хотя на фронте казни продолжались. А 28 октября 1917 года уже большевики отменяют казни, но лишь на словах.

Вот что пишет об этом Бунин:

«Несколько месяцев тому назад была проделана паскуднейшая комедия отмены смертной казни в тылу, и «Всероссийская» Чрезвычайка опубликовала сводку своей деятельности за два года (1918–1919), расстреляно 9641 человек... Эти 9641 подсчитаны под руководством Дзержинского... Но опубликовал цифры убитых (по 20 губерниям Центральной России) и знаменитый Лацис: за полтора года — 8389 чело-

век да убитых в «восстаниях» 4207. А сама отмена смертной казни была «кошмарна по своей подлости», заявили узники Бутырской тюрьмы, — «ночь отмены стала ночью крови» и в Москве, и в Петрограде: всю ночь вели на казнь, всю ночь стоял вопль и плачь женщин, коих волокли на убой... Но мало того, сохранив казнь лишь для фронта, смертников стали отправлять в фронтовые полосы и убивать там, а потом поступили еще проще: объявили фронтом почти всю страну. Но этим не удовольствовались: восстановили казнь и в тылу через 3 месяца после фиктивной отмены ее... Советская статистика: с 22 мая по 22 июня казнено 600 человек («Правда»), с 23 июня по 22 июля — 898, с 23 июля по 31 августа — 1183, за сентябрь — 1200 («Известия»).

Но это, по словам Бунина, «советские цифры». На самом деле «...гибнут по России от одних только расстрелов сотни тысяч. Об этом писали тоже тысячи раз, и разум человеческий просто тупеет от этих цифр. Но все равно, все равно — об этом надо писать без конца, без конца!»

«Красная газета» пишет, — цитирует он: — «В прошлую ночь мы убили за Урицкого ровно тысячу душ!» — и Горький выступает на торжественном заседании петербургского «Цика» с «пламенной речью» в честь «рабоче-крестьянской власти...» И далее слова Горького: «Я опять, опять пою славу безумству храбрых, из коих безумнейший и храбрейший — Владимир Ильич Ленин!»

«Безумнейший» — это уж точно.

Кто успел посмотреть талантливый фильм Сокурова «Телец», не смог не заметить, что выбор актера и его игра очевидно выражает в поведении вождя, особенно в его глазах, странно блуждающих глазах в общем-то идиота, как раз эту угаданную Буниным черту.

Отменяли расстрелы и при Сталине: 26 мая 1947 года. Страна была полита и пропитана кровью на метр в глубину: тайные захоронения расстрелянных в застенках НКВД находят до сих пор; да и, понятно, будут находить впредь. Война истребила самых активных и молодых из тех, кто не был арестован и не находился в ГУЛАГе.

Но вряд ли все эти доводы могли остановить стареющего тирана. По-видимому, это были лишь политические игры с

бывшими союзниками в обмен на какую-то предполагаемую материальную или политическую поддержку с их стороны.

Но и здесь, надо полагать, казни были. Ибо были ГУЛАГ, застенки, все то же всемогущее НКВД и кровавое ведомство Берии, которого уж никак не заподозришь в милосердии. Не было лишь писателя-пророка с голосом и совестью Бунина, который бы мог о них рассказать.

Солженицын пришел позднее.

В 1950 году смертные казни официально возобновились. Но и по смерти Сталина они продолжались. Вряд ли существует реальная статистика тех казней, но где-то я вычитал, что с 1921 по 1954 год было казнено в России около 643 тысяч человек. (Понятно, в эту цифру не входят жертвы ГУЛАГа, кои, по Солженицыну, уничтожались миллионами.)

ДИКОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ДИКОСТЬ

В одном лишь 1962 году, с введением карательных законов против экономических преступлений (известно, что это были робкие попытки отдельных предпринимателей как-то изменить структуру экономики), было расстреляно около трех тысяч человек. Восемь убийств в день! И это происходило в те самые хрущевские времена, которые почитаются у нас как «оттепель», наступившая после жестокой сталинской зимы.

Надо упомянуть, наверное, еще одного «героя» «оттепели» — генпрокурора Руденко. Генпрокуроры тоже в какой-то мере были лицом криминальной России. Точней же, криминальным ее лицом — вспомните нынешних.

А вот как описан Руденко в книге воспоминаний Леонида Зорина: «...Рыхлый дебелый мужичишка, на круглом мучнистом лице поблескивали слюдяные глазки. В своей юридической среде он был когда-то популярен — герой Нюрнбергского процесса, потребовавший казни для Геринга, Риббентропа и Розенберга, для всей уголовной нацистской клики. Но слава эта сильно поблекла, когда, покорившись воле Хрущева, он заставил пересмотреть приговор, вынесенный несчастным валютчикам, и заменить — вопреки закону — срок в лагере на высшую меру...»

Вот тебе и знаменитая формула: закон обратной силы не имеет.

У нас — имеет. Судя по всему, именно по его инициативе (а за его спиной стоял Хрущев) статьи, по которым осуждали на казнь, были многожды расширены: расстреливали за «валютные операции», «хищения в особо крупном размере», «угон воздушного судна» и так далее... Четырнадцать новых расстрельных статей.

Всего же с 1962 по 1990 годы в нашей стране были казнены 24 тысячи человек. Можно допустить, что и эта цифра преуменьшена: статистика смертных казней во все времена была у нас засекречена.

КРАСНОКОЖАЯ ПАСПОРТИНА

Тут впору сделать вставку о том самом паспорте, который поэт достает из широких штанин... Эти стихи мы, конечно, знали наизусть, и особенно торжественно для слуха звучали слова: «Читайте, завидуйте — я гражданин Советского Союза!» Поэтический узаконенный образ паспорта между тем был для любого гражданина СССР не столько предметом гордости, сколько жесткого и многостороннего государственного контроля. Заглянувшему для любопытства в ваш паспорт обычному участковому не может не открыться вся ваша жизнь, до донышка, и не только место и год рождения, и национальность, и все адреса проживания, и состав семьи: жена и дети, и даже отношение к воинской службе. Кроме фото есть образец подписи. Тут же отмечены почему-то номер сберегательной книжки и все данные о заграничном паспорте.

По сути, это досье, которое дает возможность полностью контролировать вашу личную жизнь, а при случае вмешиваться в нее. Тем более, специалисты утверждают, что по серии паспорта можно определить человека, который прежде был осужден.

Вся история паспортизации в нашей стране связана с попыткой держать под жестким контролем жизнь человека от рождения до смерти.

Свободолюбивый господин Ленин в борьбе с царизмом еще в 1903 г. (сто лет назад!) требовал уничтожить паспорта, ибо в других странах Европы уже тогда их отменили, а в Америке их никогда и не было. «Разве это не крепостная зависимость, — писал он, — разве это не издевательство над

народом?» Но с приходом к власти большевиков как раз и начинается тотальная паспортизация России: сперва трудовые книжки (по сути, те же паспорта), и далее, в 1932 году за подписью Калинина, Молотова и Енукидзе вводится по всей стране единая паспортная система с непременной пропиской по месту жительства.

В строго секретном протоколе № 4 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) по этому поводу есть такие слова: «В видах разгрузки Москвы и Ленинграда и других городских центров... от скрывающихся в городах кулацких, уголовных и других антиобщественных элементов...» Понятно уже, кто «скрывался в городах», — это приехавшие на работу из разоренных и голодающих деревень крестьяне после организации в них колхозов.

Так, моему дяде Викентию, видимо, тогда повезло, он бежал из деревни в Смоленск, будучи раскулаченным за принадлежащую ему лошадь, и устроился чистильщиком паровозных котлов, проработав 40 лет, и до самых брежневских времен он тщательно скрывал свое прошлое, как тот самый антиобщественный элемент.

А вот уже в 1935 году по записке Ягоды и Вышинского «в целях быстрейшей очистки городов от уголовных и деклассированных элементов» назначаются «тройки», а уж как они очищали, можно себе представить.

В 1940 году по распоряжению Берии вводятся 1-я и 2-я категории режима проживания: это Москва, Ленинград, Киев, Баку и множество других городов, где вводится категорический запрет на проживание лицам, судившимся за контрреволюционную деятельность, лицам, приехавшим на работу, и так далее.

Но главная задача паспортизации, конечно, это закрепить крестьянина в колхозах, ибо сельские жители паспортов не получали. Уехавшие из колхоза без паспорта могли быть осуждены на срок до двух лет. И лишь армия, как мы помним, позволяла молодежи избежать возвращения в деревню, что они и делали. Но молодежи в деревнях в послевоенное время, кто помнит, уже не оставалось.

Еще в 1973 году, кажется совсем недавно, 128 городов были закрыты для проживания осужденных, а 62 миллиона сельских граждан не имели паспортов. Только к 1981 году окончательно тоталитарная система уравнила жителей

страны, а социалистическое рабство было закреплено в ужесточении прописки в режимных городах, и даже при Горбачеве еще вводились запреты на пребывание бывших зэков в Москве и еще в 70 городах.

Мой друг-поэт в ироничных стихах, посвященных как бы собаке приятеля, написал: «Твоей родословной страницы печатями закреплены, и ты проживаешь в столице на зависть собакам страны...»

И хоть ныне, через сто лет, дело с пропиской мы, кажется, решили, приблизившись не только к Европе, но и к проклятому царскому времени, но полицейский надзор никак не ликвидирован, ибо существуют паспорта. И даже скоро выдадут новые. И, захватывая паспорт по пути на работу, да просто выходя на улицу, так, на всякий случай — без него ни письма, ни денег на почте не получить, — мы не очень-то задумываемся, что он вносит в нашу и так еще не защищенную жизнь еще большую опасность, предоставляя любому представителю власти, да что власти, участковому милиционеру, узнавать о нас то, что должно, по сути, являться нашим личным делом.

Но вернемся к смертной казни.

В одной из популярных у нас телепередач, посвященных проблеме смертной казни, большой аудитории молодежи показали документальные кадры применения казни в Америке, после чего провели голосование, и выяснилось, что за казнь — большинство. Тогда вопрос поставили иначе: а кто бы захотел лично привести приговор в исполнение — и снова лес рук (более 80%). Вскоре эти руки будут стрелять в чеченских женщин и детей. Ну, а чем все закончилось, мы сегодня уже знаем: цинковыми гробами, в которых эти мальчики вернулись домой, да трагедией, невосполнимой для их матерей.

Но и родная мне Чечня (там прошло, повторю, мое детство) в своем ожесточении до сих пор не может остановиться. Демонстрация публичной смертной казни, добросовестно показанная по всем каналам телевидения, способна вызвать не только отвращение, как это было у некоторых, но и болезненный интерес и приступ ответной жестокости, особенно, как мы видим, в среде подрастающего поколения.

И вот уже некий читатель требует через газету расправы над экономическими преступниками (кто это, мы уже знаем) так, как это делают в Чечне: «Я предлагаю вывести их на Красную площадь, — пишет он, — и народ их камнями забьет. Ведь на них даже пули жалко, так как пули делают тоже на наши, народные, деньги...»

С призывами стрелять преступников без суда и следствия выступают, к сожалению, не только рядовые граждане, но и видные и очень популярные в стране деятели, в том числе люди искусства. Недавно один из писателей сообщил в своей статье, что «...американцы плакали от радости и танцевали, когда одному террористу вынесли смертный приговор...», и оценил он это как «здоровую реакцию здоровых людей...»

К сожалению, ссылки на авторитет Америки, на ее законы, тюрьмы и казни во многом усиливают доводы сторонников смертной казни.

Этот же упомянутый выше писатель — как видно, далеко не Иван Алексеевич Бунин, да и вряд ли его кто читал — одобрил случаи самосуда, то есть расправы толпы над преступником, которому суд в России не вынес смертного приговора, называя это «необходимой обороной, когда бессильно правосудие». Такие призывы к «самообороне», а практически к беззаконию, то и дело раздаются в печати, из уст очень авторитетных лиц. Но и это было. И тот же Бунин ярко расписал картины такой «обороны» — только вчитайтесь.

«В городах, в деревнях, — пишет он, — сразу все спятили с ума: все поголовно орали друг на друга: «Я тебя арестую, сукин сын!» — потом стали убивать кого попало, жечь на кострах, зарывать живьем в землю за украденную курицу... Самосудов, самых кровавых и бессмысленных, было зарегистрировано (только зарегистрировано!) к августу 1917 года более десяти тысяч...»

Однажды Иван Алексеевич воскликнул: «Ах, русская интеллигенция, русская интеллигенция! Уж сколько «интересного» приходится нам видеть, что следовало бы в три ручья плакать, а мы только по-дурачки восхищаемся: «Очень интересно!»

Что же говорить о простом народе, который заваливает письмами протеста нашу Комиссию по помилованию, узнав,

что мы смягчили участь очередному смертнику. Один такой энтузиаст пишет: «Обращаюсь к вам с просьбой. Находясь в здравом уме и ясной памяти, предлагаю себя в качестве исполнителя смертной казни. Поверьте, я не маньяк и очень люблю детей, у меня самого их пятеро. И ради них я готов исполнить эту необходимую работу».

На последнем кинофестивале «Сталкер» в Доме кино пришлось нам увидеть игровой фильм «Змей», он даже получил одну из премий, там показана жизнь палача, обыкновенного человечка, который ходит на работу, казнит, то есть стреляет преступников, а получив премию, покупает лекарства, чтобы спасти от смерти больного ребенка.

ПАЛАЧ

Предыдущую главу я закончил письмом добровольца, пожелавшего стать палачом. Он даже оставил свой адрес для «компетентных органов» на случай, если его предложение будет принято.

А между тем даже палачи на Нюрнбергском процессе, который был справедливым по всем статьям, скрывали до поры свои имена и стыдились гласности. Кстати, на одной из папок, посвященных Нюрнбергскому процессу и хранящихся в Центральном госархиве Октябрьской революции (можно было и переименовать, но опять наша инерция мышления), красным карандашом начертано: НИКОМУ НИКОГДА НЕ ВЫДАВАТЬ. Там содержатся документы, а практически сценарий того, как должен происходить и происходил процесс умерщвления главных нацистских преступников.

Приведу некоторые подробности.

Для исполнения приговора в баскетбольном зале Нюрнберга были установлены три двухъярусные виселицы: две рабочие и одна резервная, задрапированные занавесками. Осужденных по ступенькам заводили на верхний ярус, ставили на крышку специального люка, набрасывали на голову мешок и петлю. Занавески запахивались, затем американский военный служащий по имени Боб, добровольно вызвавшийся на роль палача, спускался вниз, обходил виселицу сзади и дергал за особый рычаг, и крышка люка проваливалась. Через десять минут американские и советские врачи констатировали смерть казненного. Фотоснимок, со-

держащийся в папке, свидетельствует, что Кальтенбруннер, которому веревка сорвала кожный покров, был весь в крови... Трупы уложили в деревянные ящики, глубокой ночью погрузили в самолет и перевезли в Мюнхен — колыбель национал-социализма, где сожгли их в крематории, а пепел развеяли с самолета, который возвращался в Нюрнберг, чтобы могилы вождей нацизма не стали местом паломничества.

Ну, а так называемый Боб, как я сказал, много лет не раскрывал своего имени. А вот мы не стыдимся, не прячемся и даже декларируем, что все это делаем опять же ради детей и их счастливого будущего.

Но, простите, разве не такую же благородную цель еще недавно провозглашали наши деды-революционеры, расстреливая ни в чем не повинных людей? О том, насколько счастливы их внуки, можно сразу узнать, выглянув за окно. Кровавую похлебку, заваренную ими, нам придется расхлебывать очень долго — я уже говорил.

В галерее Уффици во Флоренции выставлены фигурки древних рабов в Афинах: скиф-точильщик, который оттачивает нож для снятия человеческой кожи, а рядом — скиф-палач. Судя по всему, свободные граждане Афин в те жестокие времена не унижались до уровня убийцы, а предпочитали использовать для этой грязной (кровавой) работы своих рабов.

Мне вспомнился прошедший у нас в давние годы испанский фильм, который так и назывался: «Палач». Сюжета в целом я не запомнил, хотя фильм произвел на меня и, насколько помню, вообще на зрителей сильнейшее впечатление.

В фильме рассказана история человека, которого жизнь заставила работать палачом. В принципе, он человек-то неплохой, но профессия, конечно, не могла не наложить своего отпечатка на его личную жизнь. Городок, где он живет, знает о его работе, и он сам и его семейство окружены особым вниманием: с ними стараются не общаться, а если вступают в контакт, то лишь по нужде, испытывая при этом трепетный ужас и отвращение. И так на протяжении многих лет. Маленький сын палача, испытывавший на себе последствия таких отношений, страдающий от необычной профессии отца даже более, чем тот, подрастает, и вдруг оказывается, что нет для

него другой дороги в жизни, кроме как заменить отца и стать палачом, хоть он и пытается противостоять судьбе.

Финал фильма: юноша, романтично настроенный, с душой нежной и ранимой, напяливает на себя все необходимые ритуальные одежды, принадлежавшие умершему отцу, и направляется на площадь, чтобы казнить человека... Он проходит через толпу, которая взирает на него со страхом.

Несмотря на добрые упоминания о первых князьях, и особенно Мономахе, который вроде бы и не казнил, российские нравы в целом, как мы видим, были жестоки, а законы носили характер репрессивный. И прежде других наказаний стояли кнут и батоги.

В Уложении 1649 года кнут назначался в 141 случае. По числу ударов различали простое битье, «с пощадой», «с легкостью» и «нешадное» с «жесточью», «без милосердия».

Понятно, что последнее граничило со смертной казнью. А вот что пишет Григорий Котошихин:

«...В середних и малых винах бывает наказание: бьют кнутом и батогами, смотря по вине, а потом освобождают. А бывает мужскому полу смертные всякие казни: головы отсекают топором, за убийства смертные и за иные злые дела...»

Бедный Григорий Карпович, он, когда писал эти слова, еще не догадывался, что вскоре сам за убийство (совершенное, скорее всего, по пьянке) хозяина-шведа, у которого он квартировал, пойдет на плаху и ему отсекут голову.

Но далее он перечисляет, что «живого четвертают за измену, и кто город сдаст неприятелю (и у нас расстреливали!), и с неприятелем держит дружбу листами...»

Как теперь выяснилось, и сам Котошихин, будучи служащим довольно высокого ранга в Посольском приказе, то есть как бы нынешнем Министерстве иностранных дел, где находились наиболее важные и, конечно, секретные документы по внешним отношениям, держал со шведами дружбу «листами»... А попросту говоря, шпионил, и, судя по всему, за деньги.

И далее: «Жгут живого за богохульство, за церковную татьбу, за содомское дело, за волховство, за чернокнижество, за книжное переложение, кто начнет вновь толковать воровски против Апостолов и Пророков и святых Отцов с похулением...»

Таким образом, к измене родине приравнивается не только колдовство, но и всяческие книжные дела, все как у недавних нынешних, жестоко каравших обличительную литературу, которой власти особенно боялись. Только звалась она в наши времена злопыхательской и клеветнической... При Сталине тоже казнили за царское бесчестие «...или иные какие поносные слова...»

Да что простые люди, которым защиты от произвола во все времена, и старые и новые, не было, но освободитель Москвы от поляков князь Пожарский только на памятнике красиво выставлен рядом с Козьмой Мининым, а в свои времена был за долги, а может, и за какие другие провинности, в чужом дворе привязан к саням.

Ну и далее — «руки и ноги (а кому пальцы) отсекали за конфедератство, или за смуту... За саблю и нож на царском дворе, за то, что замахнется на отца и мать (казнили!), а за погубление детей живьем закапывали в землю по титьки с руками вместе и отаптывали ногами.

А которые люди воруют с чужими женами и з девками, и как их изымают, и того же дни или иной день обеих, мужика и женку, кто б каков ни был, водя по торгам и по улицам вместе нагих, бьют кнутом...»

Тут речь идет о воровстве моральном, то есть об украденной чести, об измене, той самой, что так потрясла купца Калашникова — в лермонтовском изложении.

Есть у Котошихина и такие наказания, как потопление в реке, расстреливанье (!) — это уже солдатиков убивали за воровство из луков или пищалей на площади (любимое занятие наших комиссаров) — и уж совсем средневековое: за увечье — рука за руку, нога за ногу и глаз за глаз.

Вот оно: око за око!

Понятно, что все названные экзекуции кто-то предназначенный для этого совершал. И совершал публично. Более того, палач, при том что был на государевой должности, мог иметь еще приработок от денег, которые бросали из толпы благодарные или жалостливые зрители.

Можно полагать, что казни наравне с праздничными гулянками, каруселями и походами в церковь служили для наших предков развлечением, как для нас, скажем, крова-

вый детектив по телевидению. Разница лишь в том, что на площади происходило «кино» с реальными героями и реальными трагедиями — вроде той, что я описал: с Петром I и его любовницей-воровкой Гамильтон.

Некий боярин Шеин, сдавший врагу Смоленск по воле государя Алексея Михайловича, был приговорен к смертной казни, но боярину вовремя шепнули, что царь-де, в последнюю минуту публичную, при народе, казнь отменит и боярина простит, и тот, поверив, с легкой душой положил голову под топор. Царь же дал быстрый знак, и голова несчастного боярина полетела наземь.

В очерке Александра Мелихова «Казнь как прикладное искусство» говорится: «...А вот в старые добрые времена в смертной казни было столько демонстративного, зрелищного, в ней было столько условностей, аллегорий, символов, столько игры, цирка, спорта! И да — юмора, хотя и первобытного: запекать человека в полом медном быке, чтобы крики имитировали рев животного, поджаривать на вертеле, как зайца, жарить в муке, как карася (Иван Грозный). Он же перед казнью бросал клич: «Ну, кто разрежет этого гуся?» — а потом спрашивал у палача: «Ну что, хорош гусь?»

Что отвечал палач, мы не знаем. И далее в названном очерке рассказано о том, что были казнь-аллегория и казнь-нравоучение, в Римской империи поджигателя сжигали (подобное подобным), фальшивомонетчику на Руси заливали теми воровскими деньгами горло, а любовников заставляли на раскаленном ложе совокупляться с раскаленным же манекеном (в Индии).

В целях большей выразительности казнили человека вместе с животными, а тело Стеньки Разина было отдано псам на съедение. Были расправы и над умершими, так, останки Милославского по распоряжению царя Петра к месту казни его сообщников везут на свиньях и там обливают его труп их кровью.

В Риме, куда мы, несколько человек от Комиссии, приезжали на прием в Ватикан в поисках поддержки против смертной казни, изобретательные хозяева устроили нам прием в одном из старинных ресторанов города, окна которого выходили на площадь. За дружеской вечерней трапезой они как бы

невзначай упомянули, что площадь-то за окном (а мы сидели как раз у окна) та самая, где казнили Джордано Бруно.

Понятно, что мы тут же устали в окно. При некотором воображении именно тут, в Риме, где истертые камни мостовой хранят тепло костров инквизиции, а время давних и недавних событий сливается воедино, мы явственно представили, как оно все происходило. И небо, догорающее над красными крышами, и голуби, тоже римские, вечные, и случайные прохожие в прозрачных сумерках... Отражение пламени свечей в блестящих стеклах усиливало впечатление от увиденного.

КАК КАЗНЯТ СЕГОДНЯ

Этот вопрос задают мне ровно столько раз, сколько я встречаюсь с журналистами. Ну, и еще: насколько этот акт засекречен и почему, где хоронят казненных, выдают ли их тела родственникам и так далее.

Я отвечаю одинаково: не знаю.

Я и правда не знаю, как казнят, ибо эта область скрытая, засекреченная с давних — думаю, со сталинских, а то и ленинско-дзержинско-бериевских — времен, а если что-то доходит через прессу, то глухо и фрагментарно, без подробностей, тем более информация о палачах, наших современных палачах, которые, безусловно, существуют. Вот об Америке — пожалуйста.

Там все и обо всех известно — и о палачах и о жертвах.

Об одной знаменитой телепередаче «Геральдо», посвященной смертной казни, промелькнуло в печати, что это в некотором роде телешоу с названиями: «Богатые, убивающие своих родителей», «Убийство во имя Господа Бога», «24 часа до смерти» и т. д. Утверждают, что темная сторона нынешней Америки выглядит на экране довольно красиво, да и представлено все как еще одна «игра».

Ну что же, «игра» для них — это вопрос жизни для нас, хотя в засекреченных, потаенных глубинах ГУЛАГа такое действие, как смертная казнь, тоже выявляет что-то, что можно назвать темным нутром России!

Ведущий вышеназванной программы господин Риверо в серии интервью под общим названием «Жизнь за час до смерти» показывает смертников.

Более того, если где-то смертная казнь и приближена к традициям, восходящим к Средневековью, с его площадями и зрелищами (говорю не без осуждения), то как раз в Соединенных Штатах — только толпу на площади заменяет всевидящее телевиденье, которое позволяет желающим наблюдать за процессом умерщвления живого тела, сидя в домашней обстановке, скажем за чашкой кофе.

Ну, может, я утрирую и, по другим сведениям, к лицемерию казни допускаются лишь близкие люди, но в принципе гласность там доведена до предела, который тоже вряд ли допустим, и даже окрик полицейских, сопровождающих жертву к месту казни: «Труп идет!» — представляется мне невероятным цинизмом. Ведь человек-то еще жив, и он слышит этот глас, пока далеко не Божий.

Но те же американцы издали книгу «последних слов», тех самых, с которыми осужденный к казни обращается последний раз к миру. Это право зафиксировано в законе, и «последние слова» заносятся в дело. То есть остаются в памяти людей.

Какие же это слова?

В основном это слова раскаяния или обращения к Богу. Но есть в словах и отношение к закону, к государству, к палачу. Цитирую по репортажу из Нью-Йорка Дм. Радышевского:

«Только Бог успокоит мою душу. Ко всем моим друзьям-смертникам: несмотря на то, что сейчас случится со мной, не теряйте надежды». — Роберт Саддиван, казнен на электрическом стуле во Флориде в 1983 году за убийство официанта при ограблении ресторана.

«Прости им Отче, ибо не ведают, что творят. Ну, все, поехали...» — Почти по-гагарински. Энтони Аптон, казнен на электрическом стуле в 1984 году во Флориде за организацию убийства детектива.

«Я хочу, чтобы люди знали: наше правосудие зовет меня хладнокровным убийцей. Но я выстрелил в человека, который выстрелил в меня первым. Но меня осудили, потому что я мексиканец. И за это меня называют хладнокровным убийцей. Я никого не привязывал к носилкам и не впрыскивал никому в вену яд, как вы делаете со мной сейчас. И вы зовете это правосудием. А я зову вас и ваше общество сворой хладнокровных убийц». — Генри Портер, казнен путем

смертоносной инъекции в 1985 году в Техасе за убийство полицейского.

«Меня казнят за убийство, которое я не помню. Я был на наркотиках. Не знаю, достоин ли я пожизненного заключения, но мне кажется, что смерть — это слишком жестокое наказание за то, что было ошибкой». — Рэнди Вулс, казнен инъекцией в 1985 году в Техасе за то, что избил, зарезал и сжег кассира кинотеатра.

«Я бы лучше ловил рыбку». — Джими Глэс, казнен на электрическом стуле в 1987 году в Луизиане за убийство пожилой пары при ограблении их в новогоднюю ночь.

«Я уже сказал правду, но, поскольку она была высказана осужденным, ее не услышали. Я не убийца. Я никого не убивал. Я не молю о моей жизни. Я не буду унижаться. Я никому не позволю сломать меня. Но я хочу, чтобы люди проснулись и увидели кошмар высшей меры. Придет время, и люди заплатят слишком большую цену за этот кошмар». — Джеймс Смит, казнен инъекцией в 1990 году в Техасе за убийство бизнесмена.

«Я африканский воин: рожденный жить, рожденный умереть». — Карл Келли, казнен в Техасе за убийство 18-летнего продавца при ограблении.

Что говорят казнимые на нашей родине, мы вряд ли когда узнаем. Как и любые подробности вообще о казнях. Это, как и многое другое, у нас намертво засекречено.

Однажды телеведущая поведала мне, что она в буквальном смысле слова «выслеживала» палача целых полтора месяца, пока он не дал согласие на интервью. Но конечно, анонимно, без показа его лица.

— Каков же его возраст? — спросил я. — И каков он сам?

— Лет сорока, — отвечала она. — Моложав, гладок, выглядит сытно.

— Не нервен?

— Да нет.

— Из чего он стреляет? Как вообще это происходит..

Говорил?..

— Да. Из «макарова»... В затылок...

— Где он проживает? В Москве?

— В Москве.

— Выезжает, значит?

— Да. Для него это командировка.

— В какие он выезжает города?

— В разные, — сказала она. — Я смогла проследить лишь несколько: Владивосток, Рязань, Тула...

— Дома знают, куда он едет? — спросил я, но поправился: — Зачем он едет?

— Конечно, нет...

— А кто у него?

— Жена, двое детей.

— А если в интервью они узнают его по голосу?

— Голос мы тоже изменим, — сказала она.

— А как ведет себя смертник? Жив ли он к моменту казни? — Этот очень важный для меня вопрос я приберегу на конец беседы.

— Я тоже задала этот вопрос, — воскликнула моя собеседница. — Но ответа не получила. Ему об этом знать, наверное, не надо.

Вот так, краем, едва-едва до нас долетают сведения, может, не совсем точные, а подчас и противоречивые, из которых можно кое-что узнать об исполнении смертной казни. Я старательно вырезал все, что появлялось на эту тему в печати. Но статей совсем немного. Не более пяти. И вот что я из них почерпнул.

Не удивляйтесь, если выражено это все будет в некоей неопределенно-безличной форме: что, мол, рассказывают.

Так вот, рассказывают, что в Бутырке среди иных корпусов стоит «Пугачевская башня», где, по слухам, приводят приговоры в исполнение и где по ночам появляются привидения — понятно, из тех, кого здесь казнили.

При казни присутствуют по обязанности: начальник тюрьмы, прокурор, врач, охрана и главный исполнитель, то есть палач.

По одной из версий, в узкой проходной камере устанавливается по росту приговоренного ствол автоматического пистолета, который в нужный момент и выстреливает в голову казнимого. Труп сжигают и пепел развеивают по ветру.

Думаю, что это легенда. Как и некогда виденный в старых фильмах расстрел группой солдат, целящихся у каменной стены в свою жертву.

Судя по нескольким анонимным интервью с палачами (одного из них даже показали по телевидению, но ясно, что лишь контуром и с голосом измененным), казнь осуществляют специальные кадровые работники МВД, предназначенные для этой цели. Ни семьи, ни даже коллеги не догадываются об истинной работе этих военнослужащих, обычно офицеров.

Они выезжают в назначенную им тюрьму, где есть специальное место для исполнения казни. Наверное, таких тюрем несколько. Например, ростовская, оттуда пришло известие о казни Чикатило, владимирская, московская (та же Бутырка), иркутская, екатеринбургская. И возможно, те, что называла моя собеседница.

Впрочем, в одном случае утверждается, что при самих тюрьмах имеется штат из нескольких человек, которые за двойную зарплату осуществляют свою работу. Еще в одном интервью (офицера из Москвы) сведения о больших деньгах отвергаются.

Но все начинается с того момента, когда в тюрьму, где находится смертник, приходит отклонение Президентом ходатайства о помиловании. Под благовидным предлогом (ремонтные работы или карантин) заключенный переводится в тюрьму, где его должны казнить. Проживает он там всего несколько дней, и «кормовых» для него выделяется на три дня. Впрочем, в целях экономии могут казнить и ранее.

Обычно на второй день его приводят в комнату, где находятся члены комиссии по исполнению приговора: прокурор, представитель правоохранительных органов, врач и руководитель, как названо в одном репортаже, спецгруппы. Прокурор сличает личность заключенного с документами, после чего объявляет, что ходатайство отклонено и приговор будет приведен в исполнение.

Ни о каком последнем желании речи не идет, да и никаких последних слов никто не фиксирует. Наш несентиментальный век отверг даже эти, вовсе не пустые, традиции. Но если мы утверждаем, что казнь есть месть (осуществляемая государством), то именно такой поточный метод изничтожения теперь уже беззащитных существ подтверждает нашу догадку.

Но понятно, что бериевские застенки по времени не так уж далеки, и, возможно, дети тогдашних палачей продолжают исполнять свои обязанности так же, как тогда.

Утверждают, что казнимые воспринимают момент казни по-разному, но большинство психологически готовы к такому исходу, хотя и склонны себе внушать, что это случится не сразу. На самом же деле расстреливают тут же, зачтя указ, в соседней комнате, казнимый лишь в самый последний момент догадывается об этом.

Исполнитель стреляет из табельного оружия со спины; версии разные, по одной — стреляют в затылок с близкого расстояния, так что мозговое вещество обрызгивает стены и потолок... По другой (из интервью с палачом) — стреляют в жизненно важные органы (скорей всего, в сердце), ибо в голову можно промахнуться и это доставит мучение казнимому. А в общем, наверное, случается, что после первого выстрела казнимый еще дышит и тогда в него стреляют повторно.

После казни врач констатирует смерть. Составляется акт о приведении приговора в исполнение, который подписывают члены комиссии. Этот акт будет направлен в суд, вынесший приговор. Суд сообщает в органы загса о смерти заключенного и нам, в управление по помилованию.

Хоронят обычно на близлежащем кладбище. Могила ничем, кроме номера, не отмечена, родственникам тело не выдается и место захоронения не указывается.

О переживаниях жертв свидетельств почти нет, но вроде бы ведут они себя тихо, мирно и хлопот больших администрации тюрьмы не доставляют. Да и свидетели подтверждают, что шок, испытанный на суде от приговора, убивает человека раньше, чем это сделает пуля.

Некоторые молятся или сыпят матом по всем адресам, начиная с Президента, властей и суда, который их приговорил. Но уже в момент самого расстрела иные, по тем же не проверенным нами свидетельствам, писаются и тому подобное.

В заключение хочу подробнее об одном исключительном случае. В 1996 году мимо Комиссии по воле лишь одного человека, которого я обозначил прозвищем Шкаф, к Президенту на подпись с рекомендацией «отклонить» пошли списки по десять—пятнадцать смертников, и было тогда казнено с января по август месяц шестьдесят три человека. Последний же списочек на семнадцать человек где-то в середине лета, после смены администрации, мне удалось чудом забрать

чуть ли не со стола Президента — я уже в начале книги упомянул об этом.

Вот уж где без всяких условностей осужденные на казнь прошли над бездной, ни о чем даже не узнав. Ну, а ближе к осени в отдел смертников пришли бумаги об исполнении казней шестидесяти... То есть всех — кроме трех.

О них и состоялся у нас секретный разговор в узком, как говорят, кругу, между самыми старейшими, авторитетными членами Комиссии. Назвать могу из них пока только Булата Окуджаву.

Зная систему управления и контроля не просто в каких-либо министерствах, а во всей стране, как вполне бардачную и даже абсурдную, нам необходимо было каким-то способом выяснить, живы ли они вообще, не возбуждая при том никаких подозрений со стороны начальников тюрем, где они содержатся... Напишешь им, а они в панику, как так люди не расстреляны, уже из центра сигнал... Тут второпях и достреляют. И доложат.

Предложения-то были разные, но остановились на одном: наш священник пошлет по трем названным адресам невинные посылочки с Библией, а через некоторое время поинтересуется (от церкви, разумеется), дошли ли они до адресатов...

Так и поступили.

Двое из трех оказались казненными (лишь бумаги задержались), но один — повезло человеку — не казнен.

Ну а далее все в руках Божьих.

Зона пятая

СМЕРТНИКИ

ВОЛКИ СРЕДИ НАС
(ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Читаю дело... И никаких сомнений, и никакой жалости к осужденному. Решение созревает исподволь: тут невозможно милосердие, уж очень жесток этот... И даже прорывается в раздражении: туда ему, извергу, и дорога!

Но вот подступаешь к медицинской экспертизе и чуть остываешь. Хотя медики подробны до тошноты, далеки от эмоций и все у них разложено по полочкам и обосновано научными словами. Такими, например: «...В пубертатном и юношеском возрасте отмечалось присоединение параксизмально возникающих психосенсорных расстройств, аффективных нарушений, преимущественно дисфорического типа с немотивированными приступами агрессивности, симпато-адреналовыми кризисами, а также формирование патохарактерологических особенностей мозаичной структуры в виде прямолинейности, категоричности, упрямства, пунктуальности, педантичности, затрудняющих становление социальных связей, а также демонстративности, эгоцентризма, раздражительности, возбудимости, склонности к внешнеобвиняющим формам регулирования...» Уффф! (Это о насильнике Ряховском.)

И хоть «психосенсорность», «параксизмальность» и «дисфоричность» еще более усложняют мою жизнь, но червячок сомнений начинает шевелиться изнутри, внося в эту жизнь некий дискомфорт.

Ну а потом прочитываешь и ходатайства, которые почему-то находятся в самом хвосте дела и не почитаются уважаемым Вергилием Петровичем вообще за серьезный документ (мало ли что они, сидючи в камере, насочиняют!), и тут уже начинается полный раздрыг в чувствах и разлад в душе.

И невозможно понять ничего не только о моем преступнике, но и об этом мире, и о себе тоже.

Некий Веретенников Валерий Генрихович, тридцати лет, разведенный, имеет ребенка. Осужден на смертную казнь за изнасилование и убийство восьмилетней Яны Чайкиной.

Мне и того уже достаточно, чтобы навсегда его люто возненавидеть. Человек, поднявший руку на ребенка, для меня уже не существует. Как человек. Это зверь, отброс, последняя стадия падения.

Но необходимость заставляет прочитывать любое дело до конца. И вот что я узнаю. Точнее же, что он показал.

Он показал, что 10 июня, в день преступления, выпил 150 граммов (как же без этого!) и пошел в деревню Кузмищи, где встретил свою сестру. С ней и ее мужем позавтракал, затем косил около их дома траву (какая идиллия!), затем встретился со знакомой, которой предложил сожительство, в чем она ему отказала. Он пообещал прийти к ней вечером (зачем?) и стал ходить по деревне. У него возникло желание совершить половой акт. В течение дня несколько раз он встречал восьмилетнюю Яну Чайкин, ездившую на велосипеде. Сначала он пошел рядом с ее велосипедом, забрел на ферму, чтобы увидеть знакомую доярку, с которой у него прежде были близкие отношения, но ее там не было. Выйдя с фермы, он снова увидел Яну, и желание совершить половой акт у него усилилось. Он пошел рядом с девочкой (какая картинка), которая ехала и ехала себе на детском велосипеде, а затем упала, разбила коленку и заплакала.

Ах, если бы не это! Ничего бы, может, и не случилось!

А тут у него, как говорят, взвырвало, возникло сильное желание, и он стал гладить ее по лицу, по щекам и еще целовать, а желание его все возрастало. Она же, испугавшись, стала кричать сильней, и он слегка придушил ее, сжав рукой горло, так как опасался, что их услышат люди. На некоторое время она ослабла (еще бы!), и он оттащил ее в кусты вместе с

велосипедом. Потом снял с нее шорты и трусики, обнажился сам, лег на нее и стал совершать с ней половой акт.

Так с его слов и записано в приговоре.

Она очнулась, закричала, стала вертеться из стороны в сторону, и он закрыл ей лицо ладонью, а другой рукой стал душить за горло. У нее выступила кровь на губах, и она захрипела... А потом она успокоилась. Ясно, навсегда. А он уже спокойно закончил половой акт (скотина!), поднялся и понял вдруг, что девочка-то мертва.

Чтобы скрыть преступление, он отнес девочку подальше от дороги, выкопал найденной лопатой яму и закопал труп. Закопал и ее одежду. Про велосипед ничего не сказано. Впоследствии он указал место захоронения следователю.

В ходе следствия при осмотре помещения, где он проживал, был обнаружен ватник-матрац с проделанным в нем отверстием, который, как указал убийца, он использовал в качестве женщины.

Можно ли, прочтя весь этот кошмар, думать о каком-либо смягчении участи такому выродку? Наоборот. Как я написал в начале главы: расстреляют, туда ему и дорога! Да его, гадину, четвертовать бы, как при императрице Екатерине II, отрубить по частям ноги, руки, а перед тем как снять голову, отрубить ему член... И повесить напоказ будущим насильникам!

Вот такая дьяволиада возникает в моей ослабевшей душонке. Утешает, что и великая императрица в последний момент пожалела страшного Пугача и приказала прежде рук и ног отрубить ему голову, чтобы он не мучился.

Но вот добираюсь до всяких там справок и узнаю, что отец его, Генрих Егорович, работал участковым инспектором и умер двадцати восьмью лет от роду — ребенку было всего два года. Мать, рабочая лесопункта, тоже вскоре умерла в областной больнице. С тех пор один. Правда, есть сестра.

Где и как рос до 14 лет, неизвестно. Скорей всего, в детдомах да колониях. А тамошнее воспитание известно. Далее же обозначено, что нашел он себе бабу в Молдавии с двумя ребяташками, привез в Тотемский район, поближе к сестре, и там у них родился еще сынок. Но тут совершил он «проступок» в двадцать лет, какой — неизвестно, но, видать, немалый, если вlepили ему сразу десятку. Впрочем, бывало,

осуждали на двадцать лет за сорванный колосок... Ему потом скостили три года, три месяца и три дня. Отсидел, вернулся к сестре, жена к тому времени вышла за другого, и у них уже родился свой ребенок, а его родной сынок настолько от папки отвык, что стал называть его дядей.

А вот что сам он рассказывает о себе.

«...Люди на меня смотрели как на зверя. Работал я «кормачом», то есть кормил телят. До моего прихода там было два человека, я же согласился работать один. Домик, который мне дали, приходилось отапливать два-три раза в сутки, днем и ночью, такой он был сквозной. Приходилось идти на ночлег к сестре, а в четыре утра пешком в свою деревню на работу: пять километров. Когда обращался к директору совхоза, слышал: «Подожди до весны». И весна и лето минули... Да что там, этот дом и сейчас в таком же состоянии: сквозной. И вот еще: при устройстве на работу я встал на очередь на получение в совхозе поросенка, чтобы, значит, растить. Но если всем людям, что приезжают, сразу для хозяйства дают и жилье и поросят, то мне, одиночке, да судимому, ничего не дали. Поругался с бригадиром, с зоотехником, они на меня докладную, мол, не справляюсь с обязанностями. Я тогда написал заявление, решил уехать. Но директор был в отпуске, непустили. И только на суде узнал, что заявление мне подписали, но не сказали. А может, это задним числом. Тогда пошел на работу, а мне говорят: «Ты отстранен...»

И остался он один. Этаким бирюк, живущий со своим ватником, как с женщиной, и никому не нужный. А потом на собрании «...жители просили суд о применении исключительной меры наказания...»

Присутствовало 142 человека. И все — единогласно.

Прочтешь, и начинается эта самая... Зубная боль в сердце. Не то что жалость, а какой-то, о Господи, разрыв души, кошмар, который невозможно в себе преодолеть.

А они (не этот, но такие же) нам швыряют в лицо всякое.

«Ни государство, ни судья с прокурором меня не рожали, жизнь не они мне дали, и не им ее забирать...» (из дела).

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца...» (из дела).

«...Я хотел сделать подарок своей жене в честь родившейся дочки, а того, чего хотел, в магазине нет.. Утром я

поехал в раздаток за молоком и кефиром для дочурки, а потом жена сказала, что у нас неотоваренные талоны и если мы не выкупим продукты питания, то они пропадут. Вот я и поехал по магазинам. Отоварил винно-водочный талон, купил маргарин, а больше ничего в магазине не было. И я отправился в другой. В универмаге народу море, конец месяца, 30 января, и все хотят что-то купить...» (Смертник Еремин, Нижний Новгород.)

Вот тогда-то он и отправился убивать. Хотя, по его словам, он зашел к знакомой взять деньги, отданные для подарка. Но убил двух невинных женщин.

И далее, уже в тюрьме: «Я чуть с ума не сошел после свидания со своими... Вы не можете представить, как они живут! Я прошу Вас дать мне возможность хоть на урановых рудниках работать, чтобы моя семья не страдала... А так моя жена сейчас в декретном отпуске, хотела выйти на работу, но яслей не дают, и неизвестно, когда дадут, а дома ребенок, второй год, а очереди такие, и люди обозлены, хоть с ребенком, но не пускают без очереди... И ребенку молоко надо... А я проклинаю себя за все, что совершил, нет мне прощения...»

Некий Вальков: «Я совершил страшное преступление — убил своего отца и женщину. У меня произошел душевный слом, во мне случился взрыв гнева, ярости от всего накопившегося...» И далее он добавляет: «Вся моя неудавшаяся исковерканная жизнь — итог воспитания и отношения отца...»

В деле я нашел свою собственную запись о том, что это исповедуется не преступник, а несчастный, затюканный жизнью человек, униженный окружением и доведенный до крайней точки, когда все равно, что дальше будет.

Конечно, воспитание играет немалую роль, но тут я бы отметил еще тот самый «взрыв ярости от всего накопившегося», который вызван не столько семейным отношением, сколько стихийным, до поры безмерно терпеливым, а потом настолько же стихийно жестоким и неуправляемым характером нашего народа, который вообще, когда стерпеть наш произвол российский невмочь, крушит все, что попадет под руку. Далее же, опомнившись, так же неистово кается.

Каются не все, а лишь такие заблудшие, как Вальков. В обычной же нашей жизни раскаяния почти не слышно и не видно, что говорит о крайне опасном состоянии общества.

Еще один:

«...Я даже не почувствовал, что у меня в руке нож, и когда я им махнул, я не чувствовал, что он в кого-то втыкается. Был в таком состоянии, что передать не могу. Я не хотел убивать. Но в жизни много непредвиденных обстоятельств, и человек не знает, что ему делать, как поступить. И все у него выходит само собой, он даже не может ответить за свои поступки, не понимая, как они получились...» (Смертник Калинин.)

Последний грабил знакомых, убил свидетеля — мальчика 8 лет. «...Прошу вас, будьте милосердны к моей растерзанной судьбе, сломанной собственными руками жизни. Молю о снисхождении, моя душа, сердце плачут...»

А вот уже его мать:

«Умоляю вас, оставьте сыночка в живых, распахните уголок вашей души, приемлемый для человека в его падении... Падаю перед вами на колени...»

Бедные матери, ведь рожали, вынашивали, воспитывали как могли и ишачили в две смены, а теперь ходят по приемным и умоляют, умоляют, умоляют... А он, скотина, вернется, утащит последнюю пенсию и потом ее же прибьет...

Писала мне длинные письма некая Сверчкова из Москвы, и у подъезда караулила, и чуть за ноги не хватала... Двое сыновей у нее в тюрьме, а сама едва-едва тянет на пенсию. Эти письма я упоминал и еще буду упоминать. Но вот помогли, помиловали одного, и вскоре личное ко мне письмо: помогите, он вышел, но теперь меня бьет...

А вот жена смертника (у нее трое маленьких детей):

«...Когда ребенок закричал, призывая на помощь, Икром (так зовут убийцу) потерял контроль и как все случилось, помнит, как в тумане. Очнулся, а ребенок мертв... Я была у него на свидании, он страшно изменился, худой (туберкулез), не может спать... Ребенок приходит к нему во сне каждую ночь...»

Значит, «мальчики кровавые» и правда не придумка гения?!

Ну а девочка Яна с тех пор так и едет рядом с моим героем на своем детском велосипеде... И, поскуливая от боли, жалуется на ушибленную коленку...

Идет голосование. В кабинете тишина, слышно лишь, как кто-то шумно глотает из стакана воду и где-то за дверью надрывается телефон.

— Есть два предложения... — говорю я.

Никто не поднимает глаз, смотрят в бумаги, и я прямо-таки ощущаю, как спрессовывается воздух от такого крутого молчания.

— Кто «за», прошу поднять руку.

«За» — это отклонить.

Мы пишем и в статьях призываем к жестокости по отношению к убийцам. И наш праведный гнев можно понять. Никто не осудит, если мы поднимем руку за расстрел этих убийц.

Ведь говорят же, что их исправит только смерть, а если выпустить на волю, они станут убивать снова. Да, мы знаем, что жесточайший режим наших лагерей делает их волками. Поэтому было бы еще лучше их «оттуда» вообще не выпускать. Ведь на жестокость они ответят еще большей жестокостью.

Но держать их там всю жизнь невозможно, да и не сообразуется это с нашей же общечеловеческой моралью, ведь по закону срок когда-нибудь да закончится. Ну, десять, двадцать, тридцать... Встречались, которые и по сорок отбывали... Ну а дальше... Дальше-то что?

Чем больше они там пребывают, тем больше накапливается на всех на нас черной ненависти. И только добром можно развязать этот узел. Не для всех, конечно, а лишь для тех, кто захочет начать новую жизнь, есть и такие.

Какова она будет и сможет ли «бывший» найти себя, зависит не только от него, но и от нас. Мы же пока не делаем ничего, чтобы это случилось, рассчитывая на чудо, авось кто-то из них преодолет все поставленные перед ним барьеры и станет таким же, как мы.

То есть мы как бы заранее ставим их в положение, когда они вынуждены снова преступать закон. А попросту говоря, ценой чьей-то жизни мы откупаемся, отгораживаемся от них, чтобы потом снова впаять им новый, еще более долгий срок. А в идеале смертную казнь. Чего уж там мудрить. Нет человека, нет и проблемы.

А чьей жизнью мы платим за свое спокойствие?
Не нашей ли с вами?
Так что же мы творим, господа?

А вот что.

Мы же откармливаем волков, чтобы их руками убивать друг друга! Да притом еще ропщем: мол, преступность — то от года к году растет. А между тем она лично нами и запланирована, и только чудо может остановить этот губительный для нас процесс.

Заклученный Резенов обращается к нам так: «Господа вершители людских судеб! Третий раз я обращаюсь с простой, но непонятной для вас просьбой: «О дайте, дайте мне свободу, я клевету сумею опровергнуть...», вот почему мне так необходим этот гуманный акт, который дается раз в жизни, как и сама жизнь...» И далее: «...но зато напишут: на путь исправления не встал, хотя даже они (видимо, речь идет о лагерной администрации) не знают, от чего меня надо исправлять, а если в исправлении они видят унижение, оскорбление, беспредел, произвол, топтание индивидуальности и превращение человека в преданную скотину ради улучшения содержания, то они меня не исправят, а только вобьют в сознание (если не в гены) злобу, ненависть, жажду мести и прочие прелести, на какие способна система лагерей...»

Слово «беспредел», творящийся по отношению к ним в неволе, в прошениях, в биографиях, в исповедях эзков возникает наиболее часто... Далее по числу употреблений идут слова: «ненависть», «злоба», «месть»...

Я однажды спросил моего немецкого переводчика Томаса Решке — ему довелось перевести сотни полторы русских писателей и практически всю лагерную литературу, — я спросил, есть ли в немецком языке слово «беспредел». Он отвечал, что такого слова нет, как и слова «зона», да и, судя по всему, у России свой уникальный уголовно-криминальный менталитет... Такого другого, как он считает, нигде в мире нет...

Так кого же мы казним?

— Ответьте, пожалуйста, — попросил нас телеведущий в одной недавней передаче, — вот вам попадетсЯ этакий Чикатило, который съел (он так и сказал — «съел») сто пять-

десять человек... По уши в крови... Вы что же, его... не расстреляете?

— Нет, — отвечали мы с одним видным юристом, членом нашей Комиссии, соавтором закона о суде присяжных, о котором в той беседе и шла речь. А между тем именно суды присяжных оказались милосерднее наших государственных судов, их решения мягче, ибо народ, в своем большинстве выступая за казнь, увидев злодеев лицом к лицу, вдруг понял, что это далеко не «чикатилы», поедающие людей, а простые «бытовики», люди, им знакомые по обычной жизни, совершившие свои убийства в основном по пьянке.

Но я о другом. О том самом образе абстрактного злодея («чикатилы»), который, по понятным причинам, возникает в нашем воображении, как только разговор заходит об этих людях.

А между тем таких злодеев, как Чикатило, немного, не более десятка... Их через наше помилование проходило три-четыре... чуть не оговорился — человека. Да нет, три чудовища, и все они казнены. Но растиражированные в тысячах экземпляров средствами информации, они и правда способны запугать население. Добавлю, что среди злодеев нет крестных отцов, авторитетов, киллеров и главарей мафий. Причин не знаю, хотя догадываюсь, что им удастся откупаться (от суда присяжных вряд ли бы откупились!), в то время как на казнь сплошь осуждаются «бытовики», хотя их обобщенный образ выглядит иначе.

Я взял из двух последних папок два десятка дел осужденных к смертной казни и поинтересовался, кто же они, сколько им лет, кем они работали. Возраст от 22 до 39, то есть люди в самом расцвете сил. Профессии: разнорабочий (кочегар, сантехник, стропальщик), сельский бомж (беженец из Казахстана), разнорабочий стройтреста, тракторист совхоза, электромонтер, тракторист, шофер совхоза, официант (он же строитель), сварщик, скотник (он же кочегар), пастух, бетонщик... В списке практически нет инженеров, нет людей с высшим образованием. Нет и творческих работников. Хотя в тюрьме зачастую выясняется (а мы узнаем это по делам), что многие сочиняют талантливые стихи, песни и так далее. Но это особый разговор, и я к нему позже вернусь.

Еще хочу отметить, что обозначенные мной профессии указаны на момент приговора, вообще же за спиной многих из осужденных целая цепочка специальностей, вот для примера у некоего Линкевича (убийца по пьянке): каменщик (уволен), опять каменщик (перевелся), укладчик на хлебо-заводе (уволен за прогул), упаковщик на заводе (уволен по собственному желанию), изолировщик Метростроя (уволился переводом), машинист на строительстве...

Можно предположить, что такие зигзаги судьбы, метания, поиски, неустройство, связанные обычно с переменами мест, отражают и жизненные неудачи, потери, невозможность найти себя в жизни.

Не здесь ли кроется конечный результат?

Тот же Линкевич, в один прекрасный день напившись, встретил на улице двух людей и затеял с ними драку, а потом и застрелил их. Похож ли он на Чикатило, «поедавшего людей»? Или скорей на человека, потерявшего ориентиры в жизни и оттого раздраженного, обиженного на весь белый свет и выместившего после подпития свою обиду на первых же невинных людях?

Вот еще цифра: из 20 названных дел 17 преступлений совершены подобным же образом, по пьянке.

Кстати, приводя перечень профессий, я вовсе не считал, что зло воплощается непременно в профессии пастуха или каменщика. Но ведь не секрет, что разговор в целом идет о людях низшего социального слоя, которые в случае несчастья не могут быть защищены от следовательского, а потом и судебного произвола, которого, это уж всем известно, у нас хватает.

Стоит надеяться, что как раз суды присяжных, что вводятся в российских условиях почти насильно, как некогда царской волей картошка, помогут этим несчастным. А что касается обид, то один из смертников, наивно объясняя свои действия, так и написал, что он... «убивал нехороших людей, которые обижали его и других людей... Но до первого убийства он сдерживал себя три года».

В конце приведу письмо одного заключенного, который отсидел по нашим лагерям много лет, сидит и сейчас.

От себя добавлю, что возраста он примерно моего, да и детство наше с ним совпадает, так что за судьбой автора

(фамилия реальная) я вижу и свою судьбу, которая могла бы сложиться не лучше.

«День добрый, Анатолий Игнатьевич! Извините за беспокойство, но я узнал, что Вы сетуете на то, что друзей детства не можете отыскать. А ведь друзья у Вас были и не по одному Томилину. Судьба всех пораскидала по разным углам. Кто сгинул неведомо где и как, кто здравствует и по сей день. Некоторый был Петровым, а стал Ивановым, как, например, я. Был Усов Алексей, а стал Телешев Леонид. Всему свои причины. Усов, то есть я, закопан на Бабушкинском кладбище г. Москвы в 1948 году, а Телешев (Усов) до сих пор здравствует в застенках ГУЛАГа, больше 40 лет.

Я с 1935 года незаконнорожденный и выброшенный на помойку. Чужая тетя подобрала и растила до 1943 года. В 43-м она вышла замуж, и я снова был брошен. Стал бродягой. Повидал всякое.

Да Вы отлично сами знаете бродяжью долю. Вот с тех пор у меня казенный дом.

Анатолий Игнатьевич, мне о многом с Вами охота бы переговорить, но в письме всего не изложишь. А сидеть мне еще 2 с лишним года. 5 лет дали за карманную кражу на Дорогомиловском рынке в Москве. Да и все судимости у меня за карман. Всю жизнь веду борьбу с ротозейством. Кто-то рот разинул — я и упер кошелек. Потом он уже не будет больше рот разевать.

Юмор, конечно, шутка. Но более 40 лет сижу именно за это. Жизнь и система опять в тюрьму загоняют. Именно загоняют. Освободишься — ни документов, ни прописки, ни работы, ни жилья. Бомж, одним словом. И опять тюрьма. Вот и сейчас такая же канитель. В 106 отд. милиции паспорт никак не мог получить, требовали то одно, то другое... То метрики (а где я их возьму), то чтобы принес справку, что я жив, а не закопан на Бабушкинском кладбище. Кто даст мне такую справку?! В общем, опять тюрьма, ст. 158 УК РФ, часть три — 5 лет.

Знаете, сколько злости у меня на эту Систему?! Несправедливости много. Некому за меня постоять, а у самого меня денег «на лапу» нет. 200 баксов надо было дать, чтобы паспорт получить. Не было у меня баксов, не получил и паспорт. Освобожусь, и снова ждет меня тюрьма. Ехать некуда и не к кому. Пенсию не дают, потому что всю жизнь в ГУЛАГе...

Вам такие друзья детства не нужны, неудачники?

А я стремился стать Человеком, но... стал эком. Ни одна пада ни разу не пересмотрела ни один приговор. Больше 20 лет отбыл по оговору. Правда.

Вот клочок из моей жизни. Два раза в оккупации, в Калужской области, был в заложниках. Раз сжигали, второй раз расстреливали. Ранен, но жив остался. Лучше бы тогда добились, чем мучиться всю жизнь.

Отец Усов Иван Федорович был работником НКВД Спас-Деминского района Калужской области. Немцы знали это. Предлагали мне ехать в Германию, в интернат. Мачеха меня отговорила. Не поехал. С тех пор попал в немилость и в заложники. В 1941 году...

Вкратце написал. А так прикинешь, люди при немцах лучше жили, чем при «красных». Очевидец. Это в фильме немцы звери. В 1964 году разыскал отца. До 1950 года он был работником спецотдела МВД СССР, Наушки «ВТ»-1. С 1951 года — работником ГУМЗа, г. Москва. Его нынешний домашний адрес... Пожалел я его в 64-м, а зря. Больше 20 лет не дали бы, а так все равно в тюрьме. Эх, доля моя горькая!

Пишу Вам это потому, что, может, потребуется прообраз Вашей новой книги. Читал я кое-что Вашего. И «Тучку...» тоже. Я думаю, Вы о себе написали все реально и правдиво. Вы выросли Человеком. Это редкость. Судьба...

Вот вроде и описал о себе. А как у Вас сложилась жизнь — пожелаете, напишите. Конверт и бумаги пришлите. С уважением Леонид Телешев. 17.1.99 г.».

Такое письмо. Не легкое. Я ни слова в нем не изменил. И конечно, многое из своего вспомнил, ведь и нас преследовали, и от милиции, и от блатных, и от тех, кто посильней, столько натерпелись.

Телешев-Усов правильно пишет, что несправедливости много, а некому заступиться... Сейчас вот готовят указ об амнистии. Выйдет, если это случится, наверное, и мой адресат, а куда он пойдет, ведь мы его и таких, как он, заранее боимся и ненавидим?! А он в свою очередь боится и ненавидит нас. Нет, не лично меня или кого-то, а, как он говорит: Систему. Так что же, так и будем в этом мире ненависти жить и друг друга бояться?

Как живем сейчас.

А может быть, нужно по-другому? Пожалеть, посочувствовать, помочь... Увидеть в таких сломанных судьбах и свою судьбу, которая лишь сложилась, дал Бог, удачнее. Повезло. Но могло ведь и не повезти. И те, кто сидит, это даже очень хорошо знают.

ЧАСЫ СУДЬБЫ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Знаменитые «Часы судьбы» находятся в Чикагском университете. Их придумали во времена холодной войны, чтобы отмерять символическое время, отделяющее мир от глобальной ядерной катастрофы.

Но разве катастрофа одной жизни, при которой теряешь тот же мир, не является глобальной для любого индивидуума? И тогда часы, которые он проводит в камере смертников в ожидании казни, тоже становятся для него «Часами судьбы».

Некий Демьянов, двадцати лет: изнасиловал совместно с дружкой в машине женщину, а когда она смогла вырваться и побежать от них по снегу в лес, догнал и ударил монтировкой по голове, так что мозг брызгами...

Пишет: «Кто станет читать о судьбе подонка или патологического существа, которым, впрочем, я себя не почитаю... Ведь моя жизнь для Вас ничего не стоит...» И далее: «...это что-то ужасное и неотвратимое, когда ждешь, что сегодня за тобой придут и больше не будет ничего: ни жизни, ни страданий, ни матери с отцом, ни сына с женой... Не будет ни-че-го. Понимаете?!»

Обращается он к нам, а сам-то понимает, что всего этого не будет у той самой молодой женщины (ее имя Юма Юрьевна, у нее тоже есть мама, дочь, а работала она на севере в детском интернате, учила детишек русскому языку), которую они так дико насиловали и убивали?

«...Постоянные думы о смерти страшны, ее присутствие здесь в одиночке чувствуется явно, и так страшно считать дни, часы, минуты и сознавать, что ты никому не нужен... Но даже здесь для меня были счастливые минуты, когда на свидании я увидел своего сына, он назвал меня папой...»

Если поделить жизнь смертника на временные периоды — преступление, арест, следствие, суд, ожидание казни

и наконец саму казнь, — то момент ожидания будет самым невыносимым. Не случайно в международных декларациях о правах (в данном случае о правах заключенных) упоминается «пытка ожиданием казни».

Но бывает, подают такие странные «заявления» с просьбой их не миловать. То есть казнить. Так писал «борец» против местных коммунистов Воронцов, он прямо-таки хотел погибнуть за идею, которой он посвятил жизнь.

Смертник Юрий Бояркин (изнасиловал и живьем бросил в прорубь под лед свою жертву) в своем письме пишет: «...Областной суд приговорил меня к исключительной мере наказания, к расстрелу. Приговор был утвержден судом РФ, и после утверждения я не писал ни просьб о помиловании, ни жалоб, в надежде, что приговор приведут в исполнение незамедлительно. Но прошел уже год, а приговор в исполнение так и не привели. Я осужден к расстрелу, а не к тюремному одиночному заключению, и прошу Вас рассмотреть мое ходатайство о незамедлительном исполнении моего приговора».

Еще резче пишет смертник Максим Меркулов (28 лет, убил жену приятеля, который был в командировке, изнасиловал и потом убил ее восьмилетнюю дочь): «...С того времени, как я осужден и обращался к Вам с прошением о помиловании, прошло более двух лет. За это время изменилось многое в моей жизни и жизни Российского государства. Гр. Президент, Вашим Указом введен мораторий на исполнение смертной казни... Закон есть закон, но как во всяком случае из него есть исключения. Я прошу Вас, основываясь на моей личной просьбе, подписать распоряжение о приведении приговора, т. к. я дошел до предела и не хочу, чтобы волей системы исполнения наказания из меня сделали идиота. Сам на себя я наложить руки не могу, т. к. это противно Богу...» И еще через год: «...В последнее время много и часто обсуждается вопрос о применении смертной казни в России. Есть ее сторонники, есть и противники. Я за применение смертной казни, т. к. альтернатива ее — пожизненное заключение — мне не нужно и даром. Всю жизнь находиться в условиях, когда кто-то может командовать тобой, как ему захочется, и угнетать... Сегодня много говорят о добре и милосердии, о гуманности и правовом государстве. Но где они на деле, если суд решил и годы

я жду Вашего решения, что со мной делать, помиловать или расстрелять? Россия, как и многие государства, подписала Женевскую конвенцию, согласно которой пытки государственными органами запрещены. Я же вижу обратное, изо дня в день меня подвергают моральной пытке. И не только меня. Вашего решения ждут, страдая, мои родные, а моя мама перенесла инфаркт и стала инвалидом. Почему должны страдать и физически и морально близкие мне люди? Какие преступления совершили они? Прошу Вас с прощением о приведении приговора в исполнение, то есть отказать в помиловании. Вы же люди, так дайте мне возможность уйти из этого мира не деградировав, не озлобившись и чтобы осталось уважение к Вам, к членам комиссии, как уважаемым людям страны. Это и будет милосердие с Вашей стороны...»

Смертник Шурыгин, отвоевавший добровольцем в Молдавии в «гвардии» Приднестровья, вернулся в Санкт-Петербург, захватив автомат и другое оружие, и стал наемным убийцей (за 5 тыс. рублей он расправится с семьей предпринимателя, а потом застрелит другую семью: мужа, жену и мать), напишет так: «Объяснительная по существу вопроса о причинах, побуждающих отказать от подачи прошения о помиловании... 1. Долгое время моими сослуживцами, командирами и начальниками являлись люди, с пренебрежением относящиеся к возможной гибели. Общение с ними не могло не повлиять на склад моего характера, что впоследствии и выразилось в добровольном участии мною в двух вооруженных конфликтах (Афганистан, Приднестровье), в том числе и в ряде мероприятий, связанных с высокой степенью риска и возможной гибели. Я бы много потерял в глазах этих людей, да и в своих собственных, если бы стал просить о сохранении жизни. 2. Изменение меры наказания исключает мое активное (с оружием в руках) участие в жизни, что делает ее бессмысленной. 3. Изменение меры пресечения, а равно и задержка в исполнении приговора не снимает и не решает проблемы, стоящей перед моей семьей, и, наоборот, вынуждает моих родных отрывать от своих и без того скромных доходов средства, чтобы скрасить мое существование. 4. За время содержания в Вашем учреждении я имел возможность ознакомиться с тюремными нравами и в случае изменения

меры наказания не исключаю возможность встречи с людьми, которые спокойное и ровное отношение к себе могут воспринять как проявление слабости, робости и т. п. То есть могут допустить агрессивные выпады в мой адрес, которые я вынужден буду пресекать со свойственной мне решимостью и последующим физическим уничтожением. А это вынудит администрацию учреждения повторно поднимать вопрос о моем расстреле. 5. Являясь сторонником единого насилия во всех сферах жизни и негативно относясь к «демократическим нововведениям», получать, а тем более просить помилование у лиц, эти «нововведения» олицетворяющих, считаю для себя неприемлемым. На основании всего вышеизложенного, а также ряда других причин, которые я не стал излагать ввиду их неубедительности для Вас, считаю свое решение об отказе писать прошение о помиловании правильным и прошу Вас понять меня и поддержать мое заявление...»

Письма разные и доводы разные, а последнее вообще выдержано в духе ультиматума, но смысл один: очевидное желание не жить. Тут и ссылка на Женевскую конвенцию, на муки своих близких, что по-человечески понятно, и даже необычное для наших прошений, но уже обычное для нашей жизни нежелание жить, если невозможно в этой жизни не воевать. Часты ссылки на Евангелие, о запрете верующим лишать себя жизни. Интересна и тоже нередко позиция смертника, который хорошо осведомлен о дискуссиях в обществе и лично сам выступает за сохранение смертной казни. По отношению и к себе, и к себе подобным. Мелькают и ссылки на «тюремные нравы», которые приводят, не могут не приводить к конфликтам и расправам среди заключенных.

И за всеми без исключения письмами скрываются живые люди, хотят они смерти или не хотят. Верят они или не верят нам или даже нас не приемлют как последний адресат. И нам, ей-богу, никак нельзя пренебрегать чувствами, донесенными до нас из тюремных глубин, выраженными, возможно, в последний раз. Даже... Даже если это насильник и наемный убийца, разбойник и злодей.

Смертник Подкуйко (грабил и убивал, никого не щадил, стрелял в лицо) пишет: «...Ходатайство не играет никакого значения, мне хочется поговорить сейчас, так как в обще-

нии я ограничен. То, что я останусь в неведении о вашей реакции на мою писанину, играет тоже положительную роль, в смысле того, что я смогу пофантазировать на эту тему...» И далее: «Вот только здесь, между небом и землей, избавившись от забот и суеты, проявилось у меня желание привести пройденный путь в стройную систему, осмыслить и понять свои чувственные заблуждения, толкающие на определенные действия. Для этого, к сожалению, не хватает знаний. Но даже поверхностного взгляда хватило осознать, какое я, в сущности, ничтожество. Вначале было грустно и смешно, потом тяжело и противно. Существует афоризм: «Человек кается только тогда, когда пора грешить миновала». Это по отношению ко мне очень верно. Вот сейчас моя писанина походит на памфлет на мой внутренний мир. Никогда не думал, что лицемерить проще, чем воспроизводить свои мысли...»

Это письмо-исповедь, довольно беспощадное по отношению к себе. Но и к нам. Автор письма делает неожиданный вывод: «...Считаю, что нет коренных различий между уголовником, который нафантазировал себе моральный кодекс, и деятелем-политиком, отстаивающим мнимые высокие идеалы. Главным выводом является то, что преступность — важный стимул развития общества, спутник прогресса...» И далее о свободе, которая «...может быть только ограничена. Именно такой свободой я сейчас обладаю на сто процентов, потому что живу без забот и суеты». Но тут же добавляет: «Эта моя точка зрения, наверное, в какой-то мере отражает степень моей социальной опасности...»

И вдруг под занавес прорывается: «Я хотел и пытался писать искренне, но присущий мне пафос нет-нет да проскользнет. Вообще же умирать в моем возрасте казалось поначалу очень романтично, но с приближением этого дня все больше хочется жить».

На этом он и ставит точку.

У них не было средства самовыражения на свободе, они себя выражали по-иному, как могли и как их воспитала жизнь. Теперь у них появилось время для самоосмысления происшедшего, и единственное, что может преодолеть запоры, стены, колючую проволоку, — это слово.

И здесь я должен сказать свое (чисто писательское) мнение, что это выразительнее, человечнее, откровеннее в конце концов, чем то, что удастся нам... Мне и моим коллегам-литераторам.

Есть, правда, еще один период: семь дней, отпущенных смертнику для прошения о сохранении жизни. Как сказано выше, не все об этом просят. Примерно четвертая или пятая часть осужденных к смертной казни по разным причинам не подает прошения, и тогда составляется соответствующий акт, подписанный начальником тюрьмы.

Иные же, как смертник Владимир Некрасов, выдают прошение в двести с лишним страниц, да еще посетуют: «...Можно было бы продолжить рассказ о дальнейшем житье-бытье, но нет времени, мне дано всего 7 суток... Но можно ли за это время изложить все, что хотелось бы?»

А сейчас о той категории, которая просит, молит и жаждет сохранить жизнь. О сохранении жизни, кстати, просили и Чикатило, и Головкин, и другие самые «страшные» преступники.

Все, что они пишут, попадает в дело, а дело — к нам на Комиссию.

Пишут они по-разному, у одного все прошение — два-три слова, у другого — целая книга о жизни, в стихах и прозе, как у Некрасова, мы еще вместе ее почитаем.

Один из преступников пишет так: «Я убийца, но не подлец!»

У некоторых прошение целиком в стихах сатирических, лирических, обличительных, философских... и у некоторых это трактат о жизни, о судьбе страны, о Сталине, о перестройке, о политике.

Больше всего меня раздражают эти последние прошения, в них нет покаяния, поиска истины, хотя бы ценой жизни, а та же примитивная попытка уйти, скрыться за общими словами от ответа за содеянное.

Некий Бейсик — убийца и трижды насильник — на ста страницах, исписанных мельчайшим почерком, рассказывает о себе... Много-много слов.

Я даже подумал, что этот бессмысленный поток слов, прорвавшийся в последний момент, тоже некое психоло-

гическое явление, которое требует объяснения. Может, он так, вслух, о себе заговорил впервые? Ведь прежде-то лишь пьянствовал да убивал? Слова как необходимость у него отсутствовали. Были задействованы инстинкт да руки. И вдруг он попадает туда, где ничего нет, кроме стен и железной двери. И возникает нужда что-то произнести, до кого-то докричаться, кому-то выплакаться, рассказать, поведать всю свою пропавшую жизнь.

А слов-то нет! Пуста душа и не способна родить что-то звучащее так, чтобы достало до другой души. И он... многословит. Берет, как говорят, количеством, видимо предполагая, что много слов сколько-нибудь да будут весить.

В детстве была такая смешная загадка: что тяжелей — пуд гвоздей или пуд пуха? Пуд гвоздей, конечно, кричали мы, не догадываясь, что отгадка скрыта в слове «пуд».

А вот у него и веса-то всего один пух и ни грамма веса.

«За все время, что я нахожусь в predisполнительной камере смертников, я постоянно задаюсь мыслью, а какой же следующий этап предстоит мне после окончательного приговора перед самым исполнением приговора и что в энное время меня просто не будет. И вот от таких предчувствий в этих мрачных стенах, хочу сказать честно, мне становится страшно. Страшно от одной лишь мысли, что меня больше не будет, и от этого неизвестная до этого мне истома (словечко-то какое!) подымается до самого горла, всю душу сжимает в какое-то неведомое давление, и становится не по себе, не находишь себе места, и это преследует меня каждый божий день («Божий» у него с маленькой буквы), и вся неопределенность моего положения, когда я уже несколько лет сиднем сижу... И все обо всем передумал...»

Со странным чувством читаешь эти слова.

И хоть знаешь, что человек говорит, пребывая на грани жизни и смерти, но не веришь. Он и тут играет, как играючи убивал, тоже без смысла... И ничего, по сути, не смог «передумать», то есть осознать, о чужой гибели... И о своей тоже.

За свои тридцать лет он прошел тюрьмы: ростовскую (где расстреляют Чикатило), новочеркасскую, рязанскую, воронежскую, краснопресненскую в Москве, там же Бутырку и многие другие... И понял, что в них... «человек скатывается до самых глубин бездушия».

Но спрашивается: а до этого? Душа-то была? Так где же она была в момент убийства? Спала? Дремала?

Он хвастается силой: «Природа в этом отношении не обошла меня стороной...» Он прошел «...все режимы содержания заключенного, и они будут достаточным воспоминанием не лучших дней в жизни...»

Где он собирается *вспоминать*?

Он «...не хочет идти искаженным путем к своей цели...»

Какой цели, если он к ней искаженным путем и пришел?

«...Свой светлый путь в будущее хочу строить на светлых и добрых планах... И... искоренив в себе все порочное, идти по жизни ровно, с чистым взглядом вперед...»

Где-то лишь на 19-й странице после многих никчемных слов начинает он живописать свою жизнь. И тут появляются причины (типичные, кстати, для подобного типа преступников), мол, что не было старшего советчика в жизни... (Это после армии-то!) Что всю жизнь, мол, один, без друзей, а старшим другом должен быть отец... А он по пьянке засовывал его, мальчика, под диван, а сам садился сверху...

«Пока мама отдыхает на Черном море, бабуля нас обстирает и оденет во что-нибудь, а так я ходил в старом, залатанном и коротком... И чем дальше, тем глубже я погружался в себя...»

Лишь последнему я поверил: ибо сломленное детство во многих случаях является началом этой дорожки...

Баранов (убил водителя 20-ти лет, свидетеля-спутника и ранил третьего) пишет: «По существу обвинения я признался и раскаялся, хотя смутно помню, как это произошло, то есть не могу объяснить своего состояния в тот день...»

Но далее о детстве: «Мне 27 лет, я не видел светлых дней, родился в крестьянской семье, отец часто пил, устраивал дома скандалы, бил мою мать, они давно не живут вместе...»

Другой убийца, Устинов (в тюрьме вступился за слабого, которого хотели изнасиловать, убил заключенного и не жалеет об этом), пишет так: «Весь преступный мир *вместе со мной* я ненавижу за его подлость, грязь и бесчеловечность...»

А вот убийца таксиста... Он застрелил его из ружья, сел за руль, но застрял в снегу, решил вернуться и увидел, что таксист живой, что он успел уползти на дорогу, тогда он сно-

ва стал добивать его и добил, в голову... Пишет так: «Я один из миллиона новых граждан России, который под влиянием тоталитарного государства был лишен постигнуть с детства высшие идеалы человечества...»

Этот ничего не понял и уже не поймет.

А вот иные слова:

«...Смерть не страшна, заведут в камеру, выстрелят в сердце или в голову, и все, конец жизни на земле. Но душа-то вечна! Но если я не искуплю свой грех, то предстоят вечные муки моей души, а страшней этих мук нет!» И далее фраза из работ француза Шарля Пети, который сказал: «Грешник постигает самую душу христианства. Никто так не понимает христианства, как грешник... Разве что еще святой...»

Но в конце сознается, что «ни разу не читал ни Библию, ни Евангелие, а только выдержки по радио, газетам и книгам...»

Тут самое время вспомнить Федора Достоевского («Идиот»).

«...Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил...»

«...Что с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят?.. Подумайте, если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает... А ведь главная сильная боль может быть не в ранах, а вот что знаешь наверное, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уже больше не будешь, и что это уж наверное... И сильней этой муки нет на свете... Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия...»

Достоевский знал, о чем пишет, ибо сам пережил ожидание смерти. Но правда, нынешние ждут, не зная ни часа, ни минут, у них или долго, или сразу.

Лучше это или хуже, не ведаю, не переживал и не дай Боже. А вот с ума там сходят, знаю точно.

Вот что пишет Станислав Мельников, 31 год, осужден за убийство в ссоре по пьянке приятеля, у которого он отчленил голову и спрятал ее в подвале дома, а туловище положил

почему-то в шкаф. Потом он еще убил знакомую, которая знала о предыдущем убийстве.

Обращаясь к Президенту, он пишет::

«...Но я не прошу Вас помиловать меня. Я прошу Вас подписать мой смертный приговор и дать указание МВД России привести его в исполнение. Я всей душой прошу, чтобы Вы меня расстреляли. Сколько можно издеваться над человеком, даже над приговоренным к смерти... Нельзя без конца унижать человека, кем бы он ни был. Я устал от бесконечного ожидания... Я обращаюсь к Вам не как к Президенту, а как к человеку, русскому человеку! Найдите в себе смелость и силы, чтобы привести в исполнение закон, хотя бы в отношении меня. Потому что я сам этого хочу и прошу об этом, как о великой милости и избавлении от настоящего кошмара. Зачем жить, когда для всех являешься не человеком. Для Вас я убийца, получивший по заслугам, ну, а кем тогда являетесь Вы?! Все те, кто выносит приговор, кто его утверждает и, наконец, те, кто с Вашей руки его приводят в исполнение?

Вы сами являетесь убийцами, даже хуже убийц, так как на помощь себе призываете закон. И это в сто раз хуже и унижительней, и Вы это прекрасно знаете. И поэтому прикрываетесь законом.

Мне надоело писать и стучаться во все закрытые двери законной власти. Зря я надеялся на справедливое правосудие. Везде царит правовой беспредел, и с Вашей помощью в виде попустительства этот беспредел процветает еще больше во всех структурах власти. Тогда о какой демократии Вы ведете речь? Боюсь только одного, чтобы не сойти с ума в этих стенах, ожидая решения своей судьбы.

Дайте же умереть в ясном сознании и здравом состоянии духа и отклоните мое ходатайство о помиловании... Какая Вам разница: одним больше или одним меньше? Ведь с древних времен на Руси было заведено исполнять желание приговоренного к смерти... Неужели Вам так трудно сделать великодушный жест, удовлетворить последнее желание человека... Это письмо — моя последняя надежда, чтобы избавиться от мучительного ожидания и уйти от настоящего кошмара... Это единственное, на что я еще надеюсь».

Не все письма столь отчаянные, как предыдущие.

Вот Сорокин А.В., 35 лет, приговорен к смертной казни за убийство торговца.

«...Раньше книги я читал буквально запоем, а сейчас, кроме Нового Завета, ну, конечно, газет, ничего не читаю. В каждой книге или убийство, или что-то подобное. А тут как-то Э. Лимонова принесли, ну чего там читать-то? Матом я могу и похлеще его загнать. И вообще, бред какой-то. Может, кому и интересно, но сомневаюсь, мне двадцати страниц хватило, чтобы испортить себе настроение, которого и так нет. Я вот лучше анекдот расскажу из нашей жизни: ведут двух на расстрел, а один говорит товарищу: «Слушай, давай рванем в разные стороны, может, повезет, убежим...» А второй отвечает: «Ты что, а вдруг застрелят!»

Заканчивает он так: «Надеются все, не теряю надежды и я... Со мной в камере сидит маньяк и тоже надеется. Так устроены люди. С его приходом стало вдвойне тяжелей... Любое преступление можно как-то понять... Не простить, а хотя бы понять. Но есть такие, что и понять не в силах. И одно дело — читать, допустим, в газетах (а я про него читал), другое — находиться рядом. Скажу честно, раньше бы я не выдержал такого соседства, но сейчас я знаю, что всему судья только Бог. Да и у самого руки в крови.

Второго моего сокамерника вы помиловали, заменили на пожизненное заключение. Вернули его в мир. Он счастлив, рад за него и я. Он ждал своей участи с 91-го года, а значит, скоро и моя судьба решится...»

Это редкое письмо, дающее возможность обратной связи: мы узнаем из первоисточника о настроении смертников в связи с нашей работой. Преступник не жалуется, напротив, исполнен оптимизма и верит в Бога. Это очевидно по отношению к маньяку, которых обычно в тюрьме не переносят и даже устраивают самосуд, о чем я и поведаю ниже. Кстати, маньяк, о котором он упоминает, небезызвестный Головкин, чьи преступления и вправду никому, даже убийце, понять нельзя. О том, что маньяк «тоже надеется», было особенно интересно узнать, потому что даже я, переживающий каждое дело, понимаю, что никакой надежды у него быть не может.

Сорокин датирует свое письмо январем 1994 года. Где-то через год Головкин будет расстрелян. О судьбе Сорокина мне не известно.

Вот еще одна история — по поводу всякого рода соседства в ка- мере, когда разные люди ожидают решения своей судьбы.

Пишет Сергей Свидерский, 23 года, осужден на смерт- ную казнь.

«Поясняю, что я совершил преступление в ИВС г. Рубцов- ска... Меня привезли в камеру, где находились трое: Поляков лежал на топчане, Ушатов лежал в углу на полу, а Маньков возле бачка с нечистотами. Я лег возле Ушатова на пол, в это время у меня было подавленное настроение, так как мне дали большой срок. В эти минуты я думал о родных, они у меня пожилые, а папка больной, может меня и не дождаться. Еще я думал о своих маленьких племянниках. Когда их привезли на суд, то их не пустили, сказали, что они маленькие, а я их очень люблю. Да и вообще, я детей люблю, ради ребенка я готов отдать свою жизнь и ненавижу тех людей, у которых на ребенка поднимается рука, и разве можно этих гадов на- зывать людьми, животные даже так не поступают. Вот только одно плохо, что я не успел обзавестись семьей...»

Сделаю паузу, чтобы представить этого парня, видимо очень инфантильного, его рассказ наивен и «чист, как по- целуй ребенка».

Наверное, он и правда любит своих племяшек, которых не пустили на суд, а вот уж про «людей», у которых подни- мается рука на ребенка, это он предвещает свое поведение, которое закончилось еще одним убийством.

В одном я солидарен полностью: тоже не терплю пре- ступлений против детей, я уже говорил. Возможно, это моя слабость. Но у меня есть союзник в лице бывшего президента Франции Миттерана, который не читал дел, а значит, и не миловал, если жертвами были дети.

Продолжу его исповедь, она поучительна:

«...Когда я лежал, Поляков заваривал чай, а потом мы трое стали пить. Во время чаепития Поляков сказал, что Маньков сидит по 117 статье, часть четвертая, это он зверски над- ругался над трехлетней девочкой. Я тогда Манькову сказал, как ты мог надругаться над малолеткой, тебе что, не хватает

девушек? Расскажи, как все произошло... А он стал отказываться, что не совершал насилия. Я тогда пошел на обман и сказал Манькову, что, когда меня сюда везли, со мной ехал следователь и он рассказал, как ты совершил преступление. И тогда Маньков признался и даже рассказал, как он это сделал. Поляков не выдержал и стал избивать Манькова, и Ушатов бил, а я вспомнил, что у моего друга Сидоренко изнасиловали и задушили 10-летнюю дочь. В эти минуты я просто не контролировал себя, я бил Манькова кирзовым сапогом. Также били металлическим бидоном. Но убивать его у меня цели не было...»

В Лондоне, в старинной тюрьме Prison, мы видели отдельный блок для насильников малолетних, отгороженный от остальной тюрьмы стальной решеткой. Ее должны опускать в случае всяких беспорядков, ибо заключенные в первую очередь расправляются не с администрацией или ненавистными надзирателями, а именно с насильниками над детьми.

На одной из стен этого бокса мы увидели живописную выставку, очень необычную: на рисунках насильников изображалось, как они сами себя представляют. Так вот, это была выставка всяких ужасных рож... А кто-то изобразил себя даже в виде ощеренного хищно черта, с рогами и хвостом.

Я не смог узнать, кто придумал подобный вернисаж, может, сами заключенные; но такое саморазоблачение, такое изображение своей вывернутой наизнанку звериной сути может внушать надежды — и на покаяние, и на исправление.

В нашем случае никаких мук совести насильник, по видимому, не испытывал. Да и реакция стражей, как вы сможете далее прочесть, была более чем спокойна. Они часто не только поощряли такие расправы, но и выдавали информацию о насильниках в камеры, где те сидели. Можно предположить, что и в этом случае кто-то шепнул на ухо тому же Полякову о сто сорок седьмой.

«...Когда мы били Манькова, то в глазок камеры заглянул помощник дежурного по ИВС, но почему-то ничего не сказал, а ушел, хотя мог бы предотвратить преступление. После этого Поляков стал делать удавку. Я понял, что Поляков задушит Манькова. Тогда я сказал Манькову, лучше повесься

сам, но Маньков отказался. Тогда я дал ему лезвие, чтобы вскрыл себе вены. После всего этого мы снова заварили чаю и втроем попили.

Поляков сказал Манькову, чтобы тот снял свои штаны. Потом он из штанов лезвием вырезал полоску материи и накинул Манькову на шею, тот сидел на корточках возле бачка с нечистотами. Поляков, значит, накинул петлю и начал душить. Ушатов встал к двери и закрыл собой смотровой глазок. Подержав немного Манькова, Поляков отпустил жгут. Маньков захрипел. Тогда Поляков снова затянул петлю. И снова отпустил. Маньков лежал на полу и был синий. Ушатов потрогал пульс Манькова и сказал, что он мертв.

После этого Поляков закричал в соседнюю камеру № 12 и пояснил, что он сделал, и спросил, правильно ли, ему ответили, что разберемся на этапе. Дежурный был занят музыкой в четырех шагах от камеры и не поинтересовался, хотя все слышал. Тогда я постучал и позвал дежурного, сказал, заберите труп Манькова. А когда дежурный не поверил, Поляков подошел и пнул его ногой. Даже после преступления я слышал, когда нас возили на санкцию к прокурору, как они между собой говорили, что не было бы у них погон, они бы его задавили собственными руками... На следствии я давал ложные показания и брал вину на себя, потому что молодой и ветер в голове гуляет, не думал, чем это может кончиться. А на суде я давал правдивые показания, но их не учли и дали мне «вышку».

Еще и Ушатов нас просил, чтобы мы не говорили, что он принимал участие, будто он спал. А он сидит по легкой статье, и, когда его освободят, он будет нас «греть», то есть приносить чай и курево».

Кстати, насильники, ожидающие казни, иногда и сами пишут о невыносимых условиях, в которых им приходится жить в тюрьме, «...меня в камере постоянно избивают, — пишет один из них и добавляет: — Бьют по голове... И когда-нибудь так убьют...»

Хотелось бы закончить стихами Кирилла Ковальджи.

*Сам с собою наедине
Можешь вынести приговор,*

*Себя самого поставить к стенке
И расстрелять в упор,
Себя самого схоронить,
Землю яростно затоптать,
Камни тяжкие навалить
И уйти без оглядки в путь,
Радостно и легко,
Полной грудью вздохнуть
Глубоко-глубоко!*

МОЛЕНИЕ О КАЗНИ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Дело Воронцова, о котором я упоминал, мало похоже на уголовные, привычные для нас дела. Это первый, пожалуй, в нашей практике случай политического терроризма.

Будет у нас еще одна трагическая история — отчаянного и смелого порыва в борьбе против тоталитарного режима, я имею в виду дело Саблина. Но о нем далее.

Итак:

Воронцов Владимир Глебович, 1945 года рождения... 11 января 1991 года, вооруженный обрезом, вошел в кабинет главного редактора калужской газеты «Знамя» и трижды выстрелил в хозяина. На звук выстрелов вбежал фотокорреспондент, но Воронцов угрозами заставил его уйти, через дверь дважды выстрелил для устрашения и ранил, фотокорреспондент умер в больнице.

Потом Воронцов разыскивал начальника строительного управления № 6 и секретаря партийной организации «Калугастрой», но им повезло: он не нашел их ни дома, ни на работе. Странно, конечно, у нас работают, но в данном случае, где бы они ни шлялись, это спасло им жизнь. Воронцов же успел еще застрелить председателя профсоюзного комитета, прежде чем его схватили.

Воронцов на допросе заявил, что свои действия не считает преступлением, поскольку совершал их по идеологическим мотивам, так как убежден в необходимости физического уничтожения коммунистов.

Хочу привести несколько строк из психолого-психиатрической экспертизы:

«Его воспитанием никто не занимался, но в доме было много книг. Из ложного чувства героизма принимал однажды участие в ограблении и избиении граждан. Сам лично пришел к выводу, что во всех бедах в нашей стране виновато коммунистическое руководство. Когда был опубликован проект конституции, это стало своего рода толчком к проявлению всех тех мыслей, которые он носил в себе. Решил выразить свое отношение к документу, забрался на верхушку колокольни одной из церквей Ярославля, откуда в течение нескольких часов выкрикивал различные лозунги о том, что нет мяса, рыбы...»

Приехала милиция, противопожарная служба, уговаривали слезть. Когда захотел пить, спустился сам. Тут же был задержан и препровожден в психиатричку. В бумагах написали: «Задержан работниками милиции в связи с тем, что, забравшись в верхнюю часть церковной колокольни, начал громко выкрикивать политические лозунги, восхваляющие конституцию, но к себе никого не подпускал, бросал камнями. С трудом был снят после длительных уговоров. В милиции признал в милиционере своего брата, целовал его... Временами был плаксив, потом смеялся. Окружающих называл агентами, провокаторами, но не знает, какое число, месяц, место нахождения — в каком городе находится. Не мог назвать свой адрес. Заплакал, когда спросили, лежал ли он в Кащенко: «Не напоминайте мне его имя, я с ним вместе лечился...»

Далее, в психиатричке он много фантазирует, и о себе и о родителях. Диагноз: «шизофрения, приступообразно-прогредиентное течение». В другой раз: «шизофрения, аффектно-бредовый приступ».

Впоследствии он объяснял, что это была симуляция для получения «белого билета», позволяющего говорить все, что думаешь. И что на колокольне он излил душу, ибо мог кричать и сказал все, что хотел. С семьей дела обстояли неважно. Жена, по его словам, стала раздражать, вызывала неприязнь, и, получив жилплощадь, он оставил ее семье, жене и дочке, а сам поселился в общежитии.

Через некоторое время завел другую семью; вторая жена имела дочь от первого брака, жили мирно, и только в дни, когда он напивался (это случалось 3–4 раза в месяц), он становился плаксив, рыдал, говорил, что у него на глазах кого-то убили и ему срочно надо уезжать. Трезвый, по

словам жены, был нормальным человеком без странностей, лишь временами, «несмотря на сдержанность, прорывались у него слова о ненависти к коммунистам, особенно к тем, кто занимал руководящие посты и должности...»

По отзывам же приятеля, после выпивки на работу не шел, а обычно лежал, укрывшись с головой, не ел, не пил, а весь день «страдал». В это время мог произносить всякую ерунду не по существу. Был случай, когда в состоянии опьянения хотел выброситься из окна общежития. Впрочем, мог потом не пить месяцами — до года и больше. Производил впечатление уравновешенного, душевного, отзывчивого, вежливого и развитого человека, обаятельного в общении, способного найти подход к людям. Всегда был аккуратно одет, следил за своим внешним видом. Умел владеть собой, руководить своими поступками в любой обстановке, никогда не ввязывался в ссоры и перепалки.

Но в то же время: «Большой правдолюб, не терпел несправедливости, мог сказать правду любому человеку, невзирая на положение и должность». Постепенно, по его словам, он пришел к выводу о необходимости борьбы с коммунистами из номенклатуры путем их физического уничтожения.

Прервусь, чтобы немного поразмышлять о нашем герое. Несмотря на противоречивость характеристики, можно представить себе тип правдолюбца, борца за справедливость. Хотя как можно сочетать такие качества, как, скажем, душевность, отзывчивость, и тот жесткий экстремизм, который подразумевал физическую расправу?

Что касается политического террора, то мы это, как говорят, проходили, история хранит немало всяких примеров такого рода, от обаятельной и милой Веры Засулич до старшего брата Ленина, Александра Ульянова, и Каляева. Я уж не говорю о героях романа Достоевского «Бесы». История вынесла свой приговор, но она не дописана, и даже конца не видно: последние трагические события в Америке и дьявольский образ Бен Ладена подтверждают сказанное.

Случилось, торопился я по делам в Администрацию Президента в Кремле и на Ивановской площади обратил внимание на группу рабочих, которые вскрывали асфальт, а через

некоторое время извлекли из земли захоронение великого князя, павшего жертвой революционного террора (в него бросил бомбу Каляев). Теперь его прах в связи с реконструкцией Кремля переносили в другое место. Специально для него, пока шли работы, была поставлена прямо на брусчатку брезентовая оранжевого цвета палатка.

Рабочие перекуривали, спорили о погоде и последнем сериале на телевидении; мощи, скрытые за брезентом, особого интереса у них не вызывали. А когда я спросил, как же выглядит великий князь, они отвечали небрежно: «В военной форме, только без головы... Голова-то у него тряпочная...»

«Вот и весь результат», — подумалось тогда. И стало грустно. Тем более что Каляев тоже пошел на казнь и тоже (!) не просил о помиловании. Наоборот, он писал из Бутырской тюрьмы: «...Прошу вас... не ходатайствовать перед государем о даровании мне жизни. Я не приму помилования...» И был повешен. О Бен Ладене тоже говорят, что он не боится смерти.

Старый краснокирпичный двор Кремля под летним солнцем, милиция, регулирующая проход и проезд, ряды чернولاковых машин у подъезда резиденции Президента и этот ремонт... И никого уже ни герои террора, ни их жертвы не интересуют... Даже священника нет.

А кстати, жизнь-то Воронцова, который не просит о помиловании, в этот самый момент, когда я стою посреди площади, будет решаться или уже решается здесь, рядышком, на столе у Президента. Но я сейчас не о судьбе и даже не о характере Воронцова, хотя именно характер и предопределяет судьбу.

Такие «субъекты» были во все времена, и почти всегда они были в конфликте с окружающим их миром. В прошлом веке они уезжали на Кавказ, бились на дуэлях, готовили заговоры, стреляли в царя... Нынешние сами просились в Афганистан, в Приднестровье, в Чечню, в Югославию.

Обостренное чувство якобы творящейся вокруг несправедливости, свойственное им от природы, обычно перерастает в болезненное чувство непереносимости любой несвободы, даже той несвободы, которой нет. А значит, любой власти, которая олицетворяет эту несвободу (или свободу). Отсюда уже недалеко и до личных действий, до того же терроризма. А уж против кого он будет направлен, дело второстепенное.

Воронцов, начиная с 1986 года, хранил изготовленный им кинжал, мелкокалиберную винтовку, патроны, ружье, из которого сделал обрез. В эти же годы он установил места работы и жительства ряда номенклатурных лиц, в том числе и работников Калужского обкома КПСС (теперь уже бывших), исполкома областного Совета, секретарей парткомов предприятий и профсоюзных работников ряда строительных организаций. Понятно, что эти последние были должностными лицами из той отрасли, где сам Воронцов и работал. Он выслеживал их пути движения, составил список из 15 человек — надо полагать, самых опасных для страны лиц.

И далее как результат: убийство главного редактора газеты, которая была органом и рупором здешнего обкома партии. Полагаю, лживым рупором, как и вся партийная пресса того времени.

Был убит, как я уже писал, и профсоюзный деятель по месту работы Воронцова. Этот террор носил конкретный характер и осуществлял наказание тех лиц, которых знал исполнитель и в неправедных деяниях которых он был уверен (вспомните другого заключенного, уголовника, который убивал «нехороших людей»). Этаким народный мститель типа Зорро калужского масштаба. Был еще и Дубровский... Но там хоть у человека усадьбу, дом отняли.

На допросах Воронцов вел себя уверенно, даже гордо, рассуждения были четки, подчас излишне пространны, но достаточно последовательны и логичны. В то же время у него полностью отсутствовали элементы сожаления и критической оценки содеянного: убийства двух ни в чем не повинных людей.

В документах отмечено, что был высокомерен, упорно отстаивал свои убеждения, отмечено наличие «переоценки своих возможностей...» Но (!) нарушения мышления, памяти и тому подобного не обнаружено.

Правда, исследователи от медицины делают и другой вывод, противоположный своим же первым выводам... О том, что «...он перенес четыре кратковременных психических состояния недостаточно ясной нозологии с последующим формированием психического склада личности параноидальной структуры с определенным общественным мировоззрением...»

Что означает последнее — по поводу «определенного мировоззрения» — знают, наверное, только специалисты из Института им В.П. Сербского, но они как раз знамениты тем, что и не такие диагнозы закатывали!

А вот что сама личность о своих действиях повествует:

«...Когда шел в редакцию газеты, очень волновался, но в кабинете волнение прошло, испытывал только напряжение». «Встаньте!» — так он сказал редактору, прежде чем выстрелить. На суде потом исказят, написав, что он крикнул: «Встать!»

«Уходя после выстрелов, уже на пороге дома, вспомнил, что оставил дипломат с газетой (их газетой), в которой был указан домашний адрес и фамилия... Сердце екнуло и понял: провал... Его величество случай сыграл свою роль, первый шаг оказался последним. После второго убийства сам пришел в милицию, знал, что все равно найдут...»

И далее с некоторой бравадой пишет о том, что он сделал то, что хотел и смог, и что нисколько не жалеет о гибели этих двух... И третьего (фотокорреспондента), в которого «стрелял незаслуженно».

И далее сообщено вот что: «Во имя своих убеждений и жизнь положить не жалко». Так ведь и революционеры и их вожди, вплоть до Сталина, во имя убеждений не жалели чужих жизней. И в этом плане Воронцов, как он сам сознается, «действует не лучше коммунистов». А диагноз, поставленный нашему террористу, наводит на мысль, что вожди пролетариата были по меньшей мере шизофрениками.

Читайте замечания Бунина о Ленине.

Он отлично понимал, с кем имеет дело (это о врачах «Сербского»), и просил, чтобы его признали человеком здоровым, ибо «...если шизиком признают, будет обидно, самолюбие пострадает...»

О нем еще сказано: «Проявляя холодность к потерпевшим, пренебрежение к окружающим его лицам, он очень тепло отзывался о своей матери и жене, при этом волнуется, мрачнеет, тяжело вздыхает, с чувством горечи заявляет: «Это моя боль». Но подчеркивает, что его жена в сложной для нее ситуации проявляет самоотверженность и самопожертвование».

В заключение в медэкспертизе указывается, что «в отделении института ведет себя упорядоченно, много читает,

следит за событиями в стране и за рубежом. Всегда аккуратен, следит за своим внешним видом, временами бывает задумчив, тосклив. В обращении с персоналом вежлив...»

О помиловании Воронцов не просит.

Было от него письмо, адресованное лично Б. Ельцину по поводу событий августа 1991 года, и повторное, которое сохранилось в деле, там слова: «Я убежден и сейчас, что мои действия не являются преступлением, а лишь... частица заслуженного наказания — возмездия всех властвующих коммунистов, государственных преступников и самой КПСС. Не я придумал этот «метод», которым на протяжении десятилетий пользовались власть держащие против своего народа, я всего лишь повернул его против них. В то время я видел в этом единственную возможность пресечь, наказать зло, ложь, несправедливость, которые творила КПСС... Сейчас, конечно, любые подобные действия — невозможны...»

Вот здесь он сам подтверждает идентичность террора, подобного тем, с кем он борется, но в одном ошибается: такие и любые методы еще как возможны у нас в России!

Он — далее — выражает недоверие, что возможен суд над коммунистами... «Это невозможно и бессмысленно. Поэтому только я решил на свои действия».

Он подтверждает, что у него в списке было еще 14–15 фамилий... «По каждому из них имелся материал и факты их преступных деяний... Может, мои действия — это глупо, безрассудно, но всему есть предел, нестерпимо было дальше жить во лжи, в страхе, в зле и ничего не делать. Мои действия — это тот самый приговор, который вынесло им время...»

И вот уже в адрес нынешнего строя, которого он так жаждал и во имя которого боролся.

«...Столь длительное содержание человека, приговоренного к смерти, в нечеловеческих условиях роднит правосудие свободной России с так называемым правосудием бывшего государства СССР элементами садизма и издевательства над человеком. Святая инквизиция могла бы позавидовать столь изощренной пытке. И это в стране, говорящей о демократии и ставящей человека на первое место в государстве... Дай-то Бог, чтобы так было на самом деле в России. С искренним уважением к Вам, Борис Николаевич. 92 г.»

А вот параллельное письмо в деле, подписанное: «Просто калужанин».

«Ваше высочество! Господин Президент!

Убийца Воронцов просит о помиловании и отмене ему смертной казни (а он и не просит как раз!). Он не знает, чего просит. Потому что в расстреле нет никакого наказания и тем более «высшей меры»: не успеешь вздохнуть, а тебя шлепнут в затылок. Расстрел — это и есть помилование. Наказание же будет состоять в том, чтобы переносить все невзгоды: голод, холод, труд, «битье», оскорбления, тоску по воле, по семье. То есть перенести все лиха, вот что такое «высшая мера» наказания. Тогда, после покаяния за всю жизнь, когда о себе заплачет, тогда Воронцов узнает, что такое «высшая мера»...»

Но там, в письме, есть и упреки в его адрес, зачем, мол, спешил, они (наверное, имеются в виду жертвы) все равно погибли бы без его участия, и без него бы их прихлопнули... (Интересно кто?) А теперь у него дети остались опозоренные, жена будет биться в тяжелой жизни, тоже, по сути, будет нести «высшую меру» наказания.

Далее автор письма советует Президенту: замените вы, Борис Николаевич, ему, Воронцову, расстрел на каторгу, а его жилищные условия улучшите, чтобы не растить больше убийц.

А юрист из Астрахани уже впрямую проводит параллель с прошлым временем: «Ведь император Александр III готов по-христиански простить покушавшегося на него А. Ульянова при условии, что тот раскается в содеянном. Но Ульянов не раскаялся, следовательно, оставался опасным типом и тем подписал себе приговор...»

А вот еще одно письмо Воронцова, теперь прямо к нам, в Комиссию.

«...Жалко даже незнакомого человека, с которым произошло несчастье... Жалко и тех двух (идут фамилии жертв), но как личности ни тот, ни другой не вызывают жалости... Оба относятся в категории власть держащих... Через газету «Знамя», при активном участии «главного», долгие годы пропагандировалась и распространялась преступная и антинародная политика КПСС. Одурачивали сотни тысяч людей. После 90 года он (фамилия «главного») клеветал на депутатов-демократов... Всячески стремился подорвать веру

в демократические преобразования в России... Ни один из тысяч рабочих не откликнулся на просьбу сдать кровь для раненого корреспондента...»

«Возмездие не есть преступление, — пишет он далее. — Я не преследовал личных, корыстных целей...»

И о суде: «Назначение судьи и прокурора осуществлялось с согласия органов КПСС. Суду было необходимо выставить меня таким жестоким, бессмысленным убийцей... Но в этот же день, покинув редакцию, я заходил в учреждения, на квартиры, где встречал детей и женщин (видимо, когда искал «других по списку»), разговаривал с ними, но никто даже не подумал об опасности для себя...»

Обращаясь к самой Комиссии, он пишет: «Мое обращение к вам не просьба о помиловании. На счету «соцправосудия» десятки миллионов расстрелянных людей, одной несправедливостью больше или меньше, не имеет значения. Суть обращения вот в чем. Уж если правосудие социалистического государства приговорило меня к смерти, оно должно быть последовательно до конца. Пусть убивает. Сколько можно ждать. Содержание человека годами в полутемном сыром подzemелье, без воздуха и света, при этом прикрываясь гуманностью, не делает чести России как будущему правовому государству... Надеюсь, это обращение к Вам ускорит решение моей судьбы. 17.08.93 г.»

И последнее письмо, написанное еще через год:

«...Это изощренный садизм, бессмысленность столь длительной отсрочки очевидна...»

Он даже не догадывался, что тут и не может быть смысла, а есть лишь казенное прохождение через бюрократический аппарат его дела. Но аппарат-то и вправду тот самый (как и суды, и прокуратура, и ГУЛАГ), с которым он столько времени боролся!

«...Что и говорить даже о каких-то угрызениях совести, о душевных муках смертника — глупо. Все эти душевные и психические переживания человек испытывает лишь в первые недели после приговора. Человек, если не сходит с ума и не кончает жизнь самоубийством, думает и воспринимает смерть почти равнодушно. Он уже пережил, прошел через нее, и она его не страшит...» И уж точно к нам: «Вы, люди,

решающие вопросы жизни и смерти тоже людей. В чем цель и смысл убийства по закону? Неужели только в том, чтобы убить безнаказанно? Я прошу у вас милости, пощады — нет. Я напоминаю вам о своей просьбе (двухгодичной давности) об исполнении приговора социалистического правосудия...»

Комиссия не тянула с этим делом, она знала о нем еще из газет. Мнение у нас было однозначным, мы рекомендовали Президенту помиловать Воронцова и заменить ему смертную казнь тюрьмой. Мы понимали, что это безусловно больной человек. Он был корень от корня прошлой системы и хотел при помощи зла сделать добро.

Но это уже был период, когда Администрация, ее бюрократический аппарат, подмяли под себя власть, и наши дела попадали к Ельцину бумажечкой, которую писали люди из его окружения. Я подозреваю, что это мог делать и Вергилий Петрович. Он тоже, в общем, был частью той системы, из которой вышел Воронцов. Бумажка с некоей не известной нам резолюцией клалась поверх наших решений и сама была решением. Ей-то и последовал Президент, подписав Воронцову смертную казнь... Не успел вздохнуть и — в затылок, как писал провидец из Калуги.

Он эту систему знал, видно, получше Воронцова, говоря, что расстрел — это и есть помилование...

Тот год, девяносто пятый, на казни вообще оказался самым урожайным для новой власти: было расстреляно около сотни человек... Среди них был и он, который в отличие от остальных просил о смерти.

УБИЙЦА — ПРОКУРОР (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Это дело и для нас было слишком необычным, потому что к смертной казни был приговорен районный прокурор, совершивший убийство. И убил он не по пьянке, не из ревности или любви, а лишь из-за денег.

Несмотря на нашу установку в тот первый год работы только миловать, именно его кандидатура не вызывала сомнений в том, что многие — из разных побуждений — проголосуют за отклонение. То есть за расстрел.

Но начнем с дела.

Шараевский Вячеслав Николаевич, 1958 года рождения, русский, образование высшее, женат, имеет двоих малолетних детей, несудимый, работавший прокурором Глинковского района Смоленской области.

Это, кстати, район, где родился мой отец и где проживали мои предки по отцовской линии.

По делу также осужден Шараевский Виталий Николаевич, его брат, который на девять лет моложе.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Шараевский Вячеслав, работая прокурором Глинковского района, был знаком с кассиром совхоза «Устромский» Рогошенковой, знал, что она периодически получает в районном отделении «Агропромбанка» деньги, и решил ими завладеть. Он вовлек в осуществление своего плана младшего брата, Виталия, изучил порядок получения денег в отделении банка, выбрал время и место нападения.

21 августа 1989 года, узнав, что Рогошенкова приехала в банк за деньгами, Шараевский встретился с ней в центре поселка и условился, что отвезет ее до совхоза на служебной машине. Шараевские посадили в машину кассиршу и сопровождающего ее бригадира Артемова и повезли в сторону совхоза. В пути за разговором от Артемова они узнали, что Рогошенкова получила, к сожалению, небольшую сумму денег и приедет за остальными, много большими, только на следующий день. План нападения был изменен.

На другой день Рогошенкова приехала уже с заместителем главного бухгалтера Прохоровой. Бригадиру Артемову здорово повезло, его разговорчивость сохранила ему жизнь. На суде он говорил, что, когда Шараевский их подвозил, он поинтересовался, получили ли они деньги, из чего понял, что прокурор располагает данными о финансовом положении совхоза и о том, что там давно не выдавали зарплату.

Вместе с братом Виталием Шараевский посадил женщин в машину, привез их на опушку леса возле деревни Беззаботы (название-то какое!), где они и расположились выпивать.

В документах нет сведений, но можно из содержания дела понять, что районного прокурора и Рогошенкову связы-

вало не только знакомство, но и личные отношения. Иначе кассир не была бы столь откровенной насчет денег, да и выпивать по пути из банка с кем попало, даже с районным прокурором, вряд ли стала бы.

Но это лишь усугубляет его вину.

В то время как младший брат отводил кассира к машине, Шараевский, как записано в деле, напал на Прохорову, нанес ей двенадцать ранений в различные части тела, а его младший братишка в это же время нанес Рогошенковой топором пять ударов по голове. После этого братья сбросили женщин в находившуюся неподалеку яму. Услышав, что потерпевшие подают признаки жизни, наш прокурор лопатой нанес каждой из женщин по несколько ударов по голове.

В свидетельских показаниях сказано, что кто-то из женщин застонал, и тогда Вячеслав, то есть старший брат, несколько раз ударил лезвием лопаты «в область лица».

Это еще живого лежащего человека. Сам он пояснял, что у нее (у Рогошенковой) были открыты глаза, и, чтобы она их закрыла (такой вот необычный способ), он и нанес ей удары по лицу.

Но «открыты» означает, что она смотрела, значит, была еще живая?

В заключении судебной экспертизы обозначены у Рогошенковой «перелом теменно-височной области, ушибленная рана левой лобно-височной области и разрушение лицевого скелета...»

Все эти подробности привожу не для того, чтобы пощекотать нервы, а для точности картины, которая выявляет крайнюю жестокость убийцы. Тем более что «причиной смерти Рогошенковой явились, как выяснилось, тяжкие повреждения головы...»

Она и правда была жива и могла напоследок увидеть своего убийцу.

Большую часть денег они с братом сложили в две трехлитровые банки и закопали на картофельном поле.

Сам Шараевский свою вину в судебном заседании практически свалил на брата, а он якобы отошел посмотреть, не следит ли за ними милиция (только почему она должна была следить?), а когда возвратился, застал брата около двух трупов. Нанеся свои удары лопатой, он и брат уехали,

а через двое-трое суток ночью пришли на место убийства и трупы перенесли, выбрав место под рулонами сена. Труп Прохоровой не помещался в яме, и тогда Шараевский стал бить по нему лопатой.

Обрубал, укорачивал. Тоже вполне наглядная картинка!

Младший брат на суде рассказал по-иному и точнее. Примерно так, как записано в деле. Но еще во время следствия старший брат попытался передать младшему записку, ее перехватили. В ней он наставлял брата взять всю вину на себя, ибо ему по возрасту казнь не угрожает.

Деньги в банках откопали: тридцать тысяч девятьсот сорок шесть рублей восемьдесят копеек. В реке Устром были обнаружены принадлежащие женщинам сумки, отрез материала (видно, для того и ездила Прохорова в район, чтобы что-то себе купить), авторучка, губная помада, кошелек с ключами и бланк ведомости... Там же, на дне водоема, нашли и нож, которым прокурор убивал Прохорову.

Районный прокурор Шараевский был осужден к смертной казни, его младший брат, Виталий, — к 15 годам лишения свободы.

И все-таки трудно представить себе районного прокурора, современного молодого мужчину, с многообещающей карьерой, общественника, с наилучшими характеристиками по службе, решившегося из-за денег на убийство двух женщин... Одна из которых к тому же была его возлюбленной.

Но вот на суде были предъявлены и другие обвинения, и они хоть в малой степени, но добавляют к благостному образу нашего героя некоторые черты. Так, выяснилось, что было возбуждено прокуратурой дело на двух злостных хулиганов, но Шараевский, как написано, злоупотребляя служебным положением, из личной заинтересованности (с родственниками осужденных у него были дружеские отношения) сфальсифицировал следственные материалы: он уничтожил реальные протоколы, а вместо них составил другие, подтасовал подписи свидетелей и в результате освободил виновных от наказания.

Это что касается методов его работы.

Но и в быту, как выяснилось, поведение было не многим лучше.

Сохранились документы, их зачитали на суде, как районный прокурор и двое его младших братьев, находясь в деревне Ново-Брыкино, ночью возле клуба пристали беспричинно, из одних лишь хулиганских побуждений, к человеку и стали его избивать. Наш каратист, спортсмен и тренер, я все о прокуратуре, показывая младшеньким пример, первым нанес потерпевшему удар по горлу и в грудь, после чего в бой вступили братья и избили незнакомца кулаками.

Но пожалуй, главный документ — это ходатайство Шараевского, написанное через год после осуждения, оно-то и дает возможность рассмотреть смертника получше.

После исходных данных, которые нам известны, и приговора сразу идут такие слова: «Всю сознательную жизнь я добивался права называться полезным для общества человеком, добросовестно трудиться. В 1966 году у меня погибла мать. Я рос в многодетной семье, воспитывался мачехой, детство прошло в тяжелых условиях. В школе учился без троек, несколько лет был главным художником школы, увлекался художественной самодеятельностью, в 1974 году за 2 место на областном конкурсе был награжден телевизором...»

Столь ли существенно, были у него в школе тройки или нет, и даже эта самодеятельность и премия для грешника, который, наверное, должен писать о чем-то ином и прежде всего каяться? (Как начинает другой убийца: «Стыдно писать и стыдно жить после всего, что я натворил, я пишу и плачу...») Но я специально привел такое начало, потому что и далее пойдут перечисления многих его собственных «достоинств».

Вот он поступает в ГПТУ, и там он... комсорг группы, староста общежития, разрядник по вольной борьбе.

В Саратовском юридическом институте он, разумеется, «активно занимается общественной и научной работой, спортом, избирается комсоргом группы, на конференции... награжден почетной грамотой... Стал инструктором по туризму...» и пр. и пр.

«...Работая над собой, я окончил факультет общественных профессий... искусствовед живописи... Мои фотоработы опубликованы... в книге «Туристскими маршрутами...»

Хочется прервать этот слащавый поток самовосхваления и спросить его, как мужчина мужчину, ну, работал над собой, ну, искусствовед, ну, фотографии в книжке... А сам-то что-нибудь человеческое обрел, для души? Или так и остался выхолощенным общественником и комсоргом группы?

И вот он заместитель прокурора Глинковского района... Тот же поток, меняются лишь названия: «Привлекался к участию в следственных бригадах, расследовавших сложные уголовные дела... Мое самостоятельное дело было опубликовано в Бюллетене... в разделе «положительный опыт»... И другое дело в другом Бюллетене...» «За проявленное мастерство... добросовестное выполнение своих обязанностей... неоднократно поощрялся... Мне объявляли благодарности, выдавались денежные премии...»

Не надоело? И это ведь не автобиография на выдвижение еще на одну премию и даже не предисловие к сборнику «Туристскими маршрутами»...

Это такое его покаяние.

Впрочем, каюсь, он и слова такого не знает.

Он нагл и самоуверен. И его действия таковы, и его слова.

Он ищет отклик у высших партийных судей, потому что уразумел, что им понятен именно этот язык. Да вот беда, пока писал да письмо ходило по инстанциям, ушли бывшие хозяева (как кто-то их однажды определил: «кепесесовцы»), и все его доблести стали казаться стыдными.

Но есть в биографии особенная страничка, которая служит ключом ко всему остальному, а может, и к самому преступлению.

«...В период с мая 1984 года по июнь 1985 года я принимал участие в работе следственной бригады Прокуратуры СССР под руководством Т.Х. Гдяна в Узбекистане, внося свой вклад в дело восстановления социалистической законности... за что Генеральным прокурором СССР был награжден ценным подарком. Из характеристики, данной на меня Гдяном, следует, что за время работы в бригаде как следователь и как человек я зарекомендовал себя только с положительной стороны...»

Зная, хотя бы по делу Чурбанова, которое я уже приводил в этой книге, о методах работы Т.Х. Гдяна и о сфабрико-

ванных им делах, можно представить, какую опасную школу прошел наш прокурор, который и до этого не был столь человечен. Положительная характеристика Гдяна только подтверждает мои опасения: все, что было в Шараевском дурного, на основе такого руководства укрепилось и стало приоритетным для его дальнейшей жизни.

Далее в прошении, в духе докладов на районной конференции правоохранительных органов, идут цифры снижения роста преступности по району, сведения о том, какое место занял район в области...

Интересно, насколько изменились эти цифры после убийства, совершенного самим прокурором и его братом?

И далее: «...Работая прокурором, я занимался общественной работой, как член первичной партийной организации райисполкома был ответственным за работу с молодежью... занимался... вовлекал... вел...»

Только вот вопрос: входило ли вовлечение младших братьев в хулиганские драки, а потом и в убийства, в его задачу по работе с молодежью?

Даже критические высказывания в адрес следственных методов Гдяна и Иванова, вынесенные на обсуждение в ту пору Верховного Совета, он пытается повернуть в свою пользу, сообщая, что это «могло в значительной степени отразиться на объективности ведения и выводов следствия по моему делу...»

О самом же убийстве коротко и лживо: «...Все происшедшее со мной является случайным стечением обстоятельств... Я виноват в том, что, став невольным свидетелем действий брата, сам встал на путь преступления...»

Ловко, да? Спихнул на брата, а себя винит лишь за то, что видел, как тот убивает... Ну, там, штыком лопаты «закрыл глаза»...

Да нет, он виноват, конечно... Но в чем?

«...В том, что случилась трагедия, я считаю в большей мере виновным себя, мое моральное падение привело к гибели двух хороших людей, и только потому после случившегося я принял решение разделить ответственность с братом, стал вводить следствие в заблуждение, пытаюсь увести его (брата) от ответственности либо смягчить ее. Своим легкомысленным поведением я создал условия для

совершения преступления и обязан понести наказание за свое головотяпство...»

Ну что же, оценка себе дана. Просторная в саморекламе и короткая в выводах: головотяпство. А за это, знаете ли, пожурить могут, ну на вид поставить, но не расстрел же, в конце концов!

Он еще добавит, мол, в своей жизни всегда разделял мнение, что садистов и изуверов нужно уничтожать, «...но убедительно прошу вас поверить, что я не являюсь таковым подонком...»

Является. Бесспорно. И кого нужно уничтожать, он тоже знает: всех «изуверов», кроме него.

А вот коллектив рабочих совхоза «Устромский» обратился со многими подписями к властям и к нам не допустить нарушения, как они пишут, справедливого решения суда, ибо «...занимая такую высокую должность, как прокурор района, совершил зверское правонарушение — убийство людей, а также дискредитацию и подрыв авторитета советской юстиции и правоохранительных органов в целом и должен понести суровую расплату за отнятые жизни...»

Кстати, обе женщины были, по-видимому, одиночки. В деревне работают одни бабы.

После иных дел, в которых осужденные могут заинтересовать нас сложной судьбой, покаянием, даже творчеством, сам прокурор представляется личностью плоской и не вызывает интереса для человеческого исследования. Но общественно он, безусловно, интересен. Он безнравственен и беспринципен, однако быстро идет в гору, его хвалят, награждают, ему доверяют... Постепенно он обретает все черты человека власти, которому все дозволено: подтасовать дело, избить прохожего, убить возлюбленную из-за денег.

Этот тип узнается в большей или меньшей степени во многих сегодня, кто не успел кого-то убить, добить или ограбить (или не был с этим пойман) и теперь владеет судьбами миллионов моих сограждан и наводит среди них законность и порядок. Как наводил во вверенном ему районе свой порядок наш убийца-прокурор.

Ну а результат в этом деле и впрямь оказался неожиданным.

Все склонялось к единодушной «немилости» нашей Комиссии. У меня сохранилась в тетради запись обсуждения.
Священник:

— Господь посылал наказание не как месть, а как возможность обезопасить общество... Здесь нельзя говорить о невозможности осознания совершенного. Через двадцать лет он будет другим.

Булат:

— Я бы поддержал, если бы не прокурорская должность.

Женя:

— Он человек сильный, попав в места заключения, сможет помогать и организовать других.

Вергилий Петрович:

— Он попадет в номенклатурный лагерь, где Чурбанов, в другом лагере его просто убьют.

Врач (к Священнику):

— Но ведь вы утверждали, что таких забросают камнями?

Священник:

— Но не мстить... Главное, видим ли мы, что в этом человеке сидит другой!

— А если не сидит? — спросил кто-то.

— Но концовка... Концовка ходатайства, что нужно уничтожать всякую мразь... А представьте, что он здесь среди нас сидит и решает... — ответили ему.

— Но мы-то не такие?

Но тут свой голос в защиту подал наш искушитель Вергилий Петрович. Произнес он хитро:

— Если вы вступаете на этот путь (в смысле казнить), то вам надо пересмотреть и другие свои решения. Не так ли?

Деликатно, но как бы и пригрозил.

Но судьбу прокурора решил не он. Решил наш Священник, который и прежде посылал смертникам Библию, вел с ними переписку. Он зачитал несколько писем, свидетельствовавших о переосмыслении Шараевским прожитой жизни, о приходе его к Богу.

Мы, надо честно сказать, не поверили письмам, уж очень резкая перемена, после поразившего, даже контузившего нас приведенного здесь ходатайства. Большого саморазоблаче-

ния уж и не бывает. Но мы на время отложили дело, пока Священник в борьбе за справедливость (и за жизнь смертника, конечно) съездил лично в Смоленск, посетил Шараевского в тюрьме, поговорил с ним и привез очевидные свидетельства необычного перерождения этого человека.

После всего этого мы, кажется, поверили, но не до конца. Мы имели право сомневаться в нем. Но, сомневаясь — иные сильно, и я в том числе, — мы голосованием (с небольшим перевесом) сохранили ему жизнь.

Как у меня сказано в дневнике: «Сомневаясь и страдая от своих собственных сомнений...»

Верил, кажется, лишь один Священник, а мы, глядя на него, тоже старались поверить. И нам это удалось.

С тех пор минуло около двенадцати лет, все это время отец Александр посещал тюрьму «пожизненников», она расположена в бывшем монастыре на острове Огненном посреди озера Белого на Вологодчине, его снимал в своем фильме «Калина красная» режиссер Василий Шукшин. Отец Александр ведет с Вячеславом Шараевским переписку, помог ему напечатать в журнале документальный рассказ: «Исповедь смертника». В этой «исповеди» Вячеслав Шараевский шаг за шагом расследует свою собственную жизнь, показывая, как в казенных условиях работы прокурора деградирует душа человека, не имея твердых убеждений и нравственной опоры. «В те дни я окончательно присвоил себе право самочинно, самолично определять истинность вещей и понятий, самому решать, что законно, что нет, что правильно, что неправильно... Я присвоил себе право решать по собственному усмотрению людские судьбы — а отсюда уже оставалось совсем недалеко до присвоения себе последнего права: права решать не только кому радоваться, а кому плакать, но кому жить, а кому — нет... О том, что происходит с человеком, решившим, что выше него, над ним никого нет, сказал своим Смердяковым Достоевский: если выше — никого нет, значит, каждый себе и Бог, и Закон, и Судья. Значит, никаких «нельзя» больше не существует, необходимость в следовании каким-то принципам, заповедям — отпадает. Отпала она и для меня...» И далее, цитируя оптинского старца, он пишет: «...это начало философии зверя».

Это про себя.

Кто бы мог более жестко, даже жестоко, беспощадно оценить свою жизнь, чем сам Шараевский, и уже одно это дает повод думать, что мы, решая его судьбу, не ошиблись.

Повествуя о том, как все происходило на самом деле, он скажет:

«Безусловно утверждать, что именно профессия сделала из меня убийцу, — недопустимо; вся ее роль в моей деградации сводилась только к тому, что ее специфика лишь ускорила уже начавшийся во мне процесс духовного распада. Разрешение убивать мне было продиктовано моей гордыней, самомнением, самопревозношением, склонностью к небрежению интересами окружающих...» И далее: «...в тот вечер я взял карандаш и посекундно расписал план операции. В качестве объекта нападения я выбрал конкретное хозяйство, конкретного кассира — то есть Ковалеву...»

«Впоследствии ни следователи, ни судьи, ни просто знавшие и не знавшие меня люди никак не могли понять, как мог я, следователь-профессионал, пребывая в трезвом и здравом уме, пойти на совершение преступления при наличии стольких изобличающих улик: более 30 (!) только одних прямых свидетелей, все слышавших и видевших. Это было равносильно тому, что убить человека на глазах толпы, среди площади, среди белого дня. На такое мог решиться или самоубийца, или сумасшедший...»

И вот еще о психологии убийцы, способного задним числом хоть как-то проанализировать свои ощущения, о которых мы, даже соприкасаясь каждый день с уголовными делами, можем только догадываться.

«Гворившие, что я просто сошел с ума, были почти правы. В те минуты я действительно находился в состоянии частичного умопомрачения. Но это было не психическое расстройство, это было что-то другое. Если попробовать передать то ощущение словами, то грубо это выглядело так, словно мое сознание сузилось до понимания лишь происходящего вот в эту, текущую минуту — прошлое и будущее отсекалось: я не мог ни опереться на прошлое, не предвидеть даже самого элементарного будущего... Все свелось к пассивному восприятию, к констатации, хотя и

четкой и ясной, но не содержащей в себе зарода секунды будущего...»

В послесловии к «исповеди» писатель Мелихов, отмечая беспощадность авторского суда над собой, говорит и о том, что сочувствия к убитым, к их близким не просматривается, складывается впечатление, что свою вину перед Богом и законом он ощущает несравненно острее, чем вину перед своими жертвами. Но при этом добавляет: «Мне кажется, ему стоило сохранить жизнь уже ради того, чтобы благодаря ему мы обрели этот потрясающий документ. И стали в чем-то мудрее, в чем-то сложнее. И о чем-то задумались...»

Завершения этой истории нет, Вячеслав Шараевский в тюрьме. На кассете, привезенной недавно знакомыми телевизионщиками, мне впервые удалось увидеть и услышать его лично. Конечно, пребывание на острове Огненном, в тюрьме для «вечных», не могло не повлиять на его внешность, он выглядит несколько замороженным, статичным, но спокоен, рассудителен, в очках. Упоминает он добром и нашу Комиссию, и меня лично. Его перерождение, если можно так назвать, не могло не повлиять и на нас, наши решения по другим делам. Тем более там, в свирепых условиях тюрьмы, он пользуется доверием и охраны и заключенных. Но закончить я хочу финальными словами из исповеди нашего героя, которые, конечно, касаются всех, и его и нас тоже.

«Совсем недавно услышал притчу о жившем у океана мальчике. Каждое утро после ночного шторма он шел на берег, собирал и кидал обратно в воду выброшенные на песок штормом морские звезды. Серенькие, маленькие, никакой особой ценности из себя не представляющие. Долгое время наблюдавший за всем этим человек сказал мальчику, что океан выбрасывает миллиарды звезд, и оттого, что мальчик вернет в воду несколько десятков из них, ничего не изменится, что все его действия по спасению звезд — бессмысленны. Подняв с песка очередную звезду, мальчик сказал: «Лично для нее — не бессмысленны» — и швырнул ее в воду. Может оказаться, что не совсем напрасно выходил сегодня на берег и я...»

ПЕРВЫЙ, КОГО МЫ КАЗНИЛИ
(ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Если заглянуть в таблицу казненных в России, где все расписано по годам, можно увидеть, что 1992 год, когда мы приступили к помилованию, обозначен лишь одной казнью.

Фамилия его Филатов. Пенсионер. Колхозник. Никогда прежде никаких преступлений не совершал. Осужден на смерть за изнасилование малолетних и был представлен нам отделом примерно через месяц после начала нашей работы.

Нет, мы, конечно, не собирались ни его, ни кого другого казнить. Но мы еще не научились миловать. Он был первый такой в нашей практике, и мы, надо сказать, тогда сильно растерялись. Ведь существовали какие-то принципы, идеи, с которых начинали и которые были направлены в целом против смертной казни.

Вообще, что касается принципов, то мы как бы объявили о них в тот день, когда впервые собрались вместе. У меня сохранилась и видеопленка, сделанная на память в те дни, там каждый из нас, членов Комиссии, стоя посреди просторного кабинета, говорит что-то о себе, о понимании своей роли и милосердии, ради которого он пришел сюда работать.

Я почти дословно помню, что тогда сказал на первом заседании. Я сильно волновался, говорил стоя и боялся, что меня не поймут. Я сказал, что благодарен всем, кто пришел участвовать в нашем общем деле милосердия. Мы не служим здесь ни Президенту, ни Кремлю, а лишь обществу, которое тяжело больно и лечить его можно лишь состраданием и добротой. Надеюсь, что это и будет нашим главным законом, по которому мы будем работать.

Но одно дело декларации, даже самые благородные, другое — чья-то судьба. Тут уже чувства выворачиваются наружу, и скрыть их невозможно. Да мы еще и не привыкли к тому, чтобы чужая жизнь как на ладонке была перед тобой, и не кто-нибудь, а ты, ты... решаешь... Быть ей или не быть.

А несчастье, произошедшее близ Луховиц, таково: Н. Филатов, он же дядя Коля, как его называли дети, повез покататься на лодке двух девочек, завез их на остров, там изна-

силовал, убил. Это реальная история. А далее идут письма, статьи, звонки.

Одна из статей, присланная из Коломны, так и называется: «Он не должен жить».

Цитирую: (эта мысль рефреном проходит через читательские письма): «Если бы это произошло с моей дочерью, я бы его, гада, из-под земли достала и зубами бы разорвала на части. Филатов не имеет права жить. Смерть, смерть и еще раз смерть. Г. Ковалева».

Другое письмо: «Отмена смертной казни возможна в цивилизованном обществе, каковым наше не является. Безнаказанность и несоответствие наказания степени содеянного лишь стимулирует жестокость... Убийцу и насильника казнить. Стегунов».

И вот еще одно: «Только не говорите, что я кровожадная. Я не призываю вернуться к отрубанию рук на площади за воровство. Но будущий преступник должен знать, что он будет наказан. Вспоминаю свою молодость: 50–60-е годы. Поздним вечером, ночью люди ходили по улицам спокойно, не боялись, что кто-то убьет лишь за непонравившийся взгляд, брошенный в его сторону, или за отсутствие у тебя спичек, когда кому-то хочется прикурить... Л. Смирнова».

Из письма народному депутату: «...Помогите нам закончить мучения, т. к. мать одной погибшей девочки тяжело больна, а мать другой — инвалид 1-й группы. Это ли гуманно в нашей правовой стране — потерять детей, ездить и ходить по прокуратурам и судам, просить как милостыню — накажите убийцу! А он еще подал прошение на помилование... Ему страшно умирать, а сколько страху было в детских глазах, когда они просили, умоляли не убивать их, они доверились ему как отцу, у которого ищут защиту... Сергачева».

А вот что пишет, обращаясь к Ельцину, одна из матерей: «...Я обращаюсь к Вам, я умоляю, как человека, семьянина, отца, войти в мое положение. Вот уже третий год мы не живем, а существуем, я стала инвалидом, потеряла здоровье, а волокита судебной машины идет, и нет конца и края... Я очень прошу, чтобы Ваши секретари ответили мне, в каком положении дело... Я пишу письма, но они остаются без ответа, на прием к референту не записывают, не пропускают, по телефону справок не дают... На мои заявления ни

единого раза не ответили... Я знаю, что таких, как я, тысячи, но поверьте, люди все с истерзанными сердцами и нервами... Только у нас в России возможно это... Штрыкова Л.В.»

Тут же статья с названием: «Казнить нельзя помиловать».

«Английский режиссер Ричард Дентон... был настолько потрясен жестокостью и дикостью содеянного, что он приехал в Коломну и снимал место, где произошло преступление... Затем он взял интервью у первого заместителя городского прокурора Комовой... Она ответила так: «Приговор справедливый. Что касается моего отношения к смертной казни, то в нынешней ситуации, когда преступность в стране растет и приобретает все более жесткие формы, я считаю, что она необходима. А вам, читатель, мы предоставляем право выбора, после какого слова поставить запятую в заголовке...»

Этот же вопрос, где поставить запятую, стоял, понятно, и перед нами, членами только что назначенной Комиссии. И будет стоять еще сотни раз, ровно столько, сколько раз будут ложиться нам на стол такие дела. И от того, как сможем мы этот вопрос решить, зависело многое и в судьбе самой Комиссии, и в жизни (я не преувеличиваю) каждого из нас.

О роли печати, особенно провинциальной и обычно прокоммунистической, в провоцировании, в призывах населения к ужесточению законов я поведаю где-нибудь отдельно. Но вот довод, прозвучавший для нас тогда впервые — преступность в стране растет, и надо казнить, — будет потом как рефрен сопровождать всю нашу деятельность, вплоть до сегодняшнего дня. И даже не столь невежественный человек, бывший генерал Лебедь, и тот недавно предложил решать дело по-военному: «Сильными ударами сбить волну преступности... отменить мораторий на смертную казнь и расширить область ее применения...»

И не важно уже никому, что в упоминаемые нашими просителями пятидесятые годы, когда проходила их молодость и когда они якобы гуляли спокойно по ночам, преступность была ничуть не меньше (несмотря на обильные казни!), была и «Черная кошка», наводившая панику на население, и были только что выпущенные из тюрем головорезы, амнистированные в пятьдесят третьем году... Фильм о них хоть и фальшивый — я имею в виду «Холодное лето пятьдесят

третьего», — но сам-то факт достоверный: сотни тысяч уголовников наводнили страну...

В те же дни, когда приступили мы к работе, в «Комсомолке» писали: «Речь о 322 российских осужденных, которые давным-давно, некоторые годами, ждут решения Комиссии по помилованию, а также милости Президента России...»

Филатов был первым из этих трехсот двадцати двух. И надо отметить, что страсти на обсуждениях разгорались такие, что приходили мы домой и не могли уснуть.

Я тогда записал фразу, она как-то объясняет наше состояние: «Мы как будто разрываемся между желанием наказать убийц самым жестоким способом и нежеланием привести это наказание в исполнение...»

В те же примерно дни в Калифорнии, впервые за 25 лет, казнили некоего Харриса, убившего двух подростков. Его казнили в газовой камере, и многие американцы протестовали, называя казнь варварским видом наказания... (Статья называлась: «Бурная реакция на казнь в Калифорнии».)

В отличие от странных американцев, у которых как бы и преступность больше, и убийства пострашнее (если читать прессу), наши люди, известные своей социалистической гуманностью, тоже протестовали, но совсем по-другому: они требовали немедленного применения казни.

Был и еще документ, письмо уже от самого осужденного на смерть Филатова, где он писал, что не прошел судебно-психиатрическую экспертизу, «...а пятиминутки и амбулаторные заключения не являются такой экспертизой...» И второе — он был лишен возможности иметь в ходе предварительного следствия адвоката... А адвоката, которого ему потом дали, он видел всего один раз, на закрытии дела... И далее — рассказ о том, что одна из девочек ударилась головой об лодку... «Когда лодка резко завелась и дернулась, я стоял спиной к ней и слышал лишь сильный удар об лодку, когда обернулся, увидел ее лежащую на корме лодки... Она лежала не дыша...»

И вот его последние доводы: «...Суд не был заинтересован в таких доказательствах, и эти вещественные доказательства представлены не были... Ведь если бы суд отнесся к моим показаниям серьезно и разобрался как положено,

он и сам бы понял, что последние протоколы допроса предварительного следствия сфабрикованы...»

Где-то в дневнике сохранились обрывки яростных споров, уходящих от предмета разбирательства так далеко, что мы спохватывались, лишь когда истекало время работы.

Но много было сказано и по существу.

Так, на упрек, кем-то брошенный Евгении, а как бы она поступила с насильниками, случись нечто подобное с ее ребенком, она не задумываясь ответила: «Я взяла бы автомат и расстреляла убийцу в упор. Но, простите, неэтично смешивать мои личные чувства и мою общественную позицию... Которая против убийства человека государством...»

В начале июня уехал я отдыхать в Крым, в Коктебель. И тот день накрепко запомнил, когда меня попросили зайти в кабинет директора дома: будут срочно звонить из Москвы.

Сведения же мне передали такие: жители Луховиц, если мы не примем решения казнить Филатова, собираются якобы устраивать манифестацию у дверей нашего учреждения.

Предыдущее решение (непонятно, как они проводили: мы отложили дело на некоторое время) их не устраивало. Скорей всего, это сделал Вергилий Петрович.

Звонили от районного прокурора, звонили от специальной инициативной группы, выступающей за скорейшую расплату с убийцей, звонили и родители тех жертв... Эти последние звонки, понятно, были самыми неприятными.

— Это опасно для Комиссии, — сказал голос по телефону.

Не буду называть кто, это был член Комиссии, который оставался меня замещать. Незадолго до этого тоже выступал со своей милосердной программой. Но сейчас я услышал в его голосе испуг. А бояться-то надо было одного: свернуть с намеченного пути.

Все остальное, как то: разгон нашей крошечной кучки раньше времени, обвинение в мягкотелости и даже в сопротивлении общественному мнению, как и в подрыве авторитета Президента, — меня хоть и волновало, но не так сильно.

Мало ли какое давление нам придется еще испытать, да мы и вправду потом испытали. Попытки подкупа, шантаж, угрозы

по телефону и даже образование некой комиссии по проверке нашей Комиссии. Они сделают решающий вывод за подписью весьма авторитетного лица — лицо это и сейчас где-то в верхах мелькает, — что мы не так работаем и даже дискредитируем Президента, не представляя его нашим гражданам как человека твердого и решительного в борьбе с преступностью.

Была и попытка компромата, собранного с профессиональным мастерством подручными нашего товарища Шкафа и приготовленная околотронной шпаной для подачи Самому. Но мы и на это шли. И вроде бы не боялись. А здесь вот дрогнули.

Все это по телефону не произнесешь, да и настроение у моего оппонента было иным, я это сразу почувствовал.

— Посоветуйся с Ковалевым, — смог лишь предложить я. — Он мудрый мужик, что-нибудь да придумает.

Через два дня мне сообщили по телефону, что Комиссия уже обсудила и проголосовала за смертную казнь.

Звучало это благозвучнее: она предлагала Президенту отклонить ходатайство Филатова.

Четыре человека были «за», а три — «против». Моей руки для прежнего равновесия там как раз и не хватило.

— Я не могу вас поздравить, — лишь сказал я и повесил трубку.

Я сидел в предбаннике директора коктейбельского дома отдыха, на месте его секретарши, жены здешнего начальника милиции, миловидной и пухлой украинки, и смотрел в окно на цветущие под окошком розы, на голубое синее южное небо и думал об этом самом Филатове... Прожил жизнь, но не судился... И вдруг изверг, хотя дети любили... Но дети... Поднял руку на детей... Может, они правы, послав его на казнь? Но ведь и двадцать лет, и пожизненно — тоже казнь?

Волновало не только принятое решение, но и будущее, ибо минуло три месяца, и мы пошли на уступки, «спасая» Комиссию от разгрома. Ну и сколько же надо расстрелов, чтобы нам самих себя теперь спасти?

Да и адекватна ли цена, которую мы платим за свое спокойствие?

Очевидно, что ситуация, когда мы ввели «свой мораторий» и три месяца подряд не казнили, была чревата скан-

далом. Но много опасней стало, когда мы вступили на путь казней.

Внешне вроде бы ничего и не случилось, кроме того, что один из ублюдков понесет заслуженное наказание. Ведь убил-то он детей! И осудил его по закону суд, это он, а не мы приговорили его к расстрелу.

Все так, а настроение почему-то испортилось, и даже жена, пришедшая с пляжа, — от нее пахло свежестью, морем, произнесла спокойно:

— А я, между прочим, согласна с вашими, кто голосовал за казнь: их же надо уничтожить! А вы что же, и ростовского маньяка собираетесь миловать?

Довод был неотразим.

Но спал я плохо.

Ну, а сама Комиссия, неужели ничто в ней не шевельнулось? Или я заблуждался, собирая их?

Выяснилось, уже потом, что замещавший меня человек, заступив на место руководителя всего-то на месяц, и правда перепугался. Он провел серьезную работу перед голосованием и даже кой к кому домой ездил и там произносил слова о благородной миссии, которая выпала на нашу долю и которую из-за нелепого случая мы рискуем потерять.

Были, были уже до нас всякие благие порывы... Лишь результаты оказались вовсе не те. А теперь и мы, судя по всему, оказались не лучше той толпы, которая нас окружает. И, получив реальную власть, стали бояться, как бы ее не потерять.

ТЕОРИЯ ОСНОВНОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Это название мне не пришлось придумывать: так назвал один из своих философских трактатов сам смертник. Этакий вариант Раскольникова, но очень уж современного и потому не слишком глубокого. Хотя для решения вопроса о помиловании никакой глубины, возможно, и не нужно. Но меня, как человека, испорченного классикой, заинтересовал этот феномен преступника, возможно убийцы, который резко выделяется на фоне той уголовщины, которая у нас идет косяком.

Он пишет о себе: «И сразу вокруг какой-то вакуум и пустота. Когда читаю копию приговора, даже не верится, что это про тебя. Эти казенные строки кого угодно убьют, за ними ведь не видно самого человека. У меня хорошие, положительные характеристики за все этапы моей жизни...»

Поскольку за делом маячит образ литературного героя и знаменитого романа о Преступлении и Наказании, начну все-таки с первого — с преступления. Дело происходило в Ижевске, в Удмуртии. Филатову Олегу Викторовичу на момент преступления было 23 года.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Как сказано в приговоре, «подсудимый Филатов совершил хищение государственного имущества в особо крупных размерах; хищение огнестрельного оружия; ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без соответствующего разрешения; хищение огнестрельного оружия и боевых припасов путем разбойного нападения; умышленное убийство трех лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть и облегчить совершение другого преступления...»

В приговоре все приведено по порядку, и потому факт убийства трех невинных людей почти растворяется в остальных, менее значимых фактах и приведен в конце. Хотя именно он является самым страшным обвинением Филатову.

«Подсудимый Филатов с сентября 1990 года обучался на пятом курсе Ижевского механического института. За период учебы он изучил расположение учебных корпусов, кабинетов, наличие электроосвещения у корпусов и возможность подъезда к ним, систему охраны и сигнализации. Зная, что в кабинете № 303 кафедры производства машин и механизмов есть компьютер марки «Самсунг», подсудимый Филатов решил совершить кражу компьютера. Для осуществления задуманного и сокрытия следов преступления, предупреждения возможного применения милицией служебно-разыскной собаки, он приготовил сумку, мешок, фонарик, монтажку-гвоздодер типа «фомка», веревку, тапочки, хлопчатобумажные перчатки, табак».

Филатов договорился с Майером по поводу автомашины. Третьего ноября, действуя по заранее намеченному плану, Филатов после занятий в институте пришел в читальной зал

библиотеки на четвертом этаже, оттуда беспрепятственно спустился на третий этаж, надел перчатки, тапочки, взломал с помощью гвоздодера замок, разобрал компьютер на составные части и сложил их в мешок, а в читальном зале библиотеки на полу и на столах рассыпал табак. Открыв окно, Филатов привязал к батарее пожарный рукав и спустил его вниз, а когда приехал Майер, на веревке спустил компьютер в мешке и сумку с орудиями преступления, затем по пожарному рукаву спустился сам.

Компьютер был продан, деньги поделены.

Хоть внешне не цивилизно как-то: образованный человек с гвоздодером и мешком... Да ведь и Раскольников с каким-то там топориком под полой разгуливал. Тут не до красоты.

Примерно так же был похищен еще один компьютер, а потом дело дошло и до оружия. В том же году, уже в марте, Филатов снова проник в институт, в музей, где хранилось оружие. Поскольку помещение музея было оборудовано охранной сигнализацией, а окна зарешечены, Филатов проник через примыкающий к музею женский туалет, снова оставшись после занятий в библиотеке до 19 часов. Филатов спустился на третий этаж, надел перчатки, тапочки, а на дверях туалета закрепил вывеску, что в туалете идет ремонт. Зайдя в туалет, он вывернул из плафона лампочку и забил дверь гвоздями. После этого коловоротом просверлил кирпичную стену, смежную с музеем, с помощью ножовки выпилил проем, выбрал кирпичи и пролез в музей.

Отверстие оказалось очень узким (тридцать сантиметров на тридцать пять), и Филатов в ходе предварительного следствия показал, что «когда вытягиваешь руки, то плечи сужаются». Да и последующая экспертиза подтвердила, что в дыру может свободно проникнуть человек с телосложением Филатова.

С помощью той же фомки он вскрыл стенды-шкафы и похитил восемь пистолетов различных марок и один пистолет-пулемет. Ну и большое, как сказано в деле, количество боеприпасов. В это время сработал прибор охранной сигнализации «фикус», сигнал от которого поступил на пульт дежурного отдела охраны РОВД. Не подозревая об этом, Филатов продолжал забирать со стендов подходящее для него оружие, но услышав топот сапог, громкий разговор не-

скольких мужчин, понял, что это работники милиции и что к музею подъехала милицейская машина.

Он затаился в помещении музея. Работники милиции подергали для верности дверь, не обнаружили признаков взлома дверей музея и решили, что сигнализация сработала ошибочно. Они уехали, а Филатов сложил в сумку три пистолета Марголина, три пистолета Стечкина, один пистолет Макарова, один «кольт», пистолет-пулемет «штеер» австрийского производства, опытный образец автомата Драгунова, автомат Калашникова и, снова посыпав пол табаком, через проем вылез в туалет. Один из автоматов он оставил в туалете, другой внизу, в аудитории, так как сумку, по его словам, было тяжело нести. Он сломал решетку на окне первого этажа и вылез наружу.

На снегу потом обнаружат следы — дорожку следов «без индивидуальных признаков». На маршрутном автобусе он добрался до дома. Оружие и патроны спрятал в квартире под мебельной стенкой, где оно находилось около двух месяцев. На этот раз Филатов работал без сообщника Майера. Потом, перед сбытом оружия, они провели пробные выстрелы в лесу, затем дрелью с наждачным кругом сточили на оружии наружные номерные знаки, а пулемет «штеер» переделали под стрельбу патронами от пистолета Макарова. Три пистолета Марголина были приспособлены под бесшумную стрельбу.

Сперва оружие хранилось на квартире у родителей, потом в гараже у школьного приятеля. Далее оружие через знакомых пошло в продажу, в частности двум лицам из республик Кавказа по имени Батал и Иса, скорее всего чеченцам. Был среди покупателей и некий Хасан, тоже кавказец, житель Ашхабада. Как сказал недавно один мой знакомый библиофил: оружие и книги имеют свою судьбу.

Ижевск, по-видимому, вообще город, где живет культ оружия, к нему здесь особый интерес, поскольку многие жители работают на заводе или заводах, где это оружие производят. И как результат — наплыв сюда всякой криминальной нечисти, скупающей оружие. Спрос порождает предложение. Еще небольшая деталь: один из свидетелей, к этому времени уже проживающий за рубежом, показал, что Филатов ему лично продал пистолет за 1500 рублей, а за партию пистолетов просил автомобиль УАЗ. Работниками

МВД были зафиксированы и телефонные переговоры Майера и Филатова, где речь шла о сбыте десяти единиц огнестрельного оружия. Филатов настаивал на продаже всей партии по цене 31 500 рублей.

Описывая довольно подробно всю эту почти детективную историю с кражей оружия, которое неминуемо где-то было использовано по своему назначению, скорей всего в Чечне, я нисколько не забывал, что впоследствии мы услышим от нашего философа совсем иные речи, очень далекие от нашей опасной темы. Но как в душе одного человека могут сочетаться влечение к общечеловеческим ценностям, к Богу и любовь к смертоносным игрушкам, используемым по своему прямому назначению, уразуметь до поры нельзя.

Если нам не удастся раскопать в этой душе что-нибудь еще.

Впрочем, априори, некое презрение к ближнему, да и всему человечеству, может соседствовать и с делами кровавыми.

Вспоминайте Раскольников!

Но сперва — еще одно преступление. Последнее, но самое жестокое: «Зная о наличии оружия и боеприпасов в тире института, вооружившись пистолетом Марголина с патронами и глушителем, Филатов 16 сентября 1991 года зашел в тир, закрыл входную дверь изнутри и тут же подобранной арматурной деталью (вот и топорик почти), с пистолетом наготове вошел в помещение для оружия».

Позже Филатов на месте происшествия воспроизведет все, как было, и даже отметит, что из приемника, который находился в тире, раздавалась музыка, что подтвердилось при изучении программы радиопередач, а именно в 12 часов 30 минут на канале «Радио-1» был концерт по заявкам. Под музыку он и убивал.

«Застав начальника тира Соковнина, Филатов произвел два выстрела ему в голову и убил. После этого достал из кармана убитого связку ключей, прошел в оружейную комнату и стал вскрывать ящики с оружием и боеприпасами. Услышав шум открывающейся двери, он выглянул наружу и увидел входящего в тир шестидесятилетнего рабочего Вахрушева, который в этот день в помещении тира производил сварочные работы. Филатов произвел четыре выстрела в голову

Вахрушева. Потом вернулся в оружейную комнату и стал складывать оружие и боеприпасы в сумку. Но в это время в оружейную комнату после занятий зашел преподаватель военной кафедры по гражданской обороне подполковник в отставке Гольцов. Его служебный кабинет был расположен в бомбоубежище, там же, где и тир. Филатов трижды выстрелил в голову подполковника и убил его.

Завладев значительным количеством оружия и боеприпасов, Филатов привез похищенное в квартиру Майера, а затем в гараж приятеля, а далее — в квартиру родителей».

Филатов, Майер и один из торговцев оружием, некий Хаснутдинов, 23 октября были арестованы. Но Хаснутдинова выпустили по подписке о невыезде. Через несколько дней он был избит и похищен неустановленными лицами.

На предварительном следствии Филатов признал вину и подробно рассказал о преступлении. Он рассказал, что с детства проявлял интерес к изготовлению и конструированию огнестрельного оружия. И конечно, ему было известно, что на черном рынке оружие в большой цене. Показания Филатова подтвердил на суде Майер. Сам же обвиняемый отказался в суде от своих показаний, но признал, что он якобы был лишь свидетелем того, как это происходило. В частности, Филатов показал, что участия в краже двух компьютеров не принимал, а о краже узнал от сотрудников института, а затем от Майера. Для проникновения в здание института при кражах был использован его студенческий билет, который он ранее передавал Майеру по его просьбе.

Об обстоятельствах кражи в институте знали все. Хищения оружия из музея он тоже не совершал, а подробности обстоятельств хищения тоже знали все. Сам же Филатов только удалял по требованию Майера номера на оружии и переклеивал пистолет-пулемет под другие патроны. Он сделал три глушителя к пистолетам и укоротил стволы. Требования Майера выполнял, потому что тот шантажировал, угрожал.

В нападении на тир и убийствах он тоже участия не принимал, хотя имел к ним отношение. За несколько дней до нападения на тир Майер предложил ему найти на автостоянке института «Волгу» старого образца и представиться находившимся там людям. От них он должен был получить сумку с оружием. Филатов, по его словам, под угрозами и

шантажом выполнил эту просьбу. Он ждал и наблюдал за происходящим. Потом получил сумку, сел в машину и уехал. В начале предварительного следствия признался во всем потому, что боялся за судьбу своих родных: боялся мести со стороны Майера и вынужден был оговорить себя.

Подсудимый Майер на суде показал, что Филатов не оговаривает себя, а говорит правду. Раньше он с Филатовым учился в школе, в одном классе, отношения у них складывались нормально, встречались как товарищи. Последнее время Майер работал в кооперативе, имел связи с коммерческими фирмами. Как-то осенью Филатов попросил приехать к институту, где он учился, и подвезти его до дома на машине. Он спустил на веревке какой-то мешок, сумку, а затем по пожарному рукаву спустился сам. Дорогой Филатов объяснил, что участвовал в краже компьютера, и Майеру ничего не оставалось, как действовать заодно с Филатовым. То же самое — с кражей второго компьютера.

А весной, в марте 1991 года, Филатов позвонил и спросил: не надо ли что-либо из оружия? Обстановка была сложная, Майер работал в кооперативе, и там бывали всякие ситуации, из-за которых для самообороны Майер хотел иметь оружие. Филатов предложил посмотреть... На вопросы Майера Филатов отвечал, что оружие украдено в музее института. Майер согласился часть его продать. Помогал продавать Хаснутдинов своему знакомому Хасану. А 16 сентября, когда Майер приехал домой, сестра сказала, что приезжал Филатов и привез сумку. Майер заглянул туда и увидел оружие. Потом пришел сам Филатов и сказал, что дело получилось «мокрое». И добавил: «Три трупа».

Кстати, два соучастника преступления: один Хаснутдинов, который подвозил Филатова и продавал оружие, а второй Григорьев, который подвозил Филатова на машине брата, после кражи странным образом сгнули. В деле лишь упоминается о том, что Хаснутдинов был похищен, о дальнейшей судьбе его в деле нет ничего, а свидетель Григорьев числится «в настоящее время как трагически погибший».

Это судьба такая или что-то иное?

Хаснутдинов давал показания против Майера и Филатова, воспроизвел свой разговор с Майером после кражи. Тогда он Майера ругал и говорил, что все это чревато последствия-

ми, но Майер, по его словам, надеялся на Филатова: у него, мол, голова «светлая». Еще два свидетеля, Р. и Ф., давали ложные показания в пользу Филатова, ибо, когда они узнали об убийстве в тире, тот пообещал, что в противном случае «его друзья их найдут». Много в деле приведено деталей, характеризующих тот самый пресловутый российский бардак, который всегда сопутствует преступлениям. Так, в процессе расследования выяснилось, что студенты знали код на замке комнаты, где хранились компьютеры, но «кодовый замок можно открыть и без кода, если вставить между косяком и дверью какой-нибудь предмет и отодвинуть язычок замка». Права поговорка, что замки делаются только от честных людей. То же — с учетом похищенных боеприпасов: установить их количество не удалось «из-за отсутствия надлежащего бухгалтерского учета». А шкафы с оружием «можно вскрыть руками без применения орудий взлома».

Вот заключение баллистической экспертизы: «Все изъятые пистолеты являются пистолетами Марголина. Причем один из них, на котором удалось восстановить бывший номер, 1256, имеет конструктивные изменения, внесенные самодельным способом: ствол пистолета укорочен и на дульном стволе нарезана резьба, а выбрасыватель имеет самодельную пружину». Более того, из заключения баллистической экспертизы видно, что семь гильз, обнаруженных в тире Ижевского механического института на месте убийства остались после выстрела из пистолета системы Марголина № 1256... И пули, извлеченные из трупов Вахрушева, Соковнина и Гольцова, были выпущены из пистолета № 1256...

Еще деталь: из заключения дактилографических экспертиз видно, что при осмотре места происшествия в музее оружия и тире обнаружены следы трикотажных вязаных перчаток, которые совпадают с рисунком перчаток, изъятых у отца подсудимого Филатова. На правой туфле Филатова обнаружена кровь, имеющая группу, сходную с группой крови убитого Гольцова.

ЛЕГЕНДА О ФИЛАТОВЕ

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, судебная коллегия пришла к выводу, что вина подсудимых Филатова и Майера в совершении указан-

ных преступлений полностью установлена, а подсудимый Филатов дает на суде ложные показания, чтобы избежать ответственности, и перекладывает свою вину на других.

В деле хранится прощальная записка, написанная Филатовым после ареста: «Дорогие папа, мама, Мариша, Гошка. Простите за все. Советский суд примет аналогичное решение, но это будет хуже для всех нас. Простите. 25.10.91 г. Филатов».

Он и ходатайство готовит по принципу описания собственных добродетелей (никаких признаков раскаяния или сожаления о загубленных жизнях), расписывая на целую страницу свои заслуги: «В каком бы коллективе я ни находился, со всеми был дружен». Понятно, что дружить с целым «коллективом» нельзя, но зато можно понять, что это предел его возможностей в понимании слова «дружба».

«Я увлекался фотографией, и сделанные мной снимки есть в альбомах всех моих соучеников, сокурсников, армейских друзей... В то время как многие мои товарищи стали заниматься коммерцией, а некоторые ради этого оставили учебу в институте, я имел твердое намерение получить высшее образование».

Самоусовершенствование прекрасно. Но душа-то где?

«На протяжении 24-х лет своей жизни я был добропорядочным гражданином». Что сие означает? А вот что: «Всегда добросовестно выполнял обязанности перед родителями, в школе, в армии, в институте, а также как муж и отец... И вдруг случилась беда (с кем?), и я оказался причастным к незаконному обращению с оружием, возможно, взял верх профессиональный интерес, в чем я полностью признаю себя виновным». Виновным не в убийстве, не в расстреле трех невинных, а в «профессиональном интересе»?!

«В глазах окружающих, под влиянием средств массовой информации, после ареста я был сразу назван вором и убийцей».

Вот кто, оказывается, виноват. А корреспондент потом расскажет на суде, что ему после статьи о Филатове позволили и пообещали расправиться.

На суде Филатов улыбался. Об этом он скажет так: «Может, я улыбался, в душе плача от обиды».

Это первое и последнее упоминание о душе. И далее — опять о себе, любимом, и о положительных характеристиках

на себя: «Все свидетели характеризуют меня исключительно положительно».

О, эти характеристики, за которыми, как за броней, у нас не видать человека. На них ссылался еще смоленский прокурор, погубивший двух женщин, но, слава богу, опомнился, и, как нам сегодня известно, пришел к истине. Обратная сторона этих характеристик — равнодушие системы, кроме формальных признаков, которым должен соответствовать человек, систему ничто не интересовало. Таким образом, была создана легенда о Филатове. Совершив преступление, он сам ищет в легенде о себе защиту от правосудия.

На эту легенду ссылаются в письмах все, кого организовали для поддержки осужденного, и, конечно, близкая родня. Жена — ее письмо человечно; учительница русского языка и литературы — тут общие слова; дальние и ближние родственники — знают с детсадовского возраста, когда «мальчик хорошо учился и занимался в кружках»; продавец магазина, куда он заходил за продуктами для семьи; сосед по огороду; жильцы дома, где он проживал, — «вместе с нами участвовал в уборке территории двора»; академики, Министерство здравоохранения Удмуртии; ЖСК — «задолженности за квартиру не имеет»; сокурсники — «выполняя общие поручения, к своим обязанностям относился ответственно»; одноклассники — «широкий кругозор, интерес к политическому аспекту страны»...

И так до бесконечности.

Кстати, если бы так обо мне написали мои одноклассники, я бы застрелился, не дожидаясь наказания!

Даже у тети, которая и правда любит своего племянника, написано: «С детства в нем воспитано чувство долга, и слово «надо» определяло все: надо хорошо учиться, надо трудиться, надо быть патриотом Родины. Это слово «надо» заставляло быть секретарем комсомола...»

А если «надо» украсть, убить?

Характеристики из детского садика, который наш герой посещал с полутора лет, пока нет, но и детство включено в контекст легенды: «Помогал бабушке по хозяйству, в доме жила белая мышь, при небольшом недомогании играл, аккуратно принимал лекарства и не просил «купи, купи», видя что-нибудь из сладостей или игрушек... Не просил рассказать стихотворение!»

Ну а что плохого, если ребенок просит игрушку или конфету, а тем паче если хочет услышать стихи Пушкина? Но ладно, ладно. Если по правде, все это не имеет никакого отношения ни к преступлению, ни к жизни нашего героя. Меня же конфузило чтение этих писем, которые, за исключением письма от жены да еще от тети, написаны суконным языком, как будто под копирку, и почему-то большинство заверены печатями, а в конце каждого письма каждую подпись сопровождают номера паспортов.

А вдруг мы не поверим!

Я бы только порадовался такому единодушному порыву в защите осужденного, ведь куда хуже коллективные просьбы «немедленно казнить»! Но, к сожалению, и те и другие просьбы — все та же легенда, организованная по худшим образцам худшего времени. Придуманная легенда не вызывает сочувствия, наоборот, раздражает и дает повод думать о защищаемом хуже, чем, возможно, есть на самом деле.

СУЩНОСТЬ ФИЛАТОВА

Не влезая далее ни в дела следствия, которое проходило долго и трудно, ни в дела самого суда, займемся тем же, чем занимался и Порфирий Петрович, следователь из романа Достоевского, который, как известно, был не просто следователем, но в первую очередь — исследователем, психологом.

У нас для исследовательских целей существуют институты, и Олег Викторович Филатов был дважды исследован в Институте общей и судебной психиатрии.

Вот что там пишут (фрагменты): «Школу начал посещать с 7 лет. Учился хорошо. В пятом классе получил 1-й разряд по плаванию. По характеру формировался спокойным, активным, общительным. Близких друзей не имел, но со всеми поддерживал ровные отношения. В школьные годы увлекался филателией, любил читать художественную литературу, увлекался техникой. В старших классах начал увлекаться историей, философией, религией. Однако в старших классах начал относиться к одноклассникам несколько снисходительно, держался с чувством превосходства. Со взрослыми же был подчеркнуто вежлив, хотя не скрывал иронического отношения к «устаревшим» принципам, которыми руководствовались в жизни и в работе классные учителя».

Разумеется, никаких срывов, конфликтов, нарушения дисциплины. Все выверено, а это уже что-то значит. Правда, что такое «устаревшие» принципы — не расшифровано. Можно представить, что учителя как раз руководствовались принципами морали, которая для нового поколения может казаться устаревшей. Но отсюда как раз все беды...

«По мнению директора школы (показания в уголовном деле), Филатов был холодным человеком по отношению к окружающим, ставил себя выше сверстников, целеустремленно добивался своей цели доступными ему средствами, не обращая внимания на промежуточные цели, к которым он стремился лишь для достижения основной, делал то, что ему было выгодно, завышал самооценку. После окончания школы Филатов поступил в Ижевский механический институт. Затруднений в учебе не имел, зачеты и экзамены сдавал в срок, был склонен к изучению гуманитарных наук, увлекался чтением литературы с философским уклоном. С первых курсов активно занимался общественной работой...»

Прервусь, чтобы освоить ту небольшую информацию, которая нам предоставлена здесь. Можно ли за ней разглядеть что-то, что помогает нам понять формирование будущего преступника? Я в этом не уверен, хотя некоторые детали меня смущают. Скажем, противоречие в той же самой школьной характеристике, где он, с одной стороны, «активный» и «общительный», с другой — не имел близких друзей. Увлекался литературой, историей, философией, но ставил себя выше остальных, и вообще человек, по отзывам директора школы, «холодный».

Да и последнее: активность в общественной работе вроде бы ничего в себе дурного не таит, но все мы, люди старшего поколения, прошли через комсомольско-молодежную «школу» и достаточно нагляделись на этих самых активных, карьерных мальчиков, из которых на наших глазах вырастали партийные функционеры. Жизненные принципы у них обычно удобно совпадали с партийными установками. И парни эти по большей части были с выхолощенной душой, бесчувственные к живым проблемам, истинно холодные, но целеустремленные, как роботы.

Понятно, это я пока не о нашем герое.

Хотя никаким Раскольниковым с его больной надорванной душой тут явно не пахнет. Тема души, возможно, вообще

осталась в пределах Серебряного века. А у нынешних ее вполне заменил «пламенный мотор», как пелось в советских песнях, да железная воля к достижению любой цели любыми средствами...

«В армии в период службы по характеру сдержан, имел ряд поощрений и благодарностей, хотя иногда у него бывали взыскания из-за споров с замполитом по философским и политическим вопросам».

Жалко, что так кратко, особенно по поводу споров. Что такое он мог доказывать нашим узколобым замполитам, у которых был один унтерпришибеевский довод на всякие философствования: наказание!

После армии Филатов «вернулся в институт и продолжал успешно сочетать хорошую учебу с общественной работой». И опять — никаких всплесков. Одна сплошная устойчивость. Для таких «положительных» ребят обычно готова комсомольская карьера, и Филатов не избежал ее. Во время трудового семестра он — командир студенческого отряда. На курсе — комсорг группы. Далее — секретарь комитета комсомола на факультете, потом и в институте. Член ученого совета института...

«Настойчив в достижении поставленной цели».

Какой цели-то? А вот какой: «Организаторские способности проявляет лишь (!) в пределах поставленных перед ним задач». То есть никаких лишних телодвижений. И даже «реальные личные интересы ставит выше псевдообщественных».

Грамотный, эрудированный. Но с другой стороны (эта другая сторона постоянно присутствует в характеристике) — высокомерный, скрытный, близких друзей не имеет, ни с кем не делится своими радостями и неприятностями, отношения со всеми строит на деловой основе. Таких деловых у нас много. А радостями и неприятностями со всеми не поделишься. Да и очень я боюсь, что эти последние краски положены на портрет нашего героя задним числом, когда уже возникло уголовное дело.

Мелькает в бумагах и такое: «Каких-либо странностей в его поведении никто не замечал. Свидетель Г. сообщил, что иногда испытываемый «смеялся не к месту, иногда говорил что-то невпопад». А свидетели М. и Ш. показали, что «иногда Филатов переставал слушать своего собеседника, задумывался, вроде был здесь, а мыслями в другом месте...»

Нормальные человеческие качества, но и их, как видим, можно представить почти криминалом. Отмечается и нечто живое, так, свидетель К. подчеркивает, что Филатов «в глубине» человек чувствительный, иногда замечались у него вспыльчивость и раздражительность, но в то же время умел хорошо скрывать свои чувства, а иногда старался соответствовать тому обществу, «в котором жил и общался».

Филатов неоднократно в составе туристических групп выезжает за границу: в Грецию, Болгарию, Польшу, Турцию. Свидетель Ч. подчеркивает, что во время собеседования перед выездом в Германию в сентябре 1991 года (тот самый месяц, когда совершено преступление) был несколько заторможен и на самые обыденные вопросы ответы обдумывал достаточно долго.

Ну, последнее в общем-то объяснимо. Вопросы могли быть и несложными, но рисковать из-за случайной фразы вряд ли ему хотелось. Другое дело, что в поездки подобного рода (а их вон сколько!) брали хорошо проверенных ребят, «из своих», в число которых, судя по всему, он входил. Для рядового же студента нужен был особый блат либо умение «стучать».

Отмечается как положительный фактор: наш герой не курил, в употреблении спиртных напитков не замечался. Поразительная характеристика: ангел во плоти! «Никаких странностей, нелепостей в поведении и высказываниях».

В 1990 году Филатов женился, у него родился ребенок. Из показаний жены следует, что он был спокойным, общительным, заботливым мужем, радовался рождению сына, помогал ей по хозяйству. Отличался некоторой мелочностью, педантичностью, аккуратностью. Однако последнее время, как ей казалось, стал проявлять беспокойство за нее и сына, наблюдал за ними во время прогулки, никуда не отпускал жену одну. Еще жена замечает такую странность: муж в последнее время (лето 1991 года) везде ходил в шортах и темных очках.

Отец показывает, что сын по характеру оставался уравновешенным, спокойным, в семье у них никогда не возникало стычек, ссор, а нервировать его могла только нереальность поставленных задач. Это последнее небезынтересно, но хорошо бы понять, о каких нереальных задачах идет речь.

Мать же, а матери все замечают, говорит, что сын стал более грубым, прямолинейным, стремился во всем доказать свою правоту, ни с кем не шел на компромисс, носил вычурную одежду, вел дневники...

Ну вот, дошли и до дневников.

Анализ их, представленный в материалах дела, как пишут уважаемые психологи, свидетельствует о том, что они содержат только выписки и цитаты из произведений различных ученых и философов, обобщения и выводы испытуемого логичны, конкретны по содержанию, хотя несколько поверхностны. Какой-либо болезненной, бредовой интерпретации выписок в дневниковых записях не содержится.

К сожалению, все выводы наших психологов относятся скорее к форме, чем к содержанию, ведь и по цитатам можно понять направленность мышления и тот круг проблем, которые приходилось испытуемому решать. До и после преступления.

Порфирий Петрович у Достоевского теоретизирует: «Существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут... то есть не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и для них будто закон не писан...» Заметьте, статьи самого Раскольникова (а они с нашим Филатовым в одном возрасте, оба — студенты) нигде в романе не фигурируют, а даются в пересказе следователя.

Дневников Филатова у нас тоже нет, хотя научные сотрудники Института им В.П. Сербского ими интересуются и вовсе не случайно упоминают в своем документе. Но делают они это несколько иначе, чем наш классический исследователь Порфирий Петрович. Тот потом скажет: «А как начали мы тогда эту вашу статью перебирать, как стали вы излагать — так вот за каждое слово ваше вдвойне принимаешься, точно другое под ним сидит!»

Впрочем, можно, наверное, и здесь под каким-нибудь словом другое угадать, если учесть, что в разряд читаемых Филатовым книг входят и труды товарища Сталина. Философией в них не пахло, зато достаточно известно, что тот был с молодости разбойник и при проклятом царском режиме грабил поезда, добывая для своей партии деньги. Не только, наверное, грабил, но, возможно, и убивал. Эти братцы

людоеды-ленинцы ничем не брезговали. Чем не школа для нашего героя?

Врачи свидетельствуют, что Филатов общителен, доступен продуктивному контакту. В беседах держится несколько демонстративно, с чувством самолюбования и превосходства излагает свои философские воззрения, подкрепляет их цитатами из Библии, произведений Достоевского...

Интересно, какими цитатами? Может, мы с ним ссылаемся на одних и тех же героев?

Порфирий Петрович — то бишь Достоевский — тут бы такое извлек! Каждый намек, цитату как косточку бы обглодал, так что сразу бы как на ладошке все стало видно.

Цитирую далее наших исследователей: «Филатов по своему трактует библейские притчи, подкрепляя ими свою «Теорию основной сущности человека», которая заключается в том, что на первом плане в любом человеке стоит «собственник».

Для нас даже это скудное упоминание — хоть какая-то попытка уяснить его теории. Но я полагаю, что слово «собственник», точнее, только лишь оно одно, вряд ли отражает сущность автора. Тут могли быть и другие обозначения, идеи, слова, которых он и не произнес или которые не вошли в медицинский документ.

В словаре Даля для слова «собь» (а там далее есть и «собственность»), которому посвящена чуть ли не страница, имеются и такие обозначения: «Все свое, имущество, животы, пожитки, богатство. Свойства нравственные, духовные и все личные качества человека, особенно все дурное, все усвоенное себе по дурным наклонностям, соблазнам, страстям...»

Может, об этом, о личных качествах человека, особенно «обо все дурном», хотел намекнуть Филатов, когда заявлял исследователям, что, ожидая высшую меру наказания до ее исполнения, он успеет написать диссертацию на философскую тему...

Он, кстати, даже отправил письма зарубежным религиозным организациям с просьбой выслать книги для углубленных занятий по «Слову Божьему». Но здесь очевидна уловка: книг на эту тему и у нас на родине немало, но адресат, узнав, что пишет ему смертник, ищущий накануне казни пути к Богу, скорее всего, захочет его защитить. Так оно потом и получилось.

В исследовании обозначено, что подопечный во время бесед внимательно следил за реакцией врачей, иногда провоцировал агрессию со стороны собеседников, умышленно дискредитируя последних. Во время прогулок он дразнил собак охраны, высказывал сожаление, что у него нет оружия и что он не может убить их, что не «перестрелял задержавших его милиционеров».

Что это? Случайные выплески? Или... Ведь очевидно, что для человека осторожного и осмотрительного было бы непозволительной роскошью показывать такие эмоции и вольность в поведении.

Порфирий Петрович нашел бы тут зацепку... А что, если это демонстрация, продуманный расчет, если знать, что собак убивают, как считают психиатры, люди душевнобольные?!

И далее: «Демонстративно заявляет, что его не интересуют результаты проводимой экспертизы, что он совершенно не обеспокоен своей дальнейшей судьбой». С ироничной улыбкой показывает свое превосходство над собеседниками, приводит при этом заученные цитаты из Библии и произведений различных ученых и философов. Внимательно следит за тем, какое впечатление производят на врачей его высказывания. Поняв, что собеседники достаточно ориентированы в этих вопросах, смущается, соглашается, что многого не знает и что ему еще надо много пройти... В последующем становится доступней, мягче...

Отмечает, что с легкостью может адаптироваться в любом коллективе. С заметным удовольствием выслушивает мнение экспертов о своих высоких умственных способностях. Можно предположить, что он и впрямь человек не без способностей. Которые, правда, плохо сочетаются с моралью.

Я даже не о его преступлениях, я о нем вообще.

Подробно он рассказывает об увлечении огнестрельным оружием, говорит, что всегда мечтал улучшить и усовершенствовать его, однако тут же подчеркивает, что стрелять из него не любил, а хотел только изучать. Это несколько расходится с материалами дела, где упоминается, как он выезжал за город для стрельбы. Скорее всего, здесь есть лишний для него повод опровергнуть обвинение в убийстве.

О родных — матери, отце, жене, сыне — в первой беседе говорил с деланным равнодушием, в дальнейшем же — с тоской в голосе... Заявляет, что если будет думать о них — сойдет с ума.

Но есть в экспертизе любопытный пример, касающийся Филатова: «Любил общаться с одной из медсестер, которая с большим интересом и даже восхищением выслушивала испытываемого. Но в последующем он стал бестактен, употреблял нецензурные слова, слепил из мякиша хлеба модель полового члена и показал медсестре, спрашивая ее: а могла бы она от него зачать? И тут же пояснил, что когда Богу угодно, то женщина зачала «совсем без всего».

Вот вам и «сущность» человека! И прикладное понимание Библии! «Углубленные» познания «Слова Божьего» вылились в обыкновенный цинизм.

Такой, как Раскольников, мог бы произнести что-нибудь подобное, да еще в нецензурном виде?

Бог для нашего героя лишь предмет для упражнения холодного, извращенного ума, душа тут и не ночевала. Да и вообще, основное, что я понял из «сущности» этого человека, так это то, что его человеческие чувства находятся в утробном, зачаточном состоянии. Они так и не получили развития ни в семейных, ни в деловых отношениях. Оттого и без друзей, оттого и черствость и даже жестокость работа. Теща и тесть, рассказывая о нем, упомянули, что, приходя в гости, он намечает время ухода, и когда оно наступает, может оборвать разговор на полуслове.

Есть и другие свидетельства: «Перебивает, не слушает собеседника». Самодисциплина — это было бы замечательно. Ну а если тот разговор о чьей-нибудь беде? Вы ему про свои несчастья, а он посматривает на часы, а потом поднимается, ибо он так наметил, что надо уходить...

Он и в клинике, считая беседу законченной, провоцирует агрессию собеседника (с такими-то нервами!), дискредитируя последнего. В какой-то момент он с насмешкой замечает, что обычно рассказывает, как его попросят. «Как кому надо, так тому и буду говорить...»

То есть будет говорить все, что необходимо его исследователям, лишь бы те были довольны. Медики, конечно, отметят при этом «пренебрежение к морально-этическим ценностям».

И вот результат исследований: «Позиция испытуемого замкнута; по существу, беседа, выполнение заданий сводятся или рассматриваются с позиции философских конструкторов комбинированной природы, порой навязчиво и неадекватно; в частности, в образах, опосредующих мышление, — расплывчатая псевдосимволика философского содержания. Кроме того, отмечается легкость, актуализация латентных признаков предметов...»

За всеми этими научными оценками скрывается, говоря простым языком, некоторая растерянность самих исследователей перед пустотой и душевной глухотой испытуемого. Отсутствие естественных чувств — вот что обозначили, но до конца не сформулировали врачи. Эгоизм, замкнутость лишь на себе.

Вывод врачей: «Таким образом, на первый план выступает эмоциональная обедненность обследуемого (не исключена установка)». Вот здесь они немного ошибаются: «обедненность» существует на самом деле. И не только эмоциональная, но и нравственная. И не только обедненность — полная пустота.

И если они пишут в конце, что «рассуждения не носят болезненного характера», с этим можно согласиться. Наш герой не болен, если не считать эти признаки вообще болезнью поколения.

Теперь и я пойду по пути наших исследователей и научно обозначу признаки «болезни» людей такого рода. Сама болезнь зовется на научном языке снижением эмпатичности, что в переводе на обыденный язык означает низкую чувствительность к чужим страданиям. Эти выводы (а вовсе не доказательства суда) приводят меня к мысли, что наш новый Раскольников, отрицающий на сегодня свою вину, вполне способен быть убийцей.

«Настойчивость в достижении личных целей с неразборчивостью средств при их реализации» — так говорят про него медики. К тому же «высокий самоконтроль, педантичность, эмоциональная устойчивость (Господи, чего нам не хватает!), планомерность в жизни».

Врачи почему-то считают, что «эти и другие особенности Филатова не оказали влияния на его поведение во время совершения инкриминируемых ему деяний...»

А я так наоборот, думаю, что они-то как раз и помогли ему совершить преступления. И, скажем, тапочки, которые он надевал, и табак, рассыпанный после себя, и рукавицы, которые он поберег, не выбросил, хранил у отца, говорят больше о его причастности к преступлениям, чем капли крови, обнаруженные на его обуви, или остатки от свинцовых пуль в кармане.

И тут я вспоминаю вновь слова следователя у Достоевского, который бросит своему подопечному: «Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и сто миллионов раз безобразное дело бы сделали!»

НАКАЗАНИЕ

Наши дела, которые мы разбираем на Комиссии, такие разные и такие, в сущности, одинаковые. Это как в детективе: герои разные, а цель одна — найти убийцу.

Правда, мы ищем не убийцу — он нам известен, а его заблудшую душу. То, чем практически занимался следователь Порфирий Петрович у Достоевского. И когда он докопался до души, измучив и себя, и свою жертву, он с облегчением отпускает Родиона Романовича «немножко погулять», в полной уверенности, что он уже и сам не убежит. Единственное, чего он может опасаться, так это того, что Родион Романович руки на себя наложит... А если и наложит, то хоть записку краткую напишет...

Но и наш герой, Филатов, как вы помните, записку прощальную написал, однако рук на себя не наложил. И это, это тоже оказалось фикцией. Он будет писать еще сотни «записок» во все международные правозащитные адреса, уразумев, что слабость всех у этих организаций — в их жалостливом характере.

С железной неумолимостью работа он приступил к преодолению еще одного и очень даже реального для себя препятствия. Строчит и строчит.

В деле Филатова сохранились — случайно, наверное — два заготовленных бланка, которые ретивый чиновник, скорее всего наш Шкаф в пору своей власти, подготовил для скорейшего решения. Судя по ним, судьба Филатова висела на волоске.

Первый бланк — об отклонении ходатайства о помиловании. Там и доводы: «Учитывая, что при разбойном нападении с целью сокрытия преступления убил трех человек, внести на рассмотрение Президента РФ предложение отклонить ходатайство о помиловании». Второй бланк такой: «Руководствуясь принципом гуманности, помиловать Филатова Олега Викторовича, заменив ему смертную казнь пожизненным лишением свободы».

Пригодился бланк второй. Мы помиловали Филатова, заменив ему смертную казнь пожизненным заключением.

НЕ ДВИНУ К ПРИСТАНИ СВОЙ ЧЕЛН

ДЕЛО КАПИТАНА САБЛИНА (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

От жены капитана Саблина я получил письмо:

«Уважаемый Анатолий Игнатьевич! Прежде всего хочу поблагодарить Вас за то, что Вы согласились помочь в деле реабилитации Валерия Михайловича. Посылаю Вам несколько документов, может быть, они помогут.

1. Письмо, адресованное Нине Михайловне (4 листа).

2. Письмо, адресованное сыну Мише.

3. Текст записи выступления по радио или телевидению, сделанный Валерием Михайловичем на магнитной ленте (13 листов).

4. Определение 3001/76–94 Военной коллегии Верховного суда РФ от 12.04.94 г. (8 листов).

5. Поздравление командующего дважды краснознаменным Балтийским флотом Михайлина с награждением Валерия Михайловича орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» от 3.03.75 г.

Очень надеюсь на положительный результат. С уважением, Нина Михайловна Саблина, г. С.-Петербург.

18.01.96 г.».

Письмо это стало реакцией жены, семьи Саблина на мои попытки сдвинуть дело с мертвой точки.

Практически к нашей Комиссии и моей работе оно никакого отношения не имело. Реабилитацией дел, да еще дел

старых, мы не занимаемся. Но оно не могло не коснуться меня лично, впрочем, как и любого другого, кто хотел бы добиться справедливости. И прежде всего справедливости по отношению к этому необыкновенному человеку.

В школьных учебниках мы читали рассказы (мы просто зачитывались ими!) о замечательном человеке, лейтенанте Шмидте, который поднял красный флаг и бросил вызов царскому режиму.

Его расстреляли, но о нем горевала вся Россия, и его имя стало синонимом чести и высокого служения народу. За семьдесят лет советского рабства никто не повторил этот подвиг, хотя флот у нас огромный, да и смелых офицеров хватает. Но вот светлых умов, но жертвенных натур, но людей безусловной внутренней честности, равных, скажем, академику Сахарову, так мало.

И вот вдруг капитан Саблин.

Впервые о Саблине мне рассказал Владимир Николаевич Наумов из управления по реабилитации. На пути в столовую в бесконечных коридорах он на ходу вкратце поведал мне, что бьется за Саблина который год с военной прокуратурой, но все без толку, и не знает, как тут можно помочь.

Была еще крошечная статейка, промелькнувшая в «Московских новостях», вот и все.

О Саблине, его подвиге многие наслышаны, но мало что по-настоящему известно, и глухое непроницаемое забвение его имени, а практически заговор умолчания, созданный бывшей властью Брежнева, до сих пор продолжается.

Публика не знает, не хочет знать ничего, а общественность вроде бы лениво трепыхается, но без реального результата. Новая же власть индифферентна, как и ее прокуратура; они словно вмерзли в прошлые годы, и их отношение к Саблину не изменилось.

Из документов:

«Совершенно секретно. ЦК КПСС: Комитетом государственной безопасности заканчивается расследование уголовного дела по обвинению капитана 3 ранга Саблина В.М. и других военнослужащих — участников преступной акции 8–9 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле «Сторожевой».

Установлено, что организатор этого преступления Саблин, попав под влияние ревизионистской идеологии, на протяжении ряда лет вынашивал враждебные взгляды на советскую действительность.

В апреле 1975 года он сформулировал их в письменном виде, записал на магнитофонную ленту, а во время событий на «Сторожевом» выступил с антисоветской речью перед личным составом.

Политическая «платформа» Саблина включала набор заимствованных из буржуазной пропаганды клеветнических утверждений об «устарелости» марксистско-ленинского учения и «бюрократическом перерождении» государственного и партийного аппарата в СССР, призывы к отстранению КПСС от руководства обществом, к созданию новой, «более прогрессивной» партии.

Весной 1975 года он разработал детальный план захвата военного корабля, который намеревался использовать как «политическую трибуну» для выдвижения требований об изменении государственного строя в СССР и борьбы с Советской властью. Он организовал и осуществил самовольный угон большого противолодочного корабля за пределы советских территориальных вод. Эти действия КВАЛИФИЦИРОВАНЫ как измена Родине...»

Подписи: председатель КГБ Андропов, Генеральный прокурор Руденко, министр обороны Гречко, председатель Верховного суда Смирнов.

Секретное письмо написано в духе советской агитки и не несет достаточной информации о реальных событиях; нет в нем попытки проанализировать и понять мотивы, которыми руководствовался Саблин, зато главный вывод, до суда, уже сделан: «измена родине», эта формулировка, как нам известно по делу о двух капитанах (см. книгу первую), и будет решать судьбу человека. Измена родине каралась смертной казнью.

Что же руководило Саблиным, который поднял руку на святая святых и был — и догадывался об этом — обречен.

Свои идеи Саблин выразил в тексте, который он подготовил для выступления.

Там есть такие слова:

«...Я думаю, нет смысла доказывать, что в настоящее время слуги общества уже превратились в господ над обществом. На этот счет каждый имеет не один пример из жизни. Мы наблюдаем игру в формальный парламентаризм при выборах в советские органы... Практически судьба всего народа находится в руках избранной элиты в лице Политбюро ЦК КПСС... Пропала вера в существование справедливости в нашем обществе. А это первый симптом тяжелой болезни...»

«Военная коллегия установила: Саблин признан виновным в том, что, проходя службу на Военно-морском флоте, он длительное время вынашивал изменнические замыслы о захвате власти на надводном боевом корабле, обладающем обособленной территорией, автономностью существования, достаточной маневренностью, мощными радиостанциями и вооружением, чтобы использовать его для враждебных выступлений, направленных на изменение государственного и общественного строя в СССР, в частности, как средство давления на Советское правительство при предъявлении ряда ультимативных требований, в том числе и о предоставлении ему, Саблину, возможности систематически выступать по Центральному телевидению и радио с пропагандой его преступных намерений...»

Текст практически повторяет в несколько развернутом виде приведенное ранее письмо. Масса общих слов и минимум фактов.

Далее сказано, что «в октябре 1975 года Саблин, узнав, что корабль будет участвовать в праздничном военно-морском параде в городе Риге, а 9 ноября уйдет в ремонт, запланировал захватить власть на «Сторожевом» вечером 8 ноября, выйти в море и использовать корабль в своих преступных целях. Продолжая подготовку к совершению преступления, Саблин решил привлечь в качестве пособника матроса Шеина, для чего 5 ноября изложил Шеину изменнические замыслы об использовании корабля... Шеин согласился оказать содействие Саблину в совершении преступления. Шеин по собственной инициативе рассказал о намерениях Саблина четырем матросам, ознакомил их с записанным на магнитную ленту выступлением Саблина, склонил написать близким письма о предполагаемых событиях на корабле... Около 17 часов 8 ноября Шеин, выполняя поручение Саблина, отключил связь с постами 1–6 радиотехнической службы (РТС)».

Далее события развиваются, как в детективном фильме.

В 18 ч. 30 мин. Саблин обманным путем завлек командира корабля Потульного А.Б. на второй пост радиотехнической службы и изолировал его там, закрыв люки. Потом собрал офицеров и мичманов корабля и выступил перед ними с речью, а также зачитал текст радиограммы с ультимативными требованиями. Группу лиц, заявивших о несогласии с Саблиным, он изолировал с помощью Шеина. Затем Саблин выступил перед старшинами и матросами, а по внутренней радиосети корабля транслировалось его выступление, записанное на магнитную ленту. Он также вручил писарю корабля текст радиограммы: «Всем, всем, всем...»

Из текста радиограммы:

«Всем! Всем! Всем!.. Наша цель — подать голос правды... Наш народ уже значительно пострадал и страдает из-за своего политического бесправия... Предполагается, что, во-первых, нынешний государственный аппарат будет основательно очищен, а по некоторым узлам — разбит и выброшен на свалку истории, так как глубоко заражен семейственностью, взяточничеством, карьеризмом, высокомерием по отношению к народу.

Во-вторых, на свалку должна быть выброшена система выборов, превращающая людей в безликую массу.

В-третьих, должны быть ликвидированы все условия, порождающие всесильность и бесконтрольность государственного аппарата со стороны народных масс...»

И вот результат, временный, понятно:

«Используя свое служебное положение, внезапность и неожиданность возникшей перед старшинами и матросами ситуации, их растерянность, недостаточность жизненного опыта и другие обстоятельства, а также применяя различные демагогические и обманные приемы, Саблину удалось ввести их на некоторое время в заблуждение».

Странная картина возникает перед нами: боевые моряки, коим страна доверила защиту рубежей, выставлены как мальчики, которые теряются, выслушав выступление Саблина.

Можно представить и другое — они и правда поверили в пламенный призыв Саблина, а вот далее, вспомнив о жесточайших методах КГБ, конечно, «опомнились», а точнее,

испугались, у них не достало жизненного опыта понять, как эта власть мстительна и опасна.

События же продолжают развиваться. Двое из команды: старшина и матрос — хотят освободить капитана... Шеин пресек их попытку, наставив на них пистолет, который, как потом выяснилось, не был заряжен.

Группа офицеров предпринимает попытку арестовать Саблина, однако Саблин с помощью других членов команды остановил их действия и приказал этих офицеров изолировать.

С корабля тайно сбегает один из механиков (он же штатный секретарь комитета ВЛКСМ) на соседнюю флагманскую подводную лодку и сообщает о бунте на «Сторожевом». Это позволяет командованию принять срочные меры. В третьем часу ночи корабль, снявшись со швартовых, начинает движение к выходу из вод Даугавы. Его преследуют другие корабли.

В четыре часа ночи Саблин приказал радистам передать на имя Главнокомандующего ВМФ СССР зашифрованную телеграмму, в которой предъявлялись ультимативные требования центральной власти с обещанием объявить территорию корабля свободной и независимой, а членов экипажа — неприкосновенными личностями.

Стремясь помешать движению корабля, члены экипажа, изолированные во «второй агрегатной», отключают питание радиолокационных станций. Их переводят в другое помещение под конвоем свободных от вахты матросов. Мичмана, попытавшегося освободить членов экипажа, запирают в помещении поста.

На предложение пограничников, сопровождавших «Сторожевой» и передавших приказ командования флотом встать на якорь, Саблин отвечал: «Мы не изменники, идем в Кронштадт».

В 8 ч. 55 мин. утра 9 ноября Саблину вручили радиogramму Главнокомандующего Военно-морским флотом СССР, который подтвердил получение телеграммы и приказал вернуть корабль в Ригу. Но «Сторожевой» продолжил движение. Он миновал Ирбенский плавмаяк за пределами советских территориальных вод и лег на курс в направлении берегов Швеции.

Впоследствии именно Ирбенский плавмаяк стал одним из доказательств того, что корабль собирался плыть в Швецию, хотя, по последующим признаниям специалистов и других капитанов, Саблин не мог идти иным путем, через Моонзундский пролив, не имея штурмана, к тому же там стояли береговые ракеты и были узкие места, где могли перекрыть ему движение.

По команде из Москвы и Калининграда на Лиепайскую военно-морскую базу, к «Сторожевому», была направлена группа военных кораблей, от подводных лодок до торпедных катеров и десантников, словно готовилось морское сражение с превосходящими силами противника... Этаким Синоп!

Был отдан приказ: «Остановить корабль, а если не послушается — уничтожить».

Пограничники не стали применять оружие, его применила наша боевая авиация (вспомните, они первыми были и в Чечне!). По боевой тревоге были подняты самолеты Тукумского авиаполка, они выполнили задание на «отлично» и вскоре получили боевые ордена.

А я должен покаяться: я как раз проходил службу на этом аэродроме, лет так на двадцать ранее, и обучал локационному делу тамошних радистов. Возможно, это они наводили своих пилотов на цель.

Саблин все время погони и атаки находился на судовом мостике и старался при помощи маневров уйти от бомб. Но корабль потерял управление, задымился.

В это же время часть команды, «разобравшись в преступном характере действий Саблина, освободила командира корабля Потульного, и тот, взойдя на мостик, выстрелил в Саблина из пистолета и ранил его в ногу. Он был схвачен, обезоружен и вместе с Шеиным взят под стражу...»

Саблина выводят под конвоем особистов на палубу, пересаживают на другое судно. Один из матросов (ему, конечно, припомнят это) громко произносит: «Запомните этого человека на всю жизнь! Это настоящий командир, настоящий офицер советского флота!»

Система, с которой боролся Саблин, сделает все, чтобы предать его имя забвению, стереть его из памяти тех немногих, кто хоть что-то знал. Со всех кораблей, которые участвовали

в подавлении бунта, изъяли вахтенные журналы, а из них вырвали листы, описывающие ход событий, как и было положено по инструкциям.

Вдруг не стало никаких официальных документов, приказов, распоряжений по флоту. И даже там, где Саблин учился, в Военно-политической академии имени Ленина, его фамилию стерли с почетной доски отличников.

Не было Саблина, не было бунта на корабле, не было и не могло быть протестов в этой стране.

Саблин и члены экипажа специальными самолетами были доставлены в Москву для допроса. Саблин взял всю вину на себя и не назвал ни одного сообщника. Зато все члены экипажа своими показаниями подтвердили вину Саблина и Шеина, и им была вменена статья за «групповое неповиновение».

Приговор Саблину гласил:

«...Признать виновным по пункту «а» статьи 64 УК РСФСР (измена родине) и приговорить к смертной казни...» Президиум Верховного Совета СССР в рекордный срок (за 19 дней) рассмотрел ходатайство Саблина о помиловании и отклонил его.

Хочу привести несколько строк из писем, которые мне прислала жена Саблина, Нина Михайловна. Письма ей и сыну были написаны заранее, до того, как все произошло.

«Дорогая моя Ниночка! Мне даже трудно представить, как встретишь ты сообщение о том, что я встал на путь революционной борьбы. Возможно, ты проклянешь меня, как человека, который испортил тебе всю жизнь; возможно, ты назовешь меня черствым человеком, не думающим о семье. Возможно, глубоко обидишься за то, что я скрывал от тебя свои планы. А возможно, просто печально скажешь: «Чудаком он был, чудачком и остался!» Это будет лучшее из того, что я могу ожидать. Не суди слишком строго меня и постарайся объяснить Мише, что я не злодей, не авантюрист, не анархист, а просто человек, любящий свою Родину, свободу и не видящий иного пути к счастью своего народа, кроме борьбы. Я очень любил и люблю тебя и, конечно, нашего сына Мишу. Эта любовь помогала мне быть честным в жизни... Идя на этот решительный, опасный, честный шаг, я, конечно, по-

нимаю, что не все меня поймут и поддержат. Но мне очень, очень хочется, чтобы вы с Мишей поняли меня. Что меня толкает на это? Любовь к жизни... Примерно такое же письмо я написал своим родителям, я тебя очень прошу — не забывай их и помогай всячески. Как-то они встретят сообщение о моем выступлении?!»

Он заканчивает стихами Надсона:

*Не весь я твой — меня зовут
Иная жизнь, иные грезы...
От них меня не оторвут
Ни ласки жаркие, ни слезы.
Люблю тебя, я не забыл,
Что жизни цель не наслажденье,
В душе своей не заглушил
К сиянью истины стремленье.
Не двину к пристани свой челн
Я малодушною рукою
И смело мчусь по гребням волн
На грозный бой с глубокой мглою...*

На суде, в своем последнем слове, Саблин был короток: «Люблю жизнь. У меня есть семья, сын, которому нужен отец. Все...»

Его расстреляли.

Саблин не случайно говорит в письме о том, что не все его поймут. Его постарались не понять и в наше время — ему было отказано в реабилитации.

«12 апреля 1994 года Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации рассмотрела уголовное дело в отношении Саблина В.М. и Шеина А.Н. по заключению заместителя Главного военного прокурора об отказе в реабилитации.

Руководствуясь ст. 9 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года, Военная коллегия Верховного суда СССР определила: Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 13 июля 1976 года в отношении Саблина Валерия Михайловича и Шеина Александра Николаевича изменить;

считать Саблина осужденным к лишению свободы по совокупности преступлений сроком на 10 лет... Считать Шеина осужденным к лишению свободы по совокупности преступлений сроком на 5 лет.

В остальной части приговор оставить без изменений.

Саблина В.М. и Шеина А.Н. признать не подлежащими реабилитации.

Председательствующий судебного состава
генерал-майор юстиции
Л.М. Захаров».

Еще одна великая несправедливость.

Они расстреляли честного офицера, а потом заменили ему расстрел на десять лет лишения свободы.

Да он уже свободен от вас, слава богу, господа генерал-майоры!

Оттуда, из своего далека, он обращается уже не к вам — на хрена ему ваша реабилитация! — он обращается к сыну, а в его лице к иному поколению, которое будет другим, не похожим на вас. Оно забудет вас, как кошмарный сон, и предаст забвению вашу протухшую юридистику.

А имя Саблина войдет в хрестоматии и встанет рядом с другими именами, которыми мы ныне гордимся.

Из письма к сыну Мише:

«Дорогой сынок Миша! Временно расстался с вами, чтобы свой долг перед Родиной выполнить. Не скучай и помогай маме. Береги ее и не давай в обиду. В чем заключается выполнение моего долга перед Родиной? Я боюсь, что сейчас ты не поймешь глубоко, что меня толкнуло на путь революционера, но подрастешь, и все станет ясно. А сейчас я тебе советую прочитать рассказ Горького о Данко. Вот и я так решил рвануть себе грудь и достать сердце... Пожалуй-ста, не принимай близко те колкости, а может, и гадости, которые будут говорить про меня некоторые люди. Одни просто по недомыслию, другие от злобы, что потревожили их обеспеченный уют... (Такая подробность: при обыске в доме офицера Саблина не нашлось сколько-нибудь ценных вещей, которые можно было бы конфисковать! — А. П.) Будь спокойным и мужественным, верь, что история рассудит, кто есть кто, и тебе не придется краснеть за своего папу...»

Зона шестая

ДЕТСТВО

ЦЕЛУЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

С особой осторожностью приближаюсь к этой теме, потому что я ее боюсь, здесь много для меня личного, и говорить о детстве преступников — значит говорить частью и о себе.

В одной молодежной газете подростки отвечали на вопрос, что они знают об Андрее Сахарове, и среди нескольких невразумительных ответов был один такой: «Это что-то из прошлого, и нам неинтересно...»

Зато на вопрос, кем они мечтают быть, ответ был однозначный: рэкетиром.

Ребята не просто отвергают прошлое, они отвергают вечное, тем самым предопределяя свою собственную судьбу. Нельзя висеть в воздухе, ни на что не опираясь. Даже злейшие из преступников (тот же зверь Чикатило) ищут для себя оправдания, ссылаясь на историю, на недавнее прошлое страны. Прожив безнравственную жизнь, они не забывают, что нечто вроде совести, чести, пусть не для них, для кого-то, в этом мире все-таки существует.

Боюсь, что для наших мечтателей о карьере рэкетира таких понятий уже нет. Раньше спрашивали: а можешь ли ты за миллион убить человека? И те, кого спрашивали, еще могли колебаться. Нынешние же, не колеблясь, могут убить кого угодно лишь потому, что им так захотелось. И не за миллион даже. Могут сделать это просто так, для собственного удовольствия, то есть бесплатно.

Поколение, отвергшее Сахарова и те ценности, что он с риском для жизни нам оставил, обречено на гибель.

Ученые доказывают, что нехватка любви с первого года жизни развивает у ребенка желание самоутвердиться путем насилия: не дают — значит, надо брать самому. В прошлом преступников, совершивших свои преступления с особой жестокостью, мы без труда найдем одну общую особенность: тяжкое детство.

Я пошел бы дальше ученых, я готов заявить, что детство, его начало, от первого поцелуя матери, может защитить малыша надолго, если не навсегда, от многих бед, и внутренних и внешних.

Так что целуйте своих детей, целуйте их от момента рождения, или еще раньше, мысленно, когда они в утробе, и вы спасете еще одну жизнь.

В книге Евреинова «История телесных наказаний в России» в главе, замечательно названной «О ценности телесных наказаний», есть такие современные нам мысли: «То же самое можно сказать и относительно целого народа. Черты варварства, жестокости, душевной загрубелости, развращенности или приниженности, присущие той или другой нации, легко находят себе объяснение в тех мерах обуздания и устрашения, к которым долго народ привыкал в продолжение веков... Вся жизнь народа проходила под вечным страхом истязания: пороли родители дома, порол учитель в школе, порол помещик на конюшне, пороли хозяева ремесел, пороли офицеры, становые, волостные судьи, казаки — чуть ли не все, кто приходил в соприкосновение с бесправным крестьянином...»

МУЗЫКА СВОЕГО ДОМА

Если под Рождество или под Новый год вы захотите узнать, чего же мы с вами достигли, не надо искать в газетах статистику или заглядывать в телеящик, загляните лучше в лица детей, особенно тех, кого вы встретите на улице. Рождественская сказка про замерзающего малютку, которого в конце концов найдут и обогреют, конечно, не минет наш рассказ. Поскольку такая история и правда рождественская. Но я сейчас о детях, которых не обогреют и не приютят. Они-то и будут определять наше будущее, хотим мы этого или не хотим. И когда от главного милиционера страны вы узнаете о возрастающей преступности и возмутитесь, отчего же нико-

го не ловят и почему нет порядка на улицах, вспомните: дети, которых вы сегодня не обогрели, завтра ответят по-своему на ваше равнодушие. И никакая милиция вам не поможет.

Недавно попался мне материал по детской колонии в Костромской области. Начальник этой колонии рассказывает про своих подопечных. Так вот, сидят они черт знает за что: за украденный хлеб, за украденную на рынке сумочку, один почему-то в зоомагазине трех хомячков спер! Может, тоже на пропитание?

Сколько же случайных воришек, алкоголиков, плохо контролирующих свои действия, бомжей и прочих, укравших курицу или буханку хлеба, опустошают по воле МВД скудные запасы общества, если посчитать, что сидят они в среднем до десяти месяцев, а первые дни содержания уже перекрывают нанесенный ими ущерб. А за липовой статистикой легко скрываются (покрываются) настоящие преступники, которые гуляют на свободе.

Не так давно на встрече с немецкими друзьями возник спор о воспитании детей сегодня, они очень волновались, что в нынешней Германии дети воспитываются в парниковых условиях. «Вот если бы им немного хлебнуть лиха, как вам в вашей жизни, — говорили они. — Ведь трудное детство могло вам стать человеком!»

Я не согласен с такими доводами и считаю, что детство должно быть обязательно счастливым, наполненным семьей и любовью. Примерно таким, как описано оно у Толстого или Аксакова.

Меня всю жизнь сопровождала мечта о Настоящем Доме.

Мой герой из повести «Солдат и мальчик» мечтает:

«— Был бы у меня дом, — сказал Васька задумчиво, — поставил бы себе топчан, тумбочку, тарелку бы собственную имел. И никому бы не разрешил ее облизывать... А еще бы я замок повесил. А сам через окно ходил!

— Какой же это дом, — захохотал солдат. — Это не дом, а черт знает что! Берлога!

— Какой хочу, — нахмурился Васька».

В деформированном сознании бездомного ребенка образ Дома не может быть каким-то другим, кроме как неприступ-

ным — крепостью. Ничем и никем не защищенные, мы, дети улицы, презирали детей «домашних», они были из другого, недоступного нам мира. Делая вид, что этот мир нам безразличен, мы на самом-то деле глубоко страдали и при случае с жадностью вглядывались в него, желая понять, что же это такое: свой Дом!

Но мне, наверное, повезло. До девяти лет у меня все-таки был свой дом. А когда я женился, то попал в дом тестя, человека, прочно стоящего на этой земле, геолога по профессии, которого мы обязательно посещали по праздникам и в дни рождения. Мы приходили нарядно одетые, с женами и детьми, и все мы размещались за одним большим столом, во главе которого сидел сам хозяин. И он, и теща угощали нас, и это был истинно семейный праздник. Все мелочи быта, все неурядицы и суета отлетали в сторону, и музыка Дома проникала в душу.

Про «музыку» придумал не я. Однажды мне попалась на глаза фраза, произнесенная борцом за права негров-рабов в Америке Джоном Брауном, его потом арестовали, посадили в тюрьму и казнили. Наверное, там, в тюрьме, и возникли эти теплые слова о доме. «...Когда долго пробудешь в отсутствии, — писал он, — только тогда услышишь ни с чем не сравнимую музыку своего дома, сможешь оценить ее...»

Я был «в отсутствии», то есть бездомным, до тридцати лет. Когда я заимел первую в жизни комнатуху, я купил большой, едва влезавший в эту каморку стол и очень мечтал сидеть во главе его и принимать своих детей и внуков... Именно для того, чтобы ощутить эту несравненную музыку своего Дома.

А еще я люблю, когда ко мне домой приходят поесть. Так же, как вспоминаю благодарно дома, где меня хоть раз сытно накормили. Вечное чувство голода (обычная болезнь блокадников) — вот что мне досталось от бродячего детства. А еще дорога: это крыши вагонов или «собачники», ящики такие железные под вагонами; обувь: резина от автопокрышек, прикрученная особым манером проволокой или веревочками; прокорм: все, что можно стащить... С детства запомнил анекдот про двух инвалидов, которым «приставили» в больничке чужие глаза и чужие руки... Через полгода выяснилось: тот, что с чужими глазами, набрасывался на по-

мойки, ибо глаза ему достались собачьи, другой же попадал в чужие карманы, ибо руки ему достались от умершего вора... У нас глаза и руки тоже были как бы и не свои.

Сильней всего хотелось, конечно, сладкого. От двух мороженых картофелин, съеденных в сорок втором году, помню сладость до сих пор. Можно было забраться на дерево с риском сломать себе шею и слизывать сладкую патоку с молодых листочков липы. А однажды повезло: пил чай с настоящим сахарином, и это было самое настоящее *сладкое* счастье!

Но более всего я помню тех, кто нас не бросил в трудный момент жизни. Нина Петровна — воспитательница из блокадного Ленинграда... Она спасала нас от голода, от вшей... Давала читать книжки... Крестьянка Гонцова в Сибири, подобрывшая меня, замерзающего, в поле зимой... Регина Петровна из Серноводска... О ней я написал в «Тучке»... Были и другие, Господь знает их имена. И если я сегодня взываю к добру, то это лишь эстафета милосердия, переданная от них.

ПИСЬМА ДЛЯ ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ

Этим летом мне повезло побывать в Берлине. В том самом, который для нас с детства был символом вражеского логова, где сидит Гитлер и убивает нашу родню. Но это далеко не символ: отец прошел все фронты и чудом остался жив (я даже получал на него похоронку!), его мама, изгнанная фашистами из смоленской деревни, погибла от тифа в лесу... Погибли и два ее сына на войне, братья отца. Да и моя мать умерла в сорок первом, и все говорили, что ее подкосила война.

Все мы знали: вот разбомбим Берлин, и станет нам легче жить. А теперь я, бродя по улицам этого чудного и очень дружеского для нас города, не переставал удивляться, как в нем удобно живет детям. Для них придуманы — для тех, кто в свободное время не уезжает из города, — замечательные Дома. Один такой на улице Тихой (Stiell-Strasse) я навещал, зовется он озорно: «Культи-Пульти», и учат там, бесплатно разумеется, приходящих свободно с улицы детей разным искусствам: ваянию, лепке, рисованию. Работает там замечательная художница, она же воспитательница, Ханна Лора. Когда-нибудь о ней я еще напишу. А еще есть в Берлине чудесные детские площадки, со всякими изобретательно

придуманными играми. Там множество ярмарок, где ты можешь, если ты, конечно, ребенок, присесть за стол и наклеивать разные картинки на картон. И картон и картинки тебе здесь дадут... А потом ты садишься на стул к улыбочивой художнице, и она тебе размалюет физиономию под собачку, под кошку или под чертика!

А еще я видел в одной школе «комнату ужасов» со всякими там черепами и домовыми, где дети по желанию могут оставаться переночевать, чтобы выработать в себе с детства смелость и мужество.

Проводя среди немецких детей анкетирование (в том числе и для сравнения с нашими детьми), я спрашивал их: а как они понимают голод? Чаще всего отвечали: «Не знаем», а одна девочка написала: «Это когда бурчит в животе».

Еще я спрашивал, что такое, скажем, война. Первый ответ был: «Это жестокость». Ответ второй: «Это страх». Ответ третий: «Это когда гибнут слабые».

Дети в России отвечают примерно так же. Но о голоде они знают не понаслышке. И к сожалению, для них не надо строить специальных «комнат ужаса», ибо о жестокости, страхе и насилии над слабыми они узнают от нас в той большой комнате-стране, в которой мы все живем. И если маленькая девочка крадет грудного ребенка, чтобы продать его за миллион рублей (недавний случай, известный из печати), то и родители ее, как выясняется, из тех, кто уже побывал в заключении... Чему же она еще могла научиться?

Но если честно, я не верю в воспитание при помощи проповедей, хотя и они, наверное, нужны. И Владимир Мономах, киевский князь, еще десять веков назад оставил нам «Поучения», легшие в основу Домостроя, книги о добропорядочном поведении в быту. Но главный секрет воспитания, по-моему, прост: надо быть в жизни таким, каким ты хочешь видеть своего ребенка. Если ты живешь не во лжи, то он и без поучений усвоит честный образ жизни. Но если в мире (нашем мире), где царствуют насилие, жестокость и воровство, мы будем внушать детям благие мысли, они нам все равно не поверят. И будут правы.

Однажды нашим детям от пятого до одиннадцатого класса задали сочинение на тему: «В каком времени вы хотели бы жить?» Победителем оказалось прошлое — в прошлом

хотел бы жить 121 ребенок из 195. В будущем — 50 человек. А в настоящем — лишь 24.

Случилось так, что в мои девять лет я получил в люберецкой библиотеке книжку, которая называлась «Вор». Кажется, автор Леонид Леонов. Я потом ее достал, перечитал и убежден, что это очень хорошая книжка. А тогда моя мама, заведя такое странное название, вырвала книжку у меня из рук, лично — хоть было ей непросто; она уже едва вставала с постели — добрела до библиотеки, одноэтажного бревенчатого домика на центральной улице, которая называлась проспектом и, конечно, Октябрьским, и устроила там скандал: отчего нам дают такие книги и чему они научат!

Бедная моя мама, она не могла предвидеть, что стану я вскоре таким же вором и научусь многому из того, о чем писалось, это и спасет мою жизнь.

А может, догадывалась и, приходя в отчаяние, по-своему, по-матерински старалась меня и мое будущее хоть как-то уберечь?

В упомянутой уже мной повести «Солдат и мальчик» приведена такая сценка из жизни детдома: «В спальне стоял крик, швырялись подушками, ходили по головам, дрались. Кто-то дважды наступил на Васькину голову... Хотел высунуться, но кто обратит внимание, что там орет Сморчок... Скажут, заткни хлебало, а то щами воняет! Врезать ему по первое число! «Москву» изобразить! «Велосипед» организовать! «Салазки» загнать! «Темную» ему! Цыц, паскуденек, не то соплей перешибу!.. Знает Васька, ох, знает, что правит в детдоме сила, а не директор с воспитателями. И пока не набрал живого вещества, не вызверел, не охамел и не стал пугалом для других мальков — заткнись, ходи неприметный в мелкоте. Скажут: тащи пайку — тащи, не медли. Скажут: будь рабом, ползай, оближи палец на ноге властителя, выпей мочу на лету из струи... Все сделай, чтобы выжить. Скажут кого-то бить — бей, скажут украсть — кради! Все нужно пройти, чтобы потом творить с другими то, что творили с тобой, это и есть главный тут закон. Сперва едят тебя, а потом ты ешь других...»

Нельзя скидывать со счетов и такую приманку блатяг, как романтика воровской жизни, которую с готовностью, к сожалению, подхватывало и наше искусство. В фильме моего

детства «Котовский», о котором я упоминал, в камеру попадает главный герой фильма, а там сидит уголовничек, его играет любимый артист нашего времени Николай Крючков. Играет виртуозно этакое хлыща, вылизанного и ухоженного, умеющего быть в тюрьме — как и на свободе — обаятельно опасным. Вот он поет песенку: «Расскажу, как в старину я первый раз попал в тюрьму-у... Кишмары... Кишмары...» Рифмуется это словцо с другим, подобным же: «На нары, на нары...»

Там же наш обаяшка-вор произносит с самоуверенной наглой улыбочкой, чуть шепелявя: «Этому молодому человеку просто надоело жить... Ну что же, мы ему можем помочь...»

Понятно, что это лажа и политические заключенные с уголовниками при царском режиме никогда вместе не сидели, это изобрела наша родная советская власть. Но я не об этом. Я о той великой школе кино, которая, благодаря оглушительному воздействию на наши впечатлительные души, готовила из нас будущих уголовников.

И мы со сладостной охотой распевали песенку про «кишмары» и через зубы могли прошипеть кому-то из прохожих, что этому молодому человеку просто надоело жить...

В те времена у нас тоже царствовали урки, свивали себе на зиму в стенах детдомов гнезда «малины». Они не были столь привлекательны, как Крючков. Я бы даже добавил: они были первобытно жестоки. Разглядывая из сегодняшнего далека их сытые наглые рыла, я прослеживаю связь между ними и нынешними уголовниками, грабящими детей и старух. Это отбросы, которые всплывают, как дерьмо, в самые тяжкие моменты жизни.

Однажды они проиграли мою жизнь в карты, и, чтобы уцелеть, я вышел на улицу как бы по нужде, была зима, я босиком бежал по снегу... Куда? Да куда придется.

К нынешним, особенно беспризорным, интерес, говорят, у криминальных структур не меньший, их с охотой берут в наемные убийцы. Они жестоки, они ненавидят этот мир из-за своих унижений. И они не связаны с ним тесными узами, ведь у них нет никого, кто бы их остановил, защитил, помог выбраться из пропасти....

Но это бездомные, а — домашние?

Вот в газетах пишут, что в День Победы на Поклонной горе во время массовых народных гуляний было забыто в пар-

ке... сорок пять маленьких детишек. Ну, представьте на минутку, что вы, посправажив, ушли домой, а малыша забыли забрать... Но там есть еще такая веселая подробность: в этот день в парке было брошено рекордное количество водочных бутылок. Целую неделю разыскивали потом забывчивых пап и мам, а для двоих малышей родителей так и не разыскали!

Сейчас, когда пишу, на дворе Рождество, и хочется мне закончить этот разговор не так грустно. Мне рассказали про один приют в Москве, где священник и сестры милосердия воспитывают найденных на улице девочек. А на дверях директора висит этакий конвертик с надписью: «Почта для всех взрослых». Туда воспитанницы бросают — особенно под Новый год — свои «секретные» записки.

Что они в них напишут? Полюбят ли они нас? Простят ли?

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

Из дела было очевидно, что Иван Бахатов в четырнадцать лет что-то украл, получил два года, но с отсрочкой исполнения, а тут случилось снова... Нетрезвый Иван со своим приятелем пришли к школе — наверное, той, где они учились в девятом классе, и кому-то из школьников съездили по физиономии. За что, они и сами не помнят. Потом они толкнули учительницу в коридоре, которая попросила их удалиться, и нецензурно при этом выругались. «Продолжая свои хулиганские действия, — написано в приговоре, — направились в ее сторону, размахивая руками и нецензурно выражаясь...» Вот за это и посадили. На целых два года.

Конечно, угрожать учителю, который и так сегодня унижен до последнего, или распускать кулаки нельзя, и подростки, сбившиеся в стаи, крайне опасны в любом темном дворе. Но и расправа над юнцом, которого некому защитить, тоже не лучшая мера. А вот что парень пишет «дяде Президенту»: «Касаясь моей личной жизни, родился я в местах лишения свободы. И всю свою молодость провел в детских домах...» Молодость — это, наверное, с тех самых пор, как себя помнит... С пяти или семи... Насчет места рождения тоже понятно, родители неизвестны, а мать там, за решеткой, родила, да и сгинула.

«Я с малых лет не знал и не видел, что такое материнская ласка, а также не слышал ласковых слов, лишь видел уличные

драки да пьяные дебоши, но ведь это не моя вина совсем, что я так воспитан...» Далее он мечтает, выйдя на свободу, стать водителем и « всю жизнь перевернуть в лучшую сторону. Я даже не знаю, поверите ли вы этой бумаге? Никогда не возьму в руки стакан с водкой, лучше взять в руки книжку...»

Да поверим, поверим. Я чуть не заревел белугой, увидев, что это дело и это прошение пролежало у нас более года. И побежал в отдел, где оно залежалось, и что-то наговорил в горячах, ибо ясно было, нельзя же беззащитного парня столько держать! Вспомнилось вдруг, как в Томилинском детдоме набросился я на воспитательницу, которая почему-то стала у меня забирать одеяло, я вцепился в нее мертвой хваткой, такой, что меня не могли силой отодрать несколько человек.

Я виноват и с опозданием в полсотни лет прошу прощения у той несчастной женщины... Я, кажется, даже покусал ее. Но ведь меня не посадили. И насчет первой кражи, за которую осудили подростка, — просто уверен, что украл он что-нибудь из продуктов, ибо детдомовцы всегда голодают. Я тоже крал съестное, когда по несколько дней не было в брюхе ничего, да и трава вокруг нашего детдома — трудно, наверное, сейчас представить — на километр была вся до корешочков объедена.

Недавно я получил такое письмо от одной женщины. «Много лет назад, — пишет она, — в годы войны я была пионервожатой в Томилинском детском доме. Заведующей этим детским домом была женщина. Она обратилась в среднюю школу № 2, которая была тогда деревянной, двухэтажной, где я училась, и попросила направить к ним в детдом «серьезную девушку» для работы с мальчиками. Оплата за работу: тарелка жидкого супа из пшена и сухарик. Как-то летом меня попросили почаще уводить мальчишек от детдома на речку Пехорку или в парк и как можно дольше их там держать, т. к. мальчишки постоянно залезают в подвал, где хранятся скудные запасы крупы, чечевицы, ячменя, и, голодные, уничтожают все в сыром виде. Однажды, когда я сидела на лужайке около реки и читала детям книжку, мимо проходил молодой мужчина с фотоаппаратом, узнав, что дети детдомовские, он попросил у меня разрешения сфотографировать всю группу. Спустя пять лет он разыскал меня и вручил эту дорогую мне фотографию».

И далее девочка, которую тогда звали Алла, а теперь Антонова Алла Владимировна, прислала мне эту старую серенькую фотографию, склеенную из двух половинок, предполагая, что среди этих мальчишек могу сидеть я. Не было меня там, но это и не так важно. Там три десятка стриженных пацанов в маечках и трусах, а в центре красивая девушка с пионерским галстуком на шее. Я вглядывался в их лица, как в собственное, хорошо помня, что пшенный суп под названием «рататуй» (по краям вода, а в середине х...) — это была роскошь, как и крупа в сухом виде. Мы выкапывали посаженную в землю картошку, обрезки картошки, а на Пасху ходили на кладбище и собирали с могил раскрошенную скорлупу от яиц...

Что касается ласки, женской, истинно материнской, то могу утверждать, что дети, не испытавшие ее, не могут стать полноценными людьми. Это место в душе ничем, кроме как черным мраком, заполниться не может. Именно оттуда прорастают корни неожиданной жестокости и зла. Я даже зрительно представляю, как в тот момент, когда мать целует своего новорожденного (слава богу, у меня это было!), в какой-то микроклеточке, а может, и правда в душе, закладывается ген любви, который впоследствии, что бы ни случилось с ребенком, не даст ему стать преступником.

Опыт многих прочитанных исповедей, где рассказывают о себе люди, приговоренные к смерти, доказывает, что их преступное настоящее было предопределено той жестокостью, которую они претерпели в детстве.

«К нам поступают, — рассказывает тот начальник колонии, о котором я уже упомянул в начале главы, — в основном дети деградированных, спившихся родителей, беспризорные, голодные, обозленные. Большинство садятся за кражу. Но многие воровали потому, что хотели есть...» И тот случай, когда сирота польстил на трех хомячков из зоомагазина... Так захотелось их иметь! Схватили? Конечно! Наверное, избили... И тут же осудили — благо сирота и никто не вступится — на целых два с половиной года! Далее директор колонии, слава богу, живой, чувствующий человек, подсчитал, что за время отсидки, а время это у малолетних преступников составляет три-четыре года, на каждого такого «преступника» тратится примерно 15 тысяч долларов. В эту сумму входят

также дознание, следствие, зарплата работникам милиции, суд, прокуратура, транспорт и прочее и прочее.

«А их страдания, а разрушенное в неволе здоровье, подорванную психику кто подсчитает?» — спрашивает директор колонии.

От себя добавлю: а тот урон для всех нас, для страны, для общества, а та опасность для жизни каждого гражданина, когда этот мальчик вырастет и *по-своему* предъявит нам счет. Это мы, мы с вами посеяли в его душе зло. И оно прорастет.

Недавно в газете промелькнула и канула незамеченной в Лету статейка, а ее бы гвоздем в каждое еще не успевшее проржаветь сердце... Вот она:

«Жестокое обращение с детьми в наших семьях стало нормой. В 1997 году было зарегистрировано более 15 тысяч посягательств на жизнь детей; в том числе 200 убиты своими родителями, 1500 подверглись сексуальному насилию, 2000 кончили жизнь самоубийством».

В школе, где учится моя дочь, в ее классе одна девочка написала: «Я не знаю, что сказать о профессии моего папы, он утром уходит на работу, а вечером приходит...»

Еще один сигнал из провинции: осужден за хулиганские поступки Попков Алексей Николаевич, рождения 4 декабря 1982 года и проживающий, до того как попал в тюрьму, в селе Прямая Балка Дубовского района Волгоградской обл.

Он пишет: «Горько сейчас сознавать те ошибки, которые пришлось совершить на первых шагах моей, как мне казалось, взрослой жизни. Вырос я в большой советской семье, где только нас, детей, было семь человек. Мама всю жизнь, воспитывая нас, работала на военном заводе. Сейчас она больная 60-летняя пенсионерка, имеет правительственные награды, но времени у нее не было обратить внимание на младшего сына, то есть меня. Учился в школе хорошо лишь до 6 класса. Потом стало неинтересно посещать школу. Чего греха таить, но жажда знаний не могла быть удовлетворенной сельскими учителями, я стал прогуливать, а потом бросил школу совсем. В нашем селе мы, 14–15-летние юнцы, были предоставлены сами себе: заколоченный клуб, отсутствие кино и жгучая ненависть к тем, кто вдруг разбогател только потому, что имел любую власть и должность

в селе. Мы, юнцы-сорванцы, ударились во все тяжкие: мелкое хулиганство, воровство и полное непонимание советов старших. Если бы в тот период нашелся человек, который смог бы нас приобщить к хорошему делу, отвлек от наших «развлечений», этого бы не было. Но село теряло рабочие места, разваливалось хозяйство, и взрослым было не до нас. А районное начальство привыкло лишь к одному: с помощью карающего органа наказывать беспощадно, наотмашь, не заглядывая в наши души, не понимая, чего мы хотим. В конце концов я уехал в Волгоград, пытался заниматься в спортивных секциях. Но и там я, чужак, не чувствовал ни поддержки, ни понимания старших. Пришлось вернуться. В 98-м году произошла моя первая кража, после чего я получил условный срок на 1 год 6 месяцев. В 99-м году, имея за спиной условный срок, я совершил опять кражу. И хотя за две кражи нанес ущерб владельцам пустяковый, на какие-то рубли, меня приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще не состоялся суд, я на свободе, и опять хулиганская драка, уже между своими товарищами, от которых я хотел избавиться, вдруг поняв, в какую яму я качусь. Драка была жестокой и отчаянной. В темноте трудно было что-то понять. Кто-то упал и попал на торчащий штырь, а может, проволоку, и сильно поранил ногу. Наше правосудие посчитало, что в драке был нож. В январе мне вынесли приговор: пять лет общего режима. Мне сейчас чуть больше семнадцати, и тяжело сознавать, что лучшие молодые годы придется провести в тюрьме, когда начал понимать всю беспечность и беспутность нашей жизни, и появилась девушка, и стало вставать на ноги наше сельское хозяйство, и стали появляться рабочие места. Анатолий Игнатьевич! Прошу Вас не отталкивать мой крик души, не бросать в бумажную корзину мое послание, а помогите, чтобы я не утонул окончательно в этом болоте, где оказался. Не мне Вам объяснять, какое оно и как выправляет наши души. Я верю Вам и надеюсь на Вашу помощь. Алексей Попков».

Письмо в общем-то обычное, искреннее, и Алексею можно помочь. Но сколько таких ребят пропадает, тонет в упомянутом болоте. Даже не для юриста очевидно несовершенство российских законов, где после первой судимости, такого же пустякового и условного срока, следует, при по-

вторе, уже большой срок даже за самый малый проступок, хотя мы, в силу возможности, пытаемся как-то внести свои коррективы.

ОТЦЫ И ДЕТИ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Это дело я выделил среди остальных, в нем можно увидеть, как формировалось преступное мышление в одной семье, но в разных поколениях: у отца и у сына.

Итак, первый — Нижегородцев Владимир Иванович, 1941 года рождения, русский, образование восемь классов, женат, имеет сына, который проходит по тому же делу. Судился пять раз, трижды за кражу, потом за убийство при отягчающих обстоятельствах и далее за особо злостное хулиганство. Первый раз в тюрьму попал в 16 лет, а в общей сложности отсидел два десятка лет и по этой причине никогда нигде не работал.

Осужден за умышленное убийство Токарева при разбое, совершенное вместе с сыном Александром через два месяца после выхода по амнистии на свободу.

Нижегородцев В.И., его сын Нижегородцев А.В. и их знакомая Кузнецова распивали спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, сын (обратите внимание: сын!) предложил отцу и Кузнецовой напасть на таксиста, чтобы добыть деньги на выпивку. Те согласились и распределили роли. Многоопытный батя передал сыну брючный ремень, которым они намеревались придушить водителя: Согласно договоренности, Кузнецова остановила автомобиль «Волга» под управлением Токарева. Отец сел рядом с водителем, а сын и девица позади, причем Александр сел непосредственно за спиной водителя. В пути следования по просьбе Кузнецовой Токарев остановил машину в безлюдном месте, и Кузнецова вышла из машины. Младший Нижегородцев попытался накинуть ремень на шею Токарева, но не смог, тот оказал сопротивление. Старший Нижегородцев схватил водителя за обе руки и стал его удерживать, в то время как сынок накинул-таки ремень и принялся душить. Потерявшего сознание Токарева перетащили на заднее сиденье. Александр забрал у него портмоне, а Кузнецова вытащила

из вещевого ящика аптечку и один рубль. Сынок сел за руль и повел машину. Дорогой Токарев начал приходить в себя, и отец, наступив ногой ему на горло, стал его душить. Сынок же остановил машину и открыл заднюю дверь, а когда голова потерпевшего вывалилась из салона, он трижды ударил по ней дверью.

Вот как это звучит в рассказе Нижегородцева-старшего: «...Хочу вкратце пояснить, что умысла на убийство водителя у меня не было. Только лишь завладеть деньгами. Но не убивать. Когда Александр накинул ремень водителю на горло и стал его душить, я сказал, что ты делаешь. Но Александр грубо выругался. И сказал, чтобы я держал водителю руки. Когда водитель стал терять сознание, Александр перебежал с задней дверцы в переднюю, где сидел водитель. В это время водитель сказал, мол, что вы, ребята, делаете, забирайте машину... Я сказал, сиди спокойно, мы тебя не тронем. Но Александр стал сильнее сдавливать ему ремнем горло. В это время подошла Кузнецова. Александр сказал ей, чтоб она вытащила ключ из замка зажигания. Когда водитель потерял сознание и свалился на пол, Александр подал мне 65 рублей денег и портмоне. Кузнецова, сидевшая на переднем сиденье, открыла панель вещевого ящика, достала оттуда рубль денег и тоже отдала мне. Тут же Александр сказал, что надо у водителя попробовать пульс. Я спросил зачем. Александр сказал, что если пульс бьется, то водитель через двадцать минут придет в себя. Я сказал, что пусть приходит, а мы уедем. В это время водитель застонал. Александр велел Кузнецовой держать водителю ноги, что она и сделала. Я придерживал ногой горло водителя. Поясняю, что придерживал, но не давил с силой, так как для этого не было в салоне (первом) удобства. Александр трижды ударил по голове, свесившейся из первого салона, передней левой дверцей. Поясняю, что удары по голове водителя наносились передней левой дверцей, но не задней, как оглашал судья. Когда водитель перестал подавать признаки жизни, мы перекинули труп водителя на пол, между первым и задним сиденьями. Мы втроем поехали в сторону Нижней Ковалевки, Кузнецова сидела на заднем сиденье. В это время голова водителя находилась на внутренней стенке левой задней дверцы, поэтому дверца с внутренней стороны была выпачкана кровью. На

передней дверце должна быть вмятина от удара, а кровь Александр вытер своей намоченной в воде рубахой, когда мы уходили...»

Трое преступников направились на машине в сторону хутора Нижняя Ковалевка, но застряли в грязи. Бросив машину и труп водителя в ней, они сняли магнитофон, взяли кассеты, деньги, другое имущество и скрылись. Магнитофон они по дороге выбросили в пруд.

На водку, надо полагать, им хватило, хотя и ненадолго. И недели через две теперь уже опытный сынок предложил своему приятелю во время распития спиртного на рынке совершить нападение на таксиста. Захватив ножи и веревку, они остановили «жигули» под управлением Гудзия, занимавшегося перевозкой пассажиров по патенту, и попросили довезти до хутора Нижняя Ковалевка. Далее все повторилось, как в первый раз: выбрав безлюдное место, остановили машину, напали на водителя, и Нижегородцев-младший нанес потерпевшему несколько ударов ребром ладони по шее, а затем веревкой они задушили Гудзия, завладев машиной и другими ценностями. На следующий день с помощью Нижегородцева-старшего они попытались продать автомашину, но продать удалось только ножной насос, домкрат, колесо и инструменты... Деньги пропивали прямо у магазина, тут же они и были взяты милицией. Младшему Нижегородцеву удалось бежать, но его разыскали на следующий день.

Оба Нижегородцевых были осуждены к смертной казни. Вот что они нам пишут в своих «Прощениях».

Нижегородцев Владимир (отец): «...Родился в городе Петропавловске-на-Камчатке в 1941 году, а в 1942 году с матерью переехали жить в г. Гуково, Ростовской области, но во время бомбежки мою родную мать убило. Меня взяла на воспитание ее родная сестра, она мне рассказала, что отец мой погиб во время боев где-то под Москвой. В 48–49-м годах пошел в школу учиться, занимался вместе с детдомовцами в одном классе. Занимался неважно, потому что все время хотелось кушать. В школе оставался на второй год. Присмотра не было никакого. Приемная мать мало мной интересовалась, где я и что со мной. Ее часто не было дома, и я жил сам собой. Зимой часто приходилось ночевать в угольных ящиках

и в соседских скирдах соломы. Потому что в однокомнатной квартире часто бывали не знакомые мне мужчины. Мать меня часто ругала и била. Летом я жил в сарае, который сам смастерил. Меня кормили соседи, как и других, потому что в нашем доме жила вся безотцовщина. Скитался по базару, так как мы жили рядом с рынком, кушать-то надо было. Нет, я не крал, а просил у людей. В 1953 году перестал ходить в школу. Учителя приходили к нам домой, уговаривали мать, а она отвечала, что заставить его не могу, а вы получаете деньги, вот и учите, а я сама неграмотная, чтобы им заниматься, заставлять насильно не буду. А не хочет учиться, пусть идет пасти коров. С тех пор стал ходить на шахтный террикон выбирать уголь для продажи. Уголь мы обычно продавали приезжим колхозникам. Деньги от проданного угля отдавал матери, и они тут же уходили с подружкой их пропивать. Когда я возвращался домой, я заставал разных мужчин, потому что в нашем городе было много вербованного люда. Но один раз не отдал матери деньги, а верней, не все отдал, а купил себе брюки, мать за это сильно избивала, а брюки отослала меньшому сыну в деревню. После этого я не стал ночевать дома...»

Нижегородцев Александр (сын): «...С самого раннего детства меня воспитывала одна мать, она изо всех сил старалась воспитать меня честным и добрым человеком. Есть величины, которые не делятся на два. Речь не о математике — о жизни: зарплата матери относится к таким величинам. По здравому смыслу, этой суммы едва хватало на одного. И, как я теперь понимаю, мать всегда вычеркивала из этой арифметики себя. Только отказывая себе во многом, она смогла вырастить меня. Отец был на свободе малые промежутки между арестами, и я его почти совсем не помнил. Да он со мной и не занимался, не уделял мне своей отцовской ласки, в которой я так нуждался. И вдобавок ко всему не работал...»

Понятно, речь идет о Нижегородцеве-старшем, который и не мог работать, ибо просидел без перерыва девятнадцать лет. Но такая школа не прошла даром ни для него, ни для его семьи.

«...Мать работала на хлебозаводе пекарем и часто брала меня с собой, так как дома не с кем было оставить. Там я ночевал на транспортерной ленте между печей, ведь там было тепло, или же прямо на полу, на лотках из-под хлеба.

Потом мать заболела и устроилась на ЦДС (центральный динамитный склад) грузчиком, она и по сей день там работает. А отец, как я уже говорил, нигде не работал, а деньги у матери требовал на бутылку. Мы жили в бараке возле стадиона, и я ходил и собирал пустые бутылки. Вскоре отца посадили на десять лет за убийство, и мать вынуждена была отдать меня в интернат. Сперва я учился хорошо, но потом стал прогуливать, у меня появились дружки старше меня, занятия я прогуливал, учителей не слушал и вскоре устроился на автобазу слесарем по ремонту автомобилей...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...В 1956 году мать устроила меня работать на шахту. Так как она сама там работала в столовой. Но меня уволили, мне тогда было 15 лет, мать после этого вообще перестала обращать на меня внимание. Вот так и проходило мое счастливое и веселое детство. Я часто вспоминал свою родную мать, хотя я ее и не помню. Только лишь представлял. Возможно, у меня было бы другое детство. В 1957 году (в 16 лет) попал в трудколонию сроком на пять лет. Вот тогда и пошло у меня все круговоротом...»

Нижегородцев Александр (сын): «...Осенью 1981 года был призван в армию, а в декабре 1983 года демобилизовался, в это время мой отец освободился. Я пришел домой, а мать и говорит: отец дома, но не ночует уже неделю или две. Так я его и не видел. В январе 1984 года узнал, что его опять посадили по ст. 206 ч. 3 (за особо злостное хулиганство) на семь лет. После армии я устроился на работу, но долго не проработал, у меня появились дружки и подруги. Мать просила, чтобы я их бросил, что они до добра не доведут. Но я ее не послушал, а в декабре 1984 года попал на скамью подсудимых по ст. 206 ч. 2 (за злостное хулиганство) и сроком на три года отправился в колонию общего режима...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...Находясь в колонии под городом Калугой, закончил четыре класса и получил специальность столяра-краснодеревщика. Освободился в 1959 году, приехал жить к матери в Гуково. Устроился работать на шахту, где уже проработал один год. В 1960 году попал за кражу личного имущества. Освободился в 1962 году. Женился, работал на шахте, в 1963 году жена родила сына Александра. Снова совершил преступление по ст. 144 ч. 3 (кража) — три года...»

Нижегородцев Александр (сын): «...В 1987 году попал под указ и был направлен на стройку народного хозяйства, а в декабре освобожден полностью. Устроился на мебельную фабрику, с прошлым решил порвать и жить, как подобает честному человеку. Там, на мебельной фабрике, я познакомился с Олей, мы стали встречаться, полюбили друг друга и в октябре 1988 года расписались. У нее, правда, была дочь от первого брака, но это меня не огорчало, наоборот, мы с Оксаной быстро подружились. Снимали квартиру, так как у моей матери была всего одна комната и у ее матери тоже одна комната. Жили хорошо. В семье не было ни скандалов, ни разногласий, да и откуда им быть, ведь я тогда не пил, разве что по праздникам в кругу семьи. Работу никогда не прогуливал, жена работала на той же фабрике секретарем. Сейчас она в декретном отпуску...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...Выйдя из мест заключения, в 1967 году устроился грузчиком на ЦДС — динамитном складе. Потом перевел туда свою жену, о чем впоследствии пожалел. Работал до 1970 года. У нас в семье с женой начался разлад. Она увлеклась другой жизнью с шоферами. Я оставил ей свою квартиру, так как она с ребенком, а сам ушел жить к своей матери. В 1973 году при скандале в драке я совершил преступление по статье 103 (убийство). Освободился в 1983 году и приехал жить в Гуково к матери. Встретилась бывшая жена, и я стал с ней жить. Хотя мы с ней разведенные. Сын в это время служил в армии, и я его не видел с 1973 года. Начальник милиции г. Гуково майор Григорян Радж Ваганович сказал мне тогда: «Зачем ты сюда приехал?» Я объяснил, что у меня тут мать, жена и сын. Он мне ответил: «Хорошо, живи. Но запомни, что не быть мне майором, если я тебя через полгода не спрячу». Я спросил: «За что?» Он отвечал: «Причину найду». Весь разговор происходил в присутствии других работников милиции. И когда я стал работать на мебельной фабрике, туда часто приезжали работник уголовного розыска Щербак и участковый Нечаянко. И хоть был я на рабочем месте постоянно, меня увозили как подозреваемого. Работал станочником многопильных станков, а когда меня забирали, станок простаивал, мастер цеха предложил мне рассчитаться. На шахту меня не брали по состоянию здоровья, у меня ненормально с легкими. По-

сле этого я не мог уже нигде устроиться на работу. Поехал я в Волгодонск, но и там не нашел работы. Вернулся в Гуково и зашел к приятелю Щекину, мы с ним когда-то работали на шахте. Он был пьян. На мое приветствие он грубо выразился и схватил со стола столовый нож. Я нож у него отобрал и кинул на шифоньер. Я сказал, что ноги моей больше тут не будет, и ушел. Когда я пришел на рынок «Антрацит», чтобы выпить пива, ко мне подошел Щербак и позвал поговорить в милицию. Когда мы зашли к нему в кабинет, он сразу сказал: «За что ты хотел зарезать Антона Щекина?» Я ответил: «Вы что, Тихоныч, шутите?» Но Щербак достал из стола нож, который я отобрал у Щекина в квартире. Потом мне Щербак сказал: «Володя, а ты помнишь разговор с майором Григоряном? Вот тебе и причина». Но майор уже работал следователем и вел мое дело по статье 207, но потом переквалифицировал его на статью 206 ч. 3 (особо злостное хулиганство). И хотя потерпевший не сказал обо мне ничего плохого, судья сказал, что судить надо не подсудимого, а вас, потерпевший. Было два свидетеля, присутствовавших тогда в квартире, но одна находилась в спецприемнике, а другой на лечении в ЛТП. Суд велся без адвоката и прокурора, и мне дали семь лет строгого режима. После своего освобождения я приехал в Гуково...»

Нижегородцев Александр (сын): «...Все было хорошо до 1 апреля 1989 года, пока не освободился отец. Как освободился, все пошло кувырком. Вместе с ним я стал выпивать, начались пропуски на работе. Оля с матерью неоднократно говорили отцу, чтобы оставил меня в покое, а он им отвечал: «Что он, маленький, или ему пять лет? Он уже взрослый парень. Я же его на веревке за собой не тащу!» А мне говорил совсем другое: «Ну, сынок, и жена у тебя, где ты такую нашел, бегаёт за тобой как привязанная... И вообще, брось ее, она тебе не пара». Я ему говорил, что это не его дело и что он мне не указ, с кем мне жить. Отец пьянствовал, на работу не думал устраиваться, а деньги на выпивку забирал у матери...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...Становясь на прописку, я зашел в кабинет к зав. паспортным столом. Меня направили к зам. начальника по уголовному делу Щербаку. Я зашел, поздоровался, напомнил ему о его ходатайстве меня

на семь лет. «Так что, Тихоныч, вы слово свое сдержали». Он спросил: «Ты, Владимир, снова к нам приехал?» — «Нет, — говорю, — я не к вам, а к себе приехал». Щербак с усмешкой сказал: «А я, Володя, все работаю». Нет, я не преувеличиваю, просто обидно, что такие люди работают в органах милиции. Нет, конечно, не все они такие, но есть и такие... Поселился я у жены, в гости к нам приходил мой сын со своей женой и приемной дочерью. Все было вроде хорошо. Потом я как-то прихожу домой, а жена с невесткой сидят и плачут. Что случилось, спрашиваю, а жена и говорит, что Александра увезли в больницу. Оказывается, сын пришел пьяный и потребовал у матери денег, она ему не дала. Тогда он зашел в ванную, где на полке стояли флаконы для разных нужд, в том числе дихлофос для опрыскивания от насекомых, взял один флакон и выпил. Потом взял с полки лезвие и порезал себе шею и руки. После того как ему сделали перевязку, он вернулся домой и снова потребовал деньги. Я заступился за мать, сказал, откуда у нее деньги, и он кинулся на меня драться. Разбил мне нос, но женщины его оттащили. Я обмылся и ушел к матери и решил туда не возвращаться, но наутро пришла жена, передала, что сын просит у меня прощения, и позвала домой. Я вернулся к жене, но скандалы продолжались...»

Нижегородцев Александр (сын): «...Он часто приезжал ко мне на работу и забирал меня с собой. Да, я, конечно, понимаю, что на аркане он меня не тянул, но все дело в том, что у меня от природы податливый характер (весь в мать), мне и жена об этом не раз говорила: «Саша, ты как кусок теста, из тебя можно вылепить все что угодно, ты слабохарактерный, у тебя нет своего твердого «я»...» Да, она в этом отношении права. Как-то Оля отцу сказала, что если он не оставит нас в покое, то она пойдет в милицию, а он на это ответил: «Ты ходишь живая и ходи, а сын — мой, что хочу, то с ним и сделаю!» После этого разговора Оля пришла вся в слезах, я у нее спросил, кто ее обидел, а она мне все рассказала. Я оделся, пошел к матери, отец был там и выпивши. Короче говоря, мы с ним подрались, и он сказал, что этого мне никогда не простит. А через два дня приехал ко мне на работу и сказал, что об этой ссоре забыл... В этот день я домой ночевать не попал, и на следующий день не попал, и на работу тоже, и так продолжалось дня три. А когда я вернулся домой, Оля

мне сказала: «Слушай, Саша, выбирай: или мы с Оксаной, или отец...» Естественно, я выбрал первое, то есть жену и дочь. Первого июня я рассчитался с фабрики, сказав Оле, что пойду устраиваться на шахту ради квартиры, у нас был разговор еще раньше на эту тему. А через четыре дня мы совершили преступление...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...Дома сын ночевал редко или вообще не ночевал и на мои вопросы отвечал со злобой. Я тогда понял, что он стал слишком взрослым. Мы стали редко встречаться, что-то нас отчуждало. Мы были с ним совершенно разные люди. Он вообще неразговорчив, о чем-то думает и какой-то замкнутый. И всегда ему что-то не хватало. А меня нигде не брали на работу с моими документами, хотя рабочие требовались везде по объявлениям в местной газете. Обращался я и в отдел милиции по месту жительства. Сходил и к зам. начальника по уголовному розыску капитану Щербаку, а он ответил: «Володя, тебе что, шестнадцать лет, чтоб тебя устраивать? У меня и без тебя хватает дел. Я могу только одно: устроить тебя на то место, где ты был...» Когда я вышел из здания УВД, я несколько раз оглянулся. Мне не верилось, что я приходил в отделение милиции и что меня тут не поняли. Легко говорить тому, кто не был в таком положении, да я и не желаю никому плохого. Но когда от тебя все отворачиваются... Они ведь тоже понимают, кто я и откуда пришел, чтоб снять с себя пятно грязи. Я ни в чем себя не оправдываю, не имею права. Я понимаю прекрасно, что веры мне нет из-за всех этих судимостей. А никто никогда, ни один начальник отряда, где б я ни находился, не поинтересовался при освобождении, не спросил, как, Володя, будешь жить дальше? Нет этого у нас в России, только красиво пишут в журналах для тех, кто не был в этих стенах. Бывали случаи, что говорили: «Но ты, Петров, долго не задерживайся на свободе, место твое свободное...» Это говорил наставник в советской форме и воспитатель ИТУ своему воспитаннику, который за годы отсидки потерял семью, здоровье и близких. Не найдя поддержки, я снова совершил преступление...»

Нижегородцев Александр (сын): «...Меня мать и жена просили, чтобы я бросил отца, но уже было поздно. Граждане судьи, я понимаю, что совершил тяжкое преступление. Да, я

грешен, виноват, каюсь. Но прошу Вас учесть мою молодость. Ведь жизнь так прекрасна, и так не хочется умирать...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...Сейчас, находясь в одиночной камере, я понял, что такое жизнь и как она человеку дорога. Не жизнь отвернулась от меня, я от нее отвернулся, неправильно понял, да и некому было вовремя подсказать, поддержать. Как говорится, рулил сам собой, куда вырулю. Вот и вырулил».

Нижегородцев Александр (сын): «...Прошу учесть мое семейное положение, у меня на иждивении двое малолетних детей, больная жена, у нее малокровие и большое сердце».

Нижегородцев Владимир (отец): «...Прошу за всю свою испорченную и прожитую жизнь. Никогда не писал, а вот сейчас почему-то решился написать. Надеюсь, что в верхах поймут, простят мои неразумные поступки. А я со своей стороны постараюсь раскрыть самого себя для последнего облегчения своей души...»

Нижегородцев Александр (сын): «...Прошу Вас дать мне шанс, последний, начать все сначала, поверьте, я не совсем потерянный человек...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...Я не хочу сказать, что я не виноват, нет. Но не надо меня полностью чернить, как это сделал следователь Крат, что я должен выручать своего сынка, а тебя, Володя, все равно, мол, тянут твои судимости. Но, во-первых, я его на эти преступления не толкал, у нас и разговора об этом не было. А на суде были наговоры со стороны бывшей моей жены и невестки. Я понимаю, что им жалко сына, но поймите меня правильно, какой бы я ни был плохой отец, но я лишь отговаривал его от преступления. Но когда он выпимши, они сами знают его характер, даже лучше, чем я. Они же сами писали мне письма в колонию со слезами, что нам делать, иначе он снова попадет в тюрьму. Это их жалкие слова. А теперь во всем винят меня. Хорошо, ну, первое преступление мы совершили совместно, но второе-то... Выходит, и в этом я виноват? Но когда при выходе из парка отдыха Александр вдруг предложил напасть на таксиста, я сказал, в своем ли ты уме. Он попросил мой брючный ремень, я дал. Но только для того, чтобы связать таксиста. Я не знал, что у моего сына столько злости и ненависти. Да, моя вина в том, что я дал свой брючный ремень и согласился идти с ним. Его все

равно никакая бы сила не удержала, потому что был сильно выпимши. Я стал отговаривать его, а он спросил: «Что, батя, боишься?» Я сказал, что только вышел из заключения и что подумает мать, а он в ответ только грубо выругался...»

Нижегородцев Александр (сын): «...По этому пути преступлений я пройду лишь один раз. Так пусть я уже сейчас совершу какой-то достойный поступок или проявлю доброту в отношении какого-либо человеческого существа. Пусть я не отложу и не упущу случая это сделать, ибо по плохому пути я никогда больше не пойду...»

Нижегородцев Владимир (отец): «...Прошу взять во внимание мой возраст и мое состояние, и что я, находясь в одиночной камере, испытываю муки ожидания, что для человека самое страшное и безнадежное в продолжение его жизни...»

Вот и весь рассказ об убийце-отце и убийце-сыне. Наверное, было бы лучше оставить читателя наедине поразмышлять над всей этой историей, сделать свои собственные выводы, решить, кто же больше виноват, что загублены две судьбы. (Об остальных загубленных судьбах не говорю, один — Токарев, пятидесяти лет, был машинистом тепловоза, другой — Гудзий, еще на десять лет старше, работал горнорабочим на шахтах, оба подрабатывали не от хорошей жизни.) Но история эта имеет продолжение.

Мы решали-судачили на Комиссии про их жизнь и, помню, почти единодушно вывели, что отец из них двоих человек более опасный. Он не только не интересовался судьбой сына, но в целом помог ему, и так некрепко стоявшему на ногах, своим двадцатилетним тюремным опытом повернуть на кривую дорожку. И даже из камеры смертников — уж там-то, кажется, и должно проявиться что-то отцовское — валит на сына всю вину, а жалеет-то себя.

Конечно, и его жалко, его загубленной в корне судьбы, которая была исковеркана в год его рождения, когда сгинул на фронте отец, а под бомбежкой погибла мать. Но ведь не по детдомам же скитался, родственники пригрели, плохие ли, хорошие, грамотные или не очень, но был же у него дом... И тут он прав, когда сказал, что рулил куда придется и вырулил к смертной казни.

Но что касается порядка в наших лагерях, где сделали из него волка, хищника и, выпуская на волю, могли шутить о «месте», которое снова его ждет, так вот этим словам я верю. И о том, как в родном городке встречали его блюстители, обещая через полгода отправить обратно. Общество в лице наших правоохранительных органов само для себя готовило будущих преступников, и за это несет ответственность. И когда сегодня в печати многие кричат на всю страну: «Караул! Преступность опять возросла!» — мы должны знать, что этот рост они сами и обеспечили и их надо судить вместе с такими, как Нижегородцевы.

Сынок тоже хорош, и второе убийство, и замысел и осуществление, лежит целиком на нем, тут уж на отца не спишешь. Но вот что примечательно, он-то в своем прошении нигде ни одним словом не пытается свалить вину на отца, хотя этому бы судьи поверили.

Есть в деле и письмо матери. (Матери осужденных вообще самые большие страдалицы во всех этих делах.) Просит она, конечно, за сына: «...У меня кроме его из детей никого нет, воспитывала я одна, а отец Нижегородцев Владимир Иванович всю свою жизнь по тюрьмам да по лагерям. Он мне всю мою жизнь перевел и добрался до сына... И вот настигло меня такое горе, когда он освободился — его отец, я его и сама боялась, а сын тем более. Борис Николаевич, я Вас очень прошу, мне пятьдесят, работаю с 15 лет и работа тяжелая — грузчиком... И это еще нагрузило...»

А вот из письма жены Александра: «Ни я, ни мать моего мужа, видя страшное влияние его отца на него, не смогли предотвратить трагедию. Сын пошел по стопам отца. Отец как мужчина был авторитетом для подростка. Его рассказы о «тамошней» жизни рисовали подростку романтическую жизнь. Но самое страшное, что он пристрастил сына к алкоголю. Справедливо ли, зная о том, что отец сделал своего сына убийцей, исковеркал его жизнь, жизнь его матери, жены и ребенка, лишать сына жизни? У Вас есть возможность предотвратить казнь моего мужа, который также явился жертвой — жертвой своего отца. Если бы его лишили жизни сразу после совершения убийства, это пережить было бы легче. Но я встречалась с мужем после суда и вижу, что пережитое им не прошло даром, он мучается вопросом, как

все это могло с ним произойти. Я увидела человека, который каждый день переживает случившееся с ним и мучается и раскаивается, и я не могу смириться с тем, что его лишат жизни. В нашей семье двое детей, последнему два года, лишая жизни моего мужа, лишат жизни и их отца...»

Своим решением мы заменили им обоим смертную казнь: отцу на пожизненный срок, а сыну на двадцать лет. А недавно я узнал, что сидят они в одной и той же тюрьме, в местечке Ивдель Екатеринбургской области, но в разных секциях. В секции сына условия пребывания много легче. И еще я узнал, что сын с отцом никаким образом не общаются и не пишут друг другу.

А еще я представил картину, что вот выйдет Александр Нижегородцев из тюрьмы (пройдут те же двадцать лет, которые отсидел его отец, прежде чем они по-настоящему встретились) и сядет за стол со своими, тоже взрослыми, детьми. У него как раз кто-то родился, может, и мальчик, и опять все одинаково: он сам родился, когда отец был в тюрьме... Кого он в доме-то найдет, не будущего ли уголовника, который, пока отец в отлучке, вырос на потребу улице... Чтобы продолжить их семейное дело?

КУКУШАТА

Может, кто читал мою повесть «Кукушата», я списывал ее с натуры, ибо в своем бродяжьем по России в годы войны вышел на лагерь для малолетних преступников. Впрочем, преступниками они еще не были, но, по предположению Сталина, могли ими стать, потому что в лагере, как потом я узнал, содержались дети репрессированных деятелей, в том числе и самых крупных.

Нам удалось тогда поднять бунт, разгромить ненавистный лагерь и, разделившись на две группы, до приезда эвэдэшников бежать из поселка. Наша группа благополучно преодолела охраняемую территорию, ушла в лес и вскоре рассеялась по другим детдомам в Подмоскovie, а другой повезло меньше, их настигла милиция и, окружив в каком-то сараюшке за селеньем, всех постреляла. В рапорте наверх, наверное, фигурировало, что доблестные блюстители порядка настигли и уничтожили банду малолетних убийц, а на самом деле это были и не подростки даже, дети от семи

до тринадцати лет, повинные лишь в том, что имели расстрелянных родителей, за которых они могли бы, как предполагал кремлевский маньяк, ему мстить.

В более позднее время я нашел документы, где рассказывалось, как в глубинах КГБ родился проект предполагаемого движения под названием «Отмсти за родителей», и тут же были схвачены подростки — у них обнаружили ружье, но, правда, с погнутым стволом. Подростков схватили, их дальнейшая судьба неизвестна.

Но, как выяснилось, с самых времен революции и Гражданской войны система была озабочена детьми, в дневниках у Зинаиды Гиппиус я нашел такие строки: «Арестовали детей 7 и 8 лет. Мать отправили на работу, отца неизвестно куда, а их детей в арестантский приют. Это такая детская тюрьма со всеми тюремными прелестями...»

Вероятно, это и был прототип наших детских лагерей. А вот что касается отца, тут как раз все понятно — «куда». Просто наивная поэтесса могла и сомневаться, а мы уж знали точно: отправили на тот свет.

«...Для иностранцев, — продолжает она, имея в виду приюты, — есть один или два «образцовых», то есть чисто декоративных...» И делает вывод: «Это целое поколение русских, погибшее духовно и телесно. Счастье для тех, кто не выживет...»

Бедная страна, бедный народ, безмолвно взирающий, как система пожирает его детей, какое будущее она себе уготовила? То, которое мы видим сегодня?

Я не знаю, чьи дети были в нашем лагере, многие оказались прикрыты — случайно или умышленно — не своими фамилиями. Но знаю от писательских детей, что в Даниловом монастыре тоже была тюрьма для малолетних «преступников», где их сортировали, просеивали и уж дальше распределяли по стране, а самых опасных содержали в изоляции.

Но вот из прессы.

Сыновья Каменева расстреляны. Александр в 33 года (авиационный инженер), а Юрий — школьник. Погиб брат (младший) и жена Ольга, а внук (сын Александра) в 1951 году посажен в тюрьму.

Система изничтожала «преступные семьи» гнездами, копала до корешков.

В только что открытых архивах под грифом «Совершенно секретно» мне помогли найти (Антонов-Овсеенко) приказ отдела детских колоний, подписанный полковником Соколовым, о распределении детей правонарушителей (так и нас звали!) по республикам, краям и областям с объявлением количества мест и — внимание! — «плановым наполнением».

Всего по стране было 102 детские колонии на 29 700 мест для детей в возрасте от 11 до 13 лет.

Были колонии, как обозначено, «для мальчиков, осужденных за особо опасные преступления, на 800 мест».

Эти числились за Минюстом. Но думаю, такие же колонии были и при МВД, и при КГБ.

Приведу одно из писем от заключенного Алюшина Раджана Абдуловича. Оно имеет к нашей теме прямое отношение.

«Обращаюсь к Вам, прошу внимательно прочесть этот человеческий документ, в нем есть крик человеческой души и надежда на милосердие. К Вам обращается бывший сын полка и гвардии капитан запаса, награжденный четыре раза медалью «За отвагу», медалями: «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и польский крест «За храбрость». Есть 26 благодарностей от Верховного главнокомандующего. Я родился в г. Ленинграде 17 ноября 1927 года в семье военачальника, регистрация о моем рождении происходила в загсе в городе Петродворце (Петергофе) в ноябре 1927 года. В 1938 году мои родители были репрессированы и расстреляны, а меня, 11-летнего ребенка, увезли в Москву и поместили в Даниловскую детскую тюрьму, где сотрудники НКВД изменили мне фамилию, год и место рождения. Я стал Подворко Алексей Тимофеевич, 1925 года рождения, уроженец Краснодарского края (о чем должна быть запись в архивах НКВД за 1938 г.). Через месяц меня отправили в Карагандинскую область, в лагерь для членов семей изменников родины.

Я был самый малолетний узник в этом аду. Вскоре взрослые помогли мне бежать, и я беспризорничал по городам и весям Советского Союза до 1941 года. В самом начале войны с одним из воинских эшелонов в составе музыкальной команды уехал на фронт, под Севастополь, был дважды ранен,

а после возвращения из Порт-Артура наша дивизия дислоцировалась в Германии. Военная служба шла успешно. За три года я стал командиром батальона, получил внеочередное звание гвардии капитана. В 1948 году меня вызвали в Особый отдел и спросили: «Где находятся твои родители?» Я ответил, что родители погибли, и мне объявили, что меня увольняют в запас, и дали направление в Ташкент. На станции Оренбург (Чкалов) по прибытии поезда я был арестован. С меня сняли погоны и боевые награды, изъяли мои личные вещи и ценности, которые я вез из Германии, и меня отвезли в тюрьму. Не было следствия и суда. Мне зачитали в тюрьме приговор за какое-то хищение по Указу от 04.06.47 г. и отправили в лагерь. Но самое удивительное то, что в приговоре и формуляре (личное дело) мой год рождения оказался 1931-й. С 1992 года я стал писать в Оренбург, чтобы мне прислали копию приговора, и после полутора лет всевозможных отписок из областной прокуратуры г. Оренбурга пришел документ, в котором говорилось, что мое уголовное дело уничтожено, только не указано, когда и почему. Я написал просьбу о помиловании и жду Вашей помощи. Алюшин (он же Подворко Алексей Тимофеевич)».

У меня нет причин не верить этому письму. Тем более что многое, о чем пишет адресат, известно мне из других источников: в том числе и о том, как в НКВД меняли детям фамилию, чтобы начисто стереть прошлое из их памяти, — и это иногда удавалось. Наслышан я и о Даниловской детской тюрьме, через нее прошли многие дети московской интеллигенции, и о ней упоминал в своих воспоминаниях Валерий Аграновский, он там тоже побывал. Это было жестокое учреждение, и жалко, что ни один из переживших те годы в его стенах не рассказал подробно обо всем, что там происходило.

Ну а уж о лагере типа Карагандинского «для членов семей изменников Родины», как называет его автор письма (хотя назывались они, кажется, иначе), я попробовал рассказать в своей повести «Кукушата». К сожалению, и эта сторона нашего гулаговского прошлого, касающаяся репрессий в отношении детей, почти не известна читателю.

Хотя вот уже совсем недавно в «Общей газете» опубликовали воспоминания пенсионера Георгия Носикова. Там

описывается, как в 1930 году, когда пришли забирать отца, он, малыш, громко завопил и один из оперов схватил его и с силой ударил о косяк. «У меня тогда, видно, отшибло память и отнялись ноги, — рассказывает Носиков. — Мать мне уже взрослому рассказала об этом, а мои воспоминания начинаются в детском доме на севере Томской области — там меня поначалу таскали на руках или возили на санках. Я не знал, откуда я и кто мои родители. Мне сменили фамилию и дату рождения, чтобы оборвать все связи с прошлым. Мама была недалеко, на территории соседней комендатуры, но нас разлучили на 14 лет».

Тяжелое увечье не освобождало воспитанников режимного детского учреждения ГУЛАГа от обязательного труда. Малыш, сидя в темном углу, сортировал прутья для плетения корзин. Если бросишь работу, заплачешь — можно остаться без еды, а то и угодить в карцер. Позднее, когда мальчик встал на ноги, «трудовое перевоспитание» стало более интенсивным. Дневная норма для десятилетних — кубометр напиленных и уложенных в поленницу дров. В конце концов подросток Носиков надорвался на раскорчевке леса и перенес несколько тяжелых операций. ГУЛАГ был рентабельным сектором советской экономики. Его пленники, в том числе и дети, содержали не только себя, но и своих тюремщиков, а в немалой степени и все государство...

Там далее в рассказе Носикова сказано, что исправительные учреждения Сиблага ОГПУ, «цинично называемые детдомами, не нуждались в колючей проволоке и специальной охране, потому что строились, как правило, вдали от человеческого жилья среди непроходимой тайги и болот...»

Но есть еще одно необычное свидетельство о тех временах, и о нем я хочу рассказать.

ДЕВОЧКА С БУКЕТОМ ЦВЕТОВ

Однажды ко мне в Перedelкино приехали представители одной из московских школ, руководимой известным педагогом Ямбургом, и пригласили на спектакль, который они сами поставили по моей повести «Ночевала тучка золотая».

Выяснилось, что это такая традиция в школе — коллективно выбрать автора, а потом подготовить силами выпускников спектакль и сыграть его на прощание... Один раз!

Спектакль, понятно, о двух близнецах, один из которых погибнет, о репрессированных горцах и маленьком чеченце Алхузуре, который станет кровным братом русскому мальчику Кольке. Рефреном спектакля будет знаменитая фраза из тех легендарных времен: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

У меня сохранилась фотография, где я снят с учениками, и даже видеозапись с некоторыми сценами из спектакля. Огромный зал был набит до отказа, а вдоль стен и на сцене висели во множестве огромные фотографии — копии тоже некогда знаменитой, которая висела в каждой школе и в каждом классе: товарищ Сталин, отец всех народов, с девочкой на руках: девочка обняла его за шею одной рукой, а в другой держит букет цветов.

На спектакль, по традиции, пришли и старые выпускники, и родители моих артистов, и просто почетные гости, а среди гостей был один человек, для всех неожиданный: Геля Маркизова. Та самая девочка с портрета.

Зал ахнул, когда она, поразительно похожая на себя и совсем еще не старая, появилась на сцене. Ямбург рассказал, что его ученик, посланный с приглашением к ней домой, — ее с трудом разыскали, — увидев молодую женщину, принял ее за дочку Гели и попросил позвать ее маму, и лишь потом выяснилось, что она-то и есть та самая знаменитая Геля. Надо сказать, что в наше время все школьники невероятно ей завидовали: как же, на руках у самого Сталина!

Кстати, был и еще один портрет, с узбекской девочкой Мамлакат, прославившейся тем, что она догадалась (как можно вообразить!) собирать хлопок двумя руками. Товарищ Сталин подарил ей золотые часики, и в каждом школьном учебнике на целую страницу об этом красочно расписывали.

Многие уже в ту пору почему-то считали, что девочка с букетом и есть знаменитая Мамлакат, а про Гелю Маркизову стали подзабывать, и не случайно. Ибо ее дальнейшая судьба сложилась вовсе не так красиво, как изображалось на портретах.

В ожидании съемок мы оказались с Гелей за одним столиком, и у нас было время поговорить. Вот тогда-то она и поведала мне свою необычную, трагическую историю

жизни. Так же случайно оказался на столе магнитофон, привезенный репортером для записи, на его кассете и сохранился этот необычный рассказ, перебиваемый громким и веселым смехом детей, которые резвились рядом.

Хочу лишь добавить о спектакле — играли они наивно, но трогательно, изображали страшных чеченов с какими-то допотопными ружьями и, наверное, представляли, что это все из истории (пусть и недавней), которая не может уже никогда повториться. А вот недавно я встретился с Ямбургом, он по-прежнему работает директором школы, теперь уже знаменитой, и узнал от него, что судьба выпускников сложилась по-разному, но были среди них и попавшие в Чечню во время недавних событий, участвовавшие в боях. Они не только увидели, но и сами пережили сыгранную когда-то на школьной сцене трагедию.

Вот уж сюжет, который специально не придумашь. Играли наше прошлое, а оказалось, что это их будущее...

Но я сейчас о Геле Маркизовой и о ее жизни. Привожу краткую фонограмму.

— Геля, скажите, как все это началось? — спросил я. — Мне интересно, когда вы узнали, что поднесете цветы...

— Это было очень просто. Моя мама училась в мединституте (наверное, в Бурятии. — А. П.), и я жила с ней, это было в тридцать шестом году. А отец часто выезжал в столицу и подолгу жил с братом в гостинице «Москва», ну и мама к нему иногда приезжала. Однажды, когда мы все вместе были в Москве, отец приходит и говорит, что завтра идет в Кремль к Сталину... Мне было семь лет, и я мало что понимала, но Сталина я знала, я вообще знала все Политбюро, всех вождей, и я сказала, что я тоже хочу пойти в Кремль. Ну, родители были ошеломлены таким заявлением, а отец сказал: «Что ты, у нас делегация, на тебя нет ни заявки, ни пропуска, ну как, дочь, мы тебя возьмем?» Я сказала: «Нет, я обязательно хочу пойти к Сталину». Все как-то немножко растерялись, а потом мама говорит: «Ну а что, в самом деле, возьмите с собой». Тогда стали все организовывать... Это было 27 января 1936 года. Я сказала, что мне нужны цветы: Сталину и Ворошилову... Два букета. Я сама так решила, что поднесу цветы Сталину и

Ворошилову. Мама поехала в Ботанический сад и купила там роскошные цветы...

В этом месте я перебил Гелю, переспросив:

— Но там, на фотографии, просто фантастические цветы, я даже думал, что он просто пририсован, такой букет...

А кто-то из присутствующих за столом переспросил:

— Так это были живые цветы?

— Ну конечно живые! — подтвердила Геля.

— А какие именно цветы? — спросили у нее.

— Ну, просто цветы, — отвечала она. — Два букета...

И на следующий день мы пошли в Кремль. Все это осталось в памяти, как отпечатанное, настолько были яркие впечатления... Прошли мы какие-то ворота со стороны Красной площади...

— У Спасской башни, значит?

— Да. А мой папа был страшно смущен и сказал, что вот у нее нет пропуска... А часовой ответил: «Ну, мы детей без пропуска пускаем», словно бы это было обычным делом. Пришла я туда, и сидела в зале с цветами этими, и слушала речи делегатов. Все преподносили Сталину подарки и произносили речи о наших успехах в Бурятии...

— А что, делегация из Бурятии большая была? — спросил я.

— Делегация... Сто пятьдесят человек... Деятели науки, культуры, литературы, передовики-колхозники... Как обычно. Потом мне очень надоело сидеть, и я сказала: «Пожалуй, я пойду...»

— Куда? — спросил я.

— К Сталину, — отвечала Геля решительно, наверное, так же твердо, как тогда в Кремле. — А я сидела где-то в первых рядах...

— Это никто не организовывал?

— Никто. Это моя собственная инициатива. Я ничего такого не делала, я просто хотела пойти к Сталину. Причем мне издали показалось, что Сталин сидит вот здесь... На месте Орджоникидзе... Мне казалось, что это Сталин... Похожи. И я прошла с этими цветами... Там говорила какая-то колхозница на бурятском языке, мне это было неинтересно. Я прошла за президиум, а там стоял Андреев... Андрей Андреевич Андреев...

— Никто не удерживал? — непроизвольно переспросил я.

— Никто не удерживал, — отвечала Геля. — Я намеревалась подойти к Орджоникидзе, но Андреев спросил: «Ты к кому идешь?» Я отвечала: «К Сталину»... Попросили остановиться эту колхозницу, помню ее фамилию: Аржутова... Я помню вообще поименно многих из тех... И меня поразило вот что: Андрей Андреевич Андреев похлопал Сталина по плечу, он сидел, конечно, спиной, и говорит: «К тебе пришли!» Меня поразило это, потому что мне внушали, что взрослым надо говорить только «вы»... Как же он мог сказать Сталину «ты»?

— Сталин был во френче?

— Ну, в таком вот... Как изображен... Он обернулся, взял меня и поставил на стол.

— На стол... президиума? — уточнил я.

— Да-а... — повторила Геля терпеливо. — На стол президиума поставил меня Сталин. А Ворошилов говорит: «Она сейчас скажет речь!» Но у меня речи в общем-то не было... Сталин взял оба букета, и Ворошилову у меня уже не осталось... А я сказала: «От детей Бурято-Монгольской республики Иосифу Виссарионовичу Сталину!» И забыла, что я дальше хотела сказать... «Большой привет?» Я сказала: «Привет!» Ну и дальше: «Поцелуй?» — «Поцелуй...» Поцеловал...

— Все это на столе?

— На столе. Потом он взял меня на руки, посадил рядом с собой...

— И сидела? Долго?

— Во время всего приема...

— Небось и хроника есть?

— И хроника есть, — подтвердила Геля.

Она замолчала, возникла пауза. И далее:

— Я страшно волновалась, а Сталин говорит Молотову: «Сейчас нужно подарки давать...» А я спросила: «А мне будет подарок?» Детская непосредственность такая...

— Сколько же вам лет было? — спросили за столом.

— Я с двадцать восьмого года, ноябрь, значит, мне было семь лет... И дожили до того момента, когда стали давать подарки... Я подхожу... Молотов дает мне красную коробочку и говорит: «Тебе нравятся часы?» Я еще не видела, что там лежит... В коробочке... А Сталин взял у Молотова и говорит: «Дай я сам!»

Геля уточнила, что это происходило часа через два или три с того момента, когда она спросила, а будет ли ей подарок...

— «Нравятся тебе часы?» Я говорю: «Нравятся». — «Ну, а патефон ты не донесешь?» Я сказала, что позову папу...

Мы рассмеялись, а Геля тоже со смешком заметила, что девочка была не промах!

— Ну вот... Кричат: «Папа, папа...» Приходит папа, весь красный, ему стыдно, что такая дочка, которая только и хочет получить всякие подарки...

Давайте остановим пленку и чуть поразмышляем.

Лучший друг детей сам вызвался поднести девочке часики, это так трогательно, особенно когда уже знаешь, что произойдет далее... Через год-два. Но он ждет и восторга от такого царского подарка, ведь часики — уж точно золотые — были в ту пору так же редки, как и боевые награды... Может, на всю страну десятков женщин их имели, а уж девочка...

Вскоре, в начале войны, выйдет американский фильм «Полярная звезда», посвященный России. Вряд ли кто его сейчас помнит, да и я запомнил лишь потому, что меня сразила одна сцена: русский мальчик едет на собственном «форде» с открытым верхом по колхозным полям, дороги — как зеркало (так они представляли нашу страну!), мальчишка — этакий русачок, а на руке золотые часики. Тут, откуда ни возьмись, летит фашистский самолет... Он пикирует на мальчика, пилот жмет на гашетку пулемета, и окровавленный мальчик лежит у разбитой машины. Подбегающим к нему людям он шепчет, умирая: «Часики жалко!» И крупным планом на экране золотые часики с разбитым циферблатом.

Мы и тогда достаточно хорошо понимали, что это все лажа, а вот послушав Гелю, я подумал, что золотые часики американцы, наверное, взяли из русской хроники, ведь встречи с лучшим другом советских детей тиражировались тысячами.

Ну, Гелины часики, конечно, не сохранились, во всяком случае, она смогла нам продемонстрировать лишь золотую крышечку от тех часиков. И того довольно.

Теперь что касается патефона. Кто еще помнит довоенное время, может подтвердить, что патефоны были в ту

пору большой редкостью... И то, что Геля не стала отказываться от драгоценного патефона, да еще позвала папу, было, конечно, ее «политической ошибкой»... Ведь ей не то что предложили, а как бы «указали», что она не донесет его... Ну, то есть не возьмет. Не должна взять. Патефоны, видимо, предназначались другим... Может, той же бурятской колхознице Аржутовой, каким-нибудь писателям... Ее папа, номенклатурный работник (нарком из Бурятии), это, конечно, понимал. И, наверное, краски в его лице прибавлялось не только от смущения, но и от страха. Все это, как мы убедимся, не пройдет даром.

Но вернемся к нашему с Гелей разговору. Я спросил:

— Геля, скажите, а тот момент (мгновение) знаменитого снимка сделан до подарка или потом? Он еще раз брал вас на руки, чтобы...

— Нет, — сказала она. — Это было единожды... Как раз тогда, когда я поднесла цветы, и было сделано много, очень много кадров.

— Это не из хроники взято? Это фотограф?

Она подтвердила, что это фотограф...

— Но из хроники тоже взято: есть такие фотографии, когда я только подхожу...

А я вдруг вспомнил, что и правда видел фото, на котором девочка только лишь протягивает Сталину букет. Но эта знаменитая фотография... Она была выбрана из сотни, чтобы пойти по свету.

— Я тоже способствовала возвеличиванию вождя, — скажет потом Геля как бы в шутку. — Легенде о нем как о лучшем друге детей.

Геля с улыбкой вспомнила еще об одной, но уже недавней встрече в 1983 году с Цеденбалом (кстати, тоже есть фотография), и его секретарь сказал ему, что эта Геля — та самая девочка с цветами. Тот воскликнул: «Ну что вы, Гелю знает весь мир!»

Следует напомнить, что Цеденбал был одним из коммунистических лидеров тогдашней Монголии, но свою старость, как и большинство коммунистических главарей из дружественных нам стран, проживал (на всякий случай) вдали от своего народа, его дача по Рублевскому шоссе еще и сейчас скрывается за соснами и колючей проволокой. Об

этом вспоминают лишь шоферы номенклатурных машин, когда здесь проезжают.

Я попросил Гелю назвать тех, кого она запомнила на той памятной встрече в Кремле. Она назвала из президиума: Молотова, Андреева, Орджоникидзе, Ворошилова...

— Впоследствии я встречалась с Ворошиловым, мы с ним разговаривали в отеле «Ашоком». Я попросила Екатерину Фурцеву (министр культуры при Хрущеве. — А. П.), чтобы она меня представила Ворошилову... Я хотела напомнить... Я же не знала, что он подписывал... (Пауза.) Это было еще неизвестно... Тогда... В шестьдесят первом году...

Она не сказала, что именно Ворошилов подписывал, но я понял: документ об аресте ее отца.

Геля снова отвлеклась, вспоминая другие встречи со знаменитостями, с Неру, с Хрущевым, Маленковым, хотя он был и «не в чести», как она выразилась, у далай-ламы... И все это, конечно, есть у нее на фотографиях... Сталин только первая, хотя и самая знаменитая, фотография...

— Был у меня такой случай, — отвлеклась Геля, — когда в Дели один миллионер, адвокат, коммунист, пригласил нас в гости... Он жил в доме Тагора... Там роскошные поляны, двор с фонтанами, с павлинами, и он говорит, сейчас покажу свои фотографии с великими людьми... Привел нас к себе в комнату и показывает фотографию с Лисицианом, с кем-то еще из наших артистов... Ну, хорошо, Очери, говорю, приходите ко мне, я вам покажу свои фотографии... И он однажды пришел с женой, я устроила им сибирские пельмени, а потом показываю вот эту фотографию (девочка с цветами), тогда у меня была хорошего качества фотография, а он говорит: «О! Сдаюсь! Я умираю!» Ложится на пол, на ковер и «умирает»... Он йог... Пульс у него почти не бьется... Это был такой трюк... В общем, он говорит: «Больше не буду никогда хвастать!»

Мы вернулись в разговоре к Сталину. Я спросил Гелю, как она представляла и как увидела внешность Сталина, заочно и лично.

Она созналась:

— Что касается внешности, то я ее абсолютно не помню... Я помню всю обстановку, я помню свет юпитеров... Я помню этот парад... Ну, все абсолютно, но его лично вот так вот, в деталях, я совершенно не помню...

— Это был просто символ вождя? — спросил я, но Геля не ответила. Лишь добавила:

— Когда на следующий день в газетах появились мои фотографии...

— Прямо на следующий день?

— Да, я утром спустилась на первый этаж гостиницы и вижу — там газеты, я ходила и всем говорила — вы знаете, это я... А мама меня упрекала, что это неприлично, так ходить и хвастаться... Но зато вся гостиница «Москва» принимала участие в поздравлениях. Каждый, кто там жил, хоть сколько-нибудь известный... Вот хотя бы поэт Борис Корнилов... Еще с Маргаритой Алигер они там жили... И пригласил меня к себе и подарил свою книжку... Я потом была в Семенове в избе, музее Корнилова... Ну, не музей, а маленькая такая комнатка, а они спросили, что у меня сохранилось. Но что у меня может сохраниться! Ничего не может сохраниться... Из эвакуации... Там все-таки голод...

И Геля повторила несколько раз:

— Нет архива... Нет архива... Фотографии я уже потом стала собирать! Без матери, вдвоем с братом... Мне одиннадцать лет... Брату тринадцать... Мы остались совершенно ни с чем... И написали письмо моей тетке, она сестра отца... Старше его... Она, естественно, не могла отказаться от нас, и мы приехали к ней жить, а тут через полгода начинается война и эвакуация! Я ехала одна, в теплушке, двадцать четыре дня от Москвы до Улан-Удэ и чуть не отстала от поезда... На Байкале...

Тут опять пауза: она задумалась, вспоминая. Потом добавила:

— Но есть звезда, которая меня все время хранит... Вот есть, я чувствую...

Тут было самое время спросить об отце, о его судьбе. В ее рассказе именно в этом месте был странный пробел: Сталин, цветы, фотографии в газетах, поздравления... И сразу тетка... Я просто чувствовал, что ее память благополучно, как бы помимо нее самой, миновала опасный участок в воспоминаниях и ринулась далее.

— Геля, скажите, — приостановил, попросил я, — когда вы узнали об отце? И как это произошло?

Она как опомнилась, переспросила:

— Как это произошло?

— Да. У вас не было желания, когда это произошло, написать Сталину?

— Было! — сразу сказала она. — И было написано... И это, наверное, и ухудшило всю ситуацию...

И после паузы:

— Значит, одиннадцатого декабря тысяча девятьсот тридцать седьмого года, когда... Помните, да... Новая конституция... Отец приходит и говорит, что его лишили права голоса... Мне это непонятно, но... Ему не разрешили голосовать!

— Это где было? В Бурятии?

— В Бурятии. Он был нарком земледелия и второй секретарь обкома... До этого были арестованы Эрбанов, Таджиев... Это, значит, первый секретарь... Как отец воспринимал это? Он говорил: «Подумать только, я проморгал...» Он действительно считал, что они враги, а вот он проморгал, ведь он с ними работал... Эрбанов с дореволюционных времен организатор партии большевиков в Бурятии, и вот оказывается, что он враг... Как же так, он проморгал... Отцу говорили: «Уезжайте». А он возражал: «Зачем я буду бежать, я ни в чем не виноват!» Он был искренне убежден, что раз он не виноват, то незачем и бежать...

— Это вы сами помните или по рассказам? — спросил я.

— По своей памяти, — подтвердила Геля.

Я поверил: память у нее и до сих пор отличная. Сейчас... А тогда...

— Одиннадцатого декабря, — продолжила она, — я пришла домой из школы, вечером, и наш дом был разгромлен... Все было перевернуто! Сидит мама и плачет... Она сказала, что папы нет... Папа... — голос ее впервые за время нашего рассказа дрогнул, — арестован... Это было не при мне. Она сказала... (неразборчивые слова и далее)... он с тобой не прощался!

В начале моего повествования я упомянул, что рассказ Гели перебивался громким смехом детей, они веселились неподалеку, но это нам в общем-то не мешало. Лишь несколько раз, вот сейчас, например, на этом чуть ли не самом трагическом месте всплеск голосов и смех заглушили ее слова. Впрочем, о сказанном можно было догадаться и по ее лицу.

— ...Он с тобой не попрощался, — повторила Геля, — но я говорю: он ведь ненадолго?.. Было все это счастье, которое давал «портрет»: выборы в президиум в доме пионеров, подарки, которые дарят дети всего Союза... И вдруг... В школе вакуум вокруг меня... Девочка, с которой я дружила, дочь Футурова, это он пересажал всех наших... Но она была моей лучшей подругой... Переходит на другую сторону улицы, ей мама запретила со мной общаться. И так продолжалось месяцев пять, пока не арестовали маму... Нет, ее арестовали сразу, и мы с братом остались одни... Из этой квартиры мы вынуждены были выехать в коммуналку, где жил брат с большой семьей...

Она могла бы сказать и проще: их выкинули, кому-то понадобилось их жилье, хотя Геля тут же заметила, что оно не было столь уж богато:

— Тогда не было стремления к роскоши и этого вещицизма... Почти целый год мама сидела в тюрьме. Потом она вышла, я хорошо помню ее приход: она была очень бледной, желтого цвета, и сказала, что мы уезжаем... Она забирает меня и брата, и мы уезжаем в ссылку в Туркестан.

Это была какая-то милость свыше — что она с детьми поехала в ссылку. Хотя все другие дети «врагов народа» были отправлены в детские дома. Это как раз то, о чем я писал в начале главы.

— Где это было? — спросил я.

— В Туркестане, — повторила Геля. — Южно-Казахстанская область. Мы прожили там два года. Мама врач, она работала в больнице в детской... Там, кстати, я встречала и ссыльных чеченцев и ингушей... Там жизнь была, в общем, довольно-таки приличной, я бы сказала. Но паспортный режим и все такое... Шел тридцать восьмой год, и мама постоянно пыталась узнать, что с отцом. И — стандартный ответ: сослан на десять лет без права переписки... Ну, хоть какая-то надежда была...

На самом деле не было никакой надежды. Это мы потом догадались, а еще позже узнали, что «без права переписки» означало просто расстрел.

— Но потом приехал один человек, — подтвердила Геля, — который сказал, что знает, что отец расстрелян.

— Кто это был, не помните?

— Помню. Я как раз звонила брату, а он говорит: «Мы отмечали день рождения Туманова... Восемьдесят лет... Это он и был. Он знает про все пытки, которые применялись к отцу...» А мне после того как Туманов это рассказал, стало трудно жить! Такие чудовищные пытки даже трудно себе представить! Ну, например, человека оставляют на десять суток в тулупе, под лампочкой, которая в глаза светит, и приходится стоять, и не дают ни на минуточку заснуть... И последнее, что доконало отца, это когда его привязали между стульями вниз головой... Он тогда подписал все.

Хочу напомнить, что Геля было в ту пору десять-одиннадцать лет. Что означает для ребенка услышать вообще про какие-то пытки, а тем более применявшиеся к ее отцу!

— А если бы он не подписал? — спросил я.

— Я знаю одного человека, который не подписал, — сказала Геля. — Его не расстреляли. Потом он сыграл большую роль в моей жизни. Ректор пединститута, из бурятских интеллигентов... Он не подписал и выдержал все пытки. Ну, я видела подпись отца... Не похоже, что подписывал человек... (Пауза.) А потом, в пятьдесят пятом году, мы получили хорошенькую справочку, где написано, что отец реабилитирован за отсутствием состава преступления... Эта формулировка, она ведь убивает еще хуже, правда? Ну, убили, но он оказывается, не преступник...

И опять Геля заговорила про эвакуацию в Улан-Удэ, куда они ехали с братом. А мать? Где мать? Что с ней? Спасительная память вытеснила, вычеркнула из нашей беседы и вторую трагедию. Я не верил, что Геля это сделала намеренно. Она как бы перешагнула через тему матери. А когда я напомнил, коротко ответила:

— Она умерла в сороковом году.

— Прямо в ссылке?

— Прямо в ссылке. — И после паузы: — Это была очень загадочная история. Она умерла второго ноября сорокового года.

— Вам было двенадцать лет?

— Да. Когда она уходила в больницу, сказала, что плохо себя чувствует. А через три дня она умерла.

— Она была все эти три дня в больнице?

— Она работала сутками. Но в этот раз, уходя, она мне сказала: «Если со мной что-нибудь случится, ты должна поехать в Москву к тетке, сестре отца». Я не придавала значения ее словам. А через три дня ее нашли с перерезанным горлом в больничной палате, и такая версия появилась, что она сама себя убила. Говорили, что она зарезалась бутылкой, мол, она врач и знает, где сонная артерия... Я видела ее горло: когда режутся бутылкой, там очень много ран, а у нее только тоненькая полосочка на горле!

— Вы все это видели? — переспросил я. Мой голос, это было слышно, дрогнул. Я даже не узнал его.

— Да. Я все видела, — отвечала она ровно. — Очень тоненькая аккуратная полосочка... Это непонятно. Говорили, что нашли бутылку, а я не верю. Не верю, что она убила себя, потому что она слишком любила нас.

— Но что означало ее предупреждение?

— Не понимаю. (Пауза.) Там умер один ребенок, которого привезли слишком поздно. И конечно, тут же было сказано, что она, жена «врага народа», его убила. И как будто бы эти родители собирались возбуждать уголовное дело. Сами понимаете, как в такой ситуации жить...

— Но убить себя... она могла? Или — не могла? — Странно я задавал ей вопрос. Очевидно, я переживал.

— Я этого не могу представить. (Пауза.) Говорили еще, что она оставила тетрадь какую-то, которую я так и не нашла.

В этом месте на пленке большая пауза. Я сейчас не помню, как все было. Возможно, Геле подали воды, потому что там обрывочно доносится: «Сейчас, сейчас принесем!» Но голос ее, на протяжении всего рассказа очень ровный, четко прослушиваемый через гвалт и шум, становится громче и, по-моему, взволнованней. А в продолжение следует уже рассказ о той самой ссылке, начало которого мы слышали.

Но я в разговоре еще раз вернулся к теме матери: спросил, не пыталась ли она потом что-то узнать, расспросить.

— А как я могла пытаться? — сказала она. — Так, наезжала туда, на могилу. Но там уже никого не осталось... Надо бы сделать памятник всем репрессированным, — вдруг сказала Геля. — Если бы каждый прислал рубль... Я думаю, это надо сделать. Это же ведь эпоха. — И потом добавила: — Мой муж

тоже прошел через лагеря... Но уже хрущевские... Он проходил как диссидент, но сейчас защитил диссертацию, работает в Академии наук, и в этом году его даже выпустили в Польшу...

— Это достижение!

Слышен наш смех, и далее идут некоторые подробности о работе мужа. Но я пытаюсь вернуться к теме, которая меня, по понятным причинам, будоражит:

— Геля, а вот когда вы в школе учились, вам напоминали, что вы дочь...

— Напоминали. Знаете, не дети... Не дети, а взрослые.

— Взрослые... Страшной?

— Страшной, — сказала она. — А в школе, где я училась, в классе висел во всю стену портрет Сталина с девочкой... Но когда я приехала в ссылку, никто ничего не знал: кто я, откуда... А портрет висел. А потом дети узнали, что это я, но быстро привыкли. А директор как-то спросил: где твои родители? А я так и бухнула, как было... И началось просто невозможное. Ну, представьте, я не пою, у меня нет ни слуха, ни голоса, а на уроке пения девочка говорит: «А Геля не поет!» — «Ах, оставьте Гелю в покое, — говорит учительница, — может, она не любит советские песни!» Ну, пришлось переходить в другую школу... И в третью...

Отвлекусь, чтобы напомнить о другой истории, услышанной мной от журналиста Саша Гуревича. Когда его отца забрали, в школе ему тут же дали кличку Шпион и так его изничтожали, все, от учителей до сверстников, что пришлось ему бежать из этой школы.

Вот и Геля тоже меняла школы и ходила уже под другой фамилией. И везде, везде сопровождал ее знаменитый портрет девочки с товарищем Сталиным. Правда, об этом уже никто не догадывался. И о том, как она написала письмо Сталину, когда просила за отца, она более не упомянула ни разу. А я не рискнул расспрашивать.

— А в институте? Когда это, кстати, было?

— В сорок шестом. Но в институте по-другому... Помните, я говорила про человека, который не подписал на себя показания? Он был в это время там ректором, и он...

На этом рассказ Гели обрывается.

Нас позвали на съемку, и больше мы не встречались. Но портрет женщины, по-восточному красивой, держащей

через много лет в своих руках другой портрет, где изображена она же с букетом цветов рядом с вождем, хранится с ее подписью у меня дома.

ЧТО ТАКОЕ «РОГ ЗОНЫ»? (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

В следующей главе, где речь пойдет об искусстве в зоне, будет дано жизнеописание Владимира Некрасова, осужденного к смертной казни. Здесь я приведу лишь небольшую часть его многостраничной исповеди, посвященную подростковой колонии, куда он попал в 17 лет:

«Воспитательная колония. Карантинная камера... Их было пятеро — здоровых, как на подбор, и безжалостных как таким, как они сами. Кто они, эти слепые исполнители чьих-то установок? В перешитых спецовках, плотно облегающих их плотные фигуры, с непонятными эмблемами, ромбами и золотыми нашивками на рукавах, в перешитых и начищенных сапогах, в кожаных перчатках.

Несколько хлестких ударов по лицу, печени и почкам — и следовал вопрос: «В СВП пойдешь?» Значит, в стукачи. Если следовал отказ, проворные ребята начинали профессионально обрабатывать жертву. Все шестеро «пострадавших» согласились вступить в СВП и молча утирали красные сопли, поглаживая разбитые лица и бока. Я был седьмым и последним. Отчего-то вспомнилось название фильма «Великолепная семерка», и я рассмеялся. Сильный удар в живот вернул меня в реальность. Видимо, метили в поддых, но промахнулись, и это спасло меня. Что есть силы я ударил своим толстым лбом в улыбающуюся физиономию ударившего. Хруст и стон. Я отскочил в сторону и схватил в руку табуретку, но никто не нападал. «Отставить». — Старший лейтенант вразвалочку шел ко мне. Четверо в кожаных перчатках расступились перед шефом. Старший лейтенант брезгливо взглянул на лежавшего в крови моего «потерпевшего» и сквозь зубы рыкнул: «В санчасть, быстро». Он бегло оглядел меня и одобряюще, а возможно, и примиряюще буркнул: «Нормально!» Дверь хлопнулась, а я еще долго не выпускал из рук табуретку. Через час меня водворили в карцер на семь суток за неподчинение и драку. Через шесть суток за мной пришел «знакомый» лейте-

нант. Он вывел меня из карцера, привел в какой-то кабинет и сразу вышел. На стуле у окна сидел один из тех пятерых, что приводили меня в карантин. В голове облегченно промелькнуло: «Ага, последняя попытка». Сидевший представился Юрой Щикулиным, он занимал должность председателя совета коллектива колонии, иными словами — Рог зоны. Что это значит? В отличие от взрослых колоний, где состоять в секциях «западло», в колонии для несовершеннолетних состоять в секциях — это иметь власть. Чем выше должность в секции, тем выше власть. Рог зоны наделен такой властью и полномочиями, что в это невозможно поверить, не испытав на своей шкуре. Власть Рога зоны держится и поддерживается кулаком, то есть систематическими жестокими избиениями подчиненных за малейшее подозрение в нелояльности. Вторая фигура в зоне — мент зоны, то есть председатель секции внутреннего порядка, своего рода министр МВД. Рог зоны назначается начальником колонии, мент зоны — ставленник оперчасти. Оба ставленника делают одно дело, но в то же время каждый имеет своего шефа. Есть еще санитар зоны, физорг зоны, культорг зоны, производственник зоны — все они имеют громадную власть, и каждый подчиняется своему шефу. Но все же такой власти, какой обладают Рог и мент, нет ни у кого. Весь контингент колонии разбит по отрядам, в отряде 100 и более человек. В каждом отряде — свой рог, только именуется он иначе — бугор отряда. Есть в каждом отряде и мент отряда, и санитар отряда, и культорг отряда, и так далее. Отряд разбит на отделения, и в каждом отделении есть свой бугор, мент, санитар... В общем, в такой колонии создана и действует отрегулированная и отлаженная до мелочей система. Фундамент системы есть беспредел, жестокость, круговая порука. Но все это выдается за самоуправление и доверие. Обман, обман, обман. Во имя чего? А может, это всего лишь копия с другой системы? Может быть. Обо всем этом мне стало известно позже, а пока...

Я смотрел на сидящего передо мной Рога зоны и слушал. «Завтра поднимешься в зону, тебя там ждут. Без моей поддержки тебе не обойтись. Ты ударил самого мента зоны, усвоил?»

Я понимал всю сложность своего положения, но не мог понять главного, чего хочет Рог... Боялся ли я? Наверное, бо-

ялся, потому что знал и понимал — против толпы не устоять. И все же я не знал главного — мент зоны лежал в санчасти со сломанным носом и выбитыми зубами. Вся зона узнала о случившемся и гудела, как растревоженный улей. Назревал бунт, и я, не ведая о последствиях своего удара, стал той искрой, которая могла разжечь пожар. Но я всего этого не знал и молчал.

Рог зоны продолжал: «Я не предлагаю тебе вступать в секцию, но если ты пожелаешь, ты завтра можешь стать кем угодно, даже ментом зоны. В любом случае я гарантирую полную поддержку. Что это значит? Ты будешь пользоваться авторитетом, уважением и льготами, какие имею я один...»

Рог не сказал мне многого, но я мог и догадаться. Всесильный Рог сам являлся простой пешкой в руках тех, кто переставлял фигуры, заранее рассчитывая на победу. Слабых игроков обыгрывают, сильных уничтожают...

Наша беседа подходила к концу, когда вошел вездесущий старший лейтенант: «Ну что, договорились?» Рог даже не встал. «Все нормально». Старший лейтенант присел на край стола и обменялся с Рогом многозначительным взглядом. Ко мне обратился просто, по-дружески: «Вот что, Володя, давай жить мирно и дружно. Не вздумай считать нас дураками, усвоил? Завтра поднимешься в зону и — никаких базаров. Это в твоих интересах. Малейший косяк с твоей стороны, и поплывешь под суд как дезорганизатор, усвоил? Ты парень умный, и советую думать на два-три хода вперед...»

Что я мог сказать этому «простому» парню? У него за спиной система, у меня за спиной срок...

Всю ночь я не сомкнул глаз. Думал, думал, думал. В голове вертелась фраза: «Советую думать на два-три хода вперед». Еще я подумал о том, что кем-то все продумано. Вспомнил тюрьму, камеру строгого режима, назидание: «Запомни, пацан, менты способны на все, никогда им не верь».

Утром меня определили в новую спецовку, сводили в баню, выдали вещи. Я взвалил матрац на горбушку, но в это время появился Рог: «Убрать, принесут кому положено... Пошли чифирить». Он привел меня в отряд. Жилая секция плотно заставлена железными кроватями, но никого нет. Мы прошли в дальний угол, где одна из кроватей выделялась

ярким покрывалом и двумя подушками. Соседняя койка была пустая, без постели. «Будешь спать здесь, рядом со мной». На тумбочке стояли ваза с шоколадными конфетами, две фарфоровых чашечки и маленький кофейник. «Садись, чифирнем, потом побазарим». Он налил из кофейника полную чашку, подал мне. Хлебнув, я почувствовал приятный вкус крепкого кофе, но поправлять Рога не стал, лишь про себя отметил: «Тоже мне чифирь, еще бы сгущенное молоко чифирем назвал...» В это время двое «шестерок» принесли мои вещи, застелили и заправили постель, взяли сапоги, телогрейку, шапку и ушли. Мы поели, покурили и, полулежа, неторопливо поговорили о зоне.

Я узнал, что Рог представлен на условно-досрочное освобождение и что ему уже на все и на всех наплевать. Мне он посоветовал ни к кому не примыкать и ни во что не влезать. Кругом одни предатели и шпионы. Я не утерпел и спросил о старшем лейтенанте, но Рог лишь улыбнулся и загадочно хмыкнул: «Сам все поймешь, это «кум», и у него четкая агентура».

Я все понял и все увидел. Хотя и не сразу. Чтобы полнее представить жизнь в колонии для несовершеннолетних, я постараюсь описать всего одни сутки.

Подъем — 6.00 часов.

В секцию влетает дежурный по отряду, включает свет и орет, словно потерпевший: «Подъем, вылетай на улицу!»

Мне не пришлось служить в армии, но уверен, что даже прославленные десантники не уложились бы в те секунды, в которые укладываются малолетки-осужденные. Не знаю, что заставляет десантников «залезать» в свои секунды, эков же подгоняет страх. Но о нем позже, а пока... Еще не затих рев дежурного, а мимо него уже пулей пролетают в дверь... Его задача — зафиксировать последнего. Всегда есть первый и есть последний. На улице минус 30 градусов, ветер, поземка, эковский стадион, свет прожекторов. По бровке стадиона, растянувшись длинной цепочкой, бегут арестанты, в центре стадиона, закутавшись в бушлаты и покуривая, — такие же арестанты, только наделенные властью и полномочиями.

Круг, еще круг, еще... Мелькают в свете прожекторов трусы и майки, стриженные головы... Кое-кто бежит босиком, держа в руках сапоги. Какая сила заставляет многосотенную

массу людей выполнять любые прихоти и издевательства небольшой кучки таких же, как они сами? Страх, страх, страх! Страх перед чем? Перед кем? Об этом чуть позже, а пока...

По команде цепь обнаженных тел разрывается на куски и ручейками вливается в свои отряды.

6 часов 15 минут — заправка коек, туалет, умывание, одевание.

6 часов 30 минут — отряды выстроены на плацу, просчет и шагистика, шагистика, шагистика.

7 часов 00 минут — завтрак. Черпак овсяной каши, два кусочка хлеба, 15 граммов масла, стакан чаю.

7 часов 15 минут — отряды выстраиваются на плацу, десятиминутная разминка после сытного завтрака.

7 часов 25 минут — в помещении отряда подготовка к осмотру, приготовление к школьным занятиям, уборка помещений и территории отряда.

8 часов 00 минут — отряды выстроены у своих барачков. Начинается «явление Христа народу», то есть появляются начальники отрядов. «Явление Христа» длится около получаса: вопросы, ответы, отпущение грехов, призывы к еще большим успехам в учебе и труде и т. д.

8 часов 30 минут — все отряды на плацу. Муштра с песнями. Начальники отрядов соревнуются между собой, чей отряд лучше.

8 часов 50 минут — отряды направляются на школьные занятия. Школа не имеет ничего общего с той, о которой мы знаем. О постижении знаний не может быть и речи. Если взять «зонового» десятиклассника, то он равняется по знаниям плохому пятикласснику любой сельской школы. Все обучение сводится к статистике.

12 часов 30 минут — отряды строем разводятся по барачкам. Переодевание, перекур и снова плац.

13 часов 00 минут — обед. Суп или щи, овсяная или пшенная каша, три куска хлеба, стакан компота или киселя.

13 часов 15 минут — плац. Послеобеденная разминка. 13 часов 30 минут — построение и развод на работу.

16 часов 30 минут — съём с работы. Определение производственных «успехов», подготовка к ужину.

17 часов 00 минут — плац. Ежедневная строевая подготовка.

18 часов 00 минут — ужин. Черпак овсяной каши, два кусочка хлеба, стакан чаю.

18 часов 15 минут — плац. Послеужинная разминка.

18 часов 30 минут — выполнение домашних уроков.

20 часов 30 минут — плац. Шагистика, шагистика, шагистика.

21 час 00 минут — личное время. Писание писем, телевизор, стирка подворотничков и так далее.

21 час 55 минут — плац. Общее построение.

21 час 59 минут — отбой! Расправка коек, раздевание.

22 часа 00 минут — дежурный по отряду выключает свет. Отбой, но никто не спит. Все ждут. И вот начинается... Тихий голос дежурного по отряду: «Сидоров, Петров, Иванов — к «бугру».

Сидоров, Петров, Иванов вылезают из-под одеял и понуро бредут в отрядную каптерку. Начинается ежедневная экзекуция. В каптерке собирается весь отрядный актив, кто в кожаных перчатках, у кого в руках мешочки с песком, у кого — палка, а у кого и табуретка.

Бьют долго, жестоко, безжалостно. Некоторых «опускают», то есть насилуют...

Вот и ответ — что такое страх.

За что бьют и за что «опускают»?

Кто-то был последним на подъеме, кто-то получил двойку в школе, кто-то не выполнил производственное задание, кто-то просто не понравился начальнику отряда, кто-то не принес «бугру» денег со свидания, кто-то плохо маршировал или пел, кто-то плохо заправил постель... А кого-то так, на всякий случай...

Актив отряда тоже не гарантирован от экзекуции и «опускания», над ними вправе расправиться Рог или мент зоны.

Но в каждой зоне есть неприкасаемые. Кто это такие?

Это небольшая кучка эков, 20–30 человек, не признающих актив и способных на все. Иными словами, этих эков невозможно перевоспитать, переубедить, переманить, разобщить, сломать... Их можно только уничтожить. Эта группировка ведет подрывную деятельность, не подчиняется активу, тем более не марширует, не работает, не платит дань.

Администрация повесила им клеймо — «отрицаловка». Активисты зовут их — блатные, среди массы они просто

«пацаны». Кто ближе к истине? Никто! А я не ошибусь, если скажу, что они и есть золотой фонд человечества.

Из многочисленной массы эков только эти 20–30 человек не согнулись от невзгод и выстояли. И если этих 20–30 человек вооружить идеей и указать цель, то они ее достигнут. Или — погибнут. И не их вина, что в последующем станут они ворами, налетчиками и наркоманами. Виноватыми были, есть и будут те, кто в их свободомыслии и непокорности увидел опасность для себя и общества.

В силу сложившихся обстоятельств я не примкнул ни к одной из сторон и жил «один на льдине». Ни во что не вмешивался, но и не давал повода относиться к себе повелительно или с боязнью. И все же я никому не доверял и не имел друзей. Моим постоянным спутником стало одиночество. Неизвестно, как бы сложилась моя дальнейшая жизнь, сломайся я в самом начале пути...

Сложная штука — жизнь, и вся она состоит из ситуаций, затягивающих твою судьбу в прочный узел.

Судьба не есть оценка твоего жизненного пути. Она — оценка тем, кто сплетал ситуации в твоей судьбе. Мне 18 лет — и полгода до конца срока. Обычно тех, кому осталось немного сидеть, не отправляют во взрослые лагеря. Но меня назавтра этапируют во взрослую зону... Проводы, конечно, состоялись. Всю ночь пили чифирь, и никто из администрации не мешал и до утра не появился в отряде. А утром — «черный ворон» и дорога...

Из всех существующих режимов общий режим является тем институтом, где закладываются основы поведения, происходит отбор, отсеивание и выбор жизненного пути.

Администрация общего режима всех вновь прибывших сразу и навсегда делит на «своих» и на «чужих».

Свои — это те, кто поддается обработке и дает согласие надеть повязку, участвовать в какой-нибудь секции.

Чужие имеют свои взгляды на все, и на жизнь в лагере в частности. Чужие — это «отрицаловка», хотя никто из них не нарушил административных правил.

Итак, взрослый лагерь... Кабинет «хозяина». Ласковые речи, перспективы, обещания, предложения... И наконец вопрос ребром: свой или чужой? Беседа закончилась на высоких тонах, угрозами и — первым подарком: 15 суток

карцера за неуважение к начальнику и неподчинение администрации лагеря.

«Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови...»

За полгода пребывания тут я восемь раз побывал в этом карцере, и освободиться привелось тоже из карцера... Когда срок мой в карцере истек, мне отказали выйти в зону за три дня до освобождения... Я разрезал живот в знак протеста лезвием бритвы и потребовал прокурора. Меня отвезли в больницу, зашили живот и — в карцер... Утром 6 февраля меня насильно выволокли из карцера, кое-как одели, вручили справку об освобождении и деньги: 7 рублей 60 копеек. Отвезли на вокзал и посоветовали не задерживаться... И — да здравствует свобода.

Я поматерился вслед уезжающей машине, и мне ничего не оставалось как зайти в здание вокзала. Термометр показывал минус 34, а на мне, кроме футболки и поролонового пальто, ничего и не было... А мне 18 лет... Я отыскал свободное окно, прислонился к горячей батарее и стал думать, впервые, куда идти и что делать.

Я с сожалением подумал, что суд мог бы дать на полгода больше и тогда бы я освободился летом...»

Зона седьмая

ИСКУССТВО ЗОНЫ

Позвали меня однажды на телевидение вместе с Зоей Крахмальниковой, не столь давно отсидевшей в лагерях за свои религиозные убеждения, и показали отснятый в лагере материал под названием «Искусство зоны». Мы должны были с Зоей предварить его беседой. Понятно, беседой о том, что такое зона и как там люди выживают благодаря искусству. Разговор вышел занятный, а для меня так очень даже поучительный, но толчком для него было все-таки увиденное на экране. Снятые в лагерях, кажется где-то в Армении, кадры впечатляли: иконы, резные из дерева скульптуры, песни, стихи... И постоянно крупным планом лица эзков, их глаза... Нигде ни разу не было и слова произнесено об их уголовном прошлом, но было понятно по срокам: в основном убийцы. И вдруг — самовыражение, а может, и покаяние через образ Христа. Попытка за колючей проволокой внутренне освободиться и прорваться в другой, свободный мир при помощи творчества.

Однажды в итальянской тюрьме под Римом, о которой я уже как-то упоминал, нам показали боксы, в которых сидели самые опасные преступники. Двери в камеры днем были открыты, и самый «страшный» террорист, югослав (прославился тем, что взорвал римский вокзал и положил полсотни людей), попивал кофе, угощая земляка из соседней камеры, — оба осуждены пожизненно. Так вот, тот

земляк устраивал в своей камере экспозицию картин, написанных в заключении. Травка, небо, деревья, вода. Вид на природу, но скорей не из окошка, из которого, правда, тоже кое-что зеленое видно (стадион), а из памяти, где все ярче и желаннее.

Видели мы в испанской «молодежной» тюрьме, похожей внешне на туристический лагерь, в специально оборудованных мастерских изделия из глины: фигурки людей и животных, которые идут на продажу. Шьют они и сорочки, кофты, делают всяческие украшения. Видели мы и настоящие произведения искусства — как та скульптура, два лишь в одной точке пересекающихся круга из металла в шведской тюрьме. Но я уже говорил об иностранных тюрьмах, так что не буду повторяться. И если мы произносим слова об исправлении, которые для наших гулаговских условий суть пустые слова, то европейцы искренно убеждены, что, соприкасаясь с миром прекрасного, эти наркоманы и разбойнички и впрямь могут перевоспитаться, отторгнуть свое прошлое и начать другую жизнь. Для некоторых из них, в силу социальных причин отвергнутых обществом, тюрьма — чуть ли не первое соприкосновение с миром искусства, открытие самих себя и другого, неведомого им мира. Во всяком случае, так они говорят. И я им верю.

Но и у нас в прошении одного смертника, некоего Куваева К.М., матерого уголовника и убийцы, встретила мне такая фраза: «Все отразилось на моей судьбе. За всю свою жизнь я не прочел ни одной книги, т. к. читаю по буковке и по слогам. Я только сейчас увлекся чтением книг и понял, что такое жизнь...» Несмотря на всю жестокость нашей системы наказания, прорывается, прорастает, как трава из-под асфальта, чье-то подчас безымянное лагерное творчество. Где-то на Валдае, в лагере для туберкулезников, желая сделать приятное гостю, лагерное начальство преподнесло мне деревянную, искусно выполненную фигурку молящегося монаха (как же, монастырь рядом!), но стоило лишь потянуть монаха вверх, как одеяние приподнималось и выскакивал огромный раскрашенный член. Святотатство? Но тогда святотатством можно назвать и пушкинскую «Гавриилиаду», и даже невинную сказку о Балде... У народа своя этика, и эротика выражается в более открытой и обнаженной форме.

Сказки, записанные Афанасьевым, подтверждают это. Упомянутая фигурка, полагаю, изобретена в зоне, за колючей проволокой и, по-видимому, служит для развлечения наезжающих гостей свыше. Она, в общем-то, безопасна и ко времени, как соленый анекдотец: когда надо, развеселит начальство и настроит его доброжелательно... А возможно, кто-то из гостей, качнув головой, с удовольствием пообещает, мол, свезу, покажу на работе, пускай полюбуются, как уголовнички тешат душу! Продемонстрирую... Ха-ха!

Но бывает и по-иному, в одном деле насильник (Шеховцев, изнасиловал десятилетнюю родственницу) уже в тюрьме написал, как сказано в документе, «сочинение порнографического содержания» и (вот главное!) давал его для прочтения другим осужденным. И был осужден за ЭТО по последнему приговору. Но, как говаривал в свое время пронизательный Бунин (кажется, он цитировал народную поговорку): из одного и того же дерева можно сделать и дубину и икону...

Особый жанр, наверное, заговоры заключенных. Магических историй с колдунами встречается у нас немало, но, оказывается, и профессиональные уголовники молятся своему Богу, когда выходят на добычу.

Где-то я выписал такой заговор:

*О, Господи! Спаси мою душу грешную
За порядки здешние,
От этапа дальнего,
От шмона капитального,
От забора высокого,
От прокурора жестокого,
От хозяина-беса,
От пайки малого веса,
От тюремных ключников,
От стальных наручников,
От лесоповала,
От холодного подвала,
От короткой стрижки
И — защити от вышки...
Аминь!*

ИДУ В НИКУДА
(ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Николаю Савицкому около тридцати, осужден к смертной казни за убийство двух человек, все по пьянке. В ходатайстве он напишет: «...На предварительном следствии ко мне применялись физические методы дознания, оставляли на ночь в отделе для бесед. Были побои, нанесенные работниками милиции и прокуратуры... В конце я был согласен и подписал все бумаги подряд, которые мне давали... Потерять здоровье или получить срок... Я выбрал второе. Понял свою ошибку лишь тогда, когда судья зачитал приговор, хотя следователь говорил, что получу лет двенадцать. Я так и дал согласие на свою вину в убийстве Пантелеева из Витебской области в 1993 году, хотя прокуратура располагает документами о моей непричастности к этому убийству...»

Кстати, в материалах дела это подтверждение-документ я потом нашел, но приговор-то был вынесен! И понятно, что «физические методы», широко практикуемые у наших работников МВД, могли быть. «Мое признание было даже записано на магнитофон после одной из таких ночей в отделе, — пишет он. — У меня было разбито все лицо в кровь...»

Но сейчас не об этом. О судьбе.

*Тучи, ветром гонимые, о горизонт
Разбиваясь, тают без крика и стога,
И не слышно по ним колокольного звона,
Кто ушел, тот уже никогда не придет.
Опадают плоды переспелой черешни,
Ветер рвет и срывает остатки листвы,
Я в осенней тоске слышу грустные песни
И мрачней среди золотой красоты.
Бабье лето в ходу, золотая пора,
Я по парку иду. Я иду в никуда.
Ветер треплет листву, и все мысли вразброд,
Пух застрял на кусте, пролетел самолет.
Я не пил целый день, трезвый нынче брожу:
Александр Мень... Я его провожу.*

«...За годы, проведенные мной на свободе, случалось и подворовывать, но на это я шел только тогда, когда нельзя

было заработать, а работы я не боялся. С 1992 по 1993 год работал мотогонщиком в тульском цирке-шапито «Фауна», затем в краснодарском цирке, потом занимался коммерцией, затем изготавливал по заказам мягкую мебель в Смоленске и Туле... В Ростове работал на строительстве домов частникам; на Кубани был на уборке бахчи и винограда... Но нарушение паспортного режима не давало возможности где-либо остановиться надолго. Хотелось жить с матерью, но местные власти, знающие меня, так как я вырос там, всяческими путями препятствовали мне в этом. Прописку я получил только через год после освобождения... Но где бы я ни был, я всегда помогал матери, высылая ей денежные переводы...»

*Строка ложится за строкой,
Скрипит перо, читая мысли,
В тюрьме уже давно отбой,
Лучи прожекторов зависли,
В мечтах домой к себе лечу,
Я вижу мать, и ей не спится,
Я здесь, родная, — ей кричу,
Ты слышишь... Сердце как стучится!
Но мать с поникшей головой
Слезу платочком вытирает,
В мечтах сейчас она со мной,
А что я с ней, она не знает.
Рассвет застал меня в пути,
Спешу скорее возвратиться,
Ах, мама, ты меня прости,
Что я забыл с тобой проститься...*

«...По приезде домой, обив пороги прокуратуры, горисполкома, я был-таки прописан, но найти работу не мог, хоть имею много специальностей. Одним знакомым был приглашен в Тульскую область, там я встретил женщину с ребенком, с которой стал жить. Но местные сотрудники милиции попросили меня «сменить место жительства...»

Судьба ли это, или мы так устроили свою жизнь, что он по вине наших органов странствовал по стране, как неприкаянный, и не мог жить с мамой, которую он любит и любовью которой могла бы оберечь его от нового ожесточения и нового преступления?!

*Отдайте нищему долги,
Природе девственность верните,
Жить разрушая не спешите,
Не жгите во поле стоги,
И, преклонив свои колени,
Покайтесь Господу в душе,
Но нет, вы бродите, как тени,
Как злые мысли в неглиже.*

«Зачем я откровенничаю с Вами? — вопрошает он из камеры смертников. — А с кем мне сейчас еще пооткровенничать? Не с кем. Хотя бы так вылить все то, что у меня накопилось горького и обидного. Но лучше всего это у меня получается в стихах. Я их стал писать еще в детстве. Пишу для себя. Выплеснув слова на бумагу, становится как-то легче, свободней.

*Рвану в бессильной злобе цепь
И захлебнусь слюной.
Я вдалеке. Шальная степь
Совет меня с собой...*

6 марта 1996 г.»

«Председателю Комиссии по помилованию при Президенте РФ. Заявление. Я, Савицкий Николай Анатольевич, заявляю, что прежние мои заявления, а также прошения о помиловании, где я отрицал свою вину в убийстве Телегиной и Тарасова, недействительны, так как я убил их, в чем и сознаюсь. И хотя не все происходило так, как изложено в обвинении, но факт остается фактом, убил я. Хочу уточнить, что никто меня к признанию не принуждает, нахожусь в здравом рассудке и ясной памяти. Виновен и готов понести любое наказание. 25 мая 1998 г.

*Моя милая славная мать,
С днем рожденья тебя поздравляю,
Как хотел бы тебя я обнять,
Но в мечтах лишь тебя обнимаю.
Я здоровья и счастья тебе
Пожелаю из мрачной темницы,*

*Ты сегодня приснишь во сне,
Мое сердце в надежде стучится...»*

Савицкому Н.А. смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы.

ЖАНР БИОГРАФИИ

Должен отметить, что к жанру искусства, да еще какого, отношу я исповеди заключенных. И хоть известно, что лучших сочинителей собственной жизни, чем лагерники и беспризорники, нет, но чем же они хуже писателей, которые тоже сочиняют и чужие и свои жизни и даже издают книжки и получают за них славу?! Еще Бернард Шоу иронично отмечал, что настоящая биография не годится для публикации. Наверное, и он полагал, что это жанр в некотором роде сочинительский. И мы в свои беспризорные годы были отличными сочинителями собственной жизни, откуда потом и пошла привычка сочинять. Частью это объяснялось любовью детей к фантазиям, но частью — это существенно — попыткой таким образом защититься, спастись, ибо в те дальние годы раскулачивания, различных политических процессов, репрессий, переселений и выселений не только семей и деревень, но и целых народов, великое множество вынужденных сирот бродяжило по России, прибываясь к детдомам и колониям (посчитать, так целая многомиллионная орда со своими законами, легендами, даже языком), и кому бы из них можно было открыть про себя всю правду?..

Мне многожды задавали один вопрос: а кто из тех, кого я помнил из беспризорных и о ком написал, выжил и смог отозваться на мои письма?.. Да почти никто и не отозвался, так, несколько человек из сотни, которых я помнил в силу необычной детской памяти не только по именам, фамилиям и кличкам, но и по биографиям. Многие, думаю, потом сгинули в лагерях и зонах, как Ожегин, о котором пойдет речь в следующей главе, или как иные, кто возник или еще возникнет на этих страницах.

Вот и прошение, оно же исповедь, оно же легенда, оно же биографическое сочинение Владимира Некрасова размером в 93 страницы, отпечатанное мелким шрифтом на машинке (откуда у смертника машинка?), не могло не

привести нас в замешательство: как к нему относиться? Известно, что в зонах существует прибыльная профессия переписчика, это люди особого сорта (обожаемые еще и в армии, где все они, ожиревшие от сытой жизни писари, неплохо существовали, так было, во всяком случае, в нашей части!), которые не только имеют красивый почерк, но и обладают относительно литературным стилем и могут по-своему грамотно, а то и образно, оформить письмо, жалобу или прошение. Но Некрасов писал сам. В этом ни у кого из нас не возникло сомнения. А Фазиль Искандер, в силу занятости не слишком часто посещавший Комиссию, на этот раз приехал на заседание только потому, что всю ночь читал Некрасова и понял, что это истинный роман о жизни. О нем стоит поговорить. Его так на Комиссии и прозвали — романист, и оказалось, что зачитывались прошением все, и литераторы и нелитераторы, у некоторых дома даже спорили на эту тему, а жена Фазиля Тоня спросила сразу после обсуждения:

— А этого, ну, романиста, помиловали?

Спору было много и на самой Комиссии. Вот что я кратко записал.

Старейшина:

— Он не потерял человечности...

Председатель:

— Он не ползает и не вымаливает себе жизнь.

Кто-то:

— Он хороший психолог...

Психолог:

— Я думаю, это сложившийся лагерный тип, умеющий воздействовать на людей... Я бы, наверное, проголосовал за пожизненное, но согласен со Старейшиной, ему надо дать последний шанс...

Старейшина:

— Согласен!

Психолог:

— Если помните «Записки серого волка», так они написаны похожим человеком... Он выйдет под шестьдесят, и кто знает...

Голоса:

— Но много сочинено!

Тут все одновременно согласились, что много сочинено, и про Наташу, которая беременна, и другие романтические истории... Да и вообще он, конечно, любит себя, своей биографией...

Психолог:

— Знаете, за его сентиментальностью может скрываться и холодный убийца... Так бывает довольно часто...

Мы попытались нарисовать его портрет: скорее всего, обаятельный, бабам он нравится, умеет обворожить словами, красиво выразиться. А у баб-то чувства в ушах! Говорили и о том, что детдомовец и что работу ему найти было тяжело, тут все в исповеди по правде. И легче было взяться за старое ремесло, пойти грабить и воровать. Да и описание подросткового лагеря с его жестокими законами, которое я привел в главе «Рог зоны», — тоже реальность. Мы о ней догадываемся, но по-настоящему ее не знаем...

КТО ПОЙМЕТ МОЮ ГРУСТЬ ОДИНОКУЮ
(ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
РЕЦИДИВИСТА ОЖЕГИНА)
(ГОЛУБАЯ ПАПКА)

Письмо от заключенного Ожегина (фамилию и имя-отчество я изменил) я получил на адрес Союза писателей еще в декабре 1991 года. Начиналось оно так:

«Здравствуйте, уважаемые писатели России, давно мне хотелось связаться с вами, но не было у меня возможности. Сегодня разрешили писать, но меня все же волнует вопрос, дойдет ли это письмо до вас. Мне 68 лет, из них я нахожусь около сорока лет в Советском ГУЛАГе. То, что пришлось пройти мне, мало кто прошел, таких людей мало осталось в России. За моими плечами Колыма, Печора, Воркута, Стройка-501, лагеря Свердловской обл., лагеря Норильска с его страшными зонами, такими, как «Цемстрой», «Коларгон» (камень смерти).

«Коларгон» в те времена считался последним дном в ГУЛАГе. Эта зона — страшная легенда для человечества. Прошел и другие лагеря страны. Раньше и сейчас пишу стихи, многие стали песнями, которые поют по стране. Конечно, большая часть моих стихов посвящена моему миру. Сегодня

я стар и чувствую, что конец мой близок. К тому же меня съедает чахотка...» Заканчивалось письмо так:

«...Хочется в конце жизни открыть многое и исповедаться перед людьми. Ведь нехорошо уносить от своего русского народа его историю. У меня много общих тетрадей с записями и стихами... Сегодня положение мое, честно говоря, тревожное. Лежу в областной больнице, чахну. Сижу девятый год, и еще семь — впереди. За это время потерял всех родных, умерли мать, брат, две тетки. Порвалась связь со свободой. Прошу вас, русские писатели свободной ныне России, заинтересоваться моим предложением, ведь переписка со мной даст вам многое и откроет занавес на исторические вещи. Надеюсь на ваш ответ, Ожегин Иван Иванович, г. Архангельск».

На конверте значился адрес: в Союз писателей «Апрель». Так что отвечать выпало мне.

Я и ответил.

Написал, что буду рад прочесть его стихи, песни, но просил, посылая стихи почтой, продублировать их на случай пропажи. Выразил я отношение и к такому его уникальному опыту, как пребывание в лагерях, а еще выразил мнение, что только личный опыт может служить для писателя источником его произведений, а опыт чужой необходим скорей для познания, как документ времени; но попросил его по возможности подробнее рассказать о стройке-501, о которой я уже немного знал от одного из знакомых эзков.

Это так называемая Мертвая дорога, по велению Сталина ее строили заключенные в заполярной тундре... Следы ее, говорят, сохранились до сих пор. На мой взгляд, то была одна из самых бредовых идей Великого Шизофреника — даже на фоне всех остальных, все равно что тоннель рыть под Северным полюсом! И положено там жизнью — не сосчитать. Так что живой свидетель, переживший эту «дорогу», его свидетельства были, конечно, бесценны. А еще я просил сообщить о себе, по какой статье сидит и где может находиться дело, чтобы ходатайствовать за него перед Верховным Советом.

Я в ту пору переписки еще не догадывался, какую дорожку в ближайшее время изберет для меня судьба, и тем более не мог я знать, что буду сам решать судьбу эзков, таких, как Ожегин, и даже его судьбу лично.

Вот она, голубенькая папочка с номерком и фамилией моего адресата, затребованная в суде, лежит передо мной на столе.

«Ожегин Иван Иванович, 1924 года рождения, осужден 14 марта 1984 года Верховным судом Башкирской АССР по ст. 102 п. «и», 207 УК РСФСР к 15 годам лишения свободы и признан ОСОБО ОПАСНЫМ РЕЦИДИВИСТОМ...»

Ничего себе начало. Так подумалось.

Убийство. Максимальный срок. Едва не вышка. Да еще и «опасный рецидивист»... Остается только стихи читать!

«Семейное положение: холост. Участник Великой Отечественной войны. Судим: 1945–1952 годы — пять раз. Из них три раза за кражи, а также за причинение тяжких телесных повреждений; судимости погашены. В 1962 году за умышленное убийство осужден к 8 годам лишения свободы, наказание отбыл. В 1976 году за мошенничество приговорен к 4 годам лишения свободы, наказание отбыл. Работал по трудовым соглашениям. Образование 8 классов. Русский...»

Судя по этим документам, лагерная биография Ожегина начинается с сорок пятого года. Но в письме он пишет совсем иное.

«...В мае месяце 1942 года меня вывезли из Магадана, заменив срок в 10 лет фронтом — в штрафную!..»

Если это правда, а не верить у меня основания нет, то был мой подопечный *не из политических*, ибо последних, насколько мне известно, на фронт не посылали. Да и Магадан, я думаю, не придуман, к чему рецидивисту прибавлять себе дополнительные судимости, их и так хватает на несколько человек!

«...Судьба меня бросила в бой вместе с моряками Балтфлота, — пишет он. — Защищал Ленинград на Ориенбаумском пятакке в составе 612-й отдельной штраф. роты КВК. Первая штрафная рота на Балтике появилась в декабре 1942 г., она состояла почти вся из моряков Тихоокеанского флота. Командовал ротой ст. лейтенант Кирилов. Это были люди с большой буквы и истинные патриоты родины. После прибытия на передовую через 7–8 дней необстрелянную роту бросили на дзоты врага. С того первого боя прошло почти 50 лет. Все эти годы я вспоминаю бой под селом Новодворье, где была расстреляна наша рота в упор. Перед выходом на операцию

(разведка боем) нас «угостили»: дали по стакану спирта и вдобавок — одну винтовку на двоих... И — с Богом! А через два часа роты не стало. Уцелело 16 человек из 150, погиб и лейтенант Кирилов. Мне только исполнилось тогда 18 лет...»

*До свиданья, город мой,
Золотые клены,
Дым сирени над рекой,
И над Белой — склоны,*

*Верность я хранил тебе,
Там, под Ленинградом,
И не думал о себе
Под свинцовым градом.*

*Так прощай, моя Уфа,
Город над рекою,
Не гулять мне никогда
И не быть с тобою...*

(ИЗ ПРИСЛАННЫХ СТИХОВ)

Ростом Ожегин, по его словам, под метр девяносто, а весил в ту пору около восьмидесяти пяти килограммов. Был зачислен в опервзвод разведчиков, дважды переходил через линию фронта — добывать «языка», участвовал в боях вместе с легендарным разведчиком, Героем Советского Союза Сашей Бородой. Фамилию его он до сих пор не знает, но знает, что погиб тот уже в Германии, в конце войны. А славил его вся Балтика, боялись его и немцы.

«...Нас освободили всего 16 человек. На суд трибунала были представлены лучшие из лучших. Приехали, зачитали и вынесли решение: считать нас полноправными гражданами России...»

Это только начало. Далее он служил на катерах-тральщиках, дважды тонул, потом воевал в так называемом дивизионе смерти, были такие десантные катера, туда набирали самых, по отзыву Ожегина, отпетых. Дружки погибли. А сам он, «трижды раненный и контуженный, получил три награды и среди них орден Красной Звезды, но узнал о них позже. И в руках так и не подержал...»

«За что же ненавидели меня так политурики? — спрашивает Ожегин и сам отвечает: — Из-за родителей... Отец и мать — выходцы из богатых семей, а дед по отцовской линии был владельцем литейных заводов на Урале. Сам же отец служил в царской армии в звании поручика, в годы революции перешел на сторону народа, и так до 1930 года. Мать была активисткой, работала в штабе у Блюхера, при Колчаке была приговорена к расстрелу, но чудом уцелела, хотя в селе Мясогудово на памятнике погибшим значится и ее имя. Ее именем названа была школа и пионерская дружина. Сколько я пережил из-за своих родителей обид, лишений и преград, — пишет Ожегин, — хотя они честно служили своей родине России...»

Вторично арестовали его в августе сорок пятого года. Обвинили, по его словам, жестоко и несправедливо, взяли под арест. Статья. 10 лет...

«Тогда кончилось мое терпение, и я совершил дерзкий побег из военной тюрьмы в Ленинграде. Гоняли меня семь лет по стране, но я сидел в лагерях под чужими фамилиями. Однажды ради любопытства приехал в столицу и добился приема у генерал-полковника Синилова, коменданта города Москвы. На руках были лишь просроченные командировочные удостоверения офицера Советской армии».

Украл? Об этом в письме ничего не сказано. Но вот генерал-то его принял, пожурил за нарушения, а потом сказал: «Вижу, ты парень — орел, и войну прошел достойно!» Знал бы тот генерал, что перед ним сидел зэк, только что освободившийся из Печорлага...

«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: Ожегин сожительствовал с Мамоновой. 11 ноября 1983 года нетрезвый Ожегин пришел к соседу, на почве ревности нанес ему четыре удара ножом и убил его. После этого пришел в дом, где находилась Мамонова, угрожая убийством, приставлял ей к груди нож, но она убежала...» (Из дела.)

Шел бесцветный февраль, и я уже носился по выхолощенным пустынным коридорам Белого дома со своим сумасбродным списком для будущей Комиссии, когда пришло мне от Ожегина письмо, из больницы, где он описывал свое последнее преступление. В это время готовилась по какому-то поводу амнистия, но он с ходу отверг мои надежды на нее.

«У меня такое отношение к амнистии, — написал он, — что если она и будет, то не для меня. Ведь начиная еще с 40-го года я никогда не подпадал под амнистию, а их было более десятка, даже дня ни одного мне не скидывали. Видать, такая моя участь. Так вы спрашиваете, за что я осужден? Последний раз за убийство, статья тяжелая, как и преступление, и надо сказать, что вину свою я признал сразу, ничего не скрывал и сам не скрывался, но в мотивах убийства есть многое, что говорит об убийстве вынужденном, суд этого знать не захотел...»

И далее он рассказывает, что работал в одном из районов Башкирии сантехником, теплотехником, сварщиком, получал хорошие деньги. Познакомился с женщиной, она ему понравилась, была она вдовой, муж умер года два назад. Кстати, муж был прославленным металлургом, много разъезжал по зарубежью, а она тут без него погуливала. Он не выдержал и повесился. Всего этого Ожегин, по его словам, до поры не знал. Случилось, что под праздник ноября вылетел он в Уфу к родне, а когда вернулся, увидел, что дом открыт, замки сломаны, хотя ничего не пропало. В доме, по его словам, он обнаружил женские вещи, сожительнице не принадлежащие.

Выяснилось, что сожительница вместе с соседом обокрали чужую квартиру. По словам Ожегина, он напугался, потому что знал, чем это ему грозит, и тотчас выбросил вещи в старую баню. А наутро заявился сосед и потребовал вещи назад, пригрозил, что он расскажет, будто Ожегин присвоил не принадлежащие ему вещи. Через час сосед вернулся из бани, вещей там он не нашел, и Ожегину показалось, что он, желая с ним расправиться, держит за спиной что-то железное. По отзыву Ожегина, соседу было не больше сорока, и физически он превосходил его. Завязалась драка, но лишь на суде он узнал, что у соседа в руках был пазик, плотницкий инструмент, очень острый, вроде топорика. Когда судья спросил медэксперта, можно ли таким пазиком убить человека, тот отвечал, что нельзя. Но сам Ожегин считал, что это возможно: ударил бы острием по голове, и кранты. Об украденных же вещах, которые были реальной причиной драки, на суде слушать не стали. Все сосредоточилось на убийстве соседа.

Об убийстве Ожегин написал так: «Защищая себя, я схватил столовый нож и, не отдавая себе отчета, ударил...»

У самого Ожегина во время драки были сломаны три ребра, правая рука, ключица и выбиты были зубы. Главная свидетельница — сожительница — сбежала и на суд не явилась. Еще до суда Ожегину сообщили через мать, которая работала в прокуратуре и кое-кого там знала, что его не расстреляют, но намотают на полную катушку, то есть дадут пятнадцать лет. Так и вышло, приговор был вынесен прежде, чем состоялся суд.

БЫВАЮТ ЛИ УГОЛОВНИКИ ПОЭТАМИ?

Во время ареста забрали у него и старые вырезки из газет, и тетради со стихами. На суде лишь спросили:

— Вы что же, писатель, поэт? Но разве уголовники бывают поэтами?

Что он мог ответить?

Бывают, наверное. Да им лучше знать.

*Не печалюсь я, не сожалею,
То закономерность бытия,
Пролетела бешеной метелью,
Отзвенела молодость моя...*

(ИЗ ПРИСЛАННЫХ СТИХОВ)

Еще раз подчеркну, что версия убийства, второго (о первом в письмах нигде ни словечка), взята мной из переписки с Ожегиным. Этот самый пазик, с которым якобы нагрязнул сосед, никак почему-то не учитывается в судебном деле, как и украденное шмотье. Поэтому версия об убийстве на почве ревности меня привлекает больше, там хоть чувства, и страсти, и некое соперничество старого (шестьдесят лет), испытанного в лагерях зэка с молодым и крепким, очевидно, соседом из-за бабы, которая, как водится, ничего этого не стоит. Но это уже тайна двоих, одного из которых нет на свете, а другой осужден, и вряд ли у него есть необходимость доверять кому-либо (и мне, мне тоже!) истину. Кстати, не знал он и о том, что его письма и мое назначение на должность помиловщика необыкновенным образом пересеклись.

И уже доискиваются по моей просьбе тутошние клерки, где и каким образом запросить документы, чтобы рассмотреть его дело.

Теперь о стройке-501 (Мертвой дороге), которая меня интересовала. Пришел Ожегин на нее этапом в конце 1947 года из таллинской тюрьмы. Были среди прибывших в основном политические, эстонцы и латыши по национальности. Находился среди эстонцев и знаменитый полковник Аре, национальный герой Эстонии, в прошлом чемпион Европы по боксу. Познакомились они еще прежде лагеря, но подлинных имен друг друга не знали. Аре после войны руководил разведкой у «лесных братьев», Ожегин же проживал под чужой фамилий, ибо его разыскивала милиция.

Прибыли они на станцию Чум, откуда и начиналась Мертвая дорога. Пешком дотопали под конвоем до лагеря № 33. Было много фронтовиков, а среди них немало офицеров, которым, как пишет Ожегин, он всегда симпатизировал. А поскольку назначили его бригадиром, то временами он их еще и прикрывал. Так описывает он случай с бывшим офицером, у которого украли сапоги сорок пятого размера. А за отказ от работы — но ведь не босиком же идти! — избивали после развода или привязывали к лошади и волоком тащили на работу. Вот Ожегин его и пожалел, дал ему галоши. Но, правда, и их вскоре украли, а потом увезли и офицера неизвестно куда.

Сам Ожегин попал на первый штрафняк, это станция Кыншор рядом с Хановеем на воркутинском направлении. Тут уж было много «звезд» преступного мира, знаменитых в стране. К этим «звездам» запросто заходила, приезжая в зону, родная дочь всемогущего Барабанова, начальника стройки и всех прилегающих лагерей. Эта девица девятнадцати лет не боялась никого и вела себя среди преступников как царица. С первого штрафняка попал он на воровскую зону Чум, где через день охранники закололи его друга Валентина, родом из Одессы. Во время оккупации — веселому и энергичному, ему было тогда лет шестнадцать — Валентин через Румынию попал в Грецию, затем в Южную Америку, но после войны почему-то заскучал по родине и вернулся домой, где и был осужден за измену этой самой родине. Тут и закончил он свой путь.

Ожегина же этапировали далее за хребет, ближе к Салехарду, на Лабутнаги, 204-я штрафная зона, где была собрана вся «отрицаловка» стройки и царили анархия и произвол. Но тут ему подфартило, еще на зоне № 33 он познакомился с молодой девчушкой из медсанчасти, москвичкой Шурой Александровой. После окончания института была она направлена для работы на Север, потому и оказалась в их зоне. Одна-единственная на тысячу заключенных мужчин. Санчасть располагалась в той же палатке, где жил Ожегин, и через брезент было слышно, что творилось в другой ее стороне. И матерщина, и слезы девочки... И тогда ему приходилось идти на помощь и разгонять распоясавшихся больных.

Так и познакомились, оказалось, они земляки, девушка была из Измайлова, а он (по тогдашней его легенде) из Сокольников, в прошлом якобы летчик морской авиации. Вот эта самая Шура потом перешла работать к геологам, а когда тем понадобился летчик, вспомнила об их разговоре и разыскала его на 204-й штрафной. Его без конвоя доставили в Обскую, где в это время находилось управление 501-й стройкой, и с рук на руки передали геологам. И до освобождения проработал Ожегин водителем аэросаней, точно таких, какие изображены в известном кинофильме Герасимова «Семеро смелых», — сани, а на них смонтирован авиационный мотор. Только в фильме жизнь Севера изображалась как непрерывный подвиг советских людей, и людей этих играли артисты, любимцы публики: Петр Алейников (Ваня Курский), Жарков, Макарова и другие. И ни намек, ни полнамек об этой страшной дороге, которая была «мертвая» не потому лишь, что пролегла бессмысленно через ледяную пустыню тундры, но и потому, что легли под нее намертво многие тысячи тех самых советских людей.

«Я водил бригаду в сто человек, — вспоминает Ожегин. — Лопатами грузили гравий на машины. Нормы были огромные, практически невыполнимые, и бригадиры как могли выбивали у прораба справку о выполнении. «Без тупты и амонала не построить и канала...»

В одну из ночей, дело было зимой, в зону ворвались охранники, и часть бригадиров, человек десять, заподозренных в тупте, вывели за зону лагеря. В одном белье, не дали

надеть даже валенки. Собрав в кучку, охранники натравили на нас овчарок, которые начали нас рвать. С меня собаки сорвали нижнюю рубашку, остался в одних кальсонах, и здорово покусали. После этого, раздетых, нас погнали на штрафную зону, за восемнадцать километров. Началась пурга. Пришли к утру. Выглянул начальник-майор, осмотрел нас и ткнул пальцем: «Этих и этих беру, а доходягу (пальцем на меня) не беру. Он и так не жилец!»

Конвой запротестовал, я же стоял весь в кровище, и меня качало, как на палубе. В общем, конвой ушел, и начальник-майор ушел, бросив меня возле вахты. Да еще пурга, куда деваться? Сперва пошел, потом побежал, чтобы не замерзнуть, и тут наткнулся на полуземлянку. Там было тепло и пахло хлебом. Оказалось, пекарня, но почему-то пустая, ни одного человека. Я забрался на печь и уснул. Проснулся от шума, свесился и узнал пекаря, он прошел со мной одним этапом от таллинской тюрьмы. Пекарь обмыл меня, придел во что было, пусть и лохмотья, напоил чаем. А через час пурга чуть стихла, услышали: подъехали аэросани. Я спрятался на печи. Вошел человек, в котором я опять же узнал дружка по таллинской тюрьме, в прошлом морского офицера, летчика, здесь он отработывал в управлении стройки и ходил без конвоя.

Он-то и взялся доставить меня на аэросанях обратно в зону, ему было по пути. Но чтобы меня не засебло высокое начальство, которое он возил, он спрятал меня в багажнике. Там я и лежал, затаив дыхание. Потом он исхитрился меня высадить и показал рукой: там, мол, твоя зона, хотя, говорит, я плохо ориентируюсь, потому что здесь впервые. В общем, двигай, говорит, в эту сторону, авось не пропадешь. Выбрал я направление наугад, а пурга в ушах гудит, и попал, сам не поверил, прямо в свою зону, только с обратной стороны, да угодил в баню. А в бане, вот уж точно никто не поверит, сидели женщины и пели песни. Человек восемь, что ли, меня увидели, но не испугались, а бросились отчего-то меня целовать.

Так и спасся в тот раз. Но бывало и по-другому...»

Эпизод из жизни лагерника, не самый, наверное, характерный. Но я думаю, он рассказан потому, что запомнился чудесным спасением. Хотя и тут всего достаточно: бессмыс-

лица стройки, и туфта (как везде), и несчастный офицер, «изменник родины», которого могут привязать к лошади и волочить на работу — что там от него останется! — и который получает вместо украденных сапог спасительные галоши. Галоши — в тундре, на морозе!

Мы, кстати, в детдоме тоже носили в основном (кому повезет) галоши, прокладывая их мохом или травкой изнутри и перетягивая веревочкой. Это и при южной зиме не спасало ног от холода, так, до школы, до рынка. И обмораживались. А под Салехардом? Не случайно офицер тот сгинул. Ну и далее: девочка-медик в палатке среди тысяч эков, расправа над бригадирами (в Сибири на стройках их звали «буграми») при помощи овчарок, дружок-повар и другой дружок на аэросанях, а в финале женская баня. Тоже ведь как в кино. Хотя и не по Герасимову. И при всей достоверности подробностей несомненно — легенда, ибо какие-то другие детали, существенные для понимания событий, начисто отсутствуют. Очевидны два момента: первый — характер самого Ожегина, авантюрный, лихой, бурный, эмоциональный, властный. Жестокий и сентиментальный одновременно, как зачастую бывает у уголовников. Второй: история, это очевидно, обкатана в бесконечных повествованиях о себе в лагерях, обросла как прибавлениями и приукрашиваниями, так и некоторой героизацией собственного образа.

Хочу отметить, что в некоторых других эпизодах из писем автор куда скромней и реалистичней. Вот как в воспоминаниях о детстве...

«Когда в 1949 году в апреле месяце освободился (в письме подчеркивается: на восемнадцать дней раньше срока! — А. П.), приехал в Москву: Шурочка дала адрес родителей в столице и попросила передать им письмо...»

Тут выяснилась еще одна занятная подробность из биографии нашего героя. В тридцатые годы, подростком, отвергнутый родителями, попал он впервые в столицу, ночевал в котлах для варки асфальта, тогда их много стояло на улицах Москвы. Днем их топили, а ночью они еще сохраняли тепло. Вскоре был пойман и заперт в Даниловском монастыре, в тюрьме для малолеток. Оттуда попал в Люберецкую трудовую коммуну, ту самую, которую держали под контролем МВД

специально для показа великому пролетарскому писателю и гуманисту Максиму Горькому.

О коммуне той я знаю уже не от Ожегина, но лишь потому, что Люберцы — моя родина. А знаменитая показуха творилась на глазах многих из тех, кого я после встречал, когда сам бродяжил по этим местам. Бедные коммунары, как рассказывают, наизусть, под руководством «тренеров» из милиции, заучивали рассказы основоположника соцреализма и в каждый его приезд устраивали для него маленький спектакль, чтобы он, сам — бывший беспризорник, убеждался бы в плодотворной роли советского воспитания, формирующего образ нового человека. Говорят, писатель умилялся, пускал слезу. В старости великий гуманист был очень слезлив. Правда, это не помешало ему произнести слова, ставшие девизом того времени: «Если враг не сдается, его уничтожают!»

Известны и другие его перлы, такие, например: «Страдание — это позор мира». И вот еще, особенно выразительное: «Чувство жалости унижает». Ну а в 1936 году, когда не стало Горького, не стало и коммуны, не для кого оказалось ее держать. Коммунаров арестовали, это подтверждает в письме и Ожегин, и увезли обратно в Даниловку, а потом в город Горький. Там их поселили в женском монастыре, откуда они при первой возможности сразу разбежались. Двести малолеток рассыпались зерном по стране.

Было в ту пору юному преступнику Ожегину двенадцать лет. И путь ему предстоял долгий, аж до осени 1992 года.

«После этого я не раз бывал в Москве, — пишет Ожегин. — Но это уже из криминальной хроники. Если вас интересует, могу подробно все описать с первой до последней судимости. Но лучше, если я напишу стихи, которые и до сих пор поют по лагерям.

*Не печалюсь я, не сожалею,
То закономерность бытия,
Пролетела бешеной метелью,
Отзвенела молодость моя.*

*Не забьется сердце больше гулко,
И не грезит ночи напролет,*

*До рассвета в старом переулке
Не стоять с девчонкой у ворот.*

*И никто не вспомнит добрым словом
О моих умчавшихся годах,
Только ветер над родимым домом
Пропоеет протяжно в проводах.*

*А вдали на крыльях небосвода
Загрустит вечерняя заря,
Нет, не жаль, что молодость уходит,
Жаль, что годы пролетели зря...*

А где-то в сентябре 92-го получил я телеграмму на мой домашний адрес, из Уфы, и были там такие слова: «Спасибо за свободу». Соседка рассказала мне, когда я вернулся с работы, что в подъезде меня долго ожидал какой-то человек, с Севера, проездом через Москву, хотел меня видеть. Долговязый такой, с золотыми зубами, очень обходительный. Рассказывал всякие потешные истории, смешил. Сожалел, что не дождался, поезд у него уходил...

Это был Ожегин.

Уже с воли он написал в письме, что живет в деревне, в избушке, пенсия маленькая, но и той он не получает. А нужны дрова для обогрева, не считая всего остального. К тому же его обокрали, такой вот фокус выкинула судьба со старым вором-рецидивистом. Так что жизнь, по его словам, далее не представляется желанной...

Что я мог ему на это ответить?

МЕНЯ ЗОВУТ НЕКРАСОВЫМ ВОЛОДЬКОЙ...
(ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Начну с конца: в декабре 1993 года мы получили поздравление от смертника, вписанное в его прошение.

Там были такие слова:

«...И все же в моей душе нет злости и обиды. Кроме того, я почти влюблен в ту женщину, которая вынесла мне смертный приговор! Да, да — этой женщиной является Глазунова Мария Ивановна, член Судебной коллегии Читинского областного

суда... Вот так! Так что если мне суждено умереть, то я погибну по приговору любимой женщины. Такая смерть не страшна и даже почетна... Я верю, что человек бессмертен и что его душа продолжает жить в другом человеке. А если так, то следующий цикл моей жизни я начну жить иначе! На этом я заканчиваю прошение: истек срок подачи, 25 декабря... И позволю еще поздравить Комиссию по рассмотрению помилований с наступающим Рождеством и Новым годом. Поздравлять никому не запрещено. Поздравление не взятка...»

Заканчивает же свое просительное поздравление (или поздравительное прошение) такими стихами:

*В поисках судьбы усталую походкой
Ищу колодец с питьевой водой...
Меня зовут Некрасовым Володькой,
Глоток воды я разделю с Судьбой...*

Там же в конце дописано:

«...Должен напомнить, что продолжение настоящего прошения о помиловании имеется (в единственном экземпляре) в уголовном деле № 16827 том 2, изложенное мною 6 октября 1989 года на 154 листах (308 страниц), так что, если у кого-то возникнет желание прочесть о моем житье-бытье, а также о преступлении, в котором я обвиняюсь, прошу открыть мое дело... В деле пять томов, и содержит оно почти 4000 страниц, шесть кассет (магнитофонных) с показаниями обвиняемых и свидетелей, а также часовой видеофильм с места преступления...

А если у кого-то возникнет желание пополнить информацию обо мне, прошу прочесть мою кассационную жалобу на 75 листах (150 страницах), замечания по протоколу судебного заседания на 24 листах (48 страницах), записки подсудимого на 39 листах (78 страницах) и прочую корреспонденцию, имеющуюся в деле...»

Кратко о Владимире Ивановиче Некрасове и его деле: он 1952 года рождения, осужден по статьям 102 ч. 2, 144 ч. 4, 147 ч. 31 июня 1990 года областным судом г. Читы к высшей мере наказания, содержится в ИЗ-71/1 г. Читы.

Из дела можно заключить, что В.И. Некрасов замыслил и убил владельца автомашины «москвич», чтобы завладеть

чужой машиной и правами. Владелец был задушен при помощи железной удавки, которая во время убийства попала потерпевшему в рот, и добит ножом, а соучастник, сторож скотного двора, за вознаграждение — часы, снятые с руки убитого, — выкопал могилу и схоронил труп...

Далее следуют фрагменты из «Прощения». Главки в нем обозначил я. Оно предваряется стихотворным эпиграфом с такими словами: «...О Боже! Мне дано сгореть... Распят! И пламя лижет душу...»

О ДУШЕ

«Прежде чем о чем-либо и что-либо просить, умеет поставить самому себе следующие вопросы:

1. О чем и что просить?
2. Как просить?
3. Для чего и во имя чего просить?
4. Требовать, просить, вымаливать?
5. Смерть — уход или выход?
6. Жизнь — вход или выход?

Странные вопросы, да? И все же человек не должен солгать хотя бы один раз в жизни. Пусть жизнь и обстоятельства заставляли лгать. Но смерть всех и всё уравнивает, поэтому нет смысла лгать, есть смысл высказаться!.. Существует ли раствор, способный заставить ложь осесть в осадок, а истину всплыть на поверхность? И вообще, что испытывает или должен испытывать человек в ожидании помилования или смерти? Что испытывает тот, кому дано право карать и миловать в момент совершения участи приговоренного?

В последнее время о нашем поколении говорят и пишут очень много. Те, кто помоложе, называют нас «жертвами тоталитаризма», людьми с поруганной верой, лишенными великих идеалов, перемолотыми процессом банализации и программизации личности. Не стану отрицать. Наше поколение проползло сквозь то время, когда легко было осудить, однако осудить вовсе не означало — понять. Трудно понять всех, тем более преступника...»

Замысловато, но понять можно. А далее автор довольно многословно рассуждает на общечеловеческие темы, употребляя выражения «зло порождает зло» или «зло, совершаемое во имя

добра, не прибавляет в чашу добра ни капли», «сегодня трудно быть человеком», «человек чаще всего слаб», «голодный пожирает слабого» и так далее. Выражение «красота спасет мир» он почему-то приписывает болгарскому режиссеру Пантелею Пантелееву.

«Нет ничего интереснее и прекраснее, чем раскрытая душа человека... Пусть в эту душу наплевали, пусть ее истоптали и исковеркали...»

Он пишет о своей «раскрытой» душе, ибо душу другого он порешил, выпустил, как говорят, наружу при помощи ножичка, и она уже нам ничего не откроет.. Да она и не волнует нашего творца.

«...Возможно, меня завтра расстреляют.. Возможно... Не это главное. Главное — в последнюю минуту жизни высказать то, чего не смог или не хотел рассказать никому и никогда... Вылить из души накопившееся, хотя бы потому, что на тот свет не дано взять с собой...»

Врет, ведь именно страх диктует ему многословие, попытку зацепиться за жизнь словами, которых, судя по всему, у него и правда накопилось много.

Но прежде всего — стихи.

*...Я слова выхаркиваю с кровью,
И не смыть ту кровь из слов моих,
Каждый лист пропитан горькой солью,
Этой соли хватит на троих...*

Но вот когда он говорит о детстве, его слова и впрямь наполняются... Только не солью, а настоящим чувством. Я ему верю.

ЖЕНЩИНА НА ПОРОГЕ

«...Итак. Из самого далекого детства в моей памяти отложился единственный кусочек — большая комната, множество столиков, и на каждом — горы разноцветных кубиков... На пороге стоит женщина и смотрит в мою сторону... В дверях соседней комнаты — две старушки в белых халатах и почему-то плачут... Лишь много лет спустя я понял, что стоящая на пороге женщина — моя мать, а плачущие старушки — нянечки в детсадике...»

Полагаю, что это был все-таки детраспределитель. И это очень похоже на то, что было и со мной. Нянечки, о которых далее написано, были и для нас лучом света в темном царстве. Так же, как и у нас, там ненавидели «семейных», которые были, конечно, из другого мира...

«Но сколько ни пытался, так и не могу до сих пор вспомнить лицо женщины на пороге. И вообще, не помню ничего, что было до кубиков, и больше ни разу не встречал этой женщины».

Я, ЛИЛЬКА И БАБА НИНА

«В детсадики познакомился с девочкой по имени Лиля. Так получилось, что к вечеру каждого дня мы оставались втроем — я, Лилька и баба Нина. Баба Нина укладывала нас в одну кровать и рассказывала хорошие сказки. Мы с Лилькой ни разу не вспоминали о своих папах и мамах. Хорошо помню, что постоянно дрался с «семейными», которые обзывали меня и Лильку женихом и невестой. Но самыми обидными словами были: «У меня папа-мама есть, а вас в огороде нашли...»

Когда нам с Лилькой исполнилось по семь лет, нас отправили в детдом. Никто нас не провожал, лишь баба Нина, обняв нас, долго не отпускала к ждущей машине... До сих пор перед глазами ее морщинистое лицо, пепельно-седые волосы, добрые и умные глаза. Она целовала нас с Лилькой по очереди, ее поцелуи были очень солеными.

*Шальную жизнь прожил одним броском,
Летящих дней обратно вскачь стегаю,
Но в те поля, что гладил босиком,
Лишь в сладком сне мальчишкой вбегаю...»*

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

«Детский дом был расположен в живописнейшем уголке Горного Алтая: горы, лес, речушка...

Два года пролетели как в сказке, и вдруг всех выстроили по группам и объявили: собрать свои личные вещи для отправки в другие детдома. Наступила ужасная тишина. Потом все разом заревели. Воспитатели нас успокаивали, а сами тоже плакали. Лилька вцепилась в мою руку, шептала:

«Только вместе, только вместе». Всю ночь детдом гудел как улей. Мы с Лилькой пролежали в моей кровати. Укрывшись с головой одеялом, шептались заговорщицки, договаривались, клялись, строили планы. Сегодня мне известно, что на месте расформированного детдома открыли приют для умалишенных. Само решение есть не что иное, как ужасное преступление против детства. Одним росчерком пера в одно мгновение было разрушено все, что с таким трудом обреталось за два года. Детей разбрасывали по детдомам, словно безродных щенков. Такое варварство трудно понять, но еще труднее собрать разорванные души детей. Нам с Лилькой повезло, мы вместе...»

И это похоже на мою жизнь. За время войны меня и сестренку пытались разлучить несколько раз, и это в конце концов им удалось. И то, что вершители наших судеб из районных или областных Отделов народного образования — гороно или облоно — были менее всего озабочены нашей судьбой, тоже понятно. Об этом пишет далее и наш автор.

«ДОМАШНИЕ» И «ГОЛЫТЬБА»

«Вся система детских учреждений, особенно детдомов, не продумана, в большинстве соблюдается порочная практика одновременного содержания чистых беспризорников с детьми, имеющими родителей. Представьте, приезжают родители и забирают на выходные своих детей или забирают их на все лето. Многим привозят гостинцы и подарки... Дано ли кому-либо заглянуть в душу беспризорника, исподлобья наблюдающего, как чужие родители угощают и ласкают своих чад? Что испытывает оборванец, видя на родительском сыночке новые красивые вещи, видя, как он жует шоколадные конфеты?

Конечно, беспризорники сплываются, и идет вечная и жестокая война детских душ, «голытьба» бьет «домашних» и отбирает подарки. Воспитатели всегда на стороне «домашних», родители могут спросить, пожаловаться... А на чьей стороне добро? На чьей зло? Родительские сыночки становятся черствыми, равнодушными, самоуверенными, жадными, корыстолюбивыми. Беспризорники — озлобленными, мстительными, жестокими, вредными, настырными. Корни этого зла не только в порочной системе детских

учреждений, но и в родителях, посеявших в душах своих чад семена зла, а также в воспитателях, ухаживающих за всходами этих семян. И сегодня невозможно подсчитать выращенный урожай сломанных судеб: наркоманов, проституток, преступников...»

ВОСПИТАТЕЛЬ ЗВЕРЬКО

«Самый страшный след оставили годы, проведенные в Озерской школе-интернате, и лично памяты — учитель физкультуры Цыганков и воспитатель Зверько. Эти фамилии каленым железом выжжены в моей памяти...

Перед отбоем в нашу спальню приходили эти «учителя». Они сдвигали две-три кровати вместе и, поставив на край этого трамплина одного из нас, начинали «тренировку». Эти «спарринг-партнеры» становились по разные стороны трамплина и наносили сильные удары по жертве, так, чтобы жертва, не касаясь трамплина, летела как можно дальше. Если жертва обессилевала, жертву меняли. Иногда мы разбегались по территории интерната, нас находили, и тренировки превращались в жестокую экзекуцию.

За что нас били?

За плохие оценки, за непосещение уроков, за драки с «домашними», за воровство и за «просто так», на будущее. Били, чтобы сломить и сделать похожими на всех. Многие становились трусливо-послушными. Я и мне подобные не сломались, но стали озлобленными.

Однажды перед очередной «тренировкой» мы спрятались на сеновале конюшни, затаившись, не дыша, наблюдали, как «учителя» прочесывают каждый клочок сена. В руках у них вилы. Они вонзают в сено блестящие клыки вилок... И мы не выдерживаем. В страхе бросаемся вниз, в темноту, не думая о том, что можем сломать себе ноги, руки, шею...

Часто наши мучители приходили пьяными, и тогда я спасался в девичьей спальне в постели у Лильки...

*Мои чувства не обузданы,
В каждой строчке гнев и злость,
Не приручен бегать взнузданным,
И стихи мои, как кость.
Пусть на вид и не оструганы*

*И порою вкось глядят,
 Все же мысли в них не спутаны,
 Тухлецою не смердят...
 Не хочу я гладить хиленьких,
 Не жалею простачков,
 Бью здоровеньких и сильненьких
 По зубам и меж очков!
 Бью затем, чтоб били следующих...»*

У МЕНЯ БЫЛА ЛИЛЬКА

«...Мы понимали друг друга с полувзгляда, полувздоха. Наши отношения были чистыми, как горный родник. Мы уже не были дети. Жизнь урезала наше детство, взамен дала взрослые души. Лилька болезненно воспринимала мои неувязки. Она прикасалась к моим ссадинам и синякам, морщась, словно от своей боли, говорила: «Поверь, мне так же больно, как тебе». Лилька была отличницей, участвовала в кружках, являлась секретарем пионерской организации, старостой класса и прочее, и прочее. Лилька хотела выучиться на воспитателя и говорила: «Мы с тобой никому не позволим издеваться над детьми...»

По разным причинам я не был принят сперва в октябрята, потом в пионеры. Лилька давала мне свою звездочку и повязывала мне свой галстук. «Пусть тебя считают кем угодно, а я тебя принимаю во все свои организации». Все знали о нашей дружбе и завидовали. Лильку пытались уговорить порвать со мной, она сама говорила: «Они хотят разорвать меня пополам, но это невозможно. Ты моя половина, а я — твоя, да?»

Это было бездонное единство...

И вот нам по двенадцать лет. Лето. Пустой интернат. Бессмысленные сторожа в пустых апартаментах, беспризорики. Озеро. Солнце. Тишина. И — Лилька... Я лежал на песке на берегу озера и смотрел на барахтающуюся в воде Лильку. Сколько раз это повторялось в моей жизни? Много! И все же это было первым в 1964 году... Лилька медленно выходила из блестящей воды, и наши взгляды скрестились... Лилька остановилась, как от толчка, и белое личико ее стало пунцовым. Она испуганно посмотрела на меня, и ее руки попытались прикрыть несуществующую наготу. Она была

стройной и красивой: длинные каштановые волосы тяжелыми намокшими прядями обхватили шею, испуганные глаза широко раскрыты, намокшая маечка прилипла к груди. Мне отчетливо были видны шоколадные соски... Она легонько шлепнула меня ладошкой по щеке: «Бесстыжий!»

Она лежала на спине и, улыбаясь, смотрела в бездонную синь неба. Лилькины глаза и губы были рядом, а шоколадные соски груди вздымались и опускались. Мы выросли в одной постели, никогда не стеснялись друг друга, обнимались и целовались. Но сейчас... Я держал ее ладони и твердил: «Ты красивая, ты самая красивая...» Я знал, чувствовал, что этот поцелуй будет не таким. И все же я ее поцеловал. Неумело, но долго и преданно, и впервые почувствовал желание целовать еще и еще».

И ЕЩЕ СТО МЕТРОВ...

«...Я купался в озере, когда прибежал мой друг Щука и крикнул: «Лилька!» В одних трусах я помчался к интернату. Растолкав толпу беспризорников, вбежал в круг. Лилька лежала на земле, ее тело пересекал толстый столб качелей. Я ухватился за этот столб, но не смог сдвинуть. Общими усилиями оттащили его в сторону и тут увидели красную лужицу, растекавшуюся из-под Лильки. Ее коротенькое платьице собралось складками у пояса, оголив загорелые ноги и кусочек белых трусиков... Я стоял в оцепенении и с ужасом смотрел на Лильку. Осторожно поднял ее и понес в медпункт.

Сегодня я знаю, те сто метров были последними...

Меня целого больше не существовало. За чертой этих метров кончались мое счастье и моя судьба...»

РУХНУВШИЕ КАЧЕЛИ

«...Кому дано посчитать все рухнувшие столбы...

И — Лилькин тоже.

Никто не ответил за упавшие качели, никто не написал, что совершилось убийство по халатности, а лишь так: «Несчастный случай». И никто сейчас не помнит о ней, кроме меня: моя славная беспризорница Лилька прожила 12 лет. Меня заперли в комнате и продержали до вечера, лишив возможности быть на похоронах и бросить прощальную горсть земли. Лилька была мне другом, сестрой, матерью, любовью,

смыслом жизни. В образовавшийся вакуум хлынуло грязным потоком то, что поглощалось Лилькиной душой.

Никому не дано понять, что пришлось пережить мне в запертой комнате. Скажу лишь одно — вечером из комнаты вышел уже не я, а одинокий серый волчонок...

*Я вновь в тюрьме, оковы давят книзу,
Сжимает сердце жгучая петля,
И скоро суд такую выдаст визу,
Что родиной мне станут лагеря.*

*Но что тюрьма! Ведь это только стены
И небо в клетку сквозь стальной заслон.
Куда страшней, что в ключья рвутся вены,
Не выдержав заслон судьбы слепой.*

*И лишь на дне души, в оковах стертой,
Осталось место, словно островок,
Но в этот «рай» держу я дверь запертой,
И счастлив в нем, хотя и одинок.*

*Я счастлив оттого, что сам с собою
Веду неторопливый разговор.
Держу ответ пред собственной судьбою
И не ропщу, коль строгий приговор.*

*Я пред судьбою чист и откровенен,
И что мне мир! В законах — как в цепях!
В одно лишь верю и в одном уверен:
Жить по закону — значит жить в цепях.*

*Но я не тот, кого зовут Мухтаром,
Мне цепь чужда, хоть я собак люблю,
Пусть золотую цепь дадут мне даром,
Я выберу свободную петлю...»*

Пожалуй, можно и прерваться... Далее пойдет другое, но как продолжение старого.

Из всего рассказанного для себя выбираю и запоминаю «воспитателей» типа Зверько, ибо сам встречал таких и знаю:

они закладывали в наши души ненависть, которая до поры копилась. И еще раз подтверждаю: преступность начинается с тяжелого детства. И если сегодня два миллиона брошенных детей, завтра для них надо строить лагеря. Что касается страниц, посвященных Лильке, которые я ужал вдвое-втрое, то они и впрямь поэтичны и чисты.

Хотя... во многом и придуманы. Но повторюсь: все, что недодано жизнью, с лихвой покрывается фантазией. Таковы законы жанра биографии.

СПЕЦШКОЛА

«Кто-то когда-то изрек: человек рождается чистым, как лист бумаги, записи на котором делают воспитатели. Не ясно, кто или что подразумевается под воспитателем. И все же. Я сбежал из интерната и жил в лесу, в землянке, которых множество вырыли беспризорные «робинзоны». Ночью я прокрадывался в интернат и камнями бил стекла в окнах учительской и в кабинете директора. Вакуум дружбы заполнился случайными знакомствами. Я начал курить и воровать, пьянствовать с поселковыми лоботрясами, драться и хулиганить. Меня вылавливали интернатовские сторожа, били, раздевали донага и запирали...

1966 год. Два милиционера держат меня за руки, в присутствии обитателей интерната директор объявляет о направлении Некрасова в спецшколу. Стоит тишина. Никто не знает, что означает спецшкола, но каждый предчувствует страшное.

Камень-на-Оби, высокий каменный забор, оканчивающийся рядами фонарей и прожекторов, по углам вышки скворечники. Конвоиры ввели меня в кабинет директора спецшколы, который сидел за массивным дубовым столом, как будто нас поджидал. Директор долго и внимательно изучал содержимое пакета, снял и протер очки, закурил... Конвоиры откозыряли и ушли, а директор встал из-за стола, и тут я только увидел, что рукав пиджака пустой. Он потрепал мою шевелюру: «Что надулся, как индюк?»

Я не ответил, но на душе стало спокойно.

Я не хочу сказать, что директор был добреньким дяденькой, нет. Инвалид войны, офицер, он был суров и безжалост-

стен. Но он был справедлив. Преподавал он историю, но как преподавал! Его любили воспитанники, но я любил вдвойне. Если сажали в карцер, он говорил: «В карцере хорошо думается». Иногда предлагал придумать наказание самому провинившемуся. Некоторые придумывали невыполнимые наказания и... выполняли! Казалось, что к нарушителям директор питает особую привязанность. Самыми тягостными были родительские дни, в эти минуты я вновь превращался в волчонка. Тогда подарки приносил директор, и я брал.

Директор позже говорил мне: «Я могу помочь тебе во многом, но победить в себе ненависть ты должен сам!»

Спецшкола была семилетняя, а мне предстояло в 1967 году идти в восьмой класс. Директор сказал: «Ты уже взрослый, и разговаривать буду как со взрослым. Мнение комиссии — направить тебя в детдом или определить в профессиональное училище. Решение зависит от тебя. Мое же мнение: необходимо продолжить обучение в спецшколе, иначе ты сломаешься. Я понимаю, что спецшкола не мед, но я не хочу, чтобы ты попал в тюрьму. Я постараюсь подыскать тебе подходящую спецшколу...»

Я молча вышел из кабинета, забыв даже попрощаться. В голове счастливо звенело: «Свобода, свобода, свобода!» На прощание он впервые поцеловал меня, я увидел его слезы.

*Погас закат, и вновь в крошечной тьме
Расписываю дни по сточным лужам,
И в промежутках — на сухой земле...
Опять один. И никому не нужен...*

Мне было четырнадцать, и я был свободен, но не имел права сделать ни одного шага без разрешения сопровождающего... Люди оборачивались на нас: по моей казенной одежде и короткой стрижке нетрудно догадаться, кто я и откуда...»

СОБАКА ЖУЧКА

«Спецшкола Кемерово, Верхотомск, село Сорокино, Алтайский край... Пожилая грузная женщина с папироской в зубах приняла пакет от сопровождающего, оглядела меня, грубо выдавила: «Оттуда?» — и стала меня бесцеремонно обыскивать, даже в носки заглянула. Отобрала деньги,

которые я заработал в мастерских спецшколы, вытащила пачку папирос, спички, складной ножик. И, обращаясь неизвестно к кому, пробурчала: «Да, фрукт, только бандюков мне не хватало». Расписалась в бумажке и махнула дряблой рукой с желтыми прокуренными пальцами: «Ладно. Вези». Шофер доверительно сообщил мне: «Не сладко тебе придется, парень, но ничего, терпи...»

Меня послали на заготовку дров за сотню километров в лес.

В последний день августа обо мне вспомнили, начинался учебный год. Школа располагалась в поселке, и я моментально сдружился с поселковой шантрапой. Вся «отрицаловка» уважала и боялась меня, слух о моем прошлом облетел поселок еще до того, как я вернулся из леса.

Однажды директорша вызвала меня в кабинет и, попыхивая «беломориной», попросила: «Нужно убить собаку, сделай это быстро и незаметно». В детдоме жила всего одна собака, Жучка, ее все любили, и она никому не мешала. Я вспомнил о знакомом парне из поселка, у которого было ружье. Жучка резвилась в кругу первоклашек и заливалась звонким лаем. Мы расстреляли Жучку в лесу и не испытали при этом никаких угрызений совести. А пропавшую собачку искали всем детдомом, и малыши плакали.

Однажды ночью я проснулся от того, что кто-то толкал в бок. Тусклый ночник выхватил из темноты милицейские фуражки. Мне приказали одеться и, ничего не объясняя, вывели на улицу. У крыльца стояла милицейская машина... Вокзал... Комната милиции. Пьяные мужики. Меня усадили на скамейку, приказали ждать. Я попросил закурить, спросил: «Куда меня?» Дежурный милиционер молча протянул горящую сигарету и невнятно ответил: «Много будешь знать — скоро состаришься». И снова стук скорого поезда, и вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного ответа. Спецприемник, станция Тягун. Потом село Залесово. Потом Барнаул... Потом...

*Один, один... И кругом пустота.
Вся жизнь игра! И правит ею рубль!
Мой выигрыш в игре — пространство гроба,
Но все же я сыграл свой лучший дубль
И этой ролью дорожу особо...»*

РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК

«Общежитие Алтайского моторного завода. Небольшая комната, четыре кровати, стол. Одна кровать пустая, значит, моя. Разложив по тумбочке нехитрые вещи, осмотрелся: немытое окно, заставленный пустыми бутылками подоконник, на столе куски очерствелого хлеба, банки с недоеденными консервами, грязные стаканы. Посреди стола воткнут финский нож. И куда ни глянь, окурки, окурки... В отделе кадров не мудрствовали, велели явиться к начальнику пятого механического цеха, выдали деньги в сумме 17 рублей и велели расписаться. И... Да здравствует советский рабочий! Шел 1969 год, январь. А мне 17 лет. В комнате стоял дым коромыслом, постель моя была смятой, на ней валялась чья-то телогрейка. Первое, что услышал: «Здорово, земляк, деньги есть?» Не успел ответить, как небритый мужик, дохнув сивушным перегаром и улыбаясь желтыми отвратительными зубами, выпалил: «Не бойсь, отдам, умираю, спасай, кореш!»

Хотел отдать десять рублей, но он выхватил все и тут же выскочил, за ним остальные. Единственное, о чем я подумал в тот момент: а на что я буду покупать курево?.. Через час вся троица ввалилась в комнату, меня никто не замечал. На столе появились бутылки с водкой, колбаса, хлеб, консервы. Лишь когда пропустили по стакану, вспомнили обо мне. Кто-то крикнул: «Чего сидишь, как обиженный? Здесь не приглашают, иди в общак, а то как один на льдине...»

Я подошел к столу, взял стакан.

Не помню, что было потом, кажется, меня куда-то тащили, обливали водой, хохотали... Наутро обнаружил, что пропал единственный костюм. И все остальное. А потом вызвала комендантша, пожилая женщина с сигаретой во рту, и я узнал правила общежития: распивать спиртное строго запрещается, а также приводить женщин, являться после одиннадцати вечера, воровать, драться и так далее. А я мучительно раздумывал, где взять денег...

*Уставшее, истертое перо
Все глубже и больней вонзаю в душу,
Последним вздохом рваное нутро
Выплескивает гнев большому кушу,
В неравных ставках проиграть пришлось*

*Тому, кто пятака порой не стоит,
И серебра в достатке не нашлось,
И медный куш победно ставку клонит...»*

ПЕРВАЯ КРАЖА

«Из магазина «Одежда» вышла женщина с туго набитыми сумками, остановилась у киоска «Союзпечать», поставила сумки на землю и стала выискивать мелочь в дамской сумочке. Обогнув киоск, я молниеносно подхватил одну из сумок и бросился бежать... Погони не было. А кража оказалась удачной: шерстяной спортивный костюм, куртка из кожнозамениителя, весенние полусапожки и даже бюстгальтеры. Вторая кража, третья... Удачные кражи придавали уверенности и вырабатывали профессионализм. Я уже не просто воровал все подряд, а плутал по магазинам, высматривая, кто что купил. Однажды в трамвае увидел раскрытую сумку и в ней — кошелек. Мгновение, и кошелек в моей руке. Пятьдесят рублей — вполне приличные деньги...

Весна набирала разбег. Набирал разбег и я. Из общежития ушел, на работу не ходил, но чувствовал себя свободным и счастливым человеком на свете...»

В ЧЕРТОВОМ КОЛЕСЕ

«Кино, кафе, парки... Ночевки в поездах, электричках и на вокзалах. Карманники, домушники, бакланы, рокеры, меломаны и модные фраера. Ни с кем не сошелся близко, воровал в одиночку.

Несколько раз ездил в Озерки, где похоронена Лилька. Приходил в бывшую школу-интернат, бродил по знакомым коридорам. Интернат давно расформировали, открыли лечебный профилакторий для больных желтухой. Лилькина могила была самой неухоженной, да, наверное, никто, кроме меня, и не помнил о ней. Несколько раз я давал клятву поставить оградку и памятник, но так и не выполнил обещания. Жизнь закручивала меня в своем чертовом колесе, так что порою я не помнил ни дня, ни числа...

И вот моя последняя кража.

Я на ходу вскочил в уходящий трамвай и сразу увидел его... Двери захлопнулись, и кто-то больно схватил меня за руку... Трамвай остановился, и водитель через микрофон

предложил пассажирам покинуть его, так как пойман преступник. Центральное отделение милиции, первый допрос, маленькая душная комната. Я на всю жизнь запомнил: 6 августа 1969 года.

Через шесть дней мне исполняется семнадцать.

*Вот и лопнула звонко непрочная нить
И повисла струною у края.
Я лечу с высоты, чтобы — насмерть. И сгнуть...
У порога неждущего рая.
Чтоб скольжение вниз хоть на миг придержать,
Я хватаюсь за воздух зубами.
Но падение тела уже не сдержать,
А на дне — только камни углами...»*

ЧТО ТАКОЕ КАРЦЕР

«Преступники рождаются не в утробе матери, а в утробе жизни. Тюрьма оказалась намного страшнее, коварней и жесточе, чем я предполагал. С первых шагов — беспредел, беззаконие, тупость. Все сделано, чтобы тебя унижить, сломить, сломать. Ничего для души, а все для низменных пороков. Карцер... Интересно, в каком словаре можно отыскать определение этому слову? Напрасно, видимо, искать в словарях то, что надежно упрятано в секретных инструкциях МВД. Я не искал и не пытался отыскать определение слову «карцер» — я пролез на брюхе по каждой букве этого ужасного слова.

Карцер. Семь суток за незаправленную постель. Захлопнулась железная массивная дверь. Бетонный куб правильной формы стоит, одетый в причудливую «шубу» из песка, гальки и цемента. Бетонный пол зажелезен и отполирован до блеска. Обитая железом дверь изнутри утыкана острыми шипами и гвоздями. Квадратная ржавая параша с двумя ручками, к одной из них прикована крышка. Над дверью тускло светит электрическая лампочка, оплетенная коробом из стальных прутьев, между которыми не просунешь и пальца.

Маленькое окно у потолка в кованой решетке.

В метре от стены стоит бетонный пенек, намертво впаянный в пол. На стене, словно школьная доска, висит щит из трех досок, обитый с концов железными уголками

и полосками. Прежде чем втолкнуть меня в этот железобетон, меня переодели в спецодежду, на которой крупными неровными буквами белой краской или хлоркой написано «ШИЗО» (штрафной изолятор). Короткие брюки, без карманов и пуговиц, куртка, обрезанные по щиколотку, валенки с дырками — вот и вся амуниция.

Я сел на «пенек» и впервые со дня водворения в тюрьму задумался о себе, о тюрьме, о жизни. О прошедшем, настоящем и будущем. В карцере хорошо думается... Кто-то скажет: подумаешь, семь суток, какая ерунда! Я тоже так думал, но с каждым часом, а позднее с каждой минутой семь суток стали растягиваться в вечности.

Холод... Ужасный холод пронизывал мое существо. Физические упражнения согревали, но ненадолго. И без курева... Я ходил взад и вперед по отшлифованному бетону, придерживая спадающие штаны. Наконец догадался подоткнуть пояс штанов за резинку трусов. Холод... Проклятый холод... Я еще ни разу в жизни так не мерз, в голову лезли воспоминания о печках, горячих батареях, кострах. Но это не согревало. Ноги до того устали, что казались деревянными.

Я присаживался на «пенек», но через несколько минут вскакивал и вновь начинал шлифовать блестящий пол. Бетонный «пенек», поначалу не вызывавший никаких эмоций, теперь возбуждал во мне злость и ярость. Я даже несколько раз пнул его.

Что-то загремело, зазвенело, в дверях приоткрылось маленькое оконце («кормушка»), появилась алюминиевая кружка, забулькал кипятилок, сверху лег тонкий пласт серого хлеба... Я обжигался, пил большими глотками. Попросил налить еще, но старшина усмехнулся, забрав кружку, пообещал: «Обязательно налью. Подожди до утра», — и хлопнул «кормушкой».

Я выругался. Из-за двери глухо донеслось: «На первый раз прощаю. На второй — еще семь суток. Учти, звереныш!»

Стук в дверь, и лающий голос возвестил, что наступил отбой: «Держи нары!» Раздался скрежет металла по металлу, и классная доска грохнулась о «пенек». На гвоздях могут спать только йоги и эки. Даже древние спартанцы не смогли бы уснуть в условиях, в каких приучен спать советский зэк. Я изворочался, но так и не смог найти положения для тела, чтобы в него не впивались железки.

Я уселся на кусочек свободной доски и заплакал.

Столб... Ужасный столб навсегда перегородил мою дорогу. Я почему-то вспомнил, что так и не поставил на заброшенную могилку ограду с памятником...

*...Сотрутся дни, ты вновь ко мне вернешься,
И я прочту тебе свои стихи,
Ты в них войдешь и, может, улыбнешься,
Во мне отыщешь новые штрихи.
Своей тоской черчу тебе дорогу,
И в этот миг душою светел, чист,
С клеймом, в цепях... Но к твоему порогу
Кладу из сердца выщипанный лист...»*

ЕЩЕ ОДИН УЧИТЕЛЬ

«О тюрьме можно спорить бесконечно... И каждый окажется прав. Тюрьма встречает каждого по-разному и каждому отвечает не одинаково: кому-то больше, кому-то меньше, а кому — так все сразу. И уж наверняка надзиратель судит о тюрьме иначе, чем те, кто пропитался тюрьмой насквозь. И все же самое страшное в тюрьме — беспредел, вседозволенность и круговая порука служащих. Государство в государстве.

Старшина втолкнул меня в кабинет начальника корпуса и, шумно хлопнув дверью, удалился.

— Ну, отдохнул, голубчик? Что скажешь?

Он сидел за массивным столом и попыхивал сигаретой, пуская дым колечками. Что я должен был ему сказать?

— Ну, что молчишь, может, еще хочешь подумать?

Я смотрел на улетающие колечки, и вместе с ними из моей плоти уходила усталость, а из души робость...

— Мне нечего вам сказать... Жаловаться не стану, карцера не боюсь...

Он удивленно вскинул брови, затушил сигарету:

— Ого! Интересно!

Подошел к двери и зачем-то щелкнул замком. Я импульсивно сжался, и сразу последовал сильный профессиональный удар сбоку. Я отлетел к стене, но не упал, и это, видимо, взбесило моего воспитателя. Удар, еще и еще. Я не чувствовал боли, в голове одно: только не упасть! Вспомнил-ся Озерский детдом и Зверько...

Он отворил замок, сел на прежнее место и вновь закурил. Потом вызвал старшину, пробурчал:

— Туда же. Семь суток за неподчинение старшему...»

РОДИЛСЯ...

«Преступный мир.

Мне приходилось много о нем читать, слышать, видеть в кино. Но все, что мне было известно, — оказалось ложью. Говорят, что преступный мир жесток и коварен. Может быть. Но этот мир настолько широк, глубок и разнообразен, что познать его до конца просто невозможно. Тем более что-то утверждать. Бесспорно одно: преступный мир отринут всеми и поставлен в такие условия, при которых можно выжить и существовать, лишь создав свои законы и кодексы чести. Если эти законы жестоки, то лишь ровно настолько, чтобы гарантировать выживание. А те, кто отринул преступный мир, не имеют никакого права судить о жестокости законов этого мира.

Кто более жесток: отринувший или отринутый?

Месяц, проведенный в тюрьме, не прошел бесследно. Я как бы перешагнул несколько ступенек развития. 17 лет — тот возраст, когда все схватывается на лету, и я глотал куски познания не пережевывая. И снова, в третий раз, попал в карцер. Бог любит троицу... Тот же куб, тот же холод и голод, и та же йоговская постель, и та же длина суток. Но я уже не тот!

Отчего я не плачу и не злюсь? Почему никого не проклинаю?

И все же ответить можно: на земле родился еще один преступник...

*Жизнь и честь я поставил на карту,
Пусть судьба выбирает свой кон,
Я готов к беспощадному старту,
Есть в обойме последний патрон.
Не надеюсь на помощь шайтана,
Только туз может ставку спасти,
Но попалась крестовая дама...
Эх, судьба! Не жалеи и прости!*

Я расстелил матрац и принялся рассматривать содержимое своего мешка, который мне передали из камеры

строгого режима. В мешке оказалось все или почти все, что необходимо человеку в условиях тюрьмы. Я выкладываю содержимое на бетонный пол, и теплая волна благодарности пронизывает мое существо. Вспоминается далекий Бийск, плачущая баба Нина сует мне и Лильке узелок с провизией. Что общего у сердобольной бабы Нины с очерствелыми душами преступников? А ведь и они, и баба Нина поступили равнозначно. Называется это чувство Доброта».

СУДНЫЙ ДЕНЬ

«Никогда не думал, что все так просто и скучно. Ко мне пришел молодой мужчина и уныло сообщил, что будет меня защищать. Я ответил, что в защите не нуждаюсь и платить мне нечем. Он лишь усмехнулся и попросил обвинительное заключение. Зал заседания был совершенно пуст, только новоявленный защитник шелестел бумагами.

Появился мужчина в форме железнодорожника с тонкой папкой под мышкой. Оказывается, прокурор. Потом вошла молодая женщина и громко объявила: «Встать, суд идет». Председательствующий зачитал обвинение, я ответил, что все понятно, вопросов не имею и ничего не отрицаю. Выступил железнодорожный прокурор, защитник, и суд удалился на совещание. Через 15 минут зачитали приговор: полтора года лишения свободы по ст. 144 ч. 2 УК РСФСР... «Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови». Как в песенке.

Но петь отчего-то не хотелось.

*Ухожу надолго в никуда,
Коль дано — вернусь из ниоткуда,
Кто сказал, что я хочу туда?
Я хочу лишь выбраться оттуда!
Светит солнце. Где-то стынет тьма.
Есть жара и лютые морозы,
Есть свобода... А под ней — тюрьма.
Где-то смех. А чуть подальше слезы...»*

НА КРУГИ СВОЯ

«Приговор суда я не обжаловал, и не потому, что был согласен, а потому, что не знал, как это делать. И вот «воронок» мчит меня и еще нескольких малолеток в неизвестном направле-

нии. Детская воспитательная колония. Карантинная камера. Вечер. Открывается дверь, и входят несколько крепких ребят и мужчина с погонами старшего лейтенанта. «Встать, шакалы!»... И посыпались оплеухи на сидящих и лежащих.

Привет от тренера Зверько.

После пинков и тумачков мы построились. Началось знакомство. Ребята подошли к первому стоящему: «Кто? Откуда? Срок?» После ответов каждый получал несколько хлестких ударов по лицу, печени и почкам. Старший лейтенант стоял у дверей, прислонившись к косяку, и молча наблюдал за происходящим...»

Далее — помните главу «Рог зоны»? «Сильный удар в живот вернул меня в реальность. Видимо, метили в поддых, но промахнулись, и это спасло меня...»

И снова — тюрьмы, тюрьмы, тюрьмы.

Тысячи километров в «вагзаке», на «воронках», на самолетах... Кызыл, Абакан, Минусинск, Агинск, Канск, Решеты, Иркутск, Ангарск, Зима, Шелехов, Усть-Кут...

Владимир Некрасов сидел с семнадцати до тридцати шести лет. В общей сложности 19 лет. А через полгода после выхода на свободу совершил последнее преступление — убийство — и был приговорен к смертной казни. Вскоре он прислал еще одно письмо к нам в Комиссию, где выражал свое несогласие с пожизненным заключением, которое тогда только ввели. В случае, если будет принято решение о пожизненном заключении, он требовал для себя смертной казни.

*Что ни день — засыпаю в тревоге,
Что ни год — топором по мечте,
Все бреду по пустынной дороге,
Отмеряя Судьбу по версте...*

*И налево пошел и направо,
По прямой все колени избил,
Всюду горе, мираж и отравы,
Но вернуться обратно — нет сил.
Волоку свою ношу по кругу,
С каждым стыком короче мечты.
Может, Бог все зачтет мне в заслугу,
Впустит в рай у последней черты?*

Своим решением Президент, по рекомендации Комиссии, заменил Некрасову Владимиру Ивановичу смертную казнь на пожизненное лишение свободы.

ВЗЫВАЮ, ЛЮДИ, ВАС К ЛЮБВИ!
(СТИХИ МАНЬЯКА)
(ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

На стихи Артура Китаева я наткнулся случайно: просто пришло на мое имя письмо, неизвестно уже какое по счету. Артур Китаев послал из тюрьмы несколько сборников стихов и прозы, и все это — его дар россиянам от того, кто «незаконно приговорен к смертной казни». Я сделал запрос на его дело. В конце дела, среди десятков однотипных писем (он, конечно, как и многие заключенные, сочинитель своей собственной жизни), я нашел эти стихи. На обложечку «Сборника стихов о тюрьме» вынесено четверостишие:

*Ряд изоляторов — бутоны,
Колючей проволоки — шипы,
Здесь царство мрачное Горгоны,
Здесь остров муки и тоски...*

В самом начале идет пояснение, что стихи выражают проблемы не только автора, но и большей части осужденных. И далее такое зарифмованное обращение:

*Помогите, пожалуйста, люди!
Обращаюсь с мольбою я к вам,
В борьбе с этой халатностью судей,
Что ведет к смертным приговорам.*

А заканчивается так:

*Сформулирую просто и ясно,
И со мной согласитесь и Вы,
Уходить из жизни не страшно,
Только б знать, за какие грехи...*

(«ОБРАЩЕНИЕ СМЕРТНИКА»)

А грехи вот какие: дважды судимый за изнасилование и кражу, в 1992 году (ему было тогда тридцать лет) Китаев был осужден к смертной казни за умышленное убийство и изнасилование четырех человек, за еще одно изнасилование, за разбой, кражи, подлог...

*Мне скоро будет тридцать три,
Что я на жизненном пути
Познал, кроме душевных мук,
Печали, странствий и разлук? —*

вопрошает он и отвечает:

*Устав от тяжести пути,
Прошу, как отдыха, любви,
Чтоб встретиться с своей любимой,
Чей образ столь желанный, милый:
Душой своей боготворю
И в сердце бережно храню.*

И далее он призывает к любви и остальных людей, своих потенциальных читателей: «Забудьте зло, не надо зла, пусть в людях будет доброта...»

Из письма:

«Я им в глаза заявил, что невиновен, на что мне ответили (по-видимому, разговор идет об администрации тюрьмы. — А. П.), что я получу «вышку» и ничего не докажу. После этой встречи по этажу корпуса пустили слух, что я сижу за изнасилование малолетних девочек. В камере 121 обстановка была раскалена до предела, доказать я не мог, ладно хоть, что в камере 12 человек и трое оказались справедливыми. А то камера 121 могла закончиться статьей 121 УК РФ. Мне предложили просто подальше от греха уйти из камеры. А вот начальник оперчасти 357/12 вызвал в кабинет и дал мне сигарет и чая...»

Из дела: «Китаев отбывал наказание в колонии-поселении с 1989 года. 10 августа 1990 года он совершил побег, приехал в г. Пермь к своим родителям, а в декабре того же года вместе с ними переехал на постоянное место жительства в деревню в Смоленской области. Там по подложным

документам на фамилию Иванова он устроился водителем. 17 марта 1991 года, проезжая по дороге, он посадил в машину Рудакову (заведующую лабораторией НИИ, сорока лет, имеется взрослая дочь), которая попросила подвезти ее. В пути Китаев напал на нее, изнасиловал, в том числе и в извращенной форме, а затем ее же шарфом ее задушил. Китаев похитил у нее шубу искусственного меха, песцовую шапку, труп Рудаковой сбросил в кювет, а похищенные вещи передал своей знакомой».

*Нас с тобою никто не проводит
И не скажет тихонько: «Прощай!»
Нас с тобою «стольпин» увозит
Под собачий отрывистый лай...*

И еще из одного:

*Дорога к дому — яркая звезда
На небосклоне тяжких дней в неволе,
Так хочется застать в живых отца
И к маминой щеке прижмуть щекою...*

Из письма: «В августе в газете выходит статья, а по Смоленскую радиопередача, где я без суда признан виновным. Из-за этой статьи при получении матраца я был избит дубинками сменой контролеров. Да Бог им судья, они не ведали, что творили...»

Хочу отметить, что в письме и далее есть подробности пребывания смертника в камере: редчайший случай, когда нам удается узнать об этом из первых рук и так детально.

*Пуускай порадует тебя весны капель,
И я приду на праздник твой, как светлый день,
Пусть для тебя шумят леса, журчат ручьи,
И пусть сбываются всегда твои мечты...*
(«ТЕБЯ ПОЗДРАВИТЬ Я СПЕШУ»)

*У жизни свой километраж:
Прогон-вираж, прогон-вираж,
И за рулем скрипит судьба,*

*Нога на газ — не меньше ста...
 Вдруг рок судьбы, жестокий рок,
 Крутой подбросит поворот.
 Нормально, если повезло,
 Не занесло и не снесло.
 А может, сжалилась судьба,
 И смерть меня не приняла.
 Придется страха пот смахнуть,
 Свободы воздуха вдохнуть,
 И снова в путь...*

Из дела: «18 мая 1991 года Китаев посадил в машину Ефременкову, учащуюся 11-го класса, которая попросила доехать до деревни Рыжиково. Он завез ее в безлюдное место, изнасиловал в извращенной форме, после чего задушил руками. Похитил зонт, клипсы, косметику и паспорт, а труп потерпевшей оставил в кювете...»

*В небе синем облака-паруса,
 Все белеют и плывут в синеве,
 Гонят их, куда — не знаю, ветра,
 Может быть, моя родная, к тебе,*

*Облака мои белые, облака мои белые,
 Вы возьмите с собой меня, милые,
 Туда, где любимая в ночи стосковалась,
 Возьмите, родимые, возьмите, пожалуйста...*

(ПЕСНЯ ИЗ АЛЬБОМА «РАЗЛУКА»)

Из дела: «20 мая 1992 года пьяный Китаев возле автобусной остановки, расположенной на пересечении дорог Москва—Минск, напал на Изотову (сорок лет, незамужняя, работала в колхозе дояркой), изнасиловал ее, а затем задушил жгутом, сделанным из одежды потерпевшей. Завладел юбкой, брюками, часами, паспортом и трудовой книжкой».

*Трудно, сын, и горько без тебя живем,
 Вместо счастья горе пробралось в наш дом,
 Нет, не радость, — скука и кума-печаль
 В праздники приходят к нам с отцом на чай...*

*В доме нет веселья, грусть стучит в окно,
Видно, мы втянулись в горькое ярмо,
Видно, птица счастья уж который раз
Далеко-далёко облетает нас...*

(«ПИСЬМО МАТЕРИ»)

Из дела: «9 июля 1992 года в районе деревни Шокино Китаев напал на Галину Школьникову (двадцать лет, работала на заводе), изнасиловал ее, после чего из колготок потерпевшей сделал петлю, которую набросил ей на шею и задушил. Завладел складным зонтом, золотыми серьгами, духами, часами, деньгами в сумме 50 рублей...»

Из письма: «Меня сажают со смертником, осужденным на два месяца раньше, и он подбрасывает мне идею захвата заложников. Но моему сокамернику дают сутки карцера, а меня переводят к Суворову Сергею, бывшему омовцу. Готовим для побега шторы и заточки... Но кто-то нас сдал. Благодарю Бога, что он спас меня от этого безумства, в которое мы с Сергеем хотели броситься с головой... А в октябре ко мне на свидание пришел отец и сказал, что у моей невесты Ларисы ребенок. Знаете, никогда у меня не было детей, а тут чувство отцовства и любовь к Ларисе толкнули меня к признанию того, о чем молчал ранее, чувствуя свою вину перед Галиной Школьниковой. Я очень люблю детей, мне так хотелось иметь сынишку или дочь, частицу себя».

*Из тетрадного двойного листа
Сделаю большого я голубка,
А как кончу я работу свою,
В небо синее его запущу,
Пусть летит он высоко, к облакам,
Передаст мой привет небесам,
А устанет он парить в вышине,
То вернется он на землю ко мне...*

(ИЗ ДЕТСКИХ СТИХОВ)

Из дела: «В этот же день Китаев напал на Павлову, угрожая ножом, изнасиловал ее, в том числе в извращенном виде, причинив легкие телесные повреждения, повлекшие расстройство здоровья. Павловой удалось убежать, о слу-

чившемся она рассказала мужу, который вместе с другими гражданами задержал Китаева и передал его работникам милиции... Кроме того, Китаев совершил другие преступления: разбойное нападение на Баркова, которого избил руками и ногами, причинив ему тяжкие повреждения, при этом завладел его имуществом и водительскими правами, которые впоследствии подделал, указав фамилию Иванова и наклеив свою фотографию. Он также использовал чужую трудовую книжку с измененной фамилией на Иванова и по этой книжке был принят на работу... Приобрел и носил при себе нож».

*Здравствуй, мать-Россия, я твой сын,
Бывший не всегда в ладах с законом,
Кто Урал проехал и Сибирь
Без удобств, «стольпинским» вагоном.
И под мерный перестук колес,
Даже сам того не понимая,
Изучил я, как бездомный пес,
Географию родного края.
Кто влачил невольно тяжкий крест
По дороге жизни с малолетства
И голубизну твоих небес
Видел перехлестом крупной клетки,
И среди такой, как сам, братвы
Звался за глаза «Сорвиголовый»...
Здравствуй, мать-Россия. Я твой сын,
И прости за то, что непутевый...*

Из письма: «Последнее слово (слова) я говорил два дня. Но увы... 24 февраля 1994 года я пошел в камеру смертников злой на весь мир, которому невозможно ничего доказать».

Из дела: «Смертная казнь применена к Китаеву с учетом того, что, совершив побег из колонии-поселения, где отбывал наказание за тяжкое преступление, он совершил умышленное убийство четырех лиц, сопряженное с изнасилованием потерпевших».

Из письма: «Скажу честно, самое прекрасное в моей тюремной жизни — это время с 15 по 17 февраля 1995 года.

Ко мне приходили секретари суда, яркие, как свет, меняясь, как времена года. А я тянулся к этому свету и заражался от них добротой. Днем встречался. Ночью писал стихи...»

*Пишите женщинам стихи
В порыве страстном откровенья
Или в минуту озаренья,
Когда приходит час любви —
Пишите женщинам стихи.
Любовь, прекрасна и чиста,
Вам даст в свои поверить силы,
И души нежные порывы
Дарите милым без конца.
Пишите женщинам стихи
И не скрывайте восхищенья,
Вы рифмою стихотворенья
Откройте им сердца свои.
.....
Не подкачайте, мужики,
Пишите женщинам стихи!*
(ИЗ АЛЬБОМА «ЖЕНЩИНАМ»)

Из письма: «Когда это кончилось (ясно — ничем), я объявил голодовку. Но потом снял ее в воскресенье 5 марта, так как должен был простить своих врагов. До сих пор не пойму, зачем надо было дарить мне надежду? Которая, разбиваясь, убивает хуже пули...»

Из дела: «Вина Китаева в содеянном доказана материалами дела, приведенными в заключении. Никаких сведений о том, что Китаев объявил голодовку, ни в анкете к ходатайству о помиловании, ни в характеристике на осужденного, утвержденной начальником следственного изолятора, не имеется. В характеристике отмечено, что, содержась под стражей по настоящему делу, Китаев продолжает нарушать режим содержания...»

Вот что он еще пишет: «Меня закрыли в такую камеру, в которой свиньи жить не будут. Цвет пола и потолка одинаков, стены вообще не поддаются описанию. Буду просить, чтобы мне дали кисть и известку. Может, в общественно полезном труде мне не откажут, и я смогу отремонтировать камеру.

Эти три года прошли как пятнадцать лет. Самое обидное, что взрослые люди, умудренные опытом, не могут отличить добра от зла.

Или не хотят?»

*Слишком длинны ожидания,
Хоть у времени бег скор,
Разум шепчет заклинанья,
Чтоб не сбылся приговор,
Чтоб смягчили, не убили,
Дали пусть и длинный срок,
Чтоб не пуля, ветер воли
Холодком трепал висок,
Чтоб свобода, не могила,
Лучше радость, чем тоска...
Чтобы та, что звал ты милой,
Не несла в руках венка.
И жива в душе лишь вера:
Очень хрупкое стекло,
Что не будет высшей меры
И тебя спасет Христос...*

(ИЗ АЛЬБОМА «ТЮРЬМА»)

Из письма: «Вашу судьбу решает Комиссия по помилованию и Президент РФ. Вот если бы Вы отказались от помилования или Вам отказали бы в помиловании, тогда другое дело, — это мог сказать или выживший из ума человек, или преступник от закона, на совести которого не один расстрел. Мое же мнение: если додумались разбрасывать камни (время беспредела), то пусть наберутся мужества (если они не бабы) и соберут... Настало время собирать покаяния. И лучше не мучьте меня ожиданием: 15–20–25 лет я все равно не выдержу, и лучше расстреляйте...»

Из дела: «Полагал бы ходатайство Китаева о помиловании отклонить». Подпись: Заместитель Председателя Верховного суда Российской Федерации.

Из письма: «Сейчас я остался один. Родители и брат уже не приезжают ко мне. Хотя передачи передают. Но на свидания не могу дозваться... И знаете, я не хочу говорить о

деле, меня воротит от многократных объяснений. Все, что случилось со мной, описано в романе Стендаля «Красное и черное». Я читал и плакал...»

*Не от мира сего и уйду в мир не сей,
 Но оставлю на ней, этой грешной земле,
 Свои песни, стихи, что писал в дни тоски,
 О добре и любви, о любви и добре...*

Из письма: «В заключение просьба: ознакомьтесь со стихами, задумаете опубликовать — публикуйте, а гонорар не нужен, лучше создайте фонд правозащитников или раздайте детям в детдоме...»

КАК ОХОТНИК, В ТАЙГЕ ЗАПЛУТАВШИЙ... (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Стоит ли повторять, что возможности донести себя — в стихах ли, в письмах, в воспоминаниях ли из камеры смертников — в мир у этих обреченных практически нет. Да и кому, по совести, нужна их графомания? Родня давно потеряна, дружки рассеялись по тюрьмам или сгинули со свету, а какие-нибудь литературные журнальчики завалены таким бараклом по макушку и не станут разбираться в чьем-то корявом почерке на серой бумаге, пришедшей к ним из мрачных склепов. Нынешние-то стихоплеты на компьютерах штампуют творения свои и по Интернету всему миру отсылают! Вот и остается у них редкая возможность припилить свое творчество к прошению о помиловании, которое уже документ и не может не быть подшитым к уголовному делу. Глядишь, хоть какой-нибудь адвокатишка да и заглянет на последнюю страницу. А там — стихи!

Юрий Митрофанов пережил семейную драму: бросил семью, жену и детишек ради другой женщины, а она его, в свою очередь, тоже бросила по наущению родни. И он, как в какой-то слезливой народной песенке, пришел и всех поубивал. Был он офицером войск МВД, командиром группы захвата, инструктором по вождению гусеничных машин в Чечне. А вот что он пишет о своих стихах: «Никогда не увлекался стихами и не пробовал писать вообще. Но глядя на этот

беспредел и юридический бардак, душа моя возмутилась и вдруг заговорила стихами».

В посвящении следователю он напишет:

*Твоя главная цель —
Остаться всегда Человеком,
В том беда твоя заключается
И, возможно, большая беда...*

«Создается впечатление, — говорит он, — что эти корифеи мысли никогда не слышали о методах и способах ведения следствия Порфирием Петровичем в романе нашего великого Достоевского. У нас же УПК используется только как подставка под чайник. Эти люди просто не могут по-другому работать. Это их стиль».

*Ведь читаешь порой и думаешь,
Нет убогости, нашей бедней.
Ближе это подходит к фантастике,
Чем к реальности наших дней.
Из невинных — убийцу создаете,
По закону, всегда своему,
Все измените и перевернете,
Не давая жить никому...*

Тюрьма и жизнь за ее пределами у него сливаются в одну картину — все те этапы на пути к камере смертников, которые довелось пройти от следствия до пресловутого Института им. В.П. Сербского.

«Когда меня профессора просили задавать вопросы, я задал им один лишь вопрос, которому ищущий ответ все свои годы: «В чем смысл жизни?»

*По палатам мы распределены
И с тоскою глядим в окно.
Два пути: дураками иль ээками
Здесь нам предрешено.
Небогатый выбор, наверное,
Но иного нам не дано.
Или с жизнью расстаться досрочно,*

*Иль тихонько катиться на дно,
Мы похожи на кроликов в клетке,
Где хозяин решил давно,
Кому быть забитым на праздник,
А кого подать под вино.*

Судя по исповеди, Юрий Митрофанов — заядлый охотник, рыбак. Картинки природы, как проблески прошлого, мелькают в его стихах, о чем бы они ни были.

*Ночью во снах являются
Лес родной и доли,
Озеро любимое,
На кострищах золы,
Пчелы в липовом цвету,
Воздух пахнет медом.
Это все теперь в мечтах
Как глоток свободы...*

И в другом месте тоже прорвется: «Третий год пошел, как не вижу любимых берез...»

У него много написано о трагической любви:

*Как охотник, в тайге заплутавший,
Я по мыслям своим брожу,
След пургой замело вчерашней,
А другого — не нахожу.
Все патроны надежды расстреляны,
Был ответом лишь волчий вой,
Компас мой был где-то утерян,
Расставались когда с тобой...*

Есть строчки и злее, я сомневался, нужно ли их приводить здесь. Но пусть, пусть прозвучат:

*Беззащитность твоя страшна,
В твоей хрупкости яд змеиный,
Как я раньше понять не мог,
Видя рядом твой клюв ястребиный.*

О судьбе своей пишет:

*Просверкали зарницы в ночи,
Соловьи на юг улетели,
И похожа моя судьба
На обломанный куст сирени...*

«А когда судья в облсуде спросил у моей бывшей жены Валентины, что она скажет по поводу меня, то есть почему я ходил с кинжалом и убил этих людей, жена ответила так: «Я прожила с ним 19 лет и знала, что у него вспыльчивый характер, но он никогда никого не тронул первым и ножом с собой не носил. Носил лишь когда ходил на охоту. А за себя постоять мог и без ножа. И если бы его не тронули (имеются в виду жертвы. — А. П.), то и он бы их не тронул... Сами виноваты».

А в стихах, посвященных бывшей жене, он скажет так:

*Вот и жизнь проскочила мимо,
Хоть казалось, не будет конца.
Отгремела июньским ливнем,
Тройки звоном в три бубенца...*

Во многих стихах — дети:

*Вот смотрю на портрет, что висит на стене
В одиночке моей, что в Бутырской тюрьме.
На портрете том двое, вижу их день и ночь:
Сын единственный мой и любимая дочь,
Молча смотрят в глаза мне, укор затая.
Как случилось все это? В чем вина здесь моя?
Эти взгляды прожгли душу всю мне насквозь,
Потому что ничем не могу им помочь.
Я пока что живой, но для них — уже нет...
При живом — «безотцовщина» —
слышу страшный ответ.*

.....
*Я б взошел на костер и на плаху бы лег,
Если б знал, что я этим вам немного помог...*

А вот прощальный день с сыном:

*Мне этот день весны запомнился навек,
Я дом родной бросал, светило солнце,*

*Не видел лишь тебя, весь мир вокруг померк,
Жизнь впереди казалась дном колодца.
Ты в школу шел, я вслед смотрел тебе,
Мне сердце говорило: больше не увидишь,
Я сердцу не поверил...
В руке портфель, как старичок, согнулся.
Как Господа просил, чтоб сын мой оглянулся...*

В одном из писем он пишет о предстоящей смерти: «Через все испытания я уже прошел, и у меня осталась только моя душа, вера в Господа и мои дети. Остальное же я все потерял и всего лишился. Но для меня это не большая трагедия, так как я никогда не жил ради вещей, денег и прочих атрибутов бренного мира. Остается теперь только подготовить себя к переходу в мир иной, и сделать это достойно и с честью, насколько это возможно в моей ситуации. Я не знаю, как это происходит, но если бы знал, то попросил бы палача не привязывать меня ни к чему и не связывать, не надевать на голову повязку и не стрелять в меня, как в животное, исподтишка. Я хочу встать к стенке, как становились наши предки, да сочинить последнюю молитву и скомандовать палачу: «Огонь!» Только в этом случае я смог бы считать, что в какой-то мере компенсирую свою честь при такой позорной смерти. Прошу Вас сообщить тем органам, которые этим занимаются. Если поможете в этом, буду заранее благодарен...»

И где-то добавит: «Хотел бы забыть о прошлом, чтобы не волноваться. Но это плохо получается. Я за два последних года не получил ни одного письма (не разрешают), и это постоянно мучает и угнетает...»

*Продолжая жизнь, хоть по сути она уже кончилась,
В одиночке для смертников мы как «духи» сидим,
Об одном только мысль:
Поскорей бы все это кончилось...
Нервы все на пределе. Но об этом сидим и молчим.*

Нет, в стихах все не просто. И в том, что донеслось нам из тюрьмы от Митрофанова, и в том, что пришло от других заключенных, едины строки о последних прощальных минутах, когда уводят на казнь:

В груди дыханье замирает,
 Как тяжело терять друзей,
 Когда весенним ранним утром
 Откроют у соседа дверь.
 Звучит конвоя голос строгий —
 На сборы дали пять минут...
 В душе сомненья и тревога:
 Уходит он в последний путь...
 Не дали рта раскрыть те «люди»,
 И крикнуть нам: «Прощай, братва»,
 Лишь шаг чеканный «спец-шуды»
 Гремит, как дальняя стрельба.
 Вот стихло все.
 Витает тихо смерти дух.
 Он принесен был мастерами
 Запечных дьявольских наук.
 Притихли в «хатах» остальные,
 Осужденные к ИМН.
 Какой же мерой нам измерить
 Пережитое в тот момент?!!

«ИМН» — исключительная мера наказания.

...И все-таки, все-таки...

Мы не только прочитали на Комиссии это дело. Нашими последними словами на заседании были слова о помиловании. Я хочу закончить рассказ о Митрофанове стихами, в которых есть надежда:

Страшно все осмыслить, до конца понять,
 Невозможно заново жизнь свою начать.
 Я прошу судьбу скорей подвести черту.
 В снах с тобою встретимся, ночью на мосту.
 Только ты устало смежишь веки тихо,
 Зацветет вокруг желтая гречиха,
 Речка голубая заблестит вдали,
 Мостик, на котором встретиться смогли.
 Годы нашей юности вспомнятся опять,
 Мне тебя захочется вновь поцеловать.
 Шелк волос откину бережно с плеча,
 Будет наша встреча очень горяча.

*Мы возьмемся за руки и в поля уйдем,
В снах тревожных заново все переживем,
Все сомненья прошлые мы отринем прочь,
Как медовый месяц пролетит вся ночь.
Тихо на рассвете от тебя уйду,
Сына поцелую, дочку обниму.
Вновь мечтая встретить и любить тебя,
Об одном прошу лишь — береги себя...*

Эти стихи он посвящает бывшей жене.

Прошение он заканчивает такими словами: «Заканчивая, хочу сказать, что дал себе зарок. Если Богу будет угодно и он оставит меня живым, попробую написать книгу обо всем, что увидел. Уйду в монастырь, приму постриженье...»

Зона восьмая ГЕРОИ ТЮРЕМНОГО РОМАНА

ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ (ЗЕЛЕНАЯ И ГОЛУБАЯ ПАПКИ)

Два дела — Мадужева и Воронцовой — я вынужденно объединяю в этой главе, поскольку так уж сложилось, что все знают о Мадуже более не из судебной хроники, а из прессы да по кинофильму, которые, безусловно, сотворили легенду и о нем, и о его романе со следователем.

«Случай этот не имеет прецедентов в отечественной судебной практике, и не только по количеству и дерзости совершенных матерым преступником криминальных деяний, — писал корреспондент «Известий» Сергей Краюхин. — Находясь более года под следствием, он неожиданно становится героем многих газетных и журнальных публикаций, о нем пишут книги, снимают кино- и телерепортажи. Потихоньку за Мадуевым утверждается слава гонителя богатых и этакого защитника слабых и обездоленных... Личность преступника, известная многим по «Тюремному роману», облагородившему, возвысившему преступника, высветилась теперь с другой стороны, заставившей по-настоящему содрогнуться. Кровавый шлейф тянулся за Мадуевым по многим городам и весям бывшего Союза...»

О Мадуже написано много — и про его способности чудодейственным образом получать в тюрьме оружие, и про гипнотические возможности влияния на охрану, и про многое, многое другое.

Так что же в этой истории правда, а что легенда?

Мадуев Сергей Александрович, 1956 года рождения, русский, с незаконченным средним образованием, разведен, судимый дважды: в 1974 году за хищение государственного и кражу личного имущества граждан приговорен к 6 годам лишения свободы, освобожден в 1980 году по отбытии наказания; в 1981 году за бандитизм, покушение на хищение государственного имущества, умышленное уничтожение государственного имущества путем поджога приговорен к 15 годам лишения свободы, по амнистии наказание сокращено наполовину, а в октябре 1988 года он был переведен для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение, откуда в декабре 1988 года совершил побег. До 1974 года, то есть до первого осуждения, общественно полезным трудом не занимался.

Арестован по настоящему делу 8 января 1990 года. Осужден к смертной казни с конфискацией имущества. Признан особо опасным рецидивистом.

Мадуев осужден за — организацию банды с целью нападения на граждан; за — одиннадцать нападений в составе банды на граждан, в процессе которых убита Юрий, совершенно покушение на убийство Гордничина, а также на убийство Шалумова; за — девять вне банды разбойных нападений на граждан, во время одного из которых он совершил покушение на убийство супругов Айвазовых; за — кражи, злостное хулиганство, незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, угрозу убийством, подстрекательство к злоупотреблению служебным положением; за — умышленное убийство Лютвинского из хулиганских побуждений; за — покушение на побег из следственного изолятора с использованием оружия; за — покушение на убийство Егорова в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга...

За-за-за-за.

Преступления совершены в 1988–1991 годах в городах: Прозном, Боготоле, Владивостоке, Астрахани, Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Московской областях. Как в одиночку, так и с неким Приходько, который до сих пор не пойман, а также вместе с братьями Мурзабековыми Мадуев разбойничал в Прозном, в Красноярском крае, Астраханской и Ростовской областях... Практически зоной его действий была вся Россия.

Во время нападения на семью Айвазовых в 1989 году в селе Карагали Астраханской области Мадуев с целью убийства выстрелил в голову хозяина дома Айвазова, а потом и в голову его жены, но не убил, а лишь тяжело ранил. Иначе не было бы еще двух свидетелей того самого «кровавого шлейфа», оставляемого безжалостным, судя по всему, бандитом.

В июне 1989 года было совершено нападение на семью Шалумовых в Ростовской области, которых Мадуев выслеживал долгое время. Он узнал, что Шалумов собирается строить второй дом. Вдвоем с Чернышевым они дождались, пока у хозяина закончится прием гостей во дворе, в первом часу ночи напали на него и под дулом нагана потребовали выкуп. Шалумов уперся, жена же умоляла отдать. Передав наган Чернышеву (он тоже влился в банду, но дело на него прекращено в связи с его смертью в 1990 г.), Мадуев ушел искать ценности в доме — они оказались спрятанными в багажнике автомашины, — Чернышев же в это время пристрелил хозяина, а кричавшую от страха хозяйку задушил проводом. Дом они подожгли, и в огне сгорел годовалый ребенок Шалумовых. Другая девочка пяти лет спала в гамаке во дворе и спаслась от огня чудом...

Вот тебе и любовь к женщинам и детям.

Правда, на суде Мадуев выкрикнул: «Я ничего не знал про малыша, а то бы я его вынес!» Но ведь он сам не раз хватался тем, как хорошо налажен у него сбор информации о будущих жертвах. Мог ли он идти на дело в дом, не зная, кто в нем проживает? Очень сомнительно.

Во время пребывания Мадуева на берегах Невы были ограблены все по той же схеме (наведение справок, дерзкое нападение, угроза оружием) три семьи. В октябре того же 1989 года в Ленинградской области (широко разъезжал, разбойник!) Мадуев проник на приусадебный участок семьи Городничиных и, угрожая пистолетом, пытался ворваться в дом, но хозяин оттолкнул его и закрылся внутри. Мадуев открыл стрельбу через дверь, но хозяин лег на пол и не пострадал. Уже в самом Санкт-Петербурге вдвоем с напарником они напали на квартиру пожилой гражданки Юрих. Когда она закричала: «Нас грабят!» — и бросилась на кухню, Мадуев выстрелил ей в спину. Она скончалась от огнестрельного ранения в правое легкое в больнице. Потом он забрал из квартиры

деньги и облигации, а Чернышев — аудио- и видеоаппаратуру. В декабре 1989 года в том же Санкт-Петербурге Мадуев пришел в кафе «Орнамент» в верхней одежде, но швейцар Лютвинский предложил ему раздеться. В ответ Мадуев из револьвера системы «наган» трижды в упор выстрелил Лютвинскому в голову и убил его. После этого, угрожая револьвером посетителям и сотрудникам кафе, скрылся.

Далее Мадуев уже орудует во Владивостоке, в других городах. Задержала его 9 января 1990 года в Узбекистане прокуратура г. Ташкента.

А теперь вкратце о том самом нашумевшем преступлении, о котором мы все были наслышаны. Привожу дело так, как оно записано в протоколах суда:

«Решив совершить побег, Мадуев обратился с просьбой о передаче ему оружия к следователю прокуратуры Воронцовой (осуждена к 7 годам лишения свободы). Последняя из сейфа прокуратуры похитила револьвер системы «наган», который был у Мадуева изъят при аресте, приобрела 16 боевых патронов и 29 апреля 1991 года передала это Мадуеву. 3 мая 1991 года около 9 часов утра Мадуев был доставлен в специальное помещение, откуда он должен был быть этапирован в г. Москву. Там он, угрожая револьвером сотрудникам изолятора, произвел выстрел вверх, приказав всем присутствующим встать к стене, и на каждого при этом направлял наган. В это время майор Егоров, пытаясь пресечь действия Мадуева, направился в его сторону. Мадуев выстрелил в Егорова с полутора метров (!), причинив ему тяжкие, опасные для жизни телесные повреждения — проникающее пулевое ранение в область живота, тонкой и толстой кишки».

Такое ранение, насколько мне известно, было у Пушкина во время его дуэли с Дантесом. Врачи, а среди них был молодой Даль, не смогли спасти великого поэта. Жизнь Егорова была спасена благодаря своевременной медицинской помощи.

«Принятыми мерами (как написано в деле) Мадуев задержан... Вина Мадуева в полном объеме установлена».

А вот из акта комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы на испытуемого, проведенной в сентябре 1994 года в Судебно-медицинской экспертной служ-

бе при мэрии Санкт-Петербурга (там еще написано «стационарное, стражное»). Итак, родился Мадуев в тюрьме, большую часть времени воспитывался в детских учреждениях. Что это такое, мы с вами уже знаем. Сын сосланных в Казахстан родителей, он рано лишился отца и был предоставлен самому себе. Кстати, на суде он утверждал, что в приговоре искажены его анкетные данные, и так как мать его кореянка, а отец чеченец, то он по национальности чеченец.

В детстве, когда жил с матерью, «видел много плохого, грязного», ибо мать вела распутный образ жизни, пьянствовала. Мужчины, приходившие в дом, били мальчика, «в том числе и по голове». С 12 лет приходилось воровать, чтобы накормить себя и младших детей. Любил с ними возиться. Но, несмотря ни на что, мать уважал — «ни словом ее не обидел». По словам же матери, он был третьим из пяти внебрачных детей, и поскольку она была неоднократно судима, дети жили «где придется». Сергей, по ее словам, был самым способным, не курил, не употреблял алкоголь. С детства начал обманывать, совершать мелкие кражи, за что она его наказывала. В обиду себя не давал и никому не позволял обижать мать. «Превращаясь в матерого волка, — напишет газетчик, — он выработал в себе качество не только отвечать ударом на удар, но и упреждать их, просчитывая грозящую ему опасность и оттачивая в себе неимоверно острую реакцию».

По показаниям родных сестры и брата, в детстве его часто наказывали и били, так как он рос непослушным. Но по характеру был добрым даже к обидчикам, особенно тепло относился к женщинам и детям. Увлекался чтением художественной литературы. По отзывам учительницы, Сергей «всегда находился в каком-то возбужденном состоянии, мимикой лица и движением тела мог передразнить и тут же сделать вид, что ничего не происходит...»

В 17-летнем возрасте был осужден за разбой; сам он считает — несправедливо. Отбывая наказание (Княжпогост, Коми АССР), стремился к нормальной, по его словам, жизни, завоевывал авторитет, был бригадиром. Но есть свидетельство суда, что Мадуев был избит группой заключенных, удары наносились ножницами, свинцовым грузом, железной трубой. Получил травму головы, лечился 3 месяца в медчасти. Отличаясь вспыльчивостью с детства, стал еще более

вспыльчивым, особенно когда задевали его достоинство. Во время таких вспышек якобы настолько «отключался», что не помнил своих поступков. Свидетелями по лагерю (1974–1980 годы) характеризуется так: «жестокий, дерзкий, осужденным спуску не давал, его побаивались за крутой нрав». За что, по-видимому, и поплатился. По другим отзывам — «самолюбивый, ведет себя вызывающе».

После выхода из лагеря пытался трудоустроиться (обычная проблема, толкающая «бывшего» на новые преступления), ему даже дали направление на работу, но начальник ПМК «грубо и высокомерно отказал». В отместку Мадуев его ограбил, потом совершил еще несколько преступлений и снова попал в тюрьму — уже на 15 лет. Есть характеристика и из этого, второго, лагеря: «По характеру вспыльчивый, дерзкий, склонен к лидерству... Имел ряд нарушений на почве выяснения отношений с заключенными». Очевидно, дрался, и слово «дерзкий» будет потом повторяться не раз. Но есть и другие слова: «волевой, целеустремленный», «добросовестен в труде, был бригадиром», «лучший общественник», «является неофициальным и официальным лидером», «представлен на сокращение срока».

Это последнее, кто знает лагерные законы, говорит о многом. Но при этом «на путь исправления не встал», «склонен к побегу», «требует усиленной охраны». Такие характеристики, а мы их частенько читаем, обычно говорят о пристрастном отношении лагерного начальства, которое не может не сказать добрых слов о зэке, но боится неприятностей, перестраховывается, а то и просто теряется в отношениях с нестандартной, неординарной личностью, каковой, безусловно, является Мадуев.

В колонии-поселении он женился, быстро зарекомендовал себя как инициативный и добросовестный осужденный, «твердо вставший на путь исправления». Взаимопонимание в семье, по отзывам жены, было, тепло относился к ее дочери, но «больше всего любил себя и был равнодушен к деньгам. По характеру вспыльчив, но отходчив». По поводу денег можно добавить (это уже информация из дела), что грабил он обычно людей обеспеченных, предварительно с тщательностью наводил о них справки, брал только золото и денежные купюры. Но вот в опровержение легенды о богатстве его жертв

в деле приводятся и такие данные: за восемь разбойных нападений на граждан в Грозном, в Красноярском крае, Астрахани и Ростовской области ущерб, причиненный им гражданам, оценивается примерно в сорок семь тысяч. По шесть тысяч за раз, да на всех! Не густо. Можно твердо говорить, что те его жертвы были далеко не миллионеры. Но, правда, последующие одиннадцать нападений в 1989 году принесут ему и подельникам триста шестьдесят семь тысяч.

Однажды, это случилось в декабре 1988 года (менее чем через два месяца после лагеря), он был командирован за валенками в Семипалатинск. Ездил без сопровождающего и там, по его словам, встретился неожиданно с сотрудником УВД, занимавшим довольно высокий пост, который заявил, что Мадуева по амнистии выпустили неправильно (ему сократили половину срока) и что он «добьется его возвращения в колонию». Испугавшись угрозы, Мадуев совершил побег.

Из показаний жены: «После лагеря приехал, был веселый, довольный, а перед тем как скрыться, нервничал, много курил, молчал, был замкнут». Далее говорится, что Мадуев за время побега проживал в различных городах Союза, совершил около пятидесяти преступлений, в том числе тяжких. Был задержан в январе 1990 года в Ташкенте, при задержании оказал сопротивление, был ранен.

Из всего сказанного нетрудно понять, что Мадуев — человек активный, у него сильная кровь, и хоть намешано в его характере, как, впрочем, и в каждом человеке, всякогообразного, но видны в нем также черты трудолюбия и благородства, отличающие его в работе, в отношениях с родственниками, с детьми и женщинами. Судя по всему, люди, от которых зависела его судьба, не смогли или не захотели найти к нему подхода. Да и сама наша система наказаний, сохранившая худшие традиции ГУЛАГа, никогда не была озабочена судьбой человека и его исправлением.

На страницах этой книги мы видели и другие примеры, но этот — один из самых очевидных: из одаренного, хоть и заблудшего человека коллективно творят убийцу. Волка. Загоняют в угол. Возможно, подобные чувства могла испытывать и следователь Воронцова, столкнувшаяся с этим необычным делом.

Но о ней потом.

В акте медэкспертизы приведены показания Мадуева и свидетелей по поводу некоторых эпизодов, происходивших с испытуемым. Говорится о «странностях» и «необычном поведении» Мадуева. Так, в сентябре 1984 года, подстригаясь в парикмахерской, Мадуев хотел расплатиться крупной купюрой, а когда парикмахер попросила купюру помельче (но сделала это в грубой форме), он, оскорбившись, схватил ее за волосы и ударил несколько раз пистолетом по носу. Стал угрожать. Вид у мужчины, по ее словам, был какой-то сумасшедший, лицо все перекошено от злости, казалось, кроме жертвы, он ничего не видит. Сам же Мадуев отрицал факт избиения, заявил, что, несмотря на грубость, никогда в жизни не ударил бы женщину.

Похожий случай произошел и в кафе «Ориент», куда он зашел вместе с подельниками, чтобы совершить нападение и ограбить гражданку Соритц. Мадуев стал расспрашивать о ней у швейцара Лютвинского, и тот с ним разговаривал грубо, даже ударил... Но последний факт свидетели не подтверждают: Лютвинский не бил Мадуева. Мадуев же трижды выстрелил в швейцара и убил. А после прошел в кафе и, «играя пистолетом», требовал, чтобы никто не вставал с места. В машине Мадуев сказал: «Швейцар был дерзок, и я завалил его». А в суде по этому же поводу пояснил, что он «по характеру мстительный, никому не прощает оскорблений в свой адрес». Этому можно поверить.

Еще один эпизод: был на квартире вместе с двумя женщинами, Захаровой и Думачевой, стал угрожать им пистолетом и гранатой, стрелял в потолок, выдернул чеку из гранаты. А действия такие были вызваны тем, что женщины смотрели порнографический фильм, чего Мадуев не любил, и «вели себя вызывающе, оскорбительно». Реакция Мадуева, по отзывам свидетельницы, была несоразмерной: «Он был возбужден, бледный, глаза сумасшедшие». А по словам другой, Мадуев «не понимал, что делает, его состояние было необычным, его реакция — очень резкой». Но та же свидетельница подчеркивает, что Мадуев — «характерный человек в хорошем смысле этого слова, человек с большой силой воли. В его характере какая-то обидчивость, ущемленность, словно недополучил он в жизни чего-то. То есть он человек обиженной судьбы». На суде она дополнила характеристику оригинальным за-

явлением: «Мадуев странный человек. Кроме того, что он не любит смотреть порнофильмы, он еще и не употребляет алкоголь — вообще».

Действительно, в России каждый непьющий кажется немного странным. Сам Мадуев на суде заявил, что «они довели меня до нервного состояния своей пьянкой (и, как ему показалось, оскорблением в его адрес), и я уже не помнил, что было дальше. Это потому, что в детстве видел много пьянок, грязи и оскорблений. После случившегося я извинился перед женщинами».

Можно добавить и другие личностные черты, отмечаемые при обследовании Мадуева. Как отмечают специалисты, в наручниках, под стражей, был напряжен, злобен, гордовысокомерен и груб. Демонстративно отказывался отвечать на вопросы. В другой раз, уже при повторной экспертизе после нападения на стражу и попытки сбежать, «на вопросы отвечает избирательно, при обращении к нему тарацит глаза. Усиливается дрожание головы. Память и интеллект не нарушены. Без бреда и обманов чувств. Зафиксированы ссадины и припухлость мягких тканей лба и переносицы, ссадины носа и волосистой части головы. Множественные кровоподтеки и ссадины туловища и конечностей. Перелом основания черепа».

Сам Мадуев пояснил эксперту, что после выстрела в сотрудника СИЗО револьвер у него отобрали, а его самого отвели в камеру, где он лег спать. Повреждений не получал, жалоб на состояние здоровья не предъявляет. Где находится в настоящее время, не знает. Сменил ли он одежду, оказывалась ли ему медицинская помощь, не знает. Потом пояснил, что кровоподтеки и ссадины получил 3 мая 1991 года (при попытке к бегству), но при каких обстоятельствах, не знает. А что ж тут знать? Небось били тюремщики за своего раненого товарища, как могли. До беспамятства. А жаловаться... Кому? На что? И какой смысл при его-то гордости?

В апреле 1993 года, при оказании сопротивления работникам изолятора УМБР, повторно получил травмы, «характер которых достоверно неизвестен». Вот те на! И это пишут доктора наук! Со слов испытуемого, он «был избит контролерами за отказ перейти в другую камеру». Ну а если не со слов? Сами-то они могли разглядеть, пощупать, посмотреть на рентгене, что за характер у этих травм?

Однажды (в июне 1993 года) он попросил прервать допрос, сославшись на сильные головные боли. На вопрос защитника, с чем он это связывает, Мадуев ответил: «С многочисленными побоями в область головы». При медицинском обследовании у Мадуева были обнаружены «остаточные явления перенесенных в прошлом травм головы, частичное атрофирование зрительных нервов». Но что значит «в прошлом»? В прошлом году или на прошлой неделе? Разница то большая. Судя по всему, его долгое время продолжали избивать работники изолятора, контролеры. А кто контролирует их самих, этих контролеров, кого и за что они избивают? И не является ли это вообще их основным методом исправления заключенных?

При новом обследовании по решению суда (дата обследования не указана, но скорее всего, это было в 1994 году) у Мадуева отмечаются «отдаленные последствия перенесенных в 1991 и 1993 годах закрытых черепных травм в виде частичной атрофии зрительных нервов обоих глаз и функционального расстройства центральной нервной системы в виде умеренно выраженного проявления астении». Но какие же это были травмы, если и через годы видны их последствия? И с какими глазами — с закрытыми, что ли, — нашим профессионалам надо было его обследовать, чтобы в упор ничего не увидеть?

И далее, уже психологами отмечается: «...Богатая речь, склонность к замысловатым оборотам. На вопросы испытуемый практически не отвечает, продолжая монолог о своей трагической жизни, уважении к женщинам, любви к Родине и сочувствии к бедным, угнетаемым богатыми».

Тут хочу прерваться, ибо это тема новая, прежде она у Мадуева не возникала. Да и грабил он не столько богатых, как мы знаем, сколько беззащитных. Но волна газетных публикаций, а возможно, и отклики на фильм, и пронирливые журналисты, пробивавшиеся к нему любыми путями, — все это дало ему возможность сориентироваться в новых обстоятельствах и приступить к разработке новой версии, новой легенды о самом себе, подсказанной извне.

Далее в психологической экспертизе подчеркивается выраженная склонность «к самовзвинчиванию», причем

«вместо попыток урегулировать аффект в соответствии с ситуацией и принятыми нормами испытываемый с помощью привлечения неприятных воспоминаний и сознательного искажения текущей ситуации усиливает свое состояние. Привычный способ разрешения конфликта — воздействие на оппонента угрозами и силой...» Главная ценностная ориентация из монолога испытуемого: «Меня все боялись». Вышеописанные черты «способствуют проявлению агрессии даже в слабоконфликтных ситуациях. Эмоциональные реакции носят демонстративный характер. При этом жалоб не предъявляет. Держится свободно, раскованно, претенциозно. Играет, рисуется. Но ответы по существу. Речь эмоциональная, грамматически правильная, сопровождается живой, адекватной мимикой. Активен, старается «вести» беседу, переводя разговор на темы своего тяжелого детства, трагической судьбы, благородного отношения к женщинам и детям. Приводит соответствующие примеры. Чутко улавливает реакцию слушателей рассказа. С удовольствием слушает себя, временами речь приближается к монологу. Заявил, что будет еще одна стационарная экспертиза, т. к. на суде он приведет массу эпизодов, когда он «не соображал, что делал». И еще: «Активно защищается. Не отрицая совершенных общественно опасных действий, в то же время говорит, что следствие «навешивает» на него преступления, которых он не совершал: «За свое отвечу, а лишнего мне не надо». Уверен, что сумеет доказать свою непричастность ко многим инкриминируемым эпизодам. Подчеркивая положительные черты характера, оправдывает свои действия тем, что он «продукт системы», что, когда ему требовались помощь и сочувствие, «никто не помог, видел только грязь, побои и несправедливость». Хорошо осведомлен о своих правах, активно их отстаивает. При малейших «ущемлениях» выдает протестные, отказные и оппозиционные реакции. С обидой перечисляет факты несправедливости по отношению к себе. Ерничает, отпускает критические замечания в адрес администрации СИЗО: «Передайте привет начальнику» и т. д. Грубовато шутит с конвоем. Обладает хорошей наблюдательностью и умением быстро оценивать людей и обстановку и, в соответствии с этим, строить свое поведение. Умеет произвести впечатление, вызвать расположение,

сочувствие к себе. Хорошо выдерживает роль «крутого, но справедливого», не терпящего любых проявлений хамства. Заявляет, что «бедных никогда не обижал, грабил богатых». Отнимая у них часть, полагал, что наживут еще...»

Существует и любопытная характеристика, подписанная начальником следственного изолятора, которому наш испытуемый так игриво передавал привет и которого, по видимому, допек:

«Из материалов личного дела Мадуева С.А. усматривается, что администрация следственных изоляторов, где в разное время он содержался, характеризует его как исключительно дерзкого, агрессивного, озлобленного и жестокого преступника, обладающего большой физической силой, в совершенстве владеющего приемами восточных единоборств, готового при малейшей возможности совершить нападение на охрану, захватить заложников, совершить побег. В то же время Мадуев С.А. умен, хитер, умеет расположить к себе окружающих и использовать их в своих целях.

Так, 21 июня 1990 года в следственном изоляторе УВД г. Астрахани у Мадуева был изъят кусок металлической арматуры длиной 350 мм, диаметром 16 мм, один конец заострен на длину 30 мм. 15 октября 1990 года в следственном изоляторе № 2 ГУВД Москвы у Мадуева С.А. изъяты веревки из простыни и удавки. За хранение запрещенных предметов арестованный водворен в карцер на 3 суток. 3 мая 1991 года Мадуев предпринял попытку побега с использованием огнестрельного оружия из следственного изолятора № 1 ГУВД Ленинграда, тяжело ранив при этом сотрудника изолятора. Арестованный водворен в карцер на 10 суток (вот где его избивали-то, травмировав и тело и голову!). Лицо, передавшее оружие, следствием выявлено и осуждено приговором суда. Мадуев С.А. по этому эпизоду осужден приговором Санкт-Петербургского городского суда от 6 июля 1995 года».

Это последнее звучит замечательно, если учесть, что «вышку» он уже получил, а другого, чего-нибудь пострашней, у нас еще не придумали.

«В июле 1991 года в следственном изоляторе КГБ по Ленинградской области Мадуев С.А. изготовил из хлеба точный макет пистолета «браунинг» и раскрасил его пастой

из стержня шариковой ручки. Макет пистолета, который мог быть использован для психологического воздействия на охрану, обнаружен и изъят во время контрольного обыска в камере. 26 сентября 1994 года ночью Мадуев С.А. предпринял попытку побега из следственного изолятора № 1 ГУВД Санкт-Петербурга, имея при себе пистолет «ТТ» с боевыми патронами, действия арестованного были обнаружены и пресечены дежурной сменой изолятора, не допустившей прорыва Мадуева С.А. из режимного помещения, пистолет изъят, спецсредства и оружие не применялись. По факту возбуждено уголовное дело. Лица, передавшие оружие, следствием выявлены, арестованы, дело передано в суд».

Ну, хорошо, там, в первый раз, передала влюбившаяся, как писали, женщина-следователь, а теперь кто же? Тайна? Чтобы вторую серию фильма не сняли?

«В отношениях с сокамерниками старается занять лидирующее положение, подчинить их себе, угрожает, не останавливается перед применением физической силы». Далее описано, как он избил сокамерника, а от другого, тоже матерого преступника, требовал достать через адвоката колющие и режущие предметы, угрожая в противном случае взять его в заложники. И, как заключение, слова о том, что Мадуев С.А. «не имеет установки на прекращение своей преступной деятельности и для достижения своих противоправных целей готов идти на новые тяжкие преступления, представляет повышенную общественную опасность».

Кстати, эта характеристика, подписанная начальником «Крестов» Старковым, была нам спущена сверху, из МВД, от генерала Орлова, бывшего замначальника ГУИНа (Главное управление исполнения наказаний), с убедительной просьбой к Комиссии «взвесить и оценить возможность рассмотрения ходатайства Мадуева о помиловании на Комиссии как можно скорее и желательно радикально (он — бандит)». «Радикально» — это, понятно, расстрелять. А приписка «бандит» — для большей основательности доводов тюремщиков.

Давление на Комиссию было настолько сильным, что лишь при вторичном рассмотрении, в июне 1996 года, Комиссия, как выражаются, «проявила характер» и приняла категорическое решение не рассматривать это дело, отказалась подписывать какие-либо документы. Наверх пошла

очередная кляуза, называемая «докладной запиской», об отказе Комиссии рассматривать дело Мадуева.

Конечно, вышепоименованный товарищ Шкаф мог и самодеятельно, как это не раз делал, положить на стол Президента решение о расстреле Мадуева, но, видимо, не решился. Уж очень оно было заметное, чтобы проскользнуть мимо печати, а значит, всплыла бы наружу и наша позиция. Решение товарища Шкафа гласило: «До выборов Президента РФ к делу Мадуева не возвращаться». Выборы прошли, но сменилось начальство, и в МВД и у нас, и к делу уже не возвращались вовсе. Хотя до нас доходили слухи о проблемах с Мадуевым, которых по-прежнему хватает. Но и без того удивительно, как один человек в условиях камеры смертников, усиленной охраны и отсутствия какого-либо общественного контроля за соблюдением законности может наводить панику на всю систему ГУИНа, держать их в напряжении и страхе.

Процитирую из упомянутой в начале главы статьи еще несколько фраз, дополняющих «образ» Мадуева: «Конвоирование Мадуева из следственного изолятора «Кресты» в городской суд напоминало подготовку к захвату огромной бандитской группировки — омоновцы на входе, на выходе, на всех этажах четырехэтажного здания. Журналистов и киношников запрятали в одном из помещений, плотно закрыли дверь, а снаружи выставили омоновца — в целях, как пояснили, их безопасности. Проход в судебный зал — через тщательный контроль тех же омоновцев, вооруженных автоматами и магнитоискателем. Тот, чьих непредвиденных действий даже в такой ситуации боятся конвоиры (и, надо сказать, имеют на это основания), кто вызывает столь повышенный интерес пишущей и не пишущей братии, держится уверенно и независимо. Сорокалетний Мадуев выглядит гораздо моложе своих лет. В другой обстановке можно было бы сказать, что одет он изысканно: трудно представить, что находясь в тюремных стенах, можно быть столь тщательно выбритым, иметь выглаженный джинсовый костюм и начищенные ботинки. Все становится понятным, если учесть, что Мадуев хочет произвести впечатление, приковать внимание к своей особе, стать хозяином положения. Удивительно, —

воскликает корреспондент, — но, даже находясь во время процесса в зарешеченной клетке, он умеет взять в свои руки незримые бразды правления, психологические нити, тянущиеся к залу. Временами создается впечатление, что не его, Мадуева, судят и не ему читают сегодня приговор, а, наоборот, он вершит свой суд над теми, кто здесь собрался. Кому бы еще позволили не только перебивать судью, задавать бесконечные вопросы, но и вступать в открытую полемику, комментировать услышанное?»

Правда, в финале, на третий день заседания суда, подсудимый прервал свои записи в блокноте и закрыл лицо руками: «Хватит, прервитесь, ничего не понимаю...» Но и это, полагаю, лишь жест, рассчитанный скорее на публику и на корреспондентов. Его прошение о помиловании доказывает обратное. Он все понимал.

Обращаясь непосредственно к нам, Мадуев пишет, что никогда не совершал убийств с заранее обдуманном умыслом, а лишь в состоянии аффекта. Во время ограбления, утверждает он, никогда не переступал грани жестокости, не оскорблял потерпевших, неоднократно отвозил лично в больницу тех из них, кому становилось плохо на момент ограбления, рискуя при этом быть пойманным. Образ доброго разбойничка, защитника бедняков, эдакого Деточкина из «Берегись автомобиля», а то и Дубровского, уже созрел и почти отшлифован, хотя автор прошения сильно перебарщивает: ну кому, скажите на милость, на момент ограбления, когда угрожают твоей жизни, бывает «не плохо»?

«Во многих случаях, — пишет он, — по просьбе потерпевших возвращал часть награбленного, что по временам составляло значительные суммы денег». Но, конечно, нигде в деле, состоящем из сотни томов, нет ни единого упоминания о возвращенных кому-то деньгах или о больнице, куда разбойник якобы доставлял своих жертв. И далее, разделяя страну на государство бывшее, с тоталитарным режимом, и Россию новую, возрождающуюся, он заявляет, что первая ничего не сделала для него и не защитила его в детстве, он был изгоем. «Но у меня есть и были обязательства перед Родиной, на просторах которой я родился и вырос, непопослушным, но любящим ее гражданином».

И вот о том, что касается нашего решения: «Если Вы найдете возможность заменить мне настоящий приговор длительным сроком заключения, не прибегая к пожизненному заключению (пожизненное он отвергает как лишаящее приговоренного всякой надежды, хоронящее его заживо), у Вас будет время убедиться, что проявленное Вами милосердие никогда не вызовет у Вас в будущем чувства сожаления, ибо никогда больше и ни при каких обстоятельствах я не встану на путь преступления. Дайте мне шанс и возможность доказать искренность своего раскаяния и желания искупить свою вину», — заканчивает он.

В том, что смертная казнь будет ему чем-то заменена, он, по-видимому, не сомневался и не догадывался при всей своей легендарной интуиции, что висела его жизнь на волоске в те два роковых дня наших заседаний и во время последующего скандала. Да если бы в те наши непростые годы смертные казни возобновились, он бы пошел на эшафот первым. Но, как говорил булгаковский Воланд, перерезать волосок может лишь тот, кто его подвесил... Наверное, Он и решил в последний момент, быть или не быть этому человеку. А наше решение о помиловании произошло лишь в начале 1999 года.

Замечу еще, что прошение у нашего богато одаренного и начитанного смертника почти стандартное, малоинтересное. И я не нашел среди множества покаянных слов упоминания о человеке, который заплатил за сочувствие к Мадугеу своей свободой, карьерой, жизнью.

Я говорю про следователя Воронцову.

Воронцова Наталья Леонидовна, 1955 года рождения, русская, имеет высшее юридическое образование, работала следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР.

Далее из дела: «Являясь должностным лицом, действуя из личной заинтересованности, совершила злоупотребление властью, то есть умышленное использование служебного положения вопреки интересам службы, что привело к тяжким последствиям, выразившимся в организации побега заключенного из-под стражи, предоставлению ему орудия преступления и средств для совершения побега...» Далее говорится, что, «работая следователем по особо важным делам в составе следственной группы по расследованию дела № 18/8229-90 в

отношении Мадуева С.А. и других, изменив своему служебному долгу, из личных симпатий к обвиняемому Мадуеву С.А., с целью осуществления его побега из-под стражи похитила 26 апреля 1991 года из сейфа револьвер системы «наган» № 31943, проходящий в качестве вещественного доказательства, и скрытно пронесла его в следственный изолятор, где в кабинете следователя передала его вместе с 16 боевыми патронами и очками для изменения внешности Мадуеву, договорившись одновременно, что после совершения побега он вернет ей револьвер.

3 мая 1991 года, около 9 часов утра, доставленный в сборное отделение изолятора для этапирования в Москву, в момент передачи войсковому конвою Мадуев с целью облегчения побега применил переданный ему револьвер и, покушаясь на убийство, выстрелил в живот сотруднику изолятора майору внутренней службы Егорову М.И., причинив пулевое ранение живота с повреждением тонкого и толстого кишечника, признанными экспертами тяжким телесным повреждением, опасным для жизни; дважды выстрелил в преследовавших его сотрудников изолятора Орлова А.Г. и Коростелева А.И., но промахнулся. Преступление не было доведено до конца по причинам, независимым от воли Мадуева, поскольку он был обезоружен, а его побег предотвращен...»

Ну и далее об уроне, о моральном вреде, нанесенном Воронцовой Н.А. правоохранительным органам, и об их дискредитации.

Ниже воспроизводятся события, которые имеют уже непосредственное отношение к самой Воронцовой и к тому, что она переживала. Руководителем группы был, как указано, старший следователь Прошкин Л.Г., а следователи работали по подгруппам, в регионах. Воронцова, выезжая в помощь членам подгрупп, пришла к выводу, что некоторые эпизоды, инкриминируемые Мадуеву, не находят своего подтверждения, то есть он их не совершал. Воронцова часто спорила с Прошкиным и с другими членами группы, и к январю — февралю 1991 года она пришла к убеждению, что Мадуева могут расстрелять за те преступления, которых он не совершал или его вина в которых не доказана.

«У нас, — говорила она, — возникло чувство жалости и страха за Мадуева от того, что следственная группа не разо-

бралась в нем». Правда, не совсем понятно, кого она имеет в виду, говоря «у нас».

В марте она приехала в Ленинград для производства следственных действий и попыталась объяснить Мадуеву, что одна она не в силах доказать невиновность его в убийствах в Ташкенте и в Ростове и что ему нужно внимательно ознакомиться с делом, чтобы все противоречия изложить на суде в надежде на объективное его рассмотрение. Но Мадуев твердил, что это не поможет, какая уж там объективность, и что расстрел для него неминуем. Далее идет фраза, над которой я долго размышлял, записав. Звучит она так: «Мадуев видел ее равнодушное отношение к нему и к расследованию дела. И попросил принести ему оружие для осуществления побега». Но о каком равнодушии идет речь? О личных чувствах, о которых столько понаговорено, или это чисто служебное равнодушие, то есть попытка честно подойти к своему делу, ибо речь идет о жизни и смерти человека, который в чем-то, может быть, и не виноват?

Вначале она ответила отказом. Он стал уговаривать, утверждая, что не сделает ни одного выстрела в человека ни при каких обстоятельствах. Он посоветовал вызвать сестру Людмилу и переговорить с ней об оружии. Но с Людмилой встреча по каким-то причинам не состоялась, и он стал при встречах со следователем Воронцовой угрожать ей самоубийством.

Дальше события развивались так. Тридцать пятый том дела Мадуева, необходимый для работы, находился в сейфе, и заболевший следователь Рябинин передал ей от него ключи. В сейфе же хранились и вещественные доказательства, имеющие отношение к Мадуеву. Воронцова вскрыла сейф и в верхнем отсеке увидела документы, часы, золотые изделия (интересно, то ли это золото, что он наградил?). В нижнем отсеке лежала коробка в оберточной бумаге без пояснительных надписей. Она потрясла коробку, поняла, что там металл, вскрыла ее и увидела револьвер, гранату, стреляные патроны — все это было изъято у Мадуева по ходу следствия. Она решила показать ему его оружие: револьвер и газовый пистолет, поскольку он все время убеждал ее, что уйдет без выстрелов, а оружие ему необходимо для самоуспокоения.

Звучит, конечно же, неубедительно даже для моего непрофессионального слуха. Но женщина могла слушать

иначе, она слышала то, что хотела слышать. И вот ее собственные доводы: «Она рассчитывала, что он понимает, что она жертвует собой в данной ситуации и что после побега он вернет ей оружие». Значит, она понимала, что жертвует всем (всем!), и была уверена, что он это тоже так понимает.

27 апреля она принесла Мадуеву в камеру оружие.

Тот был как бы шокирован ее поступком (это ее выражение), не хотел сначала брать револьвер, в течение часа раздумывал, как ему поступить. По ее мнению, в нем боролись два чувства: сильное желание взять оружие, но и страх — за нее. Решившись, он сказал, что ему не помешали бы хотя бы два патрона, пусть холостые, шумовые, для отпугивания собак. Тогда она предложила взять ее в заложницы, но он отказался, считая, что побег удастся без жертв. О том, как это будет происходить и что он спланировал, он ей не говорил. А может, до поры не знал и сам.

28 апреля Воронцова позвонила своему знакомому и соврала, что у нее пропали патроны, проходящие как вещественное доказательство, и что за это ее могут наказать. Приятель принес ей несколько патронов, дома она их примерила: два из них входили в ячейку барабана. Но поскольку они были пустые (так написано в деле), она еще более убедилась, что ими никакого вреда причинить нельзя. 29 апреля она пришла в изолятор и, когда они остались на пять минут вдвоем, успела передать Мадуеву револьвер и высыпать в руку патроны. А выйдя из изолятора, поехала в прокуратуру, где взяла из сейфа 35-й том дела и коробку, в которой хранилось оружие.

Встреча с Мадуевым была назначена в гостинице «Турист» в Москве.

Тут не совсем ясно, почему оружие, которое она приносила еще 27-го числа и на которое он, поколебавшись, согласился — хотя, если честно, не совсем я верю в его колебания, он же прирожденный артист и психолог! — так вот, зачем понадобилось его уносить, если она вернула его снова на следующий же день? Ведь каждый такой пронос грозил разоблачением. Или без пистолета нельзя было подобрать патроны?

И почему два патрона, если по делу о побеге проходит 16 боевых, а не пустых патронов? Да и передавала она, судя по материалам суда, все это в своем кабинете, а вовсе не в

камере! Но главное тут другое. Оружие было, и патроны были, но еще было и место встречи, и она там его ждала. Вот тут хотелось бы домыслить, ибо никаких доказательств нет, что встреча эта (тайная!) назначалась не ради возврата оружия, а ради самой встречи. При этом она не могла не понимать, что будут теперь оба они находиться в розыске. И еще я задаю себе вопрос: случись все, как было ими замыслено, явился бы Мадуев к месту встречи? Да и нужна ли была ему эта встреча? Полагаю и даже уверен: нет, никогда. Да и зачем ему возвращать оружие, тем более нарушив данное ей обещание ни в кого не стрелять? Оружие употреблено и вне тюрьмы может быть употреблено снова. К тому же оно проходило баллистическую экспертизу по эпизоду убийства Мадуевым человека, а значит, могло свидетельствовать опять против Мадуева в случае его поимки.

Но она-то всерьез его ждала. И это — главное доказательство серьезности ее чувств.

Леди Макбет? Но то когда было! А это вот сегодня, сейчас. И поскольку к первому мая (так было назначено) он не появился на месте, она, промучившись еще два дня, решила позвонить в Ленинград как бы по служебному вопросу и от жены сотрудника узнала, что в изоляторе произошло ЧП. Что там произошло, по телефону, понятно, ей сказать не могли. В 17 часов она вылетела в Ленинград.

Обратите внимание, события развиваются, как в шекспировской трагедии, и героиня сама дает хронологию по часам, настолько все было отсчитано и рассчитано. И пережито.

Воронцова, как она пишет, хотела сама признать свою вину, но грубое обращение с ней работников СИЗО, ГУВД и прокуратуры что-то в ней надломило, и она долго не могла, да и не хотела давать признательных показаний. Что означает слово «грубое» — мы уже знаем. Да, она считает, что действительно совершила предательство «по существу интересов службы». Но она хотела спасти Мадуева, по ее выражению, «неправильными методами». Никаких интимных отношений у нее, по ее словам, с Мадуевым не было, их она категорически отрицает, и вообще никаких льгот по содержанию, которые ей приписывают, Воронцова ему не предоставляла: не было ни телевизора в камере, ни домашнего питания, ни стирки брюк...

Что касается фотографий Мадуева, найденных у нее дома в кармане рубашки (а не в бюстгальтере, как написано в обвинительном заключении), то они, по ее признанию, находились там наравне с другими фотографиями обвиняемых и не могут свидетельствовать о ее симпатиях к Мадуеву.

Вот уж сомневаюсь, что фотографии других обвиняемых она также носила с собой на память (в рубашке ли, в бюстгальтере, неважно) или хранила дома. Но ее категоричность по поводу интимных отношений лишь свидетельствует о серьезности чувства, к которому она никого не хотела допускать. И правильно делала. Интимных же отношений в общепринятом смысле могло и вправду не быть. Разве дело в них?

Есть по этому «эпизоду» и показания Мадуева.

Он рассказывает, что в конце октября 1990 года понял, что Воронцова проявляет к нему интерес: она увидела в нем человека, а не бандита, и старалась разобраться в существовании тех преступлений, которые он не совершал. Она понимала, что его ждет расстрел, и признавалась, что не переживет этого...

Редкое признание для следователя такого масштаба, если не учитывать, что перед нами женщина. Хотя в истории криминалистики известны случаи — за рубежом, — когда при расследовании инспекторы полиции меняли свое мнение о преступнике, ими же пойманном, а не добившись справедливого решения суда, уходили с работы, бросали карьеру. Это же не раз отыграно в американских и французских фильмах. Но для нашей российской практики этот случай, пожалуй, единственный и уникальный. После этого можно поверить, что есть еще «женщины в русских селеньях», которые «коня на скаку остановят».

Но послушаем Мадуева. На ее реплику о том, что она не переживет расстрела, он попросил ее — это было в марте девяносто первого года — достать для него оружие. При этом смог убедить ее, что «уйдет без крови». В двадцатых числах апреля Воронцова принесла ему газовый пистолет, но он не взял его, а попросил принести «родной» наган и патроны к нему, что она и сделала. Нетрудно заметить, что это не совсем похоже на ее рассказ, где она натывается на его оружие как бы случайно, отыскивая в сейфе том № 35 уголовного дела. Она точно знала, где лежит наган, и после просьбы

Мадуева забрала его из сейфа и принесла ему. Руководитель следственной группы Прошкин также свидетельствует, что в сейфе хранился пистолет, запрошенный из Ташкента для баллистической экспертизы по эпизоду убийства Фролова в 1989 году, два глушителя, пистолет «ТТ», два газовых пистолета. Все это хранилось в коробке из-под обуви в кабинете № 89 прокуратуры, и доступ к сейфу имели все следователи, в том числе и Воронцова. По окончании работы ключи от сейфа прятали в обусловленном месте.

Дальнейшее по описанию Мадуева выглядело так: когда их повели в «сборное» отделение, он достал оружие и произвел выстрел вверх, после чего наставил оружие на Афанасьева и приказал ему открыть дверь или отдать ключи. К нему направился Егоров, Мадуев выстрелил в него и увидел, как Егоров оседает. Он сделал попытку выйти на улицу, но разглядел двух охранников с оружием, бегущих к ним, отпустил Афанасьева, забежал в коридор и выстрелил еще раз, но после первой же команды бросить оружие сдался.

По-видимому, отвечая на те же вопросы, что и Воронцова, в том числе и об их отношениях, Мадуев также заявил, что в интимные отношения с Воронцовой в Москве не вступал, особой ласки они друг к другу не проявляли, но он считает себя виноватым в том, что Воронцова ради него пошла на должностное преступление. Ну что ж, если не в прощении, то хотя бы на допросе он свою вину перед этой женщиной осознал. Правда, и тут он обходит стороной тот факт, что не сдержал своего обещания «уйти без крови» и тем самым усугубил ее вину.

Один из сотрудников, который участвовал в расследовании дела Мадуева, Гончаров, рассказывает, что Воронцовой нравилось внимание Мадуева и она часто употребляла выражения типа «мой Сереженька». Однажды на допрос она явилась в красивом платье и как бы в шутку объявила: «Если кто меня за это осудит, Сереженька ему покажет!»

Теперь о побеге Мадуева. Он тоже видится всем по-разному: смотря кто рассказывает.

Пострадавший Егоров так описывает происшедшее: «Из 29-й камеры заключенного Мадуева после того как он оделся, передали воинскому конвою для производства обыска,

вдруг я услышал выстрел и, обернувшись, увидел у Мадуева оружие. Все вошли в шок...» А после того как Мадуев выстрелил в него, «почувствовал слабость и услышал звон ключей, прокатившихся по полу, потом звон разбитого окна и опять выстрелы».

Еще один свидетель (Калиниченко О.В.) дает более развернутую картину происходящего, а также сообщает некоторые подробности взаимоотношений Мадуева и Воронцовой. К примеру, он говорит — к вопросу о привилегиях! — что месяца за полтора до этапирования Мадуеву в камеру поставили телевизор. Свидетельствует, что дважды наблюдал Воронцову в истерическом состоянии после встреч с Мадуевым. Рассказывает, что в день побега, когда стали выводить Мадуева, тот «проявил удивление, почему это происходит утром, а не вечером, попросился в туалет, но ему отказали. Охраны было восемь человек, его провели в «сборное» отделение, где Орлов подтвердил по документам личность Мадуева и передал его воинскому конвою. Конвой отошел к досмотровому столу, где Мадуев снова попросился в туалет, но ему опять отказали. Мадуев бросил на стол куртку, ее стали осматривать, в это время он извлек откуда-то оружие, закричал: «Стоять! Всем к стенке!» — и выстрелил в воздух. Конвой побежал (куда? — А. П.), меня сбили с ног, я упал, раздался второй выстрел, и я увидел, как Егоров схватился за живот. Мадуев взял Афанасьева в заложники и попытался выйти через двери, откуда обычно выводят этап, но вернулся... В это время Орлову с улицы, через окно, передали автомат, и он стал преследовать Мадуева, который вновь попытался выйти во двор, но не смог открыть дверь. Мадуев стал отстреливаться от Орлова и, когда его револьвер дал осечку, бросил оружие и сдался наряду».

Из этого достаточно достоверного описания можно понять, что после того как «вошли в шок», наступила паника и конвой бежал. Самого свидетельствующего даже сбили с ног. И был, оказывается, заложник, и был автомат, переданный через окно. И только осечка у Мадуева прекратила этот неравный бой.

Очевидно, Воронцовой было сказано во время следствия, что Мадуев желал бы с ней встретиться и переговорить.

Это еще один пункт необычных, скажем так, отношений.

Я не имею в виду отношения интимные, я говорю о драматургии глубоких человеческих отношений, скрытых от наших глаз, о которой можно лишь догадываться по мельчайшим движениям души двух этих людей. Оба теперь под стражей.

Вначале, как написано, она отказывалась от встречи, потом заявила, что если ему сохранят жизнь, она готова встречаться. И они встретились. И вот какая поразительная приписка: «Встреча продолжалась 2 часа, велась видеозапись, которая подтвердила, что Воронцова находилась с Мадуевым в неделовых отношениях». Можно лишь догадываться, что могло быть на той видеозаписи. Наверное, искренняя, исполненная человеческих чувств встреча. А какой же еще она могла быть, кроме как «неделовой»?! Понятно, что оба наших героя не просто догадывались, а точно знали, что их снимают, и если при этом вели себя достойно и свободно, наплевав на следящих, значит, оказались на уровне. Да и что им было терять?

И еще про ту видеозапись. Всякого рода скрытую съемку я категорически осуждаю, пусть будет она на совести наших спецорганов, но фильм этот, на два часа, поскольку он уже снят, стоит многого. В нем есть много большее, чем все, что будут снимать об этих героях в художественном кино или писать в книгах. И в моей тоже.

Из документов, поданных на прошение Воронцовой Натальей Леонидовной, я узнал, что работает она в лагере библиотекарем, все силы, как она пишет, отдает общественной деятельности. «Не все гладко в моей судьбе, — добавляет она. — И вот еще здоровье родителей, которые на Украине...» И далее пишет о своих болезнях, в том числе и о кесаревом сечении, закончившемся гибелью ребенка, о шести других операциях. О больных почках. В продолжение темы Мадуева она поясняет, что «за полтора года расследования поняла, что следствие по делу велось необъективно, в конечном итоге обвиняемому были завышены квалификации по многим эпизодам, в вину Мадуеву были вменены некоторые эпизоды, которые не имеют достаточных доказательств его участия в совершении преступлений. Я во время следствия пыталась разобраться в его судьбе и в том, что он совершил. Поскольку мне как следователю приходилось работать с Мадуевым

чаще, чем другим из группы, то между нами установился определенный психологический контакт, который в дальнейшем перерос в некоторые симпатии. Дело в том, что Мадуев с очень сложной и трудной судьбой...»

Далее она повествует о его нелегкой жизни, о мотивах своего поступка во спасение Мадуева от неминуемой смертной казни (окончательное обвинение инкриминировало ему более 60 преступлений) и о том, что она верила, да и он сам поклялся, что не будет стрелять из нагана ни при каких условиях. О самой трагической развязке побега и о стрельбе Воронцова не пишет, будто ничего и не было. Но надо отдать должное, она и здесь, в прошении, касаемом ее судьбы, пытается хоть косвенно защитить Мадуева. О себе она говорит так: «Конечно, можно посчитать меня сумасшедшей (сначала совершила дикое преступление, а теперь хочет помилования!), я понимаю, что мной совершено преступление из ряда вон выходящее, но нельзя ли к моей судьбе подойти индивидуально, с пониманием ситуации и с критическим подходом к моей личности?! Практически никто из свидетелей не может дать объяснения моим действиям, считая их проявлением личных симпатий к преступнику, которого они считают неординарным. Некоторые свидетели считают меня не совсем психически нормальной, т. к. мои действия — это самоубийство. Да, конечно, оценивая теперь свои действия, я и сама не могу точно сказать, была ли я в тот момент нормальной, потому что, если просчитать все «за» и «против», можно было с уверенностью сказать, что побег не удастся, а оружие, переданное Мадуеву, обязательно выведет следствие на меня. Но я психологически здорова, просто думаю, что в тот момент меня «заклинило» (простите за выражение) на том, что Мадуева могут расстрелять или он покончит с собой... Некоторые наши сотрудники, знавшие Мадуева, судя по их показаниям, считают, что он обладает способностью внушения. Может быть, и так. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, но поверьте, преступление было совершено спонтанно, с учетом сложившейся ситуации... Возможно, Вас удивит, что я обращаюсь с просьбой о смягчении наказания, но дело получило огласку в печати, на телевидении, в кино, и судебные инстанции, на мой взгляд, только из-за этого не идут на изменение принятого районным судом решения».

Язык, которым написано прошение, к сожалению, сухой, чисто канцелярский, неживой какой-то, и мало, наверное, отражает саму Воронцову, как я ее представляю. Но ниже приведены стихи, и это тоже «прошение», выраженное в поэтической форме. Я не думаю, что Наталья Леонидовна хотела нас удивить или потрясти стихами. По-видимому, слом, произошедший с ней, возвращение к трагическим событиям требовали осмысления в любой форме. Именно это она и делает. В стихах.

Приведу на выбор несколько строф:

*Наконец уже треть настала
Срока наказанья моего.
Может, я совсем другою стала?
Но прошу у Вас я одного:
Чтобы Вы прочли мое прошение,
Чтоб помиловали Вы меня.
Я у всех, у всех прошу прощенья,
За то зло, что причинила я.
О случившемся со мной несчастье
Из газет известно всем давно,
О любви, прошедшем мимо счастье
Показали по ТВ, в кино...
Страшно вспомнить мне тот свой поступок,
Страшно: человек погибнуть мог,
(поправлено: тот майор погибнуть мог. — А. П.)
Я молюсь, чтоб Бог вернул здоровье,
И ему дал силы, и помог.
Но хочу Вам объяснить причины
В двух словах, как все произошло.
Как же занесло меня в пучину?!
Что же на меня тогда нашло?!*

В том же духе далее идет рассказ о расследовании дела, в котором

*Не буду верить я побасням,
Истину пришла искать,
Потому что за все годы
Не желала судьбами играть.
И когда я поняла, что в жизни*

*Счастья и любви он не имел
 (это про Мадуюва. — А. П.),
 Предложила я за жизнь бороться...*

*.....
 Видимо, таков уж мой удел!
 А ведь суть была страшнее дела:
 Человека можно расстрелять...*

*.....
 Но пришел тот день и миг злосчастный;
 Предъявила обвинение ему,
 И глаза все видели: несчастье
 Постучалось к нам. Ко мне, к нему...*

В этих строчках, нечаянно или нет, как бы мельком автор сливает две судьбы в одну: ибо несчастье получается у них общее. А это говорит о многом. И далее о сомнениях, о чувствах, где

*Разум говорил: «Зачем все это?»
 Сердце клокотало: «Все ж спасти!»*

Потом, по-видимому, момент, когда она передавала оружие:

*Накануне был он как в угаре,
 Никогда не видела таким,
 Мне казалось, что его ударит
 Паралич. Что будет с ним?!*

И вот главное, как стон, как песня, произнесенное истинно по-бабьи:

*Ничего сказать я не успела,
 С грузом в сердце вышла от него,
 Мысли после этого засели,
 Что в живых не будет уж его...*

Ей-богу, хоть никакая тут поэзия вроде бы и не присутствует, но верность передачи и точность чувствования безусловные. Можно было даже не читать прозаического прошения, здесь много точней. Там был язык служебного

человека, а тут пишет глубоко переживающая женщина. Я мог лишь догадываться об избиении Мадуева в карцере, но вот свидетельство из первых рук:

*А четвертого меня «позвали» снова
Посмотреть, что сделалось вдруг с ним,
Кусок мяса!.. Больше нету слова.
Сердце оборвалось. Стон в груди.*

Еще строки о родных, которые, «узнав о преступление, в ужасе и горести живут», о коротких свиданьях, письмах, ибо «для меня вся жизнь остановилась».

И снова слова покаяния, которым не верить нельзя:

*Я раскаялась, поверьте, ЛЮДИ!
От души пишу слова свои,
Я прошу ВАС: будьте милосердны!
Вы простите за грехи мои.*

В Администрации, как известно, стихов не признают. Да, пожалуй, и не читают. А дело Воронцовой складывалось так, что я узнал о нем лишь из печати. Отдел глухо на этот счет молчал. Несмотря на многие мои просьбы, Администрация и, подозреваю, работники прокуратуры и МВД вовсю тормозили процесс подачи нужных бумаг, приложил к этому руку, к сожалению, и наш Вергилий Петрович, испытывавший, как я понимаю, в свою очередь давление сверху. И лишь недавно, когда — в который раз! — по моему настоянию дело подготовили, выяснилось, что Воронцова уже на свободе.

Видимо, тот самый районный суд свое решение изменил.

ФИЛИПП МОРИС (ФРАНЦУЗСКИЙ ВАРИАНТ)

Эту историю я взял из газеты, ее рассказал парижский корреспондент Максим Чикин. А интересна она тем, что во многом повторяет наш «тюремный роман», разве что последствия несколько отличаются.

У Филиппа, как и у Мадуева, было трудное детство, разведенная семья и дурное влияние старшего брата. Сперва Филипп крал, подделывал чеки, а из тюрьмы, где он за это отбывал наказание, отпущенный в отпуск, бежал. Через несколько месяцев в подземном гараже устроил перестрелку и убил охранника. Вскоре при проверке документов убил двух полицейских и был осужден к смертной казни на гильотине. Осужден последним из приговоренных, потому что вскоре смертная казнь во Франции была запрещена.

У нас, как вы помните, Мадуев мог стать последним из тех, кого должны были казнить. Через четыре месяца адвокат — тоже, кстати, женщина — пронесла ему тайно в тюрьму пистолет, и Морис совершил попытку к бегству, ранив охранника, но был схвачен и снова посажен. Нам не известны ни мотивы поведения адвоката, ни ее дальнейшая судьба. Но поскольку о ней в этой истории нет никаких сведений, полагаю, что ее не постигла судьба Натальи Воронцовой, — скорее всего, ее не избивали и не сажали на семь лет. Филиппу же повезло — подоспело помилование. От смерти французского бандита спас президент Миттеран, заменивший ему смертную казнь пожизненным лишением свободы.

Мадуева, тоже от имени Ельцина, пока что спасаем мы.

До сих пор истории, как вы заметили, совпадают. Далее дороги наших подопечных расходятся. Французский преступник, чтобы, по его словам, не сойти с ума, засел за мудреные книжки. Он сдал заочные экзамены в институт, на исторический факультет, выписал массу литературы, и раз в году к нему в камеру приходят преподаватели принимать экзамены. После волнений в тюрьме, в которых он оказался замешан, его перевели в другую тюрьму, но удачно, потому что в том, другом, городе университетская библиотека оказалась богаче. Он закончил исторический факультет и углубился в средневековые исследования, познакомился с манускриптами предков по микро пленкам, для чего выучил попутно латынь. В 1993 году тридцатидевятилетний заключенный (у них с Мадуевым даже возраст совпадает!) предстал перед ученым советом университета города Тур с докторской диссертацией. Перед защитой, почти как у нас перед судом Мадуева, полиция изучила план университета со всеми ходами, подвалами и черными лестницами, все это

было под строжайшей охраной. Защита прошла успешно, и новоиспеченный доктор после соответствующих торжеств был усажен в машину с надписью «полиция» и доставлен в тюрьму.

Мне повезло побывать в городе Туре, хотя и по другому поводу, видел я и французские тюрьмы. Они не так уж комфортабельны, да и режим в них хоть и не российский, но вполне жесткий. Французы своих заключенных по головкам не гладят. И все-таки эта история дает нам возможность еще раз сравнить ситуации и понять, насколько мы далеки от цивилизации. А ведь такая одаренная личность, как Мадуев, вполне могла бы использовать свой богатый потенциал не для изобретения способов побега (ибо больше ему ничего и не остается), а для изучения языков, истории, литературы.

Тогда бы у тюремного начальства пропала головная боль и страхи за свою и за чужую жизнь. Но впрочем, это все, как видно, не про нас...

В конце двухтысячного года в газетах промелькнуло сообщение о смерти Мадуева. Одна из статей называлась так: «Сергей Мадуев отбыл пожизненное заключение».

И далее: «В Соль-Илецкой колонии умер криминальный «авторитет» Сергей Мадуев (Червонец). Всероссийскую известность ему принес фильм «Тюремный роман»... Сергей Мадуев скончался во сне. Ранним утром трое его соседей по камере для осужденных на пожизненное заключение были подняты охраной — в это время по распорядку дня у заключенных начиналась уборка. Заключенный Мадуев с нар не поднялся, однако его сокамерников это не насторожило: два последних месяца он находился на постельном режиме из-за сахарного диабета и острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако в половине седьмого «авторитета» решили потревожить — близилось время завтрака. Тут-то и выяснилось, что Сергей Мадуев мертв. Кажется, сама судьба определила, что Сергей Мадуев будет уголовником...»

И далее приведена краткая биография Мадуева, заканчивается она так: «Материалы Червонца заняли 85 томов... Из-за моратория на смертную казнь расстрел заменили на пожизненное наказание. Последнее время Мадуев содержался в Новочеркасске и спецотделе питерских «Крестов». Уже

тогда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. 1 ноября Червонца этапировали в Соль-Илецк (Оренбургская область), где недавно была создана специальная колония для осужденных на пожизненное заключение. Здесь Червонец мог пойти на поправку: колония находится в курортной зоне. Здесь имеются целебные грязи и водные источники, а прямо за колючей проволокой расположено редчайшее по своим лечебным качествам соленое озеро. Местные жители называют колонию «черным дельфином»: территория колонии украшена фонтанами, выполненными в виде морских животных. Но, несмотря на целебный климат, Червонец не выздоравливал и, видимо, предчувствовал скорую смерть. В последних письмах родственникам, проживающим в Чечне, он настойчиво просил их приехать повидаться. Однако родственники опоздали. Они приехали в колонию уже после его смерти. Забрав тело, они увезли его на родину Червонца».

О целебном климате и лечебном озере, которое расположено прямо за колючей проволокой, мог написать только наивный человек, не знающий условия жизни бывших смертников. А Мадуев, повторю, ссылаясь на сведения из стихов Натальи Воронцовой, избивался в «Крестах» до полусмерти, и не раз, да и диабет в условиях тюрьмы, где нет лекарств и может не быть инсулина, смертельно опасен. Так что наш герой был обречен. Он не умер, он погиб в лагерях.

Да и насчет родины не совсем точно: его папа-чеченец получил срок за сопротивление советским войскам и отбывал ссылку в Казахстане, где и родился Мадуев.

Практически здесь он и умер.

Зона девятая

МАНЬЯКИ

ДЕЛО ЧИКАТИЛО (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

О нем написаны десятки книг, снят фильм, даже не один — фильмы. С ним сравнивают других маньяков. А где-то в печати он даже обозначен как самый первый среди серийных убийц XX века. Мы, конечно, следили за ходом расследования и за судебным процессом, который проходил в Ростове-на-Дону. Не из каких-то особых побуждений, а из чисто человеческого интереса, хотя читать подряд все эти расписанные в газетах ужасы было невозможно. Мы, конечно, догадывались, что это дело рано или поздно к нам придет.

И оно пришло.

Однажды — это случилось в декабре 1993 года — Вергилий Петрович, лишь только вошел в мой кабинет, прямо от дверей произнес что-то вроде: «Ну вот, дождались!» — и попросил собрать Комиссию по одному делу.

— Чикатило? — спросил я без энтузиазма. — Значит, поступил?

— Поступил... Нужно, чтобы было побольше народу на заседании. И никаких, конечно, других дел мы давать не будем. У него там столько! Одно ходатайство на полсотни страниц.

— Думаю, что соберем, — сказал я. — Вроде никто не болеет.

— А потом... по рюмке, — вдруг предложил он. — Дело-то уж больно такое... Чтобы нагрузку снять.

Я согласился. Припасем пару бутылок, бутерброды...

— Работать будем под стенограмму, — продолжал Вергилий Петрович. — Дело-то серьезное. Могут быть кривотолки всякие. Ну и хорошо бы без корреспондентов.

— Предупредим, чтобы не болтали.

— Пронюхают. — Вергилий Петрович тяжело вздохнул.

Журналистов он не переваривал и всегда отсылал их ко мне. Но было понятно, что сохранить в тайне такое заседание вряд ли удастся.

Суд окончился почти год назад, а разговоры о знаменитом маньяке все не спадали. Все напряженно ожидали финала, каков-то он будет? Этот вопрос задавали и нам: неужто возможно помилование? Я встретился с терапевтом из кремлевской клиники. Женщина-терапевт долго рассматривала мою карточку и вдруг спросила:

— Какое еще помилование? Это убийц, что ли? Может, вы и этого, ростовского... хотите помиловать?

— Ну а что, — отвечал я, — имеет право.

— Да ничего он не имеет! — воскликнула врач. — Его надо задавить, как насекомое! Чтобы и следа не осталось!

И даже писатель Бакланов как-то на приеме в чешском посольстве проскрипел за моей спиной:

— Ну, ты как, все их жалеешь? А маньяка как? Очень жалко? А если бы он твою дочь?!

На этом уровне уже скучно было разговаривать, и я лишь пробормотал в ответ что-то неопределенное. Но вот что подумалось вдруг: маньяк-то, оказывается, всем нужен. Он нужен сторонникам смертной казни и ее противникам тоже, и адвокатам нужен, и прокурорам, и, главное, толпе, жаждущей острых ощущений. На суде они аплодировали, как в театре. Как же они теперь будут жить без бодрящих репортажей из зала суда, без всяких там интервью со специалистами, следователями, медиками, судьями, да и самим Чикатило?

Нет, с Чикатило они долго не расстанутся, это уже ясно. Призывая громко к казни, они втайне надеются, что ее не будет, и тогда возможно станет поплясать на костях наших властей, Президента, Комиссии... И в который раз, обсосав каждый эпизод с насилием, напомнить обо всех этих злодеяниях. А между тем в прессе то и дело появлялись сенсационные статьи, в которых из неизвестных, но вполне «достоверных»

источников сообщалось, что Президент, а соответственно, и Комиссия по помилованию, собираются сохранить жизнь известному маньяку Чикатило. По многочисленным интервью, которые тот раздавал, было видно, что он и сам отчего-то надеется, что ему могут сохранить жизнь.

В небольшой заметке из «АиФ» под названием «Где находится Чикатило?» корреспондентка рассказывает, как встречалась с маньяком в Новочеркасской тюрьме № 3. Она задала ему несколько вопросов. На вопрос, как он проводит время, преступник отвечал, что он тихо поет украинские песни, читает книжки, газеты. И вдруг: «Думаю о потустороннем мире, готовлюсь к смерти...» Но если он верит, что за гробом существует нечто, то тогда ему надо бы подумать и о встрече со своими многочисленными жертвами, которых он терзал, многострадальные души которых у входа в это нечто уж точно его ждут! Далее он рассказывал про свою жизнь в деревне, где курочки, огород: «Жили душа в душу. У жены моей Федосьи Семеновны пятого апреля день рождения. Фенечка моя. Я всегда ей ко дню рождения фиалки дарил...»

Почитаешь, и можно подумать, что это произносит не душегуб, насилующий детей, поедавший их органы, а сизокрылый голубь с рисунка Пикассо с веточкой мира в клюве. В том же интервью есть и слова о помиловании. Что, мол, бесполезно подавать... Подал! Хоть и не сразу. Жить и зверю охота. Да так расписал свою жизнь! На целых шестидесяти страницах мелким почерком.

Но об этом потом.

А вот еще одна статеечка из газеты «Утро России» (автор — Юрий Антонян). Называется статья так: «Пока Чикатило пишет мемуары». «Недопустимо, — пишет автор, — чтобы после вынесения приговора до его исполнения проходило несколько лет! Тот же Чикатило, осужденный в октябре 1992 года, до сих пор находится в тюрьме и даже, говорят, какие-то мемуары пишет. Но ведь каждый дарованный ему миг жизни — это издевательство над памятью его безвинных жертв. О каком доверии к власти, о какой борьбе с преступностью можно еще говорить?» И далее — об «отечественных радателях гуманизма», то есть о нас, которые «никогда не бывали потерпевшими — в противном случае, надо полагать, они рассуждали бы совсем иначе. Уверен, что большинство из

них никогда не встречались с живыми преступниками, не держали в руках уголовные дела». Полагаю, что прошение о помиловании, равное по величине небольшой повести, наверное, и было кем-то принято за мемуары. Если сам автор статьи это не придумал.

Еще в одной статье, уже в «Комсомолке», этот же автор на вопрос, правда ли, что Чикатило собираются помиловать, говорит так: «Хочется надеяться, что это просто слухи, но если правда, то такая «гуманность» окажется самым страшным глумлением над семьями жертв этого мерзавца».

Или вот еще одна заметка из «Московских новостей». «Противники казни Чикатило настаивают на его психической неполноценности, — пишет автор. — От расстрела Чикатило может избавить только Борис Ельцин, который в своих решениях по «расстрельным делам» полагается на рекомендации Комиссии по помилованию при Президенте РФ».

В популярном «МК», в материале под заголовком «Маньяка Чикатило все-таки помилуют», сказано так: «По информации, полученной из компетентных источников, в отделе по вопросам помилования ГПУ Президента России готовятся документы о замене исключительной меры наказания для Андрея Чикатило на лишение свободы...»

И все это — за десять месяцев до того, как мы получили из прокуратуры дело. Были и другие материалы в прессе, разные: и объективные, и не очень, — но практически во всех чувствовалась настороженность по отношению к будущему решению Президента (а значит, и Комиссии по помилованию), и еще как бы предостережение... Предостережение о том, что любое решение, которое мы примем, будет известно народу. А он-то, ясное дело, ждет не дождется именно смертной казни.

Между тем мне на стол легла папочка зеленого цвета, на которой стояло лишь одно слово: ЧИКАТИЛО. С чувством, близким к панике, брал я в руки это дело. Ни любопытства, ни даже интереса литератора, никаких других чувств — брезгливости ли, страха — я не испытывал. Кроме, возможно, одного: чувства опасности. Почему опасности, какой именно и откуда — не знаю. Это уже не от разума, а откуда-то из печени.

Но что было, то было.

Уже, кажется, много мы за этот год начитались разного: и про убийц, и про насильников. Да и маньяки тоже были. Уж одного того дела малолетних истязателей, что зарывали живьем свою жертву, хватало, чтобы ужесточить сердце. Но нет, не привыкли. И вообще, что-то в нас, вопреки ожиданию, даже обострилось. Наши и без того хрупкие нервишки напряглись. Кто-то после рассмотрения тех дел заболел. Мы тогда по этому поводу душевно поговорили за рюмкой водки и решили, что так, без отключки и отдыха, мы, пожалуй, не вытянем. Я заметил, что и сам стал каким-то дерганным. Как-то вдруг во сне увидел себя в камере и обреченно подумал, что удалось-таки милиции меня сюда засунуть, и теперь одна надежда: на помилование. А тут приходит женщина-следователь и, явно мне сочувствуя, делает знаки, хочет с воли что-то передать, а другая, значит, надсмотрщица, зыркает в оба, не отступает ни на шаг, не дает общаться. И вдруг я узнаю, что под боком у тюрьмы Витя Славкин театр открыл, а может, это был не он, а Марк Розовский, и хочу просить у них взять меня на поруки... Чтобы не в камере гнить... А они, такие сумасшедшие театралы, не могут врубиться, что я отсиживаю, бегают, репетируют, а у меня лишь пять минут и один такой шанс...

На этом я проснулся, ощущая некоторую досаду и за-таенную обиду на своих друзей. И сел читать это дело.

Чикатило Андрей Романович, 1936 года рождения, украинец, образование высшее, женат, имеет двоих взрослых детей. Судился в 1984 году за хищение государственного имущества, был приговорен к исправительным работам по месту работы. Рабочий список у него длинный: был и монтером, и завучем школы-интерната, и мастером производственного обучения. Последняя его должность в 1990 году — инженер на ремонтном заводе. Арестован 20 ноября 1990 года.

«Чикатило осужден за развратные действия в отношении несовершеннолетних, за умышленное убийство 17 мальчиков в возрасте от 8 до 16 лет, 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 16 девушек и молодых женщин. Убийства были совершены им на сексуальной почве в Ростовской и многих других областях Российской Федерации, на Украине и в Узбекистане».

Украина-то рядом, тут все ясно, но непонятно, откуда взялся Узбекистан, далее в деле про него ничего нет.

«В период 1978–1990 годов Чикатило завлекал малолетних и несовершеннолетних подростков обоего пола, а также молодых девушек и женщин в малодоступные места в лесонасаждениях и путем нанесения большого количества ножевых ранений совершал их убийства на сексуальной почве. После убийства потерпевших Чикатило вырезал у них внутренние и наружные половые органы, в ряде случаев производил ампутацию носа и языка. Осужденный Чикатило вину в умышленном убийстве указанных выше лиц на сексуальной почве признал и дал показания об обстоятельствах совершенных преступлений».

Далее идут подробности, которые я не хотел бы приводить. Замечу лишь, что среди множества эпизодов есть эпизод и про Леночку Закотнову, за которую некогда расстреляли невинного Кравченко (см. о нем главу). И хотя была она первой жертвой маньяка, суд исключил Закотнову из обвинения. «Дело в этой части, — как написано в приговоре, — прекращено за недоказанностью».

Эксперты-психиатры, исследовавшие психическое состояние Чикатило в стационарных условиях НИИ общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (с 20 августа по 18 октября 1991 года), пришли к выводу о его вменяемости в отношении инкриминируемых ему преступлений. В акте отмечено, что он обнаруживает признаки психопатии с сексуальными перверсиями. В акте комплексной судебно-психиатрической экспертизы записаны некоторые биографические данные о родителях маньяка: отец по характеру был активным, деятельным, «боевым», мать — мягкая, добрая, религиозная. Со слов испытуемого, детство его прошло в тяжелых условиях: семья голодала, а в селе, где они проживали, были случаи каннибализма.

В детстве он слышал от разных людей и от родителей, что его брата украли и съели во время голода 1933 года. Но односельчане этот факт, как и вообще существование некоего брата, отрицают. Нет этого и в документах. По характеру с детства был он ранимым, замкнутым, стеснительным, близких друзей среди сверстников не имел, отличался мечтательностью и склонностью к фантазиям. Часто представлял себе,

что у него есть старший брат, который может его защитить в случае обид; порой с ужасом представлял себе, как брата съели во время голода, воображал окровавленные куски мяса, лужи крови, части трупов, которые видел во время войны. В период голода 1947 года опасался, что его тоже могут украсть и съесть, и не отходил от дома.

Однажды в детстве он видел, как мать обрабатывала сестре область прямой кишки и половых органов, и испытал чувство неприязни и страха. Одноклассники и односельчане подчеркивают, что было в нем что-то отталкивающее, участия в общих играх он не принимал. С его слов, у одноклассников он являлся объектом насмешек и издевательств. Но преподаватели это отрицают. А преподаватель русского языка характеризует Чикатило как «талантливого» ученика, который отличался феноменальной памятью. Нервы у него, по отзывам односельчан, были в порядке, никогда не психовал, никаких вообще странностей в поведении не было. В школе много времени уделял общественной работе, дома помогал родным по хозяйству. Разрисовывал географические карты, в каждую страну вписывал имя генсека-коммуниста, считая, что скоро победит во всем мире коммунизм и они станут правителями этих стран.

Книги любил о партизанах, боготворил «Молодую гвардию» Фадеева. После прочтения появлялась почти зримая мысль о том, как он берет в плен «языка», ведет его в лес и, выполняя команду, связывает и бьет. В школе с девочками не дружил, сторонился их, и они его не признавали. Дал себе клятву, что никогда в жизни не дотронется до чьих-либо половых органов, кроме органов своей жены. В возрасте 17 лет из любопытства совершил акт мастурбации. В 10-м классе влюбился в девочку-сверстницу, мечтал общаться с ней. Ему нравились ее мягкость, женственность, но в ее присутствии робел, терялся, не знал, о чем говорить, мечтал о такой любви, о которой пишут в книгах.

Однажды, когда он обнял «из интереса» одну девушку, у него произошло семяизвержение. Далее, до призыва в армию, неоднократно пытался совершить половые акты с различными женщинами, но постоянно терпел поражения. Стал часто задумываться о своей неполноценности, появились мысли о самоубийстве.

Политикой продолжал увлекаться. В армии вступил в КПСС, служил в органах КГБ. Во время службы якобы подвергся гомосексуальному насилию. Изредка мастурбировал. Когда сослуживцы предлагали познакомить его с какой-нибудь женщиной, отказывался, предпочитая изучать общественно-политическую литературу и слушать радио. Летом 1960 года познакомился с еще одной девушкой. При встречах всегда был ласковым, нежным, насилия никогда не применял, был влюблен, дарил ей цветы. Хотел, чтобы было, как в книгах. Дважды пытался совершить половой акт, но неудачно. С будущей женой познакомился с помощью своих родственников. В семье обычно она «командовала всем». Ему нравилось ей подчиняться и ее слушаться. Жена рассказывает, что он очень любил детей, много с ними играл, каких-нибудь садистских наклонностей у него не было. Половых актов в извращенной форме он с ней не совершал. Известно также, что он мечтал иметь много детей. Однажды узнал, что жена сделала аборт, расстроился, ругал ее, говорил, что врачи разорвали и убили его ребенка.

Жена Чикатило сообщила также, что с первых дней совместной жизни у него была половая слабость, он не мог совершить половой акт без ее помощи. А последние 6–7 лет в интимные отношения с женой он не вступал вообще. А если она выражала недовольство, устраивал скандалы. В школе-интернате работа не ладилась, ученики над ним издевались. Единственным увлечением было чтение газет. Сотрудники и учащиеся подчеркивают его нездоровый интерес к девочкам, он к ним прижимался, стремился дотронуться рукой, часто заходил в их комнату. Он постоянно, где бы ни находился, ощущал свои половые органы. Рассказывают, что в школе он приставал к уборщицам и ученицам. В отсутствие жены приводил домой двух девочек. Однажды, оставив ученицу седьмого класса в школе после уроков, заперся с ней на ключ и пытался ее раздеть. Раздражало, что она ленива и туповата. Несколько раз ее ударил, а когда она стала вырываться, почувствовал семяизвержение.

Племянница Чикатило сообщила, что когда ей было 5–6 лет, он «приставал», говорил пошлости, дотрагивался до половых органов. Однажды, когда она ночевала у него в гостях, в комнате с его детьми, он пришел ночью совершенно

голый, разбудил ее, а когда она стала шуметь, быстро вышел. В дальнейшем неоднократно предлагал ей в подарок деньги и вещи и уговаривал вступить с ним в половую связь.

Приводятся и другие подобные примеры.

Одна из соседок характеризует его как странного человека: у него были стеклянные глаза, холодный взгляд. Со слов подруг она знала, что он совершал с ними различные сексуальные действия. Еще одно свидетельство женщины: «Когда мне было 6 лет, Чикатило позвал меня к себе в комнату под предлогом отдать газеты и дотрагивался до половых органов. При этом у него как будто останавливалось дыхание, а взгляд становился ничего не выражающим». Другая свидетельница сообщила, что возле площадки, где обычно играли малолетние девочки, рос абрикос, и Чикатило подсаживал их, чтобы дети могли сорвать плоды, но держал их не за подмышки, а за ягодички, при этом у него было какое-то странное слащавое выражение лица.

Далее идут не очень лестные характеристики с работы (нелюдим, товарищей не имеет, работает посредственно и т. д.). Но появляются важные детали о том, что сослуживцы видели его часто на железнодорожном вокзале, однако он проходил мимо, делая вид, что их не узнает. В поезде и на вокзале никогда не стоял на месте, все время ходил, было впечатление, что он кого-то ищет. Другой свидетель подчеркивает, что часто встречал его в электричке. Чикатило ходил по вагонам, было впечатление, что он кого-то искал.

Одна из женщин рассказывает, что к ней в электричке на пути из Новочеркасска в Шахты подошел мужчина, спросил, куда она едет, представился, предложил ей сходить с ним в кино. Внезапно положил ей руку на колено, а на вопрос, почему он так себя ведет, ответил, что раньше это женщинам нравилось. Затем предложил проводить ее до дома, просил о встрече на следующий день. Была свидетельница, которая видела, как он уговаривал в электричке мальчика 12 лет пойти с ним. Сын Чикатило сообщил, что отец его был экономен, скуповат, равнодушен к красивым вещам, в то же время не мог расстаться со старым ненужным хламом. Сын характеризует его как честного, порядочного человека, справедливость для которого была превыше всего. Но сосед Чикатило сообщил, что сын относился к отцу презрительно, называл

«козлом», иногда бросался на него драться, но отец никак на это не реагировал. Со слов сына известно, что отец боялся вида крови, бледнел — казалось, вот-вот потеряет сознание.

Дочь характеризует отца как человека доброго, спокойного, любящего детей. Из показаний жены и детей известно, что спиртными напитками не злоупотреблял, не курил. Первый зять называет его добрым, сильным, умным, отзывчивым, честным, эрудированным, особенно отмечает отношение к своим детям: без всякого напуска и фальши. Он их не бил, не наказывал...

Как все это совместить с образом кровожадного убийцы, садиста, насильника детей, живьем выедавшего их органы?

Оборотень, живущий двойной жизнью?

Или странное совмещение — в одном лице и дьявол и ангел?

Или это особенное умение скрыть от окружающих свою звериную сущность? Может, он так замаскироваться, что все заблуждаются?

Или, говоря техническим термином, «сбой»? Не только в мозгу или где там... Но и в душе? Ведь говаривали в старину: вселился бес. Возможно, как раз об этом?!

А вот что он сам рассказывает о себе: «Работая в интернате, я замечал, что между мальчиками имеют место гомосексуальные отношения. Да и девочки уже жили половой жизнью. Становилось не по себе. Это как бы оскорбляло. Мучился от того, что распущенные дети могут то, что не может себе позволить взрослый и образованный человек. Был подавлен, плохо спал по ночам. Девочки привлекали все время, хотелось щупать, щипать... Случилось, когда девочка зашла в воду, стал ее выгонять и несколько раз дотронулся до ее ягодиц, а когда она закричала, возникло к ней желание и желание, чтобы она кричала громче, потому что появилось возбуждение и семяизвержение. После этого почувствовал облегчение, успокоение, улучшилось настроение.

Летом иногда зазывал девочек к себе домой, трогал их половые органы, шлепал по ягодицам, это приводило в состояние возбуждения. Когда оказывался рядом с детьми, овладевала какая-то необузданная страсть, потом стыдился своего поведения».

По его словам, он якобы обращался за медицинской помощью к сексопатологу, к психотерапевту и получал от них лечение. Подтверждения в документах это не нашло.

Первое убийство он совершил в 1978 году, когда пошел посмотреть купленный им дом. Настроение было плохое, чувствовал себя подавленным. Накануне был избит учениками, понимал, что придется оставить педагогическую деятельность, искать неквалифицированную работу. Увидел: рядом идет девочка лет двенадцати, разговорились, а когда оказались в отдаленном месте на берегу реки, у него возникло внезапное сексуальное желание к этой девочке. Его всего трясло. Он бросился на нее, как зверь, не в силах ничего с собой поделаться, и в тот момент, когда разорвал ее половые органы, им овладела животная страсть. Когда понял, что девочка мертва, он бросил ее в реку. Но долго его преследовала картина, как он залез руками в половые органы девочки. Кстати, возможно, это и есть то самое преступление, за которое расстреляли Александра Кравченко.

Еще одно из первых преступлений — когда увидел, что совсем маленькая девочка зашла в темное место, чтобы помочиться. Подошел к девочке, предложил отвести ее в туалет, в этот момент ощутил сильную дрожь. Когда отошли в укромное место, набросился на нее, стал рвать одежду, зажимал рот, сдавил горло, чтобы не закричала, а вид крови привел его в большое возбуждение. Он испытал, по его словам, ярко-выраженный оргазм. Труп он сбросил в реку. И далее во всех остальных убийствах возникало у него это звериное желание проникнуть в брюшную полость, вырвать, вырезать половые органы и их разбросать. Свое бешенство, по его словам, он срывал на половых органах жертв. Одежду, которая была на них, он также разрезал и разбрасывал.

Знакомясь, он обычно избегал смотреть своей будущей жертве в глаза. Перед тем как наброситься на жертву, ощущал сухость во рту, всего трясло. Практически во всех случаях он раздевал своих жертв, а если одежда плохо снималась, резал ее ножом сверху вниз или разрывал руками. Потом наваливался на свою жертву «как медведь»! Он говорил себе при этом, что он партизан и что перед ним враг, что он должен резать, чтобы выполнить задание. При виде крови начинался озноб, он весь дрожал, совершал беспорядочные

движения. Кусал жертве губы и язык, у женщин (наверное, еще живых?) откусывал и проглатывал соски. В ряде случаев отрезал у жертвы нос и заталкивал его в рот. Ножом у женщин вырезал матку, у мальчиков мошонку и яички, кусал их зубами, а потом разбрасывал, что доставляло ему звериное, по его словам, наслаждение.

Когда вспарывал женщинам животы, возникало желание не просто кусать, а именно грызть: «Они такие красные и упругие!» Этому способствовали и просмотренные им видеофильмы со сценами насилия и жестокости. Он научился уклоняться от брызг крови, чтобы та не попадала на одежду: все было, как он спокойно замечает, отработано. Не забывал привести одежду в порядок. И потом в состоянии прострации бесцельно бродил по лесу. После того как он рвал, терзал, крушил все окружающее, даже наносил удары ножом по стволам деревьев, наступала разрядка и проходила ярость, все становилось безразлично, наступало облегчение, опустошение. Исчезали все мысли, заботы, неприятные воспоминания.

По отзывам исследовавших его врачей, Чикатило спокойно, холодно рассказывал о содеянном. Однако прослезился при воспоминании о первой любви в школе. И о жене.

Держался он скованно, сидел в однообразно-неудобной позе, на краешке стула, несколько сгорбившись, на собеседника не смотрел. На протяжении всей беседы оставался вяловатым, но вспоминая о своем детстве, о матери, о первой любви, начинал плакать. И вообще, тема ранних обид и насмешек не уходит из его воспоминаний. Заявляет, что смог наконец успокоиться, подумать о жизни (не о смерти!).

У него возникла потребность рассказать подробно о себе.

Я не хочу приводить здесь длинный список психических и сексуальных отклонений, обнаруженных у Чикатило, но главное, что «выявленные индивидуально-психологические особенности Чикатило А.Р. не оказывали существенного влияния на планирование и реализацию непосредственно криминальных действий... Он избирательно подходил к выбору объекта, учитывал специфику обстановки и в соответствии с этим корригировал свои действия. Он может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, в

применении принудительных мер медицинского характера не нуждается». Заключение подписали три доктора медицинских наук, два кандидата и врач-докладчик.

Беспокойство, которое проявляла пресса по поводу судьбы Чикатило, подогревалось, я думаю, еще и результатами подобных дел за рубежом, в разных странах. Некий тридцатилетний красавец мужчина Джеффри Демер, американец, убил и съел, судя по информации, семнадцать человек. Его осудили в американском штате Висконсин на пожизненное заключение. Еще один тридцатилетний, англичанин Виктор Уиллоби, изнасиловал около ста женщин, но, доказав обвинение по 17 фактам изнасилования, его приговорили к пяти пожизненным срокам тюремного заключения. Некая англичанка Розмари Вест подвергла насилию и убила 10 детей и женщин, в том числе свою шестнадцатилетнюю дочь и восьмилетнюю падчерицу. Осуждена была на пожизненное заключение.

О маньяках спорить будут всегда. Они есть и будут. И у нас, и во всем мире. И смертная казнь Чикатило несколько не уменьшила их количество. Ликвидация убийцы лишь несколько смягчает чувства родственников пострадавших (если смягчает). Но она же внушает ложные чувства населению, которое обычно бывает напугано действиями серийных убийц, что если преступник мертв, значит, далее будет безопасно. И действительно, не успели рассчитаться с одним маньяком, как появляется другой, не менее страшный. Цитирую: «Старший следователь по особо важным делам Евгений Бабкин и его коллеги, отправившие на скамью подсудимых ростовского маньяка А. Чикатило, взялись за другого, подмосковного — по кличке «Удав». Помог опыт раскрытия и расследования кровавых дел ростовского убийцы Чикатило». В статье, написанной сразу после разоблачения, фамилия нового маньяка еще не названа, указывались лишь кличка да возраст: 33 года. Мы с этим делом еще встретимся.

Но и оно не последнее в этом страшном списке, и ясно уже, что будут появляться и другие. Хочу оговориться, что, возможно, именно маньяки менее всего характеризуют нашу криминальную обстановку. Они, в общем-то, везде одинаковы, и если какие-то отличия замечаются, то не в их

деяниях, всегда чудовищных, а в тех условиях, в которых они воспитывались и совершали свои преступления. Вот тут разница, наверное, существует. Мне попалась статья, в которой автор довольно доказательно утверждает, что вождь и учитель всех народов товарищ Сталин был по своему биологическому типу маньяк. У садиста Сталина было больше возможностей реализовать свои фантазии, причиняя боль и унижения. К тому же к его услугам был прекрасно организованный карательный аппарат. Добавлю, что это подтверждается таким существенным для меня фактом, как отношение Сталина к своим собственным детям, судя по всему, безжалостным. Вспомните рассказы Аллилуевой, вспомните отказ Сталина обменять погибающего в немецком плену сына Якова, да и его равнодушно-брезгливое отношение к другому сыну, Василию.

Одному психологу задали вопрос: преступность — явление социальное или биологическое? Он отвечал, что преступность — явление вечное, что со времен Каина и Авеля насилие было и будет, и — подчеркнул — без него живые существа жить не могут. А значит, основа преступности в биологии. И далее — о маньяках и насильниках. Когда такой маньяк насилует женщину или ребенка, эти действия лишь отчасти сексуальные, а в большей степени они носят компенсаторный характер: маньяк утверждает себя в качестве биологического существа.

В Ростове-на-Дону несколько лет назад состоялась 1-я международная конференция «Серийные убийцы и социальная агрессия». Организовал ее, кстати, Александр Бухановский, сумевший, по просьбе следователей, воспроизвести предполагаемый портрет ростовского маньяка, который потом во многом совпал с портретом Чикатило. На конференции отмечались некоторые даже внешне схожие черты различных маньяков (у них у всех почему-то длинные руки), но, конечно, главное — это попытка понять, объяснить истоки возникновения такого типа людей. Вот собирательный портрет маньяка: чаще всего это люди с образованием, с весьма высоким интеллектом, они прекрасные семьянины, имеют не менее двух детей, никогда прежде не судились. Возраст близок к тридцати годам. Эти качества отличают образ маньяка от привычного образа преступника, иной раз

мешают в его поисках. Когда речь идет о маньяках, принято ссылаться на работу немецкого ученого Крафа Тебинка, который все эти признаки указал в своей книге, исследовав в конце прошлого века более 300 человек с подобными отклонениями. В детстве будущий маньяк — робкий, скованный, очень ранимый ребенок. У него жестокое окружение, чаще всего суровые родители. Вообще, комплексы, возникающие от недостатка ласки или плохих отношений с матерью, играют большую роль. Мне это очевидно как бывшему сироте, наблюдавшему своих дружков-сверстников и их привычки. Да и ученые утверждают, что 78% насильников находились в плохих отношениях с матерями. В их ощущениях женщина предстает как грубая сила, представляющая опасность.

В подростковом возрасте очевидна заниженная самооценка, боязнь знакомств с девушками, неудачные половые контакты. Возникает озлобленность. Фиксируется какой-нибудь случай, связанный с сексуальным насилием, в жизни или в кино. Включается, по определению академика Г. Крыжановского, «генератор патологически усиленного возбуждения». Тогда происходят избиение женщины-партнерши, вымещение зла, самоутверждение в жизни и фантазиях. Изнасилование первой жертвы, второй и так далее. Преступник начинает действовать как робот, без лечения его уже остановить нельзя. Сам себя он тоже остановить уже не может. Учеными отвергается мысль, что главное для него — сексуальное удовлетворение. Оно играет свою роль, но существеннее другое: в момент насилия маньяк самоутверждается. Оттого, как известно, маньяк идет на преступление не в момент сексуального желания, а в момент нервного срыва, неудач в жизни или плохого настроения.

Вспомните первое преступление Чикатило!

Несколько слов о прощении, которое Чикатило подал 18 июля 1993 года, через девять месяцев после осуждения его на смертную казнь. Оно, как я уже рассказывал, написано от руки, довольно мелким почерком, не слишком разборчивым, на целых шестидесяти страницах. Это очень путанный, сумбурный документ, в котором отличить правду от фантазии, а иногда почти бреда (допускаю и это, поскольку написано все в камере смертников), невозможно. Главное впечатление — это что Чикатило пытается найти виновного

в его преступлениях. В прощении нет ни одного слова покаяния. Во всем, что он натворил, по его мнению, виновны общество, страна, врачи, работа, окружение, милиция, суд, советская власть.

О СЛЕДСТВИИ

Первая выдвинутая Чикатило версия: он ничего такого не совершал, а дело на него сфабриковали в КГБ.

«Содержат меня, больного человека, — пишет он, — по сфабрикованному делу, без суда и следствия». Рассказывает, как его били (справки о наружных побоях в количестве пяти штук), как образцово действовал суд «сталинско-брежневского режима» и далее как сфабриковали дело. Об этом стоит рассказать подробнее: «Прислали мне психиатра. После беседы с ним я понял, что с отбитыми органами я буду долго лечиться, а в психушке мне помогут легче умереть. В общем, меня уговорили, познакомили со сценарием, с действующими лицами. Я вошел в роль убийцы и насильника. Под диктовку следователя я все законспектировал, учил, как домашнее задание, в камере, проявил изобретательность и усердие. Перевели меня на ресторанное питание, хорошие пайки пошли, вдруг разрешили свидание с родными, а дела уголовные на родных уничтожили. «Это мы пошутили», — сказали. Следователей было с полсотни, но стряпали все дело два друга-ингуша: Костоев и Яндиев. Давали мне списки и 50 человек и 70 человек. Чем больше, тем лучше для системы. Перед выездом на места каждый случай отработали в спортивном зале МВД, с макетом, с конспектом в руках. На выезде перед каждой записью я достаю шпаргалки, понятия помогают мне зазубрить текст, и команда: «Мотор!» Запись фильма пошла. И все довольны...

Я был равноправным участником следственной бригады, когда меня привели к неизбежности моей роли маньяка, предоставив выбор: или премия Оскара за лучшую роль да еще Книга рекордов Гиннеса, или же несчастный случай в камере, самоубийство с участием профессиональных убийц без следов насилия и улик. Тем более что подсудимый не успеет опубликовать свои мемуары невероятных приключений, да и вахта не позволит маньяку писать дневники, автобиографический роман за него уже написали в Москве, Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне. Каждый пишет под своим углом зрения,

выставляя себя героем в изучении, познании, поимке маньяка. У каждого своя книга вышла из печати, доллары потекли. И никто не подумает о том, чтобы хоть раз предоставить слово, устное или письменное, самому маньяку перед расстрелом или повешением. В суде часто звучало: «А сейчас послушаем собственноручные записи Чикатило. Он сам писал Генеральному прокурору, и все эпизоды описал». Доверчивые граждане в зале суда воспринимали это как истину, считали эти записи сделанными моей рукой до ареста и, конечно, не догадывались, что я писал собственной рукой, но не собственной головой, а под пытками, под диктовку, да и сам придумывал, фантазировал, изобретал, сочинял, чтобы хозяева были довольны. А уже сами сценаристы окончательно редактировали: «Это похоже, оставляем, а эту сцену вырезаем». Сплошная комедия: «Эту яму на кладбище ты сам заранее себе выкопал и закопал туда труп». Конечно, я теперь уже живой труп и не могу добиться, чтобы проверили все факты...»

В том же духе, весьма даже выразительно, Чикатило напоминает Президенту, что он «40 лет отработал на благо родины, 30 лет в рядах КПСС на стройках коммунизма. Всю жизнь прожил в трудах, в трудностях». Написал, что хочет «пожить в новой возрожденной Свободной России».

ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВЕ НА СУДЕ

«Потом судья стал откровенно унижать, оскорблять меня: «Закрой рот», «Не крути головой», «У тебя железная психика и железный секс, ты никогда не повесишься», «У тебя лобковые вши». И после этого начал мне приписывать все трупы бродяг, у которых были лобковые вши. Я не выдержал этих унижений, издевательств в суде, это мое горе, я страдаю как инвалид-импотент всю жизнь после ядерных испытаний на Урале в 1957 году. А этот «судья» в желтом френче, пересмеиваясь надо мной со своей секретаршей, издевается, терзает мои нервы «железным сексом» и «лобковыми вшами». И тогда я, доведенный до отчаяния и не владея собой, показал «судье» свои половые органы и предложил ему сожительство как гомосексуалисту, чтобы он лично убедился, что у меня мертвые половые органы, атрофированные с молодости, и убедился в отсутствии лобковых вшей. Таким образом, весь этот судебный балаган бериевского типа прошел в Ростов-

ском областном суде без присутствия подсудимого — это означает, что суда надо мной не было, а была расправа над беззащитным, униженным, больным человеком. Суд шел при попустительстве местных властей КПСС, которые и ответственны за все убийства, но решили закрыть их, чтобы избежать разоблачения за моей широкой грудью». Ученые утверждают, что в подсознании есть область, где «складируются» психотравмы и неприятности, которые человек перенес в жизни. И если у нормального человека они как-то придавлены и не влияют на жизнь открыто, то у маньяков они копятся, чтобы любым способом излиться на окружающих. У Чикатило особенно заметно проглядывает комплекс обид, которые он накапливает даже на суде. Каково же было в жизни? Его раздражает обмен улыбками судьи с секретаршей, которые он воспринимает как издевательство над ним, а про желтый цвет френча судьи, который его раздражает, на протяжении всего текста прошения он вспоминает много раз, называя его «попугайным цветом».

О ПРАВАХ

«В то время как деятели ГКЧП имеют все права подсудимых... я, равноправный гражданин России и Украины и политический деятель нового типа, лидер-генсек организованной мной партии социального прогресса, лишен всех прав». Но это уже скорее похоже на симуляцию помешательства. Тем более что далее он пишет: «Я не видел другого выхода, как только плыть по воле всемогущего Рока-Судьбы и надеяться только на помощь, на защиту милости Господа Бога милосердного, нашего мудрого Создателя и Творца, которого я постоянно благодарю в своих молитвах за мудро созданный великий и могучий и священный облик нашего мира».

ОБ ИНСТИТУТЕ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ И ЕГО РАБОТЕ

Нелестную характеристику дает Чикатило и институту им. В.П. Сербского: «В анализах и выводах экспертизы института много противоречий и ошибок. Это, кстати, тот самый известный в Союзе институт, что прославился в сталинско-брежневские времена помещением здоровых людей в психушки. И теперь, пишут в газетах, кадры остались те же. И хотя я сам извращенец по состоянию своего здоровья, мне

в моей жизненной судьбе и судья достался — извращенец законов и кодексов, и институт им. Сербского прославился извращениями в преследовании инакомыслящих».

О МЕСТНЫХ ВЛАСТЯХ

«Еще в институте им. Сербского меня обозвали сутягой на том чудовищном основании, что я всю жизнь боролся за справедливость, писал жалобы обоснованные во все центральные органы, где меня поддерживали, но местная ассирийская мафия, захватившая все бразды правления, травила меня безжалостно, угрожала, преследовала, обзывала психом и идиотом, угрожала физической и моральной расправой и угрожала определить меня в тюрьму или психбольницу. Чтобы защитить свою честь, я соорудил вокруг своей чистой белой украинской хаты партизанские баррикады, поднял красное знамя освобождения и мужественно защищал свои позиции до последнего».

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА. СТРАСБУРГ

Это определенно симулятивные строчки: «И везде, где я работал, я совершил крупные прогрессивные прорывы. Работал в масштабах Европейско-Азиатского региона, обеспечивал снабжение и техническую политику в промышленности. Как только меня посадили, наше отечественное электровозрождение и ремонт заглохли».

Есть там далее и о программах по переустройству общества, от которых «взорвался ростовский обком КПСС, и меня решили арестовать... И в КГБ, где я сотрудничал».

«Что скажут в Страсбурге из Совета Европы о самостоятельном творчестве ростовских юристов? Я просил вынести это дело на суд в Москву, где рассматривалось дело КПСС. И расследовать эти вопросы, наносящие ущерб России перед Судом Совета Европы в Страсбурге. Я заявил в суде устно и письменно, что не желаю жить в одном государстве с извращенцами законов и отказываюсь от российского гражданства, и прошу направить ко мне посла Украины в России, чтобы я, как гражданин Украины, мог защитить свои интересы и права. Но до сих пор нет ответа и нет посла Украины». Голос же его не доходит, потому что, по его словам, «Чикатило изолирован настолько, что практически уже на том свете».

О ПРИГОВОРЕ

«И вот за этот бред, оформленный как приговор от имени Российской Федерации, меня расстреливают».

Во всем этом словесном абсурде можно проследить и некую линию: чего бы ни касался наш обвиняемый — следствия ли, суда ли, властей или медицины, — все там извращено, а значит, все — извращенцы. Он как бы переносит обвинение в свой адрес на своих врагов, на всех, кто имел к нему и его делу отношение. И, надо сказать, подчас артистично это делает.

Но есть в ходатайстве страницы, касающиеся смерти Закотновой, я не могу их не привести теперь уже в трактовке Чикатило.

ЕЩЕ РАЗ О СЛЕДСТВИИ

По делу Лены Закотновой: «Я три года просидел и не дождался ни Оскара, ни Гиннеса, приз за самую развлекательную роль в суде получила актер-свидетель Гуренкова. Она ухитрилась в разные годы за одно и то же убийство как основной и единственный сексот расстрелять трех преступников. В 1978 году по делу Закотновой, которую Гуренкова лично знала, она указала, что видела убийцу в день убийства, когда он уводил Закотнову с трамвайной остановки вниз по улице... Гуренкова, она же штатный чекист, на следующий день четко и уверенно докладывает в милиции: «Смутный, черный, кавказской национальности, сутулый, рост 170, в плаще, с сумкой, а в ней — две бутылки вина по 0, 8 л». Четко нарисован фоторобот. Искали по всему городу — не нашли. «Наверное, уехал на Кавказ после выпитого вина», — сказала Гуренкова. Но раскрыть преступление обязаны, и вот в 1979 году, за неимением «черного смуглого убийцы», она сажает совсем белого Кравченко, рост подходит — и этого достаточно.

По наводке Гуренковой Кравченко расстрелян. И вот для Гуренковой появилась новая производственная необходимость, возможность отличиться в следственных лабиринтах. В 1991 году Гуренкову науськивают на Чикатило. Во время опознания она долго и внимательно смотрела на нас, троих статистов, и уверенно доложила: «Здесь, среди этих людей, нет того человека. Он у меня и сейчас, 13 лет спустя, стоит перед глазами. Черный, сутуловатый, смотрит исподлобья».

Но опытный аферист-следователь Яндиев не растерялся и требовательно, настойчиво продолжал: «Нет, вы ищите, не спешите, он должен здесь быть, — и стал ей подсказывать, наталкивать на меня по приметам: — Ну, смотрите, может, он был смуглый, теперь побелел, может, отошел от загара, может, он подрост за 15 лет». Но Гуренкова растерялась и уверенно указала на моего соседа-статиста ростом 170 см. Я смотрел на стенные часы: ровно час мы позировали и стояли, ходили по кругу и по очереди заглядывали в лисьи глаза Гуренковой, а она все не соглашалась нас отпускать, не могла выбрать из двух претендентов.

И тогда Яндиев отбросил формальности: «Да вот же он, правильно вы на него смотрите... Похож?» — «Да, вроде немножко похож». И отпечатал: «Уверенно опознала», раз оказался похож, как всякий человек на другого человека похож тем, что имеет один нос и два уха. Так я из рыжего, поседевшего превратился в лицо кавказской национальности и подрост на целых 20 см. Все уладили, но на суде случился конфуз, Гуренкова развлекла публику своими показаниями: «Смуглый, черный, рост 170 см». Тут уже не выдержал мой адвокат: «Почему вы, свидетель, уже третьего человека подводите под расстрел за одно и то же убийство? Вы что, штатный свидетель по всем судам?»

И что самое удивительное, оказывается, и фоторобот 1978 года теперь оказывается похож на меня. Чудеса совершаются через 15 лет по чисто производственной необходимости, по заявкам и заказам. По просьбе телезрителей — следующая серия с участием Гуренковой после расстрела Чикатило».

Судя по всему, накладка со свидетелем, если она была, снимает с Чикатило вину за убийство. Но по стилю и по всем приметам, конечно, это было его преступление.

Теперь — о том, как проходило обсуждение этого дела на Комиссии по помилованию. Я записал, насколько смог, наш разговор, довольно острый и интересный, на пленку. Конечно, с разрешения тех, кто там присутствовал. Но частью я и так помню, о чем мы спорили целых два дня. И два дня у подъезда здания на Ильинке дежурило телевидение.

Но сперва еще немного о Чикатило и о его прощении. Должен отметить, что сквозь бредовое многословье прореза-

ются у него вдруг здравые мысли: «Здоровье мое постепенно ухудшается в этой консервной банке. И за то небольшое время, что мне осталось жить, я хочу принести какую-то пользу обществу, облегчить свою душу исповедью и раскаянием перед священником и перед честными людьми — юристами, медиками, чтобы общество не знало в будущем маньяков».

Практически это и есть признание в преступлении.

И если бы он, вместо описания борьбы с мафиями, поведал бы о себе, обо всем, что он на самом деле натворил... Но поздно, поздно...

Никто на Комиссии не оспаривал его вину. На то был суд, который это все доказал. Да и никаких сомнений в его вине у нас не возникало. Нас прежде всего интересовало, насколько он вменяем, то есть болен ли он, и насколько вообще любого маньяка можно считать подсудным по нашим законам. Вот и сам Чикатило — ссылаюсь на одно из самых последних его интервью — повторял: «Я болен... Я сильно болен».

Наш психолог, которому в этот раз мы особенно внимали, сказал, что, если судить строго по-медицински, Чикатило и не маньяк, ибо у маньяка непредсказуемое поведение. Этот же не только тщательно готовил преступления и их скрывал, но и долго и хорошо помнил, что он делал потом.

Больные ли это люди?

В какой-то мере да. Но в нашей стране нет таких институтов, где бы могли изучать их жизнь с пользой для населения, так что оно будет страдать от маньяков и далее. В тюрьме же держать таких бессмысленно. Женя, которая к насильникам любого масштаба была всегда сурова, во время заседания спросила Вергилия Петровича:

— Если вдруг случилось бы, что мы сохранили ему жизнь, имеет он хоть крошечный шанс оказаться на свободе?

— Имеет, — отвечали ей.

После голосования: десять за отклонение, два за помилование. Мы достали водку и выпили. Чтобы снять с себя это наваждение.

Результат голосования стал каким-то образом достоянием прессы и долго обсуждался и осуждался. А месяца через полтора Вергилий Петрович вдруг вспомнил, не помню уж, по какому случаю, что Президент подписал указ об отклонении. Этого...

Кого — называть не стал.

— И — когда? — спросил я.

— Ну, кто знает. Может, сейчас, когда мы тут сидим.

Но это не было «сейчас». И вездесущие телевизионщики докопались до сроков, хотя известно, что казнь у нас еще никому не довелось снимать и все вокруг нее засекречено. Они даже показали небольшой сюжет о суде над Чикатило, а потом дали завершающий кадр, но очень коротко: человек в ватнике, в странной позе лежащий на полу.

А вот и информация в газете: «Убийца-маньяк казнен». И далее: «Маньяк Андрей Чикатило, совершивший более 50 убийств и неделю назад получивший отказ на прошение о помиловании, отправленное Президенту РФ, расстрелян 14 февраля 1994 года в одном из режимных учреждений в Ростовской области, сообщил первый заместитель прокурора области Анатолий Харьковский».

Ну и в конце — немного мистики.

Решив снять копию с этого дела для памяти, я попросил об этом секретаря и передал ей зеленую папку, чтобы она сделала копию на копире. Но замечательная японская машина, до сих пор работавшая безотказно, вдруг сломалась. Не выдержала, наверное...

Секретарша вернулась мрачная и произнесла растерянно:

— Мистика! Но ксерокс вырубается именно на Чикатиле. Другие тексты он печатает, как обычно.

— Ерунда. Вызови мастера, — сказал я.

Но когда она вышла, на всякий случай перекрестился.

Правда, чертовщина на этом не кончилась. Мастер наладил ксерокс, испробовал его работу, но как только заложил дело Чикатило, ксерокс снова встал... В общем, секретарша попросила мастера не уходить, и с трудом, с его помощью и только с третьего захода ксерокс сработал и копию выдал. Но с тех пор он часто ломался, пока не сломался совсем.

— В таких случаях надо не мастера, надо священника вызывать, — произнес по телефону мастер.

Когда я перепечатывал эту главку дома, отключился и компьютер. Мне с трудом удалось, и то не с первого раза, восстановить его до конца.

Впрочем, до конца ли?

ЛЮБИТЕЛЬ ЛОШАДЕЙ (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

Головкина поймали вскоре после суда над Чикатило — тот самый Удав, о котором я упоминал. Я далек от мысли сравнивать этих двух маньяков, они теперь все будут «чикатилы», поскольку преступления против детей, да еще такие кровавые, не могут быть соизмеримы ни с чем, они за пределами человеческого разума. Но для более глубокого понимания проблемы, поскольку она до поры непреодолима и будет существовать, по-видимому, столько же, сколько существует цивилизация (в России, по предположению ученых, потенциальных маньяков насчитывается несколько сотен!), я осмелюсь предложить вниманию читателей и это дело, в нем есть кое-какие отличия от предыдущего.

Очень ценно, на мой взгляд, и не только для специалистов, что здесь довольно подробно разъяснены мотивы каждого преступления, состояние, самочувствие и логика поведения самого преступника. И даже в некотором роде его, хотя и первобытная, идеология. Но хочу сразу предупредить чувствительного читателя: эти страницы не будут легкими даже по сравнению с предыдущими, так что при желании можете их опустить.

Головкин был осужден за умышленное убийство 11 мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет при отягчающих обстоятельствах и другие преступления, совершенные на территории Одинцовского района Московской области в 1984–1992 годах. В судебно-сексопсихиатрической экспертизе научного центра им. В.П. Сербского значительное место уделяется детству испытуемого, что, на мой взгляд, правильно. Я не раз уже повторял, что именно в детстве следует искать истоки всех проблем, которые возникают у нас в дальнейшем.

СЕМЬЯ

По отзывам окружающих, семья Головкиных отличалась в отношениях с соседями замкнутостью, формальностью, избирательной эгоцентричной потребностью в общении. «Они видят соседей только по необходимости, а в повседневной жизни как бы их и не замечают». Сам Сергей Головкин по характеру формировался тихим, замкнутым, стеснительным,

всегда отдавал предпочтение играм наедине, в одиночку, нежели забавам со сверстниками; родителям стоило больших трудов отправить его на улицу поиграть с другими ребятами в футбол или хоккей. Домой для игры он никогда и никого не приглашал. В семье не было принято ласкать детей, целовать их, только иногда, в порыве чувств, родители позволяли себе сажать детей на колени.

Отвлекусь, чтобы обратить внимание родителей на эту деталь, она ключевая. Там, где нет любви, ее место занимает жестокость. Это не только про детей, это про любого человека и любую семью. Не бойтесь баловать своих малышек, целуйте и ласкайте их как можно больше. Это чувство проявленной к ним любви станет им опорой на всю жизнь.

Отношения с отцом у Головкина ухудшились после того, как тот насильно заставил сына постоянно принимать ледяной душ, и делал это всегда грубо, резко, прямолинейно, «действовал, как фашист», несмотря на сопротивление сына. С тех пор, по отзывам матери, он мылся неохотно и уже взрослым мог лечь после работы в постель, не умываясь. Сам Головкин в своих признаниях считал отца несправедливым. Так, в детстве отец старался исправить сутулость сына «тычками»: тыкал пальцем в спину, бил рукой и т. д. Отец никогда его морально не поддерживал, наоборот, ему доставляло удовольствие рассказывать окружающим о неудачах сына, посмеяться над ним. Однажды, заподозрив сына в краже кольца, мать долго допрашивала, трясла, била его, после чего с ним произошел странный припадок, похожий на умопомешательство, продолжавшийся два часа.

ШКОЛА

В школе он оставался таким же замкнутым, необщительным, стеснительным, родители не могли припомнить кого-либо из его школьных друзей. В классе всегда был на вторых ролях, лидером никогда не был, хотя в мечтах представлял себя первым. С 5 до 10 лет появилась привычка к мастурбации половых органов. С 11–12 лет эти занятия стали регулярными, до двух раз в день. В разговорах на сексуальные темы, возникавшие у мальчишек, никогда участия не принимал. Никогда не дрался, с девочками не дружил, был совершенно незаметным, «серым», «никаким».

ФАНТАЗИИ

В 12–13 лет сильно подросток, стал сутулиться, на теле и лице появилась угревая сыпь, отчего стал еще более раним, замкнут. Иногда ему казалось, что окружающие сторонятся его, потому что ощущают исходящий от него запах спермы, догадываются о мастурбации, а за его спиной обсуждают его. Все это усиливало его садистские фантазии, в которых он представлял себе мальчишек-одноклассников, с которыми совершает половой акт, мучает их. Иногда он переключался на литературные темы (вспоминайте Чикатило!), воображал сцены, во время которых героев-пионеров пытали фашисты, себя он представлял на месте палача. А когда лицезрел памятник, посвященный детям-героям времен Отечественной войны, эти картины усиливались, «оживали». Он представлял, как его одноклассники голыми жарятся на сковородке, извиваются, сгорают. Мечтал об эксгумации какого-нибудь трупа, самостоятельном расчленении.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

В возрасте 12–13 лет поймал на улице кошку и принес домой, чтобы осуществить свои фантазии. Когда повесил кошку, а затем отчленил ей голову, наступила разрядка, ушло напряжение, возникло душевное облегчение. Кошка, понятно, была репетицией, предварительной пробой сил, но «ощущения разрядки» будут сопровождать его и далее, когда он станет претворять свои фантазии в деле — на детях. Самое приятное чувство, по его воспоминаниям, он ощутил в тот момент, когда истязал кошку. Он пытался изучать и поведение рыб в процессе варки их на плите, но, правда, никакой эмоциональной разрядки не испытал.

ЛЮБОВЬ К ЛОШАДИ

В этом же возрасте появилось сильное увлечение лошадьми. Как определила мать, это была страсть к лошадям. Много часов проводил он на ипподроме, посещал конноспортивную секцию, собирал специальную литературу, плакаты, скульптуры, посвященные жизни лошадей. В семье не одобряли этого увлечения, на этой почве часто возникали конфликты, ссоры, во время которых отец вел себя не-

сдержанно, бесцеремонно, обзывал сына «умственно отсталым». Но тот продолжал свои занятия, занимался верховой ездой, с любовью ухаживал за животными на ипподроме. Общение с животными доставляло ему удовольствие, создавалось впечатление, что они понимают, чувствуют его, по-доброму к нему относятся. Ему казалось, что они могут говорить, что у них разный характер, повадки, привычки. Пытался все это изучать. Особое отношение было к жеребьям, нравился исходящий от них запах молока и мягкой шерсти.

Я задержусь на этом теплом образе, взятом из его воспоминаний, и попрошу вспомнить о такой единственной в его жизни привязанности, даже любви — пусть к жеребьям! — когда вонзятся в вас и прожгут насквозь, как раскаленное железо, эпизоды пыток детей.

КОНЕВОДСТВО

Он успешно сдал экзамены в Тимирязевскую академию, успевал по всем предметам, был комсоргом группы, но однокурсники характеризуют его «тихим», «серым», «беззвучным», всегда сторонящимся девушек. Некоторые вспоминают, что в разговоре он был всегда каким-то отчужденным, но очень любил животных, при общении с ними внешне менялся, становился ласковым, внимательным. Еще о нем вспоминают, что он очень много ел и был всегда голодным.

Как-то на Новый год они всей группой поехали в гости, после застолья все пошли танцевать, а Головкин как сел за стол, так и ел всю ночь... «Он ел, как животное, не обращая ни на кого внимания», — вспоминает его сокурсница.

ОБИДЧИКИ

На последнем курсе он был избит подростками, ему выбили зубы, повредили нос. После этого его постоянно мучило чувство обиды, хотелось найти обидчиков и отомстить им. На фоне таких переживаний фантазии садистского плана вспыхнули с новой силой и всегда сопровождались актами мастурбации. Он представлял, как расправляется с обидчиками, насилует их, убивает. По отзыву психологов, человек, убивающий ребенка, подростка, убивает в себе тяжкие вос-

поминания, связанные с этим возрастом. Таким образом он избавляется от комплексов прошлого.

Именно тогда, по словам Головкина, в нем вызрело твердое убеждение, уверенность, что он совершит убийство.

ПОИСКИ

Начался активный поиск «объектов» — в лесу, в пионерских лагерях, в основном во время отпуска и по выходным дням. Подпитывали это желание окружающие мальчишки, которые встречались ему на улице, в метро. При этом учащалось дыхание, туманилось в голове, сам процесс поиска вызывал приятные ощущения, что проявлялось в половом возбуждении, в возможной эрекции. И хотя первые поиски были безуспешными, возникало «успокоение». В голове сформировался «идеальный облик» мальчика-подростка 12–14 лет, худенького, среднего роста, темноволосого, который имел бы характер, противоположный его собственному. Оставаясь наедине с собой, он подробно продумывал сцены насилия.

В последующем, в процессе «охоты», сформировался психологический портрет жертвы: она должна быть любопытной, небоязливой, с жаждой приключений и без должного надзора со стороны взрослых. Головкин в своих показаниях подчеркивает, что старался выбирать ребят, склонных к бродяжничеству (вспоминайте Чикатило!), к совершению преступлений, уже куривших. С такими ребятами было легче вступать в контакт: им можно что-то пообещать, чем-то их заинтриговать, а исчезновение таких подростков не сразу заметят. Были продуманы и точно отобраны предметы, необходимые для будущего убийства: бинокль, веревка для удушения, ножи, набор кепок, платков и ремней для связывания жертв и ограничения их поля зрения.

ЖЕНЩИНЫ

После окончания академии с 1982 года он работал на московском конном заводе № 1. В характеристике оттуда подчеркивается, что Головкин с большой любовью относился к лошадям и детям (!). Но при этом окружающие отмечали его затрапезный неопрятный вид. Сторонился он и женщин, в отношении с ними был безынициативным, пугливым, при возможности интимной ситуации всегда находил предлог

избежать ее. Женщины-сотрудницы, проживавшие на территории конезавода, в своих показаниях сообщают, что к Головкину они относились с чувством жалости, при случае старались накормить его, напоить чаем, потому что он выглядел всегда несчастным и голодным. Но уже все знали, что женщины его не интересуют, в разговоре он подчеркивал, что еще не встретил ту женщину, в которую мог бы влюбиться.

Особый же интерес он проявлял к селекции лошадей и при проведении осеменения или ректальном обследовании слишком задерживал руку в прямой кишке животного, при этом пел песни, чувствовалось, что это нравилось и доставляло удовольствие. Рабочие конезавода тоже отмечали странности, происходившие с Головкиным в процессе осеменения лошадей. Практикантке, бывшей поблизости, как она рассказывает, стало «стыдно за его возбужденный вид».

ЭПИЗОДЫ

На заводе испытуемый подружился с подростками 12–15 лет, приходившими на конюшню из интереса к лошадям. Они часто бывали в гостях у него, выпивали, смотрели телевизор, причем он был осторожен и просил, чтобы ребята приходили вечером, всегда интересовался, видел ли кто из жителей, как входили. В комнате у него всегда было грязно: банки, мусор разбросаны по всей комнате, в углу стоял мешок с мусором.

Однажды кто-то взял у него «конский возбудитель» для девушек, но эксперимент прошел неудачно, вместо сексуального возбуждения у девушек наступило расстройство желудка. Когда об этом рассказали Головкину, тот объяснил, что препарат следует вводить с инъекцией, а не давать с пищей.

Как-то раз он пригласил в гости подростка Иванова, угостил его разбавленным спиртом, предложил остаться ночевать. Когда мальчик разделся и лег, к нему в постель, совершенно голый, влез Головкин и предложил совершить половой акт в задний проход. Иванов, испугавшись, вскочил с кровати, тогда Головкин стянул с него трусы и взял его половой член себе в рот. Когда Иванову удалось вырваться от него, Головкин просил не принимать близко к сердцу случившегося.

Дружеские отношения возникли еще с одним подростком, Пасько, который сразу к нему привязался, потому как обожал слушать рассказы о лошадях, об их привычках. В апреле или мае 1986 года он предложил мальчику поехать в Кубинку помочь убирать картошку. Выйдя из поезда, они углубились в лес, где Головкин сказал, что обманул своего молодого дружка и что никакой картошки нет, а пригласил он его якобы осмотреть землянку, где находятся старинные уздечки и оружие, и просит помочь перевезти все это для музея, который он организует на территории конезавода. При этом подчеркнул, что не хочет, чтобы кто-то знал дорогу, для чего завязал Пасько глаза черным платком, а руки связал брезентовым ремнем. После этого долго водил его по лесу, перелезая через какие-то кусты, а дорогой выпрашивал, кому сообщил Пасько об их совместной поездке. Когда мальчик сказал, что об этом знает его мать, Головкин посадил его на пенек и сказал, что скоро придет. Минуты через две он вернулся и заявил, что их опередили, что кто-то вытащил оружие из землянки и им нужно возвращаться домой.

Через несколько дней Головкин снова уговаривал Пасько поехать с ним, однако смотрел при этом странно, его взгляд настораживал.

НАЙТИ МАЛЬЧИКА

Начиная с 1980 года, то есть с момента избиения его подростками, у Головкина ясно сформировалось желание найти и убить мальчика. Но не было четко разработанного плана, да и боялся он последующего наказания. Были какие-то сдерживающие силы. Потом их не стало.

Летом 1982 года на лесной дороге встретил мальчика лет тринадцати. Головкин к нему подошел и попросил перенести мешок из леса. Мальчик согласился, но был настороже и держался на некотором расстоянии. Когда, зайдя в лес, Головкин к нему повернулся, он испугался (видно, что-то прочел во взгляде) и бросился бежать. Головкин не стал его догонять, однако от «возвышенных чувств» у него перехватило дыхание. Впоследствии состояние возвышенности сменилось раздражением и досадой на себя.

Недели через две-три он возвращался из отпуска через лес и вновь увидел мальчика лет 14–15, при этом, как гово-

рит Головкин, его как будто пронзил электрический разряд. Это чувство при обнаружении жертвы он будет испытывать всегда. У мальчика оказались корзина и нож, очевидно, для сбора грибов. Головкин тоже сделал вид, что собирает грибы, и стал медленно приближаться к мальчику — якобы для того, чтобы показать, какой он нашел гриб. Когда мальчик стал рассматривать гриб, Головкин резким движением отбросил свою сумку, обеими руками ухватил мальчика за шею и стал душить. Они упали, но мальчик сильно сопротивлялся, начал кричать и наконец вырвался и убежал. По словам Головкина, у него голова гудела от возбуждения.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА

Андрей Минин, четырнадцать лет, отдыхал в пионерском лагере «Романтик». Пошел погулять, присел на бревно и почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Обернувшись, увидел мужчину, хотел убежать, но мужчина схватил его за руку, стал просить помочь что-то донести, но вдруг вытащил из кармана нож, приставил его к животу мальчика и приказал не сопротивляться. Он ловко связал мальчику руки поясом ветровки, потом вынул из кармана большую кепку и надвинул ее мальчику на глаза, так что он не мог ничего видеть. Крепко схватив за руку, повел, судя по всему, в глубь леса. Через некоторое время мужчина приказал ему лечь лицом вниз. Что случилось дальше, Минин не помнит, когда очнулся, руки были развязаны, не было бровок и обуви.

Со слов же Головкина, тот накинул мальчику петлю, приготовленную заранее, на шею и стал ее затягивать, наблюдая предсмертные судороги потерпевшего. Решив, что мальчик мертв, Головкин начал его раздевать, но услышал хрипы и скрылся. Минин чудом остался жив. В отличие от тех, других, одиннадцати своих сверстников.

А БЫЛИ ЛИ МАЛЬЧИКИ?

Известно, что Головкин после задержания, находясь в камере предварительного следствия, пытался вскрыть себе вены, при этом обильно вымазался кровью. В период следствия давал показания, отвечая конкретно, по существу, на поставленные вопросы. Он последовательно сообщил все, что касалось совершенных им убийств, указал места захороненных им трупов.

Первое убийство было совершено Головкиным 19 апреля 1986 года. Он хорошо запомнил этот день именно потому, что это было самое первое убийство. Приезжая несколько раз в Катуар в поисках мальчиков, он пешком проходил по безлюдной лесистой местности, тщательно осматривая поселок, футбольное поле, где играли ребята. Так случилось и в тот раз. В это время его обогнал подросток на велосипеде. Пройдя немного, Головкин обнаружил велосипед у дерева и подростка, курившего в глубине леса. Приблизившись якобы для того, чтобы попросить спички, Головкин схватил его за грудки и приказал идти вместе с велосипедом в глубь леса.

В тот день он впервые совершил развратные действия — потребовал, чтобы подросток взял его член в рот и пососал.

Никакого сопротивления подросток не оказывал: он был сильно напуган. Семяизвержения от орального акта не наступило, хотя «удовольствие» он получил. Затем Головкин потребовал, чтобы подросток снял брюки, трусы и лег на живот. Связал ему руки. С обнаженным половым членом лег на него, накинул на шею веревочную петлю и затянул. Придушив, перерезал мальчику горло. Сделал несколько надрезов на мошонке.

Прошу простить за столь протокольный стиль, но воспроизвожу точно по документу и не представляю, как об этом можно еще сказать.

Если вообще можно говорить.

Делал, по словам Головкина, он все это для достижения удовлетворения в половом и психологическом плане. Эту мошонку он принесет домой и будет держать в банке, присыпав солью и испытывая при ее виде чувство ностальгии и радости.

В одно из следующих убийств он отсечет голову и вместе с половыми органами, которые он научится вырезать ловко, одним движением, тоже принесет домой. «Расчленение производил, — пояснит он, — для удовлетворения собственной страсти». При этом он отрезал подростку половой член с яичками, вскрыл брюшную и грудную полости. С целью пробы на вкус он отрезал еще с бедра кусок мяса, предварительно поджарив его на огне паяльной лампы... делал это, как он сообщит, не от голода, а для уточнения ощущений, но мясо

ему не понравилось. А вот голову убитого «обработал», снял скальп, вынул мозг, обжег череп паяльной лампой и хранил на память, показывая перед смертью другим жертвам и поясняя, какими они станут.

Производя все это, чувствовал себя свободно: «наслаждался».

Здесь бы сделать передышку.

Ни сил, ни мужества не нахожу в себе, чтобы все это воспроизводить подряд на бумаге. И далее, поверьте, прерывался много раз, чтобы вернуться к себе, в себя, в свой собственный мир и убедиться, что он еще не рухнул от наших грехов.

А за окошком теплый летний день, и солнце золотит зеленые ветки елок, чуть вздрагивающих от ветра. И так мирно, так чисто кругом, что, право, не хочется представлять, что есть что-то иное, чем этот благостный день.

Далее, с каждым новым убийством, пытки будут все изощреннее. На досуге, в мечтах, он будет придумывать новые виды пыток и затем воплощать их в жизнь. Но при допросе признается, что чем быстрее совершалась казнь, тем скорее проходило чувство удовлетворенности. Постепенно возникало ощущение, что сделал что-то не так, что-то недоделал. И вообще, идеальным акт насилия, как бы изобретательно он его ни проводил, оставался только в воображении.

Вот описание убийства одного из подростков: «Кожу снял с целью сохранения единым лоскутом, изнутри посыпал солью, которую специально с этой целью принес из конюшни. Убитый вызывал у него «сильную симпатию», поэтому хотелось с телом совершать побольше манипуляций: резать, вырезать...» Когда все это проделал, снял скальп, отчленил руки-ноги, отрезал член и вынул органокомплекс, «чувство симпатии захлестнуло его».

В дальнейшем, купив «жигули», он стал привозить своих жертв в гараж, где для этой цели в вырытом подвале на дыбе, которую он специально смастерил, подвешивал своих жертв буксировочным капроновым шнуром за ноги, надевал на голову пластиковый мешок, чтобы насладиться удушением жертвы, потом снимал ее, полуживую, насиловал, снова подвешивал и далее при помощи ножа и паяльной лампы опаливал лицо и мошонку, вспарывал брюшину, отторгал

половые органы. Жертва еще дышала... Или, привязав к половым органам шнур, раскачивал подвешенное за ноги живое тело, отчего возникало «чувство удовлетворения».

Но самое сильное чувство, по его словам, вызывал момент агонии. Перерезав горло, сливал кровь в детскую, подставленную под тело ванночку... Отсекал голову и части тела. Отрезал нос, уши. Все это «очень возбуждало». Если жертв было двое или трое, остальные помогали мучить, убивать, даже пробовали на вкус товарища, зная заранее, что следующая очередь будет за ними.

ПРЕРВУСЬ...

Чтобы еще раз попросить прощения за столь жестокий и подробный «отчет». Но без него невозможно было бы понять, до какого уровня может пасть существо в человеческом облики. Конечно, ирреальность происходящего не может быть, сужу по себе, адекватно воспринята нашим сознанием. Хочется думать, предполагать, что это такой злой фильм, что это наваждение из кошмарных снов, что это бред, фантазии из сумасшедшего детектива. Но это происходило на самом деле. И не так давно. В то время, когда многие из нас были где-то неподалеку, отдыхали на дачах и гуляли со своими детишками по лесным дорогам, собирали полевые цветы или грибы, наслаждались первыми ягодами земляники.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Головкин приехал на привокзальную площадь специально, чтобы «снять» какого-нибудь мальчика. В этот момент три подростка сошли с электрички, и он предложил их подвезти. По пути предложил им заняться бизнесом, совершить кражу сигарет. Они согласились. Двое из них залезли, по его совету, в багажник, один лег на пол в салоне автомобиля. Таким образом их удалось завезти в гараж. Там он закрыл дверь, велел им спуститься в погреб. Поскольку по пути он предупредил, что заедет в гараж, они были спокойны, не волновались.

Я подробно рассказал о первом убийстве Головкина, теперь приведу пример последних сразу трех.

В погребе под угрозой ножа они разделись, он их связал. С каждым по очереди Головкин совершил акт мужеложства,

заставлял брать свой половой член в рот, кроме того, заставлял их по очереди брать в рот половые члены друг друга, облизывать их, но эрекции ни у кого, как он отмечает, не наступило. Головкин уточняет, что в поведении детей для него был интересен сам процесс их действий, их унижение, подчинение своей воле, отчего наступал эмоциональный подъем. Чтобы проверить, как они будут реагировать на угрозы, он предупредил ребят, что сейчас, по очереди, он будет их убивать и что вместе с ними у него будет одиннадцать трупов.

Реакция, по его словам, была такая же, как и у прежних жертв: мольба о пощаде, готовность выполнить любую его просьбу, привести кого ему надо из товарищей и тому подобное. Он стал на глазах у остальных вешать первого. При этом они никак не протестовали, в их глазах застыл испуг. Как раз перед этим случаем Головкин усовершенствовал систему пыток, применяя дыбу и дополнительные кольца. Благодаря этим приспособлениям, как он объяснил, дети уже не могли кричать.

Убивая троих, Головкин установил очередность, объявив, что последним он убьет Ефремова, так как мальчик ему больше всех понравился. Хотелось подольше видеть его мучения. Первым он убил Сидякина, повесив его на толстой веревке в оплетке. Вторым Шарикова, повесив на другой, сине-белой веревке. Цвет веревок Головкин хорошо помнит. Он описывает, что подвесил мальчика за ноги и начал расчленять. Ефремов сидел в углу на табурете, не проронив ни звука.

Головкину же расчленение трупа на глазах у Ефремова «доставляло удовольствие». При этом он показывал, даже объяснял ему, где какие органы расположены. Мальчик все пережил «спокойно, без истерики», хотя вначале закрывался, старался отвернуть голову. Когда Головкин «закончил работу» (это все его слова), подошла очередь Ефремова — он повесил его за руки на крюк и раскаленной проволокой выжег на его груди нецензурное слово из трех букв. Мальчик пытался кричать от боли, но Головкин зажимал ему рот рукой. Потом он снял его с крюка, заставил сосать свой член, потом снова подвесил, подставив под ноги табурет, как при казни, и сильным движением ноги его вышиб.

Расчленять труп последнего не стал, так как «насытился». На следующий день в мешках отвез трупы в лес, отчленил каждому голову, снял «маску» лица, а у Ефремова снял на память скальп и выколол глаза. У него же он нашел цепочку и оставил себе на память как амулет, считая, что он уберезет его от всяких неприятностей.

Не уберез.

ТОМОГРАФИЯ

«Испытуемый контакту доступен, — указано в акте медэкспертизы. — Личность характеризуется сенситивностью, ранимостью, эгоцентризмом, ригидностью, дистанцированностью, отчужденностью, нарушением межличностных отношений». Там много еще и других научных слов, которые, наверное, важны для суда, но не для нас с вами. Главный же вывод таков: хотя Головкин и обнаруживает признаки шизоидальной психопатии с проявлением садистского сексуального влечения, но он мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими, а значит, был вменяем.

У него не только длину и толщину члена замерили, ему даже компьютерную томографию головы сделали, и оказалось, что «каких-либо изменений в веществе мозга больших полушарий, стволе, мозжечке не выявлено».

К сожалению, томографию души людской делать еще не научились. По восточным верованиям, зачатки души наблюдаются уже у камня и у деревьев душа тоже есть. Но можно с уверенностью утверждать, что ее ни в каком виде, ни в целом, ни в зачаточном, ни в деформированном или урезанном, у Головкина бы не обнаружили.

Вот как описывают его медэксперты: «Движения испытуемого скованны, угловаты, неуклюжи, лишены гармоничности, непринужденности, пластичности. Во время беседы с трудом подбирает удобную позу, переставляет ноги, перекладывает руки, стараясь держать их в нижней части живота, ближе к лобку. Неадекватно улыбается, старается не смотреть в глаза собеседника (вспоминайте опять Чикатило! — А. П.). Речь последовательная, конкретная, лишена эмоций и интонаций. На вопросы отвечает по существу, но во время беседы остается погруженным в себя. По его словам,

в людях ценит порядочность, честность, а своей основной отрицательной чертой считает застенчивость. В общении с людьми ему мешает взаимное чувство непонимания».

А вот лошади... «Красивые животные, и всегда его понимали».

СЕКС ГОЛОВКИНА

При разговоре о сексе оживляется, однако, несмотря на видимый интерес, он практически не понимает вопроса о половом влечении, плохо представляет значения слов «эротика», «гомосексуализм», постоянно подчеркивает, что его привлекала только одна сцена — агонии. Самым интересным был вид агонии при удушении, а именно: подергивания тела, предсмертные конвульсии, хрипы, безликое выражение лица, остановившиеся, смотрящие в одну точку глаза, вывалившийся язык, произвольный акт дефекации и мочеиспускания...

Мне не хватает дыхания, чтобы это даже записать.

Говорю, я много раз прерывался, делая эти главки, но не смог привыкнуть к тому, что вещи, которые невозможно ни произнести, ни написать, ни вообразить, так спокойно и беспристрастно рассказываются Головкиным и так же спокойно и беспристрастно записываются медиками, его обследующими. Да нет, возможно, они комплексовали, нервничали, переживали, но в протоколы-то все это никак не попадало, и оттого их еще страшнее читать.

Но вернемся к Головкину. Разговоры о женщинах вызывали у него чувство брезгливости, к овладению навыками полового акта не стремился, кроме того, были у него опасения не справиться с собой. Все его переживания и его понятия о сексе лежат в другой плоскости, описанной как чувство «возбуждения и возвышенности» при убийстве, при полном отсутствии жалости к своим жертвам. Когда «объект» уже находился в его власти, ему становилось легче дышать. Появлялось предвкушение радости. Сам процесс пытки длился часа три и воспринимался «на одном подъеме». А предшествующий ему анальный акт не считается в этом процессе чем-то существенным, он лишь увеличивал власть над жертвой.

Действия свои Головкин начинал с удушения жертвы. Это, по его словам, было самым значительным. А вот пере-

живания между удушением и расчленением были у него различными.

При расчленении тела возбуждение возникало при виде внутренностей. От их созерцания происходила «психологическая разрядка», наступал «эмоциональный подъем», а радостное состояние нередко заканчивалось мастурбацией с семяизвержением. После завершения убийства и расчленения появлялось ощущение пресыщенности. В последующем, до появления трупного запаха, постоянно возвращался в подвал для поддержания успокоенного состояния, а совершая акты мастурбации, вспоминал о деталях поведения подростков, их пытки, рассматривал предметы, взятые у мальчиков.

Кстати, у кого-то из них он взял на память осколок цветного стеклышка... Господи!

НЕ ПО КНИГЕ

Привлекало его и то, что своей властью он разрушает детскую дружбу, заставляя мальчишек друг друга вешать. Возникающее чувство власти выражалось в возвышенных ощущениях, в электрическом заряде от удовлетворения, как он говорит, тем, что подростки ему полностью подвластны. Доставляло удовольствие наблюдать отношения между ними в момент гибели, отсутствие борьбы друг за друга, отсутствие героизма и их предательство. Сравнивая их отношения с прочитанными в детстве книгами, он убеждался, что людям не свойственен героизм. Когда речь шла об их собственной жизни, мальчики легко подставляли товарищей...

Эту тему я выделил специально, она затрагивала меня не только как человека, но и как писателя, рассказывавшего о близости людей, об их доверии друг к другу. Да и хемингуэевская фраза, брошенная как бы попутно в повести «Старик и море» — «человек один не может ни черта!» — опровергает всю эту волчью идеологию Головкиных. Понятно, что ребята в момент его «опытов» не могли внутренне сопротивляться, уж слишком непостижимым для детской психики было то, что с ними и на их глазах происходило. Дети были в шоковом состоянии, и героизм здесь ни при чем. А вот «мастер», который производил таким способом проверку детей на нравственность, оказался, безусловно, по всем своим ис-

ходным данным фашистом, и ему было просто необходимо подтверждение его теории о том, что мир этот состоит из таких же ничтожеств и зверей, каким был он сам.

ФИНАЛ

Когда выезжал Головкин на места поиска трупов со следственной группой, то опять переживал, по его словам, «ностальгические ощущения», и останки служили ему поводом для воспоминаний. Ни переживания, ни угрызания совести его не преследовали. Ни во время преступлений, ни после, во время суда. И он сам подчеркивает, что у него «не было конфликта с собой, каких-либо переживаний, борьбы мотивов, а все было как само собой разумеющееся».

— Головкин, зачем ты отрезал голову, скальпировал? — спросили его.

— А мне нравилось, — ответил он спокойно. — У меня всегда была цель убить какого-нибудь молодого хулигана. Я жаждал мести!

Когда его задержали, он, по его словам, был сильно напуган. Но уже спустя несколько дней испуг сменился чувством облегчения, свободы, что наконец-то все закончилось и больше не повторится. На судебном заседании Головкин полностью признал вину, отказался от дачи показаний, сославшись на то, что давал подробные и достоверные показания на предварительном следствии, которые он подтверждает. Медикам же заявил, что ко всему относится «фаталистически» и смерть его не пугает: «Чему быть — того не миновать». Но при этом говорит о сильном чувстве жалости к матери.

Когда же ему предоставили после суда возможность свидания с матерью, он отказался от встречи, мотивируя это «стыдом перед матерью и невозможностью из-за содеянного смотреть ей в глаза».

ПУСТЫРЬ

Его прошение, адресованное нам, в Комиссию, коротко: «Прошу Вас помиловать меня и заменить высшую меру наказания, учитывая мое чистосердечное признание и раскаяние. 23 декабря 1994 года».

Комиссия проголосовала за отклонение единогласно.

Сокамерник Головкина по шестому коридору смертников в Бутырке, Борис Голубев, осужденный за два убийства, запомнил, что маньяк спокойно перенес сообщение о том, что его ходатайство отклонено Президентом: «Перед тем как его увезли, — представляете! — спокойно лег спать!»

Где-то в начале 1995 года, после указа Президента, Головкин был расстрелян. А в подмосковном поселочке близ Барвихи на месте страшного гаража приезжий корреспондент нашел лишь кучу утрамбованного песка. На дереве венок из живых цветов. Родители погибших детей снесли гараж, закопали подвал и сожгли машину Головкина.

А не так давно и я там проезжал, в детский оздоровительный лагерь к своему ребенку. Заборы, гаражи, перелески. И тут мой водитель кивнул вправо:

— Здесь. — И добавил: — Маньяк этот, который... Помните?

Указал на пустырь. К этому времени минуло много других дел, я даже успел вычеркнуть из памяти те страшные эпизоды. Думал, что насовсем стер, а как увидел этот серый пустырь, сердце екнуло... Оказалось, ничего не забыл, и подвальчик с дыбой, и «жигуль» с ребятишками, и остальное.

И летний день померк.

СУДЬБА КОМАНДОРА (ЗЕЛЕНАЯ ПАПКА)

«Судьба Командора» — так Ряховский обозначил тему своей книги, которая попала в органы следствия: три варианта повести в трех общих тетрадах под странным названием «Старфал». Все три варианта не закончены, но основная идея — судьба Великого Командора, который посвятил свою жизнь Межпланетной Федерации, наведению в ней порядка и дисциплины, а также «созданию нового поколения людей». Стиль изложения, как сказано в акте комплексной судебной экспертизы, последовательный, конкретный, несколько наивный; описываются конкретные ситуации борьбы за власть роботов-киберов под руководством их создателя Великого Командора с его же помощниками, взбунтовавшимися на межпланетном корабле. В отличие от людей, роботы послушны и бесстрашны, могут выйти достойно из любой ситуации.

Вроде бы далековато от земных грешных дел, которыми в это время занимался маньяк. Правда, сам он утверждает, что вкладывал в повесть некоторые моменты из собственной жизни. Я готов этому верить и считаю, что повесть, пусть в пересказе, поможет нам лучше разглядеть некоторые черты характера ее автора. По его словам, писал он каждый вечер, запершись в своей комнате, и радовался тому, что получается. Сам процесс творчества действовал на него успокаивающе. Повесть (иногда автор называет ее романом) прочитала и его мама. Поняла, что он пишет книгу про Командора, и ничего более. Ничего предосудительного в повести не нашла. Автор уклонился от ее расспросов, пояснив лишь, что придет время, когда он все ей покажет, а возможно, отнесет повесть в издательство...

Когда повели нас, нашу Комиссию, в Бутырку, к смертникам, в самые нижние, возможно подвальные, этажи, от камеры к камере, вдоль холодных обшарпанных стен коридора, офицеры из охраны, предупредительно-вежливые, возле одной из камер, замедлив шаг, сообщили:

— А здесь у нас Ряховский. Желаете взглянуть?

Дело Ряховского мы тогда еще не рассматривали, но были наслышаны из печати: маньяк, убил восемнадцать человек. Мужчин и женщин. Совершал половые акты с группами.

Мы прильнули к двери: крупный мужчина, темноволосяй, с черными же усами, не обращая на нас внимания, вышагивал по камере. Вообще-то в камере было несколько человек, кажется трое, но его мы угадали сразу... Что-то все-таки особенное в нем было.

Один Булат не захотел смотреть, а прислонился к стене и молча, насупившись, ожидал нас.

Перечислять все преступления этого маньяка вряд ли нужно, они однотипны. Приведу несколько примеров.

«9 июня 1989 года в лесу у Новолюберецкого кладбища умышленно убил Пилюгину, после чего совершал половые акты с умершей. 13 июля в Измайловском парке г. Москвы умышленно убил Шепелеву, затем совершил половой акт с убитой, отчленил голову, сделал разрезы на животе, молочной железе потерпевшей. 22 октября 1992 года в Измайловском парке г. Москвы совершил умышленное убийство

Будина путем нанесения ударов кулаками, сдавливания шеи руками, ампутировал половые органы потерпевшего. 9 марта 1993 года в лесу на первом километре Рублевского водозабора умышленно убил Шпаро, совершил половой акт с убитой, вложил взрывпакет во влагалище и взорвал его, поджег волосы на голове у трупа...»

Первое преступление датируется январем 1988 года, последнее (из выявленных, конечно) апрелем 1993 года. Пять годочков с лишним вел он охоту за людьми. В столице, между прочим, под боком у московской, столь многочисленной, милиции.

Этим же временем (год 1988 и далее до ареста) обозначена и его работа над повестью о Командоре.

Вот данные комплексной судебной сексо-психолого-психиатрической экспертизы № 897, которую он проходил с июня 1994 года.

МАТЬ — ОТЕЦ

Данных об отягощенности его наследственности психическими заболеваниями нет. Мать по характеру мягкая, добрая, отзывчивая, душевная женщина, но вот отец грубый, агрессивный, чаще всего наказывал сына с применением, как сказано, физических мер. «Был несправедливым, шофер, одним словом», — говорит Ряховский. В Москву родители переехали из деревни, проживали в комнатухе на две семьи, потом в коммуналке. Испытуемый рос спокойным ребенком, однако в развитии наблюдалось некоторое отставание. Почти до 18 лет отмечался энурез.

По характеру формировался тихим, замкнутым, спокойным, предпочитал общению со сверстниками одиночество, с удовольствием играл один, с большим трудом родителям удавалось отправить его на улицу. Был впечатлителен, раним. Так, однажды принес домой котенка, но животное погибло, и он сильно переживал — со слов матери, плакал. Вообще, мать, по-видимому, играла в его жизни немалую роль: отводила лично в школу, раздевала, даже расшнуровывала ботинки... До 15 лет мыла его в ванной и переживала, что он может простудиться, потому как рос сын болезненным мальчиком.

ПАУК НА СТЕНЕ

Однажды в 5–6-летнем возрасте Ряховский в момент засыпания увидел, как на противоположной стене перед глазами появилось «нечто неодушевленное, механическое, напоминающее паука». Он испугался, попросил отца, чтобы тот проверил гардероб. Через год-два видение повторилось: «Среди бела дня появилось «нечто», вызвавшее резкий страх...» Запомнился и «страшный сон», когда падает он в ручей и чудовищная рыба нападает на него и откусывает ему палец.

ШКОЛА

Учиться ему нравилось, давалось все легко, но с первых дней обучения стеснялся своего избыточного веса. Одноклассники дразнили его «толстым», «уродом», не принимали в свою компанию. Обиды он старался перебарывать в себе, никогда не проявлял их внешне, с родителями не делился, но мать, проведав о его трудностях, хоть и не сразу, но посоветовала ему просто не обращать внимания. Оставаясь один на один со своими переживаниями, представлял себя сильным, смелым, умным, мужественным. Пытался драться с обидчиками. В это время увлекся рыбками, родители купили аквариум, мог часами наблюдать за ними. Поясняет, что держал меченосцев, гуппи, наблюдения успокаивали. Но из-за сырости в квартире аквариум вскоре продали.

Из книг предпочитал научную фантастику: Азимов, Брэдбери...

ВЗРОСЛЕНИЕ

В 13–15 лет появились колебания настроения, которые выражались в длительных, на несколько часов, состояниях раздражения. Раздражали голоса, громкие звуки, яркий свет; никаких внешних причин для этого не было. В такие минуты старался закрыться от всех, уединиться. Рядом с домом был лес, уходил надолго гулять. Уходил далеко, возникали приятные, с его слов, «ощущения успокоения».

Появились новые увлечения: фотография (стал семейным фотографом), астрономия (хотел «открыть мир» для себя), история (хотел узнать историю развития новых цивилизаций, зарождение мира, разума). Однако, с его слов, ответов для себя он не нашел.

Подытоживая сказанное, я не нахожу для себя пока ответа на главный вопрос — об истоках того психического слома, который мог бы привести к его страшным преступлениям. Все как у всех... Детство, дразнилки и драки в классе, и подростковая беспричинная раздражаемость, и увлечение фото, рыбками и миром фантастики Брэдбери. И «паук» или «нечто» страшное из детской фантазии...

Даже у меня был свой «паук», но не на стене, а в зарослях сада, и я запомнил его на всю жизнь. Могу еще предположить, что попытка написать нечто подражательное из области фантастики, но в достаточно зрелом возрасте, в 28–30 лет, показывает, что духовное развитие его было невысоким. Есть в его детстве и светлое начало — это, безусловно, сердобольная мама. Ее любовь могла бы, наверное, предостеречь его от будущих катаклизмов.

Не уберегла. Почему? На это у меня нет ответа.

Далее же грядут события, способные, на мой взгляд, посеять, зачать в нем, в неразвитой его душе, зародыш чудовища.

Судите сами.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В 14 лет он влюбился в девочку из соседнего подъезда. Постоянно думал о ней, встречал и провожал, куда бы она ни шла. Плохо спал, представлял, как они встречаются, ходят в кино. Секса и эротики в его мечтах, как он утверждает, не было. Это было чистое романтическое чувство: дарил ей дорогие подарки, французские духи. Она вроде бы не гнала его, но... и не принимала. Его ухаживания продолжались до тех пор, пока к ним домой не пришла мать девочки и не попросила прекратить его «преследования». Она «холодно объяснила», что «он — человек не их круга». Из показаний матери (опять мама, а где же отец?) известно, что Ряховский сильно переживал случившееся, ей было жаль сына, и в качестве поддержки она стала говорить, что эта девочка действительно не их круга, что она «легкомысленная» и будет его обманывать.

Ряховский подчеркивает, что он и сам впоследствии понял, что девочке нужен был «фирменный муж»: с виллой, дачей, машиной и остальными атрибутами роскоши. Этой

девочке в лице всех других встреченных им «легкомысленных» женщин он и будет вскоре мстить, изощренно, жестоко, самоутверждая свое... нет, не человеческое, скорее звериное превосходство.

По-видимому, таким же был в мечтах, а потом и в поведении, Великий Командор.

ПЕРВЫЕ ШАГИ КОМАНДОРА

После 8 классов и ПТУ г. Балашихи были курсы киномехаников (с удовольствием занимался кино), потом на заводе работал электромонтером, подсобным рабочим. Там, в ПТУ, услышал от ровесников о гомосексуальных контактах. В 17 лет, когда гулял в Измайловском парке, к нему подошел пожилой мужчина и предложил сексуальный контакт в виде фелляции. Из любопытства, как поясняет Ряховский, он откликнулся и с удивлением почувствовал, что его половой член находился в напряженном состоянии, а завершилось все семяизвержением. Мужчина предложил ему совершить анальный акт в активной форме, что вызвало у него изумление: «Зачем это?» — а следом и «презрение к партнеру», которому он дал пинка... Но Измайловский парк станет потом для него местом, где будет он изничтожать «гомиков».

Попервости привлечен он был к суду за нападения на пожилых женщин в районе Черницынских прудов: он их душил, трогал за половые органы. В ту пору (ему было около двадцати лет) его подвергли стационарно-психиатрической экспертизе в институте Сербского, и было отмечено, что он «доступен контакту, сидел в однообразной позе, не глядя на врача (вспоминайте Чикатило и Головкина), заметно оживлялся при разговоре на сексуальные темы, называл свое поведение «гадким» и сообщал, что очень хотел вступить в половую связь с женщиной, однако «выбора не было» и он нападал «на кого придется». И далее: он «понимал, что происходит что-то странное, но остановиться не мог. Этому предшествовала головная боль, сердцебиение... Почему не мог свое желание реализовать естественным путем, объяснить не может».

Ему был поставлен диагноз «Раннее органическое поражение головного мозга интоксикационного генеза», но при этом его признали вменяемым, и в 1983 году Ряховский был осужден на четыре года. Но распознать в нем будущего

серийного убийцу врачи, видимо, не сумели, иначе держали бы его под контролем. Гомосексуальные контакты в заключении отрицает, хотя не раз, по его словам, предлагали. В тюрьме его навещали родители. С ними он был неизменно приветлив, ласков. В семье о преступлениях сына разговора не было: мать говорит, что боялись его травмировать.

После отсидки вернулся на свой завод, где характеризуют его грубым и нетактичным, особенно подчеркивается его жестокое обращение с животными. Здесь имеется в виду история, когда он, охраняя заводской двор, «арестовал» собаку. Но сам он называет это шуткой и в подтверждение своей правоты приводит другую историю, когда ему приказали пристрелить кошку, попавшую в бочку с краской, но он якобы промахнулся...

Предпочитал читать фантастику. С матерью отношения ласковые, мог ее обнять, спросить о здоровье. С отцом часто вел себя сдержанно, иногда спорил на политические темы: о реформах, коммунистах, путях развития и т. д. В это же время начал писать книгу про Командора, в которой, судя по всему, будущий путь развития человечества он воплощает в образе суперчеловека (Командора), который силой наводит в мире свой порядок и пытается качественно улучшить людскую породу, может быть даже создать новую породу в виде послушных ему роботов. Люди его — как и автора повести — раздражали.

ШАГИ КОМАНДОРА

«Мне не было покоя, появилась внутри агрессивность, которую невозможно сдержать» — так описывает он свое тогдашнее состояние. Конкретных записей о совершенных преступлениях он не делал, но вел общую тетрадь, в которой отмечал убийства значками в виде гробиков. Располагались эти значки по обе стороны рисунка, изображавшего смерть с косой; слева — погибшие мужчины (12 человек), справа — женщины (7 человек). Кроме того, в тетради были записи: «Все люди бляди!», «Человек человеку волк», «СССР — палата № 6». И так далее.

Есть свидетельства первых двух пострадавших, которые чудом остались живы. Тут стоит еще отметить, что знакомился Ряховский с женщинами лишь в транспорте и на улице.

Тузикова (это случилось 3 января 1988 года) возвращалась с работы в 21 час 15 мин., возле подземного перехода МКАД на остановке ждала автобуса, людей вокруг не было. Вдруг подошел незнакомый мужчина, был трезвый, закрыл ей рукой глаза и приказал: «Бери сумку, пойдем в лес!» Чтобы от него освободиться, женщина предложила отдать сумку, но мужчина ударил ее ножом в правую часть туловища и отбежал к подземному переходу. Облокотясь на перила, наблюдал за ее поведением. По описанию потерпевшей, речь у него была правильной, однако глаза были неприятными, бесцветными, никаких вещей он не забрал, денег не спрашивал. Тузикову подобрала на дороге попутная машина.

А 17 января 1988 года примерно в 21 час Шустикова возвращалась со свидания с курсантом училища. Со стороны леса к ней быстрым шагом направился незнакомый мужчина. Подбежав, одной рукой закрыл ей рот, обхватил лицо рукой и повалил на землю. Когда потерпевшая стала кричать и звать на помощь, он нанес ей несколько ударов каким-то предметом, потом перетащил через канаву и ударил чем-то в область виска. Она потеряла сознание. Все это происходило на автомобильной дороге, и потерпевшей показалось, что нападающего спугнул прохожий.

Ряховский не только подтвердил обе встречи, но и хорошо запомнил, во что те женщины были одеты, а также подчеркнул, говоря про Шустикову, что «одета она была вызывающе: на ней была короткая юбка».

Остальные потерпевшие, а их 19 человек, уже никогда ничего не расскажут.

ПОЦЕЛУЙСЯ СО СВОЕЙ СМЕРТЬЮ

Впрочем, у нас имеются довольно подробные показания самого Ряховского, память у которого, как уже было сказано, особенно на детали, отменная. Он помнил все. О самом первом случае убийства (это был мужчина) стоит, наверное, рассказать. В вечернее время в Измайловском парке Ряховский познакомился с неким Волковым, почтальоном, работником почтамта «Москва-1», и тот предложил ему совершить половой акт, сам же почтальон выступал в «пассивной» форме. Ряховский согласился, но назначил встречу через три дня у электронного табло на Курском вокзале, сказав, что они

якобы поедут к нему на дачу. Дома он просмотрел карту Московской области и выбрал место, где, как он предполагал, имеется лес. Они встретились. По дороге, в электричке, разговаривали на отвлеченные темы, почтальон сообщил, что женат, имеет двоих детей, сына и дочь. Выйдя на станции на 23-м км, они направились якобы на дачу по тропинке, ведущей через лесной массив. Мужчина сразу же заговорил о том, что ему не терпится приступить к акту, и предложил сразу же начать за кустами. Он спустил брюки и встал «раком».

Ряховский приблизился со спины, изображая, что собирается начать акт, но вместо этого схватил мужчину за горло и начал душить. Затем вынул приготовленную, специально заточенную отвертку и нанес четыре удара почтальону в спину. Мужчина попытался вырваться, повернулся к нему лицом, но получил удар отверткой в область сердца и упал. Но по-видимому, оставался еще жив — нападающий додушил его руками. Потом до конца снял с него брюки, трусы, но половой акт совершать не стал, ибо тот был весь в испражнениях. Одежду выбросил в ручей, а сумку почтальона забрал: в ней находились проездной билет почтового служащего и радиоприемник «Селга».

В общей тетради он поставил первый свой знак, избразив крошечный гробик.

Вот что сказал Ряховский на допросе: он уничтожал всех «гомиков», чтобы они, после смерти пройдя реинкарнацию (перерождение, по восточным верованиям), смогли бы прийти снова в жизнь уже нормальными людьми. И в случае с убийством подростка он повторит, что всех гомосексуалистов надо уничтожать. И он лично поставил перед собой задачу истребить их всех. И еще в одном эпизоде (убийство татарина) Ряховский будет утверждать, что все «гомики» — ненормальные и их можно исправить только с помощью реинкарнации. Татарина он задушил, тот, по словам убийцы, «даже не мяукнул».

Для охоты на «гомиков» он обычно приходил в Измайловский парк, притворяясь пьяным, потому что, по словам Ряховского, «гомики» почему-то клякут на пьяных. И вообще, в разговоре с психологом он отмечал, что научился их различать по внешнему виду, манере поведения, жестам, мимике, узнал места их обычного сбора для знакомства. Одного из

них он хорошо помнил: молодой, бородатый, в кустах полез сразу целоваться и в целом вел себя как женщина. Ряховский задушил его со словами: «Поцелуйся со своей смертью» — и затем в ярости, одним ударом ножа, который уже был у него наготове в кармане в раскрытом состоянии, отсек ему половые органы и тут же бросил наземь. Тело, по словам убийцы, обмякло, стало как бы резиновым...

Он и впоследствии, пребывая в Институте им. Сербского, утверждал, что «гомики» (как и проститутки) — «ошибка природы» и первое зло на земле. И ему самой судьбой разрешено выявлять и уничтожать их. По утверждению врача, эти слова он произносил со слезами на глазах. В доказательство повествует Ряховский об одном сне, о том, что он вроде бы спал, но потом проснулся в необычном помещении с колоннами, в странной одежде по типу то ли рясы, то ли сутаны, и через круглое отверстие в потолке, из которого вначале слышалась музыка, стал разговаривать с оранжевыми шарами, не испытывая при этом ни страха, ни испуга. Потому что сразу понял, что очутился в другом измерении — «чуть левой Земли, два локтя по карте». Вот из этого разговора он и понял, что есть «силы», заинтересованные в уничтожении жизни на Земле. Оранжевые шары подвели его к мысли, что носителей этих «сил» надо уничтожать, чтобы сохранить человечество.

Слишком красиво, чтобы поверить таким снам. Скорее всего, это продолжение его фантастической повести. Да и по мнению врачей, это «соответствует увлечению испытуемого в прошлом, сны следует расценивать как симулятивные».

И ДОСТОЕВСКИЙ

Итак, во время приведенной выше встречи с женщиной ему не понравился ее вызывающий вид и короткая юбка (разврат), потом — гомосексуалисты, которые тем более разврат. По его словам, они распространяют СПИД, за это их тоже надо уничтожать. Становится ясней, что в основе болезненной идеи Ряховского лежит идея нравственного исправления человечества. Правда, с помощью насилия и убийства.

Пожалуй, в чем-то это напоминает действия Раскольникова, теоретически обосновавшего в своих сочинениях будущее убийство старухи. Он и был вычислен следователем, как вы помните, благодаря ранее написанной, а потом и опу-

бликованной, теории о превосходстве суперчеловека, могущего пойти на убийство ради высшей цели. Ряховский вряд ли читал Достоевского, но тем интереснее совпадение и великая догадка классика. Подобную же задачу ставил перед собой Великий Командор в повести, написанной насильником.

Программы автора и героя полностью совпали, а идея, выраженная поначалу в фантастической форме, была воплощена в жизнь.

ПЕРЕМКНУЛО В ГОЛОВЕ

Описывать далее преступления Ряховского малоинтересно. Но стоит рассказать о его собственном психическом состоянии, каким он его воссоздает в момент преступления. В день преступления или перед ним: «навязчивые мысли», «творится что-то странное», «возникшее состояние»... И тогда он «едет на автобусе или бредет, не выбирая маршрута, по направлению к Московской кольцевой дороге...» Дорога (МКАД) возникает как бы случайно, но именно там, рядом с лесом в безлюдных глухих местечках, наш охотник-маньяк подкараулил большинство своих жертв!

Обычно это было у Рязанки или у Рублево-Успенского шоссе.

Во время следствия отмечалось, что при выезде к местам преступлений «обнаруживает хорошее знание местности, лесных массивов, дорог, тропинок, при описании внешнего вида жертв приводил дополнительные факты, неизвестные следствию, и подробности во время преступления».

В момент встречи с жертвой: «У меня в голове как будто что-то перемкнуло», — вспоминает он. Или: «Увидел подростка, и со мной что-то произошло». Или: «Все было как во сне». И снова: «Увидев женщину, одетую в сине-голубую куртку ткани болонья, в джинсы, не смог собой управлять в этот момент. Что-то перемкнуло в голове». В случае с подростком: «Одновременно с раздражением появилось чувство злобы, агрессивности, чувство нереальности, как будто все происходит во сне. Но в голове была одна мысль: «Ты мне порядком надоел, тебе пора пройти реинкарнацию, может, после этого ты возродишься нормальным человеком».

О том, что было дальше, воспоминания расплывчатые. Помнит, что задушил, раздел, отрезал голову, сжег ее на костре...

Молодая женщина, Аля, во время встречи у кладбища неподалеку от Люберец, куда они с Ряховским приехали, спросила, подняв платье до уровня груди: «Правда, я хорошая и нравлюсь тебе?» Потом спустила трусы и легла на траву, предварительно поинтересовавшись, есть ли у него деньги. Потребовала за акт деньги вперед. У него, как он вспоминает, выграло чувство ярости, непонятого ожесточения, испуга. Что он с ней вытворял, сначала с живой, а потом и с мертвой, рассказывать не буду.

Вернувшись домой, он занес ее в общую тетрадь, нарисовав новый крошечный гробик.

У другой, тоже проститутки, он в приступе ярости, посадив ее под дерево, отчленил голову, а нож вытрет листком с этого же дерева. И поедет на работу.

Все это из его личных показаний.

Выжившая свидетельница запомнила при этом, что он бросил на нее «колючий, злой взгляд». А на трупе другой убитой, армянки, он сделает надпись губной помадой: «Привэт из Чечни!» Он потом еще расскажет, что при встрече с жертвами у него «возникает чувство ярости и отвращения, после чего не способен контролировать поведение, а потерпевших насильно только мертвыми». Своих ощущений во время самих половых актов не помнит. И вот еще о внутреннем состоянии во время встречи с жертвой: «Увидел, повернул за ней с непонятным для себя желанием». «Дальнейшие воспоминания смутные», — позже добавит он, но при этом точно обрисует, что надеты на ней оказались рейтузы, которые он разрезал, и темно-зеленый сарафан, а женщина была пострижена под нулевку. Кроме сарафана, уточнит, был на ней мужской пиджак-фуфайка и ботинки «прощай молодость». А украшений никаких не было.

ЧУВСТВО ДОЛГА

Он утверждает, что был у него вещий сон, еще в 1982 году. Привиделось, как он проходил по лесной тропе, увидел пожилую женщину и напал на нее. При пробуждении он чувствовал себя неприятно, настроение было тягостным. Но сон повторялся, и однажды утром он понял, что «должен» все это исполнить наяву. При выходе из дома возникло ощущение

полусна, и хотя пересаживался из транспорта в транспорт, брал у кондуктора билеты, но делал это машинально, автоматически. И все происходящее было также нереальным и расплывчатым, «как будто меня кто-то вел». Встретив женщину на тропе, напал на нее. Разорвал платье, придушил. А когда увидел ее лежащей на траве, вдруг пришел в себя, и его затрясло. Возникло сердцебиение, в голове — какая-то мешанина... Дома пытался анализировать случившееся, но все помнилось смутно, какими-то фрагментами, и совсем не воспринималось, что это сделал именно он. Возникла «непонятная пустота». События он восстанавливал «через сон». Ему снился полностью тот же самый путь, что он проделал реально, тропинка в лесу и потерпевшая. Удивительно, но совпадала даже одежда. Во сне он видел свои руки, свое же напряженное маскообразное лицо, взгляд, уставившийся в одну точку, а потом и «резинное» тело потерпевшей. Ощущал по памяти даже теплоту ее тела.

Иногда после таких снов он находил на своем белье сперму. Хотя во время самого преступления ощущений оргазма не испытывал. Желание совершить нападение снова появлялось через 3–4 дня в виде новых стереотипных сновидений, после которых поутру рождалась мысль: он «должен» что-то сделать... Эта мысль мешала привычному образу жизни, работе и была первоначально мучительна. Охватывала тоска. Он пытался отвлечься, заняться рисованием орнамента, бродил до чувства сильной усталости по городу. И обычно удавалось избавиться от наваждения. Однако с присоединением на 3–4-й день новых «картинок» из сна, очень ярких, борьба, как он утверждает, теряла смысл.

Появлялось «чувство долга».

Такая борьба, по его словам, продолжалась в нем вплоть до последнего убийства. Но с годами она ослабевала. В 1989 году его избили хулиганы, и это еще больше подхлестнуло его, сделало агрессивней. Кстати, напомню, что хулиганы избивали и Головкина, и это тоже активизировало его преступления.

После убийства Ряховский иногда возвращается на место преступления. «Хотелось разобраться в случившемся, появилось ощущение, что все, что я сделал, было во сне». И в другом

случае: «Как и ранее, появилось сильное желание побывать на этом месте». И еще один раз, после убийства подростка: «Возвращался туда через два месяца, т. к. казалось, что все это приснилось. Однако труп отыскать не смог».

Эти возвращения он объясняет попыткой «понять» свои поступки. А при созерцании трупов возникало такое же состояние, как и во время убийства. Видел отрывочно тропинку, незнакомую женщину, свои руки, шею жертвы. И сексуальные действия. После всего этого наступала расслабленность. Практически это также повторяет откровения Чикатило и Головкина: возможность почувствовать то, что пережил в момент убийства. Зачем делал надписи на трупах, он объяснить не может. И какой-нибудь разницы между убийством мужчин и женщин не видит.

Среди вещей снов рассказывает еще один, где видел себя в непонятной одежде за колючей проволокой у большого серого забора...

ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ

Наравне со всякими полезными для дела сексологическими исследованиями (в их число входит и замер полового члена (10 см) и обоих яичек), показались интересными выводы по поводу образного мышления и трудностей в подборе ассоциативных образов к таким эмоциональным понятиям, как «вина», «печаль», «равнодушие».

Таков наш писатель.

Отмечается увеличение времени реакции на слова «жестокость», «наручники». Но это понятно, ибо основные механизмы защиты — вытеснение и рационализация. Обнаруживается холодность, жестокость, формальность контактов, отсутствие интереса к жизни окружающих, предпочтительное общение с книгами и вещами. Внешне — капризность, отсутствие чувства ответственности, внутренне — чувство усталости и неспособности справиться с жизненными трудностями.

И при этом — потребность в любви, инфантильная, детская привязанность к матери при избыточном накоплении грубых эмоций, которые могут привести к неотвратимым поступкам. Накапливаемые ярость и гнев не регулируются фактором застенчивости и сдержанности (без морального

цензора). Очевидно, наш Командор, решивший улучшить мир — в его понимании, мир аморальный, — сам этой морали следовать не склонен. Да и не способен. У испытуемого отмечаются «установка на достижение цели (может, жертвы?), субъективизм, категоричность, ощущение своей непонятости»...

И хотя он доступен контакту, в беседах с врачами держится с некоторым превосходством (!). С удовольствием воспринимает комплименты, одновременно в движениях, манерах появляется артистичность, активно жестикулирует, улыбается, имитирует голосом и жестами речь людей, с которыми приходилось встречаться, тонко подмечая их недостатки. Подчеркивает он в беседах и свою главную черту — стремление к порядку и справедливости. Снова как Командор в его повести.

Рассказывает, что хотел заняться бизнесом, купить автомашину, взять кредит в банке, занять денег у отца. Во всех своих неудачах обвиняет коммунистическую систему (вспоминайте исповедь Чикатило!) и косное, устаревшее мировоззрение людей. Последних он старался проучить, придумывал «мелкую» месть. Потом, следуя, видимо, логике событий, перешел на другую месть. «Крупную».

Записи в общей тетради (гробики?), по его словам, которые он обычно произносил с естественной улыбкой, «успокаивали» его. Эмоционально-смысловые связи он устанавливает между понятиями: «Я—девочка—любовь» и «Я—идеальное—мать—счастье».

Как тут не вспомнить историю пятнадцатилетнего подростка, его любовь к той девочке и лечащее воздействие матери в этой, скорее всего решающей для его дальнейшей жизни, истории. Да и вообще, везде, во всех исследованиях заметно доминирование матери, детская к ней привязанность, зависимость от нее. И представление при этом о себе как о ребенке.

КОНЕЦ КОМАНДОРА

Ряховский Сергей Васильевич судом присяжных признан виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 18 человек и покушениях на убийство еще двух лиц, в совершении других тяжких преступлений. По совокупности совершенных преступлений осужден к смертной казни.

Ряховский отказался обращаться с ходатайством о помиловании, заявив при этом, что не согласен с приговором. В ожидании казни он находится в Бутырской тюрьме. Как написано в документах, «с теплотой вспоминает о матери, интересуется ее здоровьем, очень любит ее, жалеет, охотно бы согласился на свидание с нею...»

Да, вот еще что по поводу истории с Командором.

В приговоре обозначено: «Вещественные доказательства, изъятые у Ряховского С.В., общие тетради, изъятые там же... уничтожить как не представляющие ценности».

ОБОРОТНИ

Это слово по отношению к маньякам встречается довольно часто. Действительно, у них две жизни, явная и тайная, и во второй — нечто от зверя, в которого превращается на какое-то время внешне нормальный человек. Впрочем, и первая, явная жизнь, если ее исследовать, вплотную соприкасается со второй и является как бы ее продолжением. Я не говорю о внешних формах, как то: поведение на работе, в быту, в общем, там, где оборотень на людях. Там он как все. Я говорю о том, что некие странности, частично замечаемые окружающими, полностью обнаруживаются лишь после разоблачения преступника, по воспоминаниям, и обычно служат лишь дополнительным подтверждением активной маскировки маньяка в повседневной жизни.

Я далек от того, чтобы претендовать на какие-то научные изыскания, но и со своей колоколенки литератора, волей судьбы погруженного по самые уши в эти проблемы, не могу не высказать несколько мыслей и предположений. Тем более что три приведенных здесь дела маньяков не исчерпывают всего поступающего к нам материала.

Вот — на выбор! — еще два: некоего Кузнецова Олега, в 22 года (сейчас ему тридцать) совершившего изнасилование и убийство десяти женщин, из них четверо несовершеннолетних, и Марухно Игоря, примерно такого же возраста, за ним три убийства с изнасилованием и покушение на убийство еще трех лиц. Кстати, Кузнецов орудовал в тех же местах и

практически в то же время, что и Ряховский. И в его жизни очевиден слом «по женской части»: рано бросила родная мать, потом изменила девушка. С тех пор, по его словам, он возненавидел женщин. Марухно, как вытекает из биографии, также «сломался» после ухода от него жены, он в это время служил в армии. Хотел броситься под машину, покончить с собой. В проходящих женщинах стал видеть свою супругу. Попал на этой почве в психиатрическую больницу. Оба названных субъекта в школьные годы характеризуются однотипно: «Вспыльчивый, раздраженный, малообщительный» (Марухно) и «замкнутый, малообщительный, флегматичный, заторможенный, не имеющий близких друзей» (Кузнецов).

Сравним далее.

К у з н е ц о в: «Учебой не интересовался, книг не читал, вел довольно замкнутый образ жизни, боялся отца, который наказывал за привычку врать окружающим».

М а р у х н о: «Со второго класса появилось желание мастурбировать. Стал совершать половые акты с собаками, коровами, курами, индюками... Соседка пожаловалась отцу, и он его выпорол. В этом же возрасте играл с куклами, отрывал им руки, ноги, имитировал с ними половые акты. В 12–13 лет увлекся анатомией животных, особенно привлекали картинки с детородными органами».

К у з н е ц о в: «В армии был замкнутым, друзей не имел, был как неприкаянный, попадал на гауптвахту за пьянки и драки».

М а р у х н о: «В армии был замкнутым, авторитетом не пользовался. Ходил какой-то неопрятный, испуганный... С солдатами не уживался, подвергался насмешкам и избиению. К тому же был трусоват».

К у з н е ц о в: «После службы в армии работал, на работе был груб с сослуживцами, жадноват, вспыльчив, агрессивен... По словам мачехи, сильно изменился в худшую сторону, стал замкнутым, злым, эгоистичным, упрямым, делал все назло».

М а р у х н о: «После армии проживал с отцом. По отзыву сестры, был нервный. Сменил шесть мест работы».

К у з н е ц о в: «Слишком увлекался женщинами, не мог без них жить. Говорил, что ему нравятся женщины старше, чем он».

М а р у х н о: «В дальнейшем проживал с отцом, находя какую-нибудь женщину, уходил к ней. Но жил с ними недолго, т. к. женщины бросали его».

К у з н е ц о в: «Однажды, рассказывая, как ему изменила какая-то женщина, пришел в бешенство и заявил, что будет мстить всем женщинам. Говорил, что единственный человек, который его любит, — это бабушка и если она умрет, он умрет тоже. Неожиданно расплакался и убежал».

М а р у х н о: «Однажды узнал, что Наташу изнасиловали, а вскоре она от него ушла. Часто он представлял сцену насилия, обострилось чувство одиночества. Жаловался, что женщины его бросают первыми, чувствовал «свое ущемление», плакал, слезы катились ручьем по лицу».

К у з н е ц о в: «В интимной жизни, по отзыву одной из женщин, был жестоким, ревнивым, не терпел, когда перечили, оскорблял, не раз избивал». Другие сожительницы дополняли: «Нелюдимый, скрытный, ненавидит женщин. Но силу свою чаще разряжал, ударяя кулаками о стену».

М а р у х н о: «Мог устроить скандал из-за пустяка, по отзыву сожительницы, мог совершать половые акты, даже если она этого не хотела. Однажды ударил ее семилетнюю дочь шнуром от электроплитки. При этом у него были «какие-то странные глаза». Однажды принес газету со статьей про Чикатило, но при этом был спокоен. Говорил ей, что может спокойно зарезать курицу или утопить котят».

Все это предшествовало преступлениям, которые они совершили.

Первое преступление Кузнецова: «Совершив половой акт с Майоровой в мае 1991 года, убил ее в лесном массиве, нанеся ей удары монтировкой по голове».

Первое преступление Марухно: «В августе 1992 года ночью в подъезде дома напал на гражданку Найденову, приставил нож и закрыл рот ладонью, затем с силой сдавил шею руками, пытаясь задушить. Однако потерпевшей удалось вырваться и закричать, после чего нападавший скрылся».

Описывать дальнейшие преступления того и другого не буду. Приведу показания, дающие довольно точную картину их состояния.

Кузнецов сообщил о себе, что после того как его обманула девушка, он потерял веру в женщин. Какое-то время сдерживал себя, потом стал «сходить с ума». Указывал места, где совершал убийства, сообщил, что после каждого такого случая раскаивался, но не мог контролировать себя, что-то с ним происходило — «порыв бешенства, ощущение безысходности положения». Подробно описывая свое поведение, предшествовавшее убийству, он настаивал на том, что не помнит, как наносил удары, в ряде случаев «приходил в себя», лишь отдаляясь от места убийства и обнаруживая в руках окровавленный нож, тогда он возвращался по своим следам и натыкался на труп девушки. А все потому, что в результате сложившихся в жизни обстоятельств становится «как зверь», теряет контроль над собой.

Марушно: «Чувствую себя сверхчеловеком... Казалось, что за действиями наблюдаю со стороны, как в кино, как будто раздвоился и кто-то другой это все делал».

Кузнецов, знакомясь с женщинами, не замышлял убийства, но когда ему отказывали и говорили, что заявят в милицию, терял контроль над собой. Ему и раньше нравилось, когда женщины боятся его, плачут, а если женщина молчала, специально причинял ей боль, только после этого мог совершить половой акт. Если она не хотела, заставлял ее, избивал...

Марушно в день преступления «не помнил, как ночью оказался на улице», однако пояснил, что испытывал «какое-то побуждение». Увидел впереди себя девушку, и тут возникло желание «чего-то такого необъяснимого». Он схватил ее за горло, при этом «стало хорошо», и он возбуждился. Он затащил ее на территорию школы, где продолжал душить, и когда она сопротивлялась, возбуждение возникало сильнее. Задушив, он взял шарф потерпевшей, один конец обмотал вокруг ее шеи, другой привязал к металлической стойке спортивного снаряда. Чтобы у нее, как он впоследствии объяснил, была поднята голова, как у живой. Затем стал ее раздевать. Снял один сапог, снял трусы и начал смотреть на ее половые органы. Хотел совершить половой акт, но у него не получилось. Состояние было, по его словам, «неестественное, возбужденное, радостное», и сколько оно длилось, он не знает. Когда вернулся домой, захотелось сильно есть. Он «хорошо поел

и лег спать...» В другом случае преступлению предшествует головная боль: «Заломило виски, и появилось такое чувство, будто чего-то не хватает». Ему нравилось ходить за женщинами, видеть их со спины. Особенно его возбуждает (или, наверное, понуждает) стук их каблукочков... Стук каблукочков часто возникает в его воспоминаниях. А далее все довольно сходно с предыдущим: когда у потерпевшей были судороги и она начинала хрипеть, он получал «неописуемое удовольствие». Само убийство и раздевание трупа длилось около часа. После чего он садился рядом с жертвой и наслаждался ее видом.

«Просто сидел и смотрел, — говорит он. — Было приятно и хорошо». Его никогда не мучили кошмары во сне. Выезжая на места преступлений, «показывал местность, описывал встречу с жертвой, обнаруживая хорошее знание местности и превосходную память на детали».

ИЗ ОДНОЙ СТАИ

Оборотни только внешне разнятся и только при белом свете. В момент «охоты» они одинаковы, как волки из одной стаи. Вообще меня не покидает чувство, что, исследуя каждую из приведенных мной историй, я будто бы читаю вариации на тему одной и той же жизни, так все похоже.

Ну посудите сами: непростое, а подчас и исковерканное раннее детство; конфликты с родителями, чаще с отцом; крошечный уголок любви, чаще к матери, бабушке; школьные обиды; юношеские комплексы, сексуальные неудачи; одиночество; самоизоляция; отсутствие друзей; психологический слом, душевная травма, исходящая чаще всего от женщины. Но возможен и целый комплекс неудач, да к тому же еще и проявленная жестокость: от сослуживцев, собутыльников или хулиганов. Формирование в мечтах образа «врага» и желание отомстить. Иногда эта идея вырастает в глобальную проблему, которую надо разрешить, чтобы улучшить мир и человечество.

Толчком для таких действий является внутренний позыв или сон, внутренняя задача, которую нельзя не исполнить любой ценой. Четкая фиксация события при полном забвении самого момента преступления, убийства. Все воспринимается как бы со стороны, почти как в кино или как

во сне. Секс, который, по-видимому, не является главным во всем происходящем, но помогает избавиться от личных комплексов неполноценности, он здесь выступает скорее как орудие мести. Чувство наступившего облегчения, даже радости. Возвращение к месту преступления — чтобы понять, вспомнить, но чаще — чтобы вновь пережить необычное чувство. Отдельные предметы, принадлежавшие жертве, даже части тела, взятые на память как вещественный источник, усиливающий удовольствие от пережитого. Состояние облегчения, некоего освобождения от самого себя, о котором почти все маньяки заявляют после ареста. Как ни странно, творческое начало, которое позволяет реализовать некоторые комплексы. И наконец, детский комплекс неутоленной любви. К матери, бабушке, к животным.

И Кузнецов и Марухно были осуждены на смертную казнь.

Марухно от подачи прошения о помиловании отказался. Кузнецов же такое прошение написал, вот фраза оттуда: «Я хочу жить! Находясь в камере смертников, я до конца прочувствовал и осознал смысл жизни и со всей ответственностью заявляю: никогда больше не будет исходить от меня зла». Но вот вопрос, от него ли зависит, будет или не будет исходить зло? Проще говоря, насколько серийные убийцы закодированы на исполнение того, что они творят?

А если это код от рождения и носит он биологический характер, нечто вроде сломанного гена, то какие нужны предпосылки для его реализации? Социальные, сексуальные или какие иные? Возможно ли предположить, что такой код существует практически у каждого человека в зародыше, но для его активизации, как для раковой клетки, нужны какие-то благоприятные условия? И какие именно? И можно ли тогда с полной уверенностью утверждать, что эти люди не больны? А значит — подсудны ли?

И самое невероятное предположение, назовем его мистическим: не являются ли маньяки неперменной составной частью человечества, воплощающей в некотором роде сатанинское начало, заложенное в природе самого человека?

Зона десятая

КОМИССИЯ

О НАС ПИШУТ РОМАНЫ

Недруги всегда активнее. Они пишут письма, заявления, клеветы, доносы. Они выворачивают любые факты наизнанку, подтасовывают цифры и чаще всего взывают к самым низменным человеческим чувствам, таким, как страх, ненависть, месть. Не все действуют по злему умыслу — есть и искренне заблуждающиеся, но полагаю, что такие заблуждения однажды нас уже ввергли в пучину бед. Но если цена заблуждения — всего одна жизнь, разве этого мало?

Обычно отношение к нам, то есть к нашему делу, и отношение к смертной казни, которая является во всем этом клубке проблем главным вопросом — из-за него не только мы, но и все человечество ломает копыта не один век, — почти всегда равнозначны. И если к обычным заключенным могут проявить снисхождение (редко, но теперь все же бывает), то смертник, которому сохранили жизнь, выставляется как главная угроза для обывателя: «А вот он выйдет, зверь такой, он вам задаст!» Или: «Он убивал, а ему теперь еще и жрать за наш счет». Или: «А вы не хотите посмотреть в глаза тех несчастных, которых он сделал сиротами?!»

Им вторят научные авторитеты, подтверждая, что «правосознание граждан России адаптировано к длительным срокам лишения свободы, к широкому применению смертной казни» (профессор Шмаров И.В.). Попросту говоря, такой вот мы особенный народ — обожаем сидеть долго, привыкли (по-научному — адаптировались) к тому, что нас все время расстреливают.

ДОБРЯКИ-КАЗНИТЕЛИ

Следователь Гдян в своем интервью заявляет: «Некоторые так называемые гуманисты ратуют за отмену смертной казни, аргументируя это тем, что во всем мире она уже отменена. Это очередное лукавство, потому что на Западе, в Европе и в Америке, есть страны и штаты, где смертная казнь существует. А почему мы должны опять быть впереди планеты всей?» И далее, утверждая, что мы хотим создать «для наиболее опасных уголовников оазис», предлагает: «Ну давайте оставим хоть какие-то механизмы воздействия, если хотите, устрашения. Давайте мы все-таки поживем некоторое время, пока у нас все хоть немного не уляжется, не придет в порядок». «Поживем» — это, наверное, он про себя, ибо своими словами как раз призывает к обратному — чтобы кто-то «не жил».

В рассуждениях о Западе автор сам проявляет лукавство: там и вправду есть страны и штаты, где смертная казнь существует, но уж простите, мы давно и во многом, в том числе и в запрете на смертную казнь, далеко не «впереди планеты всей»! А впереди вся Европа, где давно не казнят, в Германии и в Италии, например, смертная казнь была запрещена почти сразу после войны, когда бывшие фашистские державы лежали в руинах, а преступность превышала все нормы. Они не стали ждать, когда «немного уляжется», и порядок, как известно, у них наступил. Может, как раз благодаря тому, что не было смертных казней.

Следователь Гдян пугает население «оазисом», который будет создан для наиболее опасных уголовников. Пока же мы создали для них (я имею в виду опасных преступников, которым смертную казнь заменили на пожизненное заключение) нечто напоминающее концлагеря. И смертники умоляют их казнить, чтобы не мучиться в невыносимых условиях. Но «лукавство» бывших следователей на этом не заканчивается. В аргументах противников смертной казни Т.Х. Гдян видит «некий тайный умысел — убрать все препятствия («препятствия» — это, наверное, смертная казнь?! — А. П.) и превратить Россию в абсолютно криминальное государство. Вот тогда будет раздолье для тех, у кого нет Отечества, кто не связан со своей историей, не имеет родословии». Оставляю грамотность (точнее, безграмотность) на совести автора и буду говорить по сути: кто же эти внешние или внутренние

враги? Это «так называемые гуманисты»? Может, «так называемый гуманист» покойный академик Андрей Сахаров, который активно боролся против смертной казни? Сергей Ковалев? Или недавно умерший член Комиссии по помилованию Булат Окуджава? А может, здесь обозначены некие иноземцы, люди иной веры, иного происхождения: сионисты, татары, чеченцы? Хотя давно известно, что врага у нас большего, чем мы сами, нет.

«Видимо, эти люди хотели бы обескровить Россию. Надо подумать законодательно, — глаголет бывший следователь, — какую меру наказания предусмотреть для таких особо опасных экономических преступлений. Я считаю, что в исключительных случаях должна применяться казнь к этим убийцам в белых воротничках». Ну что ж, заговор налицо. И если сюда еще приплести «врачей-отравителей», евреев и «лиц кавказской национальности», будет полный набор для нового ГУЛАГа. А вот что касается «вортничков», напомним (не нашему бывшему следователю, он-то знает, а читателю), что при Хрущеве за один лишь 1963 год расстреляли около трех тысяч человек, и всех за «экономические преступления» — о директоре гастронома № 1 Юрии Соколове я уже рассказывал. Но история нас ничему не учит. А вот на вопрос корреспондента, вовсе не ироничный, верующий ли он человек, господин Гдян отвечает совершенно искренне: «Я верю в справедливость, в доброту». Итак, добряк-казнитель. Это на самом примитивном уровне. Но воздействует безошибочно.

Есть и более изощренные методы доказательства необходимости казней, и их применяет не толпа, а люди известные, по-своему даже знаменитые, к голосам которых многие прислушиваются. Это обычно твердые, уверенные и в чем-то агрессивные типчики, иные из них почти литераторы. Принимая личину писателя, они как бы авансом получают доверие своего читателя, ибо в России исконно верили в книгу, которая несет добро, — от времен протопопы Аввакума, Радищева, Чехова. И даже буревестник революции Горький, взывавший: «Если враг не сдается, его уничтожают», не подорвал святой веры читающей публики в гуманизм — не его, так другого писателя.

Очень интересные мысли по поводу писателей-лжецов выдвинул в одном интервью Аркадий Вайнер. «Это люди, —

говорит он, — которые хотят обмануть твою душу, которые хотят паразитировать на тебе за счет лжи. Этих я ненавижу по-настоящему».

И далее: «Будучи членом Комиссии, вопреки всему составу комиссии и ее председателю писателю Приставкину, который много раз менял свою позицию (в зависимости от позиции руководства), своей позиции я не менял. Я считаю, что мы не в Швеции, это в Швеции есть миленький обычай: в городской тюрьме время от времени взвигается национальный флаг — это означает, что туда поступил новый заключенный. Один. А у нас кровь льется рекой. На свободе находится бессчетное количество негодяев, способных калечить и убивать беззащитных, по сути, людей в угоду своим прихотям. Так вот, пока это так, никакая отмена смертной казни у нас недопустима. Только расстрел. Я так считаю».

Ну, Бог с ним, когда он пишет о моей позиции, тут как раз и хотят обмануть чью-то душу, о которой так печется правдивейший из писателей Аркадий Вайнер. Булата Окуджаву и Льва Разгона, работавших в одно время с Вайнером, он почему-то не упоминает. Иначе сразу станут понятнее слова об обманутых душах. А вот по поводу бессчетного количества негодяев, для которых годится только расстрел, тут он один к одному совпадает с позицией Берии, например, и никак не совпадает со Львом Толстым, который настолько остро переживал давний расстрел одного солдатика, что считал этот случай для всей жизни важнее судьбы своих произведений и других личных дел.

Но он далеко не единственный из пишущей братии.

АНТИИНТЕЛЛИГЕНТ

Это полковник милиции Даниил Корецкий, который по совместительству занимается писанием книжек. Говорят, книги его читаются, идут нарасхват и конкурируют с романами некоей (тоже, кажется, бывшей милиционерши) Марининой.

Впрочем, это дело вкуса. Сейчас разговор о другом.

В газете «МК» корреспондент взяла интервью у названного полковника милиции. Интервью огромное, на целую полосу, я процитирую оттуда лишь фразы, касающиеся нашей темы:

«Д. К. Я не противник спецслужб в отличие от большинства интеллигенции.

Корр. Чувствуется большая «любовь» к интеллигенции.

Д. К. Как-то при мне несколько писателей ругали милиционеров. Я говорю: «А вот представьте, что завтра московский гарнизон милиции будет выведен за пределы города на один месяц. Вас это порадует?» — «Нет, — говорят, — не порадует. Но все равно сволочи!» Я всегда был сторонником демократии. Мой товарищ из московской прокуратуры рассказывал: психолог у них выступал и предложил каждому задуматься, не сделано ли им за день что-то, чего бы он не хотел сделать себе. А товарищ мой только что отклонил два ходатайства о помиловании, подписал несколько приговоров. Конечно, ему не хочется, чтобы по отношению к нему так поступали. Ну и что теперь? Не делать? Это все пустые интеллигентские разговоры...»

Бедные писатели, познавшие истинное лицо милиции, — как он им по мордам! А вот оставить, мол, вас без охраны на месяцок, что тогда запоете... Но вот загвоздочка, охраняет ли она нас, эта милиция, если преступность среди самих правоохранительных работников достигла невероятных размеров и большинство населения во время недавнего опроса заявило, что оно не обращается в случае опасности за помощью в милицию лишь потому, что больше всего боится именно милиции и в гораздо меньшей степени — самих преступников. Впрочем, часто выясняется, что это одни и те же люди. Если моему другу-поэту ребра в милиции поломали лишь за то, что навеселе возвращался из гостей, ему ли не ругать своих мучителей? Или тот случай, описанный в «МК», когда два милиционера «вышибали» при помощи изощренных издевательств из невинного человека признания в убийстве и в конце концов убили его, загнав в заднепроходное отверстие три бутылки из-под пепси-колы? Так что получается парадокс: если убрать большую часть милиции, то преступность, может, и уменьшится.

Помню, в городе Балаково на Волге решили бороться с браконьерами и увеличили штат рыбоохраны втрое. Но поскольку каждый работник рыбоохраны обеспечивал своей «крышей» определенное число браконьеров, то и количество последних тоже увеличилось втрое. Что касается «знакового

товарища из прокуратуры», который якобы отклонил два ходатайства о помиловании, так тут пошло элементарное вранье, ибо ни один прокурор, равно как и судья или кто другой, не может отклонить ходатайство, это право лишь Президента. Весьма несимпатичен нашему полковнику и психолог, который практически процитировал Библию, — он тем самым ведет якобы «пустые интеллигентские разговоры».

Продолжу цитату из интервью:

«Корр. А как же гуманность?»

Д. К. Бандиты — не люди. Их нужно убивать. Они подонки. Нельзя отменять смертную казнь. За последние годы число убийств возросло вдвое, в то время как приговоры по высшей мере сокращают. Это глупо и преступно. Для того чтобы обеспечить пожизненное заключение, нужно слишком много денег: преступников надо охранять, кормить...»

С арифметикой у нашего полковника милиции явно не густо, ибо с середины 1996 по 1999 год мы прожили, слава богу, без казней, а преступность, согласно утверждениям МВД (в частности, убийства), не увеличилась, даже чуть сократилась. По поводу расходов отвечу, как говаривала наша Мариэтта, — «кладбище выглядит компактней». И вот еще незадача: 600 смертников, которые якобы объедают нас, составляют лишь 0,06% от общего числа заключенных, коих у нас более миллиона. Вот кто объедает государство! Ни одна страна в мире не может содержать в тюрьме больше, чем может прокормить. А мы пупок рвем, но содержим! Кто приказал? Да это как раз в ведении тех самых полковников МВД, к числу которых и принадлежит Даниил Корецкий. И оттого у нас в стране в десять раз больше заключенных на душу населения, чем в богатой Англии или Германии. Про Японию уж и не говорю: там при сравнимом с нашим населении всего-то около сорока пяти тысяч заключенных!

Далее:

«Д. К. Хорошо быть известным писателем (Комиссия по помилованию при Президенте состоит в основном из писателей. — Корр.), сидеть в Кремле и жалеть бедных преступников! Смертная казнь — это превентивная мера. Расстреляли преступника — сто процентов, что он точно никакого преступления больше не совершит. А есть еще общая превенция: его знакомые, «коллеги», соучастники.»

Слова о писателях комментировать не буду, к тому же у нас не только писатели: треть — юристы, а другая треть — психологи, священники, журналисты, профессора. Они не «сидят в Кремле», а живут нормальной трудовой жизнью, безо всяких льгот и подачек, и недавно как раз члена Комиссии, профессора Московского университета, вторично подкараулив в подъезде дома на темной окраине, жестоко избили, проломили череп, выбили зубы. А насчет «общей превенции», к которой призывает наш полковник, так это уже было. И закончилось ГУЛАГом, когда, как шутили сами зэки, дедку сажали за репку, бабу — за дедку, внучку — за бабу, жучку — за внучку, кошку — за жучку. А реабилитировали — мышку...

Корр. Но с этим беспределом можно покончить или это навсегда?

Д. К. Да хоть завтра. Должен быть Приказ. После чего выезжают группы по адресам, которые все известны. И за ночь осуществляется процедура судопроизводства. Целиком.

Корр. То есть?

Д. К. Приговор выносится. Приговор приводится в исполнение. К утру мы имеем нормальную страну. Но для этого должен быть Приказ».

Знаете, я все больше прихожу к мысли, что милиция — это не профессия, а идеология, которая определяет образ мышления, да и образ жизни. Святая вера в силу карательных мер и, безусловно, самое минимальное судопроизводство. Как известно, при Дзержинском—Сталине—Берии тоже выезжали группы, и за одну ночь, конечно, по Приказу (слово это у автора идет с прописной буквы, что означает, видимо, самый Главный Приказ, от Главного лица, скорее всего от Диктатора), брали и судили тройками. Но даже такими методами не укладывались в одну ночь, так что быстрее всего речь идет о военном перевороте, по стилю напоминающем фашистский путч, — вот там и правда процедура упрощена до уровня массового уничтожения всех инакомыслящих, такая Варфоломеевская ночь. И к утру страна станет другой... Автор видит при этом «нормальную страну». Я бы в такой стране жить не захотел. Как и читать после подобного бреда писанину вышеназванного автора.

У этого интервью есть крошечная приписка от имени корреспондента, и к ней не могу отнести несерьезно:

«Подобное решение проблемы кажется безумным только на первый взгляд. Любой человек, кто хоть раз сталкивался с беспомощностью или произволом милиции и абсолютной безнаказанностью преступников — будь то малолетние уроды, режущие колеса чужих машин, или просто бандиты, — скорей всего, согласится именно с этим планом. Потому что разговоры о гуманности в стране, где безопасно только в гробу, никого не интересуют».

Итак, корреспондент видит путь борьбы с безнаказанностью преступников не в разговорах о гуманности, а в исполнении плана полковника, дававшего интервью. И пишет об этом молодая девушка, она случайно оказалась моей знакомой, дочкой известного гуманиста, яростного противника любого насилия и, конечно, смертной казни. Ее отец имел некоторое отношение и к нашей Комиссии. Я немедленно позвонил и попросил объяснения, но ничего членораздельного не услышал. Якобы эта дописка потребовалась самой редакции, и корреспондентка вынуждена была ее сделать.

— Но там же стоит твое имя? Твоя честь... Ее теряют только раз в жизни, — только и смог произнести я.

Скажу откровенно, дописка огорчила меня гораздо больше, чем милицейские фантазии.

КИЛЬКА В ТОМАТЕ

Летом две тысячи первого года, когда бросили мы вызов чиновникам Администрации Президента, некоему Виктору Иванову, министру юстиции Чайке и прочей придворной шантрапе, на нас, на Комиссию, пролился особо грязный поток организованной лжи — всякие наемные хинштейны, радзиховские, гридневы; у нас эту мелкую журналистскую шушеру называют килькой в томате, вряд ли надо объяснять, что это означает. Килька, она и есть килька, да еще для одноразового пользования. Тут уж моя молодая незрелая девушка-корреспондент выглядит приглядней, она-то хоть заблуждается, а у этих принципов в общем нет, он один — где платят, там и правда.

Приводить всю ту ересь, которая печаталась в желтой пресс, смысла не имеет. Но пожалуй, мы впервые столкнулись с такой грязью, исходящей и оплачиваемой, по-видимому, из одного источника: одни и те же примеры, цифры и даже в

примерах фамилия какого-то якобы помилованного нами преступника везде с одной и той же ошибкой.

Я все время задавал себе и другим вопрос: ну, килька килькой, а кому это действительно нужно? В скрытой форме промелькнуло у одного из авторов: «Все взятки берут, а они не берут, так не бывает...»

То есть смысл такой: не берете, так вам же хуже, уступите тем, кто может и будет брать.

Еще четче сказал один из руководителей Союза журналистов:

— Доходные места в общем-то все приватизированы... Осталось немного, в том числе ваша Комиссия!

Еще один пошутил:

— И милость к давшим призывал...

А потом я услышал целое рассуждение, не берусь судить, насколько оно верно, но касалось оно опять же нашей судьбы и звучало так:

— Вот возьмут банкира за задницу... За что? Да есть за что... Любого банкира есть за что сажать, хотя бы за то, что у него деньги, которые надо отобрать. Ну вот Гусинского, скажем. Осудили, засунули в каталажку, а он готов за свободу и миллион отвалить. Кому? Суд? Долго. Прокуратура? Поздно. А помилование — вот оно! Сегодня указик, а завтра свобода да миллиончик...

Кильки в томате вся эта высшая политика не касается, они то же, что пираньи, им дали кого-то на съеденье — съедят.

И — съели.

В конце две тысячи первого года пронеслось по печати более ста статей в нашу защиту, но это уже никого не затронуло. Кремль живет своей жизнью. На прощальной пресс-конференции в Доме журналистов, это было под самый Новый год, я сказал, что хочу поздравить генералов, аппаратчиков, фээсбэшников, которые убивали нас... Я хочу поздравить общественные организации, которые, за редким исключением, не заметили, как убивали нас... Я привел случай в вагоне метро: на глазах публики подростки расправились с пенсионером и никто не заступился! Я хочу поздравить печать, заступалась, но как-то пассивно, а в целом вы все — так я сказал... — вы все похоронили единственную надежду на будущее России. Счастливо праздновать Новый год, а мы идем отпраздновать поминки!

Я выбрал из множества статей о нас лишь несколько, приведу еще одного автора, тоже полковника милиции, который попытался в романической форме изобразить и нашу Комиссию, и ее председателя. Он (то есть я) там и обозначен как писатель, который что-то опубликовал о каких-то татарах, которых преследовали. Кровавый сюжет развивается так: по просьбе некоего премьер-министра, рыжего такого (ну, копия Чубайса!), необходимо выпустить на свободу десятикратного убийцу, который ему и необходим в этом качестве, но для своих политических целей. И конечно, Комиссия это делает.

Стоит, наверное, прочесть страницы, посвященные заседанию, чтобы понять, что это фантазии убогого участкового, который судит о Комиссии на уровне той подворотни, где он однажды дежурил. Но убийца по сюжету похищает прежде всего дочку председателя Комиссии, насилует и убивает ее, и тот, получивший вместо взятки за помилование какого-то злодея пластиковую мину, привязывает ее к поясу и, обняв названного рыжего — дело происходит, понятно, на торжествах в Кремле, — взрывает и себя и его. Можно было бы лишь посмеяться над шизофреническими вывихами неудавшегося борзописца, но книжечка-то многосерийная, и сюжетец вовсе не о Комиссии, а о наших верных, честных и отважных чекистах, которые, расчухав всю эту подлую демократическую власть, устраивают свой подпольный «центр слежения» и обнаруживают ни больше ни меньше как то, что рыжий премьер и чуть ли не сам Президент вывозят на Запад человеческие органы, для чего в тайно организованном институте расчленяют молодых и красивых девушек...

Представляете, как захватывающе читается, какие натуры, какие ситуации открывает нам повествование, особенно когда речь идет о насильниках детей, ну и, понятно, всякие там расчлененки: почки, печень, сердечки московских невинных и честных комсомолок. Верные-честные-отважные чекисты в результате сложных маневров обнаруживают названный институт и с риском для жизни уничтожают его. Ну а рыжий Чубайс, или как его там, погибает, как я уже сказал, в объятиях председателя Комиссии: две дьявольские души в финале в едином порыве взлетели на воздух!

Пожалуй, о «писателях» можно было бы и не продолжать. Но вот беда, не одни бывшие следователи и ныне действующ-

щие черные полковники от милиции в литературе и от литературы — в милиции судят и нашу Комиссию, и Президента, и саму власть, которой они служат, делают это и люди искусства, известные в стране, чье мнение отовсюду слышно, и даже порой, что вдвойне огорчительно, призывают к смертной казни. О них я писал, повторяться не буду. Приведу лишь в заключение (и в противовес нашим литературным казнителям) свидетельство еще одного писателя, полагаю, настоящего, пережившего и чувства смертника, а потому его свидетельство для нас истинно и самоценно:

«Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил... Что с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят. Подумайте, если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает... Ведь главная, самая сильная боль может быть не в ранах, а вот что знаешь наверно, что через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уже больше не будешь, и что это уже наверно... И сильнее этой муки нет на свете. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия...»

Это я уже из Федора Достоевского.

ТАК ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ РОССИЮ (ПИСЬМА)

В шведской тюрьме, я уже упоминал, однажды прочел такую надпись: «Каждая вещь имеет три стороны: ТВОЯ сторона, МОЯ сторона и — ПРАВИЛЬНАЯ сторона». Если считать, что две стороны — жертв и убийц — мы уже назвали, то остается еще одна сторона — людей, причастных к преступлениям косвенно. Прежде их называли «коллективом». Для меня же лично не так страшно читать дела убийц, как эти вот коллективные письма.

«Преступник должен быть расстрелян», — пишут ученики школы № 12 г. Читы. И сорок подписей учителей во главе с директором. И школьная печать для достоверности. Можно лишь представить, чему они научат, такие вот учителя. Но

все будет понятнее, если послушать взрослых, вот как пишет из Комсомольска-на-Амуре П. Таховская: «Я давно поняла, что жизнь ничего не стоит. Убил — напиши прошение о помиловании, и столько защитников встанет на твою сторону! А о них Вы подумали, которых убийцы лишили жизни? О родственниках, которые страдают? Знаю я таких радетелей гуманности. Вы думаете, эти убийцы расскаются? Вы бы лучше создали комиссию в защиту потерпевших».

А вот обращается к нам москвич Пустоветов: «Милуете вместо того, чтобы объявить от имени народа террор этой нечисти... Дело дойдет до того, что бандитов придется отстреливать на улице. Я буду голосовать за Жириновского, если он объявит войну и сохранит смертную казнь». И это еще из «мягких» писем. Есть и пожестче. «Преступность нарастает, — пишет ветеран войны и труда Севостьянов. — Часто это называется зверством, а мне кажется, что зверей обижают, у них нет такой жестокости. Теперь у населения впереди всех задач — выжить. Не из-за низкой зарплаты, а из-за преступности... Странно, что многие пекутся о преступниках, как им в заключении плохо, как их обижают и т. д. А Вы потакаете преступникам. Ведь сказано: «Если ты взял чужую жизнь, то отдай свою». И чаяния народа таковы, чтобы все 100% получили по заслугам. Почему я говорю «народ»? Да я живу в его гуще и знаю о его помыслах! Прошу вас, г-н Председатель, от имени многострадального российского народа, повернитесь к нему лицом, защитите нас, ведь жить-то стало невозможно».

Обращения от имени народа часты, часто говорят и о его чаяниях. Но даже такое письмо — ягодки в сравнении с другими. «Слушал Ваши спекулятивные доводы в защиту бедных убийц, насильников и прочих подонков, в них, г-н Председатель, Вы видите Человека, а вот их жертв не замечаете, — так начинает безымянный адресат, себя на конверте он обозначил именем Деточкин. И далее: — Известно, что один услужливый опаснее врага. Он по соображениям карьеры, получения подарка и просто из-за популизма плюет на страдания народа. Вы поощряете преступность, вспомните «Берегись автомобиля». За что наказан г-н Деточкин? Неужто не понятно, что судом совершено преступление? Давно пора знать, что воровство и бандитизм — это наслед-

ственность и, если их не уничтожить, они погубят людей с хорошей наследственностью».

А вот ветеран войны и труда М. Оброслик из Новосибирска прямо так и рубит сплеча: «Я пришел к выводу, что это не писатель, а что-то страшное, чудище какое-то, не способное сочувствовать тем бедным людям, которые пережили сталинский режим, войну, разруху и гибнут от рук подонков. Хотел бы посмотреть, как бы Приставкин себя чувствовал, если бы его жену, дочь или сына изуродовали подонки! Или его самого! Сидеть в мягком кресле да в теплом кабинете и быть приятно защищенным от этой нечисти, которая хладнокровно убивает... Надо очищать нашу страну от жестокости только жестокостью. Я был зэком и знаю, «вышка» — это успех борьбы с нечистью. Запомните, писатель, я никогда не буду читать ваших книг!»

Есть в письмах и такое: «Надо быть настоящими чекистами, как Дзержинский, и не толкать Б. Ельцина на слабость. Особо опасных расстреливать и сажать на электрический стул. А Совет Европы пусть к нам не лезет, без него разберемся. И. Гой, г. Прохладный». Вот инвалид из Новочеркасска Д.В. Князев мне предлагает: «Если бы собрать потерпевших от бандитов и к ним приставить для агитации этого самого Приставкина без охраны его. Какой бы он имел вид???»

«...Только что прослушала по радио ваше интервью, подумала, какая справедливая комиссия, оказывается, есть, может, мне обратиться туда со своим горем? Может, действительно прислушаются и поймут? А когда достала из шкафа письмо, еще так недавно долгожданное, из «справедливой» Москвы, поняла, что ваше интервью — очередная ложь для нас, простых смертных... Вот что вы пишете: «Ходатайство рассмотрено и отклонено ввиду неоднократной судимости...» Муж-то давно ни во что не верит, а я оказалась наивной, еще верила, чуть было не обнадежила себя еще раз... Кстати, посадили его тоже «ввиду неоднократной судимости» и, как сказал сам следователь, если бы не судимости, ограничился бы штрафом. Выходит, этот крест ему нести до конца дней своих, да и мне вместе с ним, коль уж я связала с ним свою судьбу?»

В интервью вы выступили против смертной казни, а сами своим «справедливым» отказом подписываете медленный смертный приговор мне... За что? Мне 32 года, а я уже

старуха. Мама умерла месяц назад. На свете никого у меня нет. 10 лет работаю в театре, шью костюмы. Когда через год мой муж, дай Бог, придет домой, то у меня на руках будут двое: четырехлетний сын с больными ногами (наследство нашего советского прошлого — роддом) и муж с туберкулезом легких... А на справедливость и сострадание с вашей стороны (имею в виду не только вас лично, а всех тех, кто держит над нами власть) надеяться нет смысла. Вы живете совсем другой жизнью и никогда нас не поймете. Я не думаю, что вы жили когда-нибудь в таких условиях... Но я и не жалею, я никогда не жила лучше. Правда, совсем недавно надежда на лучшее была.

Я благодарна совсем чужим и незнакомым старушкам, которые помогли проводить маму в последний путь. Их и не надо было просить о помощи... А для чего вы нужны? Вы все — юристы, писатели, бывшие сталинские узники, доктора наук... Кто там еще среди вас есть?.. Не запомнила... Это вы — наше старшее поколение — обманывали нас большую часть жизни. Единственно, чему не научилась, — воровать, торговать и жить бесчестно, а без этого сейчас трудно. Вы, конечно, не можете этому поверить, ведь я жена рецидивиста, но что вы знаете о рецидивистах? И кто их такими сделал? А они тоже люди. Жалко, я не расслышала вашей фамилии, интересно, о чем и для кого вы пишете?

Извините, что обидела вас своим письмом, но я вам не верю, как бы вы себя ни хвалили, и хочу, чтобы вы об этом знали. Важанина А.И. Пятигорск».

Вот так нас, по мордам! По мордам!

Побежал я, взял дело.

Ясно, что отклонено в кабинетах Вергилия Петровича, там тоже «разные» сидят.

Прочитал ее ходатайство, о себе она пишет: «Замуж вышла поздно, никто из родных и друзей не предполагал, что судьба свяжет меня с бывшим уголовником... Да и для меня самой это было неожиданно. Но Слава оказался не таким, как все, таких людей я раньше не встречала. У него душа была сверху, как на ладони... Все было бы хорошо, если бы не случилось то, что я не сумела вовремя поправить: долго лежала в больнице, а у него появились дружки... Когда узнала, обиделась, замкнулась. Теперь-то знаю, что должна была

вести себя иначе, ведь только я могла его уберечь... Теперь я тоже несу наказание, только не за колючей проволокой, а здесь, дома... Умоляю, не дайте погибнуть человеку...»

Адрес в Пятигорске я переписал (ул. Заводская, 39), но не стал объясняться, а ответил решением: рассмотреть и помиловать.

И понял еще: проглатывать нам такие пилюли придется долго. Столько, сколько будем миловать.

Я уже цитировал, что думают по этому поводу правительственные чины и люди из заключения, приведу под занавес письмецо третьей стороны — простой матери, и пусть каждый из вас, чье нутро не заржавело, услышит голос того самого народа, на мнение которого мы часто ссылаемся. Это письмо, пришедшее на днях, в октябре, только одно из сотен писем, доносящих до нас голоса из глубинки России.

«Эх, господа чиновники! Просила Вас сделать хоть полгода снисхождения моему сыну, отказали. Неужели, был бы мой сын какой-нибудь проходимец, я бы стала за него хлопотать? Все же у меня совесть не потеряна, хотя я на пенсии, не стала бы Вам писать и унижаться. Милиция приклеила такую статью, ведь им надо показать, что борются с бандитами, а мне намекали, что можно и др. статью, но, увы, я не в состоянии заплатить, пусть отсидит положенный срок, как-нибудь потерплю.

Был в России бардак, а сейчас еще больше стал, дети простых людей только и страдают: и в армии и в тюрьмах. Ваша Комиссия всем присылает отказы, так для чего Вы существуете там? Не Вы для народа, а народ живет для Вас, и так по всей матушке-России. Ответа мне не надо присылать. Бог Вам судья. Калинина Тамара Ивановна, Новгородская обл. г. Боровичи, ул. Новая, дом 40».

Ну как спокойно можно жить, получая такие письма?

Тяжко было бы все это читать, но есть еще письма: «Уважаемая высокая Комиссия, Вы дали возможность Божьему существу вернуться в Божий свет и помогли возрождению высоких нравов. Жизнь так коротка. Так давайте беречь Россию. Храни Вас Бог. Жители России».

Да вот, пока нас хаяли или, что реже, хвалили, писатели и не писатели, что работали в Комиссии, стали вымирать.

Постарел, поизносился наш Президент и в одно предновогоднее утро сообщил, что он уходит на покой. Укатали сивку крутые горки. Да и на глаз видать, из бойкого мужчины, что однажды забрался на танк возле Белого дома, превратился в больного старика, который, протащив Россию через многие и многие трагические годы, надорвался... Сорвал сердце, так что и пенсия, даже президентская, может не понадобиться.

Но я ему по гроб благодарен: ни разу не позволил обидеть Комиссию, хоть поднимали на нее руку все кому не лень: от министра внутренних дел до бывшего генпрокурора Скуратова. Тот прямо клал на стол Бориса Николаевича свои доносы, где требовал нашей крови. Были и другие, помельче, но покусачее... И не выдал Ельцин... Сохранил, и не только помилование, но и милосердие, отменив своей волей смертную казнь. Об этом должны знать и те, кто сейчас избежал расстрела и может доживать, хоть скверно, в пожизненных лагерях.

Под конец книжки, в которой посвятил я первому Президенту несколько страниц, низко кланяюсь ему и твердо уверен: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!»

Ну, а я расскажу о тех, кто тоже не дожил до этих дней и был еще на предыдущих страницах обозначен условно. Это Михаил Михайлович Коченов, «Психолог», человек скромейший, но без него Комиссия во многом обеднела: его блистательные суждения по поводу осужденных и того, что они сделали, помогали нам в работе. Сам же он, несмотря на тяжкую болезнь, на заседания приезжал на метро, отказавшись от предложенной ему машины, и однажды упал на улице... Но санитарная машина довезла его, как ни странно, не до больницы, а как он просил: до Комиссии. А уж мы тут же озаботились отправить его лечиться.

Несколько раз он звонил нам по телефону и очень извинялся, что не может нам помочь: «Вот выйду...» И так, тихо, ушел совсем. Самый проникательный и самый скромный, он даже подпись ставил вот этакую крошечную-крошечную... Но я не только о нем, ушли многие: поэт Роберт Рождественский, который приезжал из Переделкина, трогательно приодевшись в лучший костюм, и всегда волновался, что не может проголосовать, ибо нет указа Президента о его утверждении. А указ вышел в день смерти... Ушел и Алесь Адамович, кото-

рый не состоял в наших списках, но приезжал на заседания Комиссии... Ушел и наш «Старейшина» — Лев Разгон.

И я готов вслед за любимым поэтом с горечью воскликнуть:

*...Словно этой бедной книге
Много, много, много лет...*

ПЕСЕНКА О ЛЬВЕ РАЗГОНЕ

У Разгона в жизни были три главные даты: день рождения — 1 апреля; день памяти его любимой жены Рики: в этот день он молча брал машину и уезжал на кладбище; а еще день смерти Сталина — 5 марта.

Накануне, поблескивая голубым глазом, он весело общал, что завтра никуда не пойдет, а напьется. И мы понимали: отдав по воле великого тирана 17 лет ГУЛАГу, он будет вспоминать своих лагерных дружков и пить за их память. Впрочем, он не был одинок: я помнил, как Лев Копелев, тоже отсидевший в сталинских лагерях, собирал своих друзей, из тех, кто выжил в лагерях, на стол выставлялись фотографии погибших, и за рюмкой шли воспоминания о тех годах.

Но сегодня я о Разгоне. Он правдиво описал свою лагерную жизнь в книге «Непридуманное». И вот что примечательно: ее не тяжело читать. Грустная и светлая проза отягощает совесть, но не отягощает нашего бытия, более того, она обнадеживает и заставляет верить в жизнь.

Вспоминая лагерь, где удавалось ему писать книгу о своем детстве для далекой дочери, как завещание, Разгон скажет: «Вспоминать мое счастливое прошлое, рассказывать о нем дочери было наслаждением. Настолько сильным, что в нем растворялась горечь утрат. Мне случалось встречать людей с биографией, схожей с моей, которые утверждали, будто за все годы в лагере не было у них ни одной светлой минуты. Может быть. Всеми нами командовал господин Случай, и, вероятно, мне повезло больше, нежели другим. Что явствует хотя бы из того, что я сейчас пишу эти строки».

Несколько лет назад члены нашей Комиссии по помилованию посетили Бутырку, и Разгон обратил мое внимание на ступеньки: как истерты... сколько же здесь прошло?

— И твои следы тут?

— Да, — спокойно отвечал он.

Я не преминул спросить, помнит ли Разгон свою камеру.

— Ну, как забыть! — отвечал он. Но подняться туда не захотел. Только пояснил, что она этажом выше.

Впрочем, мне повезло сняться с ним в тюремной камере, но это было в Германии. Не скажу, что все камеры в мире одинаковы, как и тюрьмы... Но это была настоящая камера-одиночка в старой тюрьме под Дюссельдорфом, и Лёва, попав в нее, долго осматривался, оглядывал, почти обнюхивал стены, потолок, парашу (то бишь сортир), словно должен был провести тут годы. У него даже цвет глаз изменился, затвердел.

Но двери были распахнуты, из мрачного коридора через железные двери заглядывали друзья, и Булат, посмеиваясь, что-то произносил насчет «творческой лаборатории», и Лёва, внутренне отринув нечто такое, что было далеко и для нас недоступно, облегченно вздохнул и охотно сфотографировался. Он был легкий человек.

Разгон вообще не умел жаловаться, живописать трудности. Когда его однажды спросили, как же удалось выжить в условиях ГУЛАГа, он с милой улыбкой — кто видел, тот запомнил эту красивую улыбку — пошутил: «Ну, люди в это время на войне гибли, а мы что, мы в тылу отсиживались...»

В минуты отдохновения, когда после тяжких дебатов оставались мы выпить по рюмке, он любил читать строки из «Пророка», он хранил вообще в памяти множество стихов, но иногда веселил рассказами из жизни писателей тридцатых годов.

Лев Разгон рассказал, как они с Аркадием Гайдаром как-то на безденежье решили требовать у бухгалтера какого-то издательства, кажется «Молодой гвардии», гонорар, и зная, что тот прижимист и точно не даст, Гайдар, который славился своей находчивостью, купил в зоомагазине ужа и, придя к тому бухгалтеру, сказал: «Не дашь денег, вот тебе змея, сейчас я покончу жизнь, пусть она меня кусает!» И тот от испуга гонорар выдал. А однажды Гайдара арестовали, его взяли у посольства Германии, где он почему-то стоял. А когда во время допроса спросили, что он там делал, отвечал:

— А вот смотрю и думаю, в какое окошко бросить бомбу!

— Вы хотели взорвать?

— Я — нет. Но ведь кто на самом деле захочет взрывать, тот не скажет...

И Лёва добавил: «Это как с Чапеком... Он приехал в Вену и в книге для посетителей написал: «Русский шпион». Его загребли в полицию, спрашивают: почему он написал, а тот ответил: хотел, мол, узнать, много ли дураков в венской полиции...»

Однажды вспомнил он, как они приводили в порядок рукопись неизвестного автора, дописывая и переделывая месяцами... Это была пресловутая книга «Как закалялась сталь». Так вот и закалялась, с помощью коллектива издательства. Но Лёва рассказывал об этом без пафоса, с мягкой улыбкой, почти как о казусе, они уже тогда знали этой книге цену. Да и сам Лёва, об этом он тоже говорил не без смущения, был пионерским писателем и что-то там кропал... Это потом, в лагере, наступило прозрение.

Разгон рассказал случай, как на суде выступил против однокурсника («молодой я был дурак!») и обличал его: «Не помню — за разврат, а скорей, растрату во имя разврата... И вдруг решение: приговорить к высшей мере. Я чуть с ума не сошел... Но там где-то выше снизили... А стыд так и ношу с собой...»

Таким его и запомнили друзья по нашей «помиловочной» Комиссии: в лагерях не скурвился, не ожесточился, не озлился, наоборот, был самым милосердным из всех нас.

Это не преувеличение: все мы живые люди, и у каждого свой пунктик — одни не милуют насильников (Женя), другие дедовщину (Коченов), третьи — наркоманов (Кирилл)... Лёва был ко всем одинаково милосерден, и на его мнение (вроде бы всего один голос) зачастую ориентировались остальные.

Мы никогда не называли его Старейшиной, но в трудный для Комиссии момент, а таких моментов было немало, мы обращались к нему, мы знали, что он действительно самый старший — не по возрасту, возраст как раз не ощущался, а по совестливости, по безупречности, по чистоте.

Это как в оркестре перед концертом, помните: на сцене разнобой инструментов, а потом кто-то одну ноту подаст... И сразу общий настрой. И музыка. И гармония. И лад.

Он настолько не ощущал своего возраста, что однажды, обсуждая кого-то, воскликнул: «Ну чего его держать, старика, ему же скоро восемьдесят!»

Но если кто-то жаловался на болезни, он спрашивал подозрительно: «А вам сколько, простите, минуло?» И услышав, что минуло, скажем, шестьдесят, восклицал как бы в шутку: «Если бы вы знали, какой хороший возраст — восемьдесят лет!»

Был случай, я, кажется, об этом уже писал, когда эту внешнюю мягкость подверг сомнению наш Детектив, в прошлом следователь, человек прямолинейный и жесткий, он обвинил Разгона в беспринципности. Лёва так же мягко, он не умел злиться, на выпад отвечал, что им двоим не о чем и спорить, поскольку... «Мы разные... Ты сажал, а я сидел».

Но вновь, когда обсуждалась судьба смертника, Детектив затеял долгую дискуссию, направленную против Лёвы Разгона.

— Президент должен знать, что в Комиссии присутствуют люди, которые голосуют только против смертной казни, — сказал он.

— Он знает об этом, — отвечал Лёва.

— Нет, он не знает, а должен знать. Это беспринципно — голосовать все время против казни.

— Но так же беспринципно голосовать все время за казнь, — отвечал ему Лёва.

— Отчего на Руси солдат, убивающий врага, почитается за героя, а палач, убивающий жертву, презирается? — спрашивал он, обращаясь уже ко всем нам. — К нему ведь и прикоснуться нельзя было, а случись такое несчастье — очищаться надо в церкви, отмаливать себя... Вроде бы палач-то (теоретически) убивает плохого человека, преступника, в то время как солдат может убить в бою и хорошего! Там как раз не выбирают. А дело в том, что солдату противостоит тоже солдат, у него оружие, он может защититься, а жертва палача абсолютно беззащитна...

Не помню, как возникла идея призвать его на Комиссию, когда мы зимой 1991–1992 годов составляли первый список. Наверное, это было естественно — ну кто же будет миловать, если не такие люди, как Разгон. Помню его ответ по телефону: «Сил для такого дела нет, но нет сил и отказаться...»

Ему было за восемьдесят. Думаю, мы рассчитывали скорей на его заочный авторитет, а он оказался самым обязательным среди нас. Даже когда прибалывал, приезжал:

ему казалось, что кто-то может без него обидеть несчастных. Случилось, мы однажды засомневались, стоит ли человеку сбавлять срок, если ему осталось сидеть полгода. Лёва воскликнул: «Да на один день раньше выйти — благо! Там ведь часы, минуты считаешь!»

В трудные времена, когда пенсия не спасала, Разгон, это мы узнали потом, продавал из библиотеки редкие книги. Но никогда он не жаловался на бедность, он и вправду имел необыкновенный талант: в любых обстоятельствах чувствовать себя счастливым. Жил скромно вместе с дочкой, и кто бывал в его крошечной квартирке на Малой Грузинской в блочном доме, поражались тесноте: все свободное пространство было отдано книгам. Но хозяин с милой своей улыбкой отмахнется: «Да ведь теплый клозет есть, чего же еще надо!»

Я хочу, чтобы вы услышали эту истинную радость обладания теплым клозетом после 17 лет тундры.

Но если эту тему продолжить, вы услышали бы от хозяина небидный рассказ про западного корреспондента, который, допытываясь, как удавалось Разгону писать в заключении, воскликнул: «А я знаю, вы, наверное, писали на туалетной бумаге, да?»

Однажды к нему приехали почитатели его таланта из одной казачьей станицы, с корзинами, полными фруктов, и заявили, что они всегда считали его своим, родным человеком, потому что в станице у них живут сплошь Разгоны. Лёва мило отвечал, что он благодарен за такое отношение, но он-то по происхождению... как бы лучше сказать, ну, еврей...

Это нисколько не смутило гостей. Самый старший из них, казак с офицерской выправкой, бойко отвечал, что они, конечно, знают о том, что Разгон еврей, а они — казаки... «Но еще неизвестно, — сказал лихой казак, приглаживая усы, — кто от кого произошел!»

Но я, наверное, не совсем прав, сказав, что Лёва не умел сердиться. Запомнились его страстные отповеди по поводу вылазок молодых фашистов в газетах, по поводу того же Лимонова. Помню, так совпало, что мы оказались в Париже: у Разгона и у меня были переведены книги на французский язык, и книжный магазин «Глобус» устроил встречу с читателями. Во время выступления из задних рядов раздались неприличные выкрики, а кто-то рядом сказал: «Ну, это Лимонов,

ему не терпится попасть в печать!» Я даже немного растерялся: Париж, и вдруг — открытое русское хамство. И тут Разгон спокойно и жестко произнес всего несколько слов о том, что он в лагерях видел и не такую мразь и там их тоже били.

Это не просто слова. Многие друзья помнят, как некий литературный чиновник высказался оскорбительно о первой жене Разгона, погибшей в лагерях. Лёва выяснил место работы: Институт мировой литературы; приехал, выждал в коридоре обидчика и вlepил в его сытую физиономию крепкую мужскую пощечину, предварительно объяснив — за что. Секундантом на этой «дуэли» был художник Борис Жутовский. У него же в какой-то статье эта сцена очень даже красиво описана.

На похоронах Булата Окуджавы мы стояли с Лёвой в почетном карауле обнявшись (я боялся, что он не устоит), и впервые я увидел, как он плачет. Горько и по-детски. Звучала песня: «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет...» Мне показалось, что именно в тот день что-то в Лёве надорвалось... Хотя и земля вертелась, и ярок был свет...

В дневнике я нашел такую запись:

«...31 марта 1998 г. Вместо заседания — цветы в честь Разгона, ему 90 лет, и подарки, поздравления. Много хороших слов. Стихи, импровизации, тосты. Сам он произнес замечательную речь, смысл ее — что Комиссия не часть его жизни, а вся жизнь... И он было усомнился, может ли в ней по возрасту работать... чтобы, как он выразился, не компрометировать ее своим возрастом... Но именно она дала ему возможность ощущать себя полноценным гражданином...

На чествовании в Союзе писателей он был слаб, а на следующий день его увезли в больницу...

Казалось, что он выкарабкается, уже в больничной приемной живо интересовался делами Комиссии, которую он любил, твердо обещая, что вот выйдет — и сразу за работу. Еще за день до смерти он читал уголовные дела, торопясь кому-то помочь. Но еще раньше он высказался так: «Работа в Комиссии спасла меня в тяжелые годы, она помогла ощущать себя гражданином».

И когда мы в одно из заседаний, за рюмкой отмечая день Победы (это еще был и день рождения Булата, которого уже с нами не было), набрали номер больницы и каждый сказал

по нескольку слов, Лёва на той стороне провода только про-
износил со слезами: «Хочу к вам! К вам!»

Кстати, Булат Окуджава, который охотно посвящал и
дарил своим друзьям стихи, посвятил несколько строк и
Лёве. Родились они из реплики: «Лёва, как ты молодо выгля-
дишь!» — «А меня долго держали в холодильнике...»

Эти стихи Булат написал во время нашей совместной
поездки по Германии и прочел за дружеским столом в Эр-
фурте. Вот они.

ПЕСЕНКА О ЛЬВЕ РАЗГОНЕ

*Я долго лежал в холодильнике,
обмыт ледяною водой.
Давно в небесах собутельники,
а я до сих пор молодой..
Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою —
пусть маленький, но феномен.
По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.*

НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ПРАЗДНИКИ

(БУЛАТ)

В Бонне, после короткого выступления в российском по-
сольстве, мы спустились в здешний бар — Окуджава, Разгон
и другие, чтобы за кружкой пива посидеть, потолковать о
жизни. И в этот момент прозвучал звонок из Кёльна от Льва
Копелева — он даже не просил, он требовал к нему приехать.
Помню, нам долго не давали машину, пугали обледенелой
дорогой (дело было зимой), но Копелев настаивал, даже до-
звонился до посла, и мы трое, Разгон, Булат и я, рванули
(другого слова не придумаю) к Лёве.

Встречали нас шумной компанией, там были немцы,
дальние и ближние родственники, знакомые и друзья.

И всем хватало места. Все было почти так, как у него в доме на Красноармейской. И мы всю ночь до утра пили и вели разговоры — тоже как на Красноармейской. Это были страсти по России. До утра. Ах, как душевно мы тогда посидели!

Да и вся эта поездка в Германию была в общем-то организована Копелевым, который связался с Министерством юстиции и уговорил их принять нашу «помилочную» Комиссию. «Помилочка» — слово специфическое, из лексики заключенных. Мы ездили по тюрьмам, слушали лекции по правовым вопросам, встречались с судьями, работниками юстиции, полицией и даже что-то конспектировали. Немцев волновал тогда вопрос о штази, то есть о доносчиках и стукачах. Мы аккуратно вписывали в блокнотики всякую цифирь — записывал и Булат, посиживая в сторонке.

Впрочем, вскоре выяснилось, что писал он стихи.

*Обсуждали донос и стукачество
И сошлись, между прочим, на том,
Что и здесь обязательно качество
И порядок — а совесть потом...*

Тогда же я записал: «Юридика — ужасно скучная наука, как и сами юристы, но тут, видимо, призвание и характер совпадают, и вырабатывается этакий «типовой» юрист с мышлением узко профессиональным, вьедливым, книжным (кодексы, законы, положения), а эмоциям тут места просто нет. Они, наверное, даже вредны».

Булат, приходивший аккуратно на подобные лекции, переводил эти проблемы на язык эмоций:

*Информаторы — тоже ведь люди,
Эту суть уяснив наяву,
Пришумкли достойные судьи
И посыпали пеплом главу.*

Однажды Булат спросил лектора (мы пытались его «оживить»), а как, мол, дело с интеллигентностью? У юристов?

— Основная задача юриста — точно сформулировать вопрос, — отвечал лектор.

— А голова на что? — продолжал допытываться Булат. В такие минуты он и сам становился жестким, суховато-дотошным.

— Ну, — задумался лектор, — скорее тут нужны знания.

— А талант? — настаивал въедливый Булат. — Талант в чистом виде?

Ответа на этот вопрос он так и не получил. Но не всегда он был так прямолинеен в вопросах. Однажды на встрече в земельном суде вдруг спросил:

— Будь я шпион, сколько мне не жалко дать срока?

— Вас бы передали в высший земельный суд в Дюссельдорфе, — вполне серьезно отвечал судья.

— Ну, я там уже был, — протянул Булат, имея в виду тюрьму, которую мы посещали.

Кстати, там мы увидели впервые (но, слава богу, и в последний раз) маньяка Ряховского, того, что любил своим жертвам говорить: «Поцелуйся со своей смертью!»

Когда Булату показали Ряховского через решетку, Булат сплюнул и отошел.

Однажды после лекции, где нам долго объясняли, что суть всех законов Германии — это защита человека от государства, Булат протянул со вздохом:

— Законы-то везде хорошие. Главное, чтобы люди их исполняли!

Так же при посещении бундестага, небольшого здания, переделанного из бывшей водокачки, Булат, едва улыбаясь, заметил:

— На уровне сельского клуба. И никакой помпезности...

Но потом нам показали новый зал бундестага, уже модернизированный, который оказался рассчитан и на то, чтобы в свободное время давать концерты. Булат тут же отреагировал:

— Вот сюда я приеду петь!

Зашел разговор о депутатах — сперва о немецких, которым скоро придется переезжать из Бонна в Берлин и решать свои квартирные вопросы. Скорее всего, за свой счет. Вспомнили к месту и наших депутатов, которые эти вопросы давно решили, но Булат снисходительно заметил, что их

вообще-то понять можно, когда они захватывают квартиры в Москве, — у них дети.

— Вот если бы еще, — добавил он, усмехнувшись, — не были они такой шпаной!

Булат решил купить себе пиджак.

Я думаю, что решил он это давно, но до поры не вспоминал о своем решении, да и времени свободного не выходило. А тут вдруг вскинулся: нужен пиджак, Ольга, жена, давно талдычит... Я взялся ему помогать, и сразу после осмотра одной из тюрем мы, отъединившись от всех, поехали по магазинам.

Тема пиджака для Булата особенная, она проходит через все его песни и стихи. Понятно, что и пиджак требовался какой-то необычный. Но какой? Мы перемерили их с дюжину, пока не остановились на одном. Конечно, снова клетчатом, из плотной ткани (кажется, дома этот пиджак не одобрили). По такому знаменательному случаю Булат пригласил нас в кафе и угостил крепчайшей и дорогой грушевой водкой.

Потом он напишет:

*Поистерся мой старый пиджак,
Но уже не зову я портного;
Перекройки не выдержать снова —
Доплечусь до финала и так.*

Не сразу, но, кажется, на следующий день я спел сочиненную мной пародию, где от имени Булата были слова про пиджак, а еще про зэков — немецких, конечно, зэков, — которые живут так, что их камеры много лучше наших домов творчества:

*Я говорю: в тюрьме живут,
Как дай нам Боже жить на воле,
У них и крыша, и застолье,
И пиджаки, что им сошьют.*

В компании под грушевую водку это прошло, и Булат не обиделся.

ПО СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ

С тех пор как Георгий Владимов в крошечной квартирке на улице Горького, в доме ВТО, где он проживал у своей жены Ларисы Инсаровой, пристукивая ладошкой по столу, однажды пропел нам песни Булата (это было в году шестидесятом или чуть раньше), песни эти сопровождали меня всю жизнь, даже снились по ночам.

Думаю, что у всех, кто знал Булата даже заочно, отношение к нему было все равно глубоко личным. Как к близкому человеку, члену семьи. В моей жизни случилось несколько соприкосновений с его песнями, пока мы еще не были знакомы. Я приехал в Болгарию, и меня попросили рассказать о Булате, его песнях. Но как можно пересказать песни? Их можно пропеть. Понятно, что мое пение оказалось лишь на уровне мычания, но мы тогда магнитофонов с собой не возили. А через какое-то время Булата показали по телевидению, польский фильм с его песнями, и болгарские друзья в письме об этом написали, упомянув, что я пел, как им кажется, ничуть не хуже самого автора. Я понимал, что это преувеличение, но очень гордился.

Еще у меня была возлюбленная, и, когда не хватало мне слов, я пел ей «Агнешку». И видел, как зажигаются ее глаза. Эту песню знают мало, начинается она так:

*Мы связаны, Агнешка,
С тобой одной судьбою,
В прощанье и прощенье,
И в смехе и в слезах.
Когда трубач над Краковом
Возносится с трубою,
Хватаюсь я за саблю
С надеждою в глазах...*

Побывав в Кракове, я увидел этого трубача, но песня эта для меня не только о нем, но и обо мне, о возлюбленной, о самом Булате. И конечно, о неведомой Агнешке, такой же, наверное, прекрасной, как моя тогдашняя любовь. И его «По Смоленской дороге» оказалась для меня тоже своей песней — то была моя дорога на неведомую родину отцов: на Смоленщину.

Однажды, случилось, мы катили на «запорожце» с моим отцом, два одиноких, прошедших жизнь, усталых мужика, ехали в деревню отца, чтобы отоспаться на сеновале да заживить болевшие раны. И сами собой возникали — вовсе не от Булата, а от себя — слова: «По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы... — и далее: — Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, две звезды голубых глядят, глядят...» Отец тогда жил в одиночестве, а я разводился. Какие уж там глаза! Одна серенькая дорога за горизонт, перекрещенная проводами, да песня, позволявшая ни о чем между собой не говорить.

Пел я и песню про фонарщика:

*Ты что потерял, моя радость, кричу я ему,
А он отвечает: ах, если б я знал это сам...*

Не с голоса Булата, а с каких-то других голосов. Я даже до какой-то поры лишь угадывал, что эта песня не могла быть ничьей, кроме как его. Уж очень пронзительная, булатовская интонация. Но вообще у меня во все времена ЕГО ПЕСЕН было непреходящее чувство, что эти песни, как и сам Булат, посланы нам свыше. При том, что в них много нашего, повседневного, они несли в себе особенные, надземные, космические, что ли, слова и ритмы.

Однажды в автобусе, ехавшем из Гагры в Пицунду, среди молодых тогда семинаристов-драматургов зашел дурацкий спор о будущем веке, двадцать первом, тогда он казался нам почти нереальным, и Жуховицкий-дискуссител (это я придумал, объединив два слова — дискуссия и искуситель) задал вопрос, а кто, по нашему мнению, останется для будущего из нынешних писателей. Ну, кроме Солженицына. В нем мы не сомневались. И тогда я неожиданно сказал:

— Как кто? Конечно, Булат!

Несмотря на разномыслие, на пестроту взглядов, никто не стал оспаривать мои слова, все вдруг согласилось: Булат — да. Он останется.

ВОТ КОМНАТА ЭТА — ХРАНИ ЕЕ БОГ

Обычное, повседневное общение лишает возможности видеть целиком человека, оценивать его реально. Но к Булату это не относилось. Встречаясь почти каждую неделю на Ко-

миссии по помилованию и имея возможность разговаривать с ним о чем угодно, я никогда не забывал, что говорю-то с Булатом. Однажды решился спросить, а помнит ли он, как и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились.

Нет, он, конечно, помнить не мог, это было памятно лишь мне, ибо я тогда уже любил его песни и робел от предстоящей с ним встречи. А было так. В Москву приехала чешская переводчица Людмила Душкова и попросила передать Булату ее письмо. Через какой-то срок мне удалось дозвониться, и он, извинившись, попросил занести письмо ему домой, на Красноармейскую улицу, сказал приметку — там еще на первом этаже дома парикмахерская. Я поднялся на названный им этаж и позвонил в дверь. Она оказалась открытой. Булат лежал на раскладушке в пустой, совсем пустой комнате; кажется, и стул там был один-единственный.

Это была странная картина: голая квартира, а посреди — хрупкая, из алюминиевых трубок раскладушка и торчащее из-под одеяла небритое лицо. Глаза у него слезились. Чуть приподнимаясь и прикашливая, он попросил меня присесть, указывая на стул. Потом взял письмо, спросил о погоде, о чем-то еще. Вторично извинился и сказал, что вот-де простуда, а может, грипп, он вынужден здесь отлеживаться... Они только что переехали... Семья далеко...

О том, что он тут без помощи и практически одинок, я мог и сам догадаться. Но он-то никогда, после того же, не жаловался на судьбу. Был по-мужски сдержан, когда речь шла о нем самом. Кажется, именно в тот год покончила с собой его жена, и он какое-то время оставался один. По своей природной рассеянности я забыл у него на подоконнике записную книжку, но он меня разыскал, позвонил и смог передать ее через общих знакомых. Думаю, не без потаенной памяти об этих аскетических днях Булат отдал премию «Апреля», какие-то доллары — не очень, впрочем, большую сумму — одному бедствующему молодому поэту, но с условием: выдавать по частям в течение года. А то сразу пропьет.

И позже, в эти последние годы, я догадывался по каким-то неуловимым признакам о его одиночестве, лишь однажды промелькнуло в разговоре, когда я признавался в моих семейных неурядицах, — он ответил, что это, мол, бывает... Было и у него. Но я-то уже понимал, что это не только было, но и есть;

и не случайно гоняет он на машине в Переделкино, на дачу, где и живет все время, хоть это, наверное, не так удобно, особенно зимой, и обед мастерит сам себе, и уборкой занимается в доме и во дворе, вплоть до откапывания машины из-под снега.

Как-то он заметил, что знает только двух поэтов, которые живут так, как должны жить поэты, — это Ахмадулина и Бродский. Отзываясь по телефону каким-то почти сонным, низким голосом: «Слушаю», он сразу оживлялся, искренне радовался, когда кто-то из друзей ему звонил. И особенно навещал. Однажды после заседания на Комиссии мы сделали крюк на служебной машине, чтобы заехать к нему в Переделкино, на дачу. Он раскупорил «Изабеллу», купленную в местном переделкинском магазинчике, и мы ладненько посидели. Дома он оживлялся, он любил гостей, и все положенное — стаканчики, какие-то бутерброды, сыр, печенье — сноровисто и легко метал из холодильника на стол. Потом с детской улыбкой демонстрировал необычную свою коллекцию колокольчиков: стеклянных, фарфоровых, глиняных... Я ему потом привозил колокольчики — из Саксонии, из Киева. Их он разворачивал, бережно, как птенцов, брал на ладонь, рассматривал, поднося к глазам, переспрашивал, откуда, сдержанно благодарил.

Впервые показывая свою коллекцию, он уточнил, что не специально собирает, а так, по случаю. Привстал со стула и провел по колокольцам рукой, позвенел, прислушиваясь, а садясь, снова налил бледно-розовой «Изабеллы» и с удивлением произнес, что вино-то дешевое, но вполне...

*Вот комната эта — храни ее Бог!
Мой дом, мою крепость и волю,
Четыре стены, потолок и порог,
И тень моя с хлебом и солью.
И в комнате этой ночью порой
Я к жизни иной прикасаюсь.
Но в комнате этой, отнюдь не герой,
Я плачу, молюсь и спасаюсь.*

И снова тайна. «Иная жизнь» — это его собственная жизнь, но в ином пространстве? В ином измерении? А может, выход в искусство и есть иная жизнь? Перевоплощение? Разговора о работе за столом не поддержал, только бросил,

что, мол, мучаю какую-то прозу. Пишу на машинке. Мол, подарили машинку, итальянскую, вроде ничего. Книжки дарил с радостью и в надписях никогда не повторялся. При этом не спрашивал, как зовут жену или дочку, он всегда это помнил. Так же охотно дарил и стихи, написанные только что, от руки, четким, замечательно ровным, красивым почерком.

А импровизировал он легко, писал быстро и, казалось, совсем без затруднений. Был случай, когда на заседание Комиссии пришел наш Старейшина и пожаловался, что жмет сердце. Я предложил рюмку, он согласился. Тут же сидящий напротив Булат сразу выдал четверостишие:

*Я забежал на улочку
С надеждой в голове,
И там мне дали рюмочку,
А я-то думал — две.*

— Ну, можно и две, — отреагировал я с ходу и принес Старейшине еще одну рюмку, которую тот аппетитно осушил. И следом пошли новые, во мгновение возникшие стихи:

*«За что меня обидели?» —
Подумал я тогда.
Но мне вторую выдали,
А третью?
Никогда.*

— Почему же «никогда»? — возмутился я и сбегал, принес третью. И Старейшина, поблескивая голубым глазом, поблагодарил и радостно принял вовнутрь.

Но слово все же осталось за Булатом:

*Смирился я с решением:
Вполне хорош уют.
Вдруг вижу с изумлением:
Мне третью подают.
И взял я эту рюмочку!
Сполна хлебнул огня!
А как зовут ту улочку?
А как зовут меня?*

МЕЧТАЛ БЫТЬ ПОМЕЩИКОМ

Однажды зашел разговор о его прозе, и Булат как бы вскользь произнес, что прозу-де его как-то... недопонимают, что ли. А если честно, то помнят лишь песни. Когда он ездил по Америке (заработок!), то шумный успех, который его сопровождал (об этом я знал из газет, не от него), был в основном среди бывших русских, тех, кто испытывал ностальгию, связанную и с его песнями. Булат не кривил душой. Он так считал...

Лично же для меня его проза была существенной частью всего, что он писал, начиная с первой, небольшой автобиографической повести «Будь здоров, школяр!», опубликованной в известных «Тарусских страницах», и далее до «Бедного Авросимова» и других исторических работ. Ни у кого из наших современников не встречал я такого глубокого, тончайшего проникновения в быт ушедшей эпохи, в стиль речи, в романтические характеры героев, в особое видение примет и черт Серебряного века.

Однажды Булат имел смелость вслух заявить, что мечтал быть помещиком и жить в усадьбе, за что долго обличали его в печати, я же это понял и одобрил. А вот в дневниках у Сниткиной, жены Достоевского, тоже выражена мечта великого писателя о своей усадьбе. Но более того, я почувствовал, что мы оба с Булатом родом из того времени, и потому так он несовременен и щепетилен, особенно в том, что касается чести. И потому, наверное, так сильно резануло по сердцу, когда после объявленного по Первому каналу неким красавчиком комментатором с деревянной мимикой и искусственным голосом робота известия о безвременной кончине великого поэта тут же, без пауз, возникла реклама с двумя обезьянами. Что им, пошлякам, нескольких коммерчески оплаченных минут для молчания оказалось жалко, чтобы дать своим слушателям пережить услышанное? Но видно, история с Чеховым, привезенным в гробу в Россию в вагоне для устриц, будет у нас повторяться всегда.

Мы никогда не говорили с Булатом о Дон Кихоте. Но рыцарство было у него в крови. Как и благородство. Как и высокое чувство к прекрасной даме. Достаточно вспомнить лишь это: «Женщина, Ваше Величество, да неужели сюда?» Я так просто в эти стихи влюбился, переписывал от руки. Мо-

жет, он их и создал в ту пору, когда простуда и раскладушка в пустой квартире?

Однажды я спросил, а как он догадался в романе «Свидание с Бонапартом» повесить на березках для приметы на пути возлюбленных, чтобы не заблудились, цветные лоскутки. Он отвечал с растерянной улыбкой, что это же так понятно, что он тоже так бы сделал. Если бы жил тогда...

Такой он и был.

ОН ВСЕ ПРО СЕБЯ ЗНАЛ

Вглядываясь в Булата, я всегда старался угадать, где проглянет тот прорицатель, мудрец, обладатель тайн, явленных в «Молитве» и других стихах, в каких словах, в каком движении, взгляде. Но внешне это никак не выразалось. Лишь в стихах. А ведь стихи-то почти все провидческие. В них много тайн. Несмотря на внешнюю простоту. В одном из последних сборников прямо-таки на выбор — любое стихотворение, и везде о своем уходе. Он предупреждал нас, а сам все уже знал.

*А если я погибну, а если я умру,
Простится ли мой город,
Печальюсь поутру,
Пришлет ли на кладбище
В конце исхода дня
Своих счастливых женщин
Оплакивать меня?*

Но он-то знал, что и город простится, и женщины придут... Он нам рассказал, как будет, а знак вопроса ставил из-за своей вечной щепетильности. Стихи, конечно, провидческие, как у Пастернака в «Августе». И даже то, что слово «погибну» поставил прежде слова «умру», свидетельствует о том, что он предвидел гибель, как это в конце концов и произошло. При встрече же чаще всего передо мной возникал сухощавый, аскетического вида человек, очень простой, естественный, до предела внимательный. Никаких обидных шуток, а если ирония, то обращенная к самому себе. В особо возвышенные моменты — жгучий, из-под густых бровей, взгляд. Легкая улыбка, спрятанная в усы. Но, опять же, без

слов. Его слово, каждое, было значительно, тяжеловесно, как золотой самородок.

Как-то я позвонил к нему домой, и подошла Ольга, сказала, что Булат ушел в магазин и скоро вернется.

— Он сырки творожные к завтраку покупает.

Ерунда — подумаешь, сырки! Я бы и не стал о них здесь упоминать, но ведь это для всех нас, кто за войну не пробовал сахару, крошечная ежедневная радость: творожные сладкие сырки на завтрак.

МАЛЕНЬКИЕ ПРАЗДНИКИ

Однажды — это было на одном из наших маленьких праздников в кабинете, где мы собирались на заседания Комиссии, — принесли гитару и, чтобы раззадорить Булата, стали петь его песни. Он и правда подхватился, взял гитару и запел. Но пел немного, а в конце стал путать слова. Это казалось почти невероятным: его слова нельзя было не помнить. Я знал еще случай, когда в компании ненароком в песне о комиссарах кто-то ошибся, спел: «И тонкий локоть отведет...» Так все хором стали поправлять: «Острый! Острый локоть!»

То же и на одном из концертных вечеров Булата, когда он запомнил слова песни про пиджак, зал дружно стал ему подсказывать, почти подпевать.

Однажды на загородной президентской даче происходила встреча Ельцина с интеллигенцией, и среди других приглашенных оказался Булат. Сбор назначили в Кремле, и, помню, автобус задержали, думали, вот-вот подойдет. А через несколько дней Булат сам мне объяснил не без некоторой досады, что ему позвонили из Союза писателей и кто-то из секретарей, кажется Савельев, попросил приехать с гитарой.

— Что же я, актер какой, чтобы развлекать президента?

Но думаю, да Булат это и сам понимал, президент тут ни при чем, просто кому-то из литературных чиновников захотелось выслужаться.

В «Современный театр» на юбилей Булата — семидесятилетие — мы пришли вдвоем: я, жена и маленькая Машка, с огромным букетом алых роз, и в комнатке за кулисами первыми его поздравили. Потом мы поздравляли его у себя

на Комиссии, и он сознался, что почти ничего не помнит из того, что было в театре.

— Это было, как во сне, — сказал он грустно. — А я не просил, я не хотел ничего подобного.

К моей дочке он относился с трогательной заботой, интересовался ее успехами, а получив от нее очередной рисунок на память, по-детски восторгался. Но предупреждал:

— Вы ее не захваливайте, хотя рисует она занятно...

Предопределяло ли что-то его скорый уход? Предчувствовал ли он его на самом деле? Не знаю. Если что-то и было, то в подсознании, куда загоняла недобрые предчувствия рациональная память. Особенно когда уходили другие, те, кто были рядом с ним. Уходило поколение, благословленное одними и осужденное другими. Конечно, мы знали, что в последнее время он частенько попадал в клинику: то сердце, то бронхи. Но, выныривая из непонятных нам глубин, появлялся на Комиссии, сдержанный, чуть улыбающийся, готовый к общению.

У него и шуточное четверостишие было по нашему поводу, которое он назвал «Тост Приставкина»:

*Это наши маленькие праздники,
Наш служебный, праведный уют.
Несмотря на то, что мы проказники,
Нам покуда сроков не дают.*

После отсутствия первым делом подходил к стене, где я развешивал рисунки моей дочки. Одобрительно хмыкал, рассеянно оглядывал огромный кабинет и присаживался на свое привычное место в средней части стола. Доставал сигареты, зажигалку и молча выжидал. Во время заседания часто привставал, ходил, прислушиваясь со стороны к выступлениям коллег, а если выступления затягивались, подходил ко мне и тихо просил:

— Может, покороче? Уж очень длинно говорят!

Однажды, когда заседание затянулось (проходило мерзкое дело одного насильника), Булат под занавес, уже после голосования, сымпровизировал:

*Он долго спал в больничной койке,
Не совершая ничего,*

*Но свежий ветер перестройки
Привел к насилию его.*

Он же однажды про какого-то злодея мрачно пошутил:
— Преступника освободить, а население — предупредить!

В делах стали нам попадаться такие перлы: «Преступник был кавказской национальности». С легкой руки милицейской бюрократии пошла гулять эта «национальность» и по нашим делам, встречались уже и «лица немецкой национальности», и «лица кубинской национальности» — я как-то уже говорил об этих казусах. Но Кавказ, особенно после нападения на Чечню, преобладал. Уже и в Москве началась паника, а Юрий Лужков предложил меры борьбы с инородцами, особенно кавказцами.

Мне запомнился такой разговор на Комиссии:

— Пишут «неизвестной национальности». Это какой?

— Наверное, еврейской!

— Еврейской — это бывшей «неизвестной», теперь-то известна!

— Ну, значит, «неизвестной кавказской национальности»...

— Так надо и писать, — сказал, нахмурясь, Булат.

На следующем заседании он произнес, что не поленился, сел и подсчитал лиц «неизвестной кавказской национальности», фигурирующих в наших делах, их оказалось на сто уголовных дел всего-то сотая процента. И Булат положил передо мной листок, где процент преступности уверенно возглавляли мои земляки — русские.

Как-то Булат, заглянув в дело, спросил:

— Что такое «д/б»?

— Дисциплинарный батальон.

— А я думал — «длительное безумие», — протянул он, сохраняя серьезность. Пошутил, но в каждой его шутке было много горечи.

У меня сохранился номер «АиФ» за май 1995 года, где Булат отвечает на вопросы корреспондента:

«— Что вам дает эта работа в Комиссии по помилованию при вашем переделкинском образе жизни?

— Что дает? Меня туда пригласили. Там собираются хорошие люди... Сначала я был отравлен вообще. Ну, как это — поднимать руку за смертную казнь, за убийство? А с

другой стороны, подумал я, ведь в большинстве случаев я поднимаю руку против! А если я уйду, то на мое место может прийти черт знает кто. Один жестокий человек там у нас уже есть... И хватит (это о Детективе. — А. П.). Чаще всего нам удастся смертную казнь заменить пожизненным заключением. Правда, потом приходят письма: «Не могу больше, лучше казните». Я и сам не знаю, что лучше.

— Но вас наверняка упрекают, что вы вообще участвуете в этом. Как это так, поэт, писатель, интеллигент...

— Я не могу назвать себя интеллигентом. Это же все равно что утверждать: я себя причисляю к хорошим людям, я — порядочный человек.

— Но разве это не нормально — так про себя сказать?

— Нет. Поступать надо порядочно. А другие пусть о тебе говорят. Иначе это будет похоже на выступления Юрия Бондарева: «Вот мы, прогрессивная интеллигенция...» Конечно, где-то в глубине души я хочу верить в то, что я — порядочный человек. Но кто его знает».

Наверное, не случайно на вопрос, упрекают ли его, что он участвует в «этом», Булат заводит как бы отвлеченный разговор о порядочности вообще, давая понять, что бескорыстно участвовать в такой тяжелой работе может только порядочный человек. Упоминание про «жестокоего человека» в Комиссии тоже не случайно. Хотя лично мое мнение — и Булат с этим бы согласился — таково: в Комиссии люди должны быть разные, с разной мерой жестокости и милосердия. Да и сам Булат проявлял иной раз подобную «жестокость» и поднимал руку за казнь. Но уверен, это было лишь в тех редких случаях, когда он не мог голосовать иначе.

Одна знакомая журналистка из «Огонька» мне как-то сказала:

— Я брала интервью у Окуджавы, он про свое участие в Комиссии сказал так: «За что, не знаю, но мне надо нести этот крест до конца».

Он и донес его до конца.

МИЛОСТИ СУДЬБЫ

Но были еще стихи. А они — всегда предчувствие. В одном из последних сборников «Милости судьбы», для меня особенно памятном, ибо там были стихи, которые он нам щедро дарил со своим автографом, все можно услышать и понять.

*Так качаюсь на самом краю
И на свечу несгоревшую дую...
Скоро увижу маму мою,
Стройную, гордую, молодую.*

Даже любимый им Париж, где это и случилось, чуть ранее обозначен как место, где можно:

*Войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
Где ждет меня Вика Некрасов...*

В этом сборнике есть стихи, посвященные мне. Но дело не в моей персоне. Ей-богу, мог быть и кто-то другой, к кому он обратился бы с этими словами. Я получил стихи в подарок в Германии после какого-то застолья. Четкий и очень разборчивый почерк, ни одной поправки:

*Насколько мудрее законы, чем мы, брат, с тобою!
Настолько, насколько прекраснее солнце, чем тьма.
Лишь только начнешь размышлять над своею судьбою, —
Как тотчас в башке — то печаль, то сума, то тюрьма.*

И далее финальные строки:

*Конечно, когда-нибудь будет конец этой драме,
А ныне все то же, что нам непонятно самим...
Насколько прекрасней портрет наш в ореховой раме,
Чем мы, брат, с тобою, лежащие в прахе пред ним!*

(РЕКЛИНГХАУЗЕН, ЯНВАРЬ 1993 ГОДА)

На книжке со стихами, уже изданными, Булат написал: «Будь здоров, Толя! И вся семья!» Я думаю, книжка была подарена, когда мы встретились после летних отпусков у себя на Комиссии. Нам оставалось быть вместе менее четырех лет.

И еще одну книгу он написал — «От заезжего музыканта». Там в предисловии сам Булат объясняет свое появление в этом мире через образ заезжего музыканта. Музыкант заехал и уехал, это правда, но оставил песни, и они стали частью нашего мира, вынь их — и в нас убудет что-то главное.

Он ушел в день, когда Россия готовилась к Троице. Случилось это в Париже. Его слова, обращенные к Всевыш-

нему: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой» — поразили меня интимностью, с которой может обращаться лишь сын к своему отцу. Теперь они встретились. И одним светочем будет меньше, а одной великой могилой больше.

Мы возвращались с панихиды, шли вдоль очереди, растянувшейся на весь Арбат. Шел дождь, было много зонтов. А еще было много знакомых лиц. Мариэтта Чудакова снимала именно лица, приговаривая:

— Таких лиц больше не увидишь!

Там и правда была вся московская интеллигенция, много женщин... Заглядывая в их лица, я отметил, что женщины, тем более «счастливых», что-то не видно, а видны в этой очереди лица усталые, несчастные или заплаканные. И если прощание, как просила Ольга, поделили на прощание «для всех» и «для близких», то *это* стояли тоже *близкие*. А еще я подумал, что женщины все-таки занимали особое место в его стихах. И — «женщины глядят из-под руки», и те, любимые мною строки, — «женщина, Ваше Величество», и много, много других строк.

Кажется, через неделю или две я узнал, что Вергилий Петрович проявил инициативу и послал бумагу в ХОЗУ Администрации (хозяйственное управление), чтобы купили венок для Булата, все-таки член Комиссии... Оттуда прозвучал казенный голос: мол, не положено, нужно постановление и т. д. Я, кажется, разозлился:

— Дуболомов везде полно. Пусть со своим постановлением катятся в задницу! Если до других не дошло, кто такой Булат, значит, их плохо мама родила! А цветы мы все равно купили сами.

Лёва Разгон:

— А я все плачу... Второй день...

Пока мы шли, Разгон, Чудакова и я, к нам выходили из очереди знакомые. Молча обнимались и возвращались на свое место. Мой друг Георгий Садовников потом скажет, когда мы будем поминать Булата у него на квартирe, вдвоем:

— Больше этих лиц уже не увидишь. Они — тоже уходящее поколение...

Оглядываясь, я и сам убеждаюсь — это пришла старая московская интеллигенция, чтобы напомнить самим себе о прекрасном кошмаре прошлого и защититься Булатом от еще более жестокого кошмара нынешнего. А то и будущего...

Кто понимает: Булат еще долго — может, до нашей смерти — будет нас защищать. И спасать. И еще острее почувствовалось: мы следом уходим, ушли. А эти проводы — реквием по нам самим.

Там, где он сидел, — вклеенный в кусок стола портрет. Туда никто и никогда не садится, это место навсегда его. И когда у нас совершаются по традиции «маленькие праздники», мы ставим ему рюмку водки и кладем кусок черного хлеба. Но уже звучат новые стихи, значит, поэзия с Булатом из Комиссии вся не ушла. И это тоже знаменательно.

*Пьяные монтеры, слесаря
Убивают жен и матерей,
Бабы разъяренные — мужей...
Бытовуха. Сдуру все. Зазря.
Вместо опохмелки — в лагерь.*

*Заседает строгая Комиссия.
Миловать — у ней такая миссия.*

*Кабинет просторен и высок.
Отклонить... Условно... Снизить срок...
Боже мой, зачем же ты, Булат
Окуджава, друг, любимец муз,
Среди этих должностных палат
Ради тех, кому бубновый туз...
Вот — курил, на локоть опершись,
Кто же знал, что сам ты на краю?
Мы, убийцам продлевая жизнь,
Не сумели жизнь продлить — твою!*

*За столом оставлен стул пустой,
Фотоснимок с надписью простой.*

*Заседает без тебя Комиссия,
Воскрешать — была б такая миссия!*

*Жизнь идет... По-прежнему идет,
Судьи оглашают приговор,
А за окнами звенит, поет,
Милует гитарный перебор.*

Постскрипtum ИЗ СПИЧКИ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ

Дело знаменитого «авторитета» Спички выплыло неожиданно во время посещения колонии, где он до помилования отбывал срок.

— Вы уже и без документов милуете? — спросили нас.

— Мы? Помилуй бог, никогда.

— Но вы же помиловали Спичку!

Вернувшись в Москву, стали наводить справки. Выяснилось: Спичку помиловали, но документы были, в большом количестве, да еще какие.

Привожу анкету:

Спичка Александр Викторович, 1961 г. рождения, осужден 1 июля 1998 г. Заволжским судом Ярославля с частичным присоединением неотбытого наказания к восьми годам шести месяцам лишения свободы.

Состав преступления: 19 января 1990 г. Спичка и неустановленный соучастник обманным путем проникли в квартиру и напали на Урбанского. Спичка ударил Урбанского рукой и вместе с соучастником связал потерпевшего; заклеив ему рот липкой лентой и угрожая ножом, похитили его имущество на сумму 15 043 руб. и с похищенным скрылись. За это преступление Спичка был осужден 29 августа 1990 г. с присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору к 8 годам лишения свободы. 16 ноября 1991 г. Спичка, отбывая наказание, с целью побега договорился с часовыми по охране колонии, передав им деньги в сумме 9 тысяч руб. и спиртное, преодолев по их разрешению

ограждение, незаконно выбрался за территорию колонии и уехал в г. Москву, где 28 марта 1998 г. был задержан. За это преступление Спичка осужден по последнему приговору.

Отбыл он ко времени поступления документов 4 года 2 месяца, характеризуется положительно, участвует в общественной жизни колонии, страдает сахарным диабетом. Администрация колонии ходатайствует о его помиловании.

Это дело обсуждалось на Комиссии без меня, был в отпуске, а заседание проводила Маризэтта, и даже, как рассказывают, немного поспорили: Бовин и кто-то еще предложили подождать до половины срока, а Чудакова посчитала, что из-за двух месяцев не стоит при таких отличных характеристиках держать человека в неволе. Президент помиловал Спичку, а через месяц или два «авторитет» в перестрелке был убит, и дело его всплыло снова.

Генпрокуратура занималась делом Спички целый год, пока не выяснила, что двое дружков нашего «авторитета», Иконников и Кривенко, завязали знакомство с начальником колонии в Мордовии Лютюшиным (звание не указано, но очевидно, что офицер МВД), выяснили у него все подробности процедуры помилования, получили настоящие бланки и печати и, сочинив дело, отправили в Москву, подкрепив опять же просьбу о помиловании звонками от имени администрации колонии и т. д.

«Авторитет» по сочиненным документам выглядел невинной овечкой, больным насквозь: острая форма диабета, к тому же на иждивении у него находится тяжело больной ребенок, а мама больна раком, она просто не доживет до встречи с родным сынком.

Получив такие бумаги (да еще с реальными печатями и подписями!), никакая бы Комиссия не смогла отклонить ходатайство: бывали же случаи, когда мы спасали не столь уж страшных уголовничков, когда им оставалось месяц-два жизни.

В августе Президент помиловал Спичку, в сентябре, как сообщила прокуратура, его освободили, и тут уж дружки выставили счет за «услуги» в размере 200 тысяч долларов. Сколько «зеленых» за свои труды получил начальник колонии, нам неизвестно. Но подельники денег так и не получили, Спичка погиб в разборке, при невыясненных, как написано, обстоятельствах.

Невинная кража в квартире — это, скорей всего, липа, за Спичкой, как утверждают специалисты, тянется длинный хвост преступлений в Москве.

В результате расследований Лютюшину, Кривенко, Иконникову предъявлено обвинение в злоупотреблении и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, подделке документов и вымогательстве. В общей сложности бывшему начальнику колонии грозит до десяти лет лишения свободы, а его поделщикам — от двадцати и выше. Получается, что уже сейчас ГУИН пытается смягчить наказание своему (у них и колония для своих), хотя и непосвященному понятно, что без печатей и бланков никакие дружки (что это означает, тоже неясно) ничего бы не смогли сочинить.

О том, что в наших колониях берут взятки, торгуют характеристиками на помилование и т. д., мы писали много раз, но система российских лагерей, полученных в наследство от ГУЛАГа, сохранила и даже приумножила то, что было скрыто за колючей проволокой, а ведомство министра Чайки — ГУИН так и остается закрытой зоной для контроля и критики. Тем более легко спихнуть свои грехи с больной головы на здоровую, в данном случае на помилование.

Самое поразительное в истории со Спичкой — возможность опорочить теперь Комиссию по помилованию и само помилование. Вся наемная печать из номера в номер, несмотря на наши опровержения, упорно вдалбливала непросвященному читателю, что Спичка и ему подобные опасные преступники — вот кого миловала Комиссия. И не просто миловала, ведь тут где-то и денежки упоминаются. Он дал — или ему дали — кто запомнит, но что-то было.

Одна московская газетка, долго и безуспешно поливавшая нас грязью, напечатав информацию из генпрокуратуры, заключила таким пассажем: «Конечно, дело Спички было не единственным, сыгравшим роковую роль в судьбе Анатолия Приставкина, справедливости ради надо сказать, что по данным Минюста 75% помилованных комиссией отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Но может быть, теперь генпрокуратура более тщательно разберется с каждым из этих дел?»

Можно посмеяться над недоумками из газетки, подсчитав, что если расследование дела Спички заняло год (работа-

ла группа высококлассных следователей!), то на двенадцать тысяч дел придется потратить двенадцать тысяч лет... Но если разбираться всерьез, эта крошечная дописка не что иное, как донос в высшие органы.

Пишем опровержение, но вот уж следом еще одна газетка подает голос: «ПОЧЕМ ПОМИЛОВАНИЕ». Приведя снова пример со Спичкой, автор патетически восклицает: «Страшно подумать, сколько подобных ошибок могло произойти за девять лет существования Комиссии...»

Ощущаете — одна и та же рука? И уже шьют дело. Но правда, здесь, слава богу, при расследовании выясняется, что статья — заказная и за нее получены автором две тысячи долларов.

Кто-то из Комиссии в шутку предлагает сброситься еще на две тысячи, чтобы автор нам открыл имя заказчика. Не откроет.

Но нам не до шуток. Возвращаясь домой, нахожу послание от моей семьи:

«ПРИСТАВКИНУ. Хозяйство на Ленинградке. 1. Отремонтировать дверь в спальне на балконе. 2. Повесить карниз. 3. Поставить розетку, а то может убить током. 4. Покрасить дверь, купить кисточки две штуки. 5. Покрасить окна в кухне. Еще что-то, не помню, но вот подтекает бачок в туалете. На хрена ты сидишь на Ильинке, когда розетка вывалилась, лучше бы карниз повесил, чем все эти идиотские письма (в смысле опровержения. — А. П.) сочинять.

Далее, ты дал 500 рублей, а розетка стоит 120 р., работа электрика не знаю уж сколько. Две кисточки по 30 р. да моющее средство 50 р. Шампунь тоже кончился. И не пишу, сколько истратила на ребенка в школе. Ну и что? Теперь не покупать трусов? Маша еще не просит на форму, но хотя бы юбку или только пиджак, а то собирается донашивать старое. Надо бы сто баксов, где их взять?

В общем, займись хозяйством вместо этой гадости на Ильинке, от нее уже тошнит... Тогда ты не будешь спрашивать, куда уходят деньги. Я-то бьюсь-бьюсь, занимаюсь всей нашей рухлядью, а ты спрашиваешь, почему так дорого. Займись и узнаешь. Я уж молчу, какой будет счет за электричество...»

Следом, после названных обвинений, еще одно, под занавес:

«ТОЛЯ, пообещай нам с Машей, что ты не будешь больше ходить на Ильинку, унижаться и трепать себе и нам нервы. Иначе будут жуткие ответные меры с нашей стороны».

И однажды, вернувшись, я не нашел дома семьи — жены и ребенка, в знак протеста против моей работы они выехали... точнее же, переехали жить на дачу. Дома лежал конверт с письмом, которое я должен передать членам Комиссии, можно лишь представить, что там было написано.

Нет, нет, роковую роль сыграло в моей судьбе не дело Спички. Да подвержена ли судьба писателя вообще таким катаклизмам, как неприятности на работе?

А вот влияние этих дел на состояние семьи, отношение, скажем, к дочке в школе (все же смотрят телевизор), на их самочувствие — дело не последнее. А может быть, даже первое. Не случайно один мой друг-строитель утверждал, что за сорок лет работы прорабом он ни разу не притащил домой неприятностей с работы. «Эти проблемы я оставляю за дверью дома, — утверждал он, — а в доме должно пахнуть борщом, и у всех родных, и у меня самого, когда садимся за стол, будет всегда праздничное настроение.

А вот уже вырезка из газеты за 25 декабря:

«Комиссия по помилованию при Президенте РФ будет ликвидирована в ближайшее время, сообщил Президент России Владимир Путин в понедельник. Теперь готовить списки лиц на помилование будут руководители субъектов РФ, а утверждать их — Президент...»

С таким настроением направлялся я в Кремль, от Ильинки через Красную площадь. Играла музыка, на заснеженной, непривычно белой площади прогуливался народ. Было морозно.

«Десять лет назад было как-то проще, — подумалось, — и Новый год... Кстати, где я его встречал? Кажется, в Дубултах под Ригой... Нужно ли было в тот далекий новогодний день решаться на такое?»

Предъявив пропуск охраннику в тулупчике, я шагнул за высокую стену Кремля.

Кто бы мог угадать, что меня ждет?

Послезонье

Пройдя мой книжный путь от зоны к зоне, насколько хватило сил, не от усталости, которая накопилась, но от Провидения вслед за поэтом Твардовским, родным моим земляком, открывшим Россию в поэтическом видении «За далью даль», могу лишь произнести с отчаянием, что в тех дальях (как, впрочем, и близях) открывались мне до окоема одни зоны. За зоной — зона, а за той зоной — зона опять. Зоны не только криминально-уголовные, географические, юридические, политические и прочие, прочие. Но и зоны самоочищения, проходя которые поэтапно («этапы» — из той же терминологии) выжимали мы, по Чехову, из себя раба. Не по капле — по зоне.

Я сказал «мы», но теперь говорю — «вы», коль хватило вам внутренних сил пройти за мной эту книгу до конца. Мой уважаемый, любимый, драгоценный... читатель. Эта книга родилась из странного, ноющего чувства боли, которое не имело до поры слов, но изводило и терзало бессилием и выжигало огнем нутро. Я и написал ее не для кого-то, а для себя, чтобы погасить внутренний свой огонь, тем, возможно, исполнив долг и перед Всевышним, который один знает, зачем было надо, чтобы я и мои друзья, пройдя «долиной смертной тени», заглянули за край невозможного. Книга завершена, но стало ли мне легче? Лишь настолько, насколько приносит облечение краткий выдох, за которым последует новый

вдох. Потому что в этот самый миг совершается нечто, что нам не дает возможности говорить о закрытии узкой, только что прорезавшейся щелочки в нашей с вами душе, куда доступней стала чужая беда и боль...

«Что такое Русь? — спрашивал Пушкин. И он же отвечал: — Полудикие народы... их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданственности, легкомыслие и жестокость...»

С той поры мы не стали лучше, поэт не только определил тогдашнее состояние Руси, но и предсказал ее будущее. То, что мы сейчас переживаем. Что будут переживать долго и после нас.

И если мне суждено «долиной смертной тени» идти дальше, то молю Тебя, Господи: «...Избави меня от всякого неведения, и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия». (Молитва св. Иоанна Златоуста на сон грядущий.)

Но какой уж нынче сон?

2000 ГОД

ТИХАЯ
БАЛТИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Поздним вечером звонок в гостиницу к Элизабет.

— У меня несчастье. Они уничтожили мою книгу.

— Как это случилось?

— Не знаю.

— Они забрали рукопись?

— Нет, не рукопись. Но они уничтожили ее...

— Когда?

— Сегодня... Я ушел в церковь, мы всей семьей пошли и не были около часа...

— Вся книга?

— Да. Практически вся. Но я не об этом... Я боюсь за семью.

— А ты не можешь сейчас переехать? У тебя есть тут друзья?

— Есть, конечно. Но мне не хотелось бы, и так осталось всего несколько дней. Но, может, они теперь успокоятся...

— А сейчас они слышат наш разговор?

— Думаю, что да.

— Что же ты собираешься делать? Ведь эти твои дневники...

— И дневники, и сказки!

— В общем-то, понять можно. Это ведь свидетельство? Правда?

Юрий Афанасьев где-то сказал, что события в Балтии нельзя рассматривать в упор, то есть с близкого расстояния. Можно не увидеть что-то существенное.

Я же видел их даже не в упор, я оказался внутри этих событий, стал частью их, мое свидетельство — свидетельство человека, который побывал в радиоактивной печке реактора, где температура совсем иная, чем снаружи. Ну, где-нибудь

в Москве. Может, поэтому мои записи не столько созерцательны, сколько возбуждены, они горячи от ожогов.

Я полагаю, скоро станет понятным, о чем я говорю. Ну, хотя бы угрозы, письма, звонки, предупреждения... Завершившиеся уничтожением этого дневника.

Когда поздним вечером 27 января я позвонил моей приятельнице Элизабет, корреспонденту шведского телевидения, и сказал, что дневников, то есть более ста пятидесяти страниц записей, больше не существует, она после долгого молчания спросила:

— Но ведь голова у тебя существует?

— Пока существует.

— Вот и пиши! Ты же помнишь? Это неправда, что остыло... Сейчас остыть невозможно...

— Но они меня сломали!

— Нет, — возразила Элизабет. — Они хотели тебя сломать. А ты все равно напишешь... Ведь ты напишешь?

Я промолчал.

Но как это снова написать, если это были вовсе не записи, как обычно это понимается. Мои бессонные ночи были моим порывом к свободе, точно таким же, как у Литвы и Латвии... У народов их, с которыми в эти дни я был вместе.

Я боролся со своим собственным рабством именно потому, что знал: как раб я устраивал эту систему больше. Но раба, в том самом коммунистическом законченном виде, из меня так и не вышло. Хотя им многое удалось со мной сделать. И тогда они убили дневник. То есть уничтожили то, что делало меня свободным.

А еще мне жалко сказок. Я мечтал о них всю жизнь. И написал я их для моей маленькой дочки. Убив сказки, они покусились и на ее свободу, на не тронутую их тлением, их трупным распадом маленькую золотую, как тучка, душу.

Все что угодно, но сказок я не прощу.

Это были добрые сказки, я творил их назло окружающему нас, прорвавшемуся наружу, как лава Везувия, злу.

А Элизабет я потом ответил.

Я сказал:

— Сказки второй раз не напишешь, они фантазия души. А события в Риге я и правда помню. И я расскажу, как я это помню. Я тебе обещаю, что я об этом обязательно расскажу.

НА РОЖДЕСТВО

Когда прорываешься из московского ада в этот не тронутый распадом мир спокойных аккуратных домиков, желтых дюн и кривых на побережье сосен, вдруг с удивлением ощущаешь, как в дальних уголках души, омерщвленной, не способной ни на какие впечатления, возникает странная, неуловимая, спасительная мелодия, которую и на слова не переложить...

А если бы можно было как-то перевести, вышло бы вот такое: «Тихая милая Балтия... Милая, мирная... Тихая, тихая, тихая... Тихая».

А всего-то и дел, что сперва о ней мечтаешь. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь... Под самый Новый год достаешь путевки. Потом... Чемоданы, багаж, билеты, такси, вагон... И обморочное непроходящее чувство одной сплошной, в каждой клетке, усталости, так что ни спать, ни думать невозможно, но даже если захочешь что-то вспомнить, то ничего, кроме памяти о той же усталости, не возникает. А по приезде лишь одно сильное желание: спать. Так спать, чтобы лечь и — ни-ко-гда не просыпаться. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра...

Но в какой-то день, выглянув в окно с высоты девятого этажа дубултского дома, с удивлением обнаруживаешь, что мир не кончился, что он продолжается и как всегда — прекрасен. И вызолоченные снизу поздним рассветом облака, и буровато-зеленые верхушки сосен, и округлое побережье

залива с белыми гребешками волн, будто сейчас, прямо на твоих глазах, рождаются на сером листе моря новые строчки рукописи.

Начинаешь осознавать про себя и про свою жизнь наперед так ясно, как никогда не бывает.

Вдруг охватывает нетерпеливое, как на рыбалке, до дрожи в пальцах рук, до озноба в спине, желание скорей присесть к столу, дотоле пустынному, с одиноким белым листом, стыдливо отодвинутым на край, и сейчас же, немедленно что-то писать на том листе, да не что-нибудь, а известно что: сказку! Ту самую сказку, о которой ты давно мечтаешь.

Конечно, я знаю ее почти наизусть, потому что много раз рассказывал на ночь своей дочке, да и сегодня буду рассказывать миллион первый... Но как-то не выходило до сих пор ее написать, да и ничего другого тоже не выходило написать, а все потому, что какая-то ненормальная на дворе жизнь, одни сплошь мероприятия, призывы, митинги, выступления да еще письма-протесты...

Но я больше не хочу писать писем протеста, а хочу писать свою ненаписанную сказку.

Вы спросите, о чем. Я отвечу. О двух добрых и славных ежиках, одного из них зовут Юра, а другого Коля.

У меня и начало придумано: «Однажды теплым летним днем ежик Коля вышел на улицу и увидел...»

— Вам тут письмо, — сказала дежурная Эльвира, милая, улыбочивая, всегда спокойная.

Я удивился:

— Письмо? Сюда?

— А вы давали адрес?

— Конечно, нет!

— Значит, проведали... Решили поздравить, — сказала Эльвира, улыбаясь.

«Господин Приставкин! Высылаю Вам некоторые материалы из наших местных газет. Не сочтите за труд, прочтите их внимательно, может быть, в следующий раз, не разобравшись поспешно, Вам не захочется вешать на себя плакат и позировать перед камерой или давать весьма несолидные для писателя советы шоферам или еще кому-нибудь из коренного населения, кто не сможет дать достойного ответа.

И еще, Вы давно полюбили эту страну, то бишь Латвию, а я ее, увы, разлюбила и проклиная тот день и час, когда по направлению министерства согласилась поехать сюда работать. Основную долю разочарования в этой стране внесли (по Вашему заявлению)... «лучшие люди народа — его ученые, поэты, художники...»

Так вот, я предлагаю Вам обменяться странами. Вам здесь легче будет бороться с большевиками, а мне, члену КПСС, будет легче жить в Советской Стране.

Вашу статью «Я влюбился в эту страну», напечатанную в «Атмоде», я посылаю в газету «Известия» с просьбой ее поместить. Мне кажется, она будет небезынтересна широкому читателю страны. Мой адрес...» Далее адрес и подпись: Головина Э.В.

Здесь так спокойно, даже чересчур, хотя тишина эта обманчивая, судя по письму, да мы и обманываться готовы. Хочется отчего-то верить, что мир не сошел уж совсем с ума.

А что касается плаката, который я на себя тут вешал, то было это давно, года два прошло, когда вышли «зеленые» к исполкому протестовать против Слокского целлюлозного комбината, отравившего всю здешнюю природу, и воду, и воздух... Так что и жить тут, и даже отдыхать стало вредно.

А первой, вообще-то, надела этот плакат моя жена, когда гуляла у исполкома с Машенькой, я-то уж потом стал вешать на шею плакат и выходить по утрам дежурить. А однажды подъехало здешнее телевидение, сняло репортаж с моей женой. Они спросили: «Зачем вы тут стоите?» А она ответила: «Хочу, чтобы Дубулты оставались чистыми и для моего ребенка». И так это передали в последних новостях... И нас стали узнавать на улице, и люди, указывая пальцем, говорили: а это муж той самой женщины, которая защищает природу.

Но не только поздравляли, мы получили и несколько свирепых писем от рабочих Слокского комбината, которым мы, как они писали, «встали поперек судьбы».

И правда, их привезли из России на работу, так называемых лимитчиков (лимита!), они только устроились, начали обвыкаться, налаживаться с жильем, что же, теперь снова сворачиваться и куда-то ехать? Они ничего особенного не хотели, лишь работать, и видели во мне и в таких, как я, препятствие к своему благополучию и нормальной жизни.

А то, что все кругом отравлено и отравляется еще более, так им как бы все едино; а разве там, где они прежде жили, было лучше? И ничего, живут, не ропшут, привыкли. И здесь привыкнут.

Вот только некому спросить, а сами они себе вопрос этот не зададут, а если зададут, то слишком поздно: а что же они оставят здесь своим детям, если они приехали и хотят жить здесь всегда? Не новый ли Чернобыль готовят они для своих потомков собственными руками?

А пока здесь тихо.

Здесь и в курортное время стало тихо, а теперь тем более.

Я видывал этот пляж и в более суровые времена, когда море расшумится, разбушует и будет заливать волной всю широкую полосу пляжа, не оставляя сухого пятка, чтобы к нему спуститься. А под свирепыми порывами ветра всю ночь гремят и вздрагивают в доме стекла и сами собой распахиваются двери.. Интересно, где в это время ночуют чайки?

Но утро обычно приносит тишину и спокойствие. За широкой поймой реки будто из теплого гнезда выныривает желторотый птенец-солнышко, а серые облака отодвигаются за край моря. А во всю длину пляжа, ровно по кромке прибоя чернеет грядочка вынесенных водорослей и всякого мусора, который море, самоочищаясь, возвращает обратно человеку.

И чайки откуда-то появляются, реют белыми лоскутками на серо-сизом небе. Да вдруг откуда ни возьмись лебеди, прямо низко над морем прошумят, просвистят огромными крыльями, и глаз в это время от них не оторвешь, такие чудокрасавцы, откуда они здесь?

Не так давно, с десятков лет назад, их и правда тут не было.

Потом появилась пара, привела на следующий год молодняк, а те в свою очередь еще привели. Зимы, вот как нынешняя, стояли подряд теплые, и море и берег не замерзали. Но потом случилась суровая зима, до горизонта забило залив льдами, и те немногие полыньи, что оставались, быстро затянуло ледком. Лебеди замерзали. Я сам видел, как приходили люди с самодельными сетками, их накидывали на птиц,

которые хоть и были малоподвижны, но пытались бежать по гладкому льду и громко на весь берег кричали от страха. Птиц, которых удавалось поймать, отгаскивали в сарайчики, другие теплые помещения, их спасли.

Вот и о лебедях надо написать.

И о ежиках, и о лебедях...

— Вы слышали новость? Омоновцы захватили Дом печати в Риге... Есть, говорят, раненые...

Про омоновцев пишут: наследники матроса Железняка. Скоро, видать, появятся и наследники латышских стрелков.

Лидер партии коммунистов Альфред Рубикс в интервью произнес такие слова: «...А вдруг правительство (имея в виду правительство Годманиса. — А. П.), сегодня отнимающее имущество у политической организации, которая достаточно сильна (не то слово: могущественна! — А. П.), завтра захочет отнять имущество, скажем, у крестьянина?»

И это говорят люди, обобравшие от имени большевиков до нитки самого крестьянина, лишив его не только имущества, но и принадлежавшей ему земли. Побойтесь Бога, господин Рубикс, а впрочем, может, и не господин, а товарищ — не мне, не мне! И не тому крестьянину... Уголовники — вот ваши настоящие дружки. Надо было дожидаться, пока вам народ даст коленом под зад, чтобы вы вдруг якобы осознали свою ответственность за жизнь этого народа... Да, впрочем, не ему, а себе, в который раз присвоили вы не принадлежащее вам имущество.

Грабили некогда поезда, грабили накопленное церквями и самодержавием... И теперь грабите.

А вот что говорит один из омоновцев, некий А. Кузьмин: «Скажу откровенно. Годманис и его правительство для меня ничего не значат. Сейчас я — не человек, а солдат-профессионал. Мы будем выполнять приказ до конца».

Другой омоновец заявил еще прямей: «Понадобится, мы так же войдем в парламент!»

Депутат Алкснис (он же полковник) посетил Дом печати и поздравил омоновцев с заслуженной победой. Пишут, что

его видели, как он обнимался с главарем омовцев; неужели лишь для этого летел из Москвы?

Честно говоря, до сих пор об ОМОНе были у меня представления абстрактные, но я как-то сразу заподозрил, что дело с ними не чисто. А потом попалась мне статейка в газете, там исповедь одного омовца по фамилии Котельников, я даже выписал для себя кой-какие его откровения. Вплоть до деталей быта.

«Служить пошел добровольно, сразу после армии... — рассказывает он, и далее: — Выдали экипировку, как у всех: пистолет, автомат укороченный, два бронежилета — легкий и тяжелый, сферу, пластиковый шлем и каску армейскую. Кроме того полагается пластиковый щит, знаменитая резиновая палка, тулуп и валенки...» И тут же сержант Владимир Котельников поясняет: «Мы не совсем обычная милиция. Мы — ОМОН, отряд особого назначения то есть. Профессионалы. Специалисты высокого класса... Мы выручаем всех...»

Так кого же выручают «специалисты высокого класса?»

«На Красной площади еще стоим, депутатов оберегаем во время сессий и съездов...»

Как они оберегали депутатов во время съезда в марте, мы уже знаем.

«Я раньше политикой очень интересовался. Теперь перестал. Устал и надоело. Те правы, эти — нет. Потом выясняется — все наоборот... Кстати, сколько ни смотрю на демонстрантов, столько убеждаюсь: пока все это ерунда, наиграно. Сплошь амбиции. Рабочих настоящих пока нет. Вот когда они все выйдут...»

Вот это уже серьезно. Ибо интеллигенцию, по всей видимости, он просто презирает. А вот когда вышли рабочие, ну хотя бы в Вильнюсе или Риге, такие ребята и начали стрелять.

Да и наш герой что-то предчувствует. Он говорит: «В последнее время, особенно после событий с участием Рижского ОМОНа, мы стали вроде пугала для демократии. Головорезы, мол...» Оправдания же его такие: «Но прежде чем нас судить, нужно понять — мы люди долга, живущие по приказу. Такие есть везде, во всем мире, и они нужны. Но поскольку любые

приказы отдаются «сверху», наверное, сначала нужно там определиться, что к чему. Я лично готов действовать в любой ситуации. Но по закону».

Что означают наши законы, известно. А вот ссылка на «верхи» — это уже опасно. Наверху может оказаться и фанатик, и тогда по их приказу (а это далеко не то же, что закон) Владимир Котельников, человек долга, выполнит этот самый долг. Ну, захватит Вильнюсский телецентр или Дом печати в Риге... Кому-то, возможно, такие люди и нужны.

Горбачеву, скажем, Рубиксу...

Но кто же снимет ответственность лично с Котельникова? Ведь он уверенно говорит: из ОМОНа я не уйду. Но если так, то может он ступить на путь преступный, и это уже в некотором роде фашизм...

Некогда Маршак написал стихи про немецкого фашиста, там такие строки (цитирую по памяти): «Для чего фашисту голова? Чтоб носить стальную каску или газовую маску и не думать ничего, фюрер мыслит за него...»

В одном ошибается Котельников, что «такие» есть во всем мире. И не такие, и не во всем.

Убийцы-то есть и правда, но узаконенные и безнаказанные, да на зарплате у государства... нет!

В газете «Балтийское время» опубликовано письмо писателей, проживающих сейчас в Дубулты, — Сильвы Капутикян, П. Катаева, В. Оскоцкого, Г. Поженяна, Г. Садовникова... Я тоже подписал это письмо.

Там есть такие строки: «Мы убеждены в том, что противозаконные действия «черных беретов» в Риге являют собой репетицию фронтального наступления реакции на конституционные права граждан. Не стал ли Дом печати испытательным полигоном вооруженного подавления свободы слова в масштабах страны?»

Теперь мы знаем ответ: да, стал.

Мариша как-то заметила: живем по старым законам, все так, будто ничего вокруг не происходит... беспокоимся о закуске к Рождеству, спорим о моде, а крыша над головой вот-вот

рухнет... И я понимаю, что каждый об этом помнит, но все равно и не помнит... Ведь если жить и думать только об этом, можно сойти с ума!

Зима на диво тепла и бесснежна. Был небольшой снежок, но его растопило на пляже, и лишь там, где ступали люди, снег чуть поплотней, остался, так и выделяются на желтом песке белыми яркими пятнами чьи-то следы. А может, и мои собственные, наряду тут и правда гуляет немного.

Друзья сообщают — санатории совершенно пусты, человек по десять, или пятнадцать, или до полусотни. Но это даже много...

Мой маршрут — до Майори и Дзинтари, где стыннут легкие палаточки фотографов, которые, кажется, никогда не меняются. И красные трафареты с названием Юрмалы, воткнутые у кромки воды, на фоне которых люди снимаются, те же самые, только годы — каждый новый год ставится по-разному.

Нынешний — 91-й.

Странный год. Он только начался, а дня не проходит, чтобы было спокойно.

— Вы слышали, в столицы некоторых республик ввели десантников... И в Ригу ввели, и в Вильнюс...

— Зачем же? Мало тут войск?

— Значит, нужно больше!

— Зачем?

— Скоро увидим...

Где увидим, в Риге? В Вильнюсе?

Странный год... Странное начало. Даже чайки на пляже кричат необычно, как-то нервно.

Каждый год, что бы ни случилось, я прихожу к этим пляжным фотоаппаратам, которые уже знают меня в лицо, и прошу меня запечатлеть. Вроде бы цветной кусок картона, а ощущаешь себя во времени. А не на отшибе.

Я прихожу и говорю, снимите меня, говорю, на фоне красной яхты, но так, чтобы видно было море... И год чтобы был виден!

Еще не так давно работал тут старик, занятный чудодей такой, с юмором. В семьдесят восьмом году мы приехали в

июле, жена была на седьмом месяце беременности, живот, как мы ни скрывали, торчал, и старик всунул в руки жене огромный якорь: так держи! По замыслу он должен был закрыть живот, но все равно не закрыл, а на фото все видно. Красная яхта, море, чайки и жена с огромным якорем, который она послушно держит перед огромным же животом.

А еще была у старика привычка в момент спуска затвора левой рукой подбрасывать в воздух крошки, чтобы чайки тоже были твоим фоном.

Молодые фотографы так не делают, им все равно, будут у тебя на снимке чайки или не будут.

Вот и о старике надо написать.

О ежиках, о лебедях, о чайках и о старике.

ОТЧЕГО КРИЧАТ ПТИЦЫ

Начали они все-таки с Вильнюса. Столкновение с танками, убитые и раненые, военные захватили телевидение.

— Доброе утро, — говорим по привычке друг другу.

А утро-то недоброе.

В Риге митинг, на улицах патрулируют танки. Власти обратились к населению с просьбой соблюдать спокойствие.

Да мы-то что, мы такие спокойные. И все у нас спокойно. Вот только сантехник, седоватый сутулый латыш, окликнул меня, когда я шел на завтрак:

— Ну, как? Танки-то недалеко! Скоро здесь будут!

Я не понял, к чему это он, но кивнул.

— Ну, теперь они получают.. Да и вы тоже... — произнес он вполне спокойно, но твердо. — У райисполкома стояли от «Апреля»? Или думаете — мы забыли, как вы тут, с плакатиком? А мы ничего не забыли... Помним!

Я всмотрелся в его лицо, будто впервые этого человека увидел. А ведь много лет приезжаю и все время как-то почитал своим, может, потому, что все тут в Доме свои, знакомые, почти как члены семьи.

Сколько ни звонишь от дежурной, сколько ни приходишь за почтой или так, мимо, он всегда тут, рядышком, на диванчике посиживает, чуть сгорбившись и уткнувшись в телевизор, который всегда включен.

И вдруг вот как: обушком по голове. Да сзади, когда не ожидаешь. А может, поддал с утра?

В рабочем ватничке, на месте дежурной — видно, ушла позавтракать, — в кепчонке с козырьчком, надвинутой на глаза. А голубые глаза исподлобья сейчас в разговоре со мной будто стальные.

И вдруг подумалось: не зазря же тут торчит, на людном месте, все видит, все слышит, все запоминает.

Но сегодня ему не сидится. Обращаясь уже к моей приятельнице Инне, он говорит возбужденно:

— Вчерась на радостях бутылочку даже купил... Как же, вашим демократам по шее надавали! Пока в Литве, но и наши скоро получают!

«Наши» — это, конечно, Народный фронт, правительство и так далее.

Уборщица — латышка отмахивается:

— Ой, да не слушайте его, страшный человек... Секретарь партийной организации, бегаёт в горком партии, докладывает о вас... и о нас...

— А горком разве... ещё существует?

— Да кто-то есть... — И добавляет с усмешкой (бабы — они мудрые): — Раз нечисть поперла, значит, они все тут.

А вот другой латыш, писатель Владимир Кайякс, такой тихий, добрый, милый, — его стол рядом с моим, — позавтракал и собрался ехать.

— Куда?

— На митинг, — ответил коротко. Надел пальто и отправился на электричку.

...Отчего-то все утро, с рассвета летели с криком чайки от Риги. Так много чаек я давно не видал. От кого спасаются, почему кричат? Господи, даже им уже нет спокойствия...

Писатель подошел к нашему столу.

— Приятного аппетита, — пожелал добродушно.

— Какой уж тут аппетит!

— Ну почему?

— А ты не видел — показывали Вильнюс?

— Видел...

— На молоденьких ребят танки, а у них в руках лишь зонтики!

— Я думаю, все неприятности от космоса, — сказал писатель, в сущности, грустный добрый человек. — Весь мир сошел с ума, вон в Индии тоже...

— В Индии всегда что-нибудь происходит... То Неру, то Индира Ганди...

— Мариш, — окликнул кто-то. — Тебя Индия не волнует?

— Меня волнует космос, — парировала моя жена. — Может, это они послали танки в Вильнюс!

Рижское телевидение показало ночную хронику из Вильнюса: прожекторы, стрельба, кого-то бьют прикладом, танки поводят стволами пушек, утыкаясь дулами прямо в стоящих перед входом в телецентр людей.

И трупы, лежащие на земле. Один с наброшенной на лицо тряпкой. Подходят старые женщины, откидывают, смотрят, не свой ли...

Бедные бабы! Им при всех режимах делать одно дело: хоронить и оплакивать своих и чужих.

Хронику повторяют всю ночь. В Москве в это время буйствует «Кравченко-шоу», там Масляков, там веселье.

На «Титанике» в момент крушения тоже играли музыканты, но это был их подвиг, они играли, охраняя от страха перед неизбежным концом души погибающих. Да они сами, музыканты, погибли.

— Из Москвы ничего нет? — спрашиваю, влетая в комнату, где телевизор.

— Москва молчит, — отвечает жена. — А мы с Инной смотрели снова Вильнюс... всплакнули тут... Ты лучше не уходи, а то нам одним страшно.

Дали список жертв: 14 погибших, более 150 раненых. Погибшие — почти все молодежь: от 17 до 25 лет. Говорят: один умер от инфаркта, сердце не выдержало этого ужаса.

Но эти сведения все не из Москвы, даже на другой день она не назвала цифр, хотя их знает уже весь мир.

Шахтеры Воркуты (не помню уже — где) так прокомментируют увиденное: «Как курят гоняли!» Но кто-то при этом добавил: «А танки, между прочим, тоже горят...»

Когда смотрели повторы страшных сцен у телебашни в Вильнюсе, непроизвольно восклицали:

- Как в Чехословакии!
- Как в Венгрии!
- Как в Афганистане!

Какой бесконечный, за нашу короткую жизнь, опыт насилия.

На митинге в Риге несли и такой плакат: «Хусейн в Кувейте, Горбачев в Балтике!»

Инна пошла на почту, в который раз пытается дозвониться нашему другу писателю Кановичу Грише в Вильнюс.

Говорят, связь прервана. Но телеграммы берут.

Отстаиваю длинную очередь, чтобы дать телеграммы в Вильнюс и в Москву.

«Москва, Кремль, президенту Горбачеву. С Литвой вы расстреляли и нашу надежду на демократизацию и обновление общества, мне стыдно и горько за вашу безрассудную имперскую политику, которая ведет страну к гибели». И подпись.

Можно было бы найти и другие слова, но пришли эти, да и времени не было. Я даже телеграммы начиркал на обратной стороне рукописи, где начиналась моя сказка о ежиках. Не беда.

Это не беда. Ежики переживут. Беда в другом: когда у друзей несчастье. Еще летом я там выступал в литовском парламенте, и я сказал им в заключение слова: «Спасибо, что вы есть». И в том самом телецентре я тоже выступал, где ныне все произошло.

А еще была дружеская встреча в Союзе писателей... Они не забыли поздравить меня с Новым годом.

«Вильнюс, Союз писателей. Потрясены горбачевской безрассудной интервенцией и жестокостью, скорбим, молимся о мире на свободной и мужественной литовской земле, всегда с вами».

За окошком молоденькая девица, белые крашенные кудряшки. Спросила, принимая телеграммы:

- А Горбачев где живет? В Кремле?

— Не знаю, — сказал я.

— Но это — центр?

— Да. Они считают это центром.

Когда-то они считали свой Кремль — центром Вселенной, — надо бы добавить.

— Вы не хотите послать с уведомлением?

— Зачем? — спросил теперь я.

— Чтобы дошло, — сказала наивная девочка. Она была русская, но она и вправду хотела, чтобы это дошло.

— И так дойдет.

— До Горбачева? — Она с сомнением покачала головой. А парень, стоящий позади меня, высокий, спортивного типа, вдруг спросил:

— Простите, я слышал... Ну, а вы считаете это... поможет? — И он кивнул в окошко, имея в виду мои телеграммы.

— Ну, а промолчим? Лучше?

— Не знаю, — искренне ответил он. — Они же там... (там!) не услышат...

— Но ведь никто не знает правды, — вдруг сказала девушка. — Москва все передает не так, как было!

Казимера Прунсене: «Литва находится в треугольнике: республика — СССР — мир. Именно здесь сейчас проверяется политическая мораль других стран. Фактически вопрос о Литве — один из главных на самых серьезных уровнях зарубежья...»

Вообще мораль... И не только стран... А просто каждого человека.

Каждое теперь утро, наменяв горсть монет, я бегу к автомату и звоню по нескольким телефонам. Я звоню друзьям и знакомым, повторяю одно лишь слово: «Не верьте! По телевидению врут!»

— Не верьте! Не верьте! Не верьте!

Может, они там в Москве и сами догадываются или знают, но мне так легче, когда я это прокричу в трубку.

КАК ПОПАСТЬ НА БАРРИКАДЫ

В Риге строят баррикады.

Я не мог не поехать, хотя Мариша не отпускала меня. И провожала, и встречала со слезами. Единственно, обещал не быть один, позвонил писателю Лене Ковалю, он тут же собрался и поехал со мной.

Нам объяснили, что в город на машине не проехать, перекрыты мосты. Мы сели на электричку. От вокзала дошли до Дома правительства... Обстановка истинно фронтная, уж я-то еще помню те времена, когда немцы подходили к Москве.

В несколько рядов вокруг Дома правительства встали машины, грейдеры, тракторы, бетоновозы, лесовозы, другие разные «возы»...

Не выстроились, а именно встали, сгрудились, окружили плотным кольцом, прикрыв собой беззащитные стены и входы нынешнего главного дома.

Машины сейчас похожи на людей, в них видна отчаянная решимость противостоять насилию. И даже танкам.

— Да что для танков такая защита? Раздавят!

— Пусть давят. Пусть.

— А тогда зачем?

— А зачем люди встают?

— А что им люди? Видели — по телевизору, как девушку... там, в Вильнюсе?

- Что же, они звери?
- Они военные... Приказ отдадут, и все.
- Такие вот разговоры на улице.

Писатель Ион Друцэ приводит разговор с командующим округом Федором Кузьминым.

— Ну, что это за преграда! — сказал тот. — Сельскохозяйственная техника.

— Но народ... Который жжет костры? Они как?

— Они — да. Они — противник, — сказал командующий.

Сознался не только в том, что народ, вставший на их пути, им страшен, но, назвав противником, и в том, что ему, то есть народу, объявлена война.

— Ты служил в армии? — спросил Леня.

— Конечно. И, кстати, это было как раз здесь, в Риге.

— Вот как! Не в танковых?

— Я служил в авиации... Но во время праздников мы стояли здесь на площади, заслоном, для порядка.

— И был порядок?

— Да. Порядок был.

— Но... не при помощи автоматов?

— Нет, нет, — успокоил я его.

Мы и вправду не были тогда вооружены. Может быть, я еще расскажу и об этом.

— Сорок три года я прожил тут в Риге, — сказал Леонид. Он пишет книги об еврейских гетто, которые были под Ригой. И войну, и насилие он знает из первых рук. — Я люблю этот город, — продолжает он. — Но никогда я такой Риги не видел... Мне тяжело смотреть...

Толпится народ, но любопытствующих мало. Больше тех, кто вышел защищаться: пикеты, дежурные, гражданская самооборона, правда, без оружия. У некоторых транзисторы, приемнички, слушают трансляцию из этого же Дома, где вторую ночь заседают правительство.

На машинах листовки, призывы, плакаты.

На многих карикатурах Горбачев.

На одной из них дядя Сэм — в традиционных полосатых штанах и цилиндре — подкармливает птенца, высунувшего

свой клювик из гнездышка. Насытившийся птенец встает во весь рост и оказывается выше кормящего дядюшки, и это уже не птенец, а двуглавый орел, грозно расправляющий свои когтистые лапы во все стороны. Словом, та самая советская империя.

На улицы вынесены чай и кофе, их предлагают рабочим, но заывают и нас, по-русски, как-то догадавшись, что мы не латыши.

Сгружают и готовят на ночь дрова. Уже пылают костры вдоль бульвара, от подножья Ленина и дальше. В сумерках огромного темного города это ни с чем не сравнимое зрелище.

Все революции друг на друга в чем-то похожи.

Я сказал:

— Как в семнадцатом у Зимнего, правда?

Как будто я это помнил. Но нет, не помнил, а видел в кино... Да еще вот у Блока...

Но Блок правдивей. И так ясно. А то, что показывают в нашей хронике, помните, солдаты виснут на чугунных воротах и бегут с криками к Зимнему... Вовсе это не документ, а инсценировка, взятая из художественных фильмов... Но как бы за давностью лет проскакивает, зритель не успевает заметить подделки!

А вот один из моих любимых режиссеров Алексей Герман, который взялся просматривать хронику войны, пишет, что и кинодокументы войны большей частью тоже не что иное, как инсценировка... Только найдешь реальный кадр в архиве, а далее, смотришь, идет дубль...

Нет, это, конечно, не Зимний, даже тот, который мы знаем по описаниям. И тут не женский батальон и не жалкие юнкера, противостоящие братьям-матросикам, в перекрестье пулеметных лент... Здесь — народ. И большевикам он уже не верит. Напрасно Ильич тянет руку к рабочим у костра, они не смотрят в его сторону, и они хотят защитить свою власть от его легионеров. А это не только здешний коммунист Рубикс, но и другие. Вместе с командующим Балтийским военным округом Ф. Кузьминым они от имени Комитета спасения предъявили ультиматум. Там о разгоне правительства и парламента. Срок ультиматума сегодня истекает, и ночью можно ожидать нападения. В передачах из

Москвы об этом ни слова. Зато потом они будут бормотать о панике, которую посеяли сами демократы, выстроив никому не нужные баррикады...

Вот что они скажут в «Известиях»:

«Это же город с тысячелетней историей. А тут — костры горят, копоть, дым, а главное, что все это — бутафория. Если был бы смысл для защиты, а то сделано лишь для того, чтобы нагнетать психоз. С утра вокруг костров — чай, яйца, приносят хлеб, масло, а к вечеру тут уже пьяные появляются...»

Врут, как всегда. Привыкли врать. Чай, кофе — да, а вот пьяных не видел ни разу, да и милиция потом заявляла, что вырезвители были практически пусты.

Поговорил бы депутат-эмигрант Денисов с этими рабочими. Да он все больше, видно, у Рубикса в кабинете сидел, оттуда, наверное, и все его «наблюдения».

Не случайно я провел с этими замечательными парнями несколько дней и вечеров на баррикадах, я поверил в них, а через них и в самого себя.

Мне потом зададут в Москве вопрос:

— Как вы попали на баррикады?

Вопрос столь серьезный, что на него серьезно трудно ответить. И обычно я говорил:

— Это очень просто. Идешь на станцию и берешь билет за тридцать копеек до Риги...

Владимир Кайякс, поужинав, собирается снова в Ригу.

— Ночью буду дежурить... А завтра мне на смену сын выйдет.

На ночь:

— Дочка, тебе рассказать сказку?

— Расскажи, папа.

— Тебе, наверное, про ежиков? Ну слушай: «Однажды теплым солнечным днем ежик Коля вышел на улицу и увидел...»

— Он увидел бандитов и индюков, — вдруг сказала дочка. «Индю́ков» — так она сказала, с ударением на «ю».

МЫ СТАЛИ СТАРШЕ

У Гали Дробот внучка однажды сказала:
— Я на днях стала старше.

Со времени Вильнюса прошли сутки, но мы все «на днях» стали старше.

Я даже думаю, особая, незримая, но очень ощутимая граница в нашей жизни, как и в жизни всех вообще, как бы далее ни складывались события — возможно, они станут еще трагичней — проляжет через январь этого года: и через Вильнюс и Ригу.

С этого дня жизнь стала другой, да и мы другие. Отсчет идет даже не на сутки, на часы и минуты. Мы не выключаем телевизора и настроены на Ригу. К счастью, передачи идут на двух языках одновременно, два ведущих, оба молодые, быстро реагирующие на события, листки с телетайпа им кладут прямо на стол, на наших глазах. А в перерывах духовные проповеди и церковная музыка. Никогда в жизни не ощущал так остро свою причастность ко всему, что сейчас с нами со всеми происходит.

Не случайно именно в такой момент я решил для себя лично, в день 15 января, когда ждали нападения, ехать туда, к этим ребятам в телецентр, и быть вместе с ними. Если надо, выступать, если надо, то и защищать студию.

Но это завтра.

А сейчас глубокая ночь, и мы все в тревожном ожидании, как раньше во время войны. Правда, мы сидели не у телевизоров, а у репродукторов, скромных черных тарелок, у нас такая висела в детдоме у директора. И бывало, нас среди ночи будили и выстраивали в крошечном кабинете, чтобы мы слышали...

Однажды меня спросили, похоже ли на фронт то, что я теперь вижу. Я отвечал: «Очень». Я помню это до мелочей — начало войны и нашу первую ребячью радость: «Ура! Сейчас им нарком Ворошилов задаст перцу». Мы даже пели песню, переиначивая модные тогда слова:

*Если завтра война, слепим пушки из говна
И пойдем на фашистов войною...*

Ну и далее, в том же духе.

А потом тревоги, налеты, бомбежки, страх перед голодом и все остальное отрезвило даже нас, пацанов, так же, как рытье «щелей» во дворе, нечто вроде окопов или землянок, где мы отсиживались во время тревог... В осеннем холоде, по колено в воде...

Один из писателей на второй день после всех этих событий перестает с нами здороваться. День, другой... Пока мы не попадаем в один лифт. Я заглядываю ему в лицо: глаза какие-то стеклянные, остановившиеся, смотрит в пространство и нас с женой в упор не замечает.

Мариша не выдерживает.

— Здравствуйте, — говорит. И сразу: — Как вы относитесь к событиям в Вильнюсе?

— К чему? — переспросил и вдруг побледнел. В лифте кроме нас еще люди.

— Ну, к тому, что в Литве...

— В Литве? А что в Литве? Я ничего не слышал...

Тут мы въехали на первый этаж, и он опрометью выскочил в распахнутую дверь лифта.

— Вам тут письмо, — говорит дежурная, на этот раз это не Эльвира.

— Давайте мне, — просит жена и успевает схватить конверт.

Я прочту его не скоро.

«Приставкин! Не причисляйте себя к русским писателям, которым свойственна культура и доброжелательность, что у Вас отсутствует напрочь. Вы — подстрекатель и предатель русского народа и глупы, как мерен. Грубо, вульгарно? Но точно. Инженеры, прожившие в Латвии 40 лет, и ваши бывшие читатели единственной «тучки»...»

Обратного адреса нет, но написано: «копия» (кому?) и масса ошибок, странных для инженеров, они не ведают даже, как пишется слово «мерин».

— Может, уехать? — спрашивает жена. — Они же не успокоятся...

— Нет, не хочу.

— Но так нельзя — жить и ждать, когда что-то произойдет. Ты хоть сказки свои пишешь?

— Пишу...

— Не ври.

— Честное слово. «Однажды в теплый летний день ежик Коля вышел на улицу и увидел ежика Юру...»

— Ладно, — говорит она. — У Инны два лишних билета, и есть еще время подумать. Тем более что люди уезжают.

— Пусть уезжают.

— Пусть. Но только на баррикады я тебя не пущу. Тоже мне Гаврош нашелся, у тебя семья... ребенок, между прочим...

— Не поеду я ни на какие баррикады!

— А телестудии зачем обещал?

— Но это не баррикады!

— А что же это? Это еще хуже, чем баррикады!

— Да я лишь выступаю...

— Нет. Я сказала и всем повторю: нет! Сиди и пиши сказки.

— Ладно.

— Или воспоминания.

— Ладно.

— Вот ты рассказывал, как тут смешно, этот, ну, директор...

— Ладно, — повторил я.

Господи, как давно это было. Я вспомнил старый год, когда молодым писателем впервые я приехал в этот Дом творчества: он назывался и тогда имени Райниса и состоял из небольших, по большей части деревянных, коттеджей. Они, каждый, имели какое-то название, я жил, помню, в «охотничьем домике»... Он, кстати, и теперь еще цел!

Директором тогда был небольшой росточком, но такой деловой, работающий, чуть суетливый Бауман.

Над ним иронизировали, смеялись, про него рассказывали всякие истории, одна из них вполне реальная. Это когда возвели тут главный корпус, тот самый, где мы сейчас проживаем, распределял он по комнатам приезжающих писателей по рангу, и самый высокий, «генеральский» чин, был, конечно, у секретарей, и они шли на девятый этаж, их родственники на седьмой, всякие знаменитые классики на шестой, и так далее. Писатели, о которых он не слышал, проходили не выше четвертого.

Туда, кстати, и я попал.

И был случай, ко дню же открытия Дома, Бауман заказал портрет Райниса, чтобы повесить его при входе. Художник, выполнявший заказ, Райниса представлял плохо и, не будь дураком, сделал великого поэта похожим на самого Баумана, изобразив его на фоне бушующего моря (символ душевной бури), там он стоит, унылый маленький еврей с отвислым носом и грустными глазами.

Люди, посещавшие дом, сразу узнавали на картине Баумана и никак не хотели принимать его за поэта Райниса. Увидав картину, они обычно восклицали:

— Ну вот, Дом творчества имени Баумана!

Пришлось в срочном порядке тот портрет убрать с глаз долой.

Но поскольку стоил он огромных денег и числился на балансе, его повесили в библиотеке за шкаф, туда, где его никому не видно. Там он и провисел много лет, а может, и сейчас еще висит... Если, конечно, его не списали по акту.

Впрочем, все эти насмешки над Бауманом были невинны, да мы тогда и не знали еще, что жизнь его драматична и вся семья во время войны погибла в еврейском гетто — и жена, и дети...

Но я о другом. О той дальней весне шестидесятых годов, когда впервые попал в этот Дом...

Рига третью ночь подряд не спит, все настроены на телецентр, мы знаем, и все знают, что телецентр — это первая и главная точка, с которой они начнут...

Если начнут.

В перерывах между информацией вместо заставки дают иногда панораму за окном. И нашим глазам открывается бесконечное море огней — это греются у костров рабочие, приехавшие охранять телецентр.

Бирюкова, того самого, кто в часы вильнюсской трагедии «врал как очевидец», выдворили из Литвы.

Время от времени мы переключаемся (на всякий случай) на Москву. Сегодня она давала Верховный Совет и пояснения Язова по поводу событий в Прибалтике.

С туповатой прямолинейностью ефрейтора, путая, как заметил потом один из очевидцев, воинский устав с законом, объяснял он суть тех действий, которые происходили в Вильнюсе. Но нисколько не оправдывался, а был самоуверен и нагл... Но так, наверное, и положено военному. Если он воюет со своим народом.

А Горбачев горячился... Но не выглядел убедительным, несмотря на привычное многословие.

Уже через неделю произойдет то же в Риге, и опять прольется кровь, и депутат Денисов в интервью «Известиям» станет пересказывать один разговор с Горбачевым и упомянет о таком факте: когда в Риге началась стрельба, президенту «четыре раза звонили, просили ввести войска, чтобы утихомирить...»

Кто звонил, понятно.

И кому звонили, тоже нетрудно понять: вовсе не президенту, а своему генеральному секретарю.

Да и кого надо «утихомирить», нетрудно вычислить. Ясное дело, не омонцовцев, которые тут разбойничают.

Но из такого разговора можно сделать один интересный вывод: почему же звонили из Риги, но не звонили ему из Вильнюса во время трагических событий?

Можно ли этому поверить, зная, что и коммунисты, и комитеты спасения — все те же самые, одинаковые? Да и просьбы у них одинаковые: поскорей «утихомирить» непослушных литовцев или латышей, которые не хотят жить так, как велят им из Центра.

Эту неделю народ прозвал так:

НЕДЕЛЯ МОЛЧАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА.

Открывая заседание Верховного Совета, он не удосужился даже помянуть погибших минутой молчания. Это предложил депутат-рабочий из зала.

Всего-то одна передача честная и была из Москвы, это когда передавали Язова и Горбачева.

Честная, потому что мы увидели их в натуре.

Я увидел и запомнил покрасневшее лицо президента, его гнев в адрес какого-то депутата, который «не так», как надо, улыбался... Депутата не показали, и улыбку не показали, но я верю президентскому гневу: у этих прибалтов даже улыбки не такие, как надо... Нехорошие, словом. Не наши.

Вам это ничего не напоминает?

Ну, скажем, не очень уж недавно, но на памяти многих, как стучал незабвенный правдолюбец Никита Сергеевич на заседании ООН в гневе ботинком по столу, разъярясь на непослушных... Это там, у них, где не особенно прикрикнешь и улыбку не прикажешь убрать, — а уж дома, когда собирал он интеллигенцию...

— Вам тут письмо, Анатолий Игнатьевич...

Без подписи и обратного адреса:

«Ты сука не смей высовывать свою поганую харю, а то откроем твою башку вместе с куриными мозгами, вояка задрипанный...»

ЧЕРЕМУХОВЫЕ ХОЛОДА

Так вот, о том дальнем времени, когда молодым писателем впервые я приехал в этот Дом.

Дивная это была весна. Началась она от белых негромких всполохов черемухи, вслед за которой обрушилась на нас, в нас, в наши души, обильная с тяжелыми гроздьями сирень, и еще там и тут яркими крапинами врезались тюльпаны. Все это носилось, реяло в воздухе и кружило нам головы, мешая усидеть за рабочим столом.

Как-то сразу собралась и своя компания, ее душой стал поэт Марк Соболев. А входили в нее еще прозаик Борис Ларин и я. А поскольку у Марка и у Бориса начались, да и как тут не начаться, какие-то сумасшедшие романы, то Марка и Танечку, его будущую жену, мы стали называть Папой и Мамой, Бориса и его девушку, соответственно, Сыном и Дочкой, я же, в силу своего одинокого и почти келейного состояния, так как в охотку трудился, был единодушно прозван: Дух Святой.

Так мы и жили, шумно, иногда и бурно. С утра разбежались по своим кельям, кто читал, а кто работал, потом гуляли по взморью, а вечером сходились за столом, читали стихи, рассказывали анекдоты... Пели песни.

Словом, веселились.

Именно тогда в здешней библиотечке я неожиданно обнаружил крошечную книжечку Андрея Вознесенского «Мозаика» с пестро-золотистой обложкой... Ее вдруг отдали мне на руки,

читать, и я, не будь дураком, тут же решил не возвращать обратно. То есть ее хотели стащить и другие из нашей «семейки», но я первый углядел, записал на себя и нахально увез домой, заплатив за нее какой-то мизерный штраф.

Мне потом рассказывали, что молодой парнишка-библиотекарь рыдал от такой потери, он был любитель книг, библиофил, а еще он верил в порядочность приезжавших сюда писателей. Но, каюсь, мы были тогда, наверное, жестоки, самоуверенны, на пороге своей литературной жизни, которая распаивалась перед нами вот как эта фантастическая весна: обильно и прекрасно. И вседозволенно.

Все тогда сходило на том, в отличие от прошлого сталинского времени, что нам особенно повезло родиться, как писателям, в «оттепель», когда осужден культ, когда вокруг та самая, обозначенная временем, оттепель, и популярность — благодаря журналу «Юность», и быстрое вхождение в храм, куда допускались дотоле избранные, то есть в Союз писателей, и все остальное, столь же замечательное.

Конечно, мы не имели такого блистательного начала, как Вознесенский: несколько стихотворений в «Дне поэзии», в газете, кажется в «Литературке», и сразу — громкая слава.

Но это его, такое фантастическое, начало было и нашим началом и обещало нам, нам тоже, в самом ближайшем будущем такую же звездную славу.

*Качается, как рюмочка
На краешке стола...*

Строчки из самых первых его тогда стихов мы читали вслух и не знали, не ведали, что совсем это не про какую-то там невесту, а про нас всех, про нашу будущую жизнь... Как и другие прорицательные строчки: «Крест на воротах, на жизни крест...»

Я писал тогда роман, и каждые написанные десять, или двадцать, или не помню уж сколько там страниц я представлял моим друзьям в качестве отчета, и мы отмечали этот день вином..

Среди такой странной жизни мы вовсе не различили тех особенных событий в Москве, которые тогда произошли. А там, как выяснилось, «наш дорогой Никита Сергеевич» (это

название одного из фильмов, посвященных ему) встречался с творческой интеллигенцией и устроил ей грозный разнос, всяким там писателям и художникам, в том числе и любимому нами Андрею Вознесенскому.

Но, повторюсь, издалека мы всей сложности ситуации как-то не разобрали, да и печать, хоть и опубликовала отчет, но далеко не полный, и понять по нему, что там в действительности произошло и насколько оно серьезно, мы, конечно, не смогли.

Наша молодость, наша вера и некая эйфория по поводу тех самых широко распахнутых в литературное будущее дверей мешала нам все осознать как есть.

Мы прозевали тот самый момент, когда эти двери с грохотом закрылись. Это услышали вперед нас те, кто присутствовал тогда в Кремле на приеме: Алигер, Щипачев, некоторые другие....

Ну и конечно, Андрей Вознесенский.

Он вдруг объявился тогда в Дубулты, но не в Доме писателей, а где-то на отшибе, может быть в гостинице, и мы, столкнувшись на улице, чуть не силой затащили его к себе.

Встречались мы тогда в комнате у Марка, он проживал в каменном двухэтажном доме, что с левой стороны от дороги; на первом этаже была столовая, а на втором — несколько уютных комнат, объединенных коридорчиком с общей ванной и туалетом.

По соседству с Марком проживал один провинциальный поэт, обладавший, как потом выяснилось, замечательным слухом. После гостевания Андрея он поинтересовался, встретив меня в столовой:

— Вы там стихи, кажется, читали... Андрей, что, тоже читал?

— Какой Андрей? — спросил почему-то я.

— Ну, какой... Вознесенский Андрей... Он же приходил к вам, я сам видел! А он, что, разве не у вас остановился?

— Нет.

— А где?

— Не знаю, — сказал я. Я и правда не знал.

Но я не придал тогда значения этому разговору. Лишь по возвращении в Москву вдруг выяснилось, что в «Литературке» (я тогда числился в ней) лежал подробный отчет о

всех наших разговорах, застольных и прочих, было там и о появлении крамольного поэта из столицы. И о том, какие стихи он якобы читал.

Спасибо моему личному начальнику дяде Жоре (писатель Георгий Радов), он под большим секретом мне это все передал и приказал немедленно скрыться в командировку, что я и сделал.

Но это все потом.

Если же по правде, Андрей в тот вечер не читал никаких стихов, как мы его ни упрасивали, а был молчалив и даже как бы насторожен. Зато остальные из «семейства» были в ударе. Папа, он же Марк, удачно шутил, Мама Таня выполняла роль заботливой хозяйки и вовремя подваливала закуску, а Сынок. Боря Ларин, почти весь вечер читал стихи — оказалось, он замечательно знал поэтов Серебряного века.

И был теплый вечер. Голубые сумерки надвинулись с моря, тихого, кроткого, без единой морщинки. Белочки, их почему-то в тот год было особенно много, спускались по гладким стволам на землю, где мы оставляли им хлеб из столовой... А иногда швыряли, прямо как сейчас, через распахнутое окно.

К концу даже Андрей оживился, что-то рассказывал вообще, но ни о встрече в Кремле, ни о своем тревожном состоянии он не произнес ни слова. Но растрогался от стихов, прочитанных Борисом: Гумилева, Ахматовой, Мандельштама... И пообещал подарить Борису, как только случится, свой собственный новый сборник стихов... если он, конечно, выйдет.

Вот это вскользь брошенное «если» и подсказало нам истинное настроение Андрея.

Ну а Борис, не будь дураком, тут же воскликнул, в шутку конечно:

— Пиши расписку, а то забудешь!

Андрей вдруг с улыбкой согласился и тут же начиркал на листке «расписку» да еще присовокупил две стихотворные строчки, видать, в этот момент и рожденные: «Без булды люблю Дубулты!»

На следующий день погода резко испортилась, пришли холода. В русском народе их называют «черемуховые холода», они бывают в самый разгар цветения черемухи и считаются как бы последним напоминанием о зиме... А вот после них-то и начинается лето и настоящее долгое тепло.

Хрущевская «оттепель» сменилась долгой брежневской зимой с холодами, на десятилетия заморозившей все вокруг, и литературу тоже...

Мы стояли на пороге этой зимы, но по-настоящему, теперь-то я понимаю, догадывался о ней там, в Дубулты, лишь Андрей...

Ну, может, кто-то еще, вроде провинциального поэта из опытных, которые, как зайцы-беляки, быстро сообразили, что пора обретать зимнюю окраску, не то их быстро скушают...

Однажды, при показе какого-то фильма в Доме литераторов, возник на трибуне Сталин, и вдруг раздались в темном зале долгие аплодисменты... Вот тогда лишь я понял о настроении своих братьев, о наступающей зиме.

Поиграли в «оттепель», пора и меру знать.

Меру, естественно, отпущенную сверху.

Что касается той шутилой «расписки», выданной Андреем моему другу, сам Борис утверждал, и был, наверное, прав, что «расписка» ему, как книголюбу, не менее драгоценна, чем обещанный подарок. Но подарок-то он, кажется, получил. Об этом мне однажды — Бориса уже не было в живых — рассказал наш Папа, Марк Соболев. Вместе с Мамой Таней, теперь женой, он пришел поужинать в ЦДЛ, и мы разговорились.

— Знаешь, — сказал Марк, — Андрей потом часто и по разному поводу возвращался к этой встрече в Дубулты... И однажды он сказал даже так... Я вам благодарен за тот вечер... Я вырвался тогда из Москвы и после криков Хрущева полагал, что меня вот-вот арестуют... Нет, я, конечно, не прятался, это смешно, но не хотел быть на виду... И оказался как бы совсем в одиночестве... А тут вдруг встреча с вами и такой неожиданный теплый вечер...

Так рассказывал Марк, а Татьяна сидела рядом и лишь по временам, натянуто улыбаясь, просила говорить потише... Разговор-то происходил еще не в лучшие времена... И многие из наших друзей тогда, не по своей воле, покидали страну, а многие спивались, да и Марк пил, а кто-то «уходил» совсем, как Борис, потому что не выдерживало сердце.

Борис умер от инфаркта, рано, что-то около сорока. И все мы ощущали и холод, и то самое одиночество, предшественником которого некогда оказался Андрей...

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Утром 15 января за завтраком Галя Дробот спросила, отчего жена не пришла в столовую.

— Спит...

— Из-за Горбачева, что ли?

— Да.

— Молодая еще, — сказала Галя. — Мы-то уж все пережили, всяких вождей пережили, и Сталина, и Хрущева, и Брежнева... И этого, ну, который руку никак не мог поднять, когда его выбирали...

— Черненко?

— Вот-вот. Его полумертвого и выбрали-то, а потом он сразу помер, кто же его мог запомнить... А Горбачев... Для нее-то, понятно, потрясение... Ничего, привыкнет.

Через один стол от нас сидит старая эстонская писательница, пишет детские книжки. Год назад она подарила нашей дочке сказки. В столовую она приходит с транзистором. Сегодня вдруг всполошилась, ей показалось, что по радио объявили, что нужно надевать противогазы, скоро начнется атака. Какие газы, какая атака... За ней стали паниковать и другие, а доктор, наша милая Айна Карловна, чуть не упала в обморок.

Поэт Григорий Поженян подошел к эстонке и громко, на всю столовую, сказал:

— Никакой атаки нет, успокойтесь. — И в шутку добавил: — Я лично проверил, мне доложили, что кругом тишина и порядок!

Поняла ли старая эстонка, что он так шутит, но села и стала пить чай. Транзистор свой она не выключила.

Влад Дозорцев по телевидению:

— Горбачев, судя по всему, не владеет ситуацией. Поэтому может быть все.

Владимир Кайякс:

— Сегодня решается наша судьба.

Имерманис, поэт из Риги:

— А я думаю, что наша судьба решается не здесь, а в Москве.

— Или у Рубикса в кабинете, — добавила Галя.

Григорий Поженян:

— Так чего же ты ждешь?

— Всего. Они же оголтелые, остановиться не могут!

— Кто они?

— Коммунисты.

— Мало им Литвы?

— Конечно, мало.

— Четырнадцать душ? Мало?

— Сто миллионов и четырнадцать, — поправил кто-то.

— Господи, — воскликнула дежурная Эльвира, она пришла на завтрак и слышала наш разговор. — Ни один политик не стоит капли человеческой крови, пролитой из-за этой политики!

Звонок Сильвии Виксини из Риги, она корреспондент радио:

— Вы не хотели бы сегодня выступить?

Ее деликатность в такое время даже удручает.

И я прямо спрашиваю:

— Надо?

— Конечно, надо!

— Тогда едем, — говорю я.

— Учтите, — предупреждает Сильвия. — На улицах небезопасно... Омоновцы... да вы, наверное, слышали...

— Едем, едем, — повторяю я, омоновцев я на всякий случай вслух не упоминаю, а вдруг за спиной жена. О на-

падении омоновцев на милицейское училище она еще не знает.

Через полчаса приходит старенькая «Волга». Рядом с Сильвией ее муж Рудольф... Насколько я понял, для пущей безопасности, поскольку в городе и правда бесчинствует ОМОН: задерживает людей, нападает на патрули, поджигает машины...

Рудольф тоже журналист, работает в «Ригас Балсс».

Мы летим, обгоняя другие машины, но их немного, объезжаем многочисленные на перекрестках и на мостах перекрытия из тягачей.

— Что там с училищем? — спрашиваю я, оборачиваясь к Сильвии и Рудольфу.

— На рассвете ворвались в милицейское училище, избили дежурных курсантов, захватили оружие...

— Много... оружия?

— Сто единиц...

Шофер притормаживает, и мои спутники тревожно взглядываются в очередной заслон: вдруг ОМОН. Но слава богу, лишь рабочий патруль, молодые рабочие с красными повязками. Им коротко объясняют цель поездки, и нас пропускают.

— Быстрей, — просит Сильвия. — Нас ждут. Нас очень ждут.

Но водителю не надо объяснять, ситуация и без того понятная.

Мы проскакиваем мост, объезжаем трелевочный трактор и направляемся к телецентру, он расположен на острове, посреди реки. И здесь, начиная от моста, повсюду автомашины, они лишь чуть разомкнулись, чтобы в один ряд пропустить необходимый транспорт.

Рядом с телецентром будто стал в поле табор: костры, костры... Около некоторых временки-заборчики, от ветра. У самого входа техники и людей особенно много... Сгружают дрова, тут же походные кухни с горячей пищей, идет раздача... С прибывшего грузовичка протягивают свежие газеты...

Среди скопища машин, на самом виду, старый лимузин с оторванными крыльями, на нем крупно, во весь бок на-малевали: ТАНК.

Издали понятно. Вот у них, там, мол, настоящие танки, а у нас для защиты вот такой ТАНК.

Мои спутники и то заулыбались. Слава богу, что в такой момент людям не отказывает юмор.

В огромном зале первого этажа как на вокзале: люди сидят, лежат, прямо вдоль стен на полу, спят, закусывают, читают, смотрят телевизор.

Группами выходят, входят, звучат по радио объявления. Словно Смольный в кино, только нет братишек-матросиков, которые «в бомбы играли, как в мячики...» Вот и доигрались. Здесь же никакого оружия, зато много прекрасных молодых лиц: студенты, водители, рабочие... У каждого на боку сумка с противогазом.

На стене масса листовок, призывов, объявлений.

Самодельная карикатура: Горбачев в кровавых облаках пирует, на каждом облаке выведено: Тбилиси, Сумгаит, Ош, Молдавия, еще, еще...

Надпись же такая: «А Мишка слушает да ест!»

Про себя отмечаю (хоть смотрим на ходу), что из трагических городов ни один не забыли, но сам текст благодушен, он как бы снимает ответственность с лидера, который только не замечает насилия.

Уже через несколько дней этот тон изменится. Лидер не просто созерцатель насилия, но и его участник. А может, и организатор.

Через несколько дней выйдет интервью с академиком Шаталиным, сделанное прямо в больнице после инфаркта. Академик Шаталин скажет, обращаясь к президенту:

— Почему вы не хотите, я подчеркиваю это, можете, но не делаете правильный ход? Почему? — И сам ответит: — Я рассматриваю две возможности. Первое: вы не хотите блага своему народу. Второе: вы хотите блага своему народу, но боитесь, что в борьбе за достижение этой цели потеряете власть. Все остальное сводится к комбинации первого и второго...

Я готов предположить и третий вариант: он никогда не думал о благе своего народа и, как всякий аппаратчик, воспринимал свою деятельность лишь как борьбу за власть.

Когда мы узнаем из статистики, что в 89-м году расходы на управленческий аппарат увеличились с 36 миллиардов до 50, а инвалидам войны для пенсий не смогли изыскать каких-то пяти миллиардов, это работа не на благо народа, а против него.

— Вы ничем, поверьте, не рискуете, — спрашивает, зазывает академик Шаталин Горбачева. — Но преодолите в себе какое-то мистическое подозрительное отношение к демократам...

Не преодолет, в том-то и дело.

Интеллигенцию и демократов особенно не любил Ленин. Это у них, у большевиков, в крови.

Кстати, в той же газете («Комсомолка» от 22 января) напечатана крошечная заметка из Тобольска, где на площади, в центре города, установили «Доску гласности», чтобы каждый мог высказать свое мнение о чем угодно. Так вот кто-то под покровом ночи ножовкой по металлу спилил эту доску.

Очень символично, не правда ли?

Я представил, как под покровом ночи — а что такое Литва и Латвия, если не ночь? — коммунист Горбачев пилит железной ножовкой «Доску гласности», пытаясь протащить через свой сенат запрет на закон о гласности...

Но, правда, в его руках оружие посильней ножовки — стальные танки, пулеметы, бронемашины... Железная гвардия ОМОНа...

От них и обороняют телецентр.

Милиция — лишь на входе, где выписывают пропуска. Но строга и придирчива. Как Сильвия ни пыталась взять напором («Надо! Это очень важно! Нас ждут! Ждут!»), пропустили, лишь когда спустился человек из редакции и выписал на всех пропуска. Но такая предосторожность понятна и оправдана: среди общей толкотни, среди неразберихи в центр может попасть и случайный человек.

Поднялись на лифте, и прямо в центральную студию, отсюда мы ночами смотрим прямой эфир. Стоя за спинами операторов, я особенно сильно почувствовал, как накалена здесь обстановка. Похоже на штаб: доставляются новости, звонят телефоны, приносят-уносят какие-то листочки, сведения... Спешка, но не суета.

Все быстро, но все организовано.

Со мной поздоровался человек: заведует русской редакцией. Почти на ходу задал два вопроса и попросил чуток подождать, сейчас заканчивается чье-то выступление.

Я вышел в коридор и увидел в распахнутые двери соседних комнат, рядом со студией, что там увязывают, упаковывают архивы, таскают аппаратуру, готовятся к эвакуации...

Недели через две я встретил на улице в Дубулты Ингуну, когда-то еще девушкой работала она уборщицей в нашем Доме творчества, мечтала играть в театре. Она, кажется, потом устроилась в театр, но тоже в качестве уборщицы, и была счастлива.

Сейчас бросилась ко мне как к родному:

— Когда вы выступали, я была там!

— На телевидении?

— Я дежурила в тот день, — сказала она. — И вечером тоже...

Я тут же представил всю тамошнюю обстановку: состояние эвакуации и тревожное ожидание нападения десанта, особенно в этот день и в ту ночь.

— Не страшно было? — спросил.

Она как-то непроизвольно с улыбкой воскликнула:

— Ну, конечно, страшно! Но нам дали противогазы, санитарные пакеты...

Как будто санитарные пакеты могли спасти их от пуль! Но слава богу, никаких этих пакетов не понадобилось.

Я так подумал, а она словно услышала, подхватила:

— Кончилось-то нормально! Говорят, после вашего выступления воинские части где-то не стали выходить против нас...

— Ну, выступали мы с вами единым фронтом, — отшутился я.

Я слышал, конечно, даже потом в газетах читал, о том, что некоторые части в Талсы, Добеле, Тукумсе отказались идти против гражданского населения, но к себе лично и к своей агитации это относил в малой степени.

В те трагические дни многие прямо отсюда, из телецентра, обращались с живым словом непосредственно к солдатам: и депутаты, и священники, и женские организации, и журналисты...

Поэт Григорий Поженян, живший тогда в Доме творчества, читал по радио свои стихи.

А вот что говорил я.

«...Я сейчас проживаю здесь в Латвии, и меня близко касается все, что происходит на этой несчастной земле. Уж не знаю, более или менее она несчастна, чем Россия или Грузия, но все, что здесь происходит, касается лично не только латышей, но и русских, в том числе и меня. Именно потому, что та борьба за свободу, которая здесь происходит сейчас, это часть нашей свободы. И если чего-то мы сможем достигнуть здесь, значит, у нас тоже есть надежда на то, что мы сможем быть свободны.

В моей юности, точнее в детстве, был трагический этап, когда я попал в кровавую сталинскую мясорубку при выселении с Кавказа чеченцев... Была жестокая страшная депортация, и я видел, как гибли люди, как стреляли в детей, и об этом я написал в своей повести... С тех пор изменились солдаты, пришли другие генералы, другой генеральный секретарь ЦК КПСС... Другое время! Казалось бы, все изменилось. А кровавая бойня, борьба за власть, насилие над народами, над малыми народами, продолжается. А та власть, которая уничтожала в свое время калмыков, ингушей, чеченцев и т. д., продолжает и сейчас загонять людей, народы в тот социалистический рай, в котором они жили...»

А вот то, что я говорил, обращаясь к солдатам.

«Я хочу обратиться к вам, я ведь служил здесь в Риге, и я солдат. Мой отец воевал в Отечественную и тоже был солдатом. Мой дед воевал в первую империалистическую, и он солдат. Поколение моих предков все солдаты. Мы знаем, что для солдата является святыней: его земля, его дом, который он защищает, его родня, его дети, его близкие и друзья. Но никогда — *ни-ког-да!* — солдат не может быть насильником, солдат не может убивать гражданское население. Этого нет в присяге. А в присягах других иностранных армий прямо есть параграф, где солдат не может выполнять противозаконные приказы. И я обращаюсь к своим собратьям-солдатам, я не в таком возрасте, но я обращаюсь к ним: пусть подумают они о тех близких, которых я назвал, о своей родине... Уничтожая гражданское население, детей, стреляя в них, вы стреляете

в себя. Потому что другой солдат таким же образом придет в ваш дом...» (Мое выступление, напечатанное на листовке и подаренное мне друзьями.)

Рудольф, чтобы немного меня развлечь, подвел к окну:
— Смотрите, какой брейгелевский пейзаж!

В дымке наступающих голубоватых сумерек сквозь сетку оголенных ветвей и правда, как на известной рождественской картинке Брейгеля, там даже ракурс выбран как бы с высоты, виднелось огромное зеркало темной реки и противоположный берег с размытыми силуэтами домов... Светились первые зажженные окна.

Такая прекрасная, не виданная мной никогда Рига!

Вдруг подумалось: Господи! За что им такое! В чем они провинились, разве только в одном, что не хотят они жить рабами, как прежде, а хотят жить как все нормальные люди и без большевиков!

Так и получилось мое выступление, это было как мольба о мире для этой красивой, дивной страны.

Когда пробирались мы через толпу, в холле, на первом этаже, услышали информацию по радио, что десант, по всей вероятности, готовится с воздуха, и просьба ко всем, кто пришел защищать нашу телестудию, не вступать с десантниками в противоборство и не провоцировать насилия... «Ваши жизни, — так сказали по радио, — нужны для будущего-страны...»

Уже отъехали, но долго в машине молчали.

Не скоро Рудольф спросил:

— Неужели это возможно?

— А в Литве это возможно... было?

— Да я вроде понимаю, — сказал он. — До конца никак осознать не могу.

А Сильвия со вздохом произнесла:

— Мы так хорошо начали, и так работалось... И крах. Ну зачем тогда жить?

Это потом я буду слышать повсюду:

— Дайте нам жить.

Даже в Риге на заборе будет такая надпись.

ДАЙТЕ НАМ ЖИТЬ.

Не дадут.

Большевики не могут в нормальных условиях жить. Как не может жить моль в проветриваемой и светлой комнате. Им нужна экстремальная обстановка, борьба со всякими буржуазными, классовыми и прочими невидимыми врагами, чтобы запутать людей и заставить их быть рабами. Их коммунистическая система направлена против жизни как таковой. А поскольку нормальному человеку свойственно именно стремление к этой самой жизни, большевики борются с этим человеком, они объявили ему террор. И пока они у власти (а они у власти), человеку — любому (любому!) и в любой точке Земли — угрожает опасность.

Я пишу о ТИХОЙ Балтии.

Но думаю я и о ТИХОЙ Швеции, и о ТИХОЙ Норвегии, о ТИХОЙ Финляндии...

О любой из ТИХИХ стран в мире, где завтра может наступить то же самое, что я увидел здесь.

УБИТЬ МЕРЗОСТЬ ЛИЧНОГО «Я»

О чем мы вспоминаем, когда слышим слово «терроризм»? Об угнанных самолетах, о подвигах «красных бригад» в Италии, о бомбах, подложенных в Иерусалимском храме, об убитых в автобусе израильских школьников... Ну, конечно, о разбойниках, таких как Хусейн или Арафат...

Все это во времена моей молодости живописно и не без удовольствия смаковали международники, а в нашем чистом, незамутненном сознании это сливалось в единую картину гибели капитализма... Там и наркомания, и проституция, и безработица, и кризис, и, конечно же, терроризм.

Или даже так: оттого и терроризм, что все остальное плохо.

Да что заглядывать в прошлое, вот уж в наши дни телевидение вернулось к привычным картинам, да и международники будто возникли из небытия те же самые, и потянулись по экрану потоком демонстрации протеста (а их там всегда много!), а еще ураганы, землетрясения, наводнения, катастрофы, а еще бездомные и голодающие... И как-то было приятно вновь убедиться, что не только нам сегодня худо, а если и им худо, то нам уже как-то легче!

Попав в довольно зрелом возрасте на Запад, в Париж (до этого не выпускали), первые дня два ходил я с оглядкой, ожидая непереносимой стрельбы, провокаций и, конечно, террористов, которые ожидали, должны ожидать нас на

каждом углу... Настолько верил всем этим бредням, что мне дома внушили. И лишь убедившись в своей безопасности, безоглядно, без сна, несколько ночей подряд до счастливого головокружения, пока носили ноги, бродил по городу, и никто ко мне не пристал...

Попробовали бы вы побродить ночью по Москве!

А кстати, бродил-то я по улицам и площадям прекрасного Парижа, узнавая памятные по истории места первой французской революции, такие, например, как Пляс де ля Революсьон, где Робеспьер казнил своих врагов и друзей и где в конце концов казнили его самого. Именно здесь в конце XVIII века на волне революции родился ТЕРРОР как основа, как главная действующая сила этой революции и, судя по всему, всякой революции вообще.

А вспомнил я о французской революции вовсе не из любви к ней и даже не из любопытства, а из уважения к великой нации, которая смогла, встав на этот путь, быстро его отвергнуть. К счастью для нее самой.

Стоит заглянуть в энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, и мы найдем все о терроре.

Так вот, из протоколов революционных комитетов известно, кто осуществлял террор: негодные элементы общества, люди, выбившиеся из колеи, сумасброды и негодяи всякого рода и слоя, особенно низшего, завистливые и злобные подчиненные, мелкие торгаши, запутавшиеся в долгах, пьянствующие и слоняющиеся без дела рабочие, уличные и деревенские бродяги, мужчины, подбираемые полицией, разгульные женщины... Одним словом — все антисоциальные паразиты, среди которых несколько фанатиков, в чьем поврежденном мозгу легко укоренилась модная теория; все остальные в гораздо большем числе — простые хищники, эксплуатирующие водворившийся порядок и усвоившие революционную догму только потому, что она обещает удовлетворить все их похоти...

Это написано историком задолго до октябрьского переворота в России в 17-м году, но как не разглядеть родную до боли картину НАШЕЙ революции и не узнать ее фанатиков-вождей с модной идеей в «поврежденном мозгу», но еще и тех, кто принял революцию как догму для удовлетворения своих изменных страстей... От сталинского уголовного окруже-

ния до самых сегодняшних, каких-нибудь поизмельчавших, но вполне еще реальных Полозковых, Нинандреевых или Рубиксов...

Как же осуществлялся террор во времена французской революции? Да как у нас, при помощи тех же самых «комитетов общественной безопасности» — похоже? Которые «обладали самой произвольной и бесконтрольной властью над свободой и жизнью людей...» Главные лозунги террора такие: если мы добродетель (а мы, конечно, добродетель!), то каждый противник преступен, и его надо уничтожить.

Прямо по М. Горькому!

Противник тот, кто думает не так, как мы. Ему-то и объявляем наш справедливый, наш народный, наш... и пр. и пр. террор.

Этот террор одержим идеей расправы над любым инакомыслием при помощи СТРАХА и УЖАСА.

TERREUR — обозначает именно эти два понятия: страх и ужас, которые проявлены по отношению к своим врагам.

Слово родилось в далекие дни конца XVIII века, но как оно оказалось живуче в наше время и особенно в нашей стране. А если и у других, то обязательно у тех, с кем мы дружим, у эфиопов, скажем, у арабов... Таких как Хусейн, который нам в чем-то даже родственен.

И лексикончик тот же, уголовный, и манеры, и наклонности.

Оттого сегодня и тужим, что не можем его спасти. Уж очень парниша зарвался. Ну, резал бы своих при помощи своих же омовцев, страдал бы их бронемашинами и патрулями, врывался бы в разные частные конторы для проверки, проводил бы по приказу референдумы с путанными вопросами, которых все равно никто не поймет... В крайнем случае организовывал бы по провинции разные там комитеты спасения... Чего ему надо было в Литве?.. То бишь в Кувейте?

Но вернемся к французам. А как организовывался у них террор? Да при помощи революционных трибуналов и чрезвычайных... чуть было не сказал: комиссий...

Это у нас «чрезвычайные комиссии» — ЧК, а у них, у французов, это были «чрезвычайные суды». Но думаю, не лучше наших «комиссий»! Суды проходили без всяких там формальностей, без адвокатов и свидетелей, достаточно

было «внутреннего убеждения судей». А убеждение их, как и наших, было однозначным: смерть. Вот только до ГУЛАГа они, кажется, тогда еще не додумались. А жаль! Сколько бы каналов понастроили! Сколько бы поэтических книг об этом создали! Наш Союз писателей умер бы от зависти.

Но что приятно сближает и их, и наших вождей — это железная «нетерпимость и злоба к противникам». Всяким противникам, конечно. Но особенно к политическим. Да и слово «комиссар» из тех же времен.

А уж мы с ним и вовсе сроднились.

Вот я хочу привести слова одного такого замечательного комиссара. «Знайте, молодцы, — обращался он к своей команде. — Вам можно будет все делать, все получить, все перемолоть, всех заключить, всех сослать, всех казнить...»

Нет, нет! Не подумайте, что это говорил Тухачевский при подавлении какого-нибудь восстания тамбовских крестьян или знаменитый матрос Железняк, пообещавший уничтожить сразу миллион человек, если того потребует революция...

Так говорил еще наш французский революционный комиссар, но как замечательно похож он на своих большевистских потомков!

И вот результат всех названных действий, как отмечает история:

«И ВСЕ ТОТЧАС ПРИШЛО В САМЫЙ ПРОЧНЫЙ ПОРЯДОК».

Мы сегодня тоскуем по «прочному порядку», но путь к нему очевиден. И хоть мы чуть позже начали — века на полтора, что ли, но более преуспели: их суды послали на казнь всего-то несколько десятков тысяч, а для нас это была чуть ли не дневная норма, наш общий счет — далеко за миллионы!

В этом смысле НАШ террор, как и все остальное, самый лучший в мире.

Хочется отметить и такую главную, пожалуй, особенность: и там, и здесь террор направлялся против людей о б ы к н о в е н н ы х. В основном, как пишут французы, против крестьян, солдат и мастеровых. Против кого направлялся наш террор, вы и сами помните.

Ну, а цель террора довольно точно сформулировал основоположник и родоначальник научного терроризма,

великий вождь и учитель трудящихся всего мира товарищ Робеспьер. Он хотел «пересоздать человека» и «возродить человечество».

«Террор направлен против, — цитирую основоположника, — мерзости личного «я».

Вот теперь до конца прояснены и понятны и коренные задачи советской власти: убить в человеке человеческое, лишить его индивидуальности, сделать его придатком государственной машины, ее послушным — по Сталину — винтиком...

А для этого надо было объявить БОЛЬШОЙ ТЕРРОР своему народу.

Рабочим и инженерам (суд над Промпартией), крестьянам (раскулачивание), военным, политикам, врачам...

И, конечно, деятелям науки и искусства.

Союз писателей — одно из многих, и даже не главных, звеньев такого террора, он послал на гильотину (то бишь на расстрел) тысячу двести писателей, еще столько же сидело в лагерях. Кем они оттуда вышли и вышли ли, это никого не интересует. И Союз писателей не интересует тоже.

Большевики-ленинцы, вслед за Робеспьером, ставили целью создать человека новой формации, и в целом, уничтожив во время своих кровавых опытов лучшую часть нации, они более даже, чем французы, достигли своей цели.

В большевистской «пробирке» (одна шестая часть планеты) возник некий гомункулус (Homunculus), под иным, правда, названием: «homo sovieticus», человек, поразивший весь мир своим особым «советским характером» (читайте «Как закалялась сталь»), вовсе не верующий в Бога, но зато верующий в родную партию и в ее Политбюро.

Мы все, без исключения, кровные дети коммунистического террора, который «сокрушил все умы, давил на все сердца; он составил силу правительства, а она была такова, что многочисленные обитатели обширной территории как будто утратили все качества, отличавшие человека от скотины. Казалось, что в них осталось столько жизни, сколько правительству было угодно им предоставить. Человеческое «я» не существовало более; индивидуум превратился в автомата...»

Но я опять перепутал времена, эта длинная цитата взята мной у участника первой французской революции, хотя звучит она так, будто мы с вами итожим сегодня плоды семидесятилетнего хозяйствования.

Как-то один японский бизнесмен заметил моим соотечественникам: «Вы все время говорите на несколько тонов выше. Ваши диалоги начинаются с решительного «нет». У вас даже муж с женой в кафе разговаривают в повышенных тонах, без конца выясняя отношения. Мы не понимаем, когда вы воинственно и активно, напором, а не разумом, пытаетесь утвердить истину...»

Это он говорил не о Верховном Совете; его в скандальном таком виде, на уровне, скажем так, хамско-бытовом, как коммунальная кухня, тогда еще не было. Японец, как я понимаю, имел в виду как раз наш, воспетый классиками соцреализма, «советский характер»...

Давайте заглянем себе в душу и признаемся, хоть это и страшно: пока мы такие, мы не сможем построить свободного общества, какие бы замечательные законы сегодня мы ни принимали. Но, более того, мы и законов не примем и будем с надеждой оглядываться назад, ища там, а не впереди, спасение для себя.

И это хорошо понимают большевики. Для нашего успокоения они, конечно, будут утверждать, что все в прошлом и ребята из КГБ занялись устройством музеев, а в свободное время с радостью выезжают за город копать картошку, а классовой и идеологической и всякой прочей борьбе, то бишь террору, пришел полный конец... (Комиссары, даже французские, тут нашли бы иное, покрепче, словцо.)

Но это неправда.

Наш красный террор вечно живой, подобно вечно живому ленинскому учению. Да они между собой родня.

Никак не пойму, отчего в недавние времена не догадались они создать институт, ну, такой, скажем: «Марксизма-терроризма». Или что-то подобное.

Вот где для науки непаханое поле!

Я даже темку подброшу, такую, например: «Терроризм как высшая стадия социализма». Да, может, еще и создадут. И на практике воплотят. Партия на месте, армия тоже, и органы безопасности там, где были всегда: на Лубянке!

И щиты и мечи не сданы в организованный ими музей. Чуть подзастоялись, но рвутся, рвутся к настоящему делу, борьба с картошкой не может их устроить.

И комиссар Робеспьер, как бы он сегодня ни именовался, вспоенный со времен райкома идеологическим молоком этой партии, все тот же, что и полтора века назад. Но если и отличается, то тем лишь, что объявил перестройку...

Перестройку своего аппарата.

А как аппарат, очень, кстати, смахивающий на бывшую гильотину, перестроят, переналадят, очистят от ржавчины, соскребнут старую кровь, то можно будет и запустить в работу.

Да уж, кажется, и запустили... В Вильнюсе, в Риге... Пора и в России начинать. Комитеты общественного спасения наготове, ждут своего часа...

Впрочем, снова перепутал, это у них так звалось, а у нас они свои, доморощенные, и зовутся комитетами национального спасения. Да хрен редьки не слаще! Пальцем ткнешь, все — или Швед, или Рубикс, или еще какой цековский или обкомовский деятель.

Есть препятствие, правда: Борис Ельцин. И не поставишь пока к стенке, как в прежние времена комиссары ставили... Хоть страсть как хочется... Шуму много будет.

Да и Собчак или Попов тоже пока невозможны.

Но можно ведь и с малого начать, со священников, например. Тут не Польша, не станут уж так шибко о них умирать. Это еще Ильич сообразил, на заре советской власти именно с них и начал.

Да он нам во многих начинаниях опять голова.

Небось не кто-нибудь, а именно он в те смутные времена «приостановил» закон о печати... Не нынешним крикунам чета: девятьсот субъективно разгулявшихся газет, а заодно тысячу триста журналов и пятьсот издательств, да так «приостановил», что больше о них никто и не слышал до сих пор.

И еще одно завещал нам Ильич — это холить да лелеять нашу родную защитницу-армию...

И я скажу: армия нам нужна, хотя никто не станет добиваться, особенно сами военачальники, чтобы была она у нас профессиональной, и все по причине, что держат ее

не для защиты от врагов, а для той самой войны, которую в 17-м году объявили большевики своему народу. Армия занимает в государственном терроре особое место, потому что способна пропустить через себя и обработать миллионы подростков с их неокрепшими душами. При помощи особой системы подготовки можно этих ребят сформировать, чтобы, послушно оседлав танки, могли они в нужный момент выйти на улицы и стрелять в кого им прикажут...

А в кого они стреляли в Тбилиси, или в Баку, или в Вильнюсе — мы хорошо помним.

Тут главную роль играет политическая подготовка, которая в армии (нашей армии) всегда ставилась выше боевой, так же, как политработники поднимались выше боевого командира.

Ну, а создание в подразделениях особого настроения и «дедовщины» необходимо для устрашения непокорных, непослушных и слишком думающих. Или из них навсегда вышибут «мерзость личного «я», или пришибут насмерть. А сколько уже пришибли, не сосчитать.

Вот и выходит, что участие воинских частей в подавлении национальных движений — вовсе не случайный эпизод, а законные для системы большевистского террора функции армии.

Так же как патрулирование на бронемашинах в мирное время по центральным улицам столицы, и маневры десантников, и набеги омонцовцев, и тому подобное.

Но мы и тут не оригинальны, у французов, в отличие от кадровой, тоже была «особая революционная армия», созданная для насильственного исполнения законов центральной власти.

Были у них и свои денисовы-oleyниковы, то есть особые эмиссары, не отличавшиеся, скажем так, чистоплотностью, но имевшие большую власть, они посылались на места, в провинции, для выяснения каких-либо обстоятельств, скажем, кровавых столкновений с десантниками или омонцовцами где-нибудь в Провансе...

«Ни добродетель наша, ни умеренность, ни философия идеи нашей ничему не научили, так будем разбойниками для блага народа».

Так заявляли французские лидеры.

Бесценная мысль, пусть давняя, подкиньте ее Алкснису или его дружкам-полковникам. Она им созвучна.

А вот следующую цитату из французов я дарю лично президенту: «При обыкновенном правлении народу принадлежит право избрания, при чрезвычайном же правлении все импульсы должны исходить от центра...»

Чрезвычайное или президентское... Как ни называй, смысл один.

Ну а поскольку мы все ходим-бродим рядом с французами, хотелось бы вспомнить один, но уже вполне литературный, случай.

В дом к Бальзаку однажды пришла молодая женщина и заявила, что, подобно известной героине писателя, она приехала из провинции в Париж, пережила всякие приключения, но далее не знает, как ей жить...

— Читайте роман, там же все о вас написано! — воскликнул с досадой классик.

В истории все про нас написано.

Там есть и про Конвент, который в какой-то момент народной стихии передал власть Комитету общественного спасения, а в результате полетели головы послушных членов Конвента, а потом и самого Комитета...

А потом — их лидера Робеспьера.

Ну, а всякие непослушные авторы и издатели были казнены, как утверждает история, еще раньше...

В общем, читайте историю, там для вас, как сказал великий Бальзак, все написано.

Кстати, сами французы вспоминают это время как «пору плохих ассигнаций и Большого труса...»

Их юмор внушает мне сегодня оптимизм.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧАСТИ

Вчера позвонили из Дома офицеров в Риге, попросили о встрече: хотим поговорить о литературе.

— Когда? — спросил лишь я.

— Да хоть сегодня... Или завтра.

— Я согласен.

Я догадывался, конечно, о какой литературе будет идти речь. Но согласие дал лишь потому, что хотел их тоже понять. Понять, чем дышат и о чем думают эти люди. Если завтра может быть повторен вариант Литвы, то сегодня надо разговаривать. Если еще не поздно.

Но я сказал «тоже», ибо надеялся, что они хотят понять меня. На выступление я позвал двух друзей: писательницу Галину Васильевну Дробот, она прошла фронт и ничего не боится, и Валерия Блюменкранца, он полковник в отставке. Пусть послушает своих бывших сослуживцев. Он поддерживает Народный фронт, и ему эта встреча интересна.

Да и вообще, приятно выступать, когда знаешь, что не все тут в зале чужие. А что мы находимся среди чужих, даже очень чужих, мы скоро почувствовали. Хотя вначале встретили нас вполне приветливо, угостили наскоро чаем, провели в зал, там было полно. В основном военные, но были и женщины — наверное, жены офицеров.

Перед самым выходом позвонили из вестибюля: кто-то со шведского телевидения хочет меня видеть. Через пару ми-

нут влетела Элизабет, моя давняя приятельница, мы встречались прежде и в Москве, и в Стокгольме. Но я не знал, что она уже в Риге. Но она и правда всегда там, где горячо.

Мы обнялись.

Я спросил:

— Ты с телеаппаратурой? На нашу встречу?

— Нет, нет, — отвечала энергично. — Просто была здесь, у начальства, услышала твою фамилию... Снимать я не собираюсь.

Как потом выяснилось, снимать она как раз собиралась, да ей то самое начальство сразу отказало. «Это невозможно», — так было сказано.

— Почему невозможно? Кто так приказал?

— Офицеры...

Она лишь улыбалась и пожимала плечами.

Военные-то знали, почему они не хотят съемок, да еще для «западного» телевидения, они готовились к нашей встрече как к бою. Это мы ничего не знали, сидели за столиком на сцене и рассматривали зал, не очень большой, человек на двести, а то и меньше, и краем уха ловили слова начальника Дома офицеров, который называл наши книги, говорил какие-то нужные для встречи слова. Вот я потом прикидывал: он что же, тоже не знал, что нам готовят тут психическую атаку? Скорей всего не знал, ему приказали из штаба округа, он и позвал меня, и добросовестно книжки выставил, и какие-то работы даже обо мне разыскал...

Никто из присутствующих, кроме одной женщины, ни одну мою книжку не упомянет. Сразу из зала пришла записка, большая — видать, заранее заготовленная:

«Г-ну (гражданину) Приставкину!

Что Вы писали, говорили и носили (плакаты, лозунги) до сего времени, нам в Риге известно. Прошу ответить: Вы за или против 1. Ельцина; 2. Горбачева; 3. За «бревнами» или перед «бревнами»? 4. Кто со стороны России подписал договор от 11 августа 1920 года (договор между Латвией и Россией)? 5. Вы друг Войновича или нет? Как себя чувствуете, когда Нюрка порется с кабаном (хрюком, свиньей) Борькой? 6. Были ли на стадионе интерфронта 15 января?

Сержант Стагнат Мигрантско-Оккупанческий (Кузнецов)».

Я отметил, что тон записки мне не нравится, но я на нее отвечаю. И лишь произнес имя Ельцина, в том смысле, что я его поддерживаю, как маленький вихрь возник в недрах зала и, разрастаясь, донесся до сцены с шумом и громом.

Имя Ельцина военные не принимали вообще. Даже в самом начале не обошлось без злобных по отношению к нему выкриков. А далее было и того хуже.

Спросил я про «бревна», что автор имеет в виду. Я и правда не очень понимал, хотя догадывался, и мне популярно объяснили, что это те бревна, «за которыми хоронятся фашистские власти». Имея в виду парламент.

Такое вот начало.

А после моего объяснения про Войновича, которого я знаю лично и которого считаю талантливым писателем, зал зашумел, загудел и тут же подскочил в рядах офицер.

— Вы не виляйте! — потребовал резко он. И добавил что-то уж совсем неприличное о писателях, которые привыкли лгать. Имел в виду он Войновича, или меня, или Дробот, я не понял, но ответил, что мне представлялось, что я иду на благородное собрание офицеров, а попал я на грязный базар...

Назревал скандал, и начальник Дома, его фамилия была, по странному совпадению, как у моей жены — Бережной, да судя по всему и человек неплохой, но и он растерялся.

— Этот товарищ не наш, — как бы в оправдание пояснил нам. И попросил задавать вопросы «без шума и по порядку».

Непонятно, конечно, как в такое закрытое заведение, куда и шведам запрещено ходить, попали чужие, но и далее, судя по вопросам, тут были не все «свои», не по принадлежности, а по реакции на вопросы, которые они задавали.

Валерий, наш дружок, сидел среди них тихо, он наблюдал, и свое скажет он позже. И скажет так: «Да, они, в общем, такие... Хотя эти поагрессивнее будут... Но, может, потому, что собрали сюда отборных, из политуправления, из газет... Я их за километр узнаю, у них оскал другой... Да они сами разоблачились, сказав про одного: «Дайте уж ему слово, он из части...»

Но тот, который из части, выскажется в последнюю очередь, а эти... И правда, они не только задавали вопросы, но сами и отвечали на них, мои ответы, как выяснилось, их почти и не интересовали.

И второе, что вскоре стало ясно: они пришли с ответами, в которых не сомневались. Они пришли не слушать, а учить. И это, правда, было скорей похоже на привычку политработников.

Большевики и среди штатских-то не особенно вслушиваются в простые речи, а у военных это просто невозможно.

Они, судя по всему, «отрабатывали» эту встречу.

И мы быстро это поняли. Я, кажется, быстрее, чем Дробот.

Галя еще трепыхалась, один вопрос она взяла на себя, тем более что разговор зашел о могилах фронтовиков, которые здесь осквернили. Мы осудили все эти действия, а я напомнил, что не только в Балтии, но и в России черепа и кости погибших белеют по полям, а вот в далекой Германии, в Гамбурге, я сам видел, как ухожены могилы наших воинов...

Но и это не захотели слушать, тут же крикнули:

— Нечего нам про Гамбург! Говорите по существу!

— Да, да! Лучше скажите, как нас Ельцин предал!

— Почему они так собрались ночью? Как бандюги какие?

— Кому вы служите, Приставкин?

— Вот вы выступали по захваченному латышами телевидению, вы разве не почувствовали, что вас используют против русских?

ИЗ ЗАПИСКИ:

«Вам не стыдно будет, возвратясь в Россию, смотреть людям в глаза после своего выступления по телевидению?»

Отвечать практически уже не удавалось. Напрасно зывал начальник Дома, поясняя, что беседа «пошла не по тому руслу»... И призывал офицеров поговорить о литературе.

Русло было то самое, какое им надо.

И уже не ответы, а обвинения сыпались в мой адрес.

Но вдруг затихло, когда вышла женщина, думаю, что ее-то в штабе не подготавливали, потому что начала она с вопроса, она читала мою «Тучку», и ее интересует, что я сейчас пишу... Потом она стала рассказывать о себе, что работает в госпитале, часть его, хотя и так тесно, переоборудовали под детское отделение, и все потому, что республиканские власти детей военных не берут... И прописаться тоже невозможно, а в школе надо платить две тысячи рублей за учебу, именно военным, а где их при нищей зарплате взять?

Вот это — было правдой.

Но не всей правдой. Ведь можно было бы спросить (вот только кого? Кого?), а не лучше бы совсем не держать здесь армию или не держать такую огромную армию, и всех бы названных проблем не существовало вовсе.

ИЗ ЗАПИСКИ:

«Видите ли Вы тоталитаризм Народного фронта Латвии, и вызывает ли это у Вас обеспокоенность?»

Я напомнил о Владлене Дозорцеве, который выступил с обращением к фракции парламентского большинства, протестуя против ряда решений, некоторые из которых на днях отменены.

Опять зал забурился.

— Пока им надо, они будут с нами заигрывать! А потом призовут нас убивать!

— Выживать!

— С этой земли!

— У них в правительстве одни фашисты!

— Но разве не народ избрал это правительство? — спросил я.

— Кто вам сказал! — вскричали хором. — Вы тут не были и не знаете: их всех заставляли голосовать из-под палки! Да! Да! А военным вообще не дали пропорционального представительства... Эти захватили власть именно как фашисты и творят что хотят! Вы ведь видели, что они поставили защиту из машин?

— Значит, они вас боятся? — спросила Галя.

— Это нам надо их бояться... Недавно палками одного солдата... Нам разрешено ходить с оружием, а мы не ходим... Хотя они все вооружены!

— Откуда?

— А мы не знаем откуда! Но мы знаем, что у них есть тайные инструкции нас убивать!

— А карикатуры на нас видели? Нет, вы скажите, видели или нет? Так к какому же вы миру призываете, если они давно нам войну объявили?

ИЗ ЗАПИСКИ:

«Как бы Вы реагировали, если бы, воспитанные на лучших традициях русской и советской Армии, приняли присягу на верность Отечеству, а Родина для нас — это Со-

ветский Союз, и на протяжении последних лет постоянно находились, в том числе и семья, под шквалом оскорблений, лишенные гражданских прав, а каких, Вы хорошо знаете, т. к. некоторые Ваши коллеги принимают в этом участие. А как Вы относитесь к выпадам Адамовича в адрес Армии с трибуны съезда?»

(Напечатано на машинке.)

Напрасно начальник Дома взывал к порядку, порядка не было.

Но я уже, грешным делом, подумал, что и это благо, ибо они все торопились высказаться и мешали друг другу и тем облегчали, хоть частью, нашу задачу.

— Вы тут говорите о защите демократии, — пыталась перекричать зал еще одна женщина, скорей всего жена офицера, армянка. — Абстрактно вы правы, и в книге своей правы, слабые народы надо защищать... Но кто здесь слабый народ? И что демократия? Вот они оккупировали парламент, отгородились от народа бревнами и создают свои законы против слабых, то есть против русских, которых они сгоняют с земли... А если мы хотим здесь жить, а они нам не дают, то в чем же их демократия проявляется? Вам-то из Москвы не видно, а мы здесь от них, от их демократии натерпелись! Они даже митинга не дают собрать, на стадион загнали!

Но и ей, ей тоже не дали договорить.

— Маршрут троллейбуса даже изменили!

— Захватили телевидение и себя показывают, а нас нет!

Разговор, понятно, шел об интерфронттовском митинге, который проводился на стадионе. Я видел этот митинг — и, кстати, по телевидению, жидковатый такой, но больше всего меня поразило, как они не дали говорить священнику, а он лишь ратовал за мир между людьми.

— Заткнись! — кричали ему. А он все пытался о мире, а они ему снова: — Заткнись!

Но я спросил другое.

— А Дом печати кто захватил?

— Они и захватили, — сказали мне громко. — Он же работал, печатал газеты, а они взяли да и национализировали... Вот вам и демократия!

— А омовцы разве не силой?

— Омоновцы лишь помогли вернуть хозяевам!

— Но силой?

— Нет. Просто взяли под охрану.

— А не лучше бы по закону... Ну, хотя бы через суд?

— А какие вы имеете в виду законы? Советские? Так их тут давно нет!

— А какие есть?

— Да никаких нет!

— Но так же не бывает?

— А вы инкогнито приезжайте, — посоветовали мне. — Приклейте там бороду или усы и походите... Посмотрите, тогда и увидите всю правду! А так...

ИЗ ЗАПИСКИ:

«В средствах массовой информации происходящие события освещаются довольно однобоко, даже тенденциозно. Все встречи на экране имеют одно направление — оправдать действия националистов всех мастей, благо появилась возможность шельмования инородцев. Все это под знаком демократии. Вопрос: где же демократия? Там, где ложь возведена в ранг политики? Или это называется по-другому? Я считаю, что это не демократия. Мимчишов».

Я и зачитать не смог, снова врезался голос:

— Россия гибнет из-за таких вот предателей, как Горбунов!

— Мы присягали СССР, а не Горбунову! Мы не дадим ему разрушить державу!

— И Ельцину не дадим!

Аплодисменты.

— И не надо нам всяких ваших слов про империю... Называйте как хотите, держава или еще как... У нас СССР, а не империя вовсе!

Аплодисменты.

ИЗ ЗАПИСКИ:

«Ст. 13 Всеобщей Декларации прав человека гласит: «Каждый человек имеет право... выбирать себе местожительство в пределах каждого государства». Как Вы в связи с этим оцениваете требования-призывы руководства Прибалтийских республик и известных общественно-политических организаций: «Мигранты, вон из Прибалтики!»

П-к Филимонов Г. А.».

Выступил летчик, немолодой, коренастый, весь какой-то крепкий, основательный. Это доказывало, что не одни политкомиссары были на сборище. Фамилию, к сожалению, не удалось узнать, но говорил он заинтересованно об отсталой нашей технике, на которой приходится работать, у американцев — глядели хронику Ирака не без зависти — куда лучше!

— Но в Ираке, не секрет, техника-то наша?

— Потому и бьют, — был ответ. — Нам нужна хорошая техника.

— Даже в ущерб вашей жизни?

Я не сказал «нашей», но мог бы сказать, мы же все ее в какой-то мере оплачиваем.

— Да, — ответил летчик.

Тогда я спросил моего оппонента:

— Но мы тратим на армию сто миллиардов рублей, а Сахаров даже считал: сто пятьдесят... Ну, а если часть этих денег вместо вооружения потратить на соцбыт для офицеров?

— Нельзя, — был ответ.

— Почему нельзя?

— А воевать чем станем?

— С кем воевать?

— С агрессором!

Летчик несколько не задумывался:

— Видите ли, американцы навязывают свою волю Ближнему Востоку... А если мы будем безоружны, они станут диктовать и нам, и мы погибнем.

— А вам не кажется, что раньше мы погибнем от голода? — спросила Дробот. — И вашей распрекрасной техникой некого уже будет защищать?

— Не кажется. Без техники тоже не выживем, — сказал летчик.

— А без больниц для детей?

— И без них... Но сперва — техника.

— Ну, то есть оружие?

— Конечно.

— Но ведь его столько, что мы его уничтожаем... Зачем же его еще и еще клепать?

— Нужно, — отвечали. — Но другого качества.

ИЗ ЛИСТОВКИ:

«Товарищи солдаты, матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы! Товарищи офицеры Прибалтийского военного округа, Балтийского флота, Прибалтийского пограничного округа!

Реакционное большинство Верховного Совета Латвийской Республики, лично Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин обратились к вам с призывом «не проливать кровь беззащитных людей», «не убивать женщин и детей».

Так кричат экстремисты, сперва стреляя в военнослужащих, как это было в Литве. Эта наглая ложь о действиях армии и флота рассчитана на создание образа врага в лице советского солдата, запугивание гражданского населения, взвинчивание антивоенной истерии.

О каком насилии над законностью, суверенитетах республик говорит Б. Ельцин, если на наших глазах идет возврат к буржуазному строю и возрождению фашизма.

Каждый из вас хорошо видит разницу между вооруженным боевиком и беззащитной женщиной. Не поддавайтесь на провокацию! Будьте бдительны, будьте верны конституционному долгу и военной присяге! Только дисциплиной и организованностью можно дать отпор экстремизму и национализму!

Депутаты фракции «Равноправие» Верховного Совета Латвийской Республики».

Последним выступал подполковник Павлов, он вышел прямо к трибуне и сказал, что будет говорить десять минут.

— Пусть говорит, — бросили из рядов. — Он из части.

Вот тут и стало понятно, что остальные-то, ну разве кроме летчика, не из «части». Ну да ладно. Офицер Павлов стал говорить, что 18 лет в армии, жена — латышка, а дети уж непонятно кто...

Так он и сказал: «Непонятно кто». И далее...

— Я ночи не сплю, пытаюсь разобраться, кто виноват, Москва или Латвия... Ее Верховный Совет... А дело, по-моему, не в системах, а в отдельных людях, в тех, кто стоит нынче у власти... Среди них много некомпетентных людей...

Он говорил об ущемлении малых народов и больших, таких, как русский.

— Никто из нас не хочет воевать, но призывы против нас носят подстрекательский характер и провоцируют определенное настроение у людей... Все мы возбуждены... И это опасно...

Так он закончил. И ему я поверил: «человеку из части». Я потом к нему в мыслях возвращался многожды и пришел к выводу, что нам очень важно понять вот таких людей «из части», ибо от их настроения зависит наша судьба.

ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

Валерий Блюменкранц, который в зале просидел тихо, в машине вдруг разговорился, уж на что спокоен, и у него, как говорят, подперло.

— Я тоже военный, — сказал он. — Но я удивляюсь такому узкому мышлению товарищей офицеров. Мы живем в новой обстановке, они же ничего не хотят видеть, зашорены и боятся потерять хоть что-то из своих удобств... А кто поможет поступить дочке в институт, а кто даст пенсию, если распадется Союз... Да, никто! Сами себе дадут, если смогут... Они забывают, что кончилось такое время, когда кто-то им обязан все делать.

Тут уж я вступился за военных и сказал, что они пошли на службу к государству и что они отдают ему все, подчас и свою жизнь, и хотят иметь льготы.

— Ну, конечно, им положено, — согласился Валерий. — Но без привилегий, которых они всегда ждут. Я говорю об этом, потому что сам заблуждался и сам ждал, пока не понял: кончилось это время. Надо жертвовать, жертвуют же остальные; если военные это не поймут, мы получим вот таких обозленных ребят!

— Они не просто обозлены, — возразила Галя Дробот. — Они напуганы, ибо не видят выхода из трудностей... Они обмануты, как и весь народ, им ведь тоже обещали райскую жизнь.

Валерий согласился.

— Правильно. Но разница между военными и народом та, что народ как-то разобрался, что его надули, а эти не разобрались и придумывают себе «врагов»: латышей, евреев, Ландсбергиса, Ельцина... Кого угодно.

Это был разговор в машине, и продолжился он до самого дома. А я вдруг подумал, что несколько лет назад мы встречались с Валерием на его судне, в тесной каютке, он только что приплыл из Атлантики, куда ходил на промысел, и разговоры наши были куда проще и обычной: о море, о книжках, о Высоцком наконец, которого Валерий знает наизусть и хорошо исполняет под гитару.

Нынче, волей судеб, мы все вовлечены в какой-то бесконечный спор по глобальным вопросам из жизни страны, каждого из нас задевает за живое все, что творится вокруг... С армией, или Литвой, или с Россией...

Может, это и есть революция?

Мы возбуждены все, не только армия. И в этом состоянии чуть ли не ежедневно, не ежечасно приходится делать выбор: куда двигаться, с кем идти, кого поддерживать... Кого отвергать?

И от этих решений зависит у каждого (у каждого!), как повернется его жизнь.

Вправду ли зависит, другой вопрос.

Но каждый уверен, что — сейчас — зависит. Я-то, про себя, точно уверен, иначе не копошился бы, а сидел, скажем, писал свои сказки про ежика Колю и ежика Юру...

То, что кто-то думает иначе, чем я, или чем Валерий, вовсе не странно. Имеют, как говорят, право. Но странно было бы, если бы мы не разобрались в причинах такого разномыслия, не постарались бы понять другую сторону и не сделали бы выводов.

Разговор в Доме офицеров, несмотря на свою predeterminedенность и заорганизованность, вышел из назначенных ему берегов, и слава богу! Уже после выступления нас окружила кучка довольно энергичных военных, они подошли к нам именно потому, что доводы с обеих сторон не были исчерпаны, и спор продолжался прямо на сцене. Был он не менее горяч.

Офицеры заговорили о законной деятельности омонцев, которые «отстояли» законное имущество в Доме печати, которые стреляют лишь вынужденно, когда им не подчиняются, а ОМОН есть ОМОН, он обязан выполнять свои функции.

— Какие же у него функции? Стрелять?

— Да. Если это нужно для порядка.

— Это их функции?

— Конечно. А что касается оружия, то и нам полагаются пистолеты. И они у нас есть. Но, как видите, — с милой улыбочивой непринужденностью, — мы ведь перед вами безоружны....

— Мы не берем оружия в город, а оставляем дома, хотя это опасно...

Когда мы прощались с начальником Дома офицеров, он, как бы извиняясь, что так странно повернулось наше выступление, спросил в конце: «Но вы не жалеете, надеюсь, что приехали?.. Время такое, все возбуждены...»

Я сказал, что я ничуть не жалею.

И правда, я не жалел.

То, что мы видели, еще не вся армия. Это только часть армии, но уверен, она сейчас вся, как и мы, возбуждена.

Так возбуждена, что горячо рядом стоять.

В таком перенакаленном состоянии, ненавидя латышское правительство и не ощущая, что оно законное, армия способна на насилие... Ее даже не нужно будет призывать к действиям ни язовым, ни алкснисам, ни петрушенко, она сама так настроена, что в любой момент способна выйти на улицу с оружием, чтобы защитить свои интересы. Как она для себя их понимает.

И тут главное — указать адрес врага, который во всем виноват... Демократы, скажем, либералы, регионалы...

И тогда не избежать конфронтации, раскола в самой армии, ибо и в ней есть Павловы и Блюменкранцы, а есть сержанты Кузнецовы (он прислал записку) и полковники Петрушенко...

Еще один вопрос: против кого же направлена такая армия, против потенциального агрессора извне или против того самого «внутреннего врага»?

Афганистан, где мы потерпели сокрушительное поражение, доказал второе. Как определил не помню уж кто: мы

мстим внутренним врагам за свое поражение в Афганистане. И это куда проще: там народ был вооружен, а тут армия воюет с безоружными. Но, судя по всему, народ тоже вооружается, если не в Прибалтике, то на Кавказе...

Таким образом, готовятся новые столкновения, и исток их являются не только коммунисты, но и подчиненная им до поры армия.

И еще отмечу одну особенность, ее подсказал мой друг Валерий Блюменкранц: армия хоть и часть народа, но держат ее в суровой изоляции, она мало знает, что происходит в стране, а иногда она не хочет этого знать. Имеется в виду прежде всего старший командный состав. Младшие офицеры и сержанты с солдатами все-таки ближе к жизни, ибо недавно были штатскими и несут в себе все их проблемы.

Обработка мозгов особенно наглядна в армии, где большевики не сдали своих позиций... А может, и укрепили их при помощи своей печати.

Во время встречи был брошен нам из зала вопрос: что мы читаем, какие газеты выписываем. И когда мы перечислили с Галей некоторые из них, там были и «Комсомолка», и «Московские новости», и «Огонек», и «Известия»... снова произошло в рядах смущение, и нам вскоре положили на стол ту печать, которую, по мнению товарищей офицеров, нам следовало бы знать.

Среди них окружная прибалтийская газета «За Родину» за 17 января — день нашей встречи. Я дал обещание, что непременно прочту, и я ее прочел, причем от корки до корки. Полагая, что она такая же, как другие номера, выходявшие раньше или позже, я хочу сейчас о ней поразмышлять. Может быть, и она поможет нам в чем-то разобраться.

С первого же столбца сверху:

«ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ СССР».

С чем же обращаются, если не секрет?

А вот с чем:

«...Нынешняя деятельность Верховного Совета и правительства...» — имеются в виду республиканские органы — «провоцирует возмущение трудящихся масс и ведет ситуацию в республике к пагубным последствиям...» И далее: «Призываем», «Требуем прав», «Вплоть до...»

«ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ ЛАТВИИ И ЛИТВЫ».

Обманутые в своих ожиданиях, подведенные к краю бездны, мы обречены... Национал-сепаратисты, захватившие власть... Пора отставить господ Ландсбергиса, Грбунова и Рюителя... Не дадим обмануть себя псевдодемократам, их правящей клике...»

Статья: «НАБОЛЕЛО! Отказали в прописке лейтенанту в отчет доме, почему?»

«Парламент и правительство республики эти суверенные права представляют только избранным лицам за счет ущемления ни в чем не повинных людей и семей... А не кажется ли вам, господа, что ваши действия — это действия тех же самых «троек», которые решали судьбы людей в период известных репрессий...»

Интересно, что начали с бедного лейтенанта, с его действительно наболевшей проблемы, но тут же о нем забыв, кончили стандартным политиканством, ратующим за возвращение прекрасного прошлого, они и отцом родным, то бишь Иосифом Виссарионовичем Сталиным, не побрезговали пожертвовать, но, правда, хают его время, его же самого всуе не называют.

«ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВС РСФСР Б.Н. ЕЛЬЦИНУ.

Господин Ельцин! Вам чужды интересы россиян, проживающих в Прибалтике. Отдыхая в Юрмале в прошлом году, вы не пожелали встретиться с представителями русскоязычного населения... А сейчас вы срочно прибыли в Прибалтику защищать интересы националистических сил...» Ну, а далее так: «Мы вам не верим. Армия за вами не пойдет».

Принято это, как обозначено в газете, на общем собрании военнослужащих ПВО Рижского гарнизона.

Вспоминайте встречу в Доме офицеров!

«СОЗДАН КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ. Москва (корр. ТАСС).

Комитет защиты русскоязычного населения и малых народов Прибалтики создан на экстренном заседании центристского блока политических партий и движений... Комитет решительно осудил действия... Б. Ельцина... В резолюции осуждаются также действия Межрегиональной депутатской группы и руководителей движения «Демократическая Россия»... направленные на поддержку сепаратистов и национал-экстремистов в различных регионах страны...»

Центристский блок, известно, создан комитетом КГБ и верхушкой компартии, он состоит, кажется, из странных, с уголовным прошлым, лидеров, людей, которые никого, в сущности, кроме себя, не представляют. В народе, как говорят, о них и не слыхивали. Зато их в самый момент организации принимал лично Горбачев... Морально помогал организовываться. А может, и материально. Социально свои, как некогда про блатных и коммунистов подсказал Солженицын...

И вот уж их голос (отрабатывают доверие партии) прорезался в нужном месте и в нужное время. Не для того ли их создавали!

«КОМАНДИРА ПРИКАЗ — ЗАКОН ДЛЯ НАС.

Мы глубоко возмущены в связи с обращением к воинам, призванным на территории России и проходящим службу в Прибалтийском военном регионе... Ельцина Б.Н., который нас призывает к тягчайшему воинскому преступлению — невыполнению приказов командиров, неповиновению. Мы полностью поддерживаем своих братьев по оружию, проходящих службу в Литве... Мы всегда готовы выполнить любые задачи, которые нам поставит командующий войсками округа...»

(Принято на общем собрании личного состава войсковой части.)

Какой части — не указано.

Можно предположить, что такие «единогласные» резолюции пишутся в штабах, а не в частях, уж больно лексика у них комиссарская, которая и во времена моей юности, а проходил я службу тут же, в Прибалтике, была такой же самой...

Она-то и выдает затаенную мечту командования (в данном случае командования округа, но, конечно, и любого другого командования), чтобы солдаты, как роботы, выполняли **«ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ...»**

Понимаете? Любые!

Не такие ли «любые задачи» были поставлены в эти дни в Вильнюсе?

Я привел лишь одну первую страницу одной армейской газеты, можете быть уверены, что остальные страницы остальных газет похожи на эту.

Когда мне дарили этот номер, произнесли слова: «Но вы и это почитайте», имея в виду, что до сих пор я читал «не это»...

Ну что же, спасибо, газета тоже помогла мне кое-что понять в моих отношениях к армии и к тем, кто ею командует.

На следующий день я рассказал за завтраком Владимиру Кайяксу о встрече с офицерами, в частности, об их претензиях к правительству в вопросах быта.

— Да, это ошибка, — сказал он. — Но причина такого антиармейского настроения среди населения, мне кажется, была в том, что в прошлом году возник конфликт по поводу одного армейского полигона, на котором они отрабатывали бомбометание. Так вот, там оказалось большое кладбище... И латышей, и русских, и евреев... Они практически его уничтожили... И народ, разумеется, осерчал...

«Уважаемый писатель Приставкин!

Только что внимательно смотрел Ваше выступление по телевизору и сразу решил написать Вам письмо, правда, не нашел даже конверт, поэтому пишу на нестандартном, очень хотелось, чтобы письмо все же попало к Вам, дай бог, чтобы повезло.

Разрешите представиться. Я Орлов Игорь Николаевич, 44-х лет от роду, русский, беспартийный, женат, жена — педагог, дочь студентка университета. В Прибалтике живу с 1954 года, до 1965 года в Литве, с 1965 года в Латвии. В Латвии окончил ВУЗ и работаю, сначала в провинции, а вот уже 10 лет живу в Риге.

В Риге живут мои родители — папа и мама, им по 70 лет каждому, брат с семьей: жена, дочь.

Знаю латышский и литовский языки, правда, писать не могу, вернее, пишу плохо. Но считаюсь, вернее считался, своим местным жителем, т. к. и студенческая жизнь (5 лет в общежитии), и первая работа после ВУЗа, да и вообще жизнь в этой маленькой республике для меня не просто 25 лет времени, а с Литвой — 36 лет календарных. Я уверен — это пласт жизни со всеми хорошими и плохими сторонами. Это настоящая жизнь как она есть.

В детстве я, сын военнослужащего, бегал в Литве (г. Паневежис) по двору с пацанами, гонял голубей, ловил рыбу

(поэтому, наверное, говорю без акцента), и никто, никто мне ни разу не сказал: «Ты русская свинья, а твой отец — оккупант». Наоборот, роды у мамы (мой брат родился в 1956 году) принимал врач-литовец Литвинас Пранас; я хорошо помню, потому что он до сих пор хороший старинный друг нашей семьи.

В Литве я окончил школу, мечтал быть моряком, но вот поступил в Ригу (не зная ни слова по-латышски), жил среди ребят (в основном латыши) в «общаге», если и были стычки, то не на национальной основе. Затем работал в Алуксне (маленький город), тоже без проблем, несмотря на то, что было тяжело материально (уже была дочь, мы только после ВУЗа), проблем больших не было.

Друзья мои Озолс Петерис, Логженис и многие другие. Затем обмен на Ригу и работа в Риге. Нет больших проблем! Моральных, по крайней мере. Но вот 1985 год — начало перестройки. Да, был подъем. Да, Горбачев дал возможность открыто говорить, открыл двери демократии. Почитайте наши местные газеты всех мастей того времени. Возникли общественные движения — среди них Народный фронт Латвии. Я с первого дня душой и, как говорится, телом был с этими прогрессивными молодыми и не очень молодыми людьми.

И некоторые выступления, которые говорили о нас, русских, живущих здесь, как мигрантах, лентяях, оккупантах, — я относил к множеству мнений, мутной воде.

Но вот за короткий промежуток из Народного фронта фронт стал национальным, затем националистическим. Вы считаете — я сгущаю краски?

Постараюсь доказать.

1. Моего отца, раненного под Вязьмой в бедро и пах, глухого от взрыва гранаты в окопе (ему 70 лет), полтора года назад группа юнцов-латышей за то, что он отказался снять орденские колодки (9 мая), пыталась избить, не дали люди.

2. Мою маму, с двумя инфарктами, врач скорой помощи полгода назад осмотрела сверху, не говоря по-русски (мать не знает латышского языка), выписала рецепт и поставила диагноз ОРЗ (болело сердце).

3. Мою дочь вытолкнули из очереди за сахаром (не говоря о том, что дочь понимает и говорит по-латышски, но с акцентом) из-за того, что она по-русски говорила с женщиной — соседкой по очереди.

4. Меня 3 месяца назад убрали с должности начальника производства (при реорганизации производства), а на мое место был поставлен член городского совета (Думы) Народного фронта без специального образования.

В народе уже ходит присказка: какая твоя специальность? — «латыш!»

Как Вы считаете, это нормально?

Нормально, когда девочку-школьницу забрасывают в такси камнями только потому, что ее отец офицер?

А закон о языке?

Нормально, что до сих пор не принят закон о гражданстве, а по проекту вся наша семья — лица второго сорта с видом на жительство?

И это — каждый день, три года!

Где Вы были раньше, уважаемый Приставкин, Вы, Ваш кумир — Борис Ельцин предали всех нас, русскоязычных, здесь, бросили на произвол судьбы.

Вы что, не видите ту истерию, которую нагнетает радио, телевидение, газеты? Вы за это?

Вы за то, что в Риге до предела нагнетена обстановка «мирными латышами» и народ четко избрал образ врага — армия, президент, русские.

Вы, писатель, сделали свое «черное» дело, выступив по телевизору с нападками на Горбачева, Вы — источник гражданской войны, а не Горбачев... Да, Вы! Вы!!!

Вы не встретились с русскими, как и Ельцин, который был летом в Юрмале, а вещаете за них с позиций курортника, даете советы людям, чьи права раздавлены и попорчены, у которых нет точки опоры.

Вы своим выступлением еще больше распалили обманутый латышский народ, народ прекрасный и трудолюбивый, я преклоняюсь перед ним, но он обманут, его ведут не к свободе, а к пропасти и гражданской войне. Бог Вам не простит.

Подумайте над моим письмом.

И над своими соотечественниками здесь.

Орлов».

Это письмо серьезное, искреннее, и писал его человек, остро переживающий все, что с ним и его близкими тут происходит.

Он на своей шкуре испытал ошибки экстремистов от демократии и сильно это переживает. Хотя выводы о том, кто же его друг, а кто враг, он делает, по-моему, ложные.

Даже его, житейски умудренного, это видно по письму, Горбачев смог обмануть, затеяв гражданскую, по сути, войну, которую он объявил республикам.

Вчера демагогически изрекал:

«Создали такое общество, что стычки и побоища стали нормой»... Кто же такое общество создал? Не вы ли, Михаил Сергеевич? И поджигаете, поджигаете, поджигаете... Мало вам крови? Да большевики ею уже землю на полметра пропитали, с тех пор как объявились, к несчастью людей, на земле...

А что касается русского человека в Латвии (да и повсюду), в силах и возможностях Народного фронта защитить этих людей и превратить их из своих врагов в своих друзей, если у них хватит разума и понимания истинного положения в обществе...

В ТЫЛУ ВРАГА

(По мотивам дневника)

Я могу ответить на вопрос товарища Орлова, прозвучавший в его письме: «Где Вы были раньше, уважаемый Приставкин?..» — и рассказать о моей службе в армии, которая пала на прекрасные города: Ростов Ярославский, на Саратов, а потом и на Ригу.

Мы даже приехали с Орловым в Прибалтику в одно время.

Теперь-то я понимаю, какое это было везение — попасть в молодые годы сюда, в тихую Балтию, в которую я прямо-таки влюбился, увидав впервые зимним утром 30 декабря 53-го года.

Четверо солдатиков, я помню их и сейчас — Башкатов, Титкин, Фалалеев и я — вышли на рижском вокзале и направились в штаб округа, чтобы получить назначение в часть, в которой мы будем служить.

Полагаю, что сегодня это уже не секрет и можно назвать номер моей части: 64325-Б; находилась она в пригороде, за рекой Даугавой, окруженная глухим забором.

Пока мои друзья оформляли документы, пробежал я по Центральной улице. В дневнике у меня написано: «Город мне понравился. Аккуратный. Чистый. Красивый. Жители — народ вежливый и культурный. Культурнее даже, чем у нас в Москве. Уборная у них в одном зданьице вместе с буфетом,

где мы перекусили. Продавцы вежливы и услужливы необычайно, не успеешь подойти, как начинают предлагать, помогают выбрать...»

Это было в канун нового, 54-го года. А сам Новый год, помню, встречал необычно: без друзей, в ленкомнате, играла радиола, а я сидел и писал друзьям грустные письма. Оттого, наверное, что было одиноко, почему-то вспомнился и прошлый Новый год, когда 31 числа заставили меня выступать в Доме офицеров, это было еще в Саратове, а в перерыве даже не подпустили к буфету взять бутылку воды... И только из-за того, что рядовым это не полагается.

Надо бы наплевать на этот Дом и на буфет и уйти, что я и сделал, но сделал-то после того, как повеселил «господ офицеров». Они даже мне поаплодировали, а потом взашей...

— Двигай, двигай, рядовой, тут тебе не место! Твое место в казарме! Там из-под крана и попьешь!

Бродя впервые по Риге, накупил открыток, много, их почему-то в большом количестве тогда продавали во всех киосках. Стоили они совсем недорого и были мне по карману. Я на радостях накупил их с полсотни, если не больше. Эти открытки я запаковывал, сидя в ленкомнате в ночь на новый 54 год (благо спать не гнали!), по пять штук в конверт и адресовал друзьям. Особенно открытки потрясли руководительницу нашего драмкружка Марию Федоровну, она рассказывала потом, что получала несколько дней подряд конверт за конвертом, ее не столько потрясла Рига, сколько обилие открыток!

Где-то в марте впервые удалось снова вырваться в город, и направились мы — Башкатов, Титкин, Фалалеев и я — по адресу одной из «заочниц», этот адрес кто-то нам подарил при отъезде из Саратова.

«Заочницы» дома не оказалось, но в том же доме мы неожиданно для себя познакомились с семьей бывшего военного по имени Петр Стефанович, у которого оказалась прехорошенькая, как тогда показалось, дочка Алла, а у Аллы подруга Марина.

На столе, как у нас в России, объявилась закуска. А мы скинулись, сбегали за поллитрой, и началось общение. В чужом городе, даже таком прекрасном, как Рига, мы ощущали

себя еще чужаками. А тут оживели, повеселели, расковались, чувствовали себя почти как дома.

Башкатов, самолюбивый, нервный, мнительный, и тот развязался и сразу всем понравился. Его стали звать просто Валечка... Маленький, юркий Титкин вертелся юлой, проносил озорные тосты и был на высоте, усатый красавец Фалалеев был боек, громок и крутил свои гвардейские усы, чтобы понравиться дамам. И он нравился им. Начались танцы, и даже появившаяся некстати «заочница» уже не могла нас увлечь и быстро слиняла.

Пока ребята ухаживали за девчонками, мы по-свойски побеседовали за рюмкой с самим хозяином Петром Стефановичем. Подвыпив и чуть захмелев, даже лицо покраснелось, он разоткровенничался и стал рассказывать о давних своих молодых годах: как в тридцать девятом и сороковом входил он с Красной армией сюда, в Прибалтику, по просьбе ихних коммунистов, и как эта страна их поперву всех потрясла, наверное потому, что они впервые увидели буржуйскую границу.

Офицерские жены, ошалев от обилия в магазинах, бросились, конечно, покупать, напихивали в чемоданы тряпье, красивое тряпье, ничего не скажешь, особенно женское белье, которого мы сроду не видывали, и отсылали скорей на родину, где царила в ту пору, впрочем, как и в другие поры, обычная наша российская бедность.

Ну, а у них, то есть у военных, дел было поболее: выявить всех тайных врагов, а любой латыш и есть тайный враг, и «оформить» прямым плацкартой в Сибирь...

Так Петр Стефанович шутил.

Плацкартой для прибалтов, конечно, служили товарняки.

Да я сам, попав в Братск в конце пятидесятых, еще встречал бывших эков-латышей, отсидевших в ГУЛАГе сроки и оставшихся здесь жить... А где-то в низовьях Ангары, прямо в тайге, мне попадались странные кладбища, одно из них запомнилось, в Нижней Мызе: прямые кресты из лиственяков (лиственяк — дерево вечное!) с вырезанными именами: сплошь литовские имена... Годы рождения разные, а смерти — до 53-го года.

Но это позже, а в момент моей службы я этого всего знать не мог и потому особенно горячо внимал моему стар-

шему другу Петру Стефановичу, я слушал его, как говорят, с открытым ртом и очень верил ему. Стало понятней, что вся эта заграничная красота, в которую мы попали, одна видимость, а на самом деле мы тут прилично влипли, потому что все кругом сплошь скрытые враги: шпионы и диверсанты.

— А коммунисты? — спрашивал я недоуменно.

— И коммунисты... Все! Все! — кричал хозяин. — Я бы их всех пострелял... Им верить нельзя! Они все до поры за-таились, их всех надо побыстрей в Сибирь.

— Но разве коммунисты враги? — переспрашивал я и никак не мог взять в толк, что коммунисты здесь тоже могут быть врагами.

— Вот ты по Риге ходил... Они тебе улицу хоть раз правильно указали? — спросил в упор Петр Стефанович. Глаза у него, и так чуть навывкате, стали бычьими, покраснели.

— Да, — отвечал я. — Когда я нашу часть искал.

— Ну, это, наверное, из русских, как я. А обязательно латыш укажет в обратную сторону...

— Зачем? — удивился я.

— Да из-за вредности своей, потому что он нас ненавидит!

— А почему он нас ненавидит? — удивлялся, даже возмущался я. — За что меня ненавидеть?

— За то, что ты русский! А он буржуй не-до-би-тый, вот и ненавидит... Да ты сам скоро поймешь... Вот, моя дочка, — он кивнул в сторону Аллы, которая кокетничала сразу и с Башкатовым, и с Титкиным. — Она чуть не из-под палки идет в школу... Не хочет она с латышами... Ну зачем ей изучать, скажи, их вражий язык!

Тут он совсем раскис, полез, почти как к родному, целоваться и повторял слова: «Солдат, будь бдительным! Ты в тылу врага!»

Помню, возвращались домой такие радостные, счастливые от везухи, что удалось погостить и даже выпить в первую же увольнительную, да еще закадрить девочек! Мы всю дорогу лишь хохотали да скалили зубы... Нас латышские враги не интересовали. Нас девчонки интересовали: Аллочка и Мариночка! С которыми мы, конечно, встретимся... И погуляем... Назло врагам!

Здесь я хочу врезать одно письмо, его подарил мне добрый мой знакомый, доктор исторических наук Федоров Георгий Борисович. Он автор более 250 научных трудов, но он и писатель.

Письмо же такое, даю фрагменты:

«Я обращаюсь к Вам... Федоров Г.Б., бывший солдат 667-го стрелкового полка 185-ой стрелковой дивизии, в 1940–1941 годах принимавший участие в оккупации Литвы.

Перед переходом границы наши политруки внушали нам, что мы увидим в Литве все ужасы капиталистического рабства, нищее крестьянство, нещадно эксплуатируемых, шатающихся от голода рабочих и жиреющую за их счет кучку богачей.

Мы увидели цветущую изобильную страну, хутора и села, полные всех видов плодов земных, города со множеством магазинов, ломящихся от всевозможных продуктов и промтоваров, по таким низким ценам, которые и не снились нам в России. Рабочий в Литве получал почти в 10 раз большую зарплату, если брать сопоставимые цены.

Наши власти, проходимцы и преступники всех мастей, разграбили Литву. Многие священники были расстреляны, десятки тысяч ни в чем не повинных людей — арестованы, обречены на то, чтобы гнить в тюрьмах и концлагерях. Палачи, которые тогда, словно в насмешку, назывались сотрудниками Народного комиссариата внутренних дел, принесшие неисчислимыя беды самой России, особенно зверствовали в трех захваченных, до того процветавших прибалтийских государствах, в частности в Литве. А мы — солдаты называемой тогда Красной армии — своими штыками прикрывали этот разгул грабежа, насилий, убийств, издевательски называемых якобы проявлением воли литовского народа.

Тяжкий грех лежит на нас всех — солдатах оккупационной армии, осуществивших в 1940 году захват Литвы, Латвии и Эстонии. Тяжкий грех лежит на мне лично. С тех пор неустанным покаянием, всеми доступными мне средствами, пытаюсь я искупить или хотя бы уменьшить свою вину...»

(Это письмо Георгий Федоров написал 13 января и прочел по радио.)

...Развеселые, помню, возвращались в свою часть.

Несколько раз, и правда, мы еще заходили в гостеприимное семейство Петра Стефановича, но потом как-то охладели, может, оттого, что появились другие знакомые, правда, опять русские, латышей мы после таких разговоров все-таки стали опасаться.

Тем более что в части, хоть не так открыто, но говорилось о том же самом: кругом много врагов, и надо быть осторожнее... Особенную осторожность следовало проявлять в случайных разных там знакомствах с девушками... Имелись в виду, наверное, латышки. Но и русским девицам с улицы, как внушалось, не следовало особенно доверять. Были якобы уже случаи, когда они подпаивали солдат, а потом выведывали всякие нужные для врагов сведения о расположении части, о ее боеспособности, составе, количестве и о чем-то еще, очень важном для американцев.

Впрочем, беседы о бдительности в большей или меньшей степени сопровождали нас и на гражданке, ведь и там повсюду, кто помнит, висели тогда плакаты: «Не болтай у телефона, болтун — находка для шпиона!» И остальные в том же духе.

Но здесь, в Прибалтике, все приобретало иной смысл, как нам казалось, почти реальный.

А у меня по весне, в сберкассе, куда я пришел положить пятьдесят рублей, первый мой гонорар за стихи, опубликованные в окружной военной газете, это неподалеку от части, возникла особенная симпатия с девушкой, которую звали странным именем Вия.

Помню, я удивился и переспросил:

— Это ваше имя?

Она тоже удивилась, но моему вопросу, и сказала:

— Да. Это латышское имя, и так меня зовут... В паспорте написано: «Вийте».

— Значит... вы — латышка?

— Конечно. А вам не нравится, что я латышка?

Я не знал, как ей сказать, что она мне нравится, даже очень, но я боюсь, что она тоже из этих... Которые нас не любят... Тем более что она перед этим поинтересовалась, где я служу, и как бы намекнула, что она живет неподалеку от части и ей удобно со мной встречаться.

И это тоже было подозрительно, что она была такой ко мне внимательной. Может, ей поручили?

— Давайте я вас буду звать Вале́й? — попросил я.

— Зовите, — разрешила она. И приятно улыбнулась.

Путь мой, обычный, в увольнительную, проходил мимо кассы, и я, почти против своей воли, заходил сюда, чтобы поздороваться с Вией, она же Валя, настолько она мне нравилась, темненькая, стройная, красиво одетая. Наши русские девушки так красиво тогда не одевались. Я даже рискнул однажды назначить ей свидание у кинотеатра, а сам не пришел...

Испугался. А вдруг все-таки шпионка.

А между тем наступила весна и лето.

В дневнике я написал так:

«Весна в Риге наступила поздняя. До 5 мая совершенно не было зелени. Потом неожиданная жара и буквально в пять дней Рига перешла на «летнюю форму одежды». Прямо-таки зеленая буря...

Когда я приехал в часть, мне показалось здесь пусто-ва-то, и вдруг я увидел, что мы живем в саду. Откроешь окно, и в казарму вливаются всевозможные ароматы черемухи, вишни, яблони и т. д. Красиво цветет каштан, я его прежде не видел, большие бело-розовые цветы будто свечи...

Весь город расцвел, стал нарядным.

В витринах центрального магазина, который здесь называют «Особторгом», выставлена интересная реклама: огромный слон, прямо как настоящий, поднимает хобот и берет с полочки поочередно чай, сахар и прочее и подносит к стеклу, демонстрируя все это любопытной публике...

На соседней витрине — две льдины, на одной сидит морж, а на другой — белый медведь. Белый медведь держит в лапах стаканчик мороженого, размером с ведерко, и время от времени подносит его ко рту, лижет, высовывая полуметровый красный язык и закрывая от удовольствия глаза. А морж в это время топорщит вверх усы и завистливо косит большими красными глазами в сторону медведя.

А я часами, как ребенок, торчу у витрины, по воскресеньям вырвавшись в увольнение, и кошусь на них обоих, и думаю, что морж до некоторой степени ротозей, уж я бы угостился у медведя...»

Когда проходил по старой Риге в эти баррикадные дни, отчего-то вспоминал о днях моей службы, хотя давно нет на витрине центрального ныне универмага прекрасных, насколько теперь понимаю, тоже оставшихся от «буржуйской заграницы», игрушек.

Но зато недавно почти таких же я увидел в витринах одного из магазинов в Стокгольме: веселые энергичные гномы в красных колпаках суетились вокруг рождественского стола... И я снова, хоть времени, как всегда за границей, не было, проторчал у витрины битый час...

Рассказываю, понятно, не для того, чтобы сравнивать Латвию со Швецией. Я сравниваю Латвию моей юности с этой нынешней Латвией и Ригой...

Сейчас же в витрине всякие призывы, плакаты, есть такие:

«СОЛДАТ, ТЫ ЧЕЛОВЕК ИЛИ УБИЙЦА?»

Как бы я, тот бывший солдатик, принял это ко мне обращение?

Ей-богу, не знаю. Но не так, как сейчас, это ясно.

Из части вырваться нелегко. Тот, кто служил, меня поймет. Но бывают и праздники: на Первое мая я стою в оцеплении во время демонстрации, здесь вот, недалеко от памятника Свободе. И хоть инструкции даны довольно жесткие и наши железные командиры безотступно за нашей спиной, и те же бронемшины и другая техника, но это еще не те демонстрации, на которые люди выходят для протеста, и никаких опасений, никаких неприятностей у нас не возникает. Наоборот. Мы задерживаем каких-то девчонок, пытающихся прорваться сквозь цепь (им куда-то нужно!), и пытаемся их закадрить, и так, довольно безобидно и даже весело, проходит наш Первомай.

И еще праздник, уже для души. Нам с ротным писарем Петровым велят съездить в Тукумс на аэродром и отвезти почту в роту, которая выехала туда еще ранее на полевые учения.

А наши учения — это перевозные аэродромные радиостанции связи. В роте я провожу занятия по радиотехнике, локации и тому подобное.

Писарь Петров ловкий парень, только чуть глуповат. Но зато у него красивый почерк, такие люди здесь в цене.

Упитан — как тут выражаются, отъел ряшку на казенных харчах. В жизни озабочен лишь своей внешностью и поэтому каждую свободную минутку разглядывает себя в зеркальце. А зеркальце он носит в нагрудном кармашке гимнастерки. Еще известно, что он страстно любит танцы и кепки в крапинку. Ни то ни другое ему в ближайший год не светит.

Он хорошо подражает начальству и тоном капитана Бружинского, этакого напыщенного гусака и полного идиота, произносит:

— Вы опять, Приставкин, игру пишете?

«Игра» эта — почтовая, невесть кем придуманная, и заключается в том, что ты отсылаешь по каким-то адресам несколько открыток, а взамен можешь получить их сразу несколько тысяч... В армии к письмам отношение особое, их очень хочется получать. Да и открытки получать красивые кто же откажется!

В общем, я включился в игру, и все бы ничего, но пришла какая-то кляуза в штаб полка от бдительного полковника-отставника из Киева, где он написал, что мы своей игрой, я даже запомнил фразу, «играем на пользу империалистической разведки, которая по нашим адресам способна узнать расположения воинских частей... И не с этой ли целью такая странная игра вообще придумана?»

Меня вызвали в штаб, проработали, взяли слово, что я никому и никогда писем больше в этой игре писать не буду. Но на всякий случай капитану Бружинскому вменили в обязанность проверять, что я там пишу... И он, конечно, проверял.

Впрочем, не одного меня, проверяли и других. А рядового Теслина даже чаще. Он за время службы от скуки купил учебник стенографии и довольно быстро овладел ею. Овладел настолько, что все лекции стал писать значками, и это вызвало панику в роте, а потом и в полку.

Его тетради отправили на экспертизу и больше месяца не возвращали, все искали криминал, да так, видно, не нашли.

Тетради после долгих его прошений вернули, но строго приказали писать «обыкновенными» буквами и каждую лекцию проверяли, чего он там и какими знаками написал.

Тот же Бружинский, громко сопя, копался в его конспектах и если натыкался на незнакомую букву, а грамоты он сам был невеликой, начинал «брузжать» и грозился доложить в штаб.

Вторая приговорка писаря Петрова такая: «Товарищ Приставкин, за вами и я, товарищ Приставкин, возьмите меня!»

На этот раз я и правда беру Петрова с собой в Тукумс.

Нам выдали командировочные, увольнительные, деньги: по девять рублей на билеты... Нынче это было бы девяносто копеек..

Взяв два чемодана с бельем, почту, газеты, мы двинулись на вокзал и через три часа были в Тукумсе.

От станции на попутной машине добрались до аэродрома, наш взвод размещался в палатках. Ребята играли в волейбол, но, завидев нас, бросили игру и побежали навстречу.

— Доблестным войскам Прибалтийского воздушного флота от имени командования... — в шутку прокричал Петров, но его не слушали, расхватывали почту, выспрашивали о новостях в мире.

Обращались в основном ко мне. Писарей почитая — и законно почитая — за нахлебников, солдаты обычно не уважают. И обычно не скрывают этого.

Ночевали мы в палатке, на свежем воздухе, и только жужжали комары, да изредка, не очень часто, прямо по головам, так казалось, проносились, видимо, на взлете, реактивные истребители.

Я потом для интереса сходил посмотрел на самолеты, все-таки работал на аэродроме в Жуковском...

Истребительный полк — в основном современные Миги, призванные охранять морскую границу. В роте рассказали, что американские разведывательные самолеты нарушают эту границу по ночам, и вот недавно сбили ихний самолет, а в газетах пропечатали так: «Удалился в сторону моря»...

Меня поразили взлетная полоса и рулежная дорожка, сделанная не как у нас, в Жуковском, из бетона, а из плоских металлических пластин, уложенных в ряд.

Загорая в траве на опушке леса, мы с Петровым наблюдали за самолетами, которые отрабатывали заход на цель, а потом пикировали с большой высоты и стреляли... Мишень

была где-то за лесом. А вот стрельбу было слышно хорошо. И даже видно: вспышки огоньков...

Перед отъездом мы поднялись от станции в горку и посмотрели Тукумс, увидели баню, родильный дом, базарную площадь и новую четырехэтажную школу... (так и записано в дневнике).

Было жарко. Мы напились из колонки воды и купили для забавы два детских сахарных петушка на палочке... Так, развлекаясь, не заметили, как попали на старое латышское кладбище, очень зеленое, похожее на сад.

Петров пытался прочесть надпись, не смог и выругался:

— Дохлые латыши! — сказал он. — Пошли отсюда.

— Они тебе что, мешают?

— Конечно, мешают... Они мне портят настроение.

— Так не смотри. Жри своих петушков и думай о танцах!

— Они мне вообще мешают, — заявил он капризно.

— Где? В Тукумсе?

— И в Тукумсе... И в Риге...

— Не смотри, — предложил я, разозлившись.

— А куда я денусь?

— А куда они денутся?

— Но лучше я, чем они! — И он, довольный, захохотал своей шутке.

Так мы с ним поцапались, но ненадолго.

На обратном пути мы сошли на неведомой станции Будури и искупались, вот такой был у нас праздник. Я до той поры моря не видел. А тут сошли с поезда и за барханами, за кривыми соснами открылось оно — очень синее, в белых гребешках волн. «Оно, — как написал я в дневнике, — шумело». Этот шум меня почему-то тогда больше всего поразил.

Я целую страницу исписал, пытаюсь рассказать, какая же это красота, когда видишь море.

«Навстречу подул свежий сырой ветер. Вдоль берега тянулась полоска песка, шириной в сто метров, а дальше стена сосен. Сосны полукругом огибали побережье, и было такое впечатление, что они кочевали толпой, но вышли сюда и увидели вдруг море и замерли на пригорке, онемев от открывшегося им величия и красоты...»

Наивно. Но так я все тогда увидел.

Загорающих было много, но почти никто не купался. То есть мы увидели одного дядьку, но скоро поняли, что этот единственный купальщик пьян. «Вода была холодная и соленая». Полезли купаться мы, конечно, из принципа, чтобы потом говорить, что мы купались в море. Да и интересно было прикоснуться к нему, попробовать на ощупь и на язык.

— Вам тут письмо.

Открываю. Статья из какой-то газеты. «Слепой сказал: «посмотрим»! О выступлении писателя А. Приставкина по латвийскому телевидению».

Статья огромная, есть там и такие слова: «Прозорливости у господина писателя что-то не заметно, а его видение сложившейся ситуации оригинальностью не отличается — сильно смахивает на знакомые установки рьяных сепаратистов...»

И еще: «Но у Приставкина, который целиком на стороне сепаратистов националистического толка, это не призыв к миру и согласию, а к покорности и смирению...»

Далее в том же тоне. Подпись: Б. Федоров.

Пытаюсь понять, что же за газета, на обратной стороне письмо с презрением Ельцину, с похвалой лидеру Интерфронта Алексееву, призыв поддержать на выборах полковника Полякова...

Ясно, что газета Интерфронта. А может быть, и военных.

Обнаруживаю на полях надпись, сделанную от руки:

«Сукин ты сын, «господин» Приставкин!

Товарищи тебе волки серые в лесу!»

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

(По мотивам дневника)

Однажды меня вызвали в штаб к замполиту:

— Самодеятельностью занимались?

— Занимался.

— Чего же молчите!

— А меня никто не спрашивал.

— В армии не спрашивают. В армии отвечают. Так вот, пора начинать!

— Что начинать?

— Ну, всякое там... Вы чего умеете? Петь? Играть?

— Да.

— И танцуете, говорят?

— И танцую.

— И стихи сочиняете?

— И стихи.

— Вот и начинайте... Скоро смотр!

— Это что — приказ? — спросил я.

— Это совет, — сказал замполит. И напомнил: — А совет начальника — закон для подчиненных!

Я зашел к писарю Петрову и попросил написать такое объявление:

«КТО ЖЕЛАЕТ УЧАСТВОВАТЬ В САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ЧИТАТЬ, ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ,

ПРОСИМ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ШТАБЕ.

(УЧАСТНИКИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАРЯДОВ!)»

Последнее я приписал, чтобы был, как говорят, стимул.

Тяжко было с хором, его в приказном порядке пригнал сам командир роты. Солдат выстроили и заставили петь. Как объяснил ухмыляющийся Петров (заглянув на себя в зеркало), в «добровольно-принудительном порядке».

Ребята, стараясь изо всех сил, грянули строевую: «Эх, Россия, да русская земля, родные березки и поля, как дорога ты для солдата, родная русская земля...» — и так далее.

Выглянул из своей каптерки, заслышав этот рев, украинец-старшина и махнул рукой:

— От орут... Страшно слушать! Да собери моих земляков, мы впятером споем лучше!

Позвали Пислю, других украинцев, зазвучало. Я даже песню для них сочинил, начиналась она так:

*Ох, погоны, вы погоны, ох, пилотка со звездой,
Полюбил меня, девчонку, авиатор молодой,
А вот этою весною вдруг, откуда ни возьмись,
Познакомился со мною привлекательный танкист...*

Ну, и далее она из двоих выбирает.. И не поймет, кто лучше. И в конце мучается... «Не танкист ли угомонный, авиатор молодой? Ох, погоны, вы погоны! Ох, пилотка со звездой!»

Потом я сочинил конференс и стихи для вступления.

Замполит зашел, послушал и сказал:

— Ничего. Продолжайте.

— А что продолжать? А это... Не пойдет?

— Пойдет, но... Чего-то не хватает.

— Чего... не хватает?

— Классовой борьбы мало.

— Борьбы... С кем?

— Я вообще говорю. Вот, скажем, пьесу бы написать...

— Пьесу? О чем? — спросил я ошарашенно. До пьесы я в своем творчестве не додумался.

Политрук мечтательно произнес:

— Об американцах... Как они негров линчуют...

Пьес я никогда не писал, но понимал, что если прикажут, напишу. Да по сути это и был совет, а значит, приказ... И тема задана...

У нас в раменском литобъединении про Америку наши рабочие парни писали такие стихи: «Идет миллионер по Нью-Йорку, покуривая махорку»... И ничего, сходило.

Я засел в ленкомнате и через два дня выдал пьесу под названием «Друзья и враги». О том, что это название из Симонова, я, разумеется, не знал. Из содержания пьесы можно было понять, что друзья — это мы, то есть советские солдаты, а враги — империалисты, от которых мы охраняем границу и мир во всем мире.

Замполит забрал пьесу домой, а наутро без особого энтузиазма высказал свое мнение, что написано в целом грамотно, но он, на всякий случай, передал пьесу в политуправление, они выскажут свои критические замечания в ближайшие дни.

Примерно через неделю меня вызвали в штаб и велели идти в Дом офицеров: «Там вас разбирать будут».

Сказали именно так, будто речь шла о наказании.

В комнате начальника Дома сидели два офицера: майор и подполковник. Они поздоровались со мной кивком головы и долго меня рассматривали. Сесть они не предложили, и я перед ними стоял как на параде.

— Пуговку верхнюю застегните, — наконец произнес подполковник.

Он взял в руки мою пьесу, заглянул на первую страницу и спросил в упор:

— У кого списал?

Я удивился вопросу и ответил так же коротко:

— Ни у кого.

Он помолчал, разглядывая меня.

— А вы когда-нибудь пьесы писали?

— Нет, — опять ответил я.

Снова пауза, после которой он посоветовал:

— И не пишите.

— Почему? — спросил я.

Он удивился моему нахальству, даже слов не нашел, чтобы ответить. За него сказал майор:

— Но вы же не умеете писать.

— Почему? — опять спросил я.

Их, кажется, стало злить мое упрямство. Майор выхватил у подполковника рукопись, открыл страницу и сказал:

— Тут у вас солдат в госпитале... Ему дают лекарство, а он его выливает в цветок... Это нормально?

— Но он же в шутку.

— Какая же это шутка?

— Ну конечно, шутка, — защищался я. — Он же там говорит... пусть цветок выздоравливает... Ему даже полезней...

— Вот-вот! — воскликнул обиженно подполковник. — Это ярко выраженное издевательство над военными врачами!

— Но герой-то у меня здоров, — напомнил я. — Он случайно в госпиталь попадает. Ему и лекарства-то не нужны.

— Начальству видней, что ему нужно. Не вам его учить.

Они говорили так, будто разговор шел не о пьесе, а о моем собственном поведении в госпитале.

Но так оно, пожалуй, и было. Я взялся писать об армии и уже поэтому был виноват. Они и собрались тут, в кабинете начальника Дома, чтобы как следует мне это внушить.

— А вы подумали, — заметил строго майор, — если все солдаты в шутку станут выливать лекарства в цветки, что у нас будет с армией? Мы их лечим, восстанавливаем их боеспособность, а они, значит, будут шутить над своим здоровьем? И вы еще считаете это нормальным?

Вот так минут десять они доказывали мне, что мой образ мышления, отраженный в моей пьесе, не соответствует уставу, а потом вдруг решили:

— Ладно, пишите... Но пишите так, чтобы ваши герои солдаты поменьше бы шутили, а побольше думали о воинской службе... Об уставе... О воинском долге... Патриотическое воздействие должно быть!

Подполковник добавил благодушной:

— А если нужна лирика там какая-то, пусть они поговорят о доме, как их там невеста ждет...

— Вот! — воскликнул майор. — Она ему письма пишет, а сама посещает его престарелую маму и носит ей лекарства, когда мама заболит...

— Но он же детдомовец, — напомнил я. — У него нет мамы.

— Ну, тетка. В общем, придумайте. И приносите. Мы прочтем.

Последнее было сказано уже стоя и не без скрытой угрозы.

Я решил больше не искушать судьбу и писать не стал. Я поехал еще раз в Дом офицеров, перелопатил всякие поступающие методические книжки, журналы и нашел то, что надо.

Попалась какая-то пьеса Синельника «Встреча». Из жизни американских безработных. Там, значит, безработный рабочий встречает голодающего мальчика Тодди, который разбил витрину магазина из богемского стекла и украл кусок хлеба... Они оба прячутся, но их разыскивает грозный полицейский.

Собрали солдат, зачитали, пьеса им понравилась. Возникло два вопроса: что такое богемское стекло и кто будет играть голодающего мальчика по имени Тодди?

Долго ломали голову, пока кто-то не вспомнил про Соломатина из второго взвода, который был там самым маленьким и в строю стоял последним.

Привели Соломатина, дали роль, и он сразу заиграл. Оказалось, что у себя в Иванове он участвовал во всяких школьных спектаклях... Только выговор, к несчастью, был у него окающий, как у всех волжан, вряд ли американские дети так окают. Его потом замполит, в целом довольный игрой, так и стал называть на политзанятиях: «Тодди из Иванова».

Но «классовости», как он выразился, в пьесе было все-таки маловато.

И я в поисках этой самой «классовости» расширил пьесу до целой инсценировки, которую громко назвал: «Америка — сегодня».

Там, значит, выходит декламатор и читает такие стихи:

*Если глаз твой врага не видит,
Пыл твой выпили нэп и торг,
Если ты устал ненавидеть,
Приезжай сюда, в Нью-Йорк!*

Конечно, Маяковский писал про «нэп» и «торг» не для солдат, но все равно это звучало. Тем более что читал это я как можно злее.

А второй чтец тут же подхватывал:

*...Вот в темных тоннелях я вижу забитых
Голодных людей на заплыванных плитах,*

*Даны им Америкой счастья высоты:
Они все свободны... Но лишь от работы!
Их тысячи бродят сегодня без места,
Но кто же услышит их голос протеста,
не Эйзенхауэр же встанет за бедных стеной?
За лучшую долю народную ратуя...
Стоит, повернувшись к народу спиной,
К параду свободы нью-йоркская статуя!*

Сразу после них возникал на пустынной темной сцене мой безработный... И шла какая-то грустная мелодия. (Наш ротный импровизированный оркестр: баян и мандолина.)

Мелодия вдруг сменялась диким джазом (тут силенок у баяна не хватало, и кто-то громко стучал в металлическую тарелку), и выскакивал на сцену негр, под него мы «раскрасили» худенького солдата из третьего взвода Фастовского, по национальности еврея. За евреем Фастовским, который негр, гонится разъяренная толпа, и появляются в страшных колпаках куклуксклановцы, такими мы их видели в пьесе Билль-Белоцерковского «Вокруг ринга».

Ну а поскольку шинели-то на них были наши, советские, мы по просьбе того же замполита пуговицы на шинелях завернули в тряпочки, а то уж совсем дикость получается: куклуксклановцы в советских пуговицах со звездой!

Хотя вот сейчас размышляя, я подумал, что советские звезды — это было бы то, что надо. А какие же еще пуговицы были у тех солдат, которые стреляли в Вильнюсе? А потом и в Риге?

Их главарь, которого играл опять же я, страшным голосом зачитывает клятву: «Ко всем духам, драконам, гидрам, великим лешим, домовым (и так далее) — Гурий!»

Все солдаты, которые теперь куклуксклановцы, за мной дружно повторяют:

— Гурий.

— Негры обнаглели! — кричу я. — Негры становятся опасными!

— Бей негров! — вторит кто-то.

И тут мы вдохновенно кричим:

— Линч! Линч! Линч!

Помню, замполит этой сцене придавал особое значение и просил ее сыграть понатуральнее, чтобы зритель понял, какие они там все гады, эти американцы.

— Как вы полагаете, кто линчует негра? — спросил он.

— Мы линчуем, — ответили дружно артисты-солдаты.

— Вы, вы... Но я не об этом! А вот кто расправляется с Фастовским? Ну, там, у них?

— А разве они с Фастовским расправляются?

— С негром! С негром, конечно! Ну, кто?

— Кто? — спросили мы.

— Обыкновенные белые люди, вот как эти... латыши... — сказал замполит. — Они потому и скрываются под масками, что они в жизни скрывают свою звериную сущность.

— Кто? Латыши?

— Ну, я же к примеру, — сказал замполит. — Они все друга стоят! И готовы нашего Фастовского размазать по стенке... — Но он тут же поправился: — Негра, негра... Вот что нужно отразить на сцене: это их моральный звериный облик... Понятно?

— По-нят-но! — воскликнули мы. И правда, пример с латышами сразу показал нам въяве, как мы должны играть.

В общем, постановка наша прошла с большим успехом. Мы даже заняли призовое место, первое место по Прибалтийскому военному округу.

Во время спектакля в зале присутствовали и два моих критика: майор и подполковник, я так понял, что они были специалистами во всех видах искусства. А меня лично даже наградили. Вызвали в штаб и предложили на выбор: сняться у знамени полка или... Или — десятидневный отпуск домой.

Второе как бы добавили, но считали необязательным, подразумевалось, что солдат должен выбрать только первое. Это было бы понятно и одобрено начальством.

Но я, недолго раздумывая, заявил, что хотел бы поехать в отпуск, потому что получил из литературного института подтверждение, что я со стихами прошел творческий конкурс и меня приглашают в Москву на экзамены.

Я не врал, я и правда послал стихи, и мне прислали вызов на экзамены, подписанный ответственным секретарем приемной комиссии Бондаревой.

Начальник штаба майор Мейчик лишь хмыкнул, когда я упомянул про стихи:

— Все это, ефрейтор Приставкин, шито белыми нитками... Но, как говорят, заслужили — езжайте! Но если опоздаете из отпуска, посажу. Вот там и правда времени для стихов будет у вас сколько угодно. Понятно?

Я кивнул.

— Тогда ступайте и оформляйтесь.

В дневнике написано так: «В пятницу 6 августа окончательно оформил свои документы, зашел к Вие, она же Валя, чтобы снять деньги на дорогу.

— Уезжаете? — спросила она, как показалось мне, с жалостью.

— Я еще вернусь.

— Я буду ждать, — вдруг сказала она. — Я скоро получаю жилье, буду жить одна. Приезжайте...

— Приеду. Правда.

— Все вы так говорите, а потом забываете.

— Нет, я не забуду».

Утром я поднялся в три часа, чтобы достать билет на московский поезд. Я шел по Слокас, широкой и пустынной улице, было темно. Обогнала какая-то машина, я поднял руку и не очень-то огорчился, что она не остановилась... Я рассчитывал на главный мой транспорт: мои ноги. А вообще, мы предпочитали ездить по Риге на трамвае. «Пилсони, лудзу санемт билета!» — я по-латышски знаю уже наизусть: «Граждане, пожалуйста, возьмите билет!»

Солдаты обычно билетов не брали.

Кстати, недавно, когда проскакивал по этим забаррикадированным улицам, на «Волге» с Сильвией и Рудольфом направляясь в телецентр, я особенно пристально рассматривал дорогу и даже спросил у хозяев, существует ли та самая воинская часть, где я служил.

— Кажется, существует, — сказали они. — Но это чуть в стороне.

Так я и шагал той ночью, вдохновленный отпуском домой. И домой, и в институт — я мечтал о нем еще с гражданки.

Не беда, что идти долго, зато я вслух могу почитать свои стихи. У меня в дневнике записана целая программа о своем

творчестве: «Показать внутренний мир солдата, его любовь к Родине, к партии, патриотизм, широкую русскую душу... На фоне боевой части».

Одновременно там была и другая программа для самоусовершенствования, звучала она так: «Надо искоренить массу в себе недостатков, прочитать много книг...»

Я даже купил учебник по русской и советской литературе для 10 класса Тимофеева, хотя он мне не понравился. А из газеты я вырезал письмо Чехова к брату и выучил его наизусть. Начинается оно так: «Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям: 1. Они уважают человеческую личность...» И т. д.

Вот так я и дошел до реки, на посветлевшем небе обозначились шпили и башни старой Риги. Вода в Даугаве поглубела, наполнилась краснотой, золотыми столбцами отражались лампочки, висящие над мостом.

По мосту я вышел на набережную, свернул на привокзальную площадь. Тут уже у воинской кассы занял очередь и через три часа получил билет.

Вскоре приехал писарь Петров, привез мой краснофибровый, купленный по случаю, чемодан. Мы успели зайти в буфет и выпить большую бутылку вермута, закусили яблоками, у вагона распрощались.

Петров повторил свою любимую остроту: «Товарищ Приставкин, за вами и я, товарищ Приставкин, возьмите меня!»

Мы посмеялись. Но веселого было у нас лишь то, что я уезжал, и даже, может быть, насовсем, а Петрову предстояли долгие оформления новобранцев, которые прибыли накануне. А прибыли в основном азербайджанцы, армяне, грузины... Кто служил, тот знает, что это такое.

Я спросил Петрова:

— Как салажата?

— Брыкаются, — отвечал он, поглядывая по сторонам. — Обломаются... Мы такими же были...

Накануне моего отъезда я стал свидетелем, как обламывали Петросяна, который не заправил койку, опоздал на утренний осмотр и на политинформацию... В наказание его заставили подметать полы в казарме, а он отказался.

Сержант Писля от злости стал пунцовым, прибежал к командиру роты и стал кричать, что он не может справиться с Петросьяном, пусть его убирают из роты куда угодно.

Вызвали Петросьяна. Он встал в дверях, озираясь, темненький, тощий, какой-то весь взъерошенный — может, он думал, что его собираются, как у нас в пьесе, линчевать?

И правда, натренировавшись на Фастовском, мы теперь знали, как это делается.

— Почему не выполняете приказ? — спросил Бружинский.

Тот молчал.

— Петросьян, я вас спрашиваю!

— Я не могу...

— Почему ты не можешь?

— Я не виноват...

— Ну и что? Вам же приказали? Вам приказали или нет?

Тот молчал.

— Не хочет подметать, будет мыть! — резко сказал Бружинский. — Дайте ему ведро и швабру.

Принесли ведро, и швабру, и тряпку.

— Берите ведро! — приказал Бружинский. — Я кому сказал! Петросьян! Берите ведро!

Петросьян затравленно оглянулся, лицо его дрожало, руки сжимались в кулаки.

Я подумал, что в таком состоянии он может броситься на нас, он же ничего не понимал, что тут происходит.

— А вы постройте взвод, — посоветовал замполит, и он тут вдруг оказался. — Пусть постоят, пока он не помое!

Бружинский оглянулся на советчика и вдруг рывкнул, даже мы вздрогнули:

— Мы не таких обламывали! Дайте ему ведро в руки, и пусть попробует не взять!

Петросьян ведро взял, и так и остался стоять с ведром в руках, его всего трясло.

— Ступайте! И чтобы всю казарму! Всю! — крикнул Бружинский.

Петросьян секунду лишь постоял и бросился с грохочущим ведром к выходу, чуть не сбив в дверях замполита.

Через час, когда я зашел в каптерку за своим новеньким фибровым чемоданом, Петросян уже драил пол, и никого, и меня тоже, он не замечал.

— Петросяна линчевали! — в шутку произнес Петров. — Остальные стали умнее... Половина сразу записалась в санчасть, а другая половина — в футбольную команду.

Проводница погнала меня в вагон, мы попрощались. Я не знал, конечно, как сложатся мои дела в институте, куда я так стремился попасть, но я чувствовал, что уезжаю, может быть, навсегда.

Так оно и получилось.

Мы обнялись, я забрался на свою полку и тут же уснул. Сказались бессонная ночь и выпитое вино.

Проснулся лишь под утро и обнаружил, что меня обокрали.

Старшина, ехавший на нижней полке с развязной девкой, которую он всю дорогу лапал, перед выходом в Великих Луках снял у меня часы и выгреб из нагрудного кармана гимнастерки все деньги, даже мелочь, так что в Москве мне пришлось идти пешком от Рижского до Казанского вокзала. Не было даже полрубля на метро.

ВРАНЬЕ НЕ ВВЕДЕТ В ДОБРО

О лжи в сборнике русских поговорок столько написано, что больше лишь о любви, милосердии да наказании еще.

А есть одна приговорка, которую я частенько повторяю про себя по разному поводу: «С правдой шутить, что с огнем».

Но вот шутят.

Из Москвы по «Кравченко», считай, каждый день такие шуточки, теперь Ленинград в лице Невзорова присоединился. Правда, и тут не без совета из Москвы: сам Верховный Совет рекомендовал смотреть населению ту ложь, которую испек Невзоров.

На экране герои-десантники, они охраняют захваченный ими вильнюсский телецентр. Естественно, у них танки, бэтээры и другая военная техника. Но это они, оказывается, стали жертвой той страшной трагической ночи, ибо это их преследовали: толкали, плевали на них, даже в них стреляли, хотя убитых и раненых среди них нет.

Зато убийцы стали вдруг героями. Особенно это впечатляет, когда параллельно тут же по телевидению показывают (не из Москвы, разумеется!) похороны их жертв...

Невзоров спрашивает этих храбрых ребят: что они тут делают? Оказывается, они охраняют телебашню, которую они захватили. «А зачем?» — спрашивает Невзоров невинно. Он и правда не знает, зачем же они ее захватили. «А там, — простодушно отвечают милые парни-десантники, — эта аппаратура, по которой они... не то говорили... Ну, клевету там разную... на нас... на наш, на советский строй!»

«Они» — литовские, судя по всему, журналисты.

«Аппаратура» — то, что принадлежало республике, имуществом зовется, за кражу которого карают во всем мире тюрьмой. Его и до сих пор не вернули.

Воспроизвожу по памяти, но за суть разговора ручаюсь. И если после таких призывов к прямой военной цензуре, осуществляемой при помощи бронемашин, как бы вдогонку из Москвы говорится устами самого президента (генерального секретаря — не точней ли?) о субъективности нашей левой печати, которая его никак не устраивает, станет понятней, на кого работают Невзоров и его дружки десантники.

Порубщик у пня ловится.

Кстати, московский телецентр захватывать уже не пришлось, туда без парашюта спустили духовного омовца Кравченко, который и начал новую политику вещания с доброго благословения президента (генерального секретаря?).

Но тот, кто в эти дни был и жил тут, в тихой Балтии, не смог не заметить, что после каждой программы «Время» ситуация (даже на улицах!) резко обострялась, ибо и здешние большевики, и омовцы, и Интерфронт начинали ощущать мощную поддержку (подпитку!) для своего оголтелого противостояния.

Но есть у Невзорова еще сюжет, теперь уже о хороших парнях из ОМОНа, которые, в отличие от других своих дружков, не стали служить литовскому правительству. Их 39 человек, вместе с командиром Болеславом, остались верны... Москве и Горбачеву...

Ну вот, теперь понятно, откуда исходят дестабилизирующие приказы и указания.

По чистоте душевной они называют тех, кого они точно знают. Эти brave ребята в масках держат в захваченном здании оборону, потому что их «приговорили к смерти». Кто приговорил, мы никогда не узнаем. Они напряжены, но они ироничны, эти свойские наши парни, против которых, оказывается, ожесточился весь мир. Они стоят перед своим командиром с оружием в руках, а он, тоже смелый, тоже свойский парень, такой ушастик, наверное, его еще в школе дразнили за его нелепый вид. И девки не гуляли с ним, уродцем... Вот теперь он мстит и им, да и всем остальным тоже, в нем очевидно проявлены черты такого суперчеловека.

А ОМОН — как раз то место, где себя и свои комплексы неполноценности можно вполне реализовать.

Тему ОМОНа я уже затрагивал и, наверное, еще скажу, но потом. Это явление серьезное, и его нужно всерьез исследовать. Сейчас же я о фильме Невзорова, который нам было велено из Центра всем смотреть.

Я полагаю, что Невзорова в его материале привлекал не человек и не характер, что было бы, наверное, даже интересно. Ему важна придуманная им самим ситуация. А ситуация в его кино такая: ребята, сохраняя себе жизнь, держат круговую оборону при помощи броневых машин и автоматов, ибо есть приказ всех их расстрелять, а не брать живьем.

Чей это приказ? Кто, кроме военных, может такой приказ отдать и выполнить?

А если это военные, то есть наша, советская, то бишь язовская, армия, то почему же она своих должна стрелять?

Она-то, скорей всего, и придет, если нужно, к ним на помощь, ибо ворон ворону глаз не выклюет!

Но, возможно, тут я хочу пофантазировать, что ребяташки-то, эти славные омовцы, сильно поразбойничав, теперь побаиваются гражданского населения, скажем, самосуда, хотя, если судить здраво, какой уж там самосуд над человеком с автоматом в руках?

Натворили, видать, ребятки всякого, а теперь не могут высунуться из логова, настолько бабы и детишки их ненавидят?!

Но это я пытаюсь извлечь свою истину из инсценировки Невзорова. У него, понятно, о бабах и детишках ничего нет. Опытной режиссерской рукой он расставляет дружков-омовцев вдоль наружной стены, где, прячась, они ждут нападения. А их командир Болеслав в это время спокойно и чуть устало произносит свой замечательный монолог перед восхищенным Невзоровым. Он говорит так: мы не нападаем, мы защищаем свое право выполнять свой долг так, как мы его понимаем...

Этих ребят можно и пожалеть. Они обмануты. Но они молоды и могут когда-то прозреть, как прозрели «афганцы», которые тоже выполняли «долг»... Мы знаем, какими тяжкими трагедиями, и личными и общественными, это обернулось... Для всех нас, но и для них тоже. Но вот Невзоров-то знает, что он творит. Он лжет. А кто лжет, тот и крадет... По поговорке.

Этика любого, кому доверено СЛОВО (журналиста ли, писателя), не разрушать, а созидать души. Невзоров — разрушитель и тем опасен.

А если говорить о тех омовцах, которые не из «художественной инсценировки», а из жизни, здесь в Латвии нас всех окружающей, статистика последних дней такова: расстреляна в упор грузовая машина на мосту, ранен шофер. Он умрет в больнице. Другой шофер уцелел, но машина взорвана, одно рваное железо, я сам это видел.

Он рассказывал: подъехали на желтом военном газике и в упор из автомата, я лег... Тогда они выскочили, схватили меня, хотели сбросить в воду... Но выпустили, велели убираться, не торчать на мосту.

Ясно, почему он «торчит»: он охраняет этот мост!

И третье нападение, его показали по телевидению: горел рафик, подоженный выстрелами, а ехали в нем старики и дети. Вел машину молодой совсем парень. Они дали очередь из автомата, полетели стекла, были пробиты шины. Парень на ободах дотянул до поворота, чтобы скрыться за углом от выстрелов, это их и спасло. Но пуля пробила бак, «рафик» вспыхнул свечой... Детей, которые лежали на полу, вытаскивали из горящей машины.

Где же был Невзоров, отчего не снял этого геройства своих милых и бойких парней?

МИД республики запросил командование гарнизона о том, где приписан ОМОН, кому же он подчиняется. Оттуда коротко ответили: «Не нам». В дивизии был тот же ответ.

Так кому он реально подчиняется?

Рубиксу, ЦК КПЛ, Центру?

Горбачеву?

Знает ли он, что объявлен настоящий террор гражданскому населению? Что умирают люди, становятся жертвами дети. Я видел лица этих спасенных из горящей машины детей: вот что нужно показывать по Центральному, по ВАШЕМУ, Кравченко, телевидению!

А то ведь опять понаедут Невзоровы или Денисовы и будут говорить о нужности и даже полезности этих славных парней, на которых кто-то тут нападет. Не дети ли из горящей машины?

А вот послушайте, я убежден, что если бы их не ублажали, да не поощряли, да не ласкали по-дружески из Москвы, не было бы — я уверен! — той трагедии, которая разыграется здесь у здания Министерства внутренних дел...

Это все кем-то умело подготавливалось и подводилось к той роковой минуте, когда прозвучали автоматные очереди на улицах в центре Риги...

Сейчас еще пять дней у нас в запасе.

Пять дней, которые могли бы спасти пять жизней.

Звучат призывы из телецентра, но вряд ли они способны прошибить бронежилеты на душах этих ребят.

— Мы вас просим быть милосерднее!

Эти слова произносили, прямо-таки выкрикивали с экрана.

— Мы вас просим!

— Просим! Просим! Просим!

В очень маленькой, но очень «желтой» газетке московских писателей было опубликовано письмо в защиту Невзорова, его подписали сразу 38 писателей. Среди фамилий, кроме Петра Паламарчука, нет ни одной, которую бы я прежде слышал.

Паламарчука я знаю еще по той поре, когда он, никому не ведомый молодой студент, приносил Битову свою прозу, и была там просто замечательная, листа всего на четыре, повесть под названием «Малоярославец, или Венки доносов».

Паламарчук играет видную роль среди окружения Бондарева и Проханова, и то, что именно он выступил в защиту репортера, прославляющего насилие, очень симптоматично.

Ведь слово литератора в особенной цене именно сейчас, когда насилие заполнило этот мир.

«Александр, — написано в письме, — сумев стать выше своих политических пристрастий, подал благородный пример многим из нас, когда речь зашла о народе, о судьбе сотен тысяч «русскоязычных», о молодых ребятах, верных присяге, данной Родине...»

«Держись, Александр Глебович! — просят они Невзорова. — И помни, что тебя поддерживают не триста человек в Москве и столько же в Питере, как ты сказал в прошлую пятницу, а гораздо больше. Поддерживают тебя... и твое право сказать другую правду, какой бы горькой она ни была».

Мой рижский друг прислал записку:

«Мастер! Непосещение моей квартиры я расцениваю как игнорирование русскоязычного населения...» И что-то еще в этом духе.

В гостях у Адольфа Шапиро разговор шел все о тех же проблемах, а о чем еще мы могли сейчас говорить!

Вот дочка уезжает «туда». Он переживает, но не отговаривает. А как можно отговаривать, если она так говорит... «Папа, — говорит, — все, кого ты видел на свадьбе, исчезли... Вокруг меня уже нет друзей...» А когда Адольф это рассказал одному приятелю, тот сказал: «Пусть едет». И добавил при этом: «Только скажи: пусть едет быстрее, а то форточку закроют!»

Оказалось, что Адольф хорошо знает и Пуго, и Рубикса, и тот и другой из бывших комсомольских работников, иногда посещали его театр...

— Комсомольские ребята — это особенные ребята, — сказал я.

Я и правда считаю, что в этих мутантах от большевизма особенно деформировано сознание, выкормыши строя, они обычно служат ему верой и правдой до конца. Трифонов, что ли, про кого-то однажды произнес: железные малыши. Это вот про них. По моральным да культурным качествам и впрямь — малыши, но уж зато — железные!

— Но они разные, — сказал Адольф. — Были на просмотре какого-то спектакля. Пуго поблагодарил и ушел, а Рубикс тут же заявил, что он сделает все, чтобы спектакль не появился!

— Он прямолинейней?

— Ну, может в чем-то и честнее... И он правда все тогда сделал, чтобы спектакль закрыли. А вот Пуго, хоть и поблагодарил и промолчал, но тут же собрал актив и объявил — мол, если кто-то пришлет письма протеста против спектакля, он их поддержит и пойдет навстречу...

— Вон откуда у него милицейские манеры! — воскликнул я.

— Ну, скорей полицейские... Я имею в виду тайную, конечно, полицию... Да он весь гэбэшный от пяток до макушки... А вот Рубикс — он другой... Он упрямый, самолюбивый; если бы с ним по-другому власти обошлись, он не был бы таким, — сказал Адольф. — Да вот и сестра о нем примерно то же самое пишет.

Тут уж я не выдержал.

— А каким не таким? Ну, чуть хуже, чуть лучше, разве имеет значение! Они же люди системы, и она в них внедрена в кожу, в атомы, из которых они состоят..

Но вспомнил я об Адольфе Шапиро по другому поводу.

В эти дни в Рижском молодежном театре произошла премьера пьесы Иосифа Бродского «Демократия». Шапиро тоже сказал свое «СЛОВО» о том, что происходит вокруг.

О пьесе я как-нибудь скажу. Сейчас — об ответственности художника, чье слово может двинуть танки на беззащитных людей, а может эти танки остановить.

В программке театра, которую я сохранил на память, приведены слова Бродского, я хочу их здесь привести.

«Распад империи, как учит история, редко бывает бескровным. История также учит нас, что политические события оттесняют литературу на задний план, оставляя ей роль в лучшем случае свидетельницы, а в худшем — плакальщицы.

Мне думается, однако, что на сегодняшний день, когда в распоряжении литературы оказались весьма эффективные средства коммуникаций и массовой информации, существует определенная возможность вывести литературу из подчиненного истории положения, что следует попытаться навязать истории взгляды на жизнь и общественную организацию, присущие литературе. В частности, я имею в виду свойственную литературе мысль об уникальности всякой человеческой жизни, о бессмысленности любого идеала или принципа, требующего для своего осуществления кровопролития...»

Это и Невзорову, но прежде всего — писателю, ну хотя бы такому, как Паламарчук, и его тридцати семи коллегам!

Но продолжу Бродского:

«Мне представляется, что следует использовать ЛЮБУЮ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ (выделил я. — А. П.) донести до сознания подданных распадающейся ныне империи идею о том, что зрелость общества, как и зрелость отдельного индивидуума, определяется не исторической, но этической необходимостью, провозглашенной не с политической трибуны, но со страниц романа или в ритме стихотворения; что оружие и насилие объединяют людей гораздо менее надежным образом и на более короткий отрезок времени, нежели книга и слово».

СЛОВО

В одном из предисловий Дмитрия Лихачева к «Слову о полку Игореве» я прочел слова о том, что все искусство, в том числе и литература, существует для того, чтобы спасти человека, помочь ему выжить в этом жесточайшем из миров...

Для этого, и лишь для этого, произносится слово. Бродский тут прав. И этим всегда отличалась — особенно, отмечу, отличалась русская — литература. Хотя у нее самой, за всю ее историю, не было такой передышки, чтобы она сама не страдала. Не преследовалась бы, не была угнетена. И всегда была она под особым охранительским полицейским глазом властей, монархии ли, большевиков, стерегущим ее благопристойность, то бишь смиренность, пуще живота своего. А все оттого, что многие смуты на Руси начинались от книг, и сами большевики начинались от книг, и эту свою школу очень даже хорошо усвоили: тут же, как сами стали у власти, взяли под жесткий контроль всю печать, искусство и, само собой, литературу.

Максим Горький в своих «Несвоевременных мыслях» писал в 1918 году: «Я знаю, что они проводят жесточайший научный опыт над живым телом России»... Имея в виду все эти запреты... «Я нахожу, — говорил он, — что заткнуть речь «Речи» и других буржуазных газет только потому, что они враждебны демократии, — это позор для демократии. Разве демократия чувствует себя неправой в своих деяниях и боит-

ся критики врагов? Разве кадеты настолько идейно сильны, что победить их можно только с помощью насилия?»

«Они» — ясно кто, он их называл «люди из Смольного», в их число входил, разумеется, и Ленин. Именно о нем писатель сказал: «Древнерусская, удельная, истинно суздальская политика». И он же добавлял: «Я с горечью должен признать: враги правы, большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов...»

Надо добавить: и уничтожили.

То десятикратно прополотое от инакомыслия поле, где что-то, пусть жидко, пусть отдельными чахлыми кустиками, росло, было окончательно вспахано в двадцатые годы при помощи репрессий, чтобы не только семечка живого, а памяти не осталось, но было лишь то, что искусственно посеяно под надзором такого великого селекционера-агронома большевиков, как ЧК-МВД-КГБ, и именуемое в дальнейшем «советской литературой» с психологией рабско-крепостной, с характером обслуги, которая живет от подачек и другого дела не знает, как воспевать эту большевистскую власть в наиболее громкой, доступной для нее форме. Так объявились в ней Марковы, Кожевниковы, Сартаковы, и принцип отбора по образу себе подобных (та же агрономическая селекция под руководством того же агронома) действовал десятилетиями, практически до наших дней. Чего же тут удивляться, что поточный стахановский метод, начатый, увы, основоположником соцреализма Алексеем Максимовичем, привел к засилью нетворческих людей в творческом союзе. Да я лично, побывав одно время на заседаниях приемной комиссии, смог убедиться, как шли без всяких затруднений в Союз потоком дипломаты, военные, международные журналисты. Одного комсомольского босса приняли за брошюру о членских взносах, кстати, вряд ли им самим написанную.

За этим буйным чертополохом реденькие кустики истинных художников не были видны, да их и не забывали, как я говорил, пропалывать, чтобы они не застили света своим кучным собратьям.

Может быть, когда-нибудь мы рискнем дать образцы этого соцреализма, ведь далеко не все помнят Панферова, или Гладкова, или Бабаевского с Бубенновым... А ведь они —

целая эпоха, они вершины этой «литературы». Не о такой ли литературе говорил Николай Гумилев: «Дурно пахнут мертвые слова»...

Так вот, я о СЛОВЕ.

Но не о мертвом СЛОВЕ, а о живом. Мертвечины, как говорят, вокруг хоть отбавляй, и запах трупный от тех разлагающихся слов еще не выветрился из Союза писателей.

Я не хочу вдаваться в нашу несчастную историю, я лишь о том, почему мы, интеллигенция, творцы, люди искусства и культуры, такими явились на свет, мы изначально, еще в зародыше, напуганы, и наша причудливо выкрученная, деформированная, будто в фантазиях художника Дали, душа не способна породить свободную литературу; мы не знаем, мы лишь догадываемся, что она такое.

Но мы всегда догадывались, а может и знали, что спасение придет через СЛОВО.

В сталинских лагерях, где еще оставались люди культуры, редчайшие, драгоценнейшие представители Серебряного века, такие, как Нина Ивановна Гаген-Торн, этим лишь одним могли выжить. В воспоминаниях о ней так и сказано: «Может быть, потому и не сошел наш народ с ума, что находил спасительное убежище в творчестве, в слове... И не в том ли печальная разгадка такой особой склонности нашей к литературе?»

У Анны Ахматовой есть стихи:

*Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное слово...*

Связать Печаль со Словом могла лишь она, ибо была провидица. Как и все настоящие поэты.

Но те, кто раньше других догадался, кто искал в слове спасения, раньше других опознавались системой. Мы, наверное, единственная страна, где еще вчера за слово казнили, убивали, ссылали. Причем не только за слово сказанное, но и за слово услышанное.

В тяжкие нынешние времена, когда в стране безвластие и безверие, а вера в слово политиков тоже окончательно подо-

рвана («дурно пахнут мертвые слова»), еще возможно спастись живым словом, которое могли бы произнести писатели.

«Главный рычаг образования души есть, несомненно, слово», — так писал Чаадаев.

Подчеркну: ОБРАЗОВАНИЯ ДУШИ, а не тела.

Говоря о действенном слове, я не имею в виду всякие там экономические выкладки, которые тоже нужны, не про мемуары и документы времени, я говорю про слово веры, про слово милосердия, про все, что сегодня способно смягчить человеческие нравы и внушить людям надежду на будущее.

Внушить не при помощи вранья, которым нас пичкали большевики (вплоть до сегодняшнего Кравченко), а при помощи правды, одухотворенной желанием помочь в этот гибельный момент своему народу.

Мы сейчас много говорим о нравственности, но я думаю, что безнравственна болтовня о нравственности, а нравственно любое дело, помогающее людям сейчас выжить.

В этом плане можно и нужно говорить о литераторах, которые поставлены ныне в экстремальные условия и тоже нуждаются в защите.

Они способны защищать других, но сами они не умеют защищаться, ибо сама профессия обрекла их на вымирание.

Понимать меня следует так: если бы эти люди были бы практичны, если бы они умели оттирать ближнего от кормушки, они никогда бы не стали писателями. Последнее, если мы говорим о настоящих писателях, исключает полностью приспособленность к жизни. Система, кстати, это знает и успешно использует в своих целях. А цели ясны.

Я хочу, чтобы читатель расслышал мою тревогу о судьбе тех писателей, которые сегодня еще живы, но завтра могут уйти, как, не выдержав насилия, ушли Шукшин, Трифонов, Шаров, а недавно Эдельман, Орлова, Довлатов...

Уж больно непомерна и велика нагрузка на душу, на ту самую творческую душу, которой целиком и нет — одни клочки, — а она все рвется и рвется.

Но ныне предстоит еще удар, который лишь сравним с блокадой в дни войны, ибо по велению властей (а разве можно ждать иного) творчество сажают на голодный паек, введя драконовские налоги и этим приравняв прозу, поэзию и прочее к ненавистным им кооператорам.

Но ошибки большой нет, и то и другое по сути свободное проявление (может, единственное свободное) человека в нашей несвободной стране.

Для злейшего контроля они набирают, а может, уже набрали налоговую рать, более ста тысяч числом, из отставных офицеров, которая с присущей ей жестокостью будет собирать с писателей остатки гонорарных крох. А ведь по последней статистике средний заработок среднего литератора не поднимается выше ста рублей. (Статистика взята, естественно, до повышения цен.)

Кстати, не одни писатели такие бедные, таких граждан по нашей стране восемьдесят — сто миллионов человек. То есть каждый третий человек в Союзе проживает за чертой бедности.

Но далее грядет рынок, бедственное положение с бумагой усугубится, а без дотации хорошей книге может и вовсе не хватить на рынке места. Даже на цивилизованном Западе искусство и литература не существуют на дотации, у нас же, при власти партийной монополии, где бумага и типографии принадлежат КПСС, они опять, как в добрые старые времена, будут выборочно печатать свою литературу и своих писателей, то есть тех, кто им удобен и послушен.

Непослушные писатели, пожелавшие сохранить обретенную ими свободу, останутся опять без книг, такая вот наша перспектива.

Генрих Бёльль с удивлением констатировал, что писатели, живущие при тоталитарном режиме обращаются к Богу, а писатели из свободных стран — к неверию. А к кому же нам еще обращаться!

Сейчас происходит «утечка мозгов», и это при том, что мы давно в дефиците по этой части. Уезжают-то лучшие, я уж не говорю, что это молодые и работоспособные люди, но уезжают снова (в который раз!) писатели, вообще люди искусства.

Всесоюзный центр изучения общественного мнения за прошлый год констатировал, что в ходе опроса ни одного современного писателя, автора художественных произведений, не названо, а в кино первое место занял фильм «Рабыня Изаура».

Вывод таков: «Из-за тех, кто растянул период реформ, общество «проело»... культурный запас, запас идей...» А НЕХВАТКА ИДЕЙ — самый опасный дефицит для нашего общества... Попытка мешать свободному обмену информации, мешать выработке новых идей под предлогом «успокоения страстей» безответственно увеличивает эту опасность.

Итак, с одной стороны, духовное истощение, а с другой — уход тех, кто мог бы этот трагический процесс остановить. Мы всегда писали о трагедии отъезжающих, но ведь существует трагедия остающихся. Как возможно нам выжить и спасти себя, если станет некому произнести спасительное, охраняющее душу слово?

Без надежды-то как?

В знаменитом фильме Тарковского о Рублеве в запустелой стране ищут мастера, который бы умел лить колокола, с этого начинается возрождение Руси. Такого мастера вроде находят — мальчишку, который что-то знает, но понаслышке...

Ах, как бы нам не пришлось собирать по Руси таких людей, которые умеют писать, которые еще помнят, как звучит СЛОВО.

Боюсь пророчеств, но мы погибнем, когда таких людей не станет.

А к этому идет.

ХОЧУ ТАКОЕ ЛИЦО

По приглашению Татьяны Фаст, она выпускает «Независимую Балтийскую газету», поехал в Ригу, чтобы подежурить вместе с редакцией на баррикадах.

Татьяна красива, энергична, талантлива. И те, кто ее окружает, просто замечательные ребята. Они сплотились вокруг газеты. И газета у них выходит интересная, профессиональная, дерзкая, молодая.

После того как омоновцы вытурили их из Дома печати, они печатают свою газету в провинции, в районной типографии, а это довольно трудоемкий, долгий процесс.

Сегодня ребята вручную, прямо на дому, «прокатали», по их выражению, с полтыщи штук, не дождавшись номеров из типографии. Работали всю ночь, и пока остальные пили в редакции кофе, привезли номера, свеженькие, пахнущие типографской краской. Все тут же подскочили, стали смотреть, даже нюхать... Радовались, как дети.

Так и сфотографировались на память всей редакцией с номером, гордо выставленным перед собой.

Собираясь на дежурство, заспорили о своих коллегам из «Советской молодежи», которые вместе со всеми ушли в знак протеста из Дома печати, а теперь вроде вернулись обратно.

Я эту газету знаю, в недавние еще времена печатал у них интервью. Газета из так называемых русскоязычных и довольно приличных...

— Была.

— А теперь? — спросил я.

— Они вернулись в Дом печати.

Кто-то поправил:

— Не они одни...

— Но людям же печать нужна!

— Под автоматами ОМОНа?

— Но информация от ОМОНа не зависит...

— Смотря какая информация!

— Сейчас у них нормальная информация.

— А потом?

— Потом можно и уйти.

— Да уж если вернулись, то шаг сделан... — произнес кто-то. — Обрато будет трудней.

Я не влезал в спор, разговор-то касался главного для них: как выжить газете в этих экстремальных условиях. И себя сохранить, и не погибнуть без типографии. А типография, техника в руках КПСС да ее черной гвардии из ОМОНа.

Сегодня это в Литве и Латвии, завтра в такой же ситуации окажутся свободные журналы и газеты в Москве.

Прибалтика — это лишь предтеча того, что нас всех ждет: захват средств информации, десантники, ОМОН...

А какая провинция в России станет печатать «Московские новости» или журнал «Знамя»? Рязань? Кострома? А может, далекая Сибирь?

Повторю, я в споре не участвовал, но я знал, что компромисс, о котором шел разговор, начинается с малого, но потом на продажу идет все. Совесть тоже идет.

Это не о «Советской молодежи», в которой я печатался. Это вообще о гласности, свидетельство тому — судьба нашей так называемой советской литературы.

Наскоро чего-то перехватили — кофе, бутерброды. Все восемь человек набились в редакционную старенькую «Волгу» и, прихватив номера газеты, направились к Домской площади.

От набережной пробирались какими-то темными забаррикадированными переулками: машины, тягачи, бетонные блоки, кое-где и колючая проволока.

А на площади, будто в праздник, толпы народа.

На крошечной, наскоро сколоченной эстрадке перед домом радио певцы, и музыка, и массы молодежи, и даже танцы.

— Неделя такого состояния, и все превращается в фарс, — сказала Татьяна.

Я с ней не согласился.

Люди не могут жить сутками в состоянии перенапряжения, им тоже нужна разрядка. И потом, баррикады — это не только борьба, это еще и праздник свободы... Стоит лишь посмотреть, как раскованны люди, какие у них просветленные лица! Ясно, что сейчас они счастливы... И будут они вспоминать об этих днях как о днях счастья.

Кстати, один из наших литераторов рискнул, хоть и не сразу, а когда спала некоторая напряженность, тоже съездить, чтобы взглянуть на Ригу. По возвращении он заметил:

— Все кукольное какое-то, игра... Но все равно интересно... Дрова аккуратно так напилены, ровненько, как для камина. И молодежь гуляет... Даже целуется... Тоже польза, если кто-то из влюбленных познакомится там, на этих самых баррикадах..

Когда пролилась на улицах кровь и среди погибших оказался юноша, еще почти мальчик, который, возможно, и возвращался со свидания, во всяком случае, погиб случайно, проходя мимо МВД, я не стал моему коллеге напоминать про «игру» и про пользу для влюбленных.

А уж что говорить про операторов, которые отдали там жизнь. За ними, как выяснилось, охотились, ибо их информация — это документ, в котором кто-то очень не был заинтересован.

Так что же, охота за нашими душами началась?

Такой была в те дни и такой запомнилась Рига: трагической и одновременно безмятежно молодой и веселой.

На Домской площади на упомянутой дощатой эстрадке, откуда люди обращаются со словом друг к другу, предоставили такое слово и мне. Я отказывался, отчего-то застеснявшись — как это вдруг на такой площади, да перед толпой, которой я, может быть, и не нужен... А если они музыку ждут?

Но все было сказано, и придумывать не надо было, все излилось само собой. Слова в такие мгновения приходят почему-то особенно верные, без фальши.

После выступления меня окружили люди, какой-то парень, коренастый, цыганистого вида, пожал мне руку как земляку и даже в доказательство, хотя от него никто не требовал, протянул «мандат», там было написано, что рабочий делегируется «Демократической Россией», от города Дмитрова Московской области, от автобазы, для представительства и поддержки латышских друзей и Народного фронта...

Я лишь запомнил, что звали рабочего — Володя.

Долго топтался рядом, не решаясь подойти, высокий, я бы сказал — очень крупный человек, как выяснилось потом в разговоре, латыш. Работает он газосварщиком, объездил всю Россию и никогда, по его словам, не испытывал чувства национального ущемления, а вот теперь почему-то испытывает... То есть он понимает, почему: встречаясь с русским, приходится теперь думать, а как русский отреагирует на него как латыша.

— Прежде у меня такого чувства не было, — сказал он смущенно, — и я стал комплексовать, но вашу руку я жму без всяких комплексов... Послушал вас и знаю, что вы достойный человек.

Говорил он медленно, основательно. А потом он интеллигентно откланялся, в шляпе, красивом пальто, видны сорочка и галстук, прямо как дипломат на приеме, но такой трогательный и скромный.

Прощаясь, он сказал:

— Приезжайте, когда мы с вами будем свободными.

— Ох, боюсь, не доживу, — отвечал я. — Вы-то, может, доживете, а мы, пожалуй, нет.

Я имел в виду Россию. И воистину верил, что Балтия, первой прорвавшая большевистскую блокаду, вернется к свободе... И слава богу! Пусть хоть они...

Леня Коваль и я, мы вместе разносили газеты, дошли до Дома правительства, и тут, в одной из маленьких кухонек, вынесенных на улицу, мы закусили, почувствовав вдруг острый голод. Сами себе налили душистый травяной чай в бумажные стаканчики и смастерили по бутерброду: хлеб

и рыбные, из банки, консервы... И даже соленый огурчик нашелся.

Все бесплатно.

Отойдя в сторонку, попивали чай, и в разговоре я со-
знался Лене, что в прошлый приезд, несмотря на голод, я
не решился подойти к кухне, не считал себя вправе есть
бесплатно то, что полагается ребятам с баррикады... А вот
сегодня мы как бы с ними заодно.

— Сегодня заслужили, — подтвердил он в шутку.

ЗАБОР-ГАЗЕТА

Мы вернулись в старый город.

На двух бетонных плитах, перегораживающих одну из улочек, ведущих на Домскую площадь, надписи: на одной имитация могилы Рубикса, на другой — наспех начертанные наискось слова:

«ЗДЕСЬ ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!»

Повсюду — на заборах, на грузовиках, на стенах домов, в витринах и так далее — листки, газеты, карикатуры, даже фотографии.

Так народ, до сей поры безгласный, выразил себя.

«Горбачев, совесть народа — не твоя совесть!»

«КПСС — палач свободы!»

«Горбачев — Незнайка в стране дураков». (Детский почерк.)

«Братья, Россия с ВАМИ!»

На этой я перестал быть лишь свидетелем и сам расписался.

«Партия — тупость, и нечесть, и стыд нашей эпохи».

«Не волнуйся, Хусейн, мы с вами договоримся». (На карикатуре опять Горбачев.)

«Омоновцы, защищаете вы неофашистов, нападаете на безоружных, настоящие мужчины так поступают?»

«Банда Рубикса, выведи отсюда своих убийц!»

«Солдат, помни! Кровь смоешь, позор — вечен!»

По-латышски, мне перевел Леня:

«Армия КПСС — сколько же тебя на нашей маленькой земелюшке?»

«КПСС, ты можешь в нас стрелять, но ты не достигнешь цели!»

Их тысячи, этих листов, сколько я потом ни приезжал и ни переписывал, они появлялись все новые, и зафиксировать их все было невозможно. Но это и есть тот самый глас народа, который долго молчал. Теперь он заговорил голосом плакатов. Сознаюсь, хотелось хоть один взять на память, сохранить как документ, но я не сделал этого: стало жалко, что кто-то не сможет прочесть. А может, и так: народ при помощи этих листов освобождается от сидящего в нем раба?

Листки везде, хоть я назвал это (но не я придумал) заборогазетой, на грузовиках, на деревьях, даже на спинах и на нарукавниках...

В этом, впервые увиденном мной самиздате, автор-народ возвысил свой голос до высочайшей ноты, доказав, что он выжил, что он свободен.

Не случайно один из многих читателей листов вдруг не кому-то, а просто так, в пространство, произнес:

— Дайте жить людям.

Господи, как коротко и верно.

Мы вернулись на Домскую площадь.

Посреди площади огромная, оставшаяся от Нового года, елка, украшенная вместо игрушек множеством плакатов... Что-то в адрес ОМОНа, который сравнивался с гестапо!

У подножья елки — фотография погибшего от рук омонцев водителя Роберта Мурниекса, в окружении множества горящих свечей. Его портреты повсюду, украшенные цветами, свечами, тут же даты жизни и смерти: 1952 г. — 16.1.91 г.

Первая жертва ОМОНа. Мы еще не знаем, но догадываемся, что не последняя.

Мы разносим газеты и раздаем их рабочим, сидящим у костров, шоферам на грузовиках, девушкам-медсестрам, дежурящим в Домском соборе, сейчас здесь оборудован госпиталь.

Замерзнув, мы зашли сюда просто погреться и вдруг попали в иной, не баррикадный, а божественный мир спокойствия и тишины. Даже медсестры в белых халатах не нарушали этой гармонии... Да и что может быть естественнее, чем сестры милосердия, расположившиеся в Божьем храме!

Звучала тихая музыка, орган.

Звучала не на обычном концерте, как мы привыкли, для пришедших сюда по билетам слушателей, а для отдыхающих от дежурства рабочих ребят, которые, как и мы, заглянули сюда, чтобы погреться.

Я прошел вдоль скамеек, вглядывался в лица. Я давно понял, что надо сейчас смотреть, всматриваться в лица этих людей, они не такие, как в обыденной жизни.

В трамвае таких лиц не бывает.

Внутренняя сосредоточенность и одновременно отрешенность в них. Они будто очистились от случайного, от былого и оттого кажутся почти святыми.

Вспомнил, как с одной моей знакомой, актрисой известного театра, посетили мы одного верующего во время долгого поста. Он принял нас благородно, сдержанно, но коротко, его силы были на исходе. Но лицо его светилось, вот как у этих ребят. И вдруг моя знакомая воскликнула: «Хочу такое лицо».

Мы ушли, но всю дорогу она иступленно повторяла: «Хочу такое лицо. Хочу...»

Впору сейчас и мне было воскликнуть:

— Хочу такое лицо!

И вдруг я вспоминаю: а ведь сегодня суббота, 19 января — великий праздник Крещения Господня.

Христос принял крещение для того, чтобы собственным примером освятить обряд, который, благодаря Его искупительным заслугам, впоследствии сделался знаком покаяния и очищения от первородного греха.

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Марк XVI, 16).

Ну что же, наш первородный грех — переворот семнадцатого года, который так рьяно поддержали латышские стрелки. Может быть, без них, верных охранителей большевистских вождей, тем бы не устоять в критические дни.

Теперь внуки стрелков, отвергнув ложный путь дедов, вышли в эти дни защищать от большевиков свою свободу, и это есть знак очищения и покаяния. Они поверили в очистительную силу своей свободы. И ничего уже с ними не сделать. Горбачевская команда может их, каждого из них, убить. Но пока они живы, они будут выходить на улицы и строить баррикады, которые увиделись господину Денисову как нарушение городского порядка.

Не случайно среди листовок и призывов встречаются и довольно часто библейские мотивы. Такие, например:

«Зло заговорит там, где молчат терпение, надежда и любовь...» (Плакат на грузовике.)

И там же:

«Господи, спаси нас от враждебности, пока нет любви...»

А еще одно, обращенное к большевику Рубиксу, который частью и заварил эту кровавую кашу:

«МОЛИЛСЯ ЛИ ТЫ НА НОЧЬ, ФРЕД ПЕТРОВИЧ?»

Христос сказал апостолам: «Идите и поучите все народы...» (Матфей)

Ну что ж, в эти дни все народы обращены на первый и такой трагический опыт Балтии, где решается и их судьба.

Всех, и лично моя тоже.

Так я шел вдоль рядов и будто споткнулся: вдруг вспомнил, что здесь, на концерте Баха, пять лет назад, в январе 86-го года, познакомился с Мариной, моей женой.

Я даже помню эту скамеечку, стоящую в правом крыле, боком к органу. Билеты были так себе, хотя достали мы с трудом.

В этот год, начала всяких перемен, хотя ничего особенного, что предвещало такой разрушительный конец, еще не ощущалось, молодая и уставшая от долгого развода женщина приезжает всего на три дня пожить в Доме творчества у моей приятельницы Инны Громовой. Ее сажают за наш стол, слева от меня, в торце стола.

А вечером мы едем в Домский собор и оказываемся рядом. Даже кажется так, что сперва мы сидели не рядом, а потом, после перерыва, кто-то с кем-то поменялся местами и мы оказались друг с другом...

То есть мы были со всеми, но вдруг ощутилось, что никого, кроме нас и музыки, в этом прекрасном храме нет... Звучал орган, вот как сегодня, ибо он обращался лишь к нам, и Божественное просветление снизошло на нас двоих, хоть и не было вымолвлено ни слова между нами и я еще не ведал про ее такое одиночество, и она не знала ничего о моем.

Конечно, спасаясь от космического холода в душе в теплой Балтии, я не мог тогда знать, что рядом со мной сидит выброшенная судьбой из жизненной колеи женщина и эта короткая поездка для нее спасение, хоть на несколько дней, но и она могла не состояться, потому что накануне отъезда прямо в редакции ее обокрали, забрав деньги на билет...

Но в редакции скинулись, и она поехала.

А потом она стала моей женой.

НУЖНЫ ВЗРЫВЫ

Объявили: по непроверенным данным, планируется серия взрывов в общественных местах: на вокзалах, в воинских частях, на улицах... Они должны дестабилизировать обстановку и вызвать из Центра приказ ввести президентское правление.

Взрывы желательны с жертвами, ибо предыдущие двадцать взрывов не достигли результата.

Почти сразу после предупреждения взрыв произошел возле здания Академии наук, но, слава богу, опять без жертв.

Уже после моего отъезда взрывы продолжались, около ЦК Компартии (но на достаточно безопасном расстоянии), а еще в доме, где проживают военные, и т. д. Нашли и некоторых участников, ими оказались люди, связанные с военными, но в печати это промелькнуло коротко, как-то невнятно, и полной ясности не принесло.

Все передачи по Центральному телевидению пытаются утвердить мысль о якобы двух противоборствующих силах в Прибалтике, во всех трех республиках, это опасная тенденция. Кому-то очень надо, чтобы таковой эта обстановка тут была.

И здесь возникает вопрос о русскоязычном населении.

Обычно это работники военно-промышленного комплекса, подчиненного Москве, или учреждений, привязан-

ных к Центру: портовые работники, аэрофлот, железнодорожный транспорт.

Но, как ни странно, среди них много учителей.

Что же делает Москва?

Она выдергивает и выставляет по телевидению этих людей (многие из них партаппаратчики) и их устами глаголет «истину», а истина такая: вот-де, посмотрите, какие мы брошенные и несчастные, никто нас не слышит, никто не защищает, мы отторгнуты Россией и отторгнуты Латвией.

Но отторгли-то они себя сами, ибо желают жить лишь по имперским законам, по которым пришельцам выгодно было здесь жить. По сути, они были тут на положении колонизаторов в своей колонии.

Другое дело, что наши советские колонизаторы тоже нищи, но менее нищи, чем, скажем, в России, и по своей воле из этой богатой страны не уйдут...

В их число входят и русские из коренного населения, но в основном это лимитчики, люди малокультурные, зависимые от центральных властей и цепляющиеся из последних сил за благословенный клочок земли, который им послала судьба. Противопоставляя их законной власти, Центр укрепляет их силы, внушает им надежду и поддержку, делает их опасными и агрессивными. Отсюда уже недалеко и до столкновений.

Факел (отсюда-то видней) зажжен в Москве, и нужна лишь взрывоопасная обстановка. И она есть. И вот уже пожар вспыхивает до неба, льется кровь, гибнут люди, и население в страхе перед насилием призывает для успокоения армию и горбачевское правление...

Схема эта действует безотказно. И в основе ее только одна их «истина» (она у них всегда одна и та же!) — борьба за власть.

А борьба за власть — это борьба за империю.

Вчера снова показали фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Там сцены насилия в Азербайджане, танки вторгаются в Баку, гибнет население... Но если перепутать пленки и вставить отрывок из Литвы, никто не заметил бы подмены, ибо и там и тут насилие, произведенное по одной, заранее выработанной схеме.

Страшно смотреть, но еще ужаснее думать, что это не только наше ближайшее прошлое, но и наше ближайшее будущее.

Дневник, который я сейчас пишу заново (он тоже был уничтожен в этих событиях), как и фильмы Говорухина — предупреждение людям.

Вот уже и эти строки были написаны, когда в день открытия Съезда народных депутатов РСФСР 28 марта Горбачев вывел на улицы Москвы 50 тысяч (!) солдат, и милиции, и омонцев; со времен Сталина город не видел такого вооруженного присутствия войск, и все это лишь для того, чтобы напугать народ и, может быть, спровоцировать столкновения. И на крови (еще одной крови) ввести президентское правление в неуютной ему столице.

Прибалтика ЕГО ничему не научила. А жаль.

Но она научила нас.

Вспоминаю, еще дня за три до событий в Литве, теперь она станет знаком, мерилом отсчета «нового» времени для страны и для каждого из нас, в электричке, когда мы возвращались со спектакля по Бродскому, возникла драка между юнцами, жестокая, пьяная, бессмысленная.

Интересно, что ни одной драки и ни одного пьяного в эти «баррикадные» дни я не увидел.

Революционное правосознание?

Слова-то сами по себе ужасные, из тех, из ленинских времен, а по сути верно.

В ситуации, когда весь народ поднимается на защиту, особенно другой видна молодежь, она искренней и чище нас, борьба за свободу ее еще более очищает.

Это большевистская революция, которая не что иное, как переворот (читайте «Несвоевременные мысли» Горького), вызывает и призывает в человеке все низменное, черное, скотское.

Теперь можно сравнивать.

Кстати, в той же электричке проходила женщина, просто одетая, пальто и платок, она негромко и даже как-то интеллигентно позвала всех, кто был в вагоне, а значит, и нас, приходите и очиститесь в Академии наук, ибо грядет конец мира.

Почему это происходило в Академии наук, а не в церкви, я не понял. Не в этом дело.

— Мы увязли в делах дьявола, и нет нам прощения... Лишь очищение, исповедь и прозрение через них поможет нам в трудный и последний час...

Сказала и ушла.

А через несколько дней, прямо в святые праздники, и началось...

Спускаюсь на завтрак, внизу, рядом со столиком дежурной, на диванчике женщина, немолодая, внешне респектабельная. Но что-то настораживало, скорей всего голос, не столь просящий, сколько требующий немедленного к ней внимания.

— Я вас давно жду, — произнесла она. — Вы можете уделить мне внимание?

Такая железная закваска обычно встречается у старых классных дам, выработавших в непрерывной борьбе с детьми непререкаемый тон, да еще у совслужащих, куда такие женщины чаще всего идут не столько по идейным соображениям, сколько от одинокой жизни. В народе их именуют иронично «совбаба», имея в виду особенный «корчагинский» негибемый характер и другие далеко не женские черты.

У женщин такого рода обычно строгий современный стиль одежды, решительная походка и мертвая хватка в разговоре, за очками с холодным звериным блеском непонятного цвета глаза.

— Я не думала, что у вас так ограничено, что я должна общаться лишь десять минут... (Поджатые в обиде губы.) У меня разговор долгий, я не спала всю ночь...

— К сожалению... — выдавливаю из себя.

Я почему-то уверен, что мне хватит и двух минут, чтобы понять, что эта дама от меня хочет.

Судя по манерам и по каким-то неуловимым признакам, я подозреваю в ней человека от Интерфронта. Манера поведения у них обычно стандартная, настойчиво требуют их выслушать, потом заявляют о поддержке Народного фронта, в котором они разочаровались, и далее... ложь, смешанная с правдой, о том, какие злодеи латыши, которые всех обманули и меня, разумеется, тоже обманули.

В этом, последнем пункте они становятся особенно агрессивными, мне иногда кажется, что у них появляется волчий оскал.

Я смотрю на даму и жду.

— Но это невозможно, — говорит она, прочно усаживаясь на диван в прихожей, так что я и при желании не смогу уйти. — Я вот тут записала... Но если у вас так ограничено,

что с обыкновенным человеком с улицы вы даже не находите возможности поговорить по душам...

Ох, не человек она с улицы, теперь я это знаю.

Тут она покопалась в сумке, которую держала на коленях, искала, но бросила, и сразу же сказала:

— Я человек трудной судьбы... Вот вы написали о выселенных чеченцах, а я их видела у себя в Казахстане, в Кокчетавском районе... Мои родители еще до революции владели там мельницей... Они были репрессированы... Поэтому, когда организовывался мемориал, я перечислила им свою зарплату... Хотя работаю я учительницей и получаю не так уж много...

— Значит, вы учитель? — спросил я с некоторым даже облегчением и смущением, что принял приличного человека за негодяя.

— Я работаю учителем русского языка и литературы, — отвечала она. — И вот я слушала вас по телевидению...

— Да, да, — кивнул я.

— Вы защищали правительство Латвии и Народный фронт... И, как вы сказали, «демократию»... Но ведь демократии-то никакой нет...

— Вы Интерфронт? — тут же спросил я, заслышав знакомые нотки.

— Нет, нет, — ответила она потупясь. — Я даже хотела вступить в Народный фронт, но... Видите ли... Со стороны властей идет подавление всего, что связано с русской национальной культурой... И вы, как человек русский, могли бы помочь, а вы не помогли... Не защитили нас...

— Простите, простите, — перебил я. — Вы, наверное, плохо слушали, я ведь призывал солдат не стрелять в людей, разве это не защита?

— Защита, — сказала она. — Но это защита латышей, а не русских... А нас-то кто здесь защитит? Вы не знаете, что они с нами тут делают? Они ввели языковые цензы, и теперь в школе и в институте невозможно преподавать, не зная их языка!

— Но ни в каких странах мира вас не примут на работу без достаточного знания языка!

— Но хотя бы учат языку бесплатно?

— Эмигрантов.

— А мы кто?

— А вы... Кстати, с какого вы здесь года?

— Сорок восьмого.

— И до сих пор не выучили латышского языка? — воскликнул я.

— Но у них некому учить! — заявляет учительница. И я вижу, что она лжет. Быстро поправляется: — Но дело не в этом. Они везде нас третируют, они называют нас колонизаторами...

— Но мы и есть колонизаторы.

— Я? Учитель?

— Все мы... — сказал я. — Мы ведь принесли сюда на штыках свой порядок...

— Я ничего сюда не несла. Я сама несчастный человек, без родины!

— Но кто же виноват, что мы с вами живем в этой стране? Не мы лично с вами их колонизировали, но это сделали русские, советские, и сделали, введя сюда войска, за что же им нас любить? У нас с вами выход один: или к ним приспособиться, или, если не нравятся их порядки, — уехать. Но если оставаться, то надо учить язык... Научиться уважать законы...

— Но это же фашистские законы! Они же все фашисты! Договорились, называется.

И я поднялся, считая разговор законченным. Таких разговоров здесь я хлебнул выше головы, у меня на них аллергия.

— А Ельцин, — продолжала моя собеседница уже стоя. — Вы его хвалили, — а он не защищать нас приехал, а развлекаться... охотиться...

— Кто вам такую глупость сказал?

— Я знаю. И газеты сообщали.

— Газеты... В газетах вы прочтете, что литовцы сами бросались под танки!

— Ну, не сами... Но их Ландсбергис спровоцировал, чтобы удержаться у власти!

— А вы там были? — спросил я, разозлясь.

А разозлился я на себя, что в начале почти поверил ей, когда рассказывала про репрессированных родителей... Если бы она была заблудшей овечкой, я бы остался с ней поговорить. Ну, хотя бы потому, что проблема эта неоднозначна,

и потому, что она сомневается... Да и вообще потому, что женщина.

Кто может отказать, если ищет у тебя защиты женщина?

Но эта женщина не нуждалась в защите, наоборот. От нее следовало защищаться и защитить ее, например, учеников. Каково им достается каждый день, если я устал от ее черного поля через четверть часа?

Я с детства уважал учителей литературы и всех их помню, они ведь и решили мою судьбу. А какие письма я от них сейчас получаю в связи с повестью... Вот в закарпатской деревне Рухча живет учитель, русский, между прочим, зовут его Курьякович Петр Антонович. Он учит детишек любить литературу, на каком бы языке она ни звучала. Его ребяташки из шестого класса прислали мне письма. Ах, какие они написали слова, девочки и мальчики из этой сельской школы...

А сам Петр Антонович говорит: «После ваших книг дети становятся серьезнее, откровеннее, искреннее, в их душах появляется то, что можно с уверенностью назвать добротой и порядочностью...»

Открыточки от ребят из закарпатской школы нашли меня в Дубулты и лежали у меня на столе. И когда сердце не выдерживало напряжения от всего, что происходило вокруг, и начинало болеть, я обращался к ним, рассматривал их незатейливые, но такие искренние надписи, и становилось легче.

Но не только визиты подобных такой вот учительнице, бывали встречи и другие. Однажды в холле нашего Дома меня поджидал не очень молодой человек, он хотел показать свои работы, свои исследования по демографии малых народов СССР, в том числе и Латвии.

Вот короткая записка, которой он сопроводил бумаги:

«Выражаю Вам глубокую благодарность от имени всех малых народов и народов Прибалтики за Вашу моральную поддержку в их борьбе за свободу и независимость! Я — автор нескольких статей о демографическом положении народов СССР. Хочу их предложить Вам в русском переводе. Если можно, прошу уделить мне несколько минут... С уважением, Донат Скутелис».

Несколько минут не получилось, а потом события закрутили так, что я не смог ни встретиться, ни позвонить, а работы эти прочитал лишь по возвращении домой.

В них я нашел близкие мне мысли по поводу геноцида в стране и в Латвии, хочу привести несколько фраз, тем более что автор собрал и обобщил очень серьезную статистику по этому вопросу.

Донат Скутелис пишет:

«Можно считать парадоксом и то обстоятельство, что марксисты России на практике в витках истории превратились в страшных насильников и лицемеров, которые еще не получили истинного названия. Следует думать, что такая устрашающая метаморфоза носителей прогрессивных идей надолго заставит человечество воздержаться от такого рода опытов по преобразованию и усовершенствованию мира и человека...»

Что же он имеет в виду?

«...Этнический состав страны непрерывно менялся, как свидетельствуют данные о количестве народов СССР, зафиксированные во время переписи. Если во время переписи 1926 г. были зарегистрированы 194 этнические единицы, то во время переписи 1959 г. оказалось только 109, а в 1970 г. — 104 народности... А в 1979 г. в Советском Союзе было только 94 национальности. Это значит, в условиях социализма, интернационализма, дружбы народов и равноправия перестали существовать более ста этнических единиц...»

Самое большое количество мигрантов вышло из РСФСР... Переехало в разные республики на постоянное жительство 24 миллиона человек русской национальности... Оставили пустой среднюю полосу России... Парализовало хозяйственную деятельность, особенно сельское хозяйство целых районов... Выезжавших (но не депортированных) в другие республики правительство по закону обеспечивало социальными и экономическими привилегиями в отличие от постоянных жителей «колоний». Как бы парадоксально это ни звучало, но действительность была такова, что не мигранты должны были стараться овладеть языком основного населения какой-то этнической территории, но, наоборот, — гражданин «суверенной» (см. Конституцию СССР) республики должен знать язык пришельцев, который обычно был русским и который

постепенно вытеснял язык основной нации из общественной жизни. (Сегодня народы этнических территорий должны выслушивать упреки шовинистов, что, мол, они требуют привилегий, то есть права говорить на своем родном языке.)

Номенклатурная «каста», создавая все новые привилегированные слои, уничтожила созданный другими народами культурный слой и паразитировала за счет рабочего народа и основных жителей этнических территорий... Но и процент русского населения тоже продолжает уменьшаться... Тоталитаризм, единовластие и русификация не увеличили, а подорвали жизненные силы русского народа... Уменьшилась и рождаемость, которая в данное время является одной из самых низких среди народов Советского Союза. Нация, подавляющая другие народы, сама не может быть свободной. Она деградирует морально. Свою истинную любовь к родине и патриотизм сыновья и дочери России под влиянием шовинистической демагогии заменяют иллюзорным имперским патриотизмом, который не имеет будущего...»

«Что касается Латвийской Республики, то факт ее оккупации в 1940 году нам нет уже нужды доказывать, так как это преступление сегодня ни один честный человек не считает освобождением народа Латвии, а совсем наоборот... Тот факт, что после событий 1940 года в Латвию приехало около миллиона иммигрантов из других республик СССР, следует считать колонизацией и незаконием... Оно ставит под угрозу выживание латышского народа...»

По цифрам, которые приводит автор, можно увидеть, что с конца прошлого века, то есть за сто лет, количество латышей в Латвии не прибавилось. За время депортации и геноцида погибло или эмигрировало 350–400 тысяч латышей. Каждый третий человек! А сколько из них погибло в сталинских лагерях, неизвестно и до сих пор. Цифры показывают, что латышская нация в последние десять лет практически не имела естественного прироста населения. Зато мигрантов прибывало в послевоенное время около ста тысяч человек в год, и число их достигло 48 процентов всего населения.

«Писателю Приставкину А.

Мы даже не знали, какой вы мудака! Ну, заяц, погоди!

Русскоязычные ребята из г. Риги».

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА

А Дом, наш литературный, наш замечательный Дом, как островок среди бушующего океана, живет своей странной жизнью.

Утром спускался на завтрак, кто-то из писателей предложил:

— Хотите свежий анекдот из Москвы? На вопрос: «Как поживаете?» отвечают: «Живем, как в бане: голые, а вокруг шайки...»

Я сразу подумал: это в Москве шайки, а тут их вполне заменяют омовальники...

Неведомо откуда взялся странный человек, моложавый, сытый, чуть полноватый, с широкими, как у бабы, бедрами. Приехал он на старенькой машине-иномарке, в честь нее и получил за глаза свое прозвище — Мистер Тойота.

Поселился на девятом этаже и с ходу стал липнуть ко всем без исключения бабам, от уборщиц до наших собственных жен, за что был прозван еще и кличкой Всеобщий хахаль.

Но, получив отпор, он не огорчился и теперь часами простаивал у стойки бара или в библиотеке у Лили, но книг, конечно, не брал, а больше трепался, от скуки повторяя то, что все уже знали и так, про личную стоянку, которую он имеет для автомобиля у хаммеровского центра, про некий таинственный кооператив, от имени которого он должен

приобрести на год целый корпус, и этот корпус он якобы почти купил, и все остальное в том же духе.

Лиля слушала из вежливости, а буфетчица Аня вообще не слушала, а лишь кивала, но при этом успевала работать, то есть варить кофе и наливать напитки. Остальные же отдыхающие, в основном бабы, лишь посмеивались, а по поводу иномарки шутили, причем вслух, что там у него не иначе как миллион в багажнике...

В день приезда он бродил по коридорам Дома, не без интереса заглядывая в наши комнаты, двери которых обычно во время уборки держат распахнутыми.

Трижды он переезжал из комнаты в комнату, улучшая свой быт, а вскоре стал появляться с крашеными и облезлыми блядами, подобранными, скорей всего, на рижском вокзале.

В мире, да и тут под боком, в Вильнюсе и в Риге, происходили трагические события, мы и наши друзья не спали ночей, обсуждали в холле и в коридорах самые последние новости... Он же, прислонясь к стойке бара, лениво рассматривал нас, уже на расстоянии, вслушивался наши речи и демонстративно зевал, ему все это было неинтересно. Взглянув на часы, он неторопливо уходил на станцию и возвращался с очередной девкой...

В момент обмена денег, когда Павлов отменил сотенные и полусотенные бумажки и вокруг началась паника, я услышал такой занятный разговор двух дам.

Одна из них сказала:

— Я осталась совсем без денег... Мне не на что будет даже уехать.

А вторая ответила, в шутку, конечно:

— Обратись к этому... Ну, из Приморского края, который Тойота... У него, я думаю, денег много!

— Откуда?

— А разве ты не знаешь, он же закупил корпус в нашем Доме... За семьдесят четыре тысячи!

— Как это закупил?

— Снял... На год...

— Для кого?

— Неизвестно. Может, для того, чтобы перепродать?

— Прямо Чичиков какой-то!

— Ну... Чичиков был интеллигентный жулик, а этот...

— А этот наш простой советский мафиози... Какое общество, такие и Чичиковы!

Финал у этой истории еще более странный, чем ее начало.

Новоявленный Чичиков, он же Мистер Тойота, он же Всеобщий хахаль, вдруг исчез, не заплатив даже за проживание в Доме, не оставив вообще после себя никаких следов.

Я еще поинтересовался у дежурной:

— Куда же подевался этот... Мистер?

Дежурная лишь пожала плечами:

— Кто его знает.

— А его вещи?

— Вещей у него не было, может, в машине...

— Но... договор? Он ведь и правда собирался снять коттедж?

— Да будто бы собирался... Но ждал, когда переведут из Приморья деньги.

— Так он из Приморья?

— Говорят...

— Странно, — сказал я. — А документы? А путевка?

— Он обещал заплатить за все сразу... И пропал... Может, еще объявится... — предположила она, без всякого, впрочем, энтузиазма.

Не объявился.

Странная история. Но именно в день его исчезновения, вернувшись из церкви, я обнаружил, что мои рукописи, лежавшие в кабинете на столе, были уничтожены.

Я не детектив и не ищу какой-то связи между двумя этими событиями. Я лишь раздумываю и удивляюсь таким совпадениям.

Вот писали же, что в Вильнюсе во время столкновения у телецентра убили одного из военных, а оказалось, что это работник органов безопасности... Как он туда попал? Что делал во время осады? Почему он получил пулю от своих? Кто ответит?

Женщины пришли из церкви, рассказывают, что были на празднике Крещения и слышали такой разговор между

трем старухами — они стояли в углу и изо всех сил кляли Наполеона, Гитлера и... Ельцина!

— Странный подбор, — заметил кто-то.

— Да, я тоже удивилась, — сказала женщина. — Но здесь много жен пенсионеров, из военных...

— Разве жены офицеров думают о Боге?

— Может быть. В отличие от своих мужей!

— Ну, у тех один бог... Марс...

— Но Ельцин, Ельцин-то при чем?

— Для них он дьявол во плоти!

— Ну пусть лают дома... Но в церкви...

А я представил нашу мирную, по-своему патриархальную и тихую церковку в Дубулты. В прошлом году в Рождество Христово окрестили мы нашу в ту пору двухлетнюю дочку.

Детишек, к счастью, было немного. Младенцев, которые пищали, быстро укачивали, старших уговаривали, и лишь нашу девицу, которая как бы все понимала, но ничего не желала слушать, утихомирить было нельзя. Она орала на всю церковь ровно столько, сколько продолжался ритуал, не поддаваясь ни на какие уговоры, и надо отдать должное терпению священника отца Ивана, который не выказал никакого неудовольствия и все довел до конца. А в конце уже нам, родителям, он прочел замечательную проповедь об ответственности за нравственное воспитание ребенка... О воспитании в нем милосердия в этом очень ожесточенном мире.

Чуть позже и сама дочка стала вспоминать свое крещение уже без страха и даже с удовольствием, — завидев по телевизору церковь, она тут же восклицала: «Это храм! Храм! Там дядя поп меня крестил...»

Крестными нашими, по случаю, оказались Инна Громова и поэт, он же знаменитый актер Владимир Рецептор из Ленинграда.

Это позволило одному из литераторов-русофилов произнести, а мне потом передали: «Приставкин плюнул в душу русского народа тем, что он взял в крестные отцы еврея...»

Я попросил передать этому блюстителю чистоты русской крови, что я «плюнул в душу русского народа» дважды, ибо и крестная мать — тоже еврейка...

В эту дубултскую церковку пришли мы с женой и ребенком в день Крещения, чтобы поставить свечку перед распятием в память убиенного омовцами шофера...

И литургию заказали.

Я рассматривал сверкающий от позолоты алтарь, вдохновенное лицо отца Ивана, пламя свечей, колеблемое движением воздуха от массы проходящего народа, и вдруг подумал с отчаянием, что и сюда, в мирную Божью обитель, где мы еще могли остаться наедине с Всевышним, добралась страшная баба — политика. А это означает, что наши дела плохи. Очень плохи. Ведь именно здесь, перед открывшейся душе вечностью, должны затихать страсти и умиротворяться жестокие порывы, которые мы тащим с улицы...

Не случайно же именно рижские православные священники выступают сейчас за миротворение в стране... Они ведут себя спокойно и достойно, обращаясь к русскому населению и призывая его к миру в душе своей и к большей терпимости друг к другу.

Когда исчезнет вражда, и остынут страсти, и люди наконец смогут оглянуться и понять, какими они во время этих событий были, как бы узрев себя со стороны, пусть вспомнят они своих духовных пастырей-священников и назовут именем кого-то из них, а может, и просто именем церкви, проявившей в эти дни высший гуманизм и ответственность, одну из нынешних улиц... станций... площадей...

Церковь это заслужила.

На стадионе в Риге, на уже упомянутом мной сборище Интерфронта, толпа не дала говорить священнику, когда он обратился к ней со словами мира... Она не просто кричала, она визжала, свистела, топала, улюлюкала...

Она не дала ему рта открыть, слово хоть одно произнести. Но вот что я еще увидел: он не озлился и пытался повторять и повторять в микрофон слова об умиротворении, отвечая на каждый рев толпы милой и кроткой улыбкой.

И на вопрос репортера телевидения он так же кротко ответил, что митинговые люди — это не те же самые люди, которых мы видим поодиночке... Там они другие... — Имея в виду, наверное, тех, кто приходит в церковь... Там они и правда другие...

— А здесь, — продолжал он, — ими владеет ложная идея... Вон как на нюрнбергском стадионе с фашистами... Они же в экзальтированном состоянии готовы войну объявить всему миру...

В Риге спокойно, если не считать, что Комитет спасения взял на себя «всю полноту власти».

Кто-то среагировал на это, напомнив анекдот про слона, на клетке которого было написано меню и в нем сколько-то килограммов масла, икры, фруктов и т. д. «Неужто все так и съест?» — спросил любопытный посетитель, на что сторож зоопарка резонно ответил: «Съесть-то он съест, но кто ему даст!»

Перефразируя провозглашение Комитетом спасения власти, мои друзья сказали не без иронии: «Взять-то он возьмет, да кто ему даст!»

Но все это не столь уж смешно и тем более безобидно. Я подозревал, что замысел этих самых «комитетов спасения» исходит из Москвы. Но доказательств не было. Но вот выступил один из «черных» полковников — Алкснис — и ответил на этот вопрос однозначно.

— В беседе с западными корреспондентами, — спросят его, — вы сказали, что комитеты национального спасения в прибалтийских республиках были созданы по инициативе президента СССР М. Горбачева, чтобы в конечном итоге ввести в этих республиках прямое президентское правление.

— Да, это соответствует действительности, — ответит он. — Я на днях разговаривал с товарищами из Комитета национального спасения Литвы. Они сказали так: все, о чем нас просила Москва, мы сделали. Москва обещала, что вторую половину — введение прямого президентского правления — она произведет сама. Однако Москва бросила нас. Нас предал президент...

— Ваш прогноз развития событий в Прибалтике? — спросят его.

— Гражданская война.

— В Прибалтике?

— Нет. Она неизбежно перерастет в гражданскую войну в масштабах Союза.

И далее он обещает в результате «хаоса и полной анархии» приход третьей силы, о которой сегодня «никто не знает и не подозревает. Это будет не Ельцин и не Горбачев, а совсем неизвестный человек, который в данной ситуации может случайно прийти к власти...»

Я думаю, самовыражаясь, Алкснис не столько прогнозирует события, сколько выдает свои тайные замыслы, которые теперь и не такая уж великая тайна. Карьера Пиночета не дает ему и его военным дружкам покоя.

Во всем, что делают верхи (Москва, но и здешние большевики), сквозит прямо-таки поразительное пренебрежение мнением народа, который не только в газетах, а в миллионах своих листочков и на своих митингах выразил все, что он об этих верхах думает.

Вот ядро главного конфликта; полковник ищет его вовсе не там, где он есть.

Звонила из Риги встревоженная Элизабет, передала последние новости об отставке членов Президентского совета Примакова, Петракова, Шаталина... Ей передали по телефону из Швеции. Таким кружным путем приходят к нам важные новости... Она же улетает к себе в Швецию, отвозит «горячий» материал, но, может быть, она тут же вернется обратно.

— Возвращайся, — сказал я. А про себя подумал так: если будет, конечно, возможность вернуться. События-то решаются часами, и неизвестно, что и как может повернуться в нашем таком шатком мире.

Разговор этот происходил в субботу, накануне дня Крещения. А на следующий день прозвучали выстрелы и пролилась кровь на улицах Риги.

— Во что ты веришь? — спросила однажды Элизабет. — Может быть, вас спасут лидеры... Собчак... Попов... Станкевич...

— Я думаю, что Балтию (а значит, и вообще свободу) спасет молодежь...

Но, конечно, лидеры — это сейчас наше национальное богатство. Это для защиты демократии. Можно уповать и на партии, хотя они очень слабы. Но можно верить во внутреннее убеждение просто людей, которые не захотят прежней

рабской жизни. И прежде всего — молодых ребят, которые вышли на баррикады.

Я не знаю, понимают ли они сами, что решают судьбу не только Латвии, не только всей Балтии, но и России и других народов? Но ясно же, они защищали здесь прежде всего СВОЮ свободу, так же как русские, а их было на баррикадах немало, защищали здесь СВОЮ свободу... Но свобода-то не делится по национальному признаку, она на всех одна... Или она есть, или ее нет.

И вообще, когда мне говорят о разрозненности демократов, я привожу пример Риги: на баррикадах не спрашивали, какой ты партии или национальности, здесь были все, кто не хотел коммунизма.

Выступая перед этими ребятами, соприкасаясь с ними, я у них, а не они у меня черпали оптимизм и силу.

Именно поэтому я вернулся домой в тяжком состоянии из-за уничтоженных рукописей, но с настроением небеспросветным и даже светлым, с надеждой, внушенной мне ими, что их, а значит, и нас, поборошь десантниками и бэтээрами нельзя.

Но вот как оборачивается дело, ведь по другую сторону баррикад, «перед бревнами», выстроились такие же ребята... Не другие, в том-то и дело, а те же самые. Их призвали в армию, одели в форму, обучили держать оружие, стрелять из него, они приняли присягу...

Но не только это.

Их обработали армией, как обрабатывают металл огнем.

Повторю одну мысль: отчего генералитет не хочет профессиональной армии? Думаете, они не понимают, что она лучше? Понимают. Она лучше для войны. Но для войны со своим народом она хуже. Нам же нужна особая армия и особо подготовленные мальчишки, обработанные для такой войны. И такая обработка ребятшек — несложившихся, с ломким характером, с убеждениями, которые не могли утвердиться в отсталой школе.

Вот где раздолье политорганам, которые тут в особой цене. Комиссары ведут обработку молодых мозгов днем и ночью, я ее прошел и по себе знаю, как это опасно. Для жизни этих ребят. И для нашей жизни. Слабых при помощи дедовщины они ломают, сильных — убивают.

За это время мягкая, впечатлительная, податливая душа подростка деформируется особенно сильно; искажения, привнесенные в школе, в пионерском отряде, в комсомоле и так далее, еще более усугубляются, смешиваются такие понятия как долг, нравственность, честь...

Используется и воздействие коллектива, для того чтобы поддержать и внедрить в сознание культ силы. А потом и насилия.

Безнравственность тех, кто стоит над этими ребятами, решает их судьбу. От Гурбачева до Язова и всяких подобных макашовых и прочих, и прочих. До личных командиров и комиссаров.

С этими последними я встречался и знаю, что они искренне ненавидят демократов и навсегда уверены, что все зло исходит от них. И уж они смогут внушить тем из молодых, кто еще в этом сомневается...

И вот они стоят друг против друга, в Риге пока условно, а в Вильнюсе совсем не условно, они видели друг друга в глаза. Ровесники, они очень похожи. Если мы не поймем этого, мы ничего не поймем о них вообще. А значит, и о том, что нас ждет.

Одни из них внутренне освобождены для борьбы за себя и за свою свободу, другие тоже освобождены, но от ответственности за чужую жизнь.

Я убежден, что в этом противостоянии страшней вторым, то есть ребятам в форме, несмотря на то, что не только их тела, а и души забронированы прочной идеологией, они внутри себя не без сомнений, пусть и не самых сильных... У них и страха, и раздрызга больше...

Тем более что у ребят без формы чувство свободы не абстракция, оно выражается конкретно: твое правительство, твой город... Твоя родина.

Эта фронтовая линия однозначна.

Танкист (он же десантник, омовец и т. д.) не имеет такой прочной моральной базы. Он слышит приказы, видит товарищей по роте, слышит командиров... Но он же видит лица с той, противоположной, стороны. А там негодование, презрение, даже ненависть... За что же? Кто ему в этот момент объяснит?

Очень трудный, в общем-то трагический момент для всей его жизни. Ведь может сработать (и срабатывает)

эффект коллективного взрыва, ну, как психическая атака в войну, которая, по рассказам очевидцев, не поддается обычному анализу и стандартным меркам...

Это особый коллективный настрой, порыв, и человек, включенный в него, ведет себя иначе, чем отдельно в жизни... В жизни он не выстрелил никогда в другого человека, а в момент общего психоза, который политкомиссары даже очень учитывают, он может поднять саперную лопатку или направить танк в гуцу толпы...

Осмысление, как и приступ совести, придет потом.

Я не в оправдание, понятно. Вы помните кадр из кино-документа Подниекса — там десантник поднимает приклад над головой беззащитного человека?..

Это усилено повторением, ибо он и правда будет поднимать свой автомат столько, сколько понадобится... И даже каждый следующий раз жесточе... Такая уж психология убийцы... И вот там особенно отчетливо видно не человеческое выражение лица.

Лица ли?

Звериный оскал — конечно, точнее.

Вот что движет и будет двигать этими ребятами: озверение, и вскрыты все те черные дыры в душе, которые есть у каждого человека, но которые погребены, придавлены глубоко нашим интеллектом.

В какой-то пьесе Леонова — кажется, «Нашествие» — в финале в дом врываются фашисты, которые за минуту сценического времени должны сыграть роль злобного и кровожадного врага. И статисты его изображают: делают страшные позы, скалят лицо, гримасничают... Но не страшно. Злобу, а тем более зло, нельзя так сыграть.

Но когда мужчина, молодой и сильный, получает в руки настоящее оружие, — это особое и сильное чувство, да при этом ему еще выдается индульгенция, лишаящая его личной ответственности за происходящее...

Я был солдатом и держал оружие, я знаю, что это такое.

ПАРТИЯ — НАШ РУЛЕВОЙ

Я знаю, что я расскажу об этом страшном дне. Но я оттягиваю этот рассказ и как бы даю возможность побыть в той Риге, которая была такой крещенской, такой умиротворенной, что казалось — ничего ужасного уже случиться не может. Все, что было плохого, все — позади.

Но, правда, в здешней партийной газетенке, мне даже имя ее называть не хочется, вышла какая-то обо мне статейка, а в ней клевета. Отчего же так выходит, где Партия, там и кровь, там и клевета?

Или это единственное оружие, которым она владеет в совершенстве, и единственный ее довод в пользу своего существования?

В какие-то времена концерты, я их помню по участию в самодеятельности, начинались с песен торжественных, с таких, например:

*Партия наши народы сплотила
В мощный единый Союз боевой.
Партия — наша надежда и сила,
Партия — наш рулевой!*

Воспроизвожу по памяти, и сам думаю, сколько же подобных песен хранится в памяти, с ума сойти, и все это стало как бы частью меня и моей жизни. А иногда кажется, что

именно это только во мне и есть, потому что песни, стихи, фильмы и все остальное из прежнего времени лепили мою душу, формировали мое сознание, в какой-то мере я робот, созданный системой по ее образу и подобию, и в этом она здорово преуспела.

Вот недавно я захотел вывезти за рубеж свою четырехлетнюю дочку, но визу на выезд дочки мне не дали. Формально причину объяснили так: на такой короткий срок ребенка незачем везти за границу. Это они так считают, а я так не считаю, ребенок-то мой, и мне лучше известно, нужно или не нужно везти его и на какой именно срок... Но в том-то и дело, что люди системы считают моего ребенка как бы и не моим ребенком, а почти государственным и поэтому берут на себя ответственность решать, как им распорядиться моим ребенком.

Это у них нет средств обеспечить миллион голодающих и брошенных детишек, которые у нас по стране по детдомам и просто на улице живут, там ведь нужны несколько иные качества, чем запретительные, да те и не уедут сами за границу, не на что им уехать, им бы с голоду не умереть... Значит, там и волноваться нечего. Перемерут, да и это не беда, мы богаты, у нас миллион жизней туда, миллион сюда — ничего не значит.

Вот так и моей жизнью они в свое время распорядились: они практически создали меня и могут мной гордиться. Я был настоящим советским человеком, в том самом их понимании, как они себе это представляли. Я вкалывал, я верил их лозунгам, я строил их коммунизм и сам выступал на концертах с песнями и стихами, формируя в свою очередь других советских людей подобно себе. С пафосом пел замечательные слова той упомянутой мной песни... Она, кстати, так и называлась: «Партия — наш рулевой», и по радио ее исполняли часто, почти каждый день.

Не худо бы, наверное, когда-нибудь переиздать песни нашего детства и юности, вот уж интересный вышел бы сборник, настоящий документ того времени... Мы с приятелем однажды стали вспоминать песни о Сталине, нам хватило этого занятия на весь вечер!

Не Пушкин, не сонеты Шекспира, не старинные романсы, от которых мы были бы иными; в нас внедрено антиискусство, создающее античеловека.

Но сейчас я о другом.

Я о том самом рулевом, то есть о Партии, которая семьдесят с чем-то лет была за обозначенным в песне «рулем», его еще называют красивым словом: штурвал, и доручила до наших ужасных дней, и далее рулить пытается.

И многие из моих знакомых (их питали те же песни и те же идеи) вовсе не торопятся покинуть этот партийный корабль, считая серьезно, что партию составляют не только бандиты, окопавшиеся сверху, но честные коммунисты, остающиеся верными своей идее в так называемых низах.

Что правда, то правда, в партии всегда были и сейчас есть люди честные, которые не участвовали в репрессиях, не стукали друг на друга, а в лучшем случае отмалчивались во время «единодушной» поддержки того или иного мероприятия верхов.

Но вот вопрос, не было ли наше «единодушное» молчание своего рода поддержкой всего бесчестного, что творилось по воле Партии, да и всегда ли удавалось промолчать, ведь в нужный момент любого из нас могли вызвать в соответствующий кабинет, как вызвали одного хорошего поэта, когда понадобилось расправиться с другим замечательным поэтом, и предложили на выбор: выступить с осуждением или положить партийный билет на стол.

Существовала такая формулировка, судя по всему, очень страшная: «Положить билет на стол». Что это означало, думаю, не надо расшифровывать, это было началом небытия, при том что человек мог быть молод, и здоров, и дееспособен, как говорят, но при этом в его какой-то неведомой графе ставился крестик (крест!) на всю его дальнейшую жизнь. И далее ни на работу, ни за границу... Ни-ку-да!

Как прокаженный, как носитель вируса СПИДа, ты становишься изгоем в любой среде, и уж тебе не то что трояк взаимы, руки не подадут, а лучшие из друзей станут переходить на другую сторону улицы, чтобы нечаянно не столкнуться и не заговорить... Такой ты, оказывается, опасный человек...

Да и человек ли ты уже? Без билета-то?

Коммунистическая идеология могла тебе простить беспробудное пьянство, разврат или, скажем, взятки... Анекдот того времени: должен ли коммунист платить партвзносы со взятки? — Должен, если он **НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ!** Но

идеология никогда, никому и ни за что не прощала отклонения даже на миллиметр от своего официального учения.

Не так давно мне удалось впервые выехать за рубеж, до этого, как и моей дочке, мне не разрешалось выезжать, но почему — я не знал. Разве что догадывался. И вдруг разрешили. А я возьми да спроси секретаря Союза, с которым шел на эту тему разговор, отчего же все-таки раньше-то не разрешали, кому я со своим выездом мог мешать?

Чуть замешкавшись, он ответил, что «там» («там» — и неопределенное движение рукой) стоял против моей фамилии маленький крестик (крест!) за какие-то мои грехи... Подписал я письмо, что ли...

Во-первых, любой наш секретарь Союза писателей ходит под КГБ, а значит, точно знает, кто ставил крестик и за какую провинность. Да и я в общем-то знал: в какие-то времена, в середине шестидесятых, подписал я письмо в защиту Юрия Корякина, писателя, с которым тогда расправились партаппаратчики, приказав ему положить тот самый билет на тот самый стол...

И парторг Союза писателей, некий Разумневич, не преминул как-то раз на ходу об этом напомнить — письмецо-то с твоей подписью, не думай, не затерялось, хранится, а значит, помнится...

А парторг, да еще Союза писателей, это тоже человек от КГБ... Да у нас пальцем ткни в любого из руководителей литературы — в кагэбэшника попадешь, такая важная для них сфера идеологии. У поэта Владимира Соколова есть стихи:

*Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек,
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек...*

А кто же мы тогда?

Ну, разоренная дотла страна, дорулили наши, что называется, до точки, до обнищания всеобщего, до уничтожения генотипа... Разбазарили недра, распродали духовные и материальные ценности, убили природу...

Но еще в живых (истреблена, но не добита) числится нация или нации, то есть кто не был в лагерях, не сидел в

психушках, а был самым обыкновенным заложником, рабом коммунистической системы, и честно молчал, и единодушно поддерживал, и верил... Как все мы верили... Ну, хотя бы тому, что «наше поколение будет жить при коммунизме...»

И среди этих выживших много самых простых, не творивших зла коммунистов. Но теперь-то все они неужто не ощущают в соприкосновении с другим, «некоммунистическим» и пресловутым миром, что не их мир, а наш, наш мир, как и мы сами, какой-то не такой: и злей, и раздраженной, и бесчеловечней, что ли... Мы и доброту свою традиционную где-то растеряли, и честность, и порядочность, и интеллигентность, которые от века почитались российской добродетелью.

Так от века не было условий таких, чтобы вся нация с утра в очередях, за куском хлеба (о масле разговора нет), без медицины, без добротного жилья, да и вообще без каких-то морально сдерживающих законов, ибо от Бога отказались, а своих (коммунистических) заповедей так и не выработали.

Ну, разве одну, что человек человеку — товарищ волк.

И остается барщина да раздача за нее пайков, которые можно захватить, лишь оттеснив себе подобных.

Если это есть тот самый обещанный коммунизм, то мы к нему, конечно, пришли. И наш Рулевой зарулил нас куда надо. Теперь бы ему на съездах, вместо пространных программ, из которых ни одна за семьдесят лет не выполнена, но об этом молчат, принять в своей деятельности два бы пункта всего. Первый: покаяться в своих преступлениях (хотя неизвестно, простит ли народ) и распустить Партию как организацию преступную, античеловеческую, осудив прошлое и дав на будущее обещание, что впредь подобных партий создавать у нас не будут! И конституцией бы ее запретить как антигуманную, направленную против человечества вообще.

Так нет же, полозковы на стреме, и от имени еще одной, мало им старых партий, обещают народу ни больше ни меньше, как: «Компартия берет на себя функции защищать интересы трудящихся...» И что она «является выразителем интересов трудового народа...»

Ну, то есть практически это надо понимать так: бастуют шахтеры, а эти полозковы являются выразителями их и поддерживают шахтеров в их тяжелой борьбе за свои права.

Вы слышали что-нибудь подобное?

И я не слышал. Разве что Партия призовет к запрещению забастовок, выражая интересы... Свои, конечно. Никто не даст ей больше прав выступать от имени народа, который она практически погубила.

Но она «выходит из окопов», это она сама о себе так говорит, и, как в семнадцатом году, сама берет власть от имени народа, и сама себя и свои интересы защищает.

Как — мы знаем. И в Риге, и Вильнюсе на себе ощутили.

Самое опасное в этой Партии, в ее идеологии то, что она всегда была и остается разрушительной, а не созидательной силой, но еще страшней, что она создала для человечества (слава богу, не все оно подпало под власть коммунистов) свою новую религию, свое Писание...

Вот мой отец, вспоминая армию и фронт, называл политработников попами!

Они внедрили эту религию в души людей (по-ученому, наверное, в гены), извратив природную, Божественную сущность человека... Усилиями этой партийной религии создан новый природный феномен, прозванный за рубежом «гомо советикус»...

Уж на что в Германии было прочно всегда природное трудолюбие, а ныне, после сорока пяти лет коммунистического режима, людей из ГДР, по словам социологов, нужно заново переучивать работать. А что же о нас говорить — нам ставят в пример Тайвань, Сингапур, Малайзию, даже Африку... Ибо наш уровень во всем ниже.

Писатель Соколов-Микитов еще в 21-м году, из эмиграции, бросает большевикам обвинение, так, кстати, и названное: «ВЫ ПОВИННЫ».

«Вы повинны в том, что довели народ до последней степени истощения и упадка духа. Вы повинны в том, что истребили в народе чувство единения и общности, отравили людей ненавистью и нетерпимостью к ближнему. И от кого ожидаете помощи, если вы же научили людей смотреть друг на друга как на врага и радоваться чужому страданию...»

Сказано, как сегодня о нас сегодняшних.

Хотим мы или не хотим, но мы иные, чем остальной мир, и я тоже другой и не могу не ощущать этого при встречах со своими коллегами. Наверное, нужны поколения, но это в благоприятных условиях (а где их взять!), чтобы нация

могла восстать, могла бы поверить в свои силы и выйти из состояния реанимации.

Но есть ли выходу смертельно больного, если он не верит собственному врачу?

В прошлом году я отнес заявление о выходе из партии, отдал девочке секретарше, и она взяла молча, положила в какую-то папочку. «Всё?» — зачем-то спросил я. «Всё», — ответила мне. И я ушел. Прозаично до неправдоподобия. К чему были колебания, советы друзей? Для того лишь, чтобы вот так, буднично, расстаться навсегда с призраком, который составлял всю мою жизнь? И про который как-то обмолвился Александр Солженицын, определив его суть: «Коммунизм — это небытие».

А впрочем, недавно прошел слух, что в нынешнем нашем Союзе писателей составляют списки вышедших из партии... Кто-то против наших фамилий ставит новые крестики...

Кресты.

Не означает ли это попытку объявить нас вне общества, вне литературы и вне жизни... Как будто то, что они в себе несут, можно назвать жизнью. Коммунизм — это небытие. Я с Александром Исаевичем согласен.

Господи, мне хватало и без Балтии понимания того, что нас ждет. Я не хотел такого урока, каким в моей жизни оказалась Рига и ее баррикады. Но этот день, наверное, в каких-то их, партийных, святцах уже существовал, и он не мог не произойти.

У них он зовется «операцией X».

Не так давно один болгарский юрист, бывший политический сотрудник кабинета Живкова, опубликовал один секретный документ, существовавший в одном экземпляре, он так и называется «ПЛАН ОПЕРАЦИИ X» и касается давних событий в Чехословакии.

Вот с чего он начинается: «Сионисты, ревизионисты и контрреволюционные элементы... предприняли широкое наступление против социалистического строя, против КПЧ и органов диктатуры пролетариата. Отрыв Чехословакии от социалистического сообщества и ориентировка ее на Запад — главная их цель...»

Знакомые формулировки, не правда ли?

Сейчас бы только еще добавили что-нибудь вроде: сепаратисты или — деструктивные элементы...

Так что предлагается делать?

1. Организовать воззвания и письма рабочих отрядов.
2. Организовать демонстрации рабочих отрядов на улицах.

3. Партийные организации должны (!) организовать выпуск резолюций, писем, обращений и т. д.

Каких обращений? Ну ясно же, каких, тех самых, с которыми обращаются Рубикс и его подручные в Москву.

А что же Москва?

В инструкции об этом четко все расписано. Читайте.

1. В ночь перед установленной датой (кем установленной? — А. П.) от имени нового руководства должны быть изолированы и обезврежены главные вражеские и сионистские элементы.

2. Этим же вечером должны быть захвачены радиостанции в Праге, Братиславе и Брно, телевидение ЧТК, почта и телеграф. Тем самым должен быть установлен контроль над газетами и корреспонденциями иностранных журналистов.

3. Необходимо захватить Министерство народной обороны и Министерство внутренних дел.

И остальное в том же роде. В пункте 8, например, указано, что необходимо «выступить с воззванием к чехословацкому народу от имени нового руководства с целью разъяснения своих действий по защите социалистической демократии...»

Вот так они ее понимают. Эту самую демократию.

А далее нужно организовать митинг в поддержку... А на созванном пленуме «представители нового руководства выступают с резкой критикой группы контрреволюционных элементов в ЦК КПЧ...» Наметьте мероприятия, «компрометирующие их...» как западную агентуру, связанную с сионистскими центрами... И даже (читайте! читайте!) «должен быть распространен на чешском языке призыв от имени «нелегального руководства» пронацистской... партии...»

На кого же рекомендуют составители Плана опереться в этих действиях? Да все на тех же: некие рабочие отряды, госбезопасность (она поставлена в первый ряд!), народная милиция и некоторые подразделения армии... ОМОНа тогда еще не было.

Причем добавлено: на случай провала разработан план ввода в действие подразделений вооруженных сил...

Ну, тех самых, которые они потом и ввели.

КРЕЩЕНИЕ

Тот день я помню до мельчайших подробностей. Утром я направился в церковь, а по дороге встретил Владимира Кайякса, он ехал выступать от Союза писателей на площади.

— Подожди меня, — попросил я. — Я буду выступать с вами.

— Прости, но тороплюсь, — ответил он на ходу.

— Ладно, я вас догоню.

Но не все так просто. Жена, как водится, настороже. И почему-то в этот день не ушла далеко гулять. Увидела меня, встала на пути.

— Ты куда собрался?

Я молчу.

— Ты в Ригу собрался? Да?

— Да.

— Зачем?

— Ну, как зачем... Ты ведь понимаешь...

— Нет. Я тебя не понимаю, — говорит она твердо.

— Но мне правда нужно... — бормочу я.

— А ребенка, случись с тобой несчастье, кто будет воспитывать? Ты подумал?

— Да ничего же не случится!

— Это ты так думаешь... А омоновцы думают совсем иначе! Нет! Нет! Никуда не поедешь, ясно?

И все-таки, заручившись поддержкой двух моих друзей — они стали и моими соратниками по баррикадам — Валерия Блюменкранца и Леонида Ковалья, я еду.

Сперва на электричке, потом до центра уже пешком.

В день Крещения даже баррикады кажутся праздничными: санитары, повара, медсестры, рабочие, натягивающие колючую проволоку... Один из них перевязывает пораненную руку... А на рукаве его приятеля начертано: «Москва, пожалуйста, не посылай нам больше убийц!» Выступают бродячие артисты, скоморохи, исполняют политические частушки; жаль, конечно, что не знаю языка. Народ, окруживший их, громко хохочет.

А рядом читает стихи поэт, кто-то, не скрывая слез, плачет.

— Если бы Горбачев видел эти лица, — произносит Валерий. — Он бы не назвал их экстремистами, он бы понял все...

Валерий немного идеалист, и в силу доброты он всех желает видеть такими же добрыми, как он сам.

Но я знаю — ни Горбачев, ни его команда этого не увидят.

В том-то и дело, что у политиков, а точнее, у политика-нов, нет глаз, у них совсем другие бесчувственные органы...

Для говорения, для слушанья и для смотрения.

Они слушают людей, но слышат себя. Они говорят людям, но лгут, потому что не умеют не лгать. Они смотрят на мир, но видят они лишь то, что им хочется...

Известна история о Ленине, который гулял в горах в Швейцарии с одной из прекрасных женщин, и она полагала, что в этот момент вождь мирового пролетариата думает о том же, о чем и она, то есть о прекрасном... Ну а тот, оглядывая божественные окрестности, вдруг заметил: «А все-таки меньшевики сволочи...» Или что-то в этом духе...

Я же вот о чем подумал.

Пройдут эти дни, и закончатся они, надеюсь, все-таки миром. Поостынут сердца, спадет накал... Но несколько дней свободы, пережитые этими людьми, не пропадут, они не могут исчезнуть навсегда. Потому что в эти дни люди, может быть и не догадываясь об этом до конца, стали другими. И если даже рубиксы и полозковы захотят их погрузить в

новое семидесятилетнее рабство, с ними ничего уже не сделать. Для этого их надо сначала убить.

Посреди площади священник читает Библию, и борода его вьется по ветру... Еще холодно, но он не замечает холода, и голос его, как голос пророка, реет над толпой.

На улицах попадаются санитарные машины.

И Леня говорит:

— Вчера обсуждали, обращаться или нет по поводу сдачи крови...

— А кровь-то есть?

— Да есть, есть... Многие сами идут и сдают.

— Ну слава богу!

И опять машины, машины, машины... Они как живые существа, не случайно омоновцы относятся к ним как к личным своим врагам, стреляют, поджигают их.

А у меня еще с детства к машинам какое то особое, почти родственное чувство. Мой дядя Миша работал грузчиком на машине и однажды взял меня, лет шести, что ли, в кузов и провез по улице, а я дрожал от страха, но ехал...

Да и Вилька Паукшта, что жил по соседству и шоферил, приезжал частенько пообедать прямо на машине и ставил ее у ворот нашего дома — вот был восторг! Мы прилипали к мотору, еще тепленькому, вкусно пахнущему маслом, и так были готовы часами стоять и мечтать, что когда-то тоже сядем, как дядя Виля, за руль...

А потом в Братске, где я работал и жил, лишь один автомобильный транспорт по тем непроезжим дорогам и был вокруг, он и кормилец, и работяга...

ЗАБОР-ГАЗЕТА

Надписей на заборах и на стенах еще прибавилось... Мне показалось, что стало больше стихов.

*Да не пройдут сюда войска,
Да не прольется кровь народа,
Но если...
Обломаем им рога,
Да здравствует свобода!*

А вот еще:

*Мы хотим одной лишь доли,
С латышами и на воле,
Нам с Рубиксом не по пути,
Жить в страхе, в сумерках и в лжи...*

Надпись на борту самосвала — нарисованы два солдатских сапога:

*Мы принесли серп и молот,
Смерть и голод!*

Призыв во весь борт машины:

*Мужество — не исполнять преступный приказ!
Насилие — не геройство!*

Нарисованы две крысы с фашистскими свастиками:

Из страны вон — ОМОН!

А вот уже знакомый плакатик про Рубикса, вывешенный на бортике рефрижератора:

*Молился ли ты на ночь,
Фред Петрович?*

Красивое застолье, можно на рисунке узнать Горбачева, Язова среди других генералов... Они пьют из бутылок, на которых обозначено «Кровь Литвы», а под мышкой наготове уже другие бутылки: «Кровь Латвии»...

А внизу слова:

Завтра Москва? Ленинград?

И еще сюжет, серия фотографий:

ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ В БАКУ

Частушки:

*Коммунисты проиграли выборы в Советы,
Направили на народ «черные береты»!*

*Коммунисты не сумеют население накормить,
Из ЦК дадут команду: поголовье сократить!*

Естественно, разговор идет о поголовье населения.

На белом листе: ЗАКОНЫ КОММУНИЗМА. (Проставьте сами.)
Люди разными почерками проставили:

*Ложь. Кровь. Убийства...
Ненависть к человеку.
Насилие.
Кто следующий?*

Самодельный листок из тетради:

«ОТДАЙ, ПАЛАЧ, НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ЛИТОВЦАМ!»

Алексееву (руководителю Интерфронта):

*Ты на министра-дипломата
Похож (найди бы мне слова),
Как обосравшийся котенок
Похож на раненого льва...*

Еще листок:

Москали, вон!

Рядом ответ:

Мы за свободу! (Моск. обл.)

На заборе:

*Кузьмин! Звание оккупанта легко заслужить,
Но литовскую кровь никогда не смыть!*

Листок:

Так держать, латыши! Молдова за вас!

Карикатура:

Горбачев стоит в коротеньких штанишках и держит за веревочку игрушечный танк, а у его ног другие военные игрушки, а сам он по шею вымазался в крови... И штанишки, и даже руки...

Над ним наклонился большой дядя (НАРОД?) и строго, спрашивает:

«ОПЯТЬ ИСПАЧКАЛСЯ?»

Был вечер истинно праздничный, благостный и вовсе не тревожный. Я простился с моими друзьями, сел в электричку.

Ехал домой и, сколько ехал, находился в каком-то особенном и трепетном настроении, ощущая всю полноту счастья.

Горел за Даугавой долгий и чистый закат. И казалось, в такой-то особый день насилия быть уже не может. Ни здесь и нигде вообще... А только мир и радость.

Жена встретила меня у порога, лицо ее было страшное:

— Жив... Слава богу...

— А что случилось?

— В Риге...

— Что в Риге?

— Началось... В Риге... Стрельба.

СМОТРИТЕ И ДУМАЙТЕ САМИ

А было так: во время выступления по телевидению председателя Совета министров Иварса Годманиса вдруг передачу прервали и ведущий взволнованно сообщил:

— Сейчас не время для успокоительных речей. Нам только что сообщили, что в старой Риге, на мосту Браса и в центре города, идет перестрелка...

Я зашел в номер к моей приятельнице Инне. Там уже находились, сгрудившись перед телевизором, многие из моих друзей.

На меня даже не оглянулись, слишком невероятно было то, что было. Как выразился кто-то потом: картина боевых действий в мирном городе в выходной день.

Телевидение было настроено на Ригу, откуда я только что приехал.

Передавали — выстрелы...

Я написал и подумал, что так, наверное, оно и было. Ведь ничего другого понять еще было нельзя. Темные улицы, выхваченные из этой темноты посверком автомобильных фар деревья, стены зданий, автомашины, бегущие люди... Но главное — автоматные очереди... Впрочем, как утверждала Галя Дробот, а у нее фронтовой опыт, временами вступал и пулемет.

Съемку, как тут же объявили, сделал оператор «Взгляда» Владимир Брежнев, проживавший в гостинице напротив

здания МВД. Но самого его ранили... Пуля прошла между телекамерой и лицом и ударилась в стену, осколок кирпича попал в голову.

Но эту подробность мы узнали потом.

Привезли кадры финского телевидения, оператор тоже ранен.

Здесь уже чуть видней.

Можно рассмотреть милицейские, с желтой полосой, газики, видимо, и на них прибыл ОМОН, и еще одну, на переднем плане, подожженную автомашину. В ее свете люди в беретах бегут вдоль газона, ложатся, стреляют по окнам здания Министерства внутренних дел.

Вспоминайте план «Х»! У них для захвата все те же объекты: штаб, телевидение, МВД...

При общем молчании Галя повторяет:

— Это автоматы... А вот, слышите, пулемет!

Сквозь выстрелы можно различить и голоса. Кто-то кричит, наверное, оператору:

— Вот они! Двое лежат!

Врывается ругань на русском языке: «Пе-де-рас-ты!» И следом цепочка транссирующих пуль...

Передача прерывается для объявления:

— Всех работников милиции просят прибыть в Ригу.

Далее, для справки, телефон...

Показывают раненого оператора-финна. Молодой, высокий, спортивного вида, спокойно, очень спокойно рассказывает репортеру, что с ним произошло. Золотокудрая латышка переводит.

Ведущий объявляет, что правительство Латвии связалось по телефону с маршалом Дмитрием Язовым, ответ короток: «Я ничего не знаю, да и не мое это дело»...

В том же роде ответил и министр МВД СССР Пуго, он же ничего не знает.

Как всегда, врут.

Но, более того, никаких встречных вопросов, никакой, вообще, обеспокоенности. Впрочем, они ведь сейчас отдыхают. Что им выстрелы, убийства, несчастье людей.

Но зато обеспокоен Запад. Поступило сообщение из Вашингтона: телекомпания мира, прервав сообщения, передают об уличных боях в Риге.

Но это в мире, из Москвы же транслируют очередное развлекательное шоу. Это уже становится одной из традиций телевидения Кравченко: чем в стране хуже, тем на экране лучше. А если Москва веселится напропалую, жди в стране больших неприятностей!

Только на следующий день, в программе «Время», будет сказана такая туманная фраза: «Произошло столкновение...»

А в дополнительной хронике и того хлеще: «По патрульной машине войск особого назначения, проезжающей по центру города, из здания МВД был открыт огонь, и в качестве защиты омоневцы тоже открыли огонь...»

Но среди жертв омоневцев почему-то нет. Об этом молчат.

А версию о столкновении, как по сигналу (телевидение из Москвы и есть теперь сигнал для действий, а здесь в Прибалтике для коммунистов так особенно), подхватывает и прокоммунистическая печать.

К сожалению, такая дезинформация появляется и в обожаемых мной «Известиях». За подписью И. Литвиновой (я потом убедился: ее репортажи вообще, мягко говоря, недобросовестны) подается такая версия: омоневцы, оказывается, поехали просить МВД защитить их семьи от надругательства, а по ним, конечно же, открыли огонь из пулемета с крыши здания и из автоматов из окон...

Далее омоневцы объясняют события так: «Мы вступили в бой. Но так как нас в наряде было всего двенадцать, мы срочно вызвали с базы подкрепление. Иначе нас просто бы уничтожили...»

И. Литвинова этот рассказ никак не комментирует, ей, наверное, кажется достоверной вся эта несурезица. Вопросов же возникает масса, ну, например, если поехали просить (причем в воскресенье, в половине десятого вечера), то зачем при себе держать оружие? А если с оружием, то это уже никак не просьба о защите, а самое настоящее нападение!

Да и поехали-то не униженные и оскорбленные, а поехал «наряд», как указано в репортаже, то есть боевая группа.

И как же можно говорить, что их хотели уничтожить, если они при этом шли на приступ здания, чтобы уничтожить других?

Ну, возьмите да поезжайте домой, отоспитесь и возвращайтесь наутро и без оружия, как это водится у людей, которые пришли с мирными целями.

Но если бы и вправду было так. А вот тут и встает вопрос об этике журналиста.

Одни кладут свою жизнь, чтобы эту самую истину добыть.

Другие, вот как Литвинова или тележурналисты Бирюков и Невзоров (да в том-то и дело, не одни они!), эту истину пытаются исказить или скрыть.

Ложь — от президента до борзописцев — была и остается их орудием в борьбе за власть партаппарата.

События же далее развивались так. (Пишу кратко, потом дополню.)

Ранен оператор кинохроники. Лишь потом узнаю, что он из группы Подниекса.

Еще один оператор убит.

Репортаж датского телевидения: памятник Свободы (я стоял около него недавно, на пути к электричке), бегущие люди, крики, стрельба.

Режиссер (женщина) неплохо говорит по-русски:

— Мы находились в Домском соборе, там шла съемка. Выходя на площадь, еще пошутили, что такая тихая, такая мирная революция, что можно лишь снимать тишину и уезжать домой... И вдруг нам показалось, что где-то прозвучали выстрелы... Мы побежали в эту сторону, но нас остановили, пытаясь оберечь... Но сами-то люди не береглись, они нас защищали... Таксист пытался посадить в машину, чтобы увезти, но мы не захотели... Мы направились к центру...

— Вы близко подошли? — спросил ведущий.

— Не подошли, а подползли... Но они открыли огонь в нашу сторону... Мы забрались под машину... А наш оператор в ярко-желтом костюме, мы беспокоились, что он так заметен!

Я хочу обратить внимание на эту очень важную информацию:

«ОНИ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ В НАШУ СТОРОНУ».

То же было с оператором «Взгляда» В. Брежневым.

То же с финским и другими корреспондентами.

Переключились на другую информацию, но женщина, случайно, конечно, оставалась еще в кадре, и вдруг мы увидели, что она плачет...

Пока рассказывала зрителям, держалась, а когда решила, что ее уже никто не видит, дала волю слезам.

На студии спохватились, отключили.

— Показываем пленку... Мы тут ее еще не видели... Смотрите и думайте сами!

На экране снова молодые ребята, теперь это милиция и дружинники. Им не до репортажей, идет бой. Но они готовы коротко ответить, вот несколько слов:

— Что происходит?

— Омоновцы атакуют здание Министерства внутренних дел.

— Они уже там?

— Кажется, нет... Точно не знаем.

— Есть погибшие?

— Есть.

У парнишки из дружины, ему лет двадцать, белая сорочка и галстук под курткой — небось одевался так, чтобы после дежурства провести праздничный вечер.

Репортаж прерывается новостью:

В 23 часа 30 минут Иварс Годманис передал на студию, что стрельба прекратилась, происходят переговоры с ОМОНОм, занявшим здание МВД. Просят всех граждан города не выходить на улицу.

— А Сашка, дурак, ребенка в квартире держит, — вдруг сказала на нерве Галя Дробот. Сашка, который дурак, Александр Гриберман, ее школьный приятель, режиссер, работает на киностудии, а проживает неподалеку от мест, где все сейчас и происходит. — Сам он тоже где-то дежурит, но ребенком-то зачем рисковать, — продолжает Галя. — Мог бы вывезти на дачу, она теплая...

Переговоры ночью вел с омоновцами священник Алексей Зотов.

Война, убийство, кровь — дело политиков, а умиротворение, видать, удел церкви...

Так, во всяком случае, на деле происходит.

Не правда ли, символично?

Власти не смогли найти общего языка с озверевшей омовской братией. На переговоры направился Алексей Зотов, депутат Верховного Совета Латвии, чернобородый, округлое доброе умное лицо. Теплый взгляд. Уже ночью происходит заседание Верховного Совета, показали и самого Годманиса: он в бронжилете...

Священник рассказывает о переговорах, он конкретен, точен, справедлив в своих оценках.

Вот вкратце его рассказ:

— Поехал к министерству, на расстояние выстрела, в прямом смысле, дальше не допускали. Попытался вступить в переговоры, не отвечают. Позвал полковника Гончаренко, опять не отвечают. Попробовал сделать несколько шагов — кричат, предупреждают: откроют огонь... Попытки мои длились долго, пока на один из вопросов не откликнулся кто-то из охраны ОМОНа... Удалось вступить с ним в диалог, попросил его подойти ко мне, раз мне нельзя самому подойти... Он приблизился... Вопрос, ответ... Мирно, тихо я делал шаги к нему, а он как бы отступал, и так мы дошли почти до главного входа... Далее, конечно, нельзя. Тут я попросил позвать Гончаренко, и он, понимаете, вышел. И мы с ним очень спокойно поговорили. Я получил разрешение осмотреть дом, в котором, кстати, еще в осаде, на каком-то этаже находились замминистра внутренних дел и милиционеры...

Ну, картина такая: на этажах прямо на полу спали вповалку омовцы, спали как убитые... Да ведь напряжение какое! После боя! Сами они, насколько я понял, никакого урона не понесли. Я прямо оттуда попытался связаться с Годманисом по телефону и попросил Гончаренко взять трубку... Между ними произошел разговор, после которого омовцы пообещали освободить здание МВД...

Сюжет, как они покидали здание, мы уже смотрели на следующий день. Но вот что отметил особо в своем рассказе священник Алексей Зотов: эти ребята были за пределами нормального понимания вещей. Одному из них воспроизвели магнитную запись, где было якобы записано, как насилуют его жену, и это возмутило и подняло остальных... Да и у самого Гончаренко маленького ребенка выгнали из детского садика, уволили с работы жену...

Что там далее было с магнитной записью, я не знаю, но пленка такая была. Но тут возникает много вопросов.

Один из них: можно ли по голосу, особенно когда кричат, определить, кто кричит и что там происходит? Солженицын, например, утверждает, что при допросах наиболее стойких заключенных применяли записанный вообще на пластинку голос, который выдавался за голос жены заключенного... И люди верили.

Было, кажется, заведено уголовное дело, но результатов я не знаю. И все-таки понятно, что основная причина, конечно же, не в пленке, а как отметил священник Алексей Зотов, эти ребята загнаны в угол... Им, пережившим Афганистан и другие жаркие точки в стране, уже ничего не страшно, они ходят между жизнью и смертью. Вот в таком положении их и использует и направляет чья-то многоопытная рука... Чья? Не мешало бы разобраться!

Когда священника спросили об уголовной ответственности омонцовцев за совершенные убийства, он ответил так:

— Сперва они должны разоружиться... Но если даже мы будем их судить... — Очень осторожненько он это произнес. — Трудно будет доказать, кто же лично из них убивал... Они стреляли из автоматов, но автоматы переходят из рук в руки и т. д.

Когда они отъезжали на своих бронемашинах этой же ночью, была дана команда от здания МВД до района базирования ОМОНа — район этот называется Вецмилгравис — СОЗДАТЬ ДЛЯ НИХ КОРИДОР.

Ну, то есть не трогать убийц, дать им убраться восвояси.

Если когда-нибудь они возьмут власть, они коридоров для нас создавать не будут. Я в этом уверен. В лучшем случае загоны за колючей проволокой или — стадионы, как в Чили...

Еще одна деталь. Выезжали они, как утверждают свидетели, погрузив и свою добычу, то есть несколько ящиков бумаги, документов, а возможно, и какую-то аппаратуру. И на пути к себе заехали они к Рубиксу в Партийный дом, где пробыли (не все, а лишь командиры, остальные ждали в машинах) полтора-два часа.

Отчитывались о проделанной работе?

А результат их «работы» такой: погибло четыре человека, двое работников МВД, оператор документальных фильмов и один юноша, имя которого сразу определить не смогли.

Ну, те ребята из милиции, что пали во время штурма их Дома, мне понятны. Они защищались, как настоящие бойцы, и погибли от пуль омонцовцев.

Об этих пулях стоит, наверное, поговорить особо.

Да и о кинодокументалистах, я о них еще скажу, но тоже в общем понятно: в них, я полагаю, целились и стреляли особенно старательно, ибо они хотели донести до всех правду, а за правду у нас убивают.

Но я о четвертой жертве, о том парне, которого сразу и не опознали и о котором написали поначалу как о случайном прохожем, он попал в эту перестрелку и правда случайно и погиб...

Он-то за что погиб?

Лицо изуродовано, документов нет.

Человек, в отличие от операторов, которые шли на огонь, и милиции, защищавшей себя, ничего не снимал и ничего не защищал. Он шел по городу, и возможно даже, со свидания или на встречу с кем-то, он просто, как у нас говорят, жил...

И потому в еще большей степени он олицетворяет для меня общее несчастье, свалившееся на народ, который просто живет.

Так написал я в дневнике (запись от 23 января), еще не зная, что это погиб подросток, мальчик еще, по имени Эдийс Риекстиньш, ученик 65 средней школы... Я потом видел его на фотографии, выставленной у памятника Свободе: чистое такое, замечательно юное и прекрасное, красивое лицо. Ему бы жить и жить.

Господи, мы все виноваты перед этими ребятами, что не уберегли их, так помоги нам сохранить детей наших, пусть хоть они будут жить так свободно и мирно, как они хотят.

Эти слова шептал я в церкви, пока мой трехлетний ребенок ставил свечку.

Свечку перед распятием в память всех погибших, ребят из милиции и этого мальчика, а также моих коллег документалистов, возможно даже именно с ними я поднимал бокал за искусство, когда нам вручали государственные премии лауреатов.

Там, в Кремлевском дворце, я подошел к группе Подниекса и, как говорят, объяснился в любви к их правдивому

замечательному искусству документального кино. И мы вместе выпили. Они стояли там группой, и я не знаю, были в этой группе тот самый оператор, что погиб...

Перед Казанской Богородицею мы поставили еще одну свечку, моля о милости к тем живым, которых взяли под прицел эти люди...

А я опять возвращаюсь мыслью к корням этих преступлений, которые уходят туда, в упомянутый мной Кремль.

Там награждают. Там и убивают.

И какие бы мы ни отыскивали криминальные факты, случайные выстрелы, оскорбления, даже звукозаписи, с изнасилованием или без... (а, кстати, изнасилование могли совершить и уголовники по заданию тех же органов, мало ли мы знаем случаев такого рода!), но основная причина одна: это война, которую объявил Горбачев свободным или освобождающимся республикам.

А сценарии (то же, что планы «Х») могут отличаться количеством выстрелов, или — поджогов, или... убитых!

Мы уже убедились: они крови не считают.

ЗА ПРАВДУ УБИВАЮТ

На следующий день приехал и сам Саша, в столовой рассказывал нам подробности этой страшной ночи. Сам он дежурил в районе телебашни, а там, в общем, было спокойно. Единственный шум, как он выразился, от рабочих, которые укладывали в заграждение бетон. Часам к четырем он убрался домой.

На студии узнал о гибели Андриса Слапиньша, он с группой заканчивал дежурство в старом городе.

— «Луну» знаете? Кафе? — спрашивал Саша. — Ну, это неподалеку от русского драматического театра... Ребята из группы Подниекса были там, в студии, это в старой Риге... А тут выстрелы... Они бросились бежать по направлению канала, и сразу же по ним ударили из автоматов омовцы с горки у парка... Андрис не берегся, говорят, он открыто шел с камерой на стреляющих, может, он верил, что, увидев камеру, они не станут стрелять... Наоборот! У него, — добавил Саша, — двое детишек, молодая жена...

— А говорят, что его прямо в сердце?

— Ну, по-разному... А кто-то утверждает, что в голову... Могли и туда, и сюда. Главное, по ним стреляли.

Второй оператор, Гвидо Звайгзне, так изуродован пулей (пули-то особые, из «кувыркающихся»), что почки и все остальное задето... Ему удалили почки, а шведы прислали особый реанимационный аппарат... Есть надежда, что вы-

живет... На студии, по словам Саши, гнетущая обстановка, этих ребят уважали... Сегодня женщины ходили сдавать кровь...

По версии Саши, очень, кстати, достоверной, здание МВД необходимо было команде Рубикса для создания своего правительства. Но в последний момент, посоветовавшись с Москвой (помните, из беседы с Денисовым, Горбачеву четыре раза звонили из Риги, чтобы ввели войска), лидер коммунистов, он же председатель Комитета спасения, не решился на этот шаг... Перебираться под объективами зарубежных кинотелекамер... Без поддержки Москвы... без родных десантников...

Утром постучалась в дверь уборщица, вызвала в коридор, а там еще две уборщицы с другого этажа. Что-то хотят сказать, но мнутса, не решаются.

— Что-то случилось?

А у самого сразу мысли о жене и дочке, которые ушли гулять. Не случилось ли с ними?

— Хотели вам сказать... Электрика знаете?

— Ну!

— Он сегодня так о вас ругался... Неприлично даже повторять...

— Ну пусть ругается, — сказал я.

— Он угрожал, — повторили женщины.

— Когда?

— Да вот внизу... Сейчас...

— Не выпивши?

— Да нет, нет. Он на весь дом кричал... Может вам что-то сделать?

— А что сделать?

— Мы не знаем. Мы только хотели предупредить.

— Спасибо.

Но я возвращаюсь к прерванной теме.

В Литве были ранены журналисты Испании и Норвегии.

Испанский телеоператор был тяжело ранен, а его видеокамера была брошена под танк.

У людей отбирали, вышибали из рук фотоаппараты — бандиты боятся правды, отраженной в кинофотодокументах.

В одной газете написали: «Зверски избивали журналистов».

Но вот я подумал — и оператор «Взгляда», и другие журналисты, датские, финские, советские, выполняли свой профессиональный долг, и не случайно именно среди них столько же погибших, сколько и среди охранников порядка.

В них стреляли потому, что знали: они — это главное обвинение против того, что творит система.

Вот и Анатолий Головков в очень правдивом очерке об этих событиях («Расстрелянный сюжет») приводит слова жены Андриса Слапиньша о том, что группе мстили за литовские материалы. За то, что вильнюсский видеосюжет увидели во всем мире, а Юрису Подниексу анонимно звонили и предупреждали, чтобы не лез не в свои дела...

И другой оператор, Зигис Видиньш, подтверждает: «Мы оба почувствовали, что это прицельный огонь и цель — мы...»

Анатолий Головков пишет: «От пуль карателей гибнут не только обычные люди, виноватые лишь в том, что их угораздило родиться в стране «коммунистической перспективы». В перекрестки прицела все чаще попадают фоторепортеры, журналисты, кинооператоры — те, кто, выполняя профессиональный долг, собирают материал, который может стать документом обвинения... Я знаю журналистов, которых за «неудобные» статьи политическая мафия заочно приговорила к смерти. Мне известно, что в КГБ хранятся досье на наиболее опасных «для дела социализма» коллег. Знаю об этом и думаю: в какой стране мы живем?»

Я тоже об этом думаю.

Об этом же моя книга.

Ночью показали операцию парня, которому прострелили обе ноги.

Хирург замечательно провел операцию, одна нога еще ничего, а другая с раздробленной костью и порванными сосудами...

Да ведь пули те самые, со смещенным центром тяжести, они поражают насмерть.

После операции хирург приехал на телестудию вместе со своим помощником, прямо в белых халатах, лица у обоих усталые, у хирурга под глазами мешки.

Очень буднично произнес, что врачи сделают все, что в их силах. Они и госпиталь держат наготове на пятьдесят коек, дай-то Бог, чтобы он не понадобился.

— А раненый? — сказал он. — Хочется надеяться, что закончится хорошо.

— Хорошо, если не будет инвалидом? — спросил ведущий.

— Да, — ответил доктор. — Если не попадет инфекция. Мы дали большую дозу пенициллина... Но пуля...

И он развел руками.

Что же это за пули такие, о которых мы слышали лишь в последнее время?

Невзоров, например, заявил по ленинградскому телевидению, что в нашей армии таких пуль нет на вооружении, потому что нами подписаны по этому поводу всякие международные соглашения.

В цивилизованных странах, в их армиях, и правда, эти пули нельзя применять, даже на войне.

Даже!

Но мы и не цивилизованны, и не на войне, хотя война уже развязана Горбачевым и его партией против своего народа. И мы применяли их (калибр 5,45) при подавлении даже мирного населения в Баку, в Молдавии, а возможно, и в других местах.

Эти пули опасны тем, что, входя в человека в любое место тела, они как бы начинают блуждать, калеча по пути все органы, в которые они проникают.

Специалисты утверждают, что если от простой пули можно выжить, то эта пуля, даже попав в руку или ногу, обрекает человека на мучительную смерть.

Не так давно случилось мне встречаться с ребятами из старших классов, разговор зашел о росте преступности в нашей стране, неожиданно для меня школьники выступили в защиту смертной казни. Не все, конечно, но большинство. Довод простой: убийц надо убивать, так справедливо. И насильников надо убивать. И вообще всех жестоких людей, тогда их станет меньше. Я спросил, а что они знают о докторе Гаазе. Оказалось, что они впервые слышат это имя. Имя человека, которого чтит вся про-

свещенная Россия, даже памятник поставила в Москве, и все лишь за то, что построил тюремные больницы, что он взывал к милосердию к этим самым убийцам, насильникам и так далее.

Да и немудрено моим младшим друзьям не слышать о таком докторе, если вся система воспитания в нашей стране строилась на классовой ненависти к врагам, ко всем, кто осужден или просто даже арестован. Нужно ли рассказывать, что во времена моей молодости даже семья, даже детишки человека, попавшего в тюрьму, подвергались остракизму, в том числе и со стороны своих товарищей по школе, — вот тебе и милосердие. Откуда бы ему взяться в нашем обществе, и не только к осужденным, но и друг к другу?

Недавно я узнал, что на моей родине, в городе Люберцы, существует завод (завод!) по переработке собак в мясокостную муку, а вы спрашиваете, откуда возникли пресловутые «люберы» с их культом силы.

Родители этих детей работают здесь, и на их глазах точным методом животных, выловленных на улицах, превращают в муку. В год этак тысяч пятьдесят, ну у них, наверное, тоже план и социалистическое соревнование!

А вам, дорогой читатель, не приходилось наблюдать, как в очереди, любой причем очереди, оскорбляют инвалида или участника войны? Для них даже словцо оскорбительное придумали: «освободители» или что-то подобное.

Не только в очереди, сейчас оскорблять могут где угодно, и без видимой причины, люди раздражены настолько, что перестают замечать, насколько агрессивны они стали. И нет никакой надежды на близкую помощь, каждый, выходя на улицу, предусматривает лишь такую защиту, при которой он может надеяться на самого себя.

В газете «Известия» даже рубрику такую придумали, где объясняют несведущему человеку, как себя вести, если ударят, или будут грабить, или убивать.

Существование такой рубрики, против которой лично я ничего не имею, обозначает степень нашего падения... Когда-то, попав в Сибирь на стройку, я нечто подобное читал в инструкциях о поведении в тайге! Что делать, скажем, если встретишь бежавшего зэка, медведя-людоеда (есть и такие!) или просто худого человека.

Так неужели мы настолько озверели, что нам нужны таежные инструкции, а не библейские заповеди, среди которых одна из главных: «Не убий»!

Или медведь-людоед — пустячок по сравнению с нашим простым советским человеком, воспитанным в духе социалистического гуманизма?

Да что далеко ходить, не является ли наш высший орган власти примером для дурного поведения, не в его ли стенах с трансляцией на всю страну звучат отвратительные оскорбления в адрес президента, это уже не просто отсутствие депутатской этики, как мягко именует пресса, это отсутствие общей культуры, признак нравственной деградации нации.

Вот уж истинно: каков поп, таков и приход, и наши малоуважаемые представители, полномочные представители народа, которых подчас он и не избирал, начиная от самого президента, никак его не отражают.

При царе Петре бояре таскали друг друга за бороду, а в еще более давние времена освободителя России князя Дмитрия Пожарского (после его подвига) унизили наказанием, как последнего холопа...

Так неужто мы опустились ниже тех жестоких времен? Когда ни о какой демократии, даже социалистической, не слыхивали, а вели себя вполне по-человечески. И норму в отношениях друг к другу соблюдали, как-то догадавшись, что иначе им не прожить.

Сейчас много говорят о дедовщине, пытаются понять истоки жестокостей, поразивших нашу армию. Я же лично думаю, что жестокость и должна была проявиться в первую очередь здесь, ведь армия — это часть нашего общества, как и тюрьмы, и лагеря, и некоторые другие закрытые от гласности области.

В мои времена существовала в армии формула: приказ начальника — закон для подчиненных, что означало полное беззаконие. Мы хлебнули его сполна. Я тогда попал в госпиталь, а один мой приятель застрелился, ночью, стоя под знаменем полка на часах. Впрочем, потом и на гражданке в упомянутой мной Сибири, я слыхивал, говорили: закон — тайга, медведь — хозяин... Это означало примерно то же самое. В нас прямо-таки внедрялась мысль о невозможности противостоять насилию, если мы не станем такими же.

Общество всеми силами, начиная от школы, от букварей, создавало культ непримиримого к человеческим слабостям стойкого борца — пионера или комсомольца, типа Павла Морозова, Павла Корчагина, Павла Власова...

В школах висели цитаты из Крупской, утверждавшие, что подрастающее поколение должно быть сильным, смелым, ловким. Но при этом не говорилось, что оно должно быть добрым, милосердным!

Это уже на языке толкователей марксизма именовалось «абстрактным гуманизмом» и сурово порицалось. И наказывалось. Не отсюда ли на известную пропагандистскую формулу, что человек человеку при капитализме волк, в народе негромко добавлялось: а при социализме человек человеку товарищ волк...

Вот в личном письме писатель из Иванова Владимир Мазурик пишет: «...Ощущение общей беды становится в последнее время непреходящим. И дело тут не в личных трудностях — тяжело сознавать, что прахом пошло все, чему когда-то свято верили и поклонялись. Ну, ладно, может быть, когда-нибудь наладим экономику. Возможно, появятся сдвиги в социальной сфере. Допускаю даже, что пойдут на улучшение дела с экологией, хотя трудно сейчас в это поверить: слишком много здесь невосполнимых потерь. Но вот что ничем уже не восстановит — убита душа народа. Удалось наконец-то то, что не удавалось раньше никому — ни внешним завоевателям, ни крутым жестокосердным правителям России. По-моему, это одно из самых тяжких преступлений большевизма. Вот и спрашиваешь себя обескураженно: за что же нам такая кара Господня?..»

Существует в Германии, а может, и в других странах, такая странная страховка, дословно я не помню, как называется, но суть такая: «от нанесения неприятностей и убытков другому лицу». Ну, скажем, пролили вам суп на платье или машина обрызгала вас с головы до ног — вам через фирму возместят ваши потери.

И это не крохоборство, это желание окружающих, а значит, общества, сохранить вам во всяких несложных моментах вашей жизни спокойное состояние души. Не унизив при этом вашего достоинства.

Как, к сожалению, мы далеки от таких желаний!

Вот случилось у меня недавно, на ходу машины упал на дорогу «дворник», я затормозил, встал, но шла следом грузовая машина, она специально свернула и проехала по «дворнику», расплющив его на моих глазах, я всего-то несколько метров не добежал... И махал шоферу, просил его не наезжать...

Как это назвать?

Вот недавно в одной компании вспомнили по случаю шуточные слова поэта Светлова, что нравственный человек тот, кто не получает удовольствия от своей подлости. Мой дружок Жуховицкий делает поправку на наше время: нравственный человек теперь тот, который все-таки получает удовольствие от своей подлости, но — не очень большое.

А впрочем, может быть, я и вправду говорю о мелочах, если жестокость, поселенная в наших душах, способна в одночасье вырваться на волю, как радиоактивность Чернобыля, и породить такие чудовищные эксцессы, как Сумгаит, как Ош, как Тбилиси, как Баку, Осетия, Армения...

А ныне Вильнюс и Рига.

Кто следующий?

И это не при Сталине и не в войну, а сегодня, сейчас, когда я пишу эти слова (во времена так называемой перестройки), убивают детей, сжигают в домах стариков! Давят танками женщин и стреляют из автоматов теми самыми специальными пулями — со смещенным центром тяжести — в детей.

И делают это люди, внешне не отличающиеся ничем от других, наверное, в обычных условиях они выглядят как порядочные семьянины и добросовестные работники. Даже омонцев есть семьи.

Ну, правда, для успокоения обывателей произносится привычное: это-де не у нас, это далеко, а там (там!) восточные нравы...

Правда, про Балтию так достоверно уже не звучит, ибо придется говорить: «Западные нравы»... Или... Какие там еще... Но так ли это далеко, вот и до Подмоскovie добрались: зверски убит священник Мень, а люди из общества «Память» прямо в Союзе писателей могут вслух бросить писателю Адамовичу: «Подождите, мы скоро вас на фонарях будем вешать!»

Молоденький парнишка, голубоглазый, с простоватым лицом пэтэушника и в черной рубашке, сказал: «Подождите», и в общем-то можно понять, что они ЖДУТ. Ждут кризиса перестройки (и он наступил), ждут, пока выйдут из терпения люди: ну, водка, ну, табак, ну, хлеб... Обмен денег... Повышение цен, да такое, что в изумление приходишь, способны ли они там (там!) понять, что это за пределами существования простого человека, который не умеет воровать.

Что еще способна придумать всемогущая мафия, в которой сомкнулись все черные силы: партаппаратчики, военные, органы правоохранения и теневая экономика...

И все это под руководством генерального секретаря Горбачева, у которого главная сейчас задача — любой ценой сохранить свою власть. Люди как таковые с их проблемами для большевиков не существуют. Это первыми осознали шахтеры...

Один американец в Москве говорил мне: русские терпеливы, в Америке в такой ситуации давно бы началась гражданская война.

Ну, что же, он недалек от истины, но терпение и наших людей тоже не беспредельно, хоть они и терпеливы. Но насколько они терпеливы?

Опыт, которому мы так и не научились, показывает, что все это прежде кончалось кровавым бунтом, который неминуемо отбрасывает общество далеко назад.

ПРОЩАНИЕ

О церемонии прощания и похорон

Комиссия по организации похорон сообщает, что церемония прощания с жертвами событий состоится в пятницу, 25 января.

9 ч.-10 ч. — в Большом зале университета с погибшими прощаются родные и близкие.

10 ч.-13 ч. — с убитыми прощаются жители Риги и Латвии.

13 ч. — гробы с телами погибших устанавливаются возле памятника Свободы.

13 ч.-14 ч. — траурный митинг у памятника Свободы.

15 ч. — похоронная процессия направляется на 2-е Лесное кладбище.

Это был день для нашей семьи святой: ровно пять лет назад здесь, в Дубулты, мы познакомились с женой.

Но не по этому поводу я покупал цветы. С утра я встретился с Валерием Блюменкранцем и еще одним добрым приятелем, из рыбколхоза, Аликом, он только вчера вернулся из южных морей, втроем мы пришли к университету и встали в очередь, чтобы проститься с погибшими.

Конечно, мы позвонили и Лене Ковалю, но оказалось, что он от всех переживаний слег в постель с сердечным приступом.

Писатель — это тончайший прибор, подключенный к огромным токам жизни. Таким прибором может быть и не

писатель, а просто чуткий человек. Но уж писатель должен быть им, иначе он ничего не услышит. Хотя, с другой стороны, если он подключен, он зашкаливает, как говорят прибористы, и может сгореть...

И сгорают.

Люди стояли разные, много женщин с цветами, много молодежи.

Одна из женщин, она стояла перед нами, оглянувшись, спросила:

— Вы из Москвы?

— Да

— Как вам наша Рига?

Я подумал, что надо бы сказать так, что она и «наша» Рига, но спрашивала она, конечно, о другом. И ответил я так:

— Я счастлив, что в эти дни Господь Бог привел меня сюда... Но все это ужасно... Что произошло...

— Они ищут виновных, — сказала, снова обернувшись, женщина, теперь я разглядел, лицо ее было бледного, даже болезненного цвета. Но глаза ясные, взгляд серьезный. — Кто отдал приказ стрелять... Я бы им подсказала, как найти виноватых...

— Как?

— Да это вам любая женщина объяснит, кто умеет вязать... Я непонятно говорю? Ну, просто надо взять за кончик клубка и разматывать и разматывать... А начать нужно с солдата — кто отдал ему приказ? Сержант? А сержанту кто? Лейтенант? И далее: полковник, генерал, маршал...

— Вы уверены, что на маршале заканчивается? — спросили мы одновременно.

Женщина как-то грустно улыбнулась и ответила:

— Именно поэтому наши специалисты так не поступят, вот увидите, кончик клубка приведет в Кремль к господину Горбачеву...

— А Пуго получил генерала, вы слышали?

— Еще бы! А его под суд надо... А ему генерала...

— Тогда Язову пора генералиссимуса давать!

Из очереди углядел я мою приятельницу шведку Элизабет, она снимала похороны. Тут же в толпе она взяла у меня корот-

кое интервью. Вопрос у нее один: «Может ли подобное повториться еще где-нибудь? Скажем, в Ленинграде? В Москве?»

Я ответил утвердительно.

Алик, вернувшийся только с экватора, загорелый и почти благодущный, сразу же спросил меня:

— Я слышал вопрос, но не слышал ответа... Неужели это опять возможно?

Ах, какие мы все-таки легковверные. Из нас пустили кровь, наступила передышка, и мы сразу успокоились и рады-радешеньки, что кругом уже не стреляют. А вся эта коммунистическая банда уже планирует тут же, под боком, новую кровь...

Хотелось бы ошибиться, но я уже понял: в борьбе за власть они никого не пощадят. И через два месяца, когда в Москве по приказу президента ввели пятьдесят тысяч войска, мне по телефону напомнили этот разговор: «Да, а ведь ты был прав...»

А в эти же дни генерал Варенников на вопрос, будут ли использованы войска в Латвии, коротко ответил: «Не исключено такое развитие событий, что они ответят на провокации, оскорбления в свой адрес. В ситуации такого рода нельзя исходить из абстрактно-философских и формальных позиций...»

По всей вероятности, в устах «образованного» генерала, вспомнившего вдруг философию, и впрямь абстракцией являются этические и нравственные нормы, которые не затронули нашу армию. Генералов и маршалов, во всяком случае, они точно не затронули.

А «неформальной позицией», судя по всему, называется вот это самое: когда давят танками детей и женщин и стреляют в упор в гражданское население. Ну и, конечно, в журналистов...

Кстати, Элизабет сказала, в момент нападения омовцев была она в своей гостинице, что напротив здания министерства, и она лично видела, как ворвались «черные береты» в гостиницу и там стреляли...

— Теперь я осознала, — это повторила она несколько раз. — Я осознала, что на Западе не понимают по-настоящему, что здесь происходит... Как я сама не понимала... Но теперь я все поняла!

Мы простояли в очереди два с половиной часа, обогнув три угла здания университета, и когда оставалось завернуть за последний угол, парадный вход перекрыли. Начался митинг у памятника Свободе.

Валерий побежал в ближайший магазин купить съестного, а мы с Аликом дошли до здания МВД: у входа были выставлены фотографии погибших милиционеров, а кругом цветы и свечи: на подоконнике, на земле...

Стены были в выщербинах от пуль, прямо в стеклах окон мы увидели сквозные отверстия.

— Они все этажи заняли? — спросил я Алика.

— Наверное. Говорят, они стремились на пятый этаж, чтобы захватить архив... Там дела на них, судя по всему...

Мы прошли чуть дальше, в парк, прямо к мостику. И тут, у дерева на дорожке и у мостика, места гибели юноши и оператора Андриса Слапиньша были обозначены множеством цветов и горящими свечами. Женщины останавливались, начинали плакать.

— Митинг будем смотреть дома, — объявил Валерий. — Это рядом.

Мы с Аликом так промерзли, что уже не могли ему ответить.

Он наскоро приготовил бутерброды и достал бутылку водки.

Не чокаясь, мы выпили.

Господи, прими их души.

В то время, когда траурная колонна направлялась на кладбище, мы вышли из дома и встали на обочине, чтобы проститься. По обеим сторонам улицы стояли женщины, сотни женщин, и у каждой в руках горела свеча.

Мы примкнули к ним и сняли шапки.

Еще в тот момент, когда митинг транслировали по телевизору и ребята, такие же молодые, как погибший школьник, несли тело товарища, я вдруг подумал: а смотрят ли это они? Ну, те самые, которые убивали? Или они затаились в своем логове на Вецмилгрависе?..

А если ОНИ смотрят, что они чувствуют? Или они бесчувственные? Но у них же, у большинства, свои семьи, дети, родня, друзья...

Я ищу живое в них не для того, чтобы простить. Но ведь и суд понятен лишь тем, кто до конца не умер. Я имею в виду душу.

Я хочу понять их. Тогда легче понять и то, что нас всех ожидает.

А может, они, как волки в лесу, все отвергли и живут в состоянии войны со всеми, кто их окружает?

На днях показали интервью с этими парнями, трое, но говорил от них от всех один... неплохо даже говорил, но вот понадобилось вспомнить, какое же ныне число, а он не смог...

— У нас все спуталось в голове, — так объяснил.

В здешней газете «Фортуна», это одна из многих ныне объявившихся новых газет, опубликована статья Б. Брюханова под названием «Профессионалы». Статью можно было бы назвать и так: «Песнь об ОМОНе», настолько высоким стилем она написана.

Цитирую: «Задержанные преступники теперь понимают, что такое ОМОН. Понимаем ли мы?»

Кто идет в ОМОН? Ребята, получившие крепкую закалку в морской пехоте, воздушно-десантных, пограничных, внутренних войсках, бывшие воины-афганцы...

Какие же они, ребята из ОМОНа?

Много отводится времени тренировкам на различных снарядах, отработке приемов самбо, дзюдо, карате... В почете у них и парашютный спорт... Они проходят занятия по альпинизму, восходили на Эльбрус...

Оружие? Конечно! Надо в совершенстве им владеть: мгновенно быть готовым к ведению огня и метко посылать пулю в цель.

В какую цель — это вы уже знаете.

«Нам, — пишет автор, — показали некоторые приемы. Ловко получается у профессионалов! Скажем, из толпы они выдергивают зачинщика беспорядков, как морковку из грядки!»

Зримо, не правда ли: политический митинг в защиту Ельцина, скажем, а они вас, как морковку...

Статья написана до событий в Литве и Латвии, на фотографии изображены веселые молодые лица... А что бы автор сказал о них сейчас?

Как же эти «верные друзья» и, судя по всему, интернационалисты превратились в убийц?

Ответ не надо искать далеко, автор сам не заметил, как «проявил» этих парней, не найдя ни словечка об их моральных качествах, об их, ну, скажем так, духовной жизни.

Кстати, то же и у военных, вы помните, отсутствие связей с культурой, а это опасно и для жизни. Сперва для их жизни, а потом, как выяснилось, и для жизни окружающих.

Вот вчера объявили в новостях, что один омоновец погиб от пули там, у себя на базе, причина смерти неизвестна: то ли от неумелого обращения с оружием, то ли покончил с собой... Пуля попала в голову.

Вроде бы разговор-то о живом человеке (ведь еще одна жертва!), но случай ни у кого из окружающих не вызвал жалости и даже, кажется, интереса.

Ни у кого!

Слышал лишь, коротко поспорили: способен ли омоновец уничтожить сам себя или он выше этого и может лишь уничтожать только окружающих.

Если судить по Невзорову, это просто глубоко несчастные люди, которых ожесточило окружение. Они добрые славные парни, правда, с оружием, правда, стреляют, правда, убивают других... Но убивают-то, защищая себя!

Ну, а в споре, услышанном мной, возобладала иная версия: их уже прежде подбирали ТАКИХ, по особым и понятным всем качествам, и тут имели значение и черты характера, и личная несостоятельность, и жажда самоутверждения любой ценой, эгоизм или даже некий цинизм по отношению к жизни других... А может — и к своей?

Все, думаю, учитывалось их хозяевами.

Я не оговорился, именно хозяевами.

Ведь, по сути, Горбачев, чьей дьявольской гвардией становится ОМОН (так это ассоциируется в мнении народа), дал им всем индульгенцию: прощение за все, что они сотворят!

А значит, ОМОН — это олицетворение натуральное всей нашей системы. Она их создала по своему образу и подобию.

Так же, как Горбачева я представляю в роли пахана над Политбюро, состоящего из тех же политических омоновцев, которые его окружают. Но в общем вся их коммунистическая

верхушка устроена по принципу, заимствованному у преступной мафии.

Презрение к простому человеку, идущее от идеологии большевистских лидеров, вера в силу — вот религия ОМОНа.

У них особое назначение, и структура их руководства тоже о с о б а я. У них не может быть коллектива. А только СТАЯ. Не случайно в армии упоминают обычно командира, а тут — и предводитель, и атаман, и батька, и пахан, и...

Их отношения скреплены не дружбой, я так понимаю, а преступлением, которого они сами до конца не осознают. А значит, чужой пролитой кровью. Наверное, это немало.

А вот их дела в Риге и Юрмале.

В ноябре 90-го года. Ворвались в Юрмальский горисполком, избили 6 человек.

В начале января. Захватили Дом печати, избили 10 человек. Арестовали директора.

В январе. Ворвались в школу милиции, избили курсантов, захватили оружие.

В январе. Обстреляли, подожгли на мосту рафик с детьми.

В январе. Избили зверски рабочих, охранявших мост.

В январе. Убили шофера.

Они шли к своему преступлению 20 января.

Так что случайность ли, самоубийство — но это все равно наказание Божье.

Людского суда на них, как я понимаю, пока нет.

Ну, а в том случайном споре о самоубийстве была выдвинута и третья, тоже вполне достоверная версия, что могли этого омонца пристрелить и свои, не поделив что-нибудь.

Пожирают же друг друга шакалы, когда их загоняют в клетку.

ИДОЛ

Прошли похороны, и страсти улеглись.

В воскресенье, 27 января, в Риге разбирают баррикады, видимо, уверовав, что главная опасность миновала.

Но миновала ли?

А мы с дочкой впервые за многие дни вышли погулять на берег моря. Было солнечно. Но сильный ветер дул с юга, вдоль пляжей, и мы тут же убрались с берега за дюны, за сосны, и тропкой вышли на площадку у старого здания лютеранской церкви, что виднеется из наших окон: темная шлемоносная колокольня, здесь с каких-то неведомых мне пор располагается краеведческий музей.

Но, проходя иногда мимо, я ни разу не заходил внутрь, чтобы не разочаровываться.

А рядом, между Домом творчества и этой церковью, на святой церковной земле поставлен памятник Ленину, огромный каменный идол, занимающий всю просторную площадь, в несуразной, нелепой позе: то ли ветер разворошил его одежды, то ли растопырил дьявольские крылья, да никак не может взлететь.

А в общем, с какой стороны ни взгляни — чудовище с картин Сальвадора Дали: бредовая комбинация летучей мыши и упыря. Маленькая лысенькая головка чудовища неестественно отвернута в сторону от храма...

А чего, спрашивается, ему этот храм, когда в числе первых же его преступлений было убийство священников и грабеж церковного имущества, в том числе бесценных сокровищ культуры...

И он навечно проклят Богом и лишен естественного после смерти возвращения в землю, из которой он вышел. Это ли не самое тяжкое возмездие!

Но, не слившись с землей, он забрал ее, посмертно, у живых, многие нужные для хлеба, для деревьев, для детей гектары под такие вот памятники самому себе.

Вот, целый гектар в центре Дубулты.

Здесь, кажется, все замечательно и обихожено, на этой святой церковной земле: и липовая аллея, и зеленая травка, и полированный гранит, а дорожки выложены каменными плитами.

Нет здесь только жизни.

И прохожие, которым необходимо срезать наискосок площадь, проходят ее поскорей, прямо-таки пролетают без оглядки, ощущая, наверное, внутренний дискомфорт от нависающей над ними мрачной крылатой фигуры.

Да и мой ребенок, а может, и другие дети, отчего-то не любит здесь играть. Тяжелое излучение исходит от идола, и дети, как и их родители, ощущают его.

Дети-то ощущают особенно.

Крошечный букетик цветов, три гвоздики — единственное ему приношение в очередную годовщину его смерти, только что миновавшую.

А я помню другие такие же дни, когда 21 января сюда подъезжали автобусы, из них выходили люди с цветами, высыпала веселая молодежь, и все почему-то выстраивались в очередь, чтобы положить привезенные и купленные на казенный счет цветы.

Прогуливаясь неподалеку, много раз я наблюдал этот фантастический ритуал: люди выстраивались во всю площадку, подходили к Идолу по очереди, клали цветы, совершенно одинаковые гвоздики, по три штуки в букетике, под пристальным наблюдением партийного руководителя, который был тут же, его нетрудно было угадать. Вздохнув освобожденно, видать, и на них тяжело воздействовало излучение, исходящее от чудовища, убирались поскорей прочь, щебеча на ходу какие-то свои вполне живые слова...

И уезжали до следующего года.

К нему их жизнь не имела никакого отношения.

— Пап, а кто это?

— Это? Ну, это памятник такой...

— Зачем?

О, если бы кто-то мог ответить на этот вопрос.

— Ну, поставили...

— Я не хочу, чтобы его тут поставили, — сказала вдруг дочка.

Вот такое странное детское мышление, она верит в то, что можно исправить прошлое, стоит лишь заявить свое «не хочу». Мы-то уже не верим не только в прошлое, но и в настоящее исправление, уж очень прочно Идол взгромоздился на эту землю, слишком далеко протянул свои хищные крылья; и кровь в Вильнюсе, и гибель миллионов в лагерях, и голод, преследующий страну со времен октябрьского переворота, а теперь и национальная катастрофа — все начинается от него...

Коммунистические легенды (но, в общем, все их учение создано из розовых легенд и натуральных рек крови) приписывают ему человеколюбие, но не было в истории человечества большего злодейства по отношению к этому человечеству, чем власть, которую он силой насадил.

В эти юбилейные дни его рабская газета «Правда» вышла с таким сентиментальным оглавлением на первой полосе:

«ПРОСТИ НАС, ВЛАДИМИР ИЛЬЧИ!»

Бедные мы, бедные!

Семьдесят лет молились Идолу, а теперь у него же просим прощения... Язычники — рабы его, и он один из первых догадался о нашей исконной мечте, о желании такого рабства и предложил его нам — по Гроссману — после девяти месяцев свободы: новое, замечательное, самое лучшее в мире социалистическое рабство!

Церковные часы пробили полдень.

Ребенок ушел за спину Идола, к траве и деревьям, и там на отдалении играл, собирая какие-то веточки и сухие листья. Я верю, что ни моему ребенку, ни кому-нибудь из тех, кто будет жить после нас, Идол уже не понадобится, они его, конечно, снесут. Вот церковь будет стоять тут всегда. В этом я теперь уверен.

Но я бы не стал по обычаям древних сталкивать Идола в реку, жалко загрязнять воду... Не стал бы по обычаям ны-

нешних взрывать или курочить при помощи экскаватора и крана. Я уже нагляделся и знаю, как это происходит.

В сатирическом романе «Демонтаж» Анатолия Злобина описывается некая фантастическая ночь, когда рушат все сто тысяч памятников Сталину и выносят тело из Мавзолея.

Так, наверное, поступил бы и сам Сталин по отношению к своим врагам. Только он рушил не гипсовые идолы, а убивал живые души...

Даже римский диктатор Нерон не рушил памятники, поставленные предшественниками: он отбивал от торсов чужие головы и приставлял изваянные свои.

Комично, но это факт исторический.

А вот в курортном городе Ялте, на набережной, в один какой-то день скинули товарища Сталина наземь и увезли. Но так как памятник монтировался из двух частей и ноги вытесывались вместе с пьедесталом, они и остались стоять... Два прочных каменных сапога долго торчали на площади почти как символ, пугая своим видом местных жителей и отдыхающих.

Нескоро на этом месте догадались поставить еще более несуразный столб под названием «стела» в память о каких-то учреждениях, победивших кого-то в социалистическом соревновании в какой-то неведомый год.

А в городе Воркуте, но это я сам не видел, а лишь знаю по рассказам бывших эков, тоже стоял на центральной площади перед управлением «Воркутауголь» многометровый Сталин.

В день его смерти, а может быть, в ночь, на этой вечно охраняемой площади (тут и управление МВД, и милиция, и прочие часовые!) люди увидели дорогого вождя в очень непривычном виде: у него была отпилена голова и приварена намертво к протянутой в сторону тундры руке...

Сталин, держащий в руке собственную голову, посреди северного города, где свободных жителей практически и не было, эки да конвоиры!

Кто мог такое совершить, эки не ведают, но не охрана же, под носом которой неведомые смельчаки, рискуя своей жизнью, забрались на огромную высоту и автогенном провели невероятную операцию, выразив всю свою ненависть к подошедшему тирану и его учению.

Есть у меня дивный проект, скорей всего неосуществимый, но я все равно скажу, пусть люди подумают.

Свезти бы все памятники Ленину, да и вообще соцреалистическую атрибутику (в целом антихудожественную) на территорию Выставки достижений народного хозяйства, которая, если рассудить, тоже полноценное дитя этого творчества.

Ее огромные павильоны можно было бы заполнить огромными картинами Герасимова, Налбалдяна и других творцов этой системы, а по радио транслировать песни, сочиненные про Ленина, про Сталина, Ворошилова и так далее...

Здесь шли бы фильмы, посвященные вождям, — «Клятва» и тому подобное.

Здесь хватило бы места и музею Ленина. И музею Революции...

Всем его музеям.

А если не заполнят свои, нам задарма отдадут и немцы, и монголы, и другие народы, где памятников и музеев такого рода тоже пропасть, они не знают, куда их девать... Да, говоря уже про другого вождя, можно при случае добавить и из Северной Кореи...

Сюда, на Выставку, кстати, стоило бы перенести и Мавзолей Ленина, который, по предложению Алеся Адамовича, можно было бы до верха заполнить партбилетами коммунистов, покинувших эту мертвую партию. Такая выставка пользовалась бы невероятным успехом. Мы бы предоставляли ее в аренду Полозкову, или Нине Андреевой, или Михаилу Сергеевичу для очередных коммунистических мероприятий.

И на Мавзолее, если им опять захочется, для полноты ощущения, сколь угодно могут стоять, представляя парад или демонстрацию.

Доклад там какой, речь толкнуть — все можно будет, ибо народ этого, слава богу, никогда больше не услышит.

Да там можно и восковые муляжи поставить собратьев по партии: Ленина, Сталина, Маленкова, Никиты или Брежнева...

По заказу, кто с кем обожает постоять.

Для Нины Андреевой я бы Беррию еще предложил. А если таких муляжей нет, взять пока заимообразно в Музее мадам Тюссо.

Это был бы памятник навсегда ушедшей эпохе и зримое наставление потомкам, как нельзя жить, если они хотят жить как люди. И не хотят строить в веках светлое здание коммунизма.

А здесь, в Дубулты, на месте Идола я бы предложил городским властям Юрмалы создать детскую площадку со всякими там качелями, каруселями и другими забавами.

Вот тогда и вернется сюда жизнь, и цветы не нужно будет привозить на служебных автобусах, они вырастут здесь сами, потому что этой мертвой земли коснутся детские живые руки.

В день отъезда в последний раз спустился на пляж. Было тепло, солнечно. Море блестело. Чайки, и те не суетились, не насильовали криками берег, смирные курочки там и сям белели на тихой воде. Редкие фигуры прогуливающихся, видные издалека, еще более подчеркивали эту замечательную картину мира и тишины.

Так не хватало этой тишины мне, да всем нам, кто прожил эту январскую пору в Балтии.

Но не холод испытываю я, вспоминая этот январь. Со всем иное чувство.

Как раз сегодня в рыбном магазине, куда я пошел подкупить на дорогу каких-то продуктов, в очереди разговорился с молодой и красивой женщиной, она оказалась женой известного художника Розенбергса, живущего в Юрмале. Зовут женщину Майга, она заведует выставочным залом на Домской площади..

— Я был у вас...

— В те дни?

— Да. Во время дежурства.

— Я тоже дежурила, — сказала она. — Мы не уходили с площади восемь суток... И знаете... Костры все еще греют...

— Еще горят? — не поняв, переспросил я.

— Да нет, костров нет, но они греют... — И пояснила с улыбкой: — Ну, там, где они горели, там можно ногами ощутить тепло... И даже... Какое-то излучение... Я прихожу туда, чтобы постоять... Ощутить... Понимаете?

Вот такое странное ощущение, я его тоже испытываю: мы пережили баррикады, а в душе остались горячие очажки,

которые долго еще будут нас всех по памяти согревать...
Как костры...

Наша улыбчивая и заботливая официантка Ильнара покормила на дорожку особенно старательно, будто не одна ночь до Москвы, а дальняя дорога в неизвестность ожидала нас.

Неожиданно разговорились, так уж бывает всегда под отъезд, и выяснилось, что ее детство, как и мое, прошло в детдоме. Ей тогда было полтора годика, родителей арестовали на хуторе, наверное, они сопротивлялись организации колхоза, и отправили в Красноярский край. Дорогой умер один ее братишка (можно представить, что это была за дорога!), а другой братишка и сама Ильнара выжили, хотя везли их как скотину, в товарняках.

Про отца Ильнара не говорила, судя по всему, он сгинул в заключении, а мать работала в ссылке водовозом, развозила по домам и баракам на лошади воду. Ильнару с братишкой она оставляла дома, и однажды пришли люди, забрали ее и увезли сюда, в Латвию.

— Кто? Зачем? — спросил я.

Ильнара с улыбкой стояла у нашего стола и смотрела в окно.

— Кто? — переспросила она. — Да были такие энтузиасты, которые собирали ссыльных детей, чтобы их спасти...

Они спасли будущее Латвии. Так я понял.

— Но какая же мать отдаст? — усомнился я.

— Мама и не отдавала, — сказала Ильнара. — Она прятала меня под корзиной... А эти нашли и увезли... Я-то ничего не понимала. Сперва они отдали меня в детдом, тут, недалеко, а потом из детдома меня взяли к себе хорошие люди. — Ильнара все так же улыбалась и смотрела невидящими глазами в окно. — Они приходили и забирали, чтобы откормить и отогреть у себя в семье.

Вот сколько ни слушаю бывших сирот, хоть это сиротство иного рода и вовсе не от войны, а от трагедии маленького народа, репрессированного Сталиным, не покидает меня чувство, что все мы выжили лишь потому, что были такие люди: и те, что в жесточайших условиях Сибири собирали детей, и те, кто отогревал их в семье.

Вот и я вспоминаю сибирскую крестьянку Гонцову, которая отогрела и накормила меня, замерзающего в поле. Да

их много было, и оттого мы не озлобились, а Ильнара, как все дети, перенесшие голод, особенно сытно и заботливо кормит нас здесь в Доме.

— Ну а мама? — спросил я.

Она ответила:

— Маму я увидела, когда мне исполнилось восемнадцать. Мне сказали: «Пиши письмо Маленкову, чтобы ее отпустили». И я написала в Москву. А ответ почему-то пришел на горком комсомола. Меня вызвали туда и говорят: «Подавай заявление в комсомол, тогда твою маму отпустят!» И я вступила в комсомол. А ее и правда отпустили, и мы встретились... А в сорок восьмом у нас опять стали грести... — Ильнара вздохнула и добавила: — Так и гребут до сих пор, и гребут! Ну что мы им сделали?

Вечером за нами приехала машина, ее прислала Татьяна Фаст. Та самая старенькая «Волга» без обогрева, которая возила нас по темной Риге в тревожные баррикадные дни.

А когда мы грузились в вагон, прибежала и сама Таня, принесла свежие номера «Независимой Балтийской газеты», какие-то памятные фотографии, письма...

Мы постояли в тамбуре.

— Как Рига?

— Да как-то беспокойно, — созналась она. — Говорят, что ОМОН собирается штурмовать телецентр...

Вроде бы, по ее словам, в московское представительство пришли четыре парня из ОМОНа и предупредили, что готовится захват телецентра.

— Когда?

— Сегодня. А может, завтра. Я сейчас туда еду!

— Я тоже приеду, — сказал я. — Позвони. Ладно? Или телеграмму...

И Таня, и я, мы оба понимали, что ничей приезд, и мой тоже, не поможет, если военные решатся на насилие... Но я, посетивший «сей мир в его минуты роковые», как бы ощущал свою личную уже ответственность за все, что здесь происходит. И я знал, что я приеду и буду с этими ребятами до конца.

— Ладно, — сказала Татьяна. — Я позову. Но мне-то кажется, что там, в Москве, будет вам тоже горячо.

Она попрощалась и побежала к выходу. На ходу обернулась:

— Вы не знаете... Сегодня умер оператор... Гвидо... В больнице.

Вот на такой тревожной ноте мы и простились.

Поезд отошел, за черным окном потекли дома.

Где-то здесь и окошки моих друзей: Адольфа Шапиро, Алика Какостикова (но он опять в океане), Валерия Блюменкранца, Лени Ковалю... Я покидал Ригу и молился за них и за всех, с кем я был в эти баррикадные дни...

Господи, помоги им всем!

Сегодня мы попрощались с Леной по телефону. Он вдруг сказал, тема погибших не давала ему покоя:

— Смотри, ведь Господь Бог поделил жертвы пополам: два русских и два латыша... Показав тем самым, что в борьбе за свободу пуля не разбирает, кого ей убивать...

Пятый погибший, Гвидо, был латыш. Леня о его смерти еще не знал.

«...Людам, отправляющимся на баррикады: по прибытии в Ригу зарегистрироваться по месту дежурства, назвав свои данные, адрес, а также группу крови...»

(Объявление в газете.)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эта «горячая» книга, которой я более горжусь, чем своими повестями, закончена была уже в феврале, а к маю 91-го года восстановлена, после того как уничтожили у меня на столе ее рукопись. Задним числом можно что-то поправить, уточнить, сейчас-то все видней, но я этого не делаю. Наоборот, пусть мои провидения, как и заблуждения, останутся в том времени, когда она по горячим следам писалась. Интересно даже сравнить события, чтобы понять, а что же я смог предчувствовать, как же обернется далее и как оно на самом деле обернулось.

Так, в главе «Убить мерзость личного «я» — она, кстати, была в марте опубликована в «Огоньке» и вызвала мощный отклик, в том числе и со стороны большевиков, — я предрекал и разгон Верховного Совета, и арест и гибель президента. И аресты лидеров движения: Ельцина, Собчака, Попова... Этого всего, к счастью, не случилось, но могло случиться, и списки на аресты были, и приказы по КГБ были... Слава Богу, Он уберег от террора в августовские дни переворота, но компартия — это и Рубикс и Пуго, все, о ком я писал, оказались на уровне своей большевистской идеологии, они только начинали развязывать террор, и лишь победа демократов помешала им использовать триста тысяч бланков, заготовленных на аресты, и двести пятьдесят тысяч наручников, приготовленных для недовольных.

Могу добавить, что 19 августа утром, когда я, ни о чем не подозревая, пропалывал картошку, в квартиру моего сына ворвались двое в военной форме и разыскивали меня, проверив документы у случайно там находившегося гостя. А 20 августа в полном составе заседал Совет «Апреля» и принял резолюцию, осуждающую хунту; там были слова о том, что «Апрель» берет на себя правозащитные функции в случае репрессий, направленных на писателей и журналистов.

Школа, которую мы прошли, защищая рижский телецентр и здание правительства Латвии, не прошла даром. Теперь, кстати, ясно, что это была не репетиция заговора, а начало заговора, в Вильнюсе и Риге мы увидели начало того, что потом произошло в Москве. Кстати, когда я звонил в панике своим московским друзьям, а потом по приезде рассказывал, некоторые иронизировали надо мной: мол, это у тебя с испугу — везде мерещатся перевороты и танки... Но я-то видел въяве, что крючковы, пути, рубиксы и язовы на месте и они нагледят, получив от президента Горбачева полный карт-бланш в своем терроре.

И он не мог не произойти в Москве.

И еще напомним: на страницах дневника я воспроизвел разговор с моим приятелем — мол, а как поведут себя в таком случае москвичи... Я тогда, кажется, затруднился ответить. Но теперь я могу сказать: они себя достойно повели, не хуже, чем рижские ребята. В Риге мы защищали свободу не только Латвии, но и России, а в Москве мы защитили и свою, и свободу Латвии, и не случайно после победы над путчистами была признана независимость прибалтийских стран...

Да, вот и такая подробность. В Риге на баррикадах меня потрясла одухотворенность молодежи, но она была и у защитников Белого дома. Кстати, там было, как потом выяснилось, много детей писателей: дочка Натальи Ивановой, внучка Галины Дробот, сын Лени Зорина... И мой сын там оказался и дежурил страшной ночью с 20-го на 21 число и утром позвонил (я не спал, конечно) и сказал: «Папа, все в порядке...» И на вопрос, было ли страшно и чем он защищался, ответил сонно, что неуютно (так он выразился) было лишь в момент, когда накапливаться стали войска в здании гостиницы напротив, это было после полуночи... А в руках у сына был булыжник...

Но сейчас это в прошлом, хотя я уверен — те, кто прошел лично через события августовского путча, уже не те, какими были до этого. Люди, да, по-моему, весь народ, «преобразился», и не напрасно это произошло в святые дни и по христианскому календарю.

И наши погибшие мальчики, пополнившие скорбный список тех, кто погиб в Вильнюсе и Риге, стали для нас родными до конца нашей жизни.

И вот еще: путч-то закончился, а путчисты живы, и не все из них за решеткой, многие у власти, хотя большевистская партия, самая страшная партия в истории человечества (да какая она партия, она банда, с октября 17-го года), низложена, ее гены внедрены во всех нас, и нужно бояться их воскрешения. Они не уйдут без крови, вот чего я страшусь. Путч подавлен, но он может быть снова. Моя книга — предостережение, звоночек для каждой души: не успокаивайтесь, они могут вернуться, и тогда они сделают то, что не сделали в январе и августе, — они потопят мир в крови...

Моя книга заканчивается призывом, как вы помните, к людям, которые идут на баррикады... Это не образ, это остережение: не успокаивайтесь, танки не уничтожены, и они могут вернуться.

Да, кстати, вы помните, что я обращался к солдатам по рижскому телевидению? Так вот, это обращение в виде листовок оказалось размножено в Москве. Кто это сделал — я не знаю. Но обращение видели в руках танкистов у Белого дома.

5 ОКТЯБРЯ 1991 ГОД

Содержание

ДОЛИНА СМЕРТНОЙ ТЕНИ. Роман-исследование

Предзоне. УВИДЕТЬ РОДНУЮ РЕЧКУ	7
Зона первая. ВЛАСТЬ	12
Зона вторая. БЫТОВУХА	35
Зона третья. ЖУЛИКИ, ВПЕРЕД!	86
Зона четвертая. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ	127
Зона пятая. СМЕРТНИКИ	187
Зона шестая. ДЕТСТВО	270
Зона седьмая. ИСКУССТВО ЗОНЫ	321
Зона восьмая. ГЕРОИ ТЮРЕМНОГО РОМАНА	377
Зона девятая. МАНЬЯКИ	408
Зона десятая. КОМИССИЯ	468
Постскриптум. ИЗ СПИЧКИ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ	508
Послезонье	513

ТИХАЯ БАЛТИЯ

Вступление	517
На Рождество	519
Отчего кричат птицы	528
Как попасть на баррикады	533
Мы стали старше	537
Черемуховые холода	543
Момент истины	548
Убить мерзость личного «Я»	557
Человек из части	566

Выполнить любые задачи	576
В тылу врага	586
Друзья и враги	598
Вранье не введет в добро	609
Слово	616
Хочу такое лицо	622
Забор-газета	627
Нужны взрывы	632
Церковь Святого Владимира	641
Партия — наш рулевой	651
Крещение	659
Смотрите и думайте сами	665
За правду убивают	674
Прощание	683
Идол	690
Послесловие	699

Литературно-художественное издание

Собраний сочинений в пяти томах
Том 4

Приставкин Анатолий Игнатьевич

Долина смертной тени Тихая Балтия

Руководитель проекта *Юрий Крылов*
Заведующая редакцией *Татьяна Чурсина*
Компьютерная верстка: *Виктория Челядинова*
Корректор *Наталья Семенова*

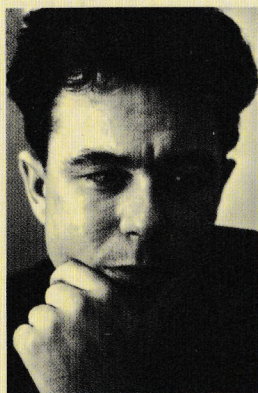
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ООО «Издательство АСТ»
141100, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство «Зебра Е»
121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5,
тел.: (495) 690-19-65, 690-19-55
E-mail: zebrae@rambler.ru, WWW.zebrae.ru

По вопросам приобретения книг обращаться в Издательскую группу АСТ:
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж
Тел.: (495) 615-01-01, факс: 615-51-10
E-mail: astpub@aha.ru, <http://www.ast.ru>
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



ПРИСТАВКИН

Анатолий Игнатьевич

[17.X.1931 — 11.VII.2008]

Во все времена хватало на Руси и убийц, и насильников, и головорезов, и узнавать о них — это только в книжках занято, а прочитывать в жизни или просто соприкасаться, поверьте, не менее опасно, чем встретить на большой дороге. Да если бы только соприкасаться... При этом быть последней инстанцией в их судьбе и решать, а по сути, распоряжаться чужой жизнью... По силам ли это любому человеку — быть выше Бога?!

Конечно, как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные.

Поэтому, не кривя душой, можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор.

Марина Приставкина

«Долина смертной тени» — страшная книга. Авторский голос здесь не столь важен: его все равно заглушат крики убиваемых бандитами жертв, воззвания убийц о помиловании, факты и документы. Трудно сказать, что больше поражает — число казненных за последние несколько десятилетий (24 000) или количество их жертв (30 000 убиваемых в год, и это неполные данные!), бессмысленность мотивов преступлений или их чудовищность, кровавые вакханалии маньяков или взыскуемая ими (разумеется, по отношению к ним самим) гуманность. Приставкин, очевидно, прав, когда говорит, что вся страна — это криминальная зона и что жанр его книги — плач по России.

Игорь Волгин

ISBN 978-5-17-067879-2



9 785170 678792